

Анато́ль Франс

Во второй том собрания сочинений вошли сборники новелл: Валтасар (Balthasar, 1889) и Перламутровый ларец (L'Étui de nacre, 1892); романы: Таис (Thaïs, 1890), Харчевня королевы Гусиные Лапы (La Rôtisserie de la reine Pédauque, 1892), Суждения господина Жерома Куаньяра (Les Opinions de Jérôme Coignard, 1893).

- [Том второй. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец\[1\]](#)
 - [ВАЛТАСАР \(BALTHASAR\)](#)
 - [ВАЛТАСАР](#)
 - [РЕЗЕДА ГОСПОДИНА КЮРЕ](#)
 - [ГОСПОДИН ПИЖОНО](#)
 - [ДОЧЬ ЛИЛИТ](#)
 - [ЛЕТА АЦИЛИЯ](#)
 - [КРАСНОЕ ЯЙЦО](#)
 - [ПЧЕЛКА](#)
 - [Глава I, которая повествует о лице земли и служит предисловием](#)
 - [Глава II, где говорится о том, что предсказала графине де Бланшеланд белая роза](#)
 - [Глава III, в которой начинается любовь Жоржа де Бланшеланд и Пчелки Кларидакской](#)
 - [Глава IV, которая посвящена воспитанию вообще и воспитанию Жоржа в частности](#)
 - [Глава V, в которой рассказывается о том, как герцогиня отправилась с Пчелкой и Жоржем в монастырь, и о том, как они встретились там с ужасной старухой](#)
 - [Глава VI, в которой рассказывается о том, что видно с башенной вышки Кларидакского замка](#)
 - [Глава VII, в которой рассказывается, как Пчелка и Жорж отправились на озеро](#)
 - [Глава VIII, в которой рассказывается, о том, как поплатился Жорж де Бланшеланд за то, что приблизился к озеру, в котором живут ундины](#)
 - [Глава IX, в которой рассказывается, как Пчелка попала к гномам](#)
 - [Глава X, которая подробно описывает прием, оказанный королем Локом Пчелке Кларидакской](#)
 - [Глава XI, в которой очень подробно описываются достопримечательности царства гномов, равно как и куклы, подаренные Пчелке](#)
 - [Глава XII, в которой как нельзя, лучше описывается сокровищница короля Лока](#)
 - [Глава XIII, в которой король Лок объясняется, в своих чувствах](#)
 - [Глава XIV, в которой рассказывается, как Пчелка увидела свою мать и не могла обнять ее](#)
 - [Глава XV, из которой узнают о великом горе короля Лока](#)
 - [Глава XVI, в которой приводятся слова мудреца Нура, чрезвычайно](#)

обрадовавшие маленького короля Лока

- Глава XVII, в которой рассказывается о необыкновенных приключениях Жоржа де Бланшеланд
- Глава XVIII, в которой король Лок отправляется в страшное путешествие
- Глава XIX, в которой рассказывается о том, какая удивительная встреча произошла у портного мастера Жана и какую прекрасную песню пели птицы в саду герцогини
- Глава XX, которая рассказывает об атласной туфельке
- Глава XXI, в которой рассказывается об одном опасном приключении
- Глава XXII, в которой все благополучно кончается

○ ТАИС[30](TNAÏS)

- I. ЛОТОС
- II. ПАПИРУС
- III. ЕВФОРБИЯ[91]

○ ХАРЧЕВНЯ КОРОЛЕВЫ ГУСИНЫЕ ЛАПЫ[94](LA RÔTISSERIE DE LA REINE RÉDAUQUE)

○ СУЖДЕНИЯ ГОСПОДИНА ЖЕРОМА КУАНЬЯРА[183](LES OPINIONS DE JÉRÔME COIGNARD)

- АББАТ ЖЕРОМ КУАНЬЯР
- СУЖДЕНИЯ ГОСПОДИНА ЖЕРОМА КУАНЬЯРА

- I. Правители
- II. Святой Авраамий
- III. Правители
- IV. Дело «Миссисипи»
- V. Пасхальные яйца
- VI. Новое министерство
- VII. Новое министерство
- VIII. Господа городские советники
- IX. Наука
- X. Армия
- XI. Армия
- XII. Армия
- XIII. Академии
- XIV. Бунтовщики
- XV. Государственные перевороты
- XVI. История
- XVII. Господин Никодем
- XVIII. Правосудие
- XIX. Рассказ судебного пристава
- XX. Правосудие
- XXI. Правосудие
- XXII. Правосудие

○ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАРЕЦ[258](L'ÉTUI DE NACRE)

- ПРОКУРАТОР ИУДЕИ
- АМИКУС И ЦЕЛЕСТИН
- ЛЕГЕНДА О СВЯТЫХ ОЛИВЕРИИ И ЛИБЕРЕТТЕ
- СВЯТАЯ ЕВФРОСИНИЯ

- [СХОЛАСТИКА](#)
- [ЖОНГЛЕР БОГОМАТЕРИ](#)
- [ОБЕДНЯ ТЕНЕЙ](#)
- [ЛЕСЛИ ВУД](#)
- [ГЕСТАС](#)
- [ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА](#)
- [ЗАПИСКИ ВОЛОНТЕРА\[297\]](#)
- [РАССВЕТ](#)
- [ГОСПОЖА ДЕ ЛЮЗИ](#)
- [ДАРОВАННАЯ СМЕРТЬ](#)
- [ЭПИЗОД ИЗ ВРЕМЕН ФЛОРЕАЛЯ II ГОДА РЕСПУБЛИКИ\[336\]](#)
- [ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК](#)
- [ОБЫСК](#)
- [Приложение](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)

- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)

- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)

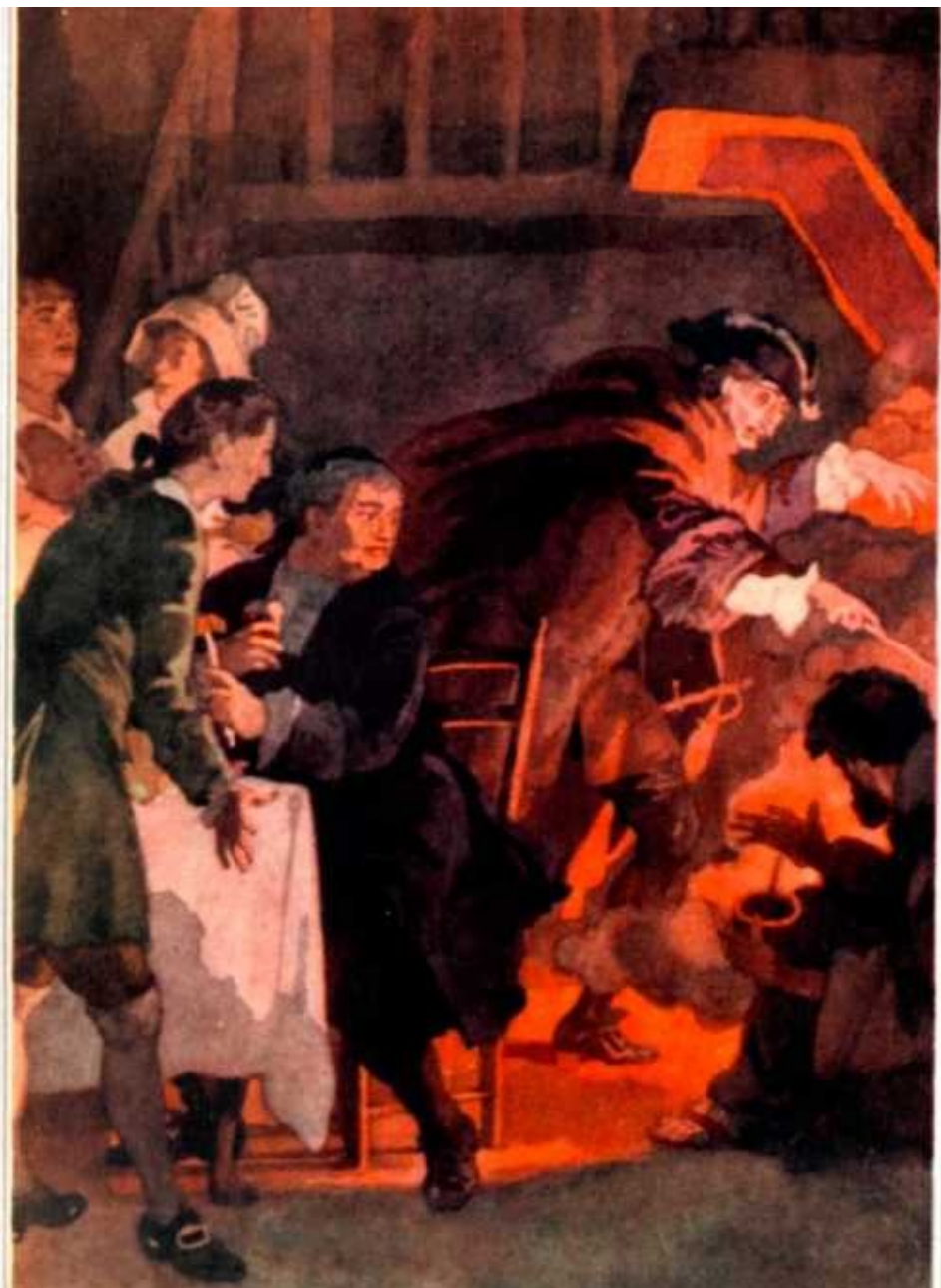
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)

- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)

- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)

- [315](#)
 - [316](#)
 - [317](#)
 - [318](#)
 - [319](#)
 - [320](#)
 - [321](#)
 - [322](#)
 - [323](#)
 - [324](#)
 - [325](#)
 - [326](#)
 - [327](#)
 - [328](#)
 - [329](#)
 - [330](#)
 - [331](#)
 - [332](#)
 - [333](#)
 - [334](#)
 - [335](#)
 - [336](#)
 - [337](#)
 - [338](#)
 - [339](#)
 - [340](#)
 - [341](#)
 - [342](#)
-

**Том второй. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы
Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома
Куаньяра. Перламутровый ларец^[1]**



Фронтиспис работы художника В. А. Дехтерева

Посвящается виконту Эжену-Мельхиору де Вогюз^[2]

*Magos reges fere habuit Oriens.
Tertull.*

*На Востоке царями были волхвы.
Тертуллиан*

I

Во время оно в Эфиопии царствовал Валтасар^[3], прозванный греками Сарацином. Он был черен, но красив лицом. Умом он был прост, а сердцем благороден. На третий год своего царствования, который был двадцать вторым годом его жизни, он решил посетить Балкис, царицу Савскую^[4]. Волхв Сембобитис и евнух Менкера сопровождали его. За ним следовали семьдесят пять верблюдов, нагруженных корицей, миррой, золотым песком и слоновой костью. В пути Сембобитис объяснял царю влияние планет, а также свойства камней, а Менкера пел псалмы; но царь не слушал их, он развлекался, наблюдая за сидевшими на задних лапах, наострившими уши шакалами, которые виднелись среди песков на горизонте.

Наконец после двенадцати дней пути Валтасар и его спутники вдохнули благоухание роз, и вскоре их взору открылись сады, окружающие город царицы Савской. В садах они увидели девушек, которые плясали под цветущими гранатовыми деревьями.

— Пляска — это та же молитва, — сказал волхв Сембобитис.

— Этих женщин можно было бы продать за дорогую цену, — сказал евнух Менкера.

В городе путников поразили огромные лавки, амбары и лесные склады, а также множество сложенных в них товаров. Они долго шли по улицам, запруженным повозками, носильщиками, ослиами и их погонщиками, и вдруг перед ними возникли мраморные стены, пурпурные шатры, золотые купола дворца Балкис.

Царица Савская приняла гостей во дворе, освеженном душистыми фонтанами, струи которых нежно журчали, рассыпаясь бисером. Царица в платье, шитом драгоценными камнями, стояла и улыбалась.

Валтасар при виде ее был охвачен великим смущением. Она показалась ему сладостнее мечты и прекраснее желаний.

— Господин, — шепнул царю Сембобитис, — постарайся заключить с царицей выгодный торговый договор.

— Будь осторожен, господин, — прибавил Менкера, — говорят, она прибегает к волшебству, чтоб разжечь в мужчинах любовь.

Затем, павши ниц, волхв и евнух удалились.

Валтасар, оставшись наедине с Балкис, хотел что-то сказать, открыл рот, но не мог выговорить ни слова. Он подумал: «Царица прогневается на меня за молчание».

Но царица улыбалась, и лицо ее не было гневно. Она первая начала разговор, и голос ее звучал нежнее самой нежной музыки.

— Будь гостем и садись рядом со мной...

И пальцем, подобным светлому лучу, она указала ему на пурпурные подушки, лежащие на земле.

Валтасар сел, глубоко вздохнул и, схватив в каждую руку по подушке, воскликнул:

— Госпожа, я желал бы, чтоб эти две подушки были великанами, твоими врагами, тогда я свернул бы им шею.

И, говоря так, он сжал их с такой силой, что ткань лопнула и взлетело облако белого пуха. Одна пушинка покружилась минутку в воздухе и упала на грудь царицы.

— Государь, — сказала Балкис краснея, — почему ты хочешь сразить великанов?

— Потому, что я люблю тебя! — ответил Валтасар.

— Скажи, — спросила Балкис, — хороша ли вода в колодцах твоей страны?

— Да, хороша, — ответил удивленный Валтасар.

— Я бы хотела еще знать, — продолжала царица, — как приготавливают в Эфиопии засахаренные фрукты?

Царь не знал, что ответить. Она настаивала:

— Скажи, скажи, доставь мне удовольствие!

Тогда, напрягая память, он рассказал об искусстве эфиопских поваров, которые варят айву в меду. Но она не слушала и вдруг перебила его:

— Государь, говорят, что ты любишь царицу Кандакию, твою соседку. Скажи мне без обману: она красивее меня?

— Красивее тебя?! — воскликнул Валтасар, упав к ногам Валкие. — Разве это возможно?

Царица продолжала:

— Какие у нее глаза, рот, цвет лица, грудь?

Валтасар протянул к ней руки и воскликнул:

— Позволь мне взять перышко, которое прильнуло к твоей шее, и я отдам тебе половину моего царства вместе с мудрецом Сембобитисом и евнухом Менкерой.

Но она встала и, звонко рассмеявшись, убежала прочь.

Когда вернулись волхв и евнух, они застали своего господина погруженным в раздумье, что не было ему свойственно.

— Государь, уж не заключил ли ты выгодный торговый договор? — спросил Сембобитис.

В этот вечер Валтасар ужинал с царицей Савской и пил пальмовое вино.

— Так, значит, это правда, — сказала ему Балкис во время пира, — что я краше царицы Кандакии?

— Царица Кандакия черна, — ответил Валтасар.

Балкис быстрым взглядом окинула Валтасара и заметила:

— Можно быть черным — и красивым.

— Балкис!.. — вскрикнул царь.

Больше он ничего не сказал. Он схватил царицу в объятия и прильнул губами к ее челу. Но он увидел, что она плачет. Тогда он стал шептать ей ласковые речи, немного нараспев, как это делают кормилицы. Он называл ее своим цветочком, своей звездочкой.

— О чем ты плачешь? — спросил он. — И что нужно сделать, чтобы ты больше не

плакала? Если у тебя есть желание, скажи, и я исполню его.

Она перестала плакать и задумалась. Он долго уговаривал ее поведать ему свое желание. Наконец она сказала:

— Я бы хотела испытать страх.

Валтасар не понял ее, и тогда Балкис объяснила, что уже давно ей хочется пережить неизведанную опасность, но это никак не удастся, потому что ее охраняют мужи и боги Савской земли.

— А мне, — прибавила она со вздохом, — так бы хотелось почувствовать ночью, как все мое тело холодеет от упоительного страха. Мне хотелось бы почувствовать, как волосы шевелятся у меня на голове. О, как приятно было бы испытать страх!

Она крепко обняла черного царя и сказала умоляющим детским голосом:

— Вот настала ночь. Давай перерядимся и пойдем вместе в город. Хочешь?

Да, он хотел. Она недолго думая подбежала к окну и посмотрела сквозь решетку на городскую площадь.

— Нищий лежит у стены дворца, — сказала она. — Отдай ему твою одежду, а взамен возьми его тюрбан из верблюжьей шерсти и грубую холстину, которой опоясаны его чресла. Поспеш, я иду переодеваться.

И, хлопая в ладоши от радости, она выбежала из пиршественного зала.

Валтасар снял свою расшитую золотом полотняную тунику и опоясался отрепьем нищего. Он выглядел настоящим рабом. Царица скоро вернулась. На ней была одежда из цельного куска синей ткани, как на женщинах, работающих в поле.

— Идем, — сказала она.

И она повела Валтасара узкими переходами к дверце, выходившей в поле.

II

Ночь была черна. В темноте Балкис казалась совсем маленькой.

Она повела Валтасара в один из тех кабачков, где собираются крючники, носильщики и блудницы. Там они сели вдвоем за стол и смотрели при свете чадающего светильника, в густом от испарений воздухе, на весь этот зловонный сброд; одни пускали в ход кулаки и ножи из-за женщины или из-за чашки хмельного напитка, другие во всю мочь храпели, свалившись под стол. Кабатчик, лежа на мешках, искоса поглядывал на пьяных гостей, наблюдая за их дракой.

Царица, увидев соленую рыбу, подвешенную к балке потолка, сказала своему спутнику:

— Мне хочется отведать этой рыбы с толченым луком.

Валтасар велел подать ей рыбы. Когда она поела, он спохватился, что не взял с собой денег. Это его не смутило, он собрался уйти вместе с Балкис, не расплатившись. Но кабатчик преградил им дорогу, называя его мерзким рабом, а ее дрянью. Валтасар сшиб его с ног ударом кулака. Несколько завсегдатаев бросились на незнакомцев с поднятыми ножами. Но чернокожий, вооружившись громадным пестом для толчения египетского лука, уложил на месте двоих, а остальных нападающих обратил в бегство. Валтасар чувствовал тепло прижавшейся к нему всем телом Балкис и потому был непобедим. Приятели кабатчика, не

решаясь подойти ближе, метали в него издали глиняными кувшинами из-под масла, оловянной посудой, зажженными светильниками и даже запустили в него громадным медным котлом, в котором мог уместиться целый баран. Котел с ужасным грохотом обрушился на голову Валтасара и рассек ему череп. Валтасар на минуту оторопел, потом напрягся и отправил котел обратно с такою мощью, что сила удара возросла в десять раз, и звон меди смешался с отчаянными воплями и хрипом умирающих. Пользуясь общей суматохой и боясь, как бы не ранили Балкис, Валтасар подхватил ее на руки и бросился бежать по безлюдным и темным улицам. Тишина ночи объяла землю, и беглецы слышали, как смолкали крики пьяных мужчин и женщин, гнавшихся за ними в темноте. Скоро они слышали уже только, как стекает капля за каплей кровь с чела Валтасара на грудь Балкис.

— Я люблю тебя! — прошептала царица.

И при свете луны, которая вышла из облаков, царь увидел влажный белый блеск полузакрытых глаз Балкис. Они спускались по руслу высохшего потока. Вдруг Валтасар поскользнулся, ступив на мох. Они упали, крепко прижавшись друг к другу. Им казалось, что они погружаются в сладостное небытие и мир живущих уже не существует для них. Они вкушали счастье, забыв о времени и пространстве, до восхода солнца, когда на водопой к каменистым впадинам русла прибежали лани.

В эту минуту проходившие мимо разбойники увидели лежащих на мшистом ложе любовников.

— Они бедны, — сказали разбойники. — Но мы продадим их за хорошую цену, потому что они молоды и красивы.

И тогда они подошли ближе, скрутили им руки и, привязав пленников к хвосту осла, продолжали путь.

Связанный чернолицый угрожал разбойникам смертью. Но Балкис вздрагивала от утренней свежести и улыбалась чему-то, что видела только она.

Они шли в безлюдной глуши, дневной жар все усиливался. Солнце стояло уже высоко, когда разбойники отвязали своих пленников и, приказав сесть в тень скалы, бросили им ломоть заплесневелого хлеба, который Валтасар отверг с презрением, а Балкис с жадностью съела.

Она смеялась и на вопрос главаря шайки, чему она смеется, ответила:

— Я смеюсь при мысли, что прикажу всех вас повесить.

— Неужели, красотка! — воскликнул главарь шайки. — Странные речи в устах судомойки! Уж не твой ли черный дружок поможет тебе нас повесить?

Услыхав такие обидные слова, Валтасар пришел в ярость, бросился на разбойника и так сдавил ему горло, что чуть было не задушил.

Но разбойник вонзил ему в живот нож по самую рукоятку. Несчастный царь повалился наземь, обратив к Балкис тускнеющий взгляд, который вскоре погас.

III

Тут раздались крики, топот копыт, звон оружия, и Балкис узнала смелого Абнера, во главе отряда стражи спешившего на выручку царицы, о таинственном исчезновении коей он узнал

накануне.

Он трижды простерся перед Балкис и велел подать приготовленные для нее носилки; тем временем воины скрутили разбойникам руки. Царица приветливо обратилась к предводителю шайки:

— Тебе не придется упрекать меня, дружок, что я не сдержала обещания, я же говорила, что ты будешь повешен.

Волхв Сембобитис и евнух Менкера, которые стояли рядом с Абнером, с громкими воплями бросились к своему повелителю, лежавшему недвижимым на земле с воткнутым в живот ножом. Они осторожно подняли Валтасара; Сембобитис, весьма сведущий в искусстве врачевания, заметил, что царь еще дышит. Волхв сделал первую перевязку, а Менкера утирал тем временем пену, выступавшую на устах царя. Затем они привязали его к седлу и осторожно довели до дворца Балкис.

Две недели Валтасар был во власти бреда. Он без умолку говорил о кипящем котле и мшистом овраге, он громко кричал, призывая Балкис. Наконец на шестнадцатый день он открыл глаза, увидел у своего изголовья Сембобитиса и Менкеру, но не увидел царицы.

— Где она, что она делает?

— Господин мой, — ответил Менкера, — она заперлась с царем Комагенским.

— Они, верно, ведут переговоры об обмене товарами, — прибавил мудрый Сембобитис, — но не волнуйся, господин мой, жар может усилиться.

— Я хочу ее видеть! — воскликнул Валтасар.

И он устремился в покои царицы, и ни старый мудрец, ни евнух не могли удержать его. Добежав до опочивальни, он увидел выходившего оттуда царя Комагенского, всего в золоте, сверкающего, как солнце.

Балкис возлежала на пурпурном ложе и улыбалась, не открывая глаз.

— Моя Балкис, моя Балкис! — крикнул Валтасар.

Но она не обернулась к нему, казалось она не хочет прерывать своих грез.

Валтасар подошел и взял ее за руку, но она отдернула руку.

— Что тебе от меня нужно? — спросила она.

— И ты еще спрашиваешь? — воскликнул черный царь, горько заплакав.

Она обратила к нему спокойный и холодный взгляд.

Он понял, что она все забыла, и напомнил ей ночь на дне оврага. Но она ответила:

— Я, право, не знаю, государь, о чем ты говоришь... Пальмовое вино, как видно, тебе вредно. Должно быть, тебе это приснилось.

— Как! — воскликнул несчастный царь, ломая руки, — а твои поцелуи, а след ножа, разве это сон?

Она встала; драгоценные камни, украшавшие ее платье, зазвенели словно градинки и засверкали блеском молнии.

— Государь, — сказала она, — настал час, когда собирается мой совет. Мне нет времени толковать сны, порожденные больным воображением... Тебе надо отдохнуть... Прощай!

Валтасар чувствовал, что теряет сознание. Он сделал над собой усилие, чтоб не показать этой злой женщине своей слабости, и убежал в свои покои, где упал замертво, ибо его рана опять открылась.

Три недели он не приходил в себя и лежал как мертвый; на двадцать второй день, очнувшись, он схватил руку Сембобитиса, который ухаживал за ним днем и ночью вместе с Менкерой, и воскликнул, обливаясь слезами:

— О друзья мои, как вы счастливы оба — один потому, что стар, а другой потому, что уподобился старцу. Но увы! Счастья не бывает, и все на свете скверно, раз любовь приносит страдание, а Балкис зла.

— Мудрость делает человека счастливым, — ответил Сембобитис.

— Я хочу вкусить от нее, — сказал Валтасар. — Но отправимся сейчас же обратно в Эфиопию.

Потеряв то, что любил, царь решил посвятить себя науке и стать волхвом. Если это решение и не принесло ему счастья, то по крайней мере немного успокоило его. Каждый вечер, сидя на террасе своего дворца в обществе волхва Сембобитиса и евнуха Менкеры, он любовался неподвижными пальмами на горизонте или смотрел при свете луны на плывущих по Нилу крокодилов, похожих на древесные стволы.

— Никогда не устанешь восхищаться природой, — говорил Сембобитис.

— Конечно, — отвечал Валтасар, — но в природе есть нечто более прекрасное, чем пальмы и крокодилы.

Он говорил так, ибо думал о Балкис.

И Сембобитис, который был стар, говорил:

— Есть чудесное явление — разлив Нила, оно прекрасно, и я объяснил его. Человек создан, чтобы постигать...

— Он создан, чтобы любить, — ответил Валтасар вздыхая, — есть вещи необъяснимые...

— Что необъяснимо? — спросил Сембобитис.

— Измена женщины, — ответил царь.

Валтасар, решив стать волхвом, велел построить башню, с высоты которой видны были многие царства и весь небосвод. Башня была сложена из кирпича и возвышалась над всеми другими башнями. Ее строили целых два года, и Валтасар опустошил для ее сооружения сокровищницу царя — своего отца. Каждую ночь он поднимался на башню и оттуда под руководством мудрого Сембобитиса наблюдал за звездами.

— Положение звезд указывает нам нашу судьбу, — говорил царю Сембобитис.

А тот отвечал:

— Надо признать, что эти указания весьма туманны. Но пока я их изучаю, я не думаю о Балкис, и это великое благо.

Волхв открыл ему среди прочих полезных знаний, что звезды вбиты, как гвозди, в небесный свод и что есть пять планет, а именно: Бэл, Меродах и Нэбо — мужского пола; Син и Милитта — женского.

— Серебро, — говорил он еще, — соответствует планете Син, которая и есть Луна, железо — планете Меродах, а олово — планете Бэл.

И Валтасар говорил:

— Вот знания, которые я бы хотел усвоить. Пока я изучаю астрономию, я не думаю о Балкис и вообще ни о чем на свете. Науки благотворны: они мешают людям думать. Сембобитис, преподай мне такую науку, которая убивает в людях чувство, и я возвеличу тебя

над моим народом.

Поэтому-то Сембобитис и учил царя всякой премудрости.

Он научил его апотелезматике по принципам Астромпсихоза, Гобрия и Пазатаса. По мере того как Валтасар наблюдал двенадцать знаков зодиака^[5], он реже вспоминал Балкис.

Менкера заметил это и весьма возрадовался.

— Скажи, господин мой, — спросил он однажды, — ведь правда, что царица Балкис прикрывает своим золотым одеянием ноги с раздвоенными, как у козы, копытцами?^[6]

— Кто рассказал тебе подобный вздор? — спросил царь.

— Такова народная молва, государь, — ответил евнух. — В Савском царстве и в Эфиопии каждый вам скажет, что у царицы Балкис ноги покрыты шерстью и кончаются раздвоенным черным копытцем.

Валтасар пожал плечами. Он знал, что у Балкис ноги такие же, как у всех женщин, и безусловно красивы. Однако эти слова омрачили ему воспоминание о той, которую он так любил. Он ощутил досаду на Балкис за то, что ее красота была несовершенной в представлении тех, кто не знал ее. При мысли, что он обладал женщиной действительно прекрасной, но согласно людской молве отмеченной уродством, он испытал чувство истинного отвращения и больше не желал видеть Балкис. Валтасар был прост душою, а любовь — чувство очень сложное.

С того дня царь достиг великих успехов в волхвовании и астрологии. Он внимательно наблюдал за положением светил и составлял гороскопы не хуже мудрого Сембобитиса.

— Сембобитис, — говорил он, — отвечаешь ли ты головой за правильность моих гороскопов?

И мудрый Сембобитис отвечивал:

— Господин, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются.

Валтасар был прекрасно одарен от природы, он говорил:

— Истина только в божественном, но божественное от нас скрыто. Мы тщетно ищем истину. Но вот я открыл новую звезду. Она чудесна, она кажется живой и когда мерцает, можно принять ее за небесное око, ласково поглядывающее на нас. Мне кажется, она призывает меня. Блажен, трижды блажен тот, кто родится под этой звездой! Сембобитис, взгляни, как смотрит на нас эта чарующая и величавая звезда.

Но Сембобитис не увидел звезды потому, что не хотел ее видеть. Он был мудр и стар и не любил новшеств.

И Валтасар повторял один в ночной тиши:

— Блажен, трижды блажен тот, кто родится под этой звездой!

V

И тогда разнесся слух по всей Эфиопии и соседним царствам, что царь Валтасар разлюбил Балкис.

Когда весть эта дошла до Савской земли, Балкис возмутилась, словно то была измена. Она поспешила к царю Комагенскому, который, забыв о своем царстве, жил в городе Саве, и сказала ему:

— Друг мой, известно ли тебе, о чем я только что узнала? Валтасар разлюбил меня!

— Не все ли нам равно, — ответил, улыбаясь, царь Комагенский, — раз мы любим друг друга,

— Но разве ты не понимаешь, какое оскорбление наносит мне этот чернокожий?

— Нет, — ответил царь Комагенский, — не понимаю.

Тогда она прогнала его с позором и приказала своему великому визирю приготовить все к путешествию в Эфиопию.

— Мы отправимся сегодня же ночью, — сказала она. — Я велю снести тебе голову, если все не будет готово до захода солнца.

И, оставшись одна, Балкис зарыдала.

— Я люблю его! Он меня разлюбил, а я люблю его... — искренне, от всего сердца вздыхала она.

И вот однажды ночью, когда Валтасар стоял на башне, наблюдая за чудесной звездой, он бросил взгляд на землю и увидел длинную черную ленту, вившуюся вдалеке по песчаной пустыне, словно полчище муравьев. Мало-помалу то, что казалось муравьями, выросло, стало четким, и царь разглядел лошадей, верблюдов и слонов.

Караван приблизился к городу, и Валтасар различил блестящие палаши и вороных коней стражи царицы Савской. Он узнал и ее. Его охватило великое смятение, он почувствовал, что опять полюбил ее. Звезда сверкала в зените чудесным светом. Внизу Балкис, лежа в пурпурном с золотом паланкине, казалась маленькой сверкающей звездочкой.

Валтасар чувствовал, что неодолимая сила влечет его к ней. Однако он овладел собой, отвернулся и, подняв глаза к небу, вновь увидел звезду. Тогда звезда заговорила и сказала:

— Слава в вышних богу и на земле мир, в человеках благоволение: возьми меру мирры, кроткий царь Валтасар, и следуй за мной. Я приведу тебя к младенцу, только что родившемуся и лежащему в яслях между ослом и быком...

И этот младенец — царь царей. Он утешит тех, кто нуждается в утешении.

Он призывает тебя, о Валтасар; душа твоя темна, как и лицо, но сердце незлобиво, как сердце младенца.

Он избрал тебя потому, что ты страдал, и он даст тебе богатство, радость и любовь.

Он скажет тебе: «Будь беден и возликуй — в этом истинное богатство». И еще он скажет тебе: «Истинная радость — в отречении от радости. Возлюби меня и людей возлюби во мне, ибо я один — любовь».

При этих словах божественный покой озарил темное лицо царя.

Валтасар в восторге внимал звезде и чувствовал, что становится другим человеком. Около него Сембобитис и Менкера, припав лбом к каменному полу, поклонялись звезде.

Царица Балкис наблюдала тем временем за Валтасаром. Она поняла, что никогда больше не будет любви к ней в его сердце, исполненном небесною любовью. Она побледнела от досады и приказала каравану немедленно повернуть обратно в Савскую страну.

Когда звезда умолкла, царь и два его приближенных спустились с башни. Потом, приготовив меру мирры, они снарядили караван и отправились туда, куда вела их звезда. Долго странствовали они по неизвестным странам, и звезда шла впереди них.

Однажды они очутились на перекрестке трех дорог, и тут они увидели двух царей, приближающихся в сопровождении многочисленной свиты. Один был молод и бел лицом. Он поклонился Валтасару и сказал:

— Меня зовут Гаспар, я царь и несу золото в дар младенцу, который родился в Вифлееме Иудейском.

Второй царь подошел в свою очередь. Это был старец, седая борода покрывала ему

грудь.

— Меня зовут Мельхиор, — сказал он, — я царь и несу ладан божественному младенцу, который пришел возвестить людям истину.

— Я иду туда же, — ответил Валтасар. — Я победил в себе похоть, потому и заговорила со мной звезда.

— Я, — сказал Мельхиор, — победил в себе гордыню и потому был призван.

— Я, — сказал Гаспар, — победил в себе жестокосердие, и потому я с вами.

И три волхва продолжали свой путь вместе. Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними до тех пор, пока не довела их до места, где был младенец, и тогда остановилась.

Увидев, что звезда остановилась, они возрадовались радостью великою и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и мирру, как сказано в евангелии.

РЕЗЕДА ГОСПОДИНА КЮРЕ

Посвящается Жюлю Леметру^[7]

Я знал в Бокаже деревенского кюре, святой жизни человека, который отказался от всех мирских усад и с радостным сердцем переносил свое отречение, находя в жертве единственную отраду. Страх этого человека перед соблазном простирался даже на цветы. В саду его не было ни единой розы, ни куста жасмина; там росли только овощи, фруктовые деревья и лекарственные травы. Он разрешил себе лишь одно невинное удовольствие — несколько кустиков резеды. Невзрачные цветочки не привлекали к себе его взора, когда, прохаживаясь между капустными грядками, он читал под господним небом свой требник. Благочестивый кюре так мало остерегался резеды, что срывал иногда мимоходом веточку и долго ее нюхал. Но такое уж это растение: чем больше его рвешь, тем больше оно разрастается. На месте каждого сорванного цветка появляется несколько новых. И вскоре, с помощью дьявола, резеда заполонила большой участок сада. Она даже вылезла на дорожку, и, когда добрый пастырь проходил мимо, неугомонные цветы цеплялись за подол его сутаны, то и дело отрывая от молитвы и благочестивого чтения. С весны по самую осень дом кюре благоухал резедой.

И подумать только, до чего слаб человек! Справедливо сказано, что естественные склонности вводят нас в грех. Благочестивый кюре сумел уберечь от соблазна свои глаза, но оставил беззащитными ноздри, и пагуба проникла в него через нос! Святой человек вдыхал аромат резеды с возжелением, а возжеление и есть тот дурной инстинкт, который побуждает нас искать земные радости.

Наслаждаясь запахом цветов, кюре стал охладевать к небесному аромату и благоуханию непорочности девы Марии. Его благочестие заметно убывало, и в конце концов он, наверное, совсем ослабел бы и впал в соблазн, уподобившись тем душам, которых извергают небеса из лона своего, если бы ему вовремя не была ниспослана помощь. Некогда в Фиваиде ангел похитил у отшельника золотую чашу, которая еще привязывала подвижника божьего к мирской суете. Подобная же милость была оказана и бокажскому кюре.

Белая курица так старательно раскопала землю под резедой, что все цветы погибли. Никто не знал, откуда взялась эта курица. Я же склонен думать, что ангел, похитивший у отшельника чашу, принял образ белой курицы, дабы устранить препятствие, преградившее благочестивому кюре путь к совершенству.

Как известно, я всю свою жизнь посвятил египетской археологии. Вот уже сорок лет я с честью следую по избранному мною в юности пути, и сетовать на это было бы с моей стороны черной неблагодарностью по отношению к родине, науке, да и к самому себе. Мои труды не пропали даром. Не хвастая, могу сказать, что мои «Заметки о ручке египетского зеркала, находящегося в Луврском музее» не устарели и по сей день, хотя и относятся к началу моего научного поприща. Что же касается моего более позднего и довольно объемистого труда, посвященного одной из бронзовых гирь, найденных в 1851 году при раскопках Серапея^[9], то было бы непростительно относиться к нему без должного уважения, ибо эта работа открыла мне двери Института^[10].

Поощренный лестными отзывами моих новых коллег об этой работе, я одно время стал даже подумывать о том, чтобы создать обзор всех мер и весов, применявшихся в Александрии в царствование Птолемея Авлета (80–52 гг. до н. э.). Вскоре, однако, я вынужден был признать, что тема столь общего характера выходит за рамки подлинно научного исследования, так как, работая над ней, серьезный ученый на каждом шагу рискует впасть во всякого рода необоснованные суждения. Я понял, что попытка рассмотреть одновременно несколько различных предметов неизбежно приводит к нарушению основных принципов археологии. И если я каюсь сейчас в своем заблуждении, если признаюсь в этом непостижимом стремлении охватить необъятное, то лишь в назидание молодым людям, дабы на моем примере они учились обуздывать свое воображение. Оно — злейший наш враг. Ученый, не сумевший победить этого врага, навеки утрачен для науки. Я до сих пор содрогаюсь при мысли о том, куда мог завести меня мой дерзкий ум. Я был всего на волосок от того, что именуется историей; какое падение! Я чуть не снизошел до искусства! Ведь история — не что иное, как искусство или, в лучшем случае, лженаука. Кто в наши дни не знает, что историки были предшественниками археологов, точно так же, как астрологи были предшественниками астрономов, алхимики — предшественниками химиков, а обезьяны — предшественниками человека? Слава богу, я отделался только страхом!

Спешу сообщить, что третий мой труд был проникнут мудрой умеренностью. Он озаглавлен «К вопросу об одежде знатной египтянки в эпоху Среднего царства по неопубликованному рисунку». Я излагал предмет, но уклоняясь в сторону. Я не высказал ни одной обобщающей мысли. Я избегал всяких суждений, сравнений, аналогий и выводов, коими иные из моих коллег портят доклады о своих самых замечательных находках. И почему, спрашивается, именно этот столь здравый мой труд постигла такая необычайная судьба? В силу какой игры случая стал он причиной самых чудовищных заблуждений? Но не будем упреждать события. Мой доклад был представлен к чтению на публичном заседании всех пяти Академий. Честь тем более высокая, что она редко выпадает на долю подобного рода сочинений. За последние годы такие научные заседания охотно посещают представители светского общества.

В день моего выступления зал Института был переполнен избранной публикой. Было много женщин. На трибунах виднелись изящные туалеты и красивые лица. Меня слушали

внимательно. Доклад мой не прерывался бурными и необдуманными проявлениями чувств, которыми сопровождаются обычно литературные чтения. Напротив, публика держала себя в полном соответствии с характером предлагаемого ее вниманию предмета: сдержанно и с достоинством. Дабы лучше выделить излагаемые мысли, я делал время от времени паузы между фразами, и это давало мне возможность внимательно следить поверх очков за аудиторией. И поверьте, я не поймал ни одной легкомысленной улыбки. Наоборот! Даже самые свежие юношеские лица хранили суровое выражение. Казалось, будто под действием чар моего доклада все умы вдруг созрели. Во время чтения кое-кто из молодых людей что-то тихонько нашептывал на ухо своей соседке. По всей вероятности, они обсуждали какие-нибудь специальные вопросы, затронутые в моем докладе.

Более того! Одна прелестная молодая особа, лет двадцати двух — двадцати четырех, сидевшая в левом углу северной трибуны, старательно записывала мой доклад. Лицо ее отличалось тонкостью черт и замечательной выразительностью. А внимание, с которым она прислушивалась к моим словам, придавало еще больше очарования ее необычному лицу. Она была не одна. Рядом с ней сидел высокий плотный мужчина, с длинной и курчавой, как у ассирийских царей, бородой и длинными черными волосами, и время от времени что-то тихо ей говорил. Мое внимание, вначале обращенное на всю аудиторию, мало-помалу сосредоточилось на этой женщине. Должен сознаться, она внушала мне интерес, который многие из моих коллег сочли бы, вероятно, недостойным такого ученого, как я. Но, уверяю вас, если бы они оказались тогда на моем месте, они также не остались бы равнодушны. По мере того как я говорил, незнакомка делала заметки в записной книжечке. Причем на лице ее сменялись самые различные чувства: то радость, то изумление и даже беспокойство. Ах, если бы в тот злополучный вечер я смотрел в аудитории только на нее!

Я уже заканчивал, мне оставалось прочесть всего каких-нибудь двадцать пять — тридцать страниц, но тут мои глаза вдруг повстречались с глазами бородатого человека. Как передать, что произошло тогда, если я и сам не понимаю? Могу лишь сказать, что взор этого человека мгновенно поверг меня в непостижимое волнение. Его зеленоватые глаза смотрели на меня в упор. Я не мог отвести свой взгляд. Я замер на полуфразе, подняв голову. Так как я замолчал, публика начала аплодировать. Когда вновь водворилась тишина, я хотел продолжать чтение, но, несмотря на все мои старания, не мог отвести взгляда от двух живых зеленых огней, к которым приковала его таинственная сила. Мало того. По какой-то еще менее понятной причине я вдруг пустился вопреки всем своим привычкам в импровизацию. Видит бог, я вовсе этого не хотел! Под влиянием посторонней, неведомой мне, непреодолимой силы я принялся пылко и красноречиво излагать свои философские взгляды относительно женской одежды на протяжении веков. Я обобщал, поэтизировал и — да простит мне бог! — разглагольствовал о вечно женственном, о желании, овевающем ароматные покровы, которыми женщина так искусно умеет оттенить свою красоту.

Человек с ассирийской бородой не спускал с меня глаз. А я все говорил. Но вот он опустил глаза, и я сразу же умолк. Больно сказать, но эта часть доклада, столь же чуждая моему личному настроению, как и духу подлинной науки, вызвала бурные аплодисменты. Молодая особа на северной трибуне неистово хлопала и улыбалась.

Потом мое место на кафедре занял один из членов Французской академии, видимо очень недовольный тем, что ему пришлось выступать после меня. Опасения его оказались, однако, несколько преувеличенными. Публика довольно терпеливо выслушала прочитанное им произведение. Если не ошибаюсь, оно было в стихах.

Когда заседание окончилось, я покинул аудиторию в сопровождении кое-кого из своих коллег; они возобновили поздравления, в искренность которых мне хочется верить.

Мы остановились на набережной около львов Крезо, чтобы обменяться прощальными рукопожатиями, и тут я снова увидел человека с ассирийской бородой и его очаровательную спутницу. Они садились в двухместную карету. Возле меня случайно оказался один из наших философов, человек весьма красноречивый и, как говорят, столь же сведущий в вопросах светского обращения, сколь и в космических теориях. Молодая особа высунула из окна кареты свою прелестную головку и, назвав его по имени, протянула ему ручку, произнеся с легким английским акцентом:

— Вы совсем меня забыли, дорогой мой! Нехорошо!

Дождавшись, когда отъедет карета, я спросил у своего почтенного коллеги: кто такие эта очаровательная дама и ее спутник?

— Как! Вы не знаете мисс Морган и ее врача Дауда, который лечит от всех недугов магнетизмом, гипнозом и внушением! — воскликнул он. — Анни Морган — дочь крупнейшего чикагского негоцианта. Она вместе с матерью приехала два года тому назад в Париж и выстроила себе роскошный особняк на авеню Императрицы. Мисс Морган на редкость умная и весьма образованная особа.

— Охотно верю, — ответил я, — я уже имел возможность убедиться в серьезности этой американки.

Пожимая мне на прощанье руку, мой ученый собрат улыбнулся.

Я дошел пешком до улицы св. Иакова, где вот уже тридцать лет снимаю скромную квартирку, из окон которой видны верхушки деревьев Люксембургского сада, и уселся за письменный стол.

Я просидел за ним целых три дня, любуясь статуэткой богини Пахт с кошачьей головой. На этом небольшом памятнике имеется надпись, которая г-ном Гребо расшифрована неправильно. Я написал о ней интересный доклад с комментариями. Встреча в Институте произвела на меня меньшее впечатление, чем можно было бы ожидать. Она не смутила моего покоя. Сказать по правде, я просто-напросто забыл о ней, и, чтобы оживить мое воспоминание, понадобились особые обстоятельства.

Итак, за эти три дня я спокойно закончил свой доклад и комментарии. Я отрывался от работы лишь затем, чтобы пробежать газеты, изобилующие похвалами по моему адресу. Даже совершенно чуждые миру науки листки восторженно отзывались об «очаровательном фрагменте», которым заканчивался мой доклад. «Это подлинное откровение, — говорилось там. — Господин Пижоно порадовал нас самым неожиданным образом». Не знаю, зачем я упоминаю об этих пустяках, ведь обычно я совершенно равнодушен к тому, что говорят обо мне в печати.

И вот когда я уже третий день сидел у себя в кабинете за письменным столом, вдруг раздался звонок. В звуке колокольчика было что-то такое властное, своенравное и незнакомое, что, услышав его, я вздрогнул и, вскочив в тревоге, пошел сам открыть дверь. И, как вы думаете, кого я увидел на лестнице? Ту самую американку, которая с таким вниманием слушала мой доклад, мисс Морган собственной персоной.

— Господин Пижоно?

— Чем могу служить?

— Я сразу же вас узнала, хотя вы уже не в парадном сюртуке с академическими пальмами. Нет, нет! Ради бога, не вздумайте переодеваться ради меня! В халате вы нравитесь мне еще больше.

Я пригласил ее в кабинет.

Она с любопытством оглядела папирусы, изображения, выдавленные на металле, и всевозможные рисунки, которыми у меня увешаны все стены до самого потолка; затем молча

посмотрела на богиню Пахт и сказала:

— Какая прелесть!

— Вы имеете в виду этот небольшой памятник, сударыня? Действительно, он представляет довольно любопытный образец эпиграфики. Но разрешите узнать, чем я обязан чести видеть вас у себя?

— Что мне за дело до всяких ваших эпиграфических образчиков, — возразила мисс Морган. — Просто у нее очаровательная мордашка. Вы, конечно, не сомневаетесь, господин Пижоно, что это настоящая богиня?

Я попытался отклонить столь оскорбительное подозрение:

— Верить в подобные вещи было бы фетишизмом.

Она удивленно вскинула на меня свои огромные зеленые глаза:

— Так вы не фетишист! Вот не думала, что можно быть археологом и не быть фетишистом. Почему же тогда вас интересует эта Пахт, если вы не верите, что она богиня? А впрочем, оставим это. Я приехала к вам по очень, очень важному делу, господин Пижоно.

— По важному делу?

— Да, да! По поводу костюма. Вот, взгляните на меня.

— С удовольствием.

— Вы не находите, что в моем профиле есть что-то кушитское?^[11]

Я не знал, что сказать. Подобные разговоры были мне непривычны. Она продолжала:

— О! Тут нет ничего удивительного! Я отлично помню, что была египтянкой. А вы, господин Пижоно, были египтянином? Не помните? Странно. Во всяком случае, вы не можете отрицать, что мы проходим через ряд последовательных перевоплощений?

— Ничего не могу сказать вам, сударыня.

— Вы удивляете меня, господин Пижоно!

— Однако, мисс Морган, я так и не знаю, чем обязан...

— Ах, да! Ведь я еще не сказала, что приехала к вам с просьбой помочь мне смастерить египетский костюм для маскарада у графини N. Я хочу, чтобы костюм был безукоризненно выдержанный и ошеломляюще красивый. Я уже давно работаю над ним, господин Пижоно! Я призвала на помощь собственные воспоминания, — ведь я же прекрасно помню, что шесть тысяч лет тому назад жила в Фивах. Я выписала рисунки из Лондона, Булака, Нью-Йорка.

— Вот это верней.

— Нет, нет! Не говорите! Самое верное — интуиция. Я внимательно осмотрела египетский отдел Луврского музея. Сколько там всякой прелести! Какое изящество и чистота форм! Какие строгие тонкие профили! Женщины — похожие на цветы, словно окоченевшие в неподвижности и вместе с тем гибкие. А бог Бэс, похожий на Сарсэ!^[12] Господи! Как это все прекрасно!

— Но, сударыня, я все еще не знаю...

— Мало того! Я была на вашем докладе об одежде египтянки Среднего царства и кое-что записала. Правда, доклад был трудноват. Пришлось мне над ним поработать. На основании всех этих материалов я придумала костюм. Но я все еще не довольна им. Вот я и приехала просить вас: посмотрите и дайте совет. Дорогой господин Пижоно! Приходите завтра! Сделайте это из любви к Египту! Итак, решено. До завтра! А теперь бегу. Меня ждет в карете мама.

С этими словами мисс Морган выпорхнула из комнаты. Я пошел было проводить ее, но, когда я был в передней, она уже сбежала с лестницы и снизу до меня донесся ее звонкий голос:

— До завтра! Авеню Булонского леса, возле виллы «Саид»^[13].

«Ни за что не пойду к этой сумасшедшей», — решил я.

На следующий день, в четыре часа, я звонил у подъезда ее особняка. Лакей ввел меня в огромный застекленный зал, где в беспорядке были нагромождены картины, мраморные и бронзовые статуи, портшезы, расписанные Мартином, с богатыми фарфоровыми украшениями; перуанские мумии, двенадцать фигур всадников в боевых доспехах; особенно выделялись своими размерами польский всадник с белыми крыльями за спиной и одетый для турнира французский рыцарь, шлем которого украшала раскрашенная женская головка в старинном головном уборе с вуалью. В зале росла целая роща пальмовых деревьев в кадках, а среди них восседал огромный золотой Будда. У его ног какая-то нищенски одетая женщина читала библию. Не успел я прийти в себя от всех этих чудес, как приподнялась пурпурная портьера и предо мной предстала мисс Морган в белом пеньюаре с отделкой из лебяжьего пуха. Она приблизилась ко мне. За ней шли два огромных датских дога с длинными мордами.

— Я была уверена, что вы придете, господин Пижоно.

— Как можно послушаться приказания такой прелестной дамы? — любезно пробормотал я.

— О! Меня слушаются вовсе не потому, что я красива! Просто я знаю секрет, как подчинять людей своей воле.

Потом, указав на старуху с библией, она добавила:

— Это мама; не обращайтесь на нее внимания. Я вас не представляю. Если вы с ней заговорите, она все равно не ответит: она принадлежит к религиозной секте, воспрещающей пустословие. Эта секта — последний крик моды. Ее приверженцы одеваются в мешковину и едят из деревянных мисок. Маме все это очень нравится. Но вы сами понимаете, что я пригласила вас не затем, чтобы рассказывать о маме. Сейчас я переодеюсь в египетский костюм. Я быстро. А пока полюбуйтесь безделушками.

И она усадила меня возле шкафа, в котором находились саркофаг мумии, несколько статуэток эпохи Среднего царства, скарабей^[14] и куски папируса с описанием великолепного погребального обряда.

Оставшись один, я принялся рассматривать папирус с тем большим интересом, что обнаружил на нем подпись, которую уже читал на одной печати: имя писца, принадлежащего королю Сети Первому. Я сейчас же принялся отмечать любопытные подробности этого документа. Сам не знаю, сколько я просидел, погруженный в это занятие, как вдруг инстинктивно почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит. Обернувшись, я увидел дивное создание, с золотым ястребом на голове, в белом узком чехле, облегающем целомудренные и прекрасные линии юного тела. Поверх чехла ниспадала легкая розовая туника, схваченная в талии поясом из драгоценных камней и симметричными складками расходящаяся книзу. Руки и ноги были обнажены и отягчены браслетами.

Она встала прямо напротив меня, повернув голову к правому плечу, в традиционной жреческой позе, что придавало ее чарующей красоте что-то божественное.

— Как! Неужели это вы, мисс Морган! — воскликнул я.

— Очевидно, если только не сама Неферу Ра собственной персоной. Помните Неферу Ра у Леконта де Лиля^[15] в его «Красоте солнца»?

В покровы легкие окутана, бледна,
На ложе девственном покоится она.

Впрочем, что я говорю! Откуда вам знать. Вы же не читаете стихов. А все-таки это красиво. Ну, теперь за дело!

Поборов волнение, я сделал этой очаровательной особе несколько замечаний относительно ее чудесного костюма. Я осмелился не согласиться с кое-какими деталями, грешащими против археологической точности. Предложил заменить некоторые из камней в перстнях другими, более принятыми в эпоху Среднего царства. Наконец самым решительным образом восстал против аграфа из перегородчатой эмали. Это украшение действительно представляло собой чудовищный анахронизм. Мы решили заменить его пластинкой из драгоценных камней в тонкой золотой оправе. Мисс Морган выслушала меня чрезвычайно внимательно, даже пригласила остаться обедать; казалось, я очень ей нравлюсь, но я сослался на строгий режим и диету и откланялся.

Когда я был уже в прихожей, она крикнула мне вслед:

— Ну как, шикарный костюм? На балу у графини N. все дамы лопнут от зависти! Не правда ли?

Меня покорило от этих слов, но, оглянувшись и увидев ее, я вновь подпал под ее чары.

— Господин Пижоно! — еще раз окликнула она. — Вы такой милый. Сочините для меня сказочку, и я буду вас любить крепко-крепко!

— Я не умею сочинять сказки, — ответил я.

Она пожала своими прекрасными плечами и воскликнула:

— А разве не для того и наука, чтобы сочинять сказки? Нет, господин Пижоно, сказку вы мне все-таки напишете.

Я не счел нужным повторять свой решительный отказ и молча вышел.

В дверях мне повстречался человек с ассирийской бородой, странный взгляд которого так поразил меня во время доклада. Доктор Дауд еще тогда произвел на меня впечатление человека в высшей степени надменного, и встреча с ним была мне тягостна.

Недели через две после моего визита состоялся бал у графини N. Я ничуть не удивился, прочтя в газетах, что прекрасная мисс Морган в костюме Неферу Ра произвела настоящую сенсацию.

С тех пор я не слышал о ней до самого конца 1886 года. Но в первый же день нового года, когда я работал у себя в кабинете, лакей подал мне письмо и небольшую корзинку.

— От мисс Морган, — сказал он и вышел.

Из корзинки, поставленной на стол, раздалось мяуканье. Я открыл ее, и оттуда выскочила серая кошечка.

Она была не ангорской, а какой-то другой восточной породы, более грациозная, чем наши кошки, и, насколько я мог судить, очень похожая на своих фиванских предков, мумии которых, запеленутые в полосы грубой ткани, находят в огромном количестве при раскопках этого города. Кошечка отряхнулась, огляделась вокруг, выгнула горбом спину, зевнула и мурлыча стала тереться о богиню Пахт, изящная фигурка которой с хорошенькой мордочкой красовалась у меня на столе. Несмотря на темную и короткую шерсть, котенок был очень миловиден. Он казался смышленным и совсем не дичился. Я терялся в догадках, что бы мог означать столь странный подарок. Ничуть не яснее стало мне это и тогда, когда я прочел письмо мисс Морган. Она писала:

«Многоуважаемый господин Пижоно! Посылаю вам привезенную доктором Даудом из Египта кошечку, которую я очень люблю. Если хотите сделать мне приятное, будьте с ней поласковой. Бодлер, величайший французский поэт после Стефана Малларме^[16], сказал:

Отшельник-книгочей, былой поклонник дам
На склоне лет, в людей уже не веря,
Заводят кошку, ласкового зверя
И нелюдимого, подобно господам^[17].

Думаю, нет никакой необходимости напоминать вам, что вы должны сочинить для меня сказку. Вы принесете ее на крещение. Пообедаем вместе.

Анни Морган.

P. S. — Кошечку звать Пору».

Прочтя письмо, я взглянул на Пору, которая, стоя на задних лапках, лизала черную мордочку Пахт, своей божественной сестры. Кошечка тоже посмотрела на меня. И должен сознаться, что из нас двоих более удивленной казалась отнюдь не она.

«Что все это значит?» — недоумевал я.

Очень скоро, однако, я отказался от мысли что-либо понять. «Нечего сказать, хорош, доискиваюсь смысла в капризах молодой сумасбродки, — решил я, — Примусь-ка лучше за работу. Ну, а этого зверька я поручу заботам госпожи Маглуар (моей экономки)». И я снова принялся за прерванную работу по хронологии, которая особенно занимала меня, так как в ней я немного поддеваю своего знаменитого ученого собрата г-на Масперо. Пору не покидала письменного стола. Сидя напротив меня и наострив ушки, она следила за моим пером. И — странное дело — за весь этот день я не написал ничего заслуживающего внимания. Мысли мои путались, в голову лезли обрывки песен и детских сказок. Спать я лег очень недовольный собой. На следующее утро, когда я вошел в кабинет, кошечка уже сидела на письменном столе и умывалась. И в этот день также работалось скверно. Мы с Пору занимались больше тем, что разглядывали друг друга. Не лучше обстояли дела и на третий и на четвертый день — словом, так прошла вся неделя. Казалось бы, подобная праздность должна была бы огорчать меня, но, говоря откровенно, я все больше и больше с ней свыкался, она даже начинала мне нравиться. Поистине ужасна быстрота, с которой порядочный человек поддается разврату. А в день крещения я проснулся в радостном настроении и подбежал к столу, где меня, как обычно, поджидала Пору. Достав тетрадь из лучшей белой бумаги, я обмакнул перо и под пристальным взглядом своего нового друга вывел крупными буквами: «Злоключения кривого носильщика». После чего, то и дело взглядывая на Пору, с удивительной быстротой принялся писать и писал целый день рассказ о приключениях таких чудесных, смешных и разнообразных, что под конец сам ими увлекся. Мой носильщик потешным образом перепутывал ноши и то и дело попадал впросак. Сам того не ведая, он приходил на помощь оказавшимся в затруднении влюбленным; переносил шкафы, в которые спрятались люди. А те, попав в чужой дом, повергали в ужас старых дам. Да разве перескажешь такую забавную историю! Сколько раз, работая над нею, я громко хохотал. Пору не смеялась, правда, но ее серьезность была потешнее самых веселых гримас. Последнюю строчку этой приятной работы я закончил в семь часов вечера. Уже с час, как комната освещалась только фосфорически блестящими глазами Пору. Но и в сумерках я писал так же легко, как при свете яркой лампы. Закончив рассказ, я надел фрак и белый галстук, простился с Пору и, сбегав с лестницы, выскочил на улицу. Не сделал я и десяти шагов, как почувствовал, что кто-то потянул меня за рукав.

— Куда вы так мчитесь, дядюшка, словно одержимый?

Это был мой племянник Марсель, порядочный и умный студент-медик, работающий в

больнице Сальпетриер. Говорят, что из него выйдет хороший врач. И, пожалуй, его действительно можно было бы считать здравомыслящим человеком, если бы он поменьше доверял своему чересчур капризному воображению.

— Да вот спешу отнести мисс Морган свою сказку, — ответил я.

— Как, дядюшка! Вы пишете сказки и знакомы с мисс Морган? Обворожительная женщина, не правда ли? А доктора Дауда, который всюду ее сопровождает, вы тоже знаете?

— Лекарь! Шарлатан!

— Верно, верно, дядюшка, но поразительный экспериментатор. Ни Бернгейму, ни Льежуа, ни даже самому Шарко не удалось добиться таких явлений в области внушения^[18], каких добивается он, когда ему вздумается. Он гипнотизирует и внушает без прикосновения, без непосредственного воздействия, через животных. Обычно для опытов ему служат короткошерстные котята. Вот как он этого достигает: он внушает котенку желаемое действие и отправляет его в корзинке тому, на кого хочет воздействовать. Внушение передается от животного объекту внушения, и тот приводит в исполнение то, что приказано экспериментатором.

— В самом деле, племянник?

— В самом деле, дядюшка.

— А какую же роль играет в этих замечательных экспериментах мисс Морган?

— Мисс Морган, дядюшка, пожинает плоды трудов господина Дауда и пользуется гипнозом и внушением для того, чтобы кружить головы мужчинам, будто для этого мало одной ее красоты.

Но я уже не слушал. Непреодолимая сила влекла меня к мисс Морган.

Я выехал из Парижа вечером и провел в вагоне долгую и безмолвную снежную ночь. Прождав шесть томительно скучных часов на станции ***, я только после полудня нашел крестьянскую одноколку, чтоб добраться до Артига. По обеим сторонам дороги, то опускаясь, то поднимаясь, тянулась холмистая равнина; я видел ее прежде при ярком солнце цветущей и радостной, теперь же ее покрывал плотной пеленой снег, а на нем чернели скрюченные виноградные лозы. Мой возница лениво понукал свою старую лошадаенку, и мы ехали погруженные в бесконечную тишину, прерываемую время от времени жалобным криком птицы. В смертельной тоске я шептал про себя молитву: «Господи, господи милосердный, помилуй и сохрани меня от отчаяния и не дай мне, после стольких прегрешений, впасть в тот единственный грех, который ты не прощаешь». И вот я увидел на горизонте заходящее солнце, красный диск без лучей, словно окровавленная гостия, и, вспомнив об искупительной жертве Голгофы, я почувствовал, что надежда проникла мне в душу. Одноколка продолжала еще некоторое время катиться по хрустящему снегу. Наконец возница указал мне кнутовищем на артигскую колокольню, которая словно тень вставала в красноватом тумане.

— Вам к церковному дому, что ли? — сказал он. — Вы, стало быть, знаете господина кюре?

— Он знал меня мальчиком. Я учился у него, когда был школьником.

— Он, видать, человек ученый.

— Кюре Сафрак, любезнейший, — и ученый и добродетельный человек.

— Говорят так. Говорят и этак.

— А что же говорят?

— Говорят что угодно, по мне пусть болтают.

— Но все-таки что же?

— Есть такие, что верят, будто господин кюре колдун и может напустить всякую порчу.

— Что за вздор!

— Мое дело сторона, сударь. Но если господин Сафрак не колдун и не напускает порчу, так зачем бы ему книжки читать.

Повозка остановилась у дома кюре. Я расстался с дурнем-возницей и пошел вслед за служанкой, которая проводила меня в столовую, где уже был накрыт стол. Я нашел, что кюре Сафрак сильно изменился за те три года, что я его не видел. Его высокий стан сгорбился. Он поражал своей худобой. На изнуренном лице блестели проницательные глаза. Нос точно вырос и навис над сузившимся ртом.

Я бросился ему на шею и, рыдая, воскликнул:

— Отец мой, отец мой, я пришел к вам, ибо я согрешил! Отец мой, старый мой учитель, ваша глубокая и таинственная мудрость ужасала меня, но вы успокаивали мою душу, ибо открывали передо мной свое любящее сердце, спасите же вашего сына, стоящего на краю бездны. О мой единственный друг, вы один мой наставник, спасите, просветите меня.

Он обнял меня, улыбнулся с бесконечной добротой, в которой я не раз убеждался в моей

ранней молодости, и, отступя на шаг, как бы для того, чтоб лучше разглядеть меня, сказал: «Да хранит вас бог!» — приветствуя меня по обычаю своего края, ибо господин Сафрак родился на берегу Гаронны среди тех знаменитых виноградников, которые как бы олицетворяют его душу, щедрую и благоуханную.

После того как он с таким блеском читал философию в Бордо, Пуатье и Париже, он испросил себе одну-единственную награду — бедный приход в том краю, где он родился и хотел умереть. Вот уже шесть лет он священствует в глухой деревне в Артиге, соединяя смиренное благочестие с высокой ученостью.

— Да хранит вас бог, сын мой, — повторил он. — Я получил письмо, где вы сообщаете о своем приезде, оно меня очень тронуло. Значит, вы не забыли вашего старого учителя!

Я хотел броситься к его ногам и снова прошептал: «Спасите меня, спасите!» Но он остановил меня движением руки, властным и в то же время ласковым.

— Ари, — сказал он, — завтра вы расскажете то, что у вас на сердце. А сейчас обогрейтесь, потом мы поужинаем, вы, должно быть, и озябли и проголодались.

Служанка подала на стол миску, откуда поднимался душистый пар. Это была старуха в черной шелковой косынке на голове, в морщинистом лице которой удивительно сочеталась природная красота с безобразием одряхления. Я был в глубоком смятении, однако покой этого мирного жилища, веселое потрескивание сухих веток в камине, уют, создаваемый белой скатертью, налитым в стаканы вином, горячими блюдами, постепенно овладевал моей душой. За едой я почти позабыл, что пришел под этот кров, дабы смягчить жестокие угрызения совести обильной росой покаяния.

Господин Сафрак вспомнил давно минувшие дни, которые мы провели в коллеже, где он преподавал философию.

— Ари, — сказал он, — вы были моим лучшим учеником. Ваш пытливый ум постоянно опережал мысль учителя. Потому-то я сразу привязался к вам. Я люблю смелость в христианине. Нельзя, чтоб вера была робкой, когда безбожие выступает с неукротимой дерзостью. В церкви остались ныне только агнцы, а ей нужны львы. Кто вернет нам отцов и ученых мужей, взгляд которых охватывал все науки? Истина подобна солнцу, — взирать на нее может только орел...

— Ах, господин Сафрак, как раз вы смело смотрели в лицо истине, и ничто не могло вас ослепить. Я помню, что ваши суждения смущали иногда даже тех из ваших братьев, которые восхищались святостью вашей жизни. Вы не боялись новшеств. Так, например, вы были склонны признать множественность обитаемых миров.

Взор его загорелся.

— Что же скажут робкие духом, когда прочтут мою книгу? Ари, под этим прекрасным небом, в этом краю, созданном господом с особенной любовью, я размышлял и работал. Вам известно, что я довольно хорошо владею языками: еврейским, арабским, персидским и несколькими индийскими наречиями. Вам также известно, что я перевез сюда библиотеку, богатую древними рукописями. Я занялся серьезным изучением языков и преданий древнего Востока. Бог даст, огромный труд не останется втуне. Я только что закончил книгу «О сотворении мира», которая исправляет и утверждает религиозное толкование, коему безбожная наука предвещала неминуемое поражение. Ари, господа по его великому милосердию угодно было, чтоб наука и вера, наконец, примирились. Работая над их сближением, я исходил из следующей мысли: библия, боговдохновенная книга, открывает нам истину, однако она не открывает всей истины. Да и как могла бы она открыть всю истину, раз ее единственная цель — научить нас тому, что необходимо для нашего вечного спасения! Вне сей великой задачи для нее не существует ничего. Ее замысел прост и в то же

время огромен. Он охватывает грехопадение и искупление. Это божественная история человека. Она всеобъемлюща и ограничена. В ней нет ничего, что могло бы удовлетворить мирское любопытство. Однако нельзя, чтоб безбожная наука торжествовала и далее, злоупотребляя молчанием бога. Настало время сказать: «Нет, библия не лжет, ибо она открыла не все». Вот истина, которую я провозглашаю. Опираясь на геологию, доисторическую археологию, восточные космогонии, хетские и шумерские памятники, халдейские и вавилонские предания, древние легенды, сохранившиеся в талмуде, я доказываю существование преадамитов, о которых боговдохновенный автор Книги Бытия^[20] не упоминает по той только причине, что существование их не имеет никакого отношения к вечному спасению детей Адама. Мало того, кропотливое исследование первых глав Книги Бытия убедило меня в том, что было два сотворения мира, отделенных одно от другого многими веками, причем второе — это, так сказать, просто приспособление одного уголка земли к потребностям Адама и его потомства.

Он на мгновение остановился и продолжал тихим голосом с чисто религиозной торжественностью:

— Я, Марциал Сафрак, недостойный пастырь, доктор теологии, послушный сын нашей святой матери Церкви, утверждаю с полной уверенностью, если будет на то соизволение его святейшества папы и святых соборов, что Адам, созданный по образу божью, имел двух жен, из коих Ева была второй.

Эти странные слова в конце концов отвлекли меня от моих дум, пробудили непонятное любопытство. Я был даже разочарован, когда г-н Сафрак, положив локти на стол, сказал:

— Довольно об этом. Возможно, вы когда-нибудь прочтете мою книгу, которая осветит вам сей вопрос. Я должен был, повинаясь строгому предписанию, представить мой труд на рассмотрение архиепископу и просить его одобрения. Рукопись находится сейчас в епархиальном управлении, и со дня на день я ожидаю ответа, который, по всем вероятностям, должен быть благоприятным... Сын мой, отведайте грибков из наших лесов и вина наших виноградников, а потом скажите, что наш край не вторая обетованная земля, для которой первая являлась как бы прообразом.

С этой минуты наша беседа стала более обычной и перешла на общие воспоминания.

— Да, сын мой, — сказал г-н Сафрак, — вы были моим любимым учеником. Господь позволяет предпочтение, если оно основывается на справедливом суждении. А я сразу определил в вас задатки настоящего человека и христианина. Это не значит, что у вас не было недостатков. Вы отличались неровным, нерешительным характером, вас было легко смутить. В глубине души у вас назревали горячие желания. Я любил вас за вашу мятежность так же, как другого моего ученика за противоположные качества. Мне был дорог Поль д'Эрви непоколебимой стойкостью ума и постоянством сердца.

Услыхав это имя, я покраснел, побледнел и с трудом удержался, чтоб не вскрикнуть, но, когда я хотел ответить, я не мог говорить. Г-н Сафрак, казалось, не замечал моего волнения.

— Если мне не изменяет память, он был вашим лучшим товарищем, — прибавил он. — Вы по-прежнему близки с ним, не правда ли? Я слышал, что он избрал дипломатический путь, что ему предсказывают прекрасное будущее. Я хотел бы, чтоб он был послан в Ватикан, когда наступят лучшие времена. Он ваш верный и преданный друг.

— Отец мой, — произнес я с усилием, — я поговорю с вами завтра о Поле д'Эрви и еще об одной особе.

Господин Сафрак пожал мне руку. Мы расстались, и я ушел в приготовленную для меня комнату. Я лег в постель, благоухающую лавандой, и мне приснилось, что я еще ребенок, стою на коленях в часовне нашего коллежа и люблю женщин в белых сверкающих

одеждах, которые занимают места на хорах, и вдруг из облака над моей головой раздается голос: «Ари, ты думаешь, что возлюбил их в божестве. Но ты возлюбил бога только в них».

Проснувшись утром, я увидел г-на Сафрака, который стоял у моего изголовья.

— Ари, — сказал он, — приходите к обеду, которую я буду служить сегодня для вас. По окончании богослужения я готов выслушать то, что вы собираетесь мне рассказать.

Артигский храм — небольшая церковь в романском стиле, который еще процветал в Аквитании в XII веке. Двадцать лет тому назад ее реставрировали и пристроили колокольню, не предусмотренную первоначальным планом, но, по бедности своей, церковь сохранила в неприкосновенной чистоте свои голые стены. Я присоединился, насколько мне позволяли мои мысли, к молитвам священнослужителя, затем мы вместе вернулись домой. Там мы позавтракали хлебом с молоком, а потом пошли в комнату г-на Сафрака.

Придвинув стул к камину, над которым висело распятие, он предложил мне сесть и, усевшись рядом, приготовился слушать. За окном падал снег. Я начал так:

— Отец мой, вот уже десять лет, как, выйдя из-под вашей опеки, я пустился в свет. Веру свою я сохранил; но, увы, не сохранил чистоты. Впрочем, незачем описывать вам мою жизнь, вы и так ее знаете, вы — мой духовный наставник, единственный руководитель моей совести! К тому же я хочу поскорее перейти к событию, перевернувшему всю мою жизнь. В прошлом году родители решили меня женить, и я охотно согласился. Девушка, которую прочили за меня, отвечала всем требованиям, обычно предъявляемым родителями. Кроме того, она была хороша собой, она мне нравилась; таким образом, вместо брака по расчету я собирался вступить в брак по сердечной склонности. Мое предложение было принято. Помолвка состоялась. Казалось, мне были обеспечены счастье и спокойная жизнь, но тут я получил письмо от Поля д'Эрви, который, вернувшись из Константинополя, сообщал о своем приезде в Париж и желании повидаться со мной. Я поспешил к нему и объявил о своем предстоящем браке. Он сердечно меня поздравил.

— Я рад твоему счастью, дорогой!

Я сказал, что рассчитываю на него как на свидетеля, он охотно согласился. Бракосочетание было назначено на пятнадцатое мая, а он возвращался на службу в первых числах июня.

— Вот и хорошо! — сказал я. — А как ты?

— О, я... — ответил он с улыбкой, одновременно и радостной и грустной, — у меня все переменилось... Я схожу с ума... женщина... Ари, я очень счастлив или очень несчастлив; какое может быть счастье, если оно куплено ценою дурного поступка? Я обманул, я довел до отчаяния доброго друга — я отнял там, в Константинополе...

Г-н Сафрак прервал меня:

— Сын мой, не касайтесь чужих проступков и не называйте имен!

Я обещал и продолжил свой рассказ.

— Не успел Поль окончить, как в комнату вошла женщина. По-видимому — она. На ней был длинный голубой пеньюар, и держала она себя как дома. Постараюсь одной фразой передать вам то страшное впечатление, которое она произвела на меня. Мне показалось, что она не нашего естества. Я чувствую, до какой степени это определение неточно и как плохо передает оно мою мысль, но, может быть, из дальнейшего оно станет более понятным. Действительно, в выражении ее золотистых глаз, неожиданно искрометных, в изгибе ее загадочно улыбающегося рта, в коже одновременно смуглой и светлой, в игре резких, но тем не менее гармоничных линий ее тела, в воздушной легкости походки, в обнаженных руках, за которыми чудились незримые крылья, наконец во всем ее облике, страстном и неуловимом, я ощутил нечто чуждое человеческой природе. Она была и менее и более совершенна, чем

обычные женщины, созданные богом в его грозной милости для того, чтоб они были нашими спутницами на этой земле, куда все мы изгнаны. С той минуты, как я увидел ее, мою душу охватило и переполнило одно чувство: мне бесконечно постыло все, что не было этой женщиной.

При ее появлении Поль слегка нахмурил брови, но, спохватившись, тут же попробовал улыбнуться.

— Лейла, представляю вам моего лучшего друга. Лейла ответила:

— Я знаю господина Ари.

Эти слова должны были бы показаться странными, ибо я мог с уверенностью сказать, что мы никогда не встречались, но выражение, с которым она их произнесла, было еще более странным. Если бы кристалл мыслил, он говорил бы так.

— Мой друг Ари, — прибавил Поль, — женится через полтора месяца.

При этих словах Лейла взглянула на меня, и я ясно прочел в ее золотистых глазах: «Нет».

Я ушел очень смущенный, и мой друг не выразил ни малейшего желания меня удержать. Весь день я бесцельно бродил по улицам с отчаянием в опустошенном сердце; и вот вечером, случайно очутившись на бульваре перед цветочным магазином, я вспомнил о своей невесте и решил купить ей ветку белой сирени.

Не успел я взять сирень, как чья-то ручка вырвала ее у меня, и я увидел Лейлу, которая засмеялась и вышла из магазина. Она была в коротком сером платье, таком же сером жакете и в круглой шляпке. Костюм для улицы, обычный для парижанки, признаться, совсем не шел к сказочной красоте Лейлы и казался маскарадным нарядом. И что же? Увидя ее именно такой, я почувствовал, что люблю ее беззаветной любовью. Я хотел догнать ее, но она исчезла среди прохожих и экипажей.

С этой минуты я больше не жил. Несколько раз я заходил к Полю, но не видел Лейлы. Поль принимал меня радушно, однако не упоминал о ней. Говорить нам было не о чем, и я уходил опечаленный, и вот однажды лакей Поля сказал мне: «Господина д'Эрви нет дома. Может быть, вам угодно видеть госпожу?» Я ответил: «Да». О мой отец! Одно слово, одно короткое слово, и нет таких кровавых слез, которые могли бы его искупить! Я вошел. Я застал ее в гостиной, она полулежала на диване, поджав под себя ноги, в желтом, как золото, платье. Я увидел ее... нет, я ничего не видел. У меня вдруг пересохло в горле, я не мог говорить. Аромат мирры и благовоний опьянил меня негой и желанием, словно моих трепещущих ноздрей коснулись все благоухания таинственного Востока. Нет, воистину она была женщиной не нашего естества; в ней не проявлялось ничего от человеческой природы. Лицо ее не выражало никакого чувства: ни доброго, ни злого, разве только сладострастие, одновременно чувственное и неземное. Она, конечно, заметила мое смущение и спросила голосом более прозрачным и чистым, чем журчание ручейков в лесу:

— Что с вами?

Я бросился к ее ногам и воскликнул, заливаясь слезами:

— Я люблю вас безумно!

Тогда она открыла мне объятия и озарила сладострастным и чистым взглядом.

— Почему вы не сказали этого раньше, мой друг!

Непередаваемые словами мгновения... Я сжимал Лейлу, лежащую в моих объятиях. И мне казалось, что мы оба уносимся в небо и заполняем его собою. Я чувствовал, что уподобился богу, что в душе у меня вся красота мира, вся гармония природы: звезды, цветы, леса с их песнями, и ручьи, и глубины морские. В свой поцелуй я вложил вечность.

При этих словах г-н Сафрак, слушавший меня уже некоторое время с заметным раздражением, встал, повернулся спиной к камину, приподняв до колен сутану, чтоб погреть

ноги, и сказал со строгостью, граничащей с презрением:

— Вы жалкий богохульник! Вместо того чтоб возненавидеть свой грех, вы исповедуетесь в нем только из гордыни и самоуслаждения! Я больше не слушаю вас!

От этих слов у меня на глазах навернулись слезы, и я стал просить у него прощения. Увидя, что раскаяние мое чистосердечно, он разрешил мне продолжать признания, поставив условием относиться без снисхождения к самому себе.

Я продолжал рассказ, как будет видно дальше, решив по возможности сократить его.

— Отец мой, я оставил Лейлу, терзаемый угрызениями совести. Но на следующий же день она пришла ко мне, и тут началась жизнь, исполненная блаженства и непереносимой муки. Я ревновал ее к Полю, которого обманул, и жестоко страдал. Не думаю, что на свете есть страдания унизительнее ревности, наполняющей душу нашу отвратительными картинами. Лейла даже не считала нужным прибегать ко лжи, чтоб облегчить эту пытку. Поведение ее вообще было необъяснимо... Я не забываю, что говорю с вами, и не позволю себе оскорбить слух такого почтенного пастыря. Скажу только, что Лейла казалась безучастной к радостям любви, которые дарила мне. Но она отравила все мое существо ядом сладострастия. Я не мог жить без нее и боялся ее потерять. Лейле было совершенно незнакомо то, что мы называем нравственным чувством. Это не значит, что она была зла или жестока; наоборот, она была нежной, кроткой. Она была умна, но ум ее отличался от нашего. Она была молчалива, отказывалась отвечать на вопросы о своем прошлом. Не знала того, что знаем мы. Зато знала то, что нам неизвестно. Выросши на Востоке, она помнила множество индийских и персидских легенд, которые с бесконечным очарованием передавала своим однозвучным голосом. Слушая ее рассказ о дивном утре вселенной, можно было подумать, что она современница юности мира. Я как-то заметил ей это, она, улыбаясь, ответила:

— Я стара, это правда!

Господин Сафрак, все так же не отходя от камина, с некоторых пор подался вперед, всей своей позой выражая самое живое внимание.

— Продолжайте, — сказал он.

— Несколько раз, отец мой, я спрашивал Лейлу о ее вере. Она отвечала, что религии у нее нет и что она ей не нужна; что ее мать и сестры — дочери бога, но не связаны с ним никакой религией. Она носила на шее ладанку со щепоткой глины, которую, по ее словам, она хранила из благоговейной любви к матери.

Едва я выговорил последние слова, как г-н Сафрак, бледный и дрожащий, вскочил с места и, сжав мне руку, громко крикнул:

— Она говорила правду! Я знаю, теперь я знаю, кто она! Ари, ваше чутье вас не обмануло, — это была не женщина. Продолжайте, продолжайте, прошу вас!

— Отец мой, я почти кончил. Увы, из любви к Лейле я расторг официальную помолвку, обманул лучшего друга. Я оскорбил бога. Поль, узнав о неверности Лейлы, обезумел от горя. Он грозил убить ее, но она кротко сказала:

— Попытайтесь, друг мой, я желала бы умереть, но не могу.

Полгода она принадлежала мне; потом в одно прекрасное утро заявила, что возвращается в Персию и больше меня не увидит. Я плакал, стонал, кричал:

— Вы никогда меня не любили!

Она ласково ответила:

— Не любила, мой друг. Но сколько женщин, которые любили вас не больше моего, не дали вам того, что дала я. Вы должны быть благодарны мне. Прощайте!

Два дня я переходил от бешенства к оцепенению. Потом, вспомнив о спасении души, поехал к вам, отец мой! Вот я перед вами. Очистите, поднимите, наставьте меня! Я все еще

люблю ее.

Я кончил. Г-н Сафрак задумался, подперев рукой голову. Он первый нарушил молчание:

— Сын мой, ваш рассказ подтверждает мои великие открытия. Вот что может смирить гордыню наших современных скептиков. Выслушайте меня! Мы живем сейчас в эпоху чудес, как первенцы рода человеческого. Слушайте же, слушайте! У Адама, как я вам уже говорил, была первая жена, о которой ничего не сказано в библии, но говорится в талмуде. Ее звали Лилит. Она была создана не из ребра Адама, но из глины, из которой был вылеплен он сам, и не была плотью от плоти его. Лилит добровольно рассталась с ним. Он не знал еще греха, когда она ушла от него и отправилась в те края, где много лет спустя поселились персы, а в ту пору жили преадамиты, более разумные и более прекрасные, чем люди. Значит, Лилит не была причастна к грехопадению нашего праотца, не была запятнана первородным грехом и потому избежала проклятия, наложенного на Еву и ее потомство. Над ней не тяготеют страдание и смерть, у нее нет души, о спасении которой ей надо заботиться, ей неведомы ни добро, ни зло. Что бы она ни сделала, это не будет ни хорошо, ни плохо. Дочери ее, рожденные от таинственного соития, бессмертны так же, как и она, и, как она, свободны в своих поступках и мыслях, ибо не могут ни сотворить угодное богу, ни прогневать его. Итак, мой сын, я узнаю по некоторым несомненным признакам, что это создание, которое толкнуло вас к падению, — Лейла, дочь Лилит. Молитесь, завтра я приму вашу исповедь.

Он на минуту задумался, потом вынул из кармана лист бумаги и сказал:

— Вчера, после того как я пожелал вам спокойной ночи, почтальон, опоздавший из-за снега, вручил мне грустное письмо. Господин первый викарий пишет, что моя книга огорчила архиепископа и омрачила в его душе радость праздника кармелитов^[21]. Это сочинение, по его словам, полно дерзких предположений и взглядов, уже осужденных отцами церкви. Его преосвященство не может одобрить столь вредоносных мудрствований. Вот что мне пишут. Но я расскажу его преосвященству ваше приключение. Оно докажет ему, что Лилит существует и что это не моя фантазия.

Я попросил у г-на Сафрака еще минуту внимания.

— Лейла, отец мой, уходя, оставила мне кипарисовую кору, на которой начертаны стилосом слова, не понятные мне. Вот этот своеобразный амулет.

Господин Сафрак взял легкую стружку, которую я ему подал, внимательно ее рассмотрел, затем сказал:

— Это написано на персидском языке эпохи расцвета, и перевод трудностей не представляет:

Молитва Лейлы, дочери Лилит

Боже, ниспошли мне смерть, дабы я оценила жизнь.

Боже, даруй мне раскаяние, дабы я вкусила от наслаждения.

Боже, сделай меня такой же, как дочери Евы!

I

Лета Ацилия жила в Массилии в царствование императора Тиберия^[23]. Уже несколько лет она была замужем за неким римским всадником по имени Гельвий, но еще не имела детей и страстно желала стать матерью. Однажды, подходя к храму, куда она шла помолиться богам, она увидела под портиком толпу полуголых людей, исхудалых, изъеденных проказой и язвами. В испуге женщина остановилась на первой же ступени. Лета была милосердна. Она жалела бедняков, но боялась их. К тому же она ни разу еще не встречала таких страшных нищих, как те, что толпились сейчас перед ней: озябшие, истомленные, уронив пустые суммы на землю, они едва держались на ногах. Лета побледнела и прижала руку к сердцу. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, что у нее нет сил ни шагнуть вперед, ни бежать обратно, но тут из толпы нищих вышла женщина ослепительной красоты и приблизилась к ней.

— Не бойся, женщина, — сказала незнакомка торжественным и мягким голосом. — Перед тобой не злодеи. Не обман, не обиду несут они с собой, но истину и любовь. Мы пришли из земли Иудейской, где сын божий умер и воскрес. Когда он воссел одесную отца, уверовавшие в него претерпели великие муки. Народ побил Стефана камнями^[24]. Нас же священники погрузили на корабль без ветрил и руля и пустили на волю волн морских, чтоб мы в них погибли. Но господь, возлюбивший нас во время земной своей жизни, благополучно привел судно к пристани этого города. Увы! Массалиоты скупы, жестокосердны и поклоняются идолам. Им не жаль учеников Иисусовых, умирающих с голоду и холоду. И если бы мы не нашли убежища под сводами этого храма, который они почитают священным, они уже ввергли бы нас в мрачные темницы. А между тем надо было бы радоваться нашему приходу, раз мы несем с собой благую весть.

Сказав так, чужестранка протянула руку и, указывая по очереди на каждого из своих спутников, сказала:

— Этот старец, который обращает к тебе, женщина, свой просветленный взор, — Седон, слепой от рождения, исцеленный учителем. Ныне Седон видит одинаково ясно и зримое и незримое. Тот, другой старец, борода которого бела, как снег горных высот, — Максимен. Вот тот человек, еще молодой, но уже такой усталый на вид, — мой брат. Он владел великими богатствами в Иерусалиме. Рядом с ним — Марфа, моя сестра, и Мантилла, верная служанка, которая в прошлые счастливые дни собирала маслины на холмах Вифании.

— А тебя, — спросила Лета Ацилия, — тебя, чей голос так нежен, а лицо так прекрасно, как зовут тебя?

— Меня зовут Марией Магдалиной. По золотому шитью на твоем платье и по невинной

гордости твоего взора я догадалась, что ты жена одного из виднейших горожан. Вот я и прибегаю к тебе, чтоб ты смягчила сердце твоего мужа и склонила его оказать милость ученикам Иисуса Христа. Скажи ему, человеку богатому: «Господин, они наги — оденем их, они голодны и мучимы жаждой — дадим им хлеба и вина, и бог воздаст нам в царствии своем за все то, что было взято у нас во имя его».

Лета ответила:

— Мария, я сделаю так, как ты говоришь. Моего мужа зовут Гельвием, он всадник и один из самых богатых жителей города. Никогда еще не приходилось мне долго просить его о чем-нибудь, потому что он любит меня. Теперь твои спутники, о Мария, уже не страшат меня, я не побоюсь пройти среди них, хотя язвы и разъедают их тело, и пойду в храм молить бессмертных богов, чтоб они исполнили то, о чем я прошу. Увы! До сего дня они отказывали мне в этом.

Мария, простерши обе руки, преградила ей дорогу.

— Стой, женщина! — воскликнула она. — Не поклоняйся ложным богам. Не жди от каменных истуканов слов надежды и жизни! Есть только один бог, и бог этот стал человеком, и я отерла ноги ему своими волосами.

При этих словах глаза ее, чернее неба в грозу, сверкнули молниями и слезами. И Лета Ацилия в глубине своего сердца подумала: «Я благочестива, я неуклонно выполняю все предписанные религией обряды, а эта женщина охвачена каким-то необъяснимым чувством божественной любви».

Магдалина же продолжала вдохновенно:

— Он был бог неба и земли и говорил притчами, сидя на скамье у двери дома, в тени старой смоковницы. Он был молод и прекрасен; он хотел быть любимым. Когда он приходил на вечерю в дом к моей сестре, я садилась у его ног, и слова лились из уст его, как воды потока. И когда сестра, сетуя на мою праздность, восклицала: «Учитель, скажи ей, чтобы она помогла мне приготовить трапезу», он кроткой улыбкой оправдывал меня, не гнал от ног своих и говорил, что я избрала благую часть. Его можно было принять за молодого пастуха, пришедшего с гор, но глаза его горели огнем, подобным тому огню, что исходил от чела Моисея. Кротость его напоминала тишину ночи, а гнев был страшнее грозы. Он любил смиренных и малых. Дети выбегали на дорогу навстречу ему и хватали край его одежды. Он был богом Авраама и Иакова. Теми самыми руками, что сотворили солнце и звезды, он гладил щечки новорожденных младенцев, которых радостные матери протягивали ему, стоя на пороге своих хижин. Он сам был прост, как дитя, и он воскрешал мертвых. Ты видишь здесь среди нас моего брата, которого он вызвал из гроба. Взгляни, о женщина, — на челе Лазаря еще лежит мертвенная бледность, а в глазах его ужас человека, видевшего загробный мир.

Но Лета Ацилия уже не слушала ее.

Она обратила к иудейке свой спокойный взор и бездумное чело.

— Мария, — сказала она, — я женщина благочестивая, преданная религии моих отцов. Нечестие вредно для нас, женщин. И не подобает супруге римского всадника обращаться к новым богам. Однако я признаю, что на Востоке есть милостивые боги. Твой бог, Мария, кажется мне, из их числа. Ты сказала, что он любил детей и целовал младенцев на руках у их молодых матерей. Я вижу, что он бог благожелательный к женщинам, и жалею, что он не в почете у знатных должностных лиц, иначе я бы охотно принесла ему в жертву медовые лепешки. Но послушай, Мария-иудейка, обратись к нему ты, ибо он любит тебя, и попроси за меня о том, о чем я не смею просить и в чем отказали мне мои богини.

Лета Ацилия произнесла эти слова нерешительным голосом. Она замолкла и покраснела.

— Что же это такое, — спросила с живостью Магдалина, — и чего недостает, женщина,

твоей смятенной душе?

Немного успокоившись, Лета Ацилия ответила:

— Мария, ты женщина, и, хотя я не знаю тебя, мне кажется, я могу доверить тебе мою женскую тайну. Я замужем уже шесть лет, и у меня все еще нет ребенка, и это великое горе. Мне нужен ребенок, чтоб любить его. Я ношу в сердце любовь к маленькому существу, которого жду и, может быть, никогда не дождусь. Я задыхаюсь от этой любви. Если твой бог, Мария, по твоему представительству исполнит то, в чем мои богини мне отказали, я поверю, что он добрый бог, и полюблю его, а тогда его полюбят и мои подруги, такие же, как я, молодые, богатые и принадлежащие к знатнейшим семействам в городе.

Магдалина ответила строго:

— Дочь римлян, когда ты получишь то, о чем просишь, не забудь обещание, данное мне, рабе Иисусовой.

— Не забуду, — ответила массалиотка. — А пока возьми этот кошелек, Мария, и раздай серебро, которое в нем, твоим спутникам. Прощай, я иду домой. Я распорядюсь, чтоб тебе и твоим спутникам принесли корзины с хлебом и мясом. Скажи брату, сестре и друзьям твоим, что они могут, не опасаясь, покинуть приют, в котором укрылись, и перебраться куда-нибудь в предместье на постоянный двор. Гельвий пользуется властью в городе и не допустит, чтоб их притесняли. Да хранят тебя боги, Магдалина! Когда ты захочешь вновь повидать меня, спроси любого прохожего, где живет Лета Ацилия, каждый укажет тебе мой дом.

II

И вот полгода спустя Лета Ацилия возлежала на пурпурном ложе во дворе своего дома и мурлыкала детскую песенку, которую когда-то певала ей мать. В бассейне, откуда выглядывали мраморные тритоны, весело журчала вода, и теплый ветерок ласково играл с шепчущей листвою старой чинары. Усталая, томная и счастливая, тяжелая, как пчела, вылетевшая из цветущего сада, молодая женщина сложила руки на своем округлившемся стане и, прервав песню, обвела взглядом все окружающее и вздохнула от счастья и гордости. У ее ног черные, желтые и белые невольницы усердно работали иглой, челноком и веретеном, готовя приданое для ожидаемого младенца. Лета, протянув руку, взяла крохотный чепчик, который, смеясь, подала ей черная старая невольница. Лета надела чепчик на свой сжатый кулачок и тоже рассмеялась. Это был расшитый золотом, серебром и жемчугом маленький пурпурный чепчик, роскошный, как сон бедной африканки.

Тут во внутренний двор вошла неизвестная женщина. На ней была одежда из цельного куска ткани, цветом своим напоминавшая дорожную пыль. Длинные волосы ее были посыпаны пеплом, но лицо, обожженное слезами, все еще сияло гордостью и красотой.

Рабыни, приняв незнакомку за нищую, поднялись, чтобы прогнать ее, но Лета Ацилия, узнав пришедшую с первого же взгляда, поспешила к ней навстречу и воскликнула:

— Мария, Мария, воистину ты избранница божия. Тот, кого ты любила на земле, услышал тебя на небесах и исполнил то, о чем я просила по представительству твоему. Вот смотри, — добавила она.

И она показала Марии чепчик, который держала еще в руке.

— Как я счастлива и как благодарна тебе!

— Я знала, что будет так, — ответила Мария Магдалина, — я пришла наставить тебя, Лета Ацилия, в истине Христова учения!

Тогда Лета Ацилия отослала невольниц и предложила иудейке сесть в кресло из слоновой кости, подушки которого были расшиты золотом. Но Магдалина с презрением отвергла кресло и села, поджав ноги, прямо на землю, под высокой чинарой, ветви которой тихо роптали при дуновении ветерка.

— Дочь язычников, — сказала Магдалина, — ты не презрела учеников господних. Они жаждали — и ты напоила их, они голодали — и ты насытила их. Потому-то я хочу, чтоб ты узнала Иисуса, как я его знаю, и возлюбила его, как я его люблю. Я была грешницей, когда впервые увидела его, прекраснейшего из сынов человеческих.

И она рассказала, как бросилась к ногам Иисуса в доме Симона Прокаженного и как вылила на стопы обожжаемого учителя весь нард, содержащийся в алебастровом сосуде. И потом она передала слова кроткого учителя, произнесенные им тогда в ответ на ропот его грубых учеников.

«Что смущаете вы эту женщину? — сказал он. — Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Она заранее умастила тело мое и приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где ни будет проповедано евангелие сие, в целом мире сказано будет о том, что она сделала, и за это ее восхвалят».

Потом Магдалина рассказала, как Иисус изгнал из нее семь бесов, которыми она была одержима, и прибавила:

— С тех пор, упоенная, сжигаемая радостями веры и любви, я жила подле учителя, как в новом раю.

Она говорила о полевых лилиях, которыми они вместо любовались, и о бесконечном единственном счастье — о счастье верить.

Потом она рассказала, как он был предан и распят ради спасения своего народа. Она вспоминала непередаваемые словами страсти господни, его положение во гроб и воскресение.

— Я первая увидела его! — воскликнула она. — Я застала двух ангелов в белых одеждах, одного в изголовье, другого в ногах, там, где было положено тело Иисуса. И они сказали мне: «Женщина, о чем ты плачешь?» — «Я плачу потому, что они взяли господа моего, и я не знаю, где положили его». О радость! Иисус шел ко мне, и я подумала сперва, что это садовник, но он позвал меня: «Мария», и я узнала его по голосу. Я воскликнула: «Учитель!» — и протянула руки, но он ответил мне кротко: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к отцу моему!»

Пока Лета Ацилия внимала рассказу Марии Магдалины, радость и душевный покой ее мало-помалу исчезали. Оглядываясь на себя, на свою жизнь, она находила ее такой однообразной по сравнению с жизнью этой женщины, которая любила бога. Для нее, молодой и благочестивой патрицианки, самыми примечательными были те дни, когда она угощалась лакомствами вместе со своими подругами. Игры в цирке, любовь Гельвия, рукоделье тоже заполняли ее существование. Но что все это в сравнении с теми воспоминаниями, коими Магдалина разжигала свои чувства и душу? Она ощутила вдруг, как ее сердце переполнилось горькой ревностью и смутными сожаленьями. Она завидовала божественным похождениям и даже неизъяснимым страданиям этой иудейки, знойная красота которой еще сияла под пеплом покаяния.

— Ступай прочь, иудейка, — крикнула она, стараясь удержать кулачками выступившие на глазах слезы. — Ступай прочь! Только что я была так спокойна! Я думала, что я счастлива.

Я не знала, что на свете есть иное счастье, чем то, которым наслаждалась я. Я не знала иной любви, кроме любви моего дорогого Гельвия, и иной святой радости, кроме служения богиням по примеру моей матери и бабушки. О, все было так просто! Злая женщина, ты хотела вселить в меня отвращение к хорошей жизни, которую я веду. Но тебе это не удалось... Зачем ты рассказываешь мне о твоей любви к какому-то видимому богу? Зачем хвастаешься передо мной, что видела воскресшего учителя, раз я его не увижу? Ты надеялась испортить мне даже радость материнства! Это гадко! Не хочу я знать твоего бога! Ты его слишком любила; чтоб угодить ему, нужно пасть к его ногам, разметаив волосы. Это неприличествует жене всадника. Гельвий прогневался бы, если бы я стала так поклоняться богу. Не надо мне веры, которая портит прическу. Нет, я ни за что не расскажу о твоём Христе ребёнку, которого ношу под сердцем. Если это маленькое создание будет девочкой, я научу ее любить наших глиняных богинь с пальчик величиной, и она без страха будет в них играть. Вот какие божки нужны матерям и детям. Какая дерзость хвастаться твоими любовными приключениями и приглашать меня принять в них участие! Разве может твой бог стать моим богом? Я не вела жизни блудницы. Не была одержима семью бесами, не шаталась по дорогам, я женщина уважаемая, — ступай прочь...

Магдалина, убедившись, что обращение неверных — не её призвание, удалилась в дикую пещеру, названную впоследствии Святой. Агиографы единогласно утверждают, что Лета Ацилия обратилась в христианскую веру только много лет спустя, после той беседы, которую я точно передал.

* * *

Заметки по поводу толкования одного места Св. Писания

Некоторые читатели упрекают меня, что я ошибся, назвав Марию из Вифании, сестру Марфы, — Марией Магдалиной. Прежде всего должен согласиться, что евангелие, по-видимому, считает Марию, пролившую благовония на ноги Иисуса, и Марию, которой учитель сказал: «Noli me tangere»^[25] двумя разными женщинами. Здесь я признаю правоту тех, кто сделал мне честь, указав на мою ошибку. В их числе была и некая княгиня православного вероисповедания. Это меня не удивляет. Греки во все времена различали двух Марий. Между тем западная церковь рассматривала этот вопрос иначе. Она, наоборот, очень рано начала отождествлять Марию — сестру Марфы — с Марией-блудницей. Это не согласовано с евангельскими текстами, но трудности, возникающие при чтении текстов, смущают обычно только ученых. Народная поэзия более гибка, чем наука; она не останавливается ни перед чем, умеет обходить препятствия, на которые наталкивается критическая мысль. Благодаря такому счастливому свойству народная фантазия слила воедино обеих Марий и создала чудесный образ Магдалины. Легенда освятила его, а я в своем коротеньком рассказе вдохновился легендой и считаю, что абсолютно прав. Но это не все. Я могу еще сослаться на авторитет ученых. Не хвастая, скажу, что на моей стороне Сорбонна. 1 декабря 1521 года она заявила, что существовала только одна Мария.

Доктор N. поставил чашку на камин, бросил сигару в огонь и сказал:

— Друг мой, я помню, вы говорили о странном случае самоубийства одной женщины^[27], доведенной до этого страхом и угрызениями совести. Это была образованная, с утонченными чувствами женщина. Ее заподозрили в том, что она была соучастницей в преступлении, тогда как она оказалась лишь его немой свидетельницей; и, доведенная до отчаяния мыслью о том, что всему виной ее непоправимое малодушие, преследуемая кошмарами, в которых видела своего убитого и уже тронутого тлением мужа, указывающего на нее пальцем любопытным судьям, она стала безвольной жертвой своего больного воображения. И вот одно случайное и совсем незначительное обстоятельство решило ее судьбу. С ней жил ее племянник, школьник. Как-то утром он, как обычно, готовил в столовой уроки. Там же находилась и она. Мальчик переводил слово за словом стихи Софокла. Он произносил вслух по мере того, как писал греческие и французские слова: *Kára theíon* — божественная голова; *Ἰοκάστης* — Иокасты; *τέθνηκεν* — мертва... *Σπῶσα κόμην* — вырывая волосы; *καλεῖ* — она призывает; *Λάϊον νεκρόν* — мертвого Лайя...; *Ἐσείδονεν* — мы увидели; *τὴν γυναῖκα κρεμασμένην* — женщину, которая повесилась. Поставив точку, да так, что прорвалась бумага, мальчуган высунул измазанный чернилами язык и запел: «Повесилась! Повесилась! Повесилась!» Несчастливая женщина, воля которой была подавлена, послушно подчинилась внушению трижды повторенного слова. Она поднялась и молча, ни на кого не глядя, пошла к себе в спальню. Несколько часов спустя полицейский комиссар, вызванный, чтобы констатировать насильственную смерть, глубокомысленно заметил: «Немало привелось мне видеть женщин-самоубийц, но удавленницу вижу впервые».

Много толкуют о внушении. Рассказанный случай — как раз пример естественного и вполне правдоподобного внушения. Что там ни говори, я не очень-то доверяю внушениям, применяемым в лечебных целях. Однако признаю несколько не противоречащим разуму и не раз подтвержденным жизнью то, что человек, в котором убита воля, легко поддается малейшему воздействию извне. Приведенный вами случай напомнил мне о другом, аналогичном ему. Я имею в виду моего несчастного друга детства Александра Леманселя. Вашу героиню погубила строфа Софокла; моего товарища, о котором я вам сейчас расскажу, доконала фраза Лампридия.

Лемансель, с которым я учился в авраншском лицее, не был похож на своих сверстников. Он казался моложе и вместе с тем старше своих лет. Маленький и тщедушный, он в пятнадцать лет боялся того, чего обычно страшатся маленькие дети. Он не мог побороть страха перед темнотой. Разражался слезами при виде одного из служителей лицея, у которого на макушке была большая шишка. Но порой, если приглядеться к нему как следует, он казался почти стариком. Сухая, словно присохшая к вискам кожа худосочного человека и жиденькие волосы; лоснящийся, как у пожилых людей, лоб. И какой-то невидящий взгляд. Посторонние не раз принимали его за слепого, Только рот оживлял все лицо. Он был очень подвижен и выражал то детскую радость, то тайное страдание. Звук его голоса был чист и приятен. И когда, отвечая урок, он декламировал стихи, он читал их нараспев и отчеканивал ритм, чем

очень смешил нас. Во время перемен Александр охотно принимал участие в наших играх; он был довольно ловок, но вносил в игры какой-то лихорадочный пыл; все его движения напоминали лунатика, и это возбуждало во многих его товарищах непреодолимую антипатию. Его не любили. И он стал бы нашим козлом отпущения, если бы мы не испытывали уважения к его гордой нелюдимости и славе сильного ученика. Несмотря на неровность в занятиях, Александр часто оказывался во главе всего класса. Уверяли, что он разговаривает по ночам и даже бродит во сне. Однако собственными глазами никто этого не видел: все мы были в том возрасте, когда сон особенно крепок.

Долгое время Александр вызывал во мне скорее удивление, нежели симпатию. Подружились же мы совсем неожиданно во время экскурсии нашего класса в аббатство Мон-Сен-Мишель^[28]. Мы шагали босиком по берегу моря, перекинув через плечо палку, на которой висели башмаки и узелки с хлебом, и распевали во всю глотку. Мы прошли потайным ходом и, бросив свои пожитки возле пушек, уселись рядком на одну из этих старинных железных бомбард, уже пять веков ржавеющих под дождями и солеными брызгами прибоя. И тогда, переведя свой блуждающий взгляд с древних камней на небо и болтая босыми ногами, Лемансель сказал:

— Ах! Если бы я жил во времена этих войн и был рыцарем! Я захватил бы две пушки... двадцать пушек... сто пушек... все пушки захватил бы у англичан! Я сражался бы один у потайного хода. А над моей головой парил бы архистратиг Михаил в виде белого облака.

Слова эти и певучий тон, которым они были произнесены, глубоко меня потрясли. Я сказал: «... А я был бы твоим оруженосцем. Ты мне очень нравишься, Лемансель! Хочешь со мной дружить?» Я протянул ему руку, и он торжественно ее пожал.

Тут учитель велел нам обуться, и наш маленький отряд стал взбираться по узенькой и крутой тропинке, ведущей в аббатство. На полдороге, возле ползучей смоковницы, мы увидели домик, в котором под вечной угрозой моря жила Тифания Рагенель, вдова Бертрана дю Геклена^[29]. Жилище это такое тесное, что просто диву даешься, как мог там поместиться человек. Должно быть, старушка Тифания была совсем крохотной старушкой, пожалуй даже святой, довольствовавшейся одною духовною пищей.

Лемансель широко открыл объятия, словно желая заключить в них эту ангельскую обитель, потом, опустившись на колени, стал целовать камни, не обращая внимания на хохот товарищей, которые, расшалившись, принялись швырять в него камешками. Не буду рассказывать о нашем осмотре карцеров монастыря, его зал, часовни. Лемансель, казалось, не видел ничего вокруг. Да и вообще я привел этот эпизод лишь для того, чтобы показать, как завязалась наша дружба.

На следующую ночь в дортуаре меня разбудил чей-то шепот: «Тифания не умерла». Протерев глаза, я увидел возле себя Леманселя в одной ночной сорочке; я попросил оставить меня в покое и опять уснул, забыв и думать о его странных словах.

Начиная с того дня передо мной все больше и больше раскрывался характер товарища, и совершенно неожиданно я обнаружил в нем непомерную гордость. Вас не удивит, конечно, если я скажу, что в пятнадцать лет я был неважным психологом. Да к тому же и гордость Леманселя была слишком неуловима и не бросалась в глаза с первого взгляда. Она никогда не принимала осязаемой формы, ограничиваясь областью мечтаний. Но вместе с тем ею были насквозь проникнуты все чувства моего друга, она как бы придавала единство его причудливым и непоследовательным мыслям.

Вскоре после экскурсии в Мон-Сен-Мишель во время каникул Лемансель пригласил меня провести денек в Сен-Жюльене, где у его родителей была небольшая усадьба. Мать отпустила меня неохотно: Сен-Жюльен находится в шести километрах от города. Но как бы

то ни было, в одно из воскресений я с раннего утра нарядился в белый жилет и голубой галстук и отправился к своему приятелю.

Александр встретил меня на пороге дома, улыбаясь детски ясной улыбкой. Он взял меня за руку и ввел в «залу». Дом, полугородской, полудеревенский, был не беден и прилично обставлен. Но, когда я вошел, у меня болезненно сжалось сердце — такая царила в нем тишина и грусть. У окна, занавеска на котором была слегка приподнята, будто из него только что выглядывал кто-то с робким любопытством, стояла женщина, с первого взгляда показавшаяся мне старухой. Однако я не поручился бы, что она действительно была такой старой, как мне тогда показалось. Она была очень худа и желта; глаза ее в глубоких черных орбитах лихорадочно блестели из-под красных век. И хотя стояло лето, она буквально утопала в темной шерстяной одежде. Особенно поражал в ее внешности тонкий металлический обруч, словно диадема охватывавший ее лоб.

— Это мама, — сказал Лемансель. — У нее мигрень.

Госпожа Лемансель поздоровалась со мной жалобным голосом и, должно быть, заметив, как удивленно я смотрел ей на лоб, сказала с улыбкой:

— Не подумайте, молодой человек, что это корона; это просто магнитный обруч от головной боли.

Но, пока я подыскивал ответ полубезней, Александр позвал меня в сад. Там мы увидели лысого человечка, который бесшумно шмыгал по дорожкам. Глядя на него, казалось, что его вот-вот сдует ветром, так он был хрупок и тощ. Боязливые повадки, длинная жилистая шея, которую он то и дело вытягивал вперед, маленькая, с кулачок, головка, манера глядеть как-то вбок, походка вприпрыжку, коротенькие ручки, согнутые в локтях и оттопыренные, словно крылья, — все это придавало ему удивительное, можно сказать какое-то непостижимое сходство с ошипанным цыпленком...

Мой друг объяснил мне, что это его папа и что не надо его задерживать; пусть идет на птичий двор, где он проводит почти все время в обществе кур, так что даже отвык разговаривать с людьми. Пока Александр говорил, отец его исчез, и вскоре воздух огласился радостным кудахтаньем: господин Лемансель был на птичьем дворе.

Походив со мной по саду, мой друг предупредил меня, что сейчас за обедом я увижу его бабушку, добавив, что она очень добрая старушка, не надо только обращать внимания на ее слова, потому что временами она заговаривается. Потом он повел меня в хорошенькую беседку и, покраснев, прошептал на ухо:

— Я сочинил стихи о Тифании Рагенель. Я прочту их тебе в другой раз! Непременно прочту!

В это время позвонили к обеду. Мы вернулись в залу. Вслед за нами пришел и г-н Лемансель-отец с полной корзинкой яиц.

— Восемнадцать штук за утро, — прокудахтал он.

Подали очень вкусный омлет. Я сидел между госпожой Лемансель в железном венце, которая то и дело вздыхала, и ее матерью, толстощекой нормандкой, у которой не было больше зубов и потому она улыбалась глазами. Она показалась мне очень симпатичной. Пока ели жареную утку и курицу под белым соусом, милая старушка развлекала нас занятными рассказами, и я ни разу не заметил, чтобы она заговаривалась. Напротив, она казалась душой всего дома.

После обеда мы перешли в маленькую гостиную, которая была обставлена ореховой мебелью, обитой желтым плюшем. На камине между двумя подсвечниками красовались фигурные часы. На их черной подставке под стеклянным колпаком, покрывавшем часы, лежало красное яйцо. Сам не знаю почему, но я принялся его внимательно разглядывать.

Детям свойственно такое беспричинное любопытство. Правда, надо сказать, яйцо было великолепного и совершенно необычного цвета, оно ничуть не походило на окрашенные свекольным соком, буроватые пасхальные яйца, которыми так восхищаются ребяташки перед витринами зеленщиков. Это яйцо было пурпурное, как императорская порфира. С присущей моему возрасту нескромностью я не сдержал удивления.

Господин Лемансель-отец ответил чем-то вроде петушиного кукареканья, что свидетельствовало о его восторге.

— Вы, кажется, думаете, молодой человек, что это яйцо окрашено, — сказал он. — Вовсе нет. Его снесла таким, как вы его видите, моя цейлонская курица. Это чудесное яйцо.

— И не забудь добавить, мой друг, что она снесла его как раз в день рождения нашего Александра, — тоном страдальцы заметила г-жа Лемансель.

— Верно! — согласился г-н Лемансель.

Бабушка же лукаво поглядела на меня и, поджав губы, недоверчиво покачала головой.

— Гм! Куры-то часто сидят не на своих яйцах, особенно если проказник-сосед подсунет в гнездо... — пробормотала она.

Внук резко перебил ее.

— Не слушай! Не слушай! — крикнул он. — Я же тебе говорил!..

Он побледнел, от волнения у него дрожали руки.

— Верно, — повторил г-н Лемансель и покосился круглым глазом на пурпурное яйцо.

Дальнейшая наша дружба с Александром Леманселем не представляет ничего интересного. Он часто говорил о своих стихах, посвященных Тифании, но так и не показал их мне. К тому же мы вскоре расстались и я потерял его из виду. Мать отправила меня заканчивать образование в Париж. Я сдал там два экзамена на степень бакалавра и поступил на медицинский факультет. И вот, когда я работал над докторской диссертацией, мать написала мне, что Александр перенес тяжелую болезнь и в результате острого кризиса стал необычайно мнителен и пуглив, но, впрочем, безобиден, и что душевное расстройство и плохое здоровье не мешают ему проявлять исключительные способности к математике. Меня это ничуть не удивило. Сколько уж раз, изучая болезни центральной нервной системы, я вспоминал о своем сен-жюльенском друге и невольно предсказывал общий паралич этому несчастному отпрыску вечно страдающей мигренью матери и отца-микроцефала.

Первое время казалось, что я ошибся. Как мне сообщили из Авранша, Александр Лемансель, достигнув зрелого возраста, выздоровел и проявил блестящие способности. Он значительно преуспел в занятиях математикой, даже послал в Академию наук свое решение нескольких нерешенных уравнений, которое было признано вполне верным и не менее изящным. Работа поглощала все его время, и он писал мне очень редко. Письма его были сердечны, ясны, разумны; даже самый придирчивый невропатолог не нашел бы в них ничего подозрительного. Вскоре, однако, переписка наша оборвалась, и я целых десять лет ничего о нем не слышал.

Вообразите же мое удивление, когда в прошлом году лакей доложил мне, что меня желает видеть какой-то господин, и подал визитную карточку Александра Леманселя. Извинившись перед коллегой, с которым мы обсуждали в это время важный профессиональный вопрос, я оставил его на минуту одного в кабинете и выбежал поздороваться со своим школьным товарищем. Александр сильно состарился, облысел, побледнел, исхудал. Я взял его под руку и провел в гостиную.

— Очень рад тебя видеть, — сказал он. — Мне о многом надо поговорить с тобой. Меня жестоко преследуют. Но ничего, я не из робких, я буду бороться и одолею моих врагов!

Его слова сильно меня встревожили, как встревожили бы любого невропатолога, будь он

на моем месте.

Я увидел в них симптом душевного недуга, угрожавшего моему товарищу в силу рокового закона наследственности; развитие болезни, по-видимому, только временно приостановилось.

— Да, да! Мы непременно обо всем поговорим, — ответил я. — Подожди здесь минутку. Вот покончу только с одним делом и вернусь. А чтобы не скучать, возьми какую-нибудь книгу.

Как вы знаете, у меня множество книг и в гостиной. В трех шкафах красного дерева стоит до шести тысяч томов. Почему же, спрашивается, мой несчастный друг взял именно ту книгу и раскрыл ее именно на той злосчастной странице, которая окончательно погубила его? Минут двадцать спустя я распростился с коллегой и вышел в приемную, где оставил Леманселя. Он был в ужасном состоянии. Он ударил ладонью по лежащей перед ним раскрытой книге, в которой я узнал перевод «Жизнеописания императора Августа», и громко прочитал следующую фразу Лампридия: «В день рождения Александра Севера курица, принадлежащая его отцу, снесла красное яйцо, предзнаменование императорской порфиры, которая суждена новорожденному».

Возбуждение Александра граничило с безумием. Он был вне себя. Он громко выкрикивал: — Яйцо! Яйцо, снесенное в день моего рождения! Я император. Я знаю, ты хочешь меня убить! Не приближайся ко мне, злодей! — Он метался по комнате. Потом, остановившись вдруг передо мной и широко раскрыв объятия, воскликнул: — Друг мой! Мой старый товарищ! Проси у меня всего, чего хочешь!.. Ведь я император!.. Император... Прав был отец... Пурпурное яйцо... Так и есть... Император... Злодей! Как ты смел утаить от меня эту книгу? Я жестоко покараю тебя за государственную измену... Я император... Император! Да, я должен стать императором... Это мой долг! Да, долг...

Он ушел. Напрасно я старался удержать его. Он вырвался и убежал. Остальное вам известно. Во всех газетах рассказывалось, как, выйдя от меня, он купил револьвер и застрелил часового, который преградил ему доступ в Елисейский дворец.

Так фраза, написанная латинским историком четвертого века, послужила пятнадцать веков спустя причиной смерти ни в чем не повинного французского солдата. Попробуйте-ка распутать сложный клубок причин и следствий! Попробуйте, совершая какой-нибудь поступок, с уверенностью сказать: «Я знаю, что я делаю». Вот и все, мой друг, что я хотел вам рассказать. Конец этой истории представляет интерес разве лишь для медицинской статистики и может быть передан в нескольких словах: Александра Леманселя поместили в психиатрическую больницу, где он в течение полумесяца буйствовал, а затем впал в идиотизм, сопровождавшийся страшной прожорливостью: он поедая даже воск для натирки полов. Три месяца тому назад он задохся, подавившись губкой.

Доктор умолк и закурил папиросу.

— Вы рассказали нам страшную историю, доктор! — сказал я, немного помолчав.

— Да, история страшная, но зато подлинная, — ответил он. — Я бы не отказался от рюмки коньяку.

Глава I, которая повествует о лице земли и служит предисловием

Море поглотило ныне тот край, где некогда простиралось герцогство Кларидское. Нет никаких следов ни города, ни замка. Но говорят, что на расстоянии лье от берега в ясную погоду можно разглядеть в глубине огромные стволы деревьев. А одно место на берегу, где стоит таможенный кордон, до сих пор называется «Портняжка игла». Весьма вероятно, что это название сохранилось в память некоего мастера Жана, о котором вы еще услышите в этом рассказе. Море с каждым годом все дальше наступает на сушу и скоро покроет и это место, что носит такое странное наименование.

Такие изменения — в природе вещей. Горы с течением времени оседают, а дно морское, наоборот, поднимается и несет с собой в царство туманов и вечных льдов раковины и кораллы.

Ничто не вечно. Лицо земли и очертания морей меняются беспрестанно. Только одно воспоминание о душах и формах проходит сквозь века и показывает нам как живое то, чего давным-давно уже нет.

Рассказывая вам о Клариде, я хочу повести вас в очень далекое прошлое. Итак, начинаю. Графиня де Бланшеланд надела на свои золотые волосы черную шапочку, шитую жемчугом...

Но прежде чем продолжать свой рассказ, я умоляю всех серьезных людей не читать меня ни в каком случае. Это написано не для них. Это написано отнюдь не для тех рассудительных душ, которые презирают безделки и хотят, чтобы их вечно наставляли. Я осмелюсь предложить этот рассказ только тем, кто любит, чтобы их забавляли, у кого рассудок юн и не прочь поиграть. Только те, кого могут радовать самые невинные забавы, и прочтут меня до конца. И вот их-то я и прошу, чтобы они рассказали мою *Пчелку* своим детям, если у них есть малыши. Мне хочется, чтобы этот рассказ понравился маленьким мальчикам и девочкам, но, по правде сказать, я не смею на это надеяться. Он слишком легкомыслен для них и хорош только для детей добрых старых времен. У меня есть премиленькая соседка девяти лет. Как-то раз я заглянул в ее библиотеку; я нашел там много книг о микроскопе и зоофитах и несколько научных романов. Я открыл один из них и попал на следующие строки: «Каракатица *Sepia officinalis* представляет собою разновидность головоногого моллюска, в теле которого имеется губчатый орган, состоящий из хитина и углекислой извести». Моя хорошенькая соседка считает, что это страшно интересный роман. И я умоляю ее, если она не хочет, чтобы я умер со стыда, никогда не читать рассказ про *Пчелку*.

Глава II, где говорится о том, что предсказала графине де Бланшеланд белая роза

Графиня де Бланшеланд надела на свои золотые волосы черную шапочку, шитую жемчугом, и, опоясавшись крученым поясом, какой полагается носить вдовам, вошла в

часовню, где она имела обыкновение молиться каждый день за душу своего супруга, убитого в поединке со страшным великаном Ирландским.

И тут она увидала, что на подушке ее аналая лежит белая роза; увидев это, графиня побледнела, взгляд ее затуманился, она запрокинула голову и заломила руки. Ибо она знала, что когда графине де Бланшеланд приходит время умереть, она находит на своем аналое белую розу.

Когда она поняла, что для нее настал час покинуть этот мир, где ей за такой недолгий срок выпало на долю стать супругой, матерью и вдовой, она пошла в детскую; там спал ее сын Жорж под присмотром служанок. Ему было три года, длинные ресницы бросали прелестную тень на его щечки, а ротик у него был как цветок. И когда она увидала, что он такой маленький и хорошенький, она заплакала.

— Сыночек мой, — сказала она упавшим голосом, — дорогой мой мальчик, ты не будешь знать меня, и мой образ навсегда исчезнет из твоих милых глазок. А ведь я кормила тебя своим молоком, потому что хотела быть тебе настоящей матерью, и из любви к тебе я отказывала самым прекрасным рыцарям.

С этими словами она поцеловала медальон, где был ее портрет и прядь ее волос, и надела его на шею сына. И слеза матери упала на щечку ребенка, который заворочался в постельке и стал тереть себе глаза кулачками. Но графиня отвернулась и тихонько вышла из комнаты. Разве очи ее, которым суждено было вот-вот закрыться, могли вынести блестящий взор этих обожаемых глазок, где уже начинал светиться разум?

Она велела оседлать лошадь и в сопровождении своего оруженосца Верное Сердце отправилась в замок Кларидов.

Герцогиня Кларидская встретила графиню де Бланшеланд с распростертыми объятиями.

— Какой счастливый случай привел вас ко мне, моя прелесть?

— Случай, который привел меня к вам, совсем не счастливый; выслушайте меня, мой друг. Мы с вами вышли замуж вскоре одна после другой и обе овдовели при одинаковых обстоятельствах. Потому что в наше рыцарское время лучшие погибают первыми, и надобно быть монахом, чтобы жить долго. Я уже два года была матерью, когда и вы стали ею. Ваша дочка Пчелка хороша, как ясный день, а мой крошка Жорж добрый мальчик. Я люблю вас, и вы любите меня. Так вот, знайте, я нашла белую розу на подушке моего аналая. Я должна умереть: я оставляю вам моего сына.

Герцогине было известно, что предвещает белая роза дамам де Бланшеланд. Она заплакала и, обливаясь слезами, обещала воспитать Пчелку и Жоржа, как брата с сестрой, и никогда ничего не давать одному из них, не разделив с другим.

И тут обе женщины, обнявшись, подошли к колыбели, где под легким голубым, как небо, пологом спала маленькая Пчелка, и она, не раскрывая глаз, зашевелила ручонками. И, когда она раздвинула пальчики, казалось, из каждого рукавчика протягиваются пять розовых лучиков.

— Он будет защищать ее, — сказала мать Жоржа.

— А она будет любить его, — промолвила мать Пчелки.

— Она будет любить его, — повторил звонкий голосок, и герцогиня узнала голос духа, который давно уже жил в замке под очагом.

Графиня де Бланшеланд, вернувшись в замок, раздала свои драгоценности верным служанкам и, умастившись ароматными маслами, облеклась в лучшие одежды, дабы достойным образом украсить эту плоть, коей предстоит воскреснуть в день последнего суда; затем она легла на свое ложе и уснула, чтобы больше никогда не просыпаться.

Глава III, в которой начинается любовь Жоржа де Бланшеланд и Пчелки Кларидской

В противность обычной судьбе, которая дает человеку в дар или более доброты, нежели красоты, или более красоты, нежели доброты, герцогиня Кларидская была столь же добра, сколь и хороша собою, а она была так хороша, что стоило только какому-нибудь принцу увидеть ее портрет, как он сейчас же предлагал ей руку и сердце. Но на все предложения она отвечала:

— Только один супруг был у меня и будет, потому что у меня только одна душа.

Но все же по прошествии пяти лет траура она сняла свое длинное покрывало и черные одежды, чтобы не омрачать радости окружающим и чтобы люди могли, не стесняясь, смеяться и веселиться в ее присутствии. Герцогство Кларидское включало в себя обширные земли с пустынными равнинами, покрытыми вереском, озерами, где рыбаки ловили рыбу, — а там водились и волшебные рыбы, — и горами, вздымавшимися в страшных ущельях над подземными странами, где обитали гномы.

Герцогиня правила Кларидами, руководясь советами старого монаха, бежавшего из Константинополя, который видел на своем веку много жестокости и коварства и не слишком верил в мудрость человеческую. Он жил, запершись в башне со своими книгами и птицами, и оттуда подавал советы, придерживаясь небольшого количества правил. А правила эти были такие: никогда не вводить вновь вышедший из употребления закон; уступать голосу народа, дабы избежать смут, но уступать ему сколь возможно медлительно, ибо стоит только допустить одну реформу, как люди потребуют другой, и господству вашему придет конец, если вы уступите слишком скоро, равно как и в том случае, если вы будете противиться слишком долго.

Герцогиня предоставляла ему править страной, так как сама ничего не понимала в политике. Она была сострадательна к людям и, если и не могла уважать всех на свете, жалела тех, кто имел несчастье быть дурным. Она помогала несчастным всем, чем могла, посещала больных, утешала вдовиц и давала приют сиротам.

Свою дочку, Пчелку, она воспитывала с трогательной мудростью. Внушив ей, что удовольствие можно находить только в хороших поступках, она никогда не отказывала ей в удовольствиях.

Эта прекрасная женщина сдержала обещание, данное ею бедной графине де Бланшеланд. Она была настоящей матерью Жоржу и не делала никакого различия между Пчелкой и им. Они росли вместе, и Жоржу нравилась Пчелка, хотя она и была слишком мала. Однажды, когда они были еще совсем маленькие, он подошел к ней и сказал:

— Хочешь, поиграем?

— Хочу, — сказала Пчелка.

— Будем делать песочные пирожки, — сказал Жорж.

И они стали делать пирожки. Но у Пчелки пирожки выходили плохие, и он шлепнул ее по пальцам лопаткой. Пчелка пронзительно вскрикнула, а оруженосец Верное Сердце, который прогуливался по саду, сказал своему юному господину:

— Даму ударить — поступок, недостойный графа де Бланшеланд, монсеньер.

Жоржу страшно захотелось воткнуть в оруженосца свою лопатку, но так как это было сопряжено с неодолимыми трудностями, он ограничился тем, что уткнулся носом в толстое

дерево и громко заплакал.

А Пчелка в это время, стараясь не отстать от него, изо всех сил терла глаза кулачками, чтобы вызвать слезы, и, наконец, в горьком отчаянье уткнулась носом в соседнее дерево. И когда спустились сумерки, Пчелка и Жорж все еще стояли и плакали, каждый у своего дерева. Тогда герцогине Кларидской пришлось вмешаться самой, взять одной рукой за руку свою дочку, а другою — Жоржа и увести их в замок. Глаза у них были красные, носы красные, щеки лоснились; они так вздыхали и сопели, что на них было жалко смотреть. Поужинали они с большим аппетитом, после чего их уложили в постельки, но как только потушили свечу, они выскочили словно маленькие призраки, оба в ночных рубашонках, обнялись и начали громко хохотать.

Так началась любовь Пчелки Кларидской и Жоржа де Бланшеланд.

Глава IV, которая посвящена воспитанию вообще и воспитанию Жоржа в частности

Жорж рос в замке вместе с Пчелкой, которую он по дружбе называл сестрой, хотя и знал, что она не сестра ему.

У него были учителя фехтованья, верховой езды, плавания, гимнастики, танцев, псовой охоты, соколиной охоты, игры в мяч — словом, его обучали всевозможным искусствам. У него был даже учитель каллиграфии. Это был старый писец, смиренный с виду и весьма гордый в душе; он обучал его письму, которое тем труднее было прочесть, чем оно было красивее. Жоржу доставляли мало удовольствия, а следовательно, и мало пользы уроки старого писца, впрочем так же, как и уроки монаха, который учил его грамматике и донимал варварской терминологией; Жорж не понимал, зачем это надо тратить столько усилий на изучение языка, на котором говоришь от рождения и который называется родным языком.

Ему было хорошо только с оруженосцем Верное Сердце, который немало шатался по белу свету, знал нравы людей и животных, рассказывал о разных странах и сочинял песенки, только не умел записать их. Верное Сердце был единственным из наставников Жоржа, научившим его кое-чему, потому что он был единственным, кто его действительно любил, а ведь уроки только тогда и приносят пользу, когда вас наставляют с любовью. Но эти двое очкастых — учитель каллиграфии и учитель грамматики, — хоть они и ненавидели друг друга от всего сердца, все же объединились в общей ненависти к старому оруженосцу, которого они обвиняли в пьянстве.

Правда, Верное Сердце частенько захаживал в харчевню «Оловянная кружка», ибо там он забывал свои горести и сочинял песенки. Конечно, он поступал нехорошо.

Гомер сочинял стихи получше Верного Сердца, а Гомер ничего не пил, кроме родниковой воды. А что до огорчений, так ведь у кого же их нет? А если что и помогает забыть о них, так не выпитое вино, а добро, которое делаешь другим. Но Верное Сердце был старый человек, поседевший на ратной службе, преданный и достойный слуга, и обоим учителям — каллиграфии и грамматики — следовало бы помалкивать о его слабостях, а не доносить о них герцогине, да еще прибавляя от себя.

— Верное Сердце — пьяница, — говорил учитель каллиграфии. — Когда он плетется домой из харчевни «Оловянная кружка», он выписывает ногами кренделя на дороге, и это все, что он умеет писать, госпожа моя герцогиня, потому что этот пьяница — истинный

осел.

А учитель грамматики добавлял:

— Верное Сердце распевает, пошатываясь, песенки, которые пренебрегают правилами стихосложения и не следуют никаким образцам. Он понятия не имеет о синекдохе, госпожа моя герцогиня.

Герцогиня терпеть не могла доносчиков и педантов. Она сделала то, что всякий из нас сделал бы на ее месте: сначала она просто не слушала их, а затем, так как они без устали повторяли свои доносы, она в конце концов поверила им и решила удалить Верное Сердце. Однако, желая сделать его изгнание почетным, она послала его в Рим за папским благословением. Путешествие это для Верного Сердца было тем более длительно, что множество харчевен, часто посещаемых музыкантами, отделяло герцогство Кларидское от апостольского града.

Из продолжения рассказа вы увидите, как скоро герцогине пришлось пожалеть, что она лишила детей их самого верного стража.

Глава V, в которой рассказывается о том, как герцогиня отправилась с Пчелкой и Жоржем в монастырь, и о том, как они встретились там с ужасной старухой

В это утро, — а это было первое воскресенье после пасхи, — герцогиня выехала из замка на своем рослом рыжем коне; рядом с ней по левую руку ехал Жорж де Бланшеланд, — под ним был черный как смоль конь со звездой во лбу, а справа — Пчелка на буланой лошадке с розовыми поводьями. Они ехали к обедне в отдаленный монастырь, позади следовала почетная стража с копьями, а народ толпами выходил навстречу, чтобы полюбоваться на них. И в самом деле, все трое были на диво хороши! Герцогиня под своим покрывалом, вышитым серебряными цветами, и в развевающемся плаще была необыкновенно пленительна и величественна, а жемчуга, которыми была вышита ее шапочка, излучали мягкий блеск, столь же гармонирующий с ее прелестным лицом, сколь и с прекрасной душой этой достойной особы; рядом с ней Жорж с развевающимися кудрями и живым взором выглядел совсем молодцом, а по другую сторону Пчелка радовала взор нежными и чистыми красками своего личика; но всего восхитительнее были ее белокурые волосы, перехваченные лентой с тремя золотыми цветочками и ниспадавшие ей на плечи словно сверкающая мантия юности и красоты. Добрые люди глядели на нее и говорили: «Вот какая красивая барышня!»

Старый портной, мастер Жан, взял своего внука Пьера на руки, чтобы показать ему Пчелку, а Пьер спросил, настоящая ли она, живая, или, может быть, такая восковая куколка? Он не представлял себе, что эта беленькая хорошенькая фигурка может быть той же породы, что и он сам, маленький Пьер, с его круглыми загорелыми щечками и в холщовой рубашонке, завязанной сзади на деревенский лад.

В то время как герцогиня благосклонно принимала эти знаки почтения, личики обоих детей сияли от гордости: Жорж вспыхивал румянцем, а Пчелка расточала улыбки. И тогда герцогиня сказала им:

— Эти добрые люди приветствуют нас от всего сердца. Что вы думаете об этом, Жорж, и вы что думаете, Пчелка?

— Что они очень хорошо делают, — ответила Пчелка.

— И что это их долг, — добавил Жорж.

— А почему же это их долг? — спросила герцогиня.

И, так как они оба молчали, она сказала:

— Я вам сейчас объясню. Вот уже более трехсот лет герцоги Кларидские из рода в род, от отца к сыну защищают с копьем в руке этих бедных людей, которые благодаря им могут спокойно собирать урожай на своих полях. Вот уже более трехсот лет, как герцогини Кларидские прядут пряжу для бедняков, посещают больных и крестят младенцев у поселян. Вот почему все вас приветствуют, дети мои.

И Жорж подумал: «Буду непременно защищать землепашцев». А Пчелка: «Буду непременно прясть пряжу для бедняков».

И вот так, беседуя и размышляя, ехали они среди лугов, усеянных цветами. Синие горы вырисовывались на горизонте. Жорж протянул руку к востоку.

— Что это там виднеется? — спросил он. — По-моему, это большой стальной щит.

— А по-моему, это такая серебряная пряжка, большая-большая, как луна, — сказала Пчелка.

— Нет, детки, это вовсе не стальной щит и не серебряная пряжка, — ответила герцогиня, — это озеро так блестит на солнце. А поверхность вод, которая издали кажется вам гладкой, как зеркало, изборозждена бесчисленными волнами. И берега этого озера, что представляются вам такими ровными и словно вырезанными из металла, на самом деле покрыты камышом с пушистыми султанами и ирисами, у которых цветок — словно глаз человеческий между мечами. Каждое утро белый пар окутывает озеро, а под полуденным солнцем оно сверкает, как броня. Но к нему нельзя приближаться, ибо в нем обитают ундины, которые увлекают путников в свой хрустальный дворец.

В эту минуту они услышали монастырский колокол.

— Мы оставим лошадей здесь, — сказала герцогиня, — и пойдем пешком к храму. Ведь волхвы-короли приблизились к яслям не на слонах и не на верблюдах.

Они отстояли обедню в монастыре. Страшная старуха в лохмотьях стояла на коленях около герцогини, и та, выходя из церкви, зачерпнула святой воды в кропильнице и подала старухе, промолвив:

— Примите, матушка!

Жорж удивился.

— Разве вы не знаете, — сказала герцогиня, — что надо почитать бедных, ибо их возлюбил Иисус Христос? Ведь нищая, подобная этой, держала вас с добрым герцогом Роншуарским над крестильной купелью; и крестный отец вашей сестрицы Пчелки такой же бедняк.

Старуха угадала мысли мальчика, наклонилась к нему и сказала, хихикая:

— Желаю вам, прекрасный принц, завоевать столько королевств, сколько мне пришлось их потерять. Я была королевой Жемчужных островов и Золотых гор; каждый день у меня за столом подавали четырнадцать сортов рыбы, а за мной ходил негритенок и нес мой шлейф.

— Но как же случилось такое несчастье, что вы лишились ваших островов и гор, добрая женщина? — спросила герцогиня.

— Я навлекла на себя гнев гномов, и они унесли меня далеко от моих владений.

— Разве они такие могущественные, эти гномы? — спросил Жорж.

— Они живут в недрах земли, — отвечала старуха, — и знают свойства камней; они добывают металлы и открывают источники.

— А чем же вы их так рассердили, матушка?

И старуха рассказала:

— Один из них явился ко мне декабрьской ночью и попросил позволения приготовить к сочельнику праздничный ужин в кухне замка, а кухня эта была больше самой большой дворцовой залы, и полки в ней ломились от множества всякой посуды, — там были всевозможные кастрюли, сковороды, противни, котлы, чугуны, жаровни, решетки, соусницы, опарницы, рыбницы, тазы, формы для пирожного, медные кувшины, чаши золотые, серебряные и драгоценного дерева с прожилками, я уж не считаю железного кованого вертела и громадного черного котла, висевшего на крюке. Он обещал мне, что они ничего не сломают и не испортят. Но я все-таки отказала ему в его просьбе, и он исчез, бормоча под нос невнятные угрозы. А на третью ночь, — это был канун рождества, — тот же гном явился ко мне в опочивальню, а за ним несметное множество других; они схватили меня с моего ложа в одной сорочке и унесли в неведомую страну. «Вот, — сказали они, покидая меня, — вот какая кара ждет богачей, которые не хотят уделить ничего из своих сокровищ трудолюбивому и доброму народу гномов, что добывают золото и открывают родники».

Вот что рассказала беззубая старуха, и герцогиня, утешив ее добрыми словами и щедрой помощью, отправилась с детьми обратно в замок.

Глава VI, в которой рассказывается о том, что видно с башенной вышки Клари́дского замка

Как-то вскоре после этого Пчелка и Жорж поднялись, когда их никто не видел, по лестнице, ведущей на башню, возвышавшуюся над Клари́дским замком. Очутившись на самом верху, на площадке, они радостно закричали и захлопали в ладоши.

Перед глазами у них расстилались склоны холмов, изрезанные зелеными и коричневыми квадратами распаханых полей. Далеко на горизонте синели леса и горы.

— Сестрица! — вскричал Жорж. — Погляди-ка! Вот вся земля!

— Какая большая! — сказала Пчелка.

— Мои учителя, — сказал Жорж, — рассказывали мне, что она большая, да только, как говорит наша ключница Гертруда, надо самому посмотреть, чтобы поверить.

Они обошли кругом всю площадку.

— Вот так чудо, братец! — вскричала Пчелка. — Замок наш стоит посреди земли, а мы забрались на вышку, и она посреди замка, вот мы и очутились теперь на самой середине мира! Ха-ха-ха!

И действительно, горизонт окружал детей правильным кругом, и башня была в самой его середине.

— Мы в середине мира, ха-ха-ха! — вторил Жорж.

Потом они оба задумались.

— Как ужасно, что мир такой большой, — сказала Пчелка, — можно заблудиться, и тогда придется жить в разлуке с друзьями.

Жорж пожал плечами.

— Как прекрасно, что мир такой большой! Можно отправиться на поиски всяких приключений. Пчелка, когда я буду большой, я хочу завоевать вон те горы, на самом краю земли. Это оттуда выходит месяц. Я его поймаю по дороге и подарю тебе, моя Пчелка!

— Вот хорошо, — сказала Пчелка, — ты мне его подаришь, и я буду носить его в волосах.

Потом они занялись тем, что стали разыскивать, как на карте, места, которые они знали.

— Я очень хорошо узнаю все, — сказала Пчелка (которая ровно ничего не узнавала), — только я никак не пойму, что это за камушки вон там вроде кубиков рассыпаны по холмам.

— Дома, — ответил Жорж, — это просто дома. Разве ты не узнаешь, сестрица, столицы герцогства Кларидского? А ведь это большущий город, там целых три улицы, и по одной можно ездить в карете. Мы проезжали по ней на прошлой неделе, когда ехали в монастырь. Помнишь?

— А этот ручеек, что вьется вон там?

— Это река. Видишь, там старый каменный мост?

— Мост, под которым мы раков ловили?

— Тот самый, и там еще в нише стоит статуя «Безголовой женщины». Только ее отсюда по видно, потому что она очень маленькая.

— Я помню. А почему у нее нет головы?

— Да потеряла, наверно.

Пчелка, не сказав ни слова, удовлетворяет ли ее это объяснение, рассматривала горизонт.

— Братец, братец, видишь, как там что-то блестит, около синих гор? Это озеро!

— Озеро!

И тут они вспомнили, что герцогиня говорила им об этих опасных и чудесных водах, где находятся дворцы ундин.

— Пойдем туда! — сказала Пчелка.

Это предложение ошеломило Жоржа, он даже открыл рот от удивления:

— Герцогиня не велела нам уходить одним! — вскричал он. — И как мы доберемся до этого озера, когда оно на самом краю света?

— Как мы доберемся, этого я, конечно, не знаю! А вот ты должен знать, потому что ты мужчина и у тебя есть учитель грамматики.

Жорж, задетый за живое, ответил, что можно быть мужчиной, и даже замечательным мужчиной, и все-таки не знать всех дорог на свете. Пчелка состроила презрительную гримаску, от которой он покраснел до ушей, и сказала очень сухо:

— Я вот никому не обещала покорить синие горы и отцепить месяц с неба. Я не знаю дороги к озеру, но уж как-нибудь я ее найду!

— Ах, вот как! Ха-ха! — фыркнул Жорж, пытаясь расхохотаться.

— Вы, сударь, смеетесь совсем как мой ослик!

— Пчелка! Ослики не смеются и не плачут.

— А если бы они смеялись, вот точь-в-точь так бы и смеялись, как вы! Я пойду одна на озеро и разыщу прекрасные воды, где живут ундины! А вы будете сидеть дома, как девочка. Я вам оставляю свое рукоделье и куклу! Смотрите за ней хорошенько, слышите, Жорж!

Жорж был самолюбив. Ему показалось обидным слушать насмешки Пчелки. Опустив голову, насупившись, он сказал мрачно:

— Ну, хорошо! Пойдем на озеро!

Глава VII, в которой рассказывается, как Пчелка и Жорж отправились на озеро

На другой день после завтрака, когда герцогиня удалилась в свои покои, Жорж взял

Пчелку за руку.

— Идем! — сказал он.

— Куда?

— Тсс!!!

Они спустились по лестнице и пошли через двор. Когда они вышли через потайную дверь, Пчелка опять спросила, куда они идут.

— На озеро! — твердо ответил Жорж.

Пчелка широко открыла ротик, да так и застыла на месте. Уйти так далеко, без спросу и в атласных туфельках! А на ней были атласные туфельки. Ну, разве это благоразумно?

— Нам надо идти, и вовсе не обязательно быть благоразумными!

Таков был величественный ответ Жоржа Пчелке. Сама же она его стыдила, а сейчас прикидывается удивленной... Теперь уже он презрительно отсылал ее к куклам. Девчонки всегда так — сами же подстрекают, а потом увиливают. Фу! Вот противный характер! Пусть остается, он один пойдет!

Она схватила его за руку, он оттолкнул ее. Она повисла на шее у брата.

— Братец, — говорила она всхлипывая, — я пойду с тобой.

Он не устоял перед таким глубоким раскаянием.

— Идем, — сказал он, — только не надо идти городом, а то нас увидят. Лучше пойдем крепостным валом и выйдем на большую дорогу через проселок.

И они пошли, держась за руки. Жорж рассказывал, какой план он придумал.

— Мы пойдем той же дорогой, — говорил он, — по которой мы ехали в монастырь. И, конечно, увидим озеро, как увидели его и в прошлый раз, а тогда мы пойдем к нему прямо, через поля, как пчелка летит.

«Как пчелка летит» — это такое деревенское красочное выражение, когда хотят сказать, что путь прямой; но дети принялись хохотать, им показалось смешно, что в этом выражении упоминается имя девочки.

Пчелка собирала цветы по краю рва: мальвы, ромашки, колокольчики, златоцветы, она сделала из них букет, но в ее маленьких ручках цветы вяли прямо на глазах, и, когда Пчелка шла по старому каменному мосту, на них просто жалко было смотреть. Она никак не могла придумать, что делать с букетом, и ей пришлось в голову бросить цветы в воду, чтобы они освежились, но потом она решила лучше подарить их «Безголовой женщине».

Она попросила Жоржа поднять ее, чтобы ей стать повыше, и положила всю охапку полевых цветов между сложенными руками старой каменной фигуры.

Когда они отошли уже довольно далеко, она обернулась и увидела, что на плече статуи сидит голубь. Некоторое время они шли молча, потом Пчелка сказала:

— Пить хочется!

— И мне тоже, — сказал Жорж, — только речка осталась далеко позади, а здесь ни ручья, ни родника не видно.

— Солнце такое горячее, что оно, наверно, все выпило. А как нам теперь быть?

Так они говорили и сетовали и вдруг увидели, что идет крестьянка и несет в корзинке ягоды.

— Вишни, — закричал Жорж, — какая досада, что у меня нет денег, не на что купить!

— А у меня есть деньги! — сказала Пчелка.

Она вытащила из кармашка кошелек, в котором было пять золотых монет, и, обратившись к крестьянке, сказала:

— Дайте нам, тетушка, столько вишен, сколько войдет в мой подол.

И с этими словами она приподняла обеими руками подол юбки. Крестьянка бросила ей

туда две-три пригоршни вишен. Пчелка прижала одной рукой подол юбки, а другой протянула женщине золотую монету и спросила:

— Этого хватит?

Крестьянка схватила золотую монету, которая с лихвой оплачивала все вишни в ее корзине вместе с деревом, на котором они созрели, и участком земли, где росло это дерево. И так как она была хитрая, она сказала Пчелке:

— Что уж мне с вас больше-то брать, рада вам услужить, моя принцессочка!

— Ну, тогда, — попросила Пчелка, — положите еще вишен в шляпу моему брату, и вы получите еще одну золотую монету.

Конечно, крестьянка охотно сделала это, а потом пошла своей дорогой, обдумывая, в какой шерстяной чулок, в какой тюфяк запрятать ей свое золото. А дети шли своей дорогой, поедая вишни и бросая косточки направо и налево. Жорж выбрал вишенки, которые держались по две на одной веточке, и нацепил их своей сестрице на уши, как сережки, и смеялся, глядя, как эти красивые пурпурные ягодки, вишенки-близнецы, покачиваются на щеках Пчелки.

Их веселое путешествие прервал камешек. Он забрался в башмачок Пчелки, и она начала прихрамывать, и каждый раз, как она спотыкалась, ее белокурые локоны взлетали и падали ей на щеки; так, прихрамывая, она прошла несколько шагов и уселась на краю дороги. Тогда Жорж стал возле нее на колени, снял с ее ноги атласную туфельку, встряхнул, — и оттуда выскочил маленький белый камешек.

Пчелка поглядела себе на ноги и сказала:

— Братец, когда мы с тобой еще раз пойдем на озеро, мы наденем сапожки.

Солнце уже начало склоняться на сверкающем небосводе, легкий ветерок ласкал щеки и шеи юных путешественников, и они, освеженные и прибодрившиеся, смело продолжали свой путь. Чтобы легче было идти, они распевали, держась за руки, и смеялись, видя, как перед ними движутся две сплетенные тени. Они пели:

Марианна в добрый час
Намолоть зерна взялась.
Вот на ослика садится
Марианночка-девица.
Перекинула мешок.
«Мартин, ослик, в путь, дружок!»

Но вдруг Пчелка остановилась и закричала:

— Я потеряла туфельку... мою атласную туфельку!..

И действительно, так оно и было, как она говорила: туфелька, у которой шелковый шнурок развязался при ходьбе, лежала на дороге пыльная-пыльная. И тут Пчелка оглянулась и увидела, что башни Кларидского замка уже скрылись на горизонте в тумане; сердце у нее сжалось, и слезы подступили к глазам.

— Нас съедят волки, — сказала она, — и мама нас больше не увидит и умрет с горя.

Но Жорж надел ей на ножку туфельку и сказал:

— Когда колокол в замке прозвонит к ужину, мы уже придем обратно в Клариды. Вперед!

Мельник вышел и глядит,
Марианне говорит:
«Привяжите-ка Мартина
Там на травке, возле тына,
Он мешок с пшеницей нес,
Вас на мельницу привез».

Озеро! Пчелка, смотри: озеро! озеро! озеро!

— Да, Жорж, озеро!

Жорж закричал «ура!» и подбросил вверх свою шляпу. Пчелка была слишком благовоспитанна, чтобы швырнуть вверх свой чепчик, но она сняла с ноги туфельку, которая едва держалась, и бросила ее через голову в знак радости. Озеро лежало перед ними в глубине долины, округлые склоны которой мягко спускались к серебристым волнам, словно замыкая их в громадную чашу из цветов и зелени. Там оно лежало, чистое, спокойное, и уже видно было, как колыхнется зелень на его пока еще смутно различимых берегах. Но на склонах долины, среди густых зарослей, не видно было никакой тропинки, которая вела бы к этим прекрасным водам.

В то время как они тщетно разыскивали дорогу, их начали щипать за икры гуси, которых гнала хворостинной маленькая девочка с овчиной на плечах. Жорж спросил, как ее зовут.

— Жильберта.

— Так вот, Жильберта, как нам пройти к озеру?

— Нельзя к нему пройти.

— А почему?

— Да потому...

— Ну, а все-таки, если попытаться пройти?

— Коли бы пытались пройти, так была бы дорога, по ней и шли бы.

Ну, что можно было на это ответить гусиной пастушке!

— Пойдем, — сказал Жорж. — Там, подальше, мы, наверно, найдем какую-нибудь тропинку в лесу.

— И нарвем орехов, — сказала Пчелка, — и будем их есть, потому что мне кушать хочется. А когда мы опять пойдем на озеро, мы возьмем с собой большую корзину с разными вкусными вещами.

— Да, да, сестрица, — подхватил Жорж, — непременно так и сделаем, как ты говоришь, я теперь понимаю, почему оруженосец Верное Сердце, отправляясь в Рим, захватил с собой целый окорок ветчины, чтобы не проголодаться, и большую бутылку, чтобы было что попить. Но пойдем поскорее, потому что мне кажется, что день на исходе, хотя я и не знаю, который час.

— Вот пастушки, те знают, который час: они смотрят на солнце, — сказала Пчелка, — но я-то ведь не пастушка! А только мне кажется, когда мы уходили, солнце стояло у нас над головой, а теперь оно совсем далеко, там, за городом и за Кларидским замком. Надо узнать, неужели это так каждый день и почему это так бывает.

Пока они глядели на солнце, по дороге закрутилось облако пыли, и они увидели всадников, которые неслись во весь опор, а оружие их сверкало на солнце. Дети ужасно испугались и бросились в густую чащу, подступавшую к самой дороге. «Это, наверно, разбойники! Нет, должно быть, людоеды», — думали они. А на самом деле это проскакала

стража, которую герцогиня Кларидская отправила на розыски двух отважных путешественников.

Маленькие путешественники нашли в лесу узенькую тропинку, по которой, наверно, никогда не гуляли влюбленные, потому что по ней никак нельзя было идти рядом, под руку, как ходят жених с невестой. Да тут и не видно было никаких человеческих следов, а только бесчисленные отпечатки маленьких раздвоенных копытцев.

— Это следы бесенят, — сказала Пчелка.

— А может быть, коз, — сказал Жорж.

Так это и осталось невыясненным. Одно только было ясно, что тропинка полого спускается к берегу озера, которое вдруг появилось перед детьми во всей своей томной и молчаливой красе. Ивы курчавились по его берегам нежной листвой. Камыши покачивали над водой свои гибкие мечи и бархатные султаны; она казалась зыблущимися островками, вокруг которых водяные лилии расстилали свои широкие листы сердечком и цветы с белыми лепестками. А на этих цветущих островках стрекозы с изумрудными и сапфирными тельцами и пламенными крыльями чертили в стремительном полете резко обрывающиеся кривые.

И дети с наслаждением погружали свои разгоряченные ноги во влажный песок, поросший густым хвойником и остролистым рогозом. Кувшинки посылали им аромат своих мягких стеблей, вокруг них папоротник покачивал кружевным опахалом у края дремлющих вод, а над ним сияли лиловые звездочки иван-чая.

Глава VIII, в которой рассказывается, о том, как поплатился Жорж де Бланшеланд за то, что приблизился к озеру, в котором живут ундины

Пчелка побежала вперед по песку между двумя купами ив, и прямо перед нею маленький дух, обитавший в этих краях, прыгнул в воду, и по воде пошли круги, которые все расширялись, а затем исчезли. Этот дух был крошечной зеленой лягушкой с белым брюшком. Все безмолвствовало, легкое дуновение проносилось над светлым озером, и каждая его волна словно расплывалась в мягкой улыбке.

— Оно красивое, озеро, — сказала Пчелка, — но у меня все ноги в крови, туфельки совсем разорвались, и мне очень хочется кушать. Я бы так хотела быть дома, в замке!

— Сестрица, — сказал Жорж, — садись на травку. Я оберну тебе ножки листьями, чтобы им было прохладней, а потом пойду поищу что-нибудь на ужин. Там, наверху, у самой дороги, я видел кусты ежевики, сплошь покрытые ягодами. Я тебе принесу в шляпе самые спелые и самые сладкие. Дай-ка мне твой платочек! Я наберу еще земляники, потому что здесь масса земляники у тропинки в тени деревьев. А карманы я набью орехами.

Он устроил для Пчелки на берегу озера под ивой постельку из мха и пошел.

Пчелка протянулась на своем ложе из мха, сложила ручки и увидела, как звезды, мерцая, стали загораться на бледном небе; потом ее глаза наполовину закрылись, но все-таки ей показалось, что она видит в воздухе гнома, который летит, сидя верхом на вороне. И это ей не просто померещилось. Натянув поводья, которыми была взнуздана черная птица, гном приостановился вверху над девочкой и глянул на нее своими круглыми глазами, затем пришпорил своего скакуна и умчался крылатым галопом. Пчелка смутно видела, как он пролетел и исчез, а потом и совсем заснула.

Она спала, когда Жорж вернулся с тем, что ему удалось набрать; он разложил все это

возле нее, а сам спустился к озеру и стал ждать, когда она проснется. Озеро дремало, укрытое нежной кроной листвы. Тонкий пар мягко стелился над водами. Внезапно меж ветвей выглянул месяц, и в тот же миг волны заискрились блестками.

Жорж отлично видел, что эти блестки, сверкавшие в воде, были не только дробившимся отражением месяца: он ясно различал какие-то синеватые огоньки, которые приближались, покачиваясь и переплетаясь, словно они кружились в хороводе. Скоро он разобрал, что все эти огоньки дрожат на белых лбах прекрасных женских головок. И вот уже эти головы, увенчанные водорослями и раковинами, плечи, по которым рассыпались зеленые волосы, груди, блестящие жемчугами ниспадающих покрывал, поднялись над волнами. Мальчик узнал ундин и отпрянул, пытаясь убежать. Но бледные и холодные руки уже подхватили его и, несмотря на его сопротивление и крики, повлекли сквозь глубокие воды в галереи из хрусталя и порфира.

Глава IX, в которой рассказывается, как Пчелка попала к гномам

Луна поднялась над озером, и волны отражали теперь только раздробленный диск ночного светила. Пчелка еще спала. Гном, который заметил ее, снова вернулся на своем вороне. На этот раз за ним следовала целая толпа маленьких человечков. Это были совсем крошечные человечки. Белые бороды спускались у них до самых колен. С виду они были старички, а ростом — как маленькие дети. По их кожаным передникам и молоткам, висевшим у них на поясе, можно было узнать в них рудокопов. Походка у них была престранная: они высоко подпрыгивали и кувыркались самым удивительным образом, с такой непостижимой ловкостью, что были похожи скорее на духов, чем на людей. Но, проделывая такие головокрумные прыжки, они сохраняли невозмутимую серьезность, так что никак нельзя было распознать их истинный характер. Они обступили спящую девочку.

— Ну вот, — сказал самый маленький из гномов, восседавший на пернатом скакуне, — разве я обманул вас, когда сказал, что самая прелестная принцесса в мире спит на берегу озера? Благодарите меня за то, что я вам ее показал!

— Мы очень благодарны тебе, Боб, — сказал один из гномов, похожий на престарелого поэта, — в самом деле, в мире нет ничего прекраснее, чем эта девочка. Ее щечки нежнее и румянее зари, когда она занимается над горами, а золото, которое мы куем, блещет не так ярко, как ее кудри.

— Правда, Пик! Истинная правда! — подхватили гномы. — Но только что же нам делать с этой прелестной девочкой?

Пик, тот самый, что был похож на престарелого поэта, ничего не ответил на этот вопрос гномов, потому что он и сам не лучше их знал, как поступить с прелестной девочкой.

Гном по имени Рюг сказал:

— Построим большую клетку и посадим ее туда.

Другой гном, Диг, отверг предложение Рюга. Диг считал, что в клетки сажают только диких животных, а пока еще ничто не доказывало, что эта красивая девочка принадлежит к их породе.

Но Рюг крепко держался за свою мысль, потому что никакой другой у него не было. Он стал защищать ее весьма хитро.

— Если, — сказал он, — это создание и не из породы диких зверей, оно несомненно одичает, очутившись в клетке, и в таком случае клетка окажется полезной и даже

необходимой.

Такое рассуждение отнюдь не понравилось гномам, и один из них, Тад, с негодованием осудил его. Это был очень добродетельный гном. Он предложил отвести прелестное дитя к родителям, которые, как он думал, были могущественными сеньорами.

Но мнение добродетельного Тада также было отвергнуто, ибо оно было противно обычаям гномов.

— Поступать надо по справедливости, — утверждал Тад, — а отнюдь не по обычаю.

Но его и слушать не стали, и собрание бурно пререкалось, пока один из гномов, по имени По, обладавший умом простым, но справедливым, не высказал следующее мнение:

— По-моему, прежде всего следует разбудить эту девочку, раз она сама не просыпается; если она проспит так всю ночь, то у нее завтра распухнут веки, и красота ее заметно уменьшится, ибо спать в лесу на берегу озера крайне нездорово.

Это мнение было единодушно одобрено, так как оно не противоречило никакому другому.

Пик, похожий на престарелого поэта, согбенного недугами, приблизился к девочке и глубокомысленно уставился на нее, полагая, что единого взгляда его будет достаточно, чтобы пробудить спящую от самого глубокого сна. Но Пик заблуждался насчет могущества своих очей, и Пчелка продолжала спать, сложив ручки.

Видя это, добродетельный Тад легонько потянул ее за рукав. Пчелка приоткрыла глаза и приподнялась, опершись на локоток. Когда она увидела, что лежит на постельке из мха, а вокруг нее толпятся гномы, она решила, что все это ей снится, и принялась тереть глазки, чтобы прогнать сон и вместо этих фантастических видений увидеть ясный утренний свет и свою голубую спальню, где ей полагалось находиться. В мозгу ее, затуманенном сном, не осталось ни следа воспоминаний о путешествии на озеро. Но как она ни терла глаза, гномы не исчезали, и тут уж ей пришлось поверить, что они все — самые настоящие. Тогда, с тревогой оглядевшись по сторонам, она увидела лес, вспомнила все и в испуге закричала:

— Жорж! Братец мой, Жорж!

Гномы засуетились вокруг нее, а ей было так страшно смотреть на них, что она закрыла лицо руками.

— Жорж! Жорж! Где мой братец Жорж? — кричала она, рыдая.

Гномы ничего не могли ей ответить по той простой причине, что они и сами не знали этого. А она плакала горячими слезами, призывая мать и брата.

Гному По тоже хотелось заплакать вслед за ней, но, проникнутый желанием утешить ее, он обратился к ней с следующей весьма невнятной речью.

— Не огорчайтесь так, — сказал он ей, — жалко, если такая красотка испортит себе глазки слезами. Расскажите нам лучше, как вы сюда попали, это, должно быть, очень интересное приключение и доставит нам великое удовольствие.

Пчелка его не слушала. Она встала и хотела бежать, но ее босые ножки распухли, и ей стало так больно, что она упала па колени и зарыдала. Тад поддержал ее, а По нежно поцеловал ей ручку. Тогда она решилась поглядеть на них и увидела, что они смотрят на нее с сочувствием. Пик показался ей существом одержимым, но безобидным, и, видя, что все человечки глядят на нее ласково и благожелательно, она сказала:

— Очень жалко, маленькие человечки, что вы такие уродцы, но я все равно буду вас любить, если вы мне дадите покушать, потому что мне очень хочется есть.

— Боб, — закричали разом все гномы, — а ну-ка, живо за ужином!

И Боб умчался на своем вороне. Но все-таки у них было чувство, что девочка несправедлива к ним, считая их уродами. Рюг страшно возмутился, а Пик говорил себе: «Ведь

это просто ребенок, разве она может видеть пламя гения, сверкающее в моих очах и придающее им мощь, которая укрощает, и нежность, которая чарует». По думал: «Лучше бы я не будил эту девочку, которая думает, что мы уроды». Но Тад сказал с улыбкой:

— Вы, малютка, не будете считать нас такими уродами, когда узнаете нас поближе и полюбите.

Тут снова появился Боб на своем вороне. В руке у него было золотое блюдо с жареной куропаткой, крупичатым хлебцем и бутылкой бордосского вина. Он поставил это блюдо к ногам Пчелки, почтительно перекувырнувшись в воздухе бесчисленное количество раз.

Пчелка покушала и сказала:

— Маленькие человечки, ваш ужин был очень вкусный. Меня зовут Пчелка, давайте поищем моего братца, а потом все вместе пойдем в Кларида, потому что там нас ждет мама и ужасно беспокоится.

Но Диг, — а он был добрый гном, — объяснил Пчелке, что она идти никак не может, что брат у нее уже большой, он и сам отыщется, и что с ним ничего не могло случиться в этом краю, ибо здесь уже давно истреблены все дикие звери.

— Мы сделаем носилки, — сказал он, — покроем их охапками листьев и мха, чтобы вам было удобно лежать, и отнесем вас в горы и представим королю гномов, как того требуют обычаи нашего народа.

Все гномы захлопали в ладоши. Пчелка посмотрела на свои распухшие ножки и замолчала. Она несколько успокоилась, узнав, что в здешних лесах нет диких зверей, а в остальном она решила положиться на дружбу гномов.

Они уже трудились над носилками. Те, у которых были топоры, рубили сильными ударами под корень две молодые сосенки.

Это снова навело Рюга на прежнюю мысль:

— А что, если вместо носилок нам построить клетку?

Но он вызвал единодушное неодобрение. Тад окинул его презрительным взглядом и вскричал:

— Ты, Рюг, больше похож на человека, чем на гнома. Но хоть одно по крайней мере можно сказать, к чести нашего народа, что ты не только самый злой из нас, но и самый глупый.

А работа между тем спорилась. Гномы подпрыгивали высоко в воздух, чтобы достать до ветвей, которые они срезали на лету, а потом искусно складывали решеткой. Так они устроили удобное сиденье, покрыли его мхом и листьями и усадили на него Пчелку, а потом сразу схватились за носилки с двух сторон — оэ! — подняли их на плечи — гоп! — и отправились в путь, в горы — гип!

Глава X, которая подробно описывает прием, оказанный королем Локом Пчелке Кларидской

Они шли извилистой тропинкой по лесистому склону. В серой листве карликовых дубов там и сям вздымались гранитные глыбы, изглоданные и голые, а рыжая гора вдаль с темными синеющими ущельями замыкала суровый пейзаж.

Шествие, которое открывал Боб на своем крылатом скакуне, вошло в горный проход, заросший кустами ежевики. Пчелка с рассыпавшимися по плечам золотыми волосами

напоминала зарю, поднимающуюся из-за гор, если только это может быть правдой, что зря пугается, зовет на помощь маму и собирается бежать, потому что все это именно и случилось с девочкой, когда она вдруг увидела грозновооруженных гномов, стоявших засадами во всех извилинах ущелья.

Они стояли неподвижно, натянув лук или занеся копье. Их одежды из звериной кожи и длинные ножи, висевшие на поясе, придавали им устрашающий вид. Пернатая и мохнатая дичь лежала около них на земле. Но лица охотников отнюдь не отличались свирепостью; напротив, они казались такими же кроткими и спокойными, как и лесные гномы, на которых они были очень похожи.

Среди них стоял гном, преисполненный величия. За ухом у него красовалось петушье перо, а на голове — корона, усыпанная огромными драгоценными камнями. Мантия его была откинута на плечо, открывая мощную руку, унизанную золотыми обручами. Охотничий рог из слоновой кости и чеканного серебра висел у него на поясе. Левой рукой он спокойно опирался на копье, а правую поднес к глазам, чтобы удобнее было смотреть в ту сторону, откуда приближалась Пчелка и брезжил свет.

— Король Лок, — сказали ему лесные гномы, — мы принесли тебе прелестную малютку, которую мы случайно нашли. Ее зовут Пчелкой.

— Вы поступили похвально, — ответил король Лок, она будет жить среди нас, как повелевает обычай гномов.

Затем, приблизившись к Пчелке, он промолвил:

— Добро пожаловать, Пчелка!

Он говорил ласково, потому что уже проникся расположением к ней. Приподнявшись на цыпочки, он поцеловал ее свесившуюся ручку и сказал, что ей не только не сделают никакого зла, но, напротив, все ее желания будут исполняться, чего бы она ни захотела — ожерелий, зеркал, кашмирских тканей или китайских шелков.

— Мне бы хотелось башмачки, — ответила Пчелка.

Тогда король Лок ударил копьем в бронзовый диск, который висел на выступе утеса, и тотчас же что-то мелькнуло в глубине ущелья и стало подниматься к ним, подсакивая, словно мячик. По мере приближения мячик все увеличивался, и, наконец, перед ними появился гном; лицо его напоминало черты знаменитого Велизария, каким его изображают живописцы, но кожаный передник с нагрудником изобличал в нем сапожника. Это и в самом деле был главный мастер сапожников.

— Трюк, — сказал ему король, — выбери у нас в кладовых самую мягкую кожу, возьми золотой и серебряной парчи, спроси у моего казначея тысячу жемчужин самой чистой воды и из этой кожи, парчи, жемчужин сделай пару башмачков для нашей юной Пчелки.

Трюк тотчас же бросился к ногам Пчелки и тщательно снял с них мерку. Но она сказала:

— Лок-королек, пусть мне сейчас же дадут красивые башмачки, которые ты мне обещал, я их надену и пойду в Кларида к моей маме.

— Вы получите башмачки, Пчелка, — отвечал король Лок, — но получите их, чтобы гулять в недрах гор, а не для того, чтобы вернуться в Кларида; вы никогда не покинете нашего королевства, вы узнаете здесь чудесные тайны, в которые на земле еще не проник никто. Гномы лучше людей, и ваше счастье, что они выбрали вас.

— Это мое несчастье, — ответила Пчелка. — Лок-королек, дай мне деревянные башмаки, как у простых крестьян, и отпусти меня домой, в Кларида!

Но король Лок покачал головой в знак того, что это невозможно. Тогда Пчелка сложила ручки и сказала умоляющим голосом:

— Лок-королек, отпусти меня, и я буду очень тебя любить!

— Вы забудете меня, Пчелка, на вашей лучезарной земле.

— Лок-королек, я вас не забуду и буду любить вас так же, как люблю моего Ветерка.

— А кто это такой Ветерок?

— Это мой буланый конь; у него розовые поводья, я он ест у меня из рук. Когда он был маленький, оруженосец Верное Сердце приводил его по утрам ко мне в детскую, и я его целовала. Но только Верное Сердце теперь в Риме, а Ветерок уж вырос и не может ходить по лестницам.

Король Лок улыбнулся.

— Пчелка, а вы не хотите полюбить меня еще больше, чем вы любите Ветерка?

— Хочу.

— Вот это хорошо!

— Я очень хочу, но не могу, потому что я вас ненавижу, Лок-королек, за то, что вы не позволяете мне вернуться к маме и Жоржу.

— А кто такой Жорж?

— Жорж — это Жорж, и я его люблю.

Расположение короля Лока к Пчелке очень усилилось за эти несколько минут, и так как он уже подумывал жениться на ней, когда она подрастет, и даже с ее помощью помирить людей с гномами, у него возникло опасение, как бы этот Жорж впоследствии не сделался его соперником и не разрушил все его планы. Поэтому он нахмурил брови и отвернулся, опустив голову, как человек, отягченный заботами.

Пчелка увидала, что рассердила его, и потянула его легонько за полу мантии.

— Лок-королек, — сказала она грустным и нежным голосом, — почему мы так огорчаем друг друга?

— Пчелка, — сказал король Лок, — такова уж сила вещей; я не могу отпустить вас к вашей матери, но я пошлю ей сновиденье, из которого она узнает о вашей судьбе, дорогая Пчелка, и это сновиденье утешит ее.

— Лок-королек, — ответила Пчелка, улыбаясь сквозь слезы, — это ты хорошо придумал, но только я тебе скажу, что надо сделать: надо каждую ночь посылать моей маме сны, в которых она будет видеть меня, а мне каждую ночь посылать сны, в которых я буду видеть ее.

И король Лок обещал ей это. И как сказал, так и сделал. Каждую ночь Пчелка видела свою мать, и каждую ночь герцогиня видела свою дочку. И это было маленьким утешеньем для их любящих сердец.

Глава XI, в которой очень подробно описываются достопримечательности царства гномов, равно как и куклы, подаренные Пчелке

Царство гномов находилось очень глубоко под землей и простиралось на большое расстояние в ее недрах. Хотя небо только чуть виднелось кое-где через расщелины в утесах, тем не менее площади, улицы, дворцы и залы этого подземного царства вовсе не были погружены в глубокий мрак. Только в некоторых покоях да в пещерах всегда было темно. Все остальное было освещено, но не лампами или факелами, а светилами и метеорами, которые излучали странный, фантастический, свет, и этот свет озарял удивительные чудеса. Громадные здания были вырублены в скалах, там и сям возвышались дворцы, высеченные в

граните на такой высоте, что их каменное кружево под сводом громадной пещеры терялось в тумане, пронизанном оранжевым сиянием маленьких светил, менее ярких, чем луна. В этом царстве были и грозные, неприступные крепости — каменные амфитеатры, расположенные таким огромным полукругом, что его нельзя было охватить взглядом, широкие колодцы с лепными стенками, куда можно было спускаться без конца и никогда не достигнуть дна. Все эти массивные строения, казалось бы, мало подходили к росту здешних обитателей, однако вполне соответствовали их причудливому и фантастическому нраву.

Гномы в колпачках, украшенных листьями папоротника, двигались вокруг этих зданий с непостижимым проворством. И нередко можно было видеть, как некоторые из них прыгали с высоты второго или третьего этажа на базальтовую мостовую и отскакивали от нее, как мячики. Лица их при этом сохраняли величественную важность, какую ваятели придают чертам великих мужей древности.

Никто не оставался праздным, каждый усердно занимался своим делом. Целые кварталы гудели от грохота молотков, скрежещущие голоса машин раздавались под сводами пещер, и как интересно было смотреть на это несметное множество рудокопов, кузнецов, золотобоев, ювелиров, гранильщиков алмазов, которые с обезьяньей ловкостью орудовали киркой, молотком, клещами, напильниками. Но был в этом царстве и более уединенный край.

Там из горных пластов выступали мощные фигуры, гигантские колонны причудливых очертаний, казалось, восходили к самой седой древности. И там дворец с низкими дверьми простирали в глубине свои приземистые стены: это был дворец короля Лока. Прямо напротив стоял дом Пчелки, не дом, а скорее кукольный домик, состоящий из одной-единственной комнатки, обтянутой белой кисеей. В комнате чудесно пахло еловой мебелью. Расщелина в скале пропускала сюда дневной свет, а в ясные ночи через нее видны были звезды.

У Пчелки не было слуг, но весь народ гномов наперебой старался услужить ей и предупреждал все ее желания, кроме одного — снова вернуться на землю.

Самые ученые гномы, владевшие великими тайнами, охотно учили ее, правда не по книгам, потому что гномы не едят книг, но они показывали ей всевозможные растения гор и долин, различные породы животных, разные камни, которые добываются из недр земли. И вот на таких-то наглядных образцах и примерах они с простодушным весельем открывали ей разные чудеса природы и тайны искусства.

Они дарили ей такие игрушки, каких даже дети богачей на земле и в глаза не видывали, потому что гномы были замечательные мастера и выдумывали всякие удивительные машины. Например, они сделали ей кукол, которые умели грациозно двигаться и изъясняться стихами с соблюдением всех поэтических правил. Когда их всех вместе приносили на маленькую сцену, декорации которой изображали берег моря, синее небо, дворцы и храмы, они разыгрывали необычайно интересные представления. Хотя они были ростом с ноготок, они двигались совсем как живые и точь-в-точь походили — кто на почтенных старцев, кто на зрелых мужей, а кто на прекрасных молодых девушек в белых туниках. Были среди них и матери, которые нежно прижимали к груди невинных младенцев. И эти красноречивые куклы объяснялись и действовали на сцене так, словно они и впрямь были одушевлены чувствами ненависти, любви или честолюбия. Они искусно переходили от радости к огорчению и так ловко подражали природе, что невольно заставляли смеяться и плакать. И Пчелка хлопала в ладоши, глядя на эти представления. Куклы, которые изображали тиранов, вызывали в ней ужас. И наоборот, она прониклась безграничной жалостью к кукле, которая некогда была принцессой, а потом стала вдовой и пленницей в траурном кипарисовом венке, и у нее не было никакого иного способа спасти жизнь своему ребенку, как только выйти замуж за того самого злодея, что сделал ее вдовой.

Пчелке никогда не надоедала эта игра, куклы умели разнообразить ее до бесконечности. Гномы также устраивали для нее концерты и учили ее играть на лютне, на виоль-д-амуре, на теорбе, на лире и еще на многих музыкальных инструментах. И она в скором времени стала прекрасной музыкантшей, а сцены, разыгрываемые перед ней куклами в театре, сообщали ей знание людей и жизни. Король Лок также бывал на этих представлениях и концертах, но он видел и слышал только Пчелку, к которой он мало-помалу привязался всей душой.

А тем временем шли дни и месяцы, годы завершали свой круг, а Пчелка все жила среди гномов, и как ни развлекали ее непрестанно, она всегда тосковала по земле. Из девочки она превратилась в прекрасную молодую девушку. Выпавшая ей необычайная судьба наложила какой-то своеобразный отпечаток на ее лицо, и от этого оно казалось только еще милее.

Глава XII, в которой как нельзя, лучше описывается сокровищница короля Лока

Исполнилось ровно шесть лет, день в день, как Пчелка жила у гномов. Король Лок позвал ее к себе во дворец и в ее присутствии приказал своему казначею сдвинуть огромный камень, который, казалось, был вмурован в стену, а на самом деле — только приставлен к ней. Все трое они прошли в открывшееся за громадным камнем отверстие и очутились в узкой расщелине скалы, где двоим нельзя было идти рядом. Король Лок первым ступил в этот темный проход, за ним шла Пчелка, держась за край королевской мантии. Они шли долго. Иногда стены расщелины сходились так близко, что молодая девушка боялась, — вот-вот они стиснут ее, и она не сможет двинуться ни вперед, ни назад, задохнется и умрет. А мантия короля Лока все убегала вперед по тесной и черной тропинке. Наконец король Лок нащупал рукой бронзовую дверь и открыл ее; сразу стало очень светло.

— Лок-королек, — воскликнула Пчелка, — а ведь я и не знала, что свет — такая прекрасная вещь!

Но король Лок взял ее за руку, ввел в залу, откуда исходил этот свет, и сказал:

— Гляди!

Пчелка, ослепленная, сначала ничего не видела, потому что эта огромная зала с высокими мраморными колоннами вся сверху донизу сверкала золотом.

В глубине на возвышении из блестящих драгоценных камней, оправленных в золото и серебро, куда вели ступени, покрытые чудесно расшитым ковром, стоял трон из золота и слоновой кости под балдахином из прозрачной эмали; по обе стороны трона высились две трехтысячелетние пальмы в гигантских вазах, выкованных когда-то самым искусным мастером из гномов. Король Лок взошел на этот трон и повелел девушке стать рядом с собой по правую руку.

— Пчелка, — сказал он ей, — это моя сокровищница, выбирайте себе все, что вам понравится.

Огромные золотые щиты висели на колоннах, и солнечные лучи, преломляясь в них, отражались сверкающими снопами; над ними скрещивались шпаги и копья с султанами на остриях. Столы, расставленные вдоль стен, были сплошь заставлены чашами, кубками, кувшинами, бокалами, вазами, дароносицами, дисками, золотыми чарками и кружками, рогами для питья из слоновой кости с серебряными кольцами, громадными бутылками из горного хрусталя, золотыми и серебряными чеканными блюдами, ларцами, ковшами,

сделанными в форме храмов, зеркалами, канделябрами, курильницами, светильниками, столь же удивительными своей искусной выделкой, сколь и необыкновенным материалом, и сосудами для сжигания благовоний, изображавшими чудовищ. А на одном из столов стояли шахматы из лунного камня.

— Выбирайте, Пчелка, — повторил король Лок.

Но, подняв глаза ввысь надо всеми этими богатствами, Пчелка увидела в отверстие потолка голубое небо, и, словно почувствовав, что только этот небесный свет и придавал драгоценностям их ослепительный блеск, она сказала:

— Лок-королек, мне хотелось бы вернуться на землю.

Тогда король Лок сделал знак своему казначею, и тот откинул тяжелый занавес, и они увидели громадный сундук с резными украшениями, окованный железом. Когда подняли крышку сундука, оттуда хлынули потоки лучей тысячи самых разнообразных и чудесных оттенков; каждый луч исходил от драгоценного камня, отшлифованного с великим мастерством. Король Лок погрузил руки в эти камни, и тут стало видно, как в этой лучезарной массе переливаются и лиловый аметист, и девий камень, и изумруды трех цветов: один — темно-зеленый, другой — называемый медовым, потому что он цвета меда, и третий — голубовато-зеленый, что зовется бериллом и посылает добрые сны; и восточный топаз, и рубин, прекрасный, как кровь храбрецов, и сапфир темно-синий, который называют мужским сапфиром, и бледно-голубой сапфир, называемый женским, и камень кимофан, и гиацинт, и кошачий глаз, и бирюза, и опал, сияние которого нежнее зари, и аквамарин, и сирийский гранат. Все эти камни были самой прозрачной воды и самого лучезарного блеска. А крупные бриллианты среди этих цветных огней вспыхивали ослепительными белыми искрами.

— Выбирайте, Пчелка, — сказал король Лок.

Но Пчелка покачала головой и сказала:

— Лок-королек, все эти камни я отдам за один-единственный солнечный луч, что играет на шиферной крыше Кларицкого замка.

Тогда король Лок открыл второй сундук, где были одни жемчуга. Но все жемчужины были чистые и круглые, их переменчивый блеск отражал все краски неба и моря, и сияние их было так нежно, что казалось пронизанным любовной мечтой.

— Берите, — сказал король Лок.

Но Пчелка ответила:

— Лок-королек, эти жемчуга напоминают мне взгляд Жоржа де Бланшеланд. Мне нравятся эти жемчуга, но еще больше мне нравятся глаза Жоржа.

Услышав эти слова, король Лок отвернулся. Но все же он приказал открыть третий сундук и показал молодой девушке кристалл, в котором с первозданных времен была пленена капля воды; когда кристалл поворачивали, видно было, как переливается в нем эта капля. Он показал ей еще куски янтаря, в которых миллиарды лет были заключены насекомые, еще более яркие, чем драгоценные камни. Можно было различить их нежные лапки и тонкие усики, и, казалось, они могли бы вот-вот улететь, если бы благодаря какой-нибудь волшебной силе их пахучая тюрьма растаяла, как лед.

— Это великие чудеса природы, и я дарю их вам, Пчелка.

Но Пчелка ответила:

— Лок-королек, оставьте себе янтарь и кристалл, ведь я не могу освободить ни эту мушку, ни эту капельку.

Король Лок посмотрел на нее задумчиво и сказал:

— Пчелка, ваши ручки достойны хранить лучшие сокровища мира. Вы будете владеть ими, но они вами не будут владеть. Скупец — пленник своего золота; только тем, кто

презирает богатство, безопасно быть богатыми: их душа всегда будет больше, нежели их сокровища.

Сказавши так, он подал знак казначею, и тот поднес молодой девушке золотую корону на подушке.

— Примите эту драгоценность как знак того уважения, которое мы питаем к вам, Пчелка, — сказал король Лок. — Отныне вас будут называть принцессой гномов.

И он возложил корону на голову Пчелки.

Глава XIII, в которой король Лок объясняется, в своих чувствах

Пышными празднествами ознаменовали гномы коронавание своей первой принцессы. Веселые, беспечные игры чередовались без всяких расписаний в громадном амфитеатре; маленькие человечки, кокетливо украсив свои колпачки веточкой папоротника или двумя дубовыми листиками, радостно прыгали по подземным улицам. Праздники длились целый месяц. Пик в своем опьянении имел вид вдохновенного смертного; добродетельный Тад опьянялся общим счастьем; нежный Диг от радости проливал слезы; Рюг, развеселившись, снова требовал, чтобы Пчелку посадили в клетку: тогда уж гномам можно будет не опасаться, что они потеряют такую очаровательную принцессу; Боб верхом на своем вороне оглашал воздух такими веселыми криками, что даже эта черная птица, заразившись общим весельем, издавала отрывистое шаловливое покаркивание.

Только один король Лок грустил.

Но вот на тридцатый день, во время роскошного пира, который король Лок задал принцессе и всему народу гномов, король поднялся во весь рост на своем кресле, так что его доброе лицо приходилось теперь в уровень с ухом Пчелки.

— Принцесса моя Пчелка, — произнес он, — я хочу сделать вам одно предложение, которое вы вольны принять или отвергнуть. Пчелка Кларидская, принцесса гномов, хотите вы стать моей женой?

И, произнося это, король Лок, грустный и нежный, был похож на кроткого величавого пуделя. Пчелка потянула его за бороду и ответила:

— Лок-королек, я согласна быть твоей женой в шутку, чтобы посмеяться, но я никогда не буду твоей женой по-настоящему. Когда ты сейчас сделал мне предложение, ты мне напомнил Верное Сердце, который там, на земле, рассказывал, чтобы позабавить меня, самые необыкновенные вещи.

При этих словах король Лок быстро отвернулся, но все же Пчелка успела увидеть слезу, блеснувшую на ресницах гнома. И Пчелке сделалось жалко, что она его обидела.

— Лок-королек, — сказала она ему, — я люблю тебя таким, как ты есть, а если ты меня сметишь, как Верное Сердце, то в этом нет ничего обидного, потому что Верное Сердце очень хорошо пел и был бы очень красивый, если бы только не седые волосы и красный нос.

Король Лок ответил ей так:

— Пчелка Кларидская, принцесса гномов, я люблю вас и надеюсь, что когда-нибудь и вы меня полюбите. Но, если бы у меня и не было этой надежды, я все равно любил бы вас так же. Я только прошу у вас в ответ на мою дружбу, чтобы вы всегда были искренни со мной.

— Это я обещаю тебе, Лок-королек!

— Хорошо. Так вот, скажите мне, Пчелка, любите ли вы кого-нибудь так, чтобы вам хотелось выйти за него замуж?

— Нет, Лок-королек, так я никого не люблю.

Тогда король Лок улыбнулся и, подняв свой золотой кубок, провозгласил зычным голосом тост за принцессу гномов. И невообразимый гул прокатился под сводами пещеры, и от него содрогнулась земля, потому что пиршественный стол в царстве гномов тянулся по всему подземелью с одного конца до другого.

Глава XIV, в которой рассказывается, как Пчелка увидала свою мать и не могла обнять ее

Теперь увенчанная короной Пчелка стала еще задумчивей и печальней, чем в те дни, когда ее кудри свободно рассыпались по плечам и она, смеясь, прибегала в кузницу гномов и дергала за бороды своих добрых друзей Пика, Тада и Дига, чьи лица, озаренные отблеском пламени, радостно оживлялись при ее появлении. Добрые гномы, которые когда-то сажали ее к себе на колени и играли с ней, называя ее своей Пчелкой, теперь низко кланялись, когда она проходила, сохраняя почтительное молчание. Она сожалела, что она уже не ребенок, и огорчалась, что она принцесса гномов.

Она уже не радовалась при виде короля Лока после того, как увидала, что он плачет из-за нее. Но она любила его, потому что он был добрый и потому что он страдал.

В один прекрасный день (если можно сказать, что в царстве гномов бывает день) она взяла короля Лока за руку и привела его к той расщелине утеса, куда проникал луч солнца, а в луче танцевали золотые пылинки.

— Лок-королек, — сказала она ему, — я страдаю. Вы король, вы меня любите, а я страдаю.

Услышав эти слова из уст красивой молодой девушки, король Лок ответил:

— Я люблю вас, Пчелка Кларидская, принцесса гномов, и вот поэтому-то я оставил вас в нашем мире, чтобы открыть вам наши тайны, которые больше и мудрее всего, что вы могли бы узнать на земле среди людей, ибо люди не так искусны и не так мудры, как гномы.

— Да, — сказала Пчелка, — но они больше похожи на меня, чем гномы, и потому я их больше люблю. Лок-королек, дайте мне снова увидеть мою мать, если вы не хотите, чтобы я умерла.

И король Лок удалился, не ответив ни слова.

Пчелка, оставшись одна, в отчаянии смотрела на луч того света, в котором нежится вся земля и который обнимает своими сияющими волнами всех живых людей вплоть до нищих, бредущих по дорогам. Медленно бледнел этот луч, и вот уже его золотистое сияние превратилось в бледно-голубой отсвет. Ночь пришла на землю. И через расщелину замерцала звезда.

Тогда кто-то тихонько дотронулся до ее плеча, и она увидела короля Лока, закутанного в черный плащ. В руке у него был еще один плащ, которым он укрыл молодую девушку.

— Идем, — сказал он.

И он вывел ее вон из подземелья. Когда Пчелка снова увидала деревья, трепещущие на ветру, облака, набегающие на луну, и всю эту торжественную ночь, свежую и синюю, когда она почувствовала запах трав и тот воздух, которым она дышала в детстве, широкой волной полился ей в грудь, она глубоко вздохнула, и ей показалось, что она вот-вот умрет от блаженства.

Король Лок взял ее на руки; как ни мал он был ростом, он нес ее легко, словно перышко, и они скользили по земле, как тени двух птиц.

— Пчелка, вы увидите вашу мать. Но выслушайте меня. Вы знаете, что каждую ночь я посылаю ваш образ во сне вашей матери. Каждую ночь она видит ваш дорогой призрак, улыбается ему, говорит с ним, обнимает его. Сегодня ночью я покажу ей вас самое вместо вашего двойника. Вы увидите свою мать, но не прикасайтесь к ней, не говорите с ней, потому что тогда чары разрушатся и она уже никогда больше не увидит ни вас, ни ваш образ, который она не отличает от вас.

— Хорошо, Лок-королек, я буду осторожна, — вздохнула Пчелка... — Ах, вот он! Вот он!

И в самом деле, башня Кларидского замка, вся черная, уж вырисовывалась на холме. Не успела Пчелка послать поцелуй старым, любимым стенам, как увидела бегущий мимо городской вал, заросший левкоями; вот она уже взбегаёт по откосу, где в траве горят светляки, вот и потайная дверь, которую король Лок открыл без труда, потому что для гномов, покорителей металлов, никакие замки, болты, никакие засовы, цепи и решетки не служат преградой.

Она поднялась витой лестницей, которая вела в покои ее матери, и остановилась, прижав обе руки к трепетно бьющемуся сердцу. Дверь тихонько растворилась, и при свете ночника, висевшего на потолке опочивальни, в благоговейной тишине, царившей здесь, Пчелка увидела свою мать, исхудавшую и бледную, с сединой на висках, но еще более прекрасную для своей дочери, чем в те далекие дни, когда она носила драгоценные украшения и гордо скакала на коне. А герцогиня в это время видела свою дочь во сне и протянула руки, чтобы обнять ее. И дочь, смеясь и рыдая, уже хотела броситься в эти раскрытые объятия, но король Лок схватил ее, не дав ей упасть на грудь матери, и понес словно соломинку через синие поля назад, в царство гномов.

Глава XV, из которой узнают о великом горе короля Лока

Пчелка, сидя на гранитных ступенях подземного дворца, снова смотрела на голубое небо в расщелине утеса. Там бузина протягивала навстречу солнцу свои маленькие белые зонтики. Пчелка заплакала. Король Лок взял ее за руку и сказал:

— Пчелка, отчего вы плачете и что вы хотите?

И так как она уж не первый день грустила, гномы, усевшись у ее ног, старались развлечь ее бесхитростными мелодиями на флейте, свирели, трехструнной скрипке и литаврах, а другие, чтобы развеселить ее, так ловко кувыркались, что верхушки их колпачков, украшенных кокардой из листьев, так и мелькали в воздухе один за другим; нельзя было представить себе ничего более забавного, чем игры этих маленьких человечков с длинными, как у старых отшельников, бородами. Добродетельный Тад, чувствительный Диг, которые полюбили Пчелку с того дня, как увидели ее спящей на берегу озера, и Пик, старый поэт, — все поочередно брали ее за руку и умоляли открыть им тайну ее горести. Простодушный, но справедливый По принес ей винограду в корзинке, и все они, дергая ее за платье, повторяли вместе с королем Локом:

— Пчелка, принцесса гномов, отчего вы плачете? Пчелка отвечала:

— Лок-королек, и вы, маленькие человечки! Вы стараетесь проявить ваши дружеские чувства ко мне, потому что вы очень добрые, вы плачете, когда я плачу. Так знайте же, что я

плачу, вспоминая о Жорже де Бланшеланд. Он уже теперь, наверно, храбрый рыцарь, а я его больше не увижу. Я люблю его, и мне хотелось бы стать его женой.

Король Лок отдернул свою руку, которою он крепко сжимал руку девушки, и воскликнул:

— Почему же вы обманули меня, Пчелка, когда за пиршественным столом сказали мне, что никого не любите?

Пчелка ответила:

— Лок-королек, я не обманула тебя за пиршественным столом. Я не хотела тогда быть женой Жоржа де Бланшеланд, а теперь самое мое заветное желание — чтобы он попросил меня в жены. Но он не попросит меня в жены, потому что я не знаю, где он, а он не знает, где меня искать. Вот поэтому я и плачу.

При этих словах музыканты перестали играть на своих инструментах, прыгуны прекратили свои прыжки и так и застыли, кто стоя на голове, кто присев на корточки, Тад и Диг молча обливали слезами рукав Пчелки, простодушный По уронил свою корзинку с виноградными гроздьями, и все человечки горестно застонали.

Но король гномов в короне со сверкающими камнями, огорченный больше всех, удалился, не произнеся ни единого слова, и его мантия потянулась за ним, словно пурпурный поток.

Глава XVI, в которой приводятся слова мудреца Нура, чрезвычайно обрадовавшие маленького короля Лока

Король Лок не обнаружил своей слабости перед молодой девушкой, но, когда он остался один, он сел на землю, обхватил колени руками и предался горести.

Он ревновал и говорил себе:

— Она любит! И она любит не меня! А ведь я король, я преисполнен мудрости, я владею сокровищами и чудесными тайнами! Я лучший из гномов, а гномы лучше людей. И она меня не любит, а любит юношу, которому совершенно недоступна мудрость гномов, а быть может, недоступна и никакая мудрость. Ясно, она не питает никакого уважения к добродетелям и совершенно неразумна. Мне следовало бы смеяться над ее безрассудством, но я люблю ее, и ничто на свете мне не мило, потому что она меня не любит.

Долгие дни скитался король Лок один-одинешенек по самым диким ущельям гор, перебирая в уме разные грустные, а подчас и недобрые мысли. Он думал, не попытаться ли ему сломить Пчелку заключением и голодом, чтобы заставить ее стать его женой. Но едва только эта мысль зародилась, он тут же отогнал ее и стал мечтать о том, как он пойдет к Пчелке и бросится к ее ногам. Но и на этом он не остановился и так и не знал, что ему делать. И правда, ведь не от него зависело, чтобы Пчелка полюбила его. Внезапно гнев его обратился на Жоржа де Бланшеланд. Ему страстно захотелось, чтобы этого юношу унес далеко-далеко отсюда какой-нибудь волшебник или по крайней мере чтобы Жорж пренебрег любовью Пчелки, если ему когда-нибудь довелось бы узнать о ней.

Король размышлял.

— Хотя я и не стар, — говорил себе король Лок, — но я живу уже очень долго. Мне не раз приходилось страдать. Но все мои страдания, как ни глубоки они были, никогда не оставляли во мне такого чувства горечи, какое я испытываю теперь. Сочувствие или жалость, вызывавшие их, сообщали им какую-то дивную кротость. Сейчас, напротив, я чувствую, что

скорбь моя отравлена едкой горечью, ядом злого желания. Душа моя иссохла, а очи исходят жгучими слезами.

Так размышлял король Лок. И, опасаясь, что ревность сделает его несправедливым и злым, он избегал встреч с молодой девушкой, ибо страшился, что невольно заговорит с ней языком человека слабого или неистового.

Однажды, когда мысль о любви Пчелки к Жоржу терзала его сильнее обычного, он решил посоветоваться с Нуром, самым мудрым из гномов, который жил на дне глубочайшего колодца, вырытого в недрах земли.

Этот колодец был замечателен тем, что в нем всегда царило ровное и мягкое тепло. Там вовсе не было темно, потому что два маленьких светила, бледное солнце и красная луна, освещали, чередуясь, все его закоулки. Король Лок спустился туда и застал Нура в его лаборатории. У Нура было доброе лицо кроткого старичка, а на своем колпачке он носил богородицыну травку. Несмотря на свою мудрость, он был чист сердцем и простодушен, как и все гномы.

— Нур, — сказал король, обнимая его, — я пришел к тебе посоветоваться, потому что тебе известны многие вещи.

— Король Лок, — отвечал Нур, — я мог бы знать множество разных вещей и тем не менее остаться глупцом. Но мне известен способ постичь немногие из тех бесчисленных вещей, которые мне неведомы, и вот поэтому-то я справедливо пользуюсь славой мудреца.

— Так вот, — продолжал король Лок, — не знаешь ли ты, где в настоящее время находится некий юноша по имени Жорж де Бланшеланд?

— Не знаю и никогда в жизни не стремился узнать, — отвечал Нур. — Поскольку мне известно, что люди глупы, несведущи и злы, меня мало интересует, что они думают и что делают. Если бы не храбрость мужчин, красота женщин и невинность детей, — а это все, что есть достойного у этой высокомерной и ничтожной породы, о король Лок, — все человечество в целом было бы просто жалко и смешно. Как и гномы, они должны трудиться, чтобы жить, но они восстают против этого божественного закона и не только не находят счастья в труде, как мы, но предпочитают воевать вместо того, чтобы работать; им больше нравится убивать друг друга, чем помогать один другому. Но, если быть справедливым, надо признать, что краткость их жизни — главная причина их невежества и свирепости. Они живут так недолго, что не успевают научиться жить. И народ гномов, живущий под землей, лучше и счастливее их. Если мы и не бессмертны, то каждый из нас по крайней мере существует столько же времени, сколько существует земля, которая дает нам приют в своем лоне и согревает нас своим подспудным животворным теплом, тогда как на долю той породы, что родится на ее жесткой коре, достается только ее дыхание, то обжигающее, то леденящее, и оно несет с собой смерть вместе с жизнью. Однако же благодаря чрезмерности своих несчастий и своей жестокости люди обладают одной добродетелью, которая делает душу некоторых из них более прекрасной, чем души гномов. Эта добродетель, сияние которой для мысли то же, что для очей нежное сияние жемчуга, о король Лок, — это чувство жалости. А познается оно в страданиях. Гномам оно мало знакомо, ибо они мудрее людей и у них меньше горестей. Поэтому-то гномы выходят иногда из своих глубоких пещер на немилостливую кору земную и живут с людьми, чтобы любить и страдать за них и заодно с ними и таким образом познать чувство жалости, которое освежает душу, как небесная роса. Такова правда о людях, о король Лок. Но ведь ты спрашивал меня о личной судьбе одного из них?

Король Лок повторил свой вопрос, и старый гном стал смотреть в одно из зрительных стекол, которых было множество в комнате. Ибо у гномов совсем нет книг, а те, которые у них бывают случайно, попадают к ним от людей и служат им игрушками. Чтобы научиться

чему-нибудь, они не читают, как это делаем мы, знаки, нанесенные на бумагу: они смотрят в зрительное стекло и видят тот самый предмет, который их интересует. Однако трудность заключается в том, чтобы выбрать подходящее стекло и уметь с ним обращаться.

Некоторые стекла сделаны из хрусталя, иные из топаза и опала, но те, чечевица которых представляет собой большой отполированный алмаз, обладают наибольшим могуществом, и при их помощи можно видеть самые отдаленные предметы.

Кроме того, у гномов имеются лупы из некоей прозрачной породы, неизвестной людям. С их помощью они обретают возможность проникать взором сквозь стены и скалы, как если бы те были из стекла. А есть и другие, еще более чудесные, которые точь-в-точь, как зеркало, отражают все, что время уносит в своем быстром течении, ибо гномы умеют вызывать в свои пещеры из бесконечной глубины эфира свет давнего прошлого со всеми формами и красками минувших дней. Они созерцают прошлое, улавливая потоки света, которые, раздробившись некогда о тела людей и животных, растения и камни, снова воссоединяются через многие тысячелетия в бездонном эфире.

Старый Нур отличался великим умением обретать формы древних времен и даже те непостижимые формы, которые существовали задолго до того, как облик земли стал таким, каким мы видим его ныне, так что для него было сущей забавой найти Жоржа де Бланшеланд.

Поглядев с минуту в одно совсем простенькое стеклышко, он сказал королю Локу:

— Король Лок, тот, кого ты ищешь, находится в плену у ундин, в их хрустальном дворце, откуда никто не возвращается и радужные стены которого находятся у границ твоего королевства.

— Он там? Ну, так пусть там и остается! — вскричал король Лок, потирая руки. — Желаю ему всего хорошего!

И, обняв старичка Нура, он ушел из колодца, хохоча во все горло.

Всю дорогу он держался за живот и хохотал без удержу; его голова тряслась, борода подскакивала на животе:

— Хо-хо-хо! ха-ха-ха!

Человечки, которые ему встречались по пути, радовались, глядя на него, и тоже начинали хохотать, а глядя на них, и другие покатывались со смеху; так хохот передавался от одних к другим, и, наконец, вся утроба земли затряслась в этой ликующей икоте:

— Ах! ха! ха! ах! ха-ха-ха! Ох-хо-хо! Их-хо-хо! Ха-ха-ха! Ха! ха-ха-ха!

Глава XVII, в которой рассказывается о необыкновенных приключениях Жоржа де Бланшеланд

Король Лок, однако, хохотал недолго. Наоборот, он скоро улегся на свое ложе, бедный маленький человечек, и закрылся с головой, спрятав под одеялом свое огорченное личико. Размышляя о Жорже де Бланшеланд, пленнике ундин, он всю ночь не сомкнул глаз. А на рассвете, в тот час, когда гномы, которые дружат со служанками на ферме, идут доить за них коров, пока те еще спят крепким сном в своих белых кроватях, король Лок снова отправился к премудрому Нуру в его глубокий колодец.

— Нур, — окликнул он, — а ведь ты мне не сказал, что он там делает у ундин?

Старый Нур подумал было, что король Лок помешался, но это его не очень испугало, так как он знал, что если бы даже король Лок и впал в безумие, он несомненно был бы очень любезным, остроумным, обаятельным и добрым безумцем, потому что безумие у гномов столь же кротко, сколь и их разум, и полно прелестнейшей игры фантазии. Но король Лок вовсе не был безумным или во всяком случае не больше, чем обычно бывают влюбленные.

— Я говорю о Жорже де Бланшеланд, — сказал он старичку, который совершенно забыл об этом юноше.

Тогда мудрый Нур расположил в строгом порядке, но так замысловато, что это скорее было похоже на беспорядок, чечевицеобразные стекла и зеркала и показал в одном из них королю Локу живое изображение Жоржа де Бланшеланд таким, каким он был, когда его похитили ундины. Искусно подбирая и чередуя стекла, Нур показал влюбленному королю последовательную картину всех приключений сына графини, которой белая роза предсказала кончину. И если передать это словами, то вот что увидели два наши человечка в подлинном отображении живых форм и красок.

Когда Жоржа обхватили ледяные руки дочерей озера, он почувствовал, как вода сдавила ему глаза и грудь, и подумал, что он умирает. Однако он слышал песни, похожие на ласки, и всего его пронизывала какая-то восхитительная свежесть. Когда он открыл глаза, он увидел себя в гроте, хрустальные колонны которого сияли нежными отблесками радуги. В глубине этого грота громадная перламутровая раковина, переливающаяся самыми нежными оттенками, красовалась в виде балдахина над тронем из кораллов и водорослей, на котором восседала королева ундин. Но лицо властительницы вод сияло еще более нежными красками, чем перламутр и кристаллы. Она улыбнулась мальчику, которого подвели к ней ундины, и остановила на нем долгий взгляд своих зеленых глаз.

— Друг мой, — сказала она, — будь желанным гостем в нашем мире, где ты не будешь знать никаких горестей. Здесь тебя не будут донимать ни сухим чтением, ни суровыми упражнениями, ничем грубым, что напоминало бы землю и труд. Здесь только песни, пляски и дружба ундин.

И на самом деле эти зеленоволосые женщины учили мальчика музыке, вальсу и тысяче всяких игр. Они забавлялись, украшая его лоб раковинами, которые сверкали у них в волосах. Но он вспоминал о родной земле и сжимал кулаки в нетерпенье и гневе.

Проходили годы, а Жорж все с тем же пылом мечтал увидеть землю, эту жесткую землю, которую жжет солнце, которая застывает под снегом, родимую землю, где страдают, любят, где он видел и жаждал снова увидеть Пчелку. А тем временем он стал уже юношей, и тонкий пушок золотил его верхнюю губу. К тому времени, как у него стала пробиваться борода, он собрался с мужеством и однажды, представ перед королевой ундин, поклонился ей и сказал:

— Госпожа моя, я явился затем, чтобы вы соизволили разрешить мне распрощаться с вами: я возвращаюсь в Клариды.

— Мой юный друг, — сказала, улыбнувшись, королева, — я не могу разрешить вам распрощаться с нами, как вы просите, потому что держу вас в моем хрустальном дворце, чтобы сделать моим возлюбленным.

— Госпожа моя, — возразил Жорж, — я чувствую себя недостойным столь великой чести.

— Это делает честь вашей учтивости. Все добрые рыцари думают, что им никогда не заслужить любовь дамы. К тому же вы еще слишком молоды и не можете оценить все ваши достоинства. Знайте, юный друг, вам здесь желают добра. А от вас требуется только повиноваться вашей даме.

— Госпожа моя, я люблю Пчелку Кларидскую и не хочу никакой другой дамы.

Королева сильно побледнела, отчего стала еще прекраснее, и воскликнула:

— Смертная девушка, грубая дочь человеческая эта Пчелка! Как вы можете любить ее?

— Не знаю, только знаю, что я ее люблю.

— Ну что ж! Это пройдет.

И она оставила юношу среди услад хрустального дворца.

Он не знал, что такое женщина, и напоминал скорее Ахиллеса меж дочерей Ликомеда, чем Тангейзера в очарованном гроте. Он печально бродил вдоль стен громадного дворца, выискивая какую-нибудь лазейку, чтобы бежать, но со всех сторон он видел только великолепное и немое царство волн, замыкавшее его сияющую тюрьму. Он смотрел сквозь прозрачные стены и видел, как распускаются морские анемоны, как расцветают кораллы и стаи пурпуровых, лазоревых и золотых рыб проплывают над нежными мадрепорами и переливающимися раковинами и одним движением хвоста взметают тысячи искр. Все эти чудеса нисколько не трогали его, но, убаюкиваемый сладкими песнями ундин, он чувствовал, как воля его мало-помалу слабеет и душа погружается в сон.

Он уже впал в полное безразличие и ленивую истому, когда случайно в одной из галерей дворца ему попала старая книга, пожелтевшая от времени, в переплете из свиной кожи с большими медными застежками. Эта книга, подобранная в глубине моря после кораблекрушения, рассказывала о рыцарях и о дамах, и в ней подробно описывались подвиги героев, которые из любви к справедливости и во имя красоты отправлялись бродить по белому свету, сражались с великанами, карали обидчиков, защищали вдов, давали приют сиротам. Жорж, то вспыхивая от восторга, то сгорая от стыда, то бледнея от ярости, читал рассказы об этих дивных приключениях. Он не мог удержаться и воскликнул:

— Я тоже буду добрым рыцарем! Я тоже поеду по белому свету карать злых и помогать несчастным, для блага людей и во имя дамы моего сердца, Пчелки.

И душа его преисполнилась отваги, и он бросился, обнажив меч, через покои хрустального дворца. Бледные женщины в испуге разбежались от него в разные стороны и исчезали, как серебристые волны озера. Только королева осталась невозмутимой. Когда он приблизился, она устремила на него холодный взгляд своих зеленых глаз.

Он подбежал к ней и вскричал:

— Разбей чары, которые оковали меня! Открой мне дорогу на землю! Я хочу сражаться под солнцем, как доблестный рыцарь! Я хочу вернуться туда, где любят, страдают, борются. Верни мне настоящую жизнь и настоящий свет! Верни мне мужество, иначе я убью тебя, злая женщина!

В ответ ему она, улыбаясь, покачала головой. Она была прекрасна и спокойна. Жорж ударил ее изо всех сил своим мечом, но меч его сломился о сверкающую грудь королевы ундин.

— Дитя! — сказала она.

И она приказала бросить его в темницу, устроенную наподобие хрустальной воронки под ее дворцом; вокруг нее сновали акулы, разевая свои страшные пасти, вооруженные тремя рядами острых зубов. И казалось, они вот-вот разобьют тонкую стеклянную стенку, так что в этой необыкновенной темнице невозможно было ни на минуту уснуть.

Основание этой подводной темницы упиралось в каменный пласт, который представлял собою свод пещеры; это была одна из самых отдаленных и заброшенных пещер в царстве гномов.

Вот что увидели эти два человечка за один час и так ясно, как если бы они следовали за Жоржем шаг за шагом каждый день его жизни. После того как старый Нур показал страшную картину темницы во всей ее мрачной правде, он обратился к королю Локу примерно с такой

речью, с какой бродячий артист обращается к маленьким детям, когда показывает им волшебный фонарь.

— Король Лок, — сказал он ему, — я показал тебе то, что ты хотел видеть, и так как теперь ты узнал все, мне нечего больше прибавить. Меня не волнует, понравилось ли тебе то, что ты видел, мне достаточно того, что все это правда. Знание не заботится о том, чтобы нравиться или не нравиться. Оно безжалостно. Оно не пленяет и не утешает. Это дело поэзии. Вот почему поэзия более необходима, чем знание. Поди, король Лок, и вели, чтобы тебе спели песню.

Король Лок вышел из колодца, не сказав ни слова.

Глава XVIII, в которой король Лок отправляется в страшное путешествие

Выйдя из колодца мудрости, король Лок пошел в свою сокровищницу и, открыв ларец, ключ от которого был только у него одного, достал оттуда перстень и надел его себе на палец. Камень в этом перстне излучал яркий свет, ибо это был волшебный камень, обладавший чудесными свойствами, с которыми вам еще предстоит познакомиться в нашем рассказе. Затем король Лок прошествовал в свой дворец, там он надел на себя дорожный плащ, натянул на ноги ботфорты и взял палку; после этого он отправился в путь по многолюдным улицам, большим дорогам, деревьям, порфирным галереям, нефтяным озерам и хрустальным гротам, которые сообщались друг с другом узкими проходами.

Он был задумчив и бормотал слова, в которых напрасно было бы искать смысл. Но он упорно шагал вперед. Горы преграждали ему путь — он преодолевал горы; пропасти разверзались у него под ногами — он спускался в пропасти; он переходил реки вброд, пересекал страшные пустыни, окутанные серными парами, шагал по горячей лаве, где ноги его оставляли глубокие следы, — словом, он был похож на очень упорного путешественника. Он проходил темными пещерами, где морская вода, просачиваясь капля за каплей, стекала по водорослям, словно слезы, и скоплялась в углублениях почвы, образуя лагуны, где бесчисленные ракообразные достигали чудовищных размеров. Огромные крабы, лангусты, гигантские омары, морские пауки хрустели под ногами гнома и в ужасе обращались в бегство, теряя на бегу сломанные клешни и нарушая спячку чудовищных трилобитов и тысячелетних спрутов, которые вдруг вытягивали сотни щупальцев и выплевывали из своего птичьего клюва зловонный яд. А король Лок все шел вперед. Он спустился на самое дно пещер, пробираясь сквозь груды панцирей, оцетинившихся иглами клешней, вооруженных двойными пилами цепких лап, которые хватали его за шею, тусклых глаз, торчавших на концах длинных стеблей. Он дошел до конца пещеры и вскарабкался по стене, цепляясь за выступы скалы, а панцирные чудища карабкались вслед за ним; он остановился только тогда, когда, наконец, нащупал рукой знакомый ему камень, выступавший в этом естественном своде. Он тронул его своим магическим перстнем, и камень вдруг обрушился с ужасающим грохотом, и поток света хлынул в пещеру, и его чудесные волны обратили в бегство чудовищ, вскормленных мраком.

Король Лок просунул голову в отверстие, откуда шел свет, и увидел Жоржа де Бланшеланд, который томился в своей стеклянной тюрьме, мечтая о Пчелке, о земле. Ибо король Лок для того и пустился в это подземное путешествие, чтобы освободить пленника ундин. Но, увидев эту громадную голову, волосатую, бровастую и бородатую, которая глазела на него сквозь дно хрустальной воронки, Жорж решил, что ему угрожает великая

опасность, и хотел было схватиться за меч, совсем забыв о том, что он сломал его о грудь зеленоокой женщины. А тем временем король Лок с любопытством разглядывал его.

— Фу! — сказал он себе. — Да это мальчишка!

И на самом деле это был мальчик, простодушный мальчик, и только это простодушие и спасло его от сладостных и смертельных поцелуев королевы ундин. Сам Аристотель со всей своей премудростью, и тот не сумел бы так удачно выпутаться из этой истории. Жорж, чувствуя себя безоружным, сказал:

— Чего ты от меня хочешь, ты, голован? Чего ты ко мне лезешь? Ведь я тебе ничего дурного не сделал.

Король Лок отвечал ему ворчливым, но вместе с тем и веселым тоном:

— Вы, мой малютка, не можете знать, сделали вы мне что-нибудь дурное или нет, ибо вам неведомы концы и начала, отраженные действия и вообще всякая философия. Но не будем об этом говорить. Если вам не жаль покинуть вашу воронку, идите-ка сюда!

Жорж тотчас же юркнул в пещеру, скользнул по стене и очутился внизу.

— Вы молодчина, маленький человечек, — сказал он своему избавителю, — я буду любить вас всю жизнь, а не знаете ли вы, где Пчелка Кларидская?

— Я много чего знаю, — отвечал гном, — и прежде всего знаю, что я терпеть не могу расспросов.

Услышав эти слова, Жорж сильно смутился и молча пошел за своим проводником сквозь густую и черную мглу, где копошились осьминоги и ракообразные. Тогда король Лок сказал ему насмешливо:

— Дорога-то не проезжая, мой юный принц!

— Сударь, — ответил ему Жорж, — дорога свободы всегда прекрасна, и я не боюсь заблудиться, следуя за моим благодетелем.

Король Лок прикусил губу. Дойдя до порфирных галерей, он показал юноше лестницу, вырубленную в скале гномами, по которой можно было подняться на землю.

— Вот ваша дорога, — сказал он, — прощайте.

— Не говорите мне «прощайте», — вскричал Жорж, — скажите, что я вас еще увижу. Моя жизнь принадлежит вам после того, что вы для меня сделали.

На что король Лок ответил:

— То, что я сделал, я сделал не для вас, а для кого-то другого. Встречаться нам не стоит, ибо нам с вами не быть друзьями.

И Жорж, глядя на него открытым и грустным взором, промолвил:

— Никогда бы я не поверил, что мое освобождение может меня огорчить. И, однако, это так. Прощайте, сударь.

— Счастливого пути! — крикнул король Лок страшным голосом.

А лестница гномов кончалась в заброшенной каменоломне, которая находилась меньше чем в одном лье от Кларидского замка.

Король Лок продолжал свой путь, бормоча себе под нос:

— У этого мальчишки нет ни мудрости, ни богатств, какими обладают гномы. Право, не могу понять, за что его любит Пчелка? Разве только за то, что он молод, красив, верен и храбр!

Он вернулся в свой город, посмеиваясь себе в бороду, как человек, сыгравший с кем-то ловкую штуку. Поравнявшись с домиком Пчелки, он просунул свою косматую голову в окошко, как недавно просунул ее в стеклянную воронку, и увидел, что молодая девушка сидит и вышивает серебряные цветы на фате.

— Будьте счастливы, Пчелка! — сказал он ей.

— И тебе того же желаю, Лок-королек, — ответила Пчелка, — пусть тебе будет так хорошо, чтобы нечего было и желать или по крайней мере не о чем было жалеть.

Желать-то у него было чего, но жалеть, правда, было не о чем. Подумав об этом, он с большим аппетитом поужинал. Поглотив изрядное количество фазанов, начиненных трюфелями, он позвал Боба.

— Боб, — сказал он ему, — садись-ка на своего ворона, лети к принцессе гномов и объяви ей, что Жорж де Бланшеланд, который долгое время был в плену у ундин, ныне возвратился в Кларидаы.

И не успел он это промолвить, как Боб уже умчался на своем вороне.

Глава XIX, в которой рассказывается о том, какая удивительная встреча произошла у портного мастера Жана и какую прекрасную песню пели птицы в саду герцогини

Когда Жорж очутился на земле, в том краю, где он родился, первый человек, которого он встретил, был мастер Жан, старый портной, — он нес на левой руке алую ливрею для мажордома в замок. Увидев своего молодого сеньора, старик завопил во всю глотку:

— С нами крестная сила! Святой Иаков! Ежели вы не сеньер Жорж, который вот уж семь лет, как утоп в озере, так, значит, вы его душа или сам дьявол во плоти!

— Я вовсе не душа и не дьявол, мой добрый Жан, я действительно тот самый Жорж де Бланшеланд, который когда-то прибегал к вам в лавку и выпрашивал у вас лоскутки на платья куклам для моей сестрицы Пчелки.

— Так, выходит, вы вовсе и не утопли, монсеньер! До чего я рад! Да и выглядите вы совсем молодцом! Мой внучек Пьер, который, бывало, карабкался ко мне на руки, чтобы посмотреть, как вы едете в церковь в воскресенье рядом с герцогиней, теперь уже большой малый, красавец парень и хороший работник! Истинная правда, монсеньер, бога благодарю, какой парень. А уж как он доволен будет, когда узнает, что вы не на дне озера и вас не сглодали рыбы, как он думал! Бывало, как только заговорит об этом, чего-чего только не выдумает! Такой смышленный малый, монсеньер! А уж вот что правда, то правда, об вас все в Кларидах жалеют. Еще вы совсем маленький были, а уж видать было, какой молодец растет. А я так до самой смерти не забуду, как вы однажды потребовали у меня иглу, а я не дал, потому что вы еще малы были и вам иглу в руки давать было небезопасно, а вы мне и скажите: «Вот я пойду в лес да наберу хорошеньких еловых зеленых иголочек». Так вот и сказали, меня и сейчас, как вспомню, смех разбирает. Провалиться мне на этом месте, прямо так и сказали. Наш маленький Пьер, бывало, тоже за словом в карман не лазил. А теперь он бочар, к вашим услугам, монсеньер!

— Лучшего бочара я и желать себе не могу. Но расскажите же мне, мастер Жан, что вы знаете о Пчелке и о герцогине.

— Э-эх! Да откуда же вы явились, монсеньер, что не знаете: вот уж семь лет, как принцесса Пчелка похищена горными гномами. А исчезла она в тот самый день, когда вы изволили утонуть; в этот день, можно сказать, Кларидаы потеряли два своих самых хорошеньких цветочка. А герцогиня-то уж как убивалась! Вот тут и скажешь, что и сильные мира тоже не без горя живут, как и самые простые ремесленники, потому как у всех у нас

один праотец Адам. И значит, оно верно говорится, что и собака на епископа может глаза поднять. И уж так-то герцогине тяжело пришлось, что все волосы у нее побелели, и потеряла она всякую радость. И когда весной выходит она в своем черном платье погулять по саду, где птички на деревьях поют, так самой что ни на есть маленькой птахе скорей позавидуешь, чем властительнице Кларидской. Но все-таки горе ее не совсем без надежды, потому что, ежели про вас она и ничего не слышала, так про дочку свою, Пчелку, она из своих вещей снов знает, что та жива.

Добряк Жан болтал, не умолкая, рассказывал о том о сем, но Жорж, узнав, что Пчелка в плену у гномов, уже не слушал его. Он думал:

«Гномы держат Пчелку под землей, а меня из моей хрустальной тюрьмы освободил гном; видно, не все эти человечки одинакового нрава, и мой освободитель, конечно, не из тех гномов, что похитили мою сестрицу».

Он не знал, как ему поступить, знал только, что нужно освободить Пчелку.

Между тем они шли по городу, и кумушки, сидевшие на крылечках, поглядывали с любопытством на юного незнакомца, спрашивая друг у друга, кто бы это мог быть, и все сходились на одном, что он очень недурен собой. Некоторые из них, подогадливей, взглядевшись, узнали сеньора де Бланшеланд и тут же бросились бежать, осеняя себя широким крестом, решив, что это выходец с того света.

— Надо бы покропить его святой водой, — сказала одна старуха, — вот он сразу и сгинет, только оставит после себя смрадный дух адской серы, не то уведет он нашего мастера Жана, да и засадит его живьем в адское пламя.

— Потихе ты, старуха! — одернул ее один горожанин. — Молодой сеньор жив-живехонек, живей нас с тобой. Гляди-ка, цветет, как розан, и похоже, вернулся от какого-нибудь княжеского двора, а никак не с того света. Из далеких стран ворочаются, бабушка, свидетель тому оруженосец Верное Сердце, что вернулся из Рима в прошлом году на Иванов день.

А Маргарита, дочь оружейника, вдосталь налюбовавшись Жоржем, поднялась в свою девичью светелку и, бросившись на колени перед образом святой девы, стала молиться:

— Пресвятая дева! Сделай так, чтобы муж у меня был точь-в-точь такой, как молодой сеньор.

Всякий по-своему судачил о возвращении Жоржа, и так эта новость, передаваясь из уст в уста, дошла до герцогини, которая гуляла в это время у себя в саду. Сердце ее затрепетало, и вдруг она услышала, как все птицы кругом на деревьях защебетали:

Тви! тви! тви!
Он здесь! здесь! тви!
Жорж де Бланшеланд!
Тви! тви! тви!
Тут! тут! тут!
Скорей! сюда! сюда!
Тви! тви! тви!
Да! да! да!

Оруженосец Верное Сердце почтительно приблизился к ней и сказал:

— Госпожа моя герцогиня, Жорж де Бланшеланд, которого вы считали погибшим, возвратился; мне уже не терпится сложить про это песню.

А птицы распевали:

Тиви! тиви!

Тут! тут! тут!

Тиви! Фрр! здесь! здесь! здесь! здесь!

И когда герцогиня увидела мальчика, которого она растила как родного сына, она раскрыла ему объятия и упала без чувств.

Глава XX, которая рассказывает об атласной туфельке

В Кларидах нисколько не сомневались, что Пчелка похищена гномами. Так думала и герцогиня, но ее сны не говорили этого прямо.

— Мы ее найдем! — говорил Жорж.

— Найдем! — вторил ему Верное Сердце.

— Мы ее вернем матери! — говорил Жорж.

— Вернем! — подтверждал Верное Сердце.

— И мы возьмем ее в жены! — говорил Жорж.

— Возьмем! — повторял Верное Сердце.

И они расспрашивали окрестных жителей о повадках гномов и о загадочных обстоятельствах похищения Пчелки.

И вот как-то случилось, что они пришли к кормилице Морилле, которая вскормила своим молоком герцогиню Кларидскую; только теперь у Мориллы уже не было молока для грудных ребят, и она кормила кур на птичьем дворе.

Там-то ее и нашли сеньор и оруженосец. Она кричала: «Цып! цып! цы-ып! цыпи! цыпи! Цыпи! цып! цып! цы-ып!» — и бросала зерно цыплятам.

— Цып! цып! цы-ып! цыпи! цыпи! цыпи! А, да это вы, монсеньер! Цып! цып! цып! Да как же это вы такой большой выросли... цып! и такой красивый! цып! цып! Кш! кш! кш! Видали вы этого обжору, он готов съесть у маленьких весь корм? Кш! кш! пшел! Вот так-то и на белом свете, монсеньер. Все добро достается богатеям. Тощие тощуют, а толстяки толстеют. Потому что нет правды на земле. А чем я могу служить монсеньеру? Уж верно, вы не откажетесь выкушать оба по стаканчику сидра?

— Нет, не откажемся, Морилла, и дай-ка я расцелую тебя, потому что ты вскормила мать той, кого я люблю больше всего на свете.

— Что правда, то правда, монсеньер; и первые зубки у моей дитятки прорезались ровно через шесть месяцев и четырнадцать дней. И по этому случаю покойная герцогиня сделала мне подарок. Истинная правда.

— Ну, так вот, Расскажи нам, Морилла, что ты знаешь о гномах, которые похитили Пчелку.

— Э-эх, монсеньер! Да ничего я не знаю об этих гномах, которые ее похитили. Да и как вы хотите, чтобы такая старуха, как я, могла что-нибудь знать? Уж я давным-давно позабыла и то немного, что знала, и так у меня память отшибло, что иной раз никак вспомнить не могу, куда я засунула очки. Другой раз ищешь-ищешь, а они на носу. Попробуйте-ка моего сидра, сейчас со льда.

— За твое здоровье, Морилла!.. А вот говорят, твой муж знал что-то о том, как похитили

Пчелку.

— Что правда, то правда, монсеньер. Хотя и не ученый был человек, а немало вещей знал, толкался по харчевням да по кабачкам. И ничего не забывал. Коли бы еще он жил на белом свете да сидел бы с нами за этим столом, он бы, вам много чего порассказал, вы бы его до утра не устали слушать. Столько он мне, бывало, всякой всячины наговорит, разных происшествий да историй, что у меня от них просто каша в голове, — разве упомнишь, где у какой начало, а где конец. Все перепуталось, истинная правда, монсеньер.

Да, это была истинная правда, и голова кормилицы поистине была похожа на старый дырявый горшок. Жоржу и Верному Сердцу пришлось немало потрудиться, чтобы вытянуть из нее что-нибудь дельное. Но все же, расспросив ее хорошенько, они услышали нижеследующий рассказ, который начинался так:

— Вот уж тому семь лет, монсеньер, — да в тот самый день, когда вы с Пчелкой ушли, не спросясь, на прогулку, из которой не вернулись ни вы, ни она, — мой покойный муж отправился в горы продавать лошадь. Так вот оно и было, истинная правда, монсеньер. Он задал скотине добрую меру овса, намоченного в сидре, чтобы в глазах у нее появился блеск, а поджилки стали тугими, и повел ее в горное село на ближний рынок. И там сбыв ее за хорошие деньги, так что ему не пришлось пожалеть ни об овсе, ни о сидре. Что скотина, что человек — и тех и других по наружности уважают. Мой покойник-муж уж так был доволен, что такое удачное дельце сладил, что на радостях решил угостить приятелей да еще вздумал поспорить с ними, кто кого перепьет. А да будет вам известно, монсеньер, не было такого человека во всех Кларидах, который мог бы тягаться с моим покойником, когда дело доходило до стаканчика. И вот в тот самый день, после того как он всех перепил, пришлось ему возвращаться одному-одинешеньку в сумерки, и попал он не на ту дорогу, потому как свою-то не узнал. Вот идет он мимо какой-то пещеры и видит, ясно видит, хоть и час поздний, да и сам он изрядно под хмельком, — целая толпа маленьких человечков тащат на носилках не то мальчика, не то девочку. Он, конечно, бежать со страху, чтоб не случилось худа, потому что хоть и был выпивши, а ума все-таки не потерял. Но неподалеку от этой пещеры обронил он свою трубку и нагнулся, чтобы поднять, а вместо нее попалась ему под руку маленькая атласная туфелька. Он так удивился, что сказал про себя, — и эти самые слова он потом, бывало, часто повторял, когда в духе был: «Это, говорит, первый случай такой, чтобы трубка в туфельку обратилась». Ну, а так как эта туфелька была с детской ножки, он и подумал, что, верно, та девочка, которая ее в лесу потеряла, и была похищена гномами, и как раз это похищение-то он и видел. Он уж было сунул туфельку в карман, но в эту самую минуту человечки в колпачках набросились на него и надавали ему таких оплеух, что он совсем обалдел, так и застыл на месте.

— Морилла! Морилла! — вскричал Жорж. — Так это Пчелкина туфелька! Дай мне ее скорей, чтобы я мог ее расцеловать. Я спрячу ее в шелковый мешочек и буду носить у себя на сердце, а когда я умру, ее положат со мною в гроб.

— Со всем бы удовольствием, монсеньер, да только где же ее взять-то теперь? Гномы отняли ее у моего бедного мужа, и он даже думал, не потому ли ему так здорово и досталось от них, что он ее собирался в карман сунуть, господам в ратуше показать. Помню, когда он бывал в духе, любил пошутить на этот счет...

— Довольно, Морилла, все! Скажи мне только, как называется эта пещера?

— Ее зовут Пещерой Гномов, монсеньер, и правильное это название. Мой покойный муж, бывало...

— Довольно, Морилла! Больше ни слова! А ты, Верное Сердце, знаешь, где эта пещера?

— Вы бы в этом не сомневались, монсеньер, — отвечал Верное Сердце, усердно

опорожня кувшин с сидром, — коли бы лучше знали мои песенки. Я сочинил их целую дюжину об этой пещере и так ее всю описал, что не забыл ни единой травинки. Осмелюсь вам сказать, монсеньер, что из этой дюжины песенок штук шесть отменного качества. Но и остальными пренебрегать не следует. Как-нибудь я вам спою одну-другую.

— Верное Сердце, — воскликнул Жорж, — мы с тобой отправимся в пещеру гномов и освободим Пчелку!

— Ясное дело! — подтвердил Верное Сердце.

Глава XXI, в которой рассказывается об одном опасном приключении

Как только наступила ночь и все в замке уснуло, Жорж и Верное Сердце тихонько пробрались в подвал, где хранилось оружие. Там под закопченными балками сверкали копья, шпаги, мечи, палаши, клинки, кинжалы — все, что нужно для того, чтобы убить человека или волка. Под каждой перекладиной рыцарские доспехи стояли в такой решительной и гордой позе, что, казалось, в них еще обитает душа храбреца, который надевал их когда-то, отправляясь на великие подвиги. Латные рукавицы сжимали своими десятью железными пальцами копье, щит упирался в набедренник, словно показывая, что осторожность не претит мужеству и что истинный воин вооружается для защиты не менее тщательно, чем для нападения.

Жорж выбрал из всех доспехов те, в которых отец Пчелки ходил в поход на острова Авалон и Фулу. Он облачился в них с помощью Верного Сердца, не преминув взять и щит, на котором на одной стороне был изображен кларидский герб — золотое солнце. Верное Сердце в свою очередь облекся в добротную старинную кольчугу своего деда, а на голову надел старый помятый шлем, к которому прицепил в виде плюмажа или султана облезлую метелку из перьев. Он выбрал ее просто потому, что ему взбрела такая фантазия и чтобы выглядеть повеселее, ибо считал, что веселье хорошо во всех случаях жизни, а в особенности когда грозит опасность.

Вооружившись, они пошли при свете луны темным парком. Верное Сердце оставил лошадей на опушке леса, неподалеку от крепостного вала, там они и стояли на привязи и глодали кору кустарника; это были очень быстрые кони, и не прошло и часа, как всадники увидели среди блуждающих огней и призрачных видений гору гномов.

— Вот и пещера, — сказал Верное Сердце. Рыцарь и оруженосец соскочили с коней и, обнажив мечи, двинулись в пещеру. Надо было обладать немалой смелостью, чтобы отважиться на подобное приключение. Но Жорж был влюблен, а Верное Сердце был преданный друг. И тут было бы уместно сказать вместе с одним из самых пленительных поэтов:

Чего не может дружба, ведомая любовью?

Рыцарь и оруженосец шагали около часа в глубоком мраке и вдруг с удивлением увидели яркий свет. Это был один из тех метеоров, которые, как мы знаем, освещают царство гномов.

В этом сверкающем подземном свете они увидели, что стоят у стены старинного замка.

— Вот, — сказал Жорж, — это и есть тот самый замок, который нам надлежит взять приступом.

— По-видимому, так, — отвечал Верное Сердце, — но разрешите, я глотну несколько капель того винца, что я захватил с собой в качестве оружия; ибо чем крепче вино, тем крепче и человек, чем крепче человек, тем крепче копье, а чем крепче копье, тем слабее враг.

Жорж, оглядевшись кругом и не видя ни души, ударил что есть силы рукояткой своего меча в ворота замка. Раздался тоненький BLEЮЩИЙ ГОЛОСОК, — Жорж поднял голову и увидел в одном из окон замка крошечного старичка с длинной бородой, который спросил его:

— Кто вы такой?

— Жорж де Бланшеланд.

— А что вам здесь надо?

— Освободить Пчелку Кларидскую, которую вы бесправно держите в вашей норе, мерзкие кроты!

Гном исчез, и Жорж снова остался вдвоем с Верным Сердцем; и тот сказал ему:

— Не знаю, сеньор, может, я и ошибаюсь, но мне сдается, что вы, отвечая гному, не позаботились пустить в ход все улещенья проникновенно убеждающего красноречия.

Верное Сердце ни перед чем не робел, но он был стар, сердце его, как и его череп, было сглажено временем, и он не любил, когда зря раздражали людей. Жорж, наоборот, не помнил себя от ярости и кричал во все горло:

— Эй вы, мерзкие землекопы, кроты, барсуки, сурки, хорьки, водяные крысы, сейчас же откройте ворота, и я обрежу вам уши, всем до единого!

Но только он успел прокричать это, как бронзовые ворота замка медленно раскрылись сами собой, так как не было видно никого, кто бы толкал эти огромные створы.

Жоржу стало страшно, но он отважно вошел в таинственные ворота, ибо храбрость его была сильнее, чем его страх. Очутившись во дворе, он увидел во всех окнах, на всех галереях, всюду на всех крышах, на шпицах, на фонарях и даже на печных трубах множество гномов, вооруженных луками и арбалетами.

Он услышал, как бронзовые ворота захлопнулись за ним, и тотчас же со всех сторон на него градом посыпались стрелы. И во второй раз ему стало страшно, и во второй раз он преодолел свой страх.

Подняв щит левой рукой, а в правой сжимая меч, он стал подниматься по лестнице, ведущей во дворец, и вдруг увидел прямо перед собой, на верхней ступени, царственно спокойного, величественного гнома с золотым скипетром, в королевской короне и пурпурной мантии: И он узнал в этом гноме того самого человечка, который освободил его из стеклянной тюрьмы. Он бросился ему в ноги и воскликнул, заливаясь слезами:

— О мой избавитель! Кто же вы такой? Неужели вы из тех, кто отнял у меня мою любимую Пчелку?

— Я король Лок, — отвечал гном, — я держал Пчелку у себя, дабы открыть ей тайны гномов. Ты, мальчишка, ворвался в мое королевство, как буря в цветущий сад. Но гномы не подвержены людским слабостям и не поддаются ярости, как вы, люди! Я намного превосхожу тебя мудростью и потому не гневаюсь на тебя, что бы ты ни делал. Из всех моих превосходств над тобой есть одно, которое я ревниво храню: оно называется справедливостью. Я прикажу позвать Пчелку и спрошу ее, хочет ли она последовать за тобой. Я сделаю это не потому, что ты этого желаешь, а потому, что я должен так поступить.

Наступила глубокая тишина, и появилась Пчелка в белом платье, с рассыпавшимися по плечам светлыми кудрями. Как только она увидала Жоржа, она бросилась в его объятия и крепко прижалась к его железной рыцарской груди.

И тогда король Лок сказал ей:

— Пчелка, правда ли, что это тот человек, которого вы хотели иметь мужем?

— Правда, сущая правда, Лок-королек, это он самый, — отвечала Пчелка. — Смотрите все вы, милые человечки, как я смеюсь и как я радуюсь!

И она заплакала. Ее слезы капали на лицо Жоржа, и это были слезы счастья; они перемежались взрывами смеха и тысячью самых нежных слов, лишенных смысла и похожих на те, что лепечут маленькие дети. Она не думала о том, что королю Локу, может быть, очень грустно смотреть на ее счастье.

— Возлюбленная моя, — сказал ей Жорж, — я нахожу вас такой, какой мечтал найти: самой прекрасной и самой лучшей из смертных. Вы меня любите! Хвала небесам, вы меня любите! Но, Пчелка моя, разве вы не любите немножко и короля Лока, который освободил меня из стеклянной темницы, где ундины держали меня в плену вдалеке от вас?

Пчелка обернулась к королю Локу.

— Лок-королек, ты это сделал! — вскричала она. — Ты меня любишь и все-таки освободил того, кого люблю я и кто любит меня...

Больше она не могла говорить, упала на колени и закрыла лицо руками.

Все маленькие человечки, взиравшие на эту сцену, обливались слезами, опершись на свои самострелы. Один только король Лок сохранял спокойствие. Пчелка, которой открылось теперь все его величие и доброта, прониклась к нему нежной дочерней любовью. Она взяла за руку своего возлюбленного и сказала:

— Жорж, я люблю вас, один бог знает, как я люблю вас. Но как же мне покинуть короля Лока?

— Покинуть? Что? Вы оба мои пленники! — воскликнул король Лок громовым голосом. Он закричал таким страшным голосом шутки ради. А на самом деле он нисколько не сердился.

Верное Сердце подошел к нему и преклонил колено.

— Всемиловитейший государь, — сказал он, — да соблаговолит ваше величество разрешить мне разделить плен господина моего и госпожи моей, которым я служу!

Пчелка, узнав его, вскричала:

— Это ты, Верное Сердце, мой добрый слуга! Как я рада тебя видеть. Ах, какой у тебя ужасный султан! А скажи, сочинил ты новые песенки?

И тут король Лок повел их всех троих обедать.

Глава XXII, в которой все благополучно кончается

На следующий день Пчелка, Жорж и Верное Сердце, облачившись в пышные одежды, которые приготовили им гномы, отправились в праздничный зал, где король Лок в королевском одеянии вскоре встретился с ними, как и обещал. За ним шествовала его гвардия в доспехах и мехах варварского великолепия и в касках, над которыми трепетали лебединые крылья. Гномы сбегались толпами, проникая через окна, отдушины и камин, пролезая под скамьями.

Король Лок поднялся на каменный стол, уставленный кувшинами, светильниками, кубками и золотыми чашами чудеснейшей работы. Он сделал знак Пчелке и Жоржу приблизиться и сказал:

— Пчелка, закон народа гномов требует, чтобы чужеземцы, попавшие к нам, обретали свободу по истечении семи лет. Вы провели семь лет среди нас, Пчелка, и я был бы плохим гражданином и преступным королем, если бы удерживал вас долее. Но прежде чем расстаться

с вами, я желаю, раз уж мне нельзя жениться на вас, обручить вас с тем, кого вы избрали. Я делаю это с радостью, ибо люблю вас больше, чем себя самого, а мое горе, если оно не пройдет, останется легкой тенью, которую развеет ваше счастье. Пчелка Кларидская, принцесса гномов, дайте мне вашу руку. И вы, Жорж де Бланшеланд, дайте мне также вашу руку.

Соединив руки Жоржа и Пчелки, король Лок обратился к своему народу и провозгласил громким голосом:

— Вы, человечки, дети мои, свидетели того, что эти двое, стоящие здесь, обручаются друг с другом, дабы вступить в брак на земле. Пусть же они возвратятся туда вместе и да возрастят они вместе мужество, скромность и верность, как добрые, садовники взращивают розы, гвоздики и пионы.

Гномы подхватили эти слова громкими кликами; чувства у них были самые противоречивые, ибо они не знали, радоваться им или огорчаться. Король Лок снова повернулся к жениху с невестой и, указывая на кувшины, кубки и прочие драгоценные изделия, сказал:

— Это дары гномов. Примите их, Пчелка, они будут напоминать вам о ваших маленьких друзьях, ибо это дарят вам они, а не я. А сейчас вы узнаете, что подарю вам я.

Наступило долгое молчание. Король Лок с выражением глубокой нежности смотрел на Пчелку, чье прелестное сияющее чело, увенчанное розами, склонилось на плечо жениха.

Затем он заговорил так:

— Дети мои, любить пылко — это еще не все, надо еще хорошо любить. Любить пылко — это, конечно, прекрасно, но любить самоотверженно — еще лучше. Пусть же любовь ваша будет столь же нежна, сколь и сильна, пусть в ней не будет недостатка ни в чем, даже в снисходительности, и пусть к ней всегда примешивается немножко сострадания. Вы молоды, прекрасны и добры, но вы люди и тем самым подвержены многим несчастьям. Вот поэтому-то, если к тому чувству, которое вы испытываете друг к другу, не будет примешиваться немного сострадания, это чувство не будет отвечать всем превратностям вашей совместной жизни. Оно будет подобно праздничной одежде, которая не защищает ни от ветра, ни от дождя. Истинно любят только тех, кого любят даже в их слабостях и в их несчастьях. Щадить, прощать, утешать — вот вся наука любви.

Король Лок умолк, охваченный глубоким и сладостным волнением, затем продолжал:

— Дети мои, будьте счастливы: берегите свое счастье, берегите его крепко.

В то время как он говорил, Пик, Тад, Диг, Боб, Трюк и По, ухватившись за белое покрывало Пчелки, осыпали поцелуями руки молодой девушки и умоляли ее не покидать их. Тогда король Лок достал из-за пояса перстень с драгоценным камнем, от которого шли яркие снопы лучей. Это был тот самый волшебный перстень, который открыл темницу ундин. Он надел его Пчелке на палец и сказал:

— Пчелка, примите из моих рук этот перстень, который позволит вам и вашему супругу входить в любой час в царство гномов. Вас здесь всегда встретят с радостью и всегда придут вам на помощь. А вы в свою очередь внушите вашим будущим детям не питать презрения к маленьким, простодушным, трудолюбивым человечкам, которые живут под землей.

В те времена в пустыне жило много отшельников. По обоим берегам Нила раскинулись бесчисленные хижины, сооруженные из ветвей и глины руками самих затворников; хижины отстояли друг от друга на некотором расстоянии, так что их обитатели могли жить уединенно и вместе с тем в случае надобности оказывать друг другу помощь. Кое-где над хижинами возвышались храмы, осененные крестом, и монахи сходились туда по праздникам, чтобы присутствовать при богослужении и приобщиться таинствам. На самом берегу реки встречались обитатели, где жило по несколько монахов; они ютились в отдельных тесных келейках и селились вместе лишь для того, чтобы полнее чувствовать одиночество.

И отшельники и монахи жили в воздержании, вкушали пищу лишь после захода солнца, и единственным яством служил им хлеб со щепоткой соли да иссопа^[31]. Некоторые из них уходили в глубь пустыни, превращая в келью какую-нибудь пещеру или могилу, и вели еще более диковинный образ жизни.

Все они соблюдали целомудрие, носили власяницу и куколь, после долгих бдений спали на голой земле, молились, пели псалмы — словом, каждодневно подвизались в покаянии. Памятуя о первородном грехе, они отказывали плоти не только в удовольствиях и утехах, но и в самом необходимом, по тогдашним понятиям, уходе. Они считали, что телесные немощи целительны для души и что нет для тела лучших украшений, чем язвы и раны. Так сбывалось слово пророков: «Пустыня оденется цветами».

Одни из обитателей святой Фиваиды проводили дни в умерщвлении плоти и созерцании, другие зарабатывали себе на хлеб насущный тем, что плели веревки из пальмового волокна или нанимались к соседним землевладельцам на время жатвы. Язычники несправедливо подозревали некоторых из них в том, что они живут разбоем и действуют заодно с кочевниками-арабами, которые грабят караваны. На самом же деле монахи презирали богатство, и благоухание их добродетели возносилось до самых небес.

Ангелы, похожие на юношей, навещали их под видом странников с посохом в руке, а демоны, приняв облик эфиопов или зверей, рыскали вокруг затворников, стараясь ввести их в соблазн. По утрам, когда монахи шли к колодцам за водой, они замечали на песке следы копыт сатиров и кентавров. С точки зрения духовной, истинной, Фиваида являла собою поле битвы, где ежечасно, в особенности по ночам, шли таинственные сражения между небом и царством тьмы.

Подвергаясь яростным нападениям легионов нечистой силы, аскеты с помощью бога и ангелов защищались постом, покаянием и умерщвлением плоти. Иной раз жало плотских желаний язвило их так жестоко, что они выли от боли, и их стенания вторили мяуканью голодных гиен, которым оглашалась пустыня в звездные ночи. Тут-то бесы и являлись отшельникам под пленительными личинами. Ведь демоны, хоть они на самом деле и безобразны, иной раз облакаются призрачной красотой, и это мешает разглядеть их подлинную сущность. Фиваидские отшельники с ужасом видели в своих кельях картины таких наслаждений, каких не ведали даже тогдашние сладострастники. Но, охраняемые силой крестного знамения, они не поддавались искушению, и мерзкие духи, приняв свои истинные обличья, исчезали с зарею посрамленные и яростные. На рассвете не раз случалось людям встречать убегающего беса, который на расспросы отвечал, заливаясь слезами: «Я плачу и стенаю оттого, что один из здешних христиан высек меня розгами и изгнал с позором».

Власть старцев пустынножителей распространялась даже на грешников и неверующих.

Их доброта порою обращалась в грозную силу. Они унаследовали от апостолов власть карать за обиды, нанесенные истинному богу, и уже ничто в мире не могло спасти тех, кто был ими осужден. По городам и даже в самой Александрии среди народа ходили страшные слухи о том, что стоило им только коснуться грешника посохом, как земля сама разверзалась под человеком и бездна поглощала его. Поэтому все распутники, а особенно мимы, плясуны, женатые священники и куртизанки, очень боялись отшельников^[32].

Они обладали такой духовной силой, что их власти подчинялись даже хищные звери. Когда затворнику приходило время умереть, появлялся лев и когтями рыл ему могилу. Святой отец понимал по этому знаку, что создатель призывает его к себе, и обходил всех братьев, чтобы дать им прощальное лобзание. Потом отшельник, радуясь в сердце своем, ложился, дабы почтить во господе.

И вот с тех пор как Антоний^[33], в возрасте более ста лет, удалился с возлюбленными своими учениками Макарием и Амафасом на гору Кольцинскую, не было во всей Фиваиде монаха, который мог бы сравниться в усердии с Пафнутием, антинойским настоятелем. Правда, Ефрем и Серапион начальствовали над большим числом монахов и славились умением руководить духовными и житейскими делами возглавляемых ими монастырей. Зато Пафнутий строже соблюдал посты и иной раз по целых три дня не вкушал пищи. Он носил особенно грубую власяницу, утром и вечером бичевал себя и подолгу лежал, распростершись на земле.

Его двадцать четыре ученика построили себе хижины неподалеку от него и брали с него пример в подвижничестве. Он горячо любил их во Христе и беспрестанно призывал к покаянию. В числе его духовных чад насчитывалось несколько человек, которые долгие годы разбойничали, но были так глубоко тронуты увещеваниями святого настоятеля, что решили принять монашество. Праведность их жизни служила образцом для их собратий. Среди последних находился бывший повар абиссинской царицы; он тоже был обращен антинойским настоятелем и непрестанно оплакивал свои грехи; был тут и дьякон Флавиан, знаток Писания и мастер говорить. Но самым замечательным из учеников Пафнутия был молодой крестьянин по имени Павел, прозванный Юродивым за крайнее простодушие. Люди смеялись над его простотой, а господь, благоволя к нему, ниспосылал ему видения и наделил даром пророчества.

Пафнутий много времени посвящал назиданию своих духовных чад и подвижничеству. Кроме того, он размышлял над священными книгами, ища смысла в их иносказаниях. Поэтому еще в молодых летах он отличался великими заслугами. Дьяволы, столь яростно осаждавшие добрых отшельников, не решались подступиться к нему. По ночам, когда на небе сияла луна, семь маленьких шакалов неотступно находились возле его кельи; они сидели на задних лапках молча, не шевелясь, наострив уши. Вероятно, то были семь демонов, которым он преградил к себе дорогу силою своей святости.

Пафнутий родился в Александрии от благородных родителей, которые дали ему языческое образование. Он даже поддался бредням поэтов, и в ранней юности заблуждения его ума и безрассудство дошли до того, что он верил, будто род человеческий пережил потоп во времена Девкалиона^[34], и дерзал рассуждать со сверстниками о природе, свойствах и даже о самом существовании бога. Он вел тогда, как то свойственно язычникам, разгульный образ жизни. Об этом времени он вспоминал теперь со стыдом и раскаянием.

— В те дни, — говорил он собратьям, — я кипел в котле ложных услад.

Он хотел сказать, что ел тогда искусно приготовленное мясо и посещал общественные бани. И действительно, до двадцатилетнего возраста он вел жизнь, обычную для того времени, ту жизнь, которую пристойнее было бы назвать смертью. Но, восприняв поучения

священника Макрина, он стал другим человеком.

Он до глубины души проникся истиной и обычно говорил, что она вонзилась в него как меч. Он уверовал в Голгофу и возлюбил распятого Христа. Приняв крещение, он еще год прожил среди язычников, в миру, с которым был связан привычкой. Но однажды, войдя в храм, он услышал слова Писания, прочтенные дьяконом: «Если хочешь быть праведным, поди и продай имущество свое и деньги раздай бедным». Он тотчас же продал все, что у него было, полученные деньги раздал неимущим и принял монашество.

Прошло уже десять лет с того дня, как он перестал кипеть в котле чувственных усад, и он с пользой умерщвлял свою плоть, умащая ее бальзамом покаяния.

Однажды, по благочестивой привычке перебирая в памяти дни, прожитые в отчуждении от господ, он одно за другим мысленно оживлял свои прежние заблуждения, дабы глубже постигнуть всю их гнусность, и ему вспомнилось, что некогда он видел на александрийском театре лицедейку, отличавшуюся поразительной красотой, имя которой было Таис. Эта женщина выступала на сцене и не брезгала участвовать в танцах, искусно рассчитанные движения которых напоминали движения, сопутствующие самым мерзким страстям. А иной раз она изображала какое-нибудь постыдное действо из числа тех, что приписываются языческими сказаниями Венере, Леде или Пасифае^[35]. Такими средствами она воспламеняла зрителей огнем своей похоти, а когда красивые юноши или богатые старцы, преисполненные страсти, приходили к ее дому и вешали над дверью гирлянды цветов, она благосклонно принимала почитателей и отдавалась им. Итак, губя собственную душу, она губила и великое множество других душ.

Таис едва было не вовлекла в плотский грех и самого Пафнутия. Она зажгла в его жилах огонь желания, и однажды он уже подошел к ее дому. Но его на самом пороге остановила застенчивость, свойственная ранней юности (ему было тогда пятнадцать лет), а также опасение, как бы она не отвергла его из-за того, что у него нет денег (родители его следили за тем, чтобы он не мог много тратить). Эти два обстоятельства явились орудиями в руках господних, и по великому милосердию своему он уберег юношу от смертного греха. Но тогда Пафнутий отнюдь не был благодарен за это, ибо еще не разумел собственного блага и жажда ложных утех томила его. И вот, стоя у себя в келье на коленях перед святым крестом, на котором был распят Спаситель мира, Пафнутий стал думать о Таис, потому что Таис была его грехом, и долго, как положено правилами подвижничества, размышлял он над чудовищным безобразием плотских наслаждений, жажду которых в дни душевной смуты и неведения внушила ему эта женщина. После нескольких часов размышления образ Таис предстал перед ним в полной ясности. Он вновь увидел ее такою, какою видел в дни искушения, то есть прекрасною телесно! Сначала она явилась в виде Леды, томно раскинувшейся на ложе из драгоценного гиацинта, с запрокинутой головой, влажными глазами, в которых порою вспыхивали молнии, с трепещущими ноздрями, полуоткрытым ртом, цветущей грудью и руками, прохладными, как родники. При этом видении Пафнутий бил себя в грудь и говорил:

— Будь мне свидетель, господь, что я сознаю всю мерзость моего греха!

Между тем лицо Таис незаметно меняло выражение. Уголки ее рта постепенно опускались, и на губах обозначилась таинственная скорбь. Расширившиеся глаза блестели от слез; из стесненной груди вырывались стенания и вздохи, похожие на первые дуновения бури. Это смутило Пафнутия до глубины души. Он пал ниц и обратился к богу с молитвой:

— Господь, даровавший нашим сердцам сострадание, как утреннюю росу — пастбищам, господь правый и милосердный, будь благословен! Хвала тебе, хвала! Отринь от твоего служителя ложное мягкосердие, ведущее к соучастию в грехе, и окажи мне милость: да

возлюблю твои создания не иначе как в тебе, ибо они преходящи, ты же бессмертен. Я жалею эту женщину только потому, что она создана тобою. Сами ангелы участливо склоняются над нею. Не твоих ли уст, господь, она дыхание? Не подобает ей творить грех со столькими согражданами и чужестранцами. Великая жалость к ней зародилась в моем сердце. Прегрешения ее отвратительны, и от одной мысли о них у меня волосы становятся дыбом и все тело мое вопиет. Но чем она грешнее, тем глубже должно быть мое сострадание. Я плачу при мысли о том, что дьяволы будут терзать ее до скончания веков.

Размышляя так, он вдруг заметил, что у ног его сидит маленький шакал. Это его крайне удивило, ибо дверь кельи была с самого утра затворена. Зверек словно читал в мыслях настоятеля и, как пес, повиливал хвостом. Пафнутий перекрестился: зверь сгинул. Уразумев по этому знаку, что дьяволу впервые удалось проникнуть в его жилище, он сотворил краткую молитву, потом снова стал размышлять о Таис.

«С божьей помощью я должен спасти ее», — думал он.

И он заснул.

На другой день, помолившись, Пафнутий отправился к Палемону — благочестивому старцу, жившему отшельником неподалеку от него. Палемон, веселый и умиротворенный, трудился, как всегда, на огороде. Он был стар; он развел небольшой садик; дикие звери прибегали к нему и лизали ему руки, и бесы не тревожили его.

— Хвала господу, брат мой Пафнутий, — сказал он, опершись на заступ.

— Хвала господу! — ответил Пафнутий. — И мир да пребудет с тобою, брат мой.

— И с тобой да пребудет мир, брат Пафнутий, — продолжал отшельник и рукавом отер пот с лица.

— Брат Палемон, единственной целью наших бесед неизменно должно быть прославление того, кто обещал всегда присутствовать среди собравшихся во имя его. Поэтому-то я и пришел к тебе поделиться тем, что я замыслил совершить во славу господню.

— Да благословит господь твое намерение, Пафнутий, как он благословляет то, что я здесь посадил. Каждое утро благодать его вместе с росой нисходит на мой огород и по милосердию его я могу его восславить в огурцах и тыквах, которыми он благодетельствует меня. Будем молиться о том, чтобы он и впредь даровал нам мир. Ибо нет ничего пагубнее смятения, которое нарушает покой сердца. Когда смятение охватывает нас, мы уподобляемся хмельным и идем, шатаясь из стороны в сторону, готовые на каждом шагу позорно упасть. Иной раз такое неистовство приводит нас в бесшабашное веселье, и тогда тот, кто предается ему, оглашает воздух раскатистым скотским хохотом. Эта прискорбная веселость увлекает грешника во всякого рода распутство. Но случается и так, что смятение души и чувств погружает нас в нечестивое уныние, а оно еще в тысячу раз хуже веселья. Брат Пафнутий, я всего-навсего жалкий грешник, но за свою долгую жизнь я убедился, что нет у монаха злейшего врага, чем уныние. Я понимаю под унынием ту необоримую тоску, которая, как туман, объемлет душу и заслоняет от нее господень свет. Ничто так не противно спасению, и велико бывает торжество дьявола, когда ему удастся оплести сердце монаха острой и безысходной тоской. Если бы дьявол соблазнял нас только веселием и радостью, он был бы далеко не так страшен. Увы, он мастер ввергать нас в отчаяние. Нашему отцу Антонию он явил черного ребенка такой дивной красоты, что при взгляде на него глаза застилались слезами. С божьей помощью отец наш Антоний избежал дьявольских козней. Я знал его в те времена, когда он жил среди нас; находясь среди учеников, он всегда пребывал в радости и ни разу не впал в уныние. Но ведь ты, брат мой, пришел, чтобы поведать о том, что замыслил совершить? Ты окажешь мне честь, поделившись со мною, если только задуманное тобою послужит славе господней.

— Брат Палемон, я и в самом деле надеюсь прославить господа. Подкрепи меня советом, ибо ты умудрен и грех никогда не омрачал твоего рассудка.

— Брат Пафнутий, я не достоин развязать даже ремни твоих сандалий, и прегрешениям моим несть числа — как песчинкам в пустыне. Но я стар и не откажусь помочь тебе своей опытностью.

— Так вот, признаюсь тебе, брат Палемон, что я глубоко скорблю при мысли, что в Александрии есть куртизанка по имени Таис, которая живет в грехе и служит для людей соблазном.

— Брат Пафнутий, это и впрямь мерзость, и о ней надлежит скорбеть. Среди язычников есть немало женщин, которые ведут себя вроде этой. А ты придумал какое-нибудь средство против сего великого зла?

— Брат Палемон, эту женщину я знал в Александрии, и с божьей помощью я обращаю ее. Таково мое намерение; одобряешь ли его, брат мой?

— Брат Пафнутий, я всего лишь жалкий грешник, но отец Антоний не раз говорил: «Где бы ты ни был — не торопись покидать это место ради другого».

— Брат Палемон, ты видишь что-то дурное в том, что я задумал?

— Добрый Пафнутий, сохрани меня бог подозревать дурное в намерениях моего брата! Но отец наш Антоний говорил также: «Рыба, выброшенная на песок, умирает; подобно этому и монах, выйдя из кельи и смешавшись с толпой мирян, отклоняется от истины».

С этими словами старик Палемон нажал ногою на лопату и стал усердно окапывать молодую яблоньку. Пока он копал, в сад через живую изгородь, не помяв листвы, стремительно прыгнула антилопа; она остановилась удивленная, встревоженная, трепещущая, потом в два прыжка приблизилась к своему старому другу и прильнула головкой к его груди.

— Да будет благословен бог в газели-пустынножительнице! — сказал Палемон.

И он ушел в хижину за куском черного хлеба, а возвратясь, подал его на ладони быстроногому животному.

Пафнутий стоял некоторое время в раздумье, уставившись на придорожные камни. Потом он не спеша направился к своей келье, размышляя о том, что только что слышал. Ум его напряженно работал.

«Старец Палемон, — думал он, — мудрый советчик; ему присуща осторожность. И вот он сомневается в разумности моего намерения. Между тем я чувствую, что было бы жестоко дольше оставлять эту женщину во власти дьявола. Да просветит меня господь и да укажет мне праведную стезю!»

По дороге Пафнутий заметил ржанку, которая попала в тенета, расставленные на песке охотником; он понял, что это самочка, ибо самец прилетел к сети и стал клювом одну за другой рвать петли, пока, наконец, в тенетах не образовалось отверстие, через которое и вырвалась его подруга. Божий человек дивился этому зрелищу, а так как в силу своей святости он легко постигал тайный смысл сущего, то понял, что попавшаяся в плен птичка — это Таис, опутанная сетями разврата, и что подобно тому, как самец ржанки клювом перекусил конопляные нити, он сам при помощи суровых увещаний должен разорвать невидимые узы, держащие Таис в лоне греха. Поэтому он воздал хвалу господу и утвердился в своем первоначальном намерении. Но, увидев затем, что самец сам попался лапками в сеть, которую только что порвал, Пафнутий снова впал в сомнение.

Он не смыкал глаз всю ночь, а на заре ему было видение. Ему снова явилась Таис. Лицо ее не выражало греховного сладострастия, и на ней не было, как обычно, прозрачной одежды. Всю ее, и даже часть лица, окутывал саван, так что отшельник видел только ее глаза, и из них

лились прозрачные тяжелые слезы.

При виде ее слез Пафнутий сам заплакал и, решив, что видение послано ему богом, перестал сомневаться. Он встал, взял суковатый посох — образ христианской веры — и вышел из хижины, тщательно затворив за собою дверь, дабы звери, обитатели песков, и птицы, парящие в воздухе, не забрались в келью и не осквернили книгу Писания, которую он хранил у своего изголовья; потом он призвал дьякона Флавиана, поручил ему руководить двадцатью тремя учениками и, облачившись в одну лишь длинную власяницу, пустился в путь; он пошел вдоль Нила, намереваясь идти пешком по ливийскому берегу в город, основанный македонцем^[36]. С самой зари шел он по песку, презирая усталость, голод и жажду; солнце уже склонилось к горизонту, когда он увидел грозную реку, катившую свои кровавые воды среди скал, сверкавших огнем и золотом. Он шел по высокому берегу реки, просил у порога редко встречавшихся хижин кусок хлеба во имя божие и со смиренной радостью принимал отказ, брань и угрозы. Он не страшился ни разбойников, ни хищных зверей, зато тщательно избегал городов и селений, попадавшихся ему на пути. Он боялся повстречать ребятишек, играющих в бабки возле отчего дома, или увидеть у колодца женщин в голубых рубахах, улыбающихся, с кувшином в руках. Все таит опасность для отшельника: иной раз ему опасно даже читать в Писании о том, что божественный учитель ходил из города в город и садился вместе с учениками за трапезу. Узоры, которыми подвижники расшивают ткань веры, столь же великолепны, сколь и нежны: достаточно легкого мирского дуновения — и прелестный узор тускнеет. Поэтому-то Пафнутий и избегал городов; он опасался, как бы при виде людей сердце его не размягчилось.

Итак, шел он безлюдными дорогами. Когда наступал вечер и тамаринды под лаской ветерка принимались шелестеть, Пафнутий содрогался и спускал куколь до самых глаз, чтобы не видеть красоты окружающего мира. На седьмой день он пришел в местность, именуемую Сильсилис. Река течет тут в тесной долине, обрамленной двойной цепью гранитных гор. Именно здесь высекали египтяне своих идолов в те времена, когда они поклонялись демонам. Пафнутий увидел огромную голову Сфинкса, еще не отделенную от утеса. Опасаясь, не таится ли в ней дьявольская сила, он переместился и прошептал имя Христа; в тот же миг из уха чудовища вылетела летучая мышь, и Пафнутий понял, что изгнал злого духа, пребывавшего в этом изваянии многие века. Рвение его разгорелось; он поднял с земли большой камень и швырнул его в лицо идола. Тогда на таинственном лице Сфинкса появилось столь грустное выражение, что Пафнутий растрогался. Поистине, сверхчеловеческая скорбь, обозначившаяся на этом каменном челе, тронула бы даже самого бесчувственного человека. И Пафнутий сказал Сфинксу:

— Зверь! По примеру сатиров и кентавров, которых видел в пустыне отец наш Антоний, восславь божественность Иисуса Христа! И я благословлю тебя во имя отца, и сына, и святого духа.

Он сказал — и розовый отсвет блеснул в глазах Сфинкса; тяжелые веки чудовища дрогнули и гранитные губы с трудом, словно эхо, произнесли святое имя Христа. А Пафнутий, простерши правую руку, благословил сильсилисского Сфинкса.

Затем он снова пустился в путь; долина постепенно расширилась, и он увидел развалины огромного города. Еще не рухнувшие храмы поддерживались идолами в виде колонн, и по попустительству божьему женские головы с коровьими рогами устремляли на Пафнутия пристальный взгляд, повергавший его в ужас. Так шел он семнадцать дней, питаясь травами, а ночи проводил в разрушенных дворцах, среди диких кошек и фараоновых крыс, к которым иной раз присоединялись женщины с туловищами, переходившими в чешуйчатый рыбий хвост.

На восемнадцатый день Пафнутий заметил в отдалении от села убогую хижину, сплетенную из пальмовых листьев и полузасыпанную песком, занесенным ветром из пустыни; Пафнутий подошел к хижине в надежде, что она служит приютом какому-нибудь благочестивому отшельнику. Двери в ней не было, и он увидел внутри хижины кувшин, кучку луковиц и ложе из сухих листьев.

«Это — скромное жилье подвижника, — подумал он. — Затворники далеко не уходят от кельи. Хозяина этой хижины найти недолго. Я хочу дать ему поцелуй мира по примеру святого отшельника Антония, который, придя к пустынножителю Павлу, трижды облобызал его. Мы побеседуем о вещах непреходящих, и, быть может, господь пошлет к нам ворона с хлебом, и хозяин радушно предложит мне преломить его вместе с ним».

Рассуждая так с самим собою, Пафнутий бродил вокруг хижины в надежде повстречать кого-нибудь. Пройдя шагов сто, он увидел человека, который, поджав ноги, сидел на берегу Нила. Человек этот был нагой, волосы его и борода были совершенно белые, а тело — краснее кирпича. Пафнутий не сомневался, что это отшельник. Он приветствовал его словами, которыми при встрече обычно обмениваются монахи:

— Мир тебе, брат мой! Да будет дано тебе вкусить райское блаженство!

Человек не отвечал. Он сидел все так же неподвижно и, видимо, не слышал обращенных к нему слов. Пафнутий подумал, что молчание это — следствие восторга, который нередко охватывает святых. Он стал возле незнакомца на колени, сложил руки и простоял так, молясь, до захода солнца. Тогда Пафнутий, видя, что его собрат не тронулся с места, сказал ему:

— Отче, если прошло умиление, в которое ты был погружен, благослови меня именем господа нашего Иисуса Христа.

Тот отвечал, не оборачиваясь:

— Чужестранец, я не понимаю, о чем ты говоришь, и не знаю никакого господа Иисуса Христа.

— Как! — вскричал Пафнутий. — Его пришествие предрекли пророки; сонмы мучеников прославили его имя; сам Цезарь поклонялся ему^[37], и вот только что я повелел сильсисскому Сфинксу воздать ему хвалу. А ты не ведаешь его, — да возможно ли это?

— Друг мой, — отвечал тот, — это вполне возможно. Это было бы даже несомненно, если бы в мире вообще существовало что-нибудь несомненное.

Пафнутий был изумлен и опечален невероятным невежеством этого человека.

— Если ты не знаешь Иисуса Христа, — сказал он, — все, что ты делаешь, бесполезно, и тебе не удостоиться вечного блаженства.

Старик возразил:

— Тщетно действовать и тщетно воздерживаться от действий. Безразлично — жить или умереть.

— Как? Ты не жаждешь вечного блаженства? — спросил Пафнутий. — Но скажи мне, ведь ты живешь в пустыне, в хижине, как и другие отшельники?

— По-видимому.

— Ты живешь нагой, отказавшись от всего?

— По-видимому.

— Питаешься кореньями и блюдешь целомудрие?

— По-видимому.

— Ты отрекся от мирской суеты?

— Я действительно отрекся от всякой тщеты, которая обычно волнует людей.

— Значит, ты, как и я, беден, целомудрен и одинок. И ты стал таким не ради любви к богу и не ради надежды на небесное блаженство? Это мне непонятно. Почему же ты

добродетелен, если не веруешь во Христа? Зачем же ты отрекаешься от земных благ, раз не надеешься на блага вечные?

— Чужестранец, я ни от чего не отрекаюсь и рад тому, что нашел более или менее сносный образ жизни, хотя, строго говоря, не существует ни хорошего, ни дурного образа жизни. Ничто само по себе ни похвально, ни постыдно, ни справедливо, ни несправедливо, ни приятно, ни тягостно, ни хорошо, ни плохо. Только людское мнение придает явлениям эти качества, подобно тому как соль придает вкус пище.

— Значит, по-твоему, ни в чем нельзя быть уверенным? Ты отрицаешь истину, которую искали даже язычники. Ты коснеешь в своем невежестве подобно усталому псу, который спит в грязи.

— Чужестранец, равно безрассудно хулить и псов и философов. Нам неведомо, что такое собаки и что такое мы сами. Нам ничто не ведомо.

— О старец, значит ты принадлежишь к нелепой секте скептиков? Ты из числа тех жалких безумцев, которые равно отрицают и движение и покой и не умеют отличить солнечного света от ночной тьмы?

— Да, мой друг, я действительно скептик и принадлежу к секте, которая кажется мне достойной похвалы, в то время как ты находишь ее нелепой. Ведь одни и те же вещи предстают перед нами в разных обликах. Мемфисские пирамиды на заре кажутся треугольниками, пронизанными розовым светом. В час заката, вырисовываясь на огненном небе, они становятся черными. Но кто проникнет в их истинную сущность? Ты упрекаешь меня в том, что я отрицаю видимое, в то время как я, наоборот, только видимое и признаю. Солнце представляется мне лучезарным, но природа его мне неизвестна. Я чувствую, что огонь жжет, но не знаю, ни почему, ни как это происходит. Друг мой, ты меня не понимаешь. Впрочем, совершенно безразлично, понимают ли тебя так или иначе.

— Опять-таки спрашиваю: зачем бежал ты в пустыню и питаешься одними финиками и луком? Зачем терпишь ты великие лишения? Я тоже терплю лишения и тоже живу отшельником, соблюдая воздержание. Но я делаю это для того, чтобы угодить богу и удостоиться вечного блаженства. А это разумная цель, ибо мудро терпеть муки в предвидении великих благ. И, наоборот, безрассудно по собственной воле возлагать на себя бесполезное бремя и терпеть ненужные страдания. Если бы я не веровал, — прости мне эту хулу, о свет предвечный, — если бы я не веровал в то, что бог возвестил нам устами пророков, примером сына своего, деяниями апостолов, решениями святых соборов и свидетельством мучеников, если бы я не знал, что телесные недуги необходимы для исцеления души, если бы я подобно тебе пребывал в неведении святых таинств, — я тотчас же вернулся бы в мир, я старался бы разбогатеть, чтобы жить в неге, как живут счастливицы мира сего, и я сказал бы страстям: «Ко мне, девушки, ко мне, мои служанки, опьяните меня вашим вином, вашими чарами и благовониями!» А ты, неразумный старец, ты лишаешь себя какой-либо выгоды; ты расточаешь, не ожидая прибыли, ты отдаешь, не надеясь на возмещение, и бессмысленно подражаешь подвигам наших пустынников, подобно тому как наглая обезьяна, пачкая стену, воображает, будто она срисовывает картину искусного живописца. О глупейший из людей, скажи, каковы же твои доводы?

Пафнутий говорил крайне резко. Но старик был невозмутим.

— Друг мой, — ответил он кротко, — к чему тебе доводы злой обезьяны и пса, спящего на нечистотах?

Пафнутий всегда руководился только тем, что может послужить вящей славе господней. Гнев его сразу стих, и он, склонив голову, попросил прощения.

— Прости меня, старец, брат мой, если из-за усердия в защите истины я преступил

должные границы, — сказал он. — Бог мне свидетель, что только заблуждением твоим, а не самим тобою вызван мой гнев. Мне тягостно видеть, что ты пребываешь во тьме неведения, ибо я люблю тебя во Христе и сердце мое полнится заботой о твоём спасении. Говори, изложи мне свои доводы: мне не терпится узнать их, дабы их опровергнуть.

Старик спокойно отвечал:

— Я равно готов и говорить и безмолвствовать. Поэтому я изложу тебе свои доводы, но у тебя доводов просить не стану, потому что мне нет до тебя ни малейшего дела. Мне безразлично, счастлив ли ты, или несчастлив; и мне все равно, так ли ты думаешь, или иначе. Да и как мне любить тебя или ненавидеть? Отвращение и сочувствие одинаково недостойны мудреца. Но раз уж ты спрашиваешь, знай, что имя мое Тимокл и что родился я на Косе от людей, разбогатевших на торговле. Мой отец снаряжал корабли. По уму своему он весьма походил на Александра, прозванного Великим, — только нравом был поживее. Словом, то был человек со всеми слабостями, присущими людям. У меня было два брата, которые последовали по его стопам и стали судовладельцами. Я же избрал стезю мудрости. Старшего брата отец принудил жениться на кариенской женщине по имени Тимесса, но брату она была до того несносна, что, живя с ней, он впал в безысходную тоску. Зато наш младший брат воспылал к ней преступной любовью, и это чувство вскоре перешло в исступленную страсть. Кариенке же оба внушали одинаковое отвращение. Она была влюблена в некоего флейтиста и по ночам принимала его у себя. Однажды утром он забыл у нее венок, который обычно носил на пирах. Мои братья, найдя этот венок, решили убить флейтиста и на другой же день, как он ни умолял их и как ни рыдал, засекли его до смерти. Невестка пришла в такое отчаяние, что разум ее помутился, и вот три безумца, уподобившись скотине, стали бродить по берегам Коса, выли, как волки, с пеной на губах, вперив глаза в землю, а мальчишки гурьбой бегали за ними и швыряли в них раковинами. Наконец несчастные умерли, и отец собственными руками похоронил их. Немного спустя нутро его перестало принимать какую-либо пищу, и он умер от голода, хотя был до того богат, что мог бы скупить все мясо и все плоды на всех азиатских базарах. Он очень досадовал, что состояние достанется мне. А я употребил его на путешествия. Я побывал в Италии, Греции и Африке, но нигде не встретил ни одного мудреца и ни одного счастливого человека. Я изучал философию в Афинах и Александрии и был совсем оглушен шумными спорами. Наконец, добравшись до Индии, я увидел на берегу Ганга нагого человека, который уже тридцать лет неподвижно сидел на месте, поджав под себя ноги. Вокруг его тела вились лианы, в волосах птицы свили гнездо. И все же он жил. При виде его мне вспомнилась Тимесса, флейтист, отец и мои два брата, и я понял, что этот индус — мудрец. «Люди, — решил я, — страдают потому, что лишены чего-то, что они считают благом, или потому, что, обладая им, боятся его лишиться, или потому, что терпят нечто, кажущееся им злом. Упраздните такое убеждение, и все страдания рассеются». Поэтому я и решил ничто не почитать благом, отрешиться от всех соблазнов и жить в одиночестве и неподвижности по примеру того индуса.

Пафнутий внимательно выслушал рассказ старика.

— Тимокл Косский, — отвечал он, — признаю, что многое в твоих рассуждениях не лишено смысла. Действительно, мудро презирать земные блага. Однако неразумно презирать также и блага вечные и навлекать на себя гнев божий. Мне жаль, Тимокл, что ты коснеешь в невежестве, и я преподам тебе истину, чтобы ты, узнав, что есть триипостасный бог, покорился его воле, как ребенок покоряется отцу.

Но Тимокл прервал его:

— Воздержись, чужестранец, от изложения своих верований и не рассчитывай, что тебе удастся внушить мне желание разделить твои чувства. Всякий спор бесплоден. Мое мнение

состоит в том, что не следует иметь никакого мнения. Я живу, не ведая тревог, потому что не предпочитаю что-либо одно другому. Ступай своей дорогой и не пытайся вывести меня из блаженного безразличия, в коем я пребываю как в освежающей ванне после тяжелого жизненного труда.

Пафнутий был весьма сведущ в делах веры. Он хорошо знал человеческое сердце и поэтому понял, что на старца Тимокла еще не простерлась благодать божья и что для этой души, упорствующей в своей гибели, день спасения еще не настал. Он ничего не ответил, боясь, как бы назидание не обернулось соблазном. Ибо иной раз случается, что, оспаривая нечестивцев, не только не обращаешь их к истине, а, наоборот, ввергаешь в новый грех. Поэтому тот, кто обладает истиной, должен благовестить о ней осторожно,

— Что ж, прощай, несчастный Тимокл, — сказал Пафнутий.

И, тяжело вздохнув, он, невзирая на ночь, снова пустился в благочестивое странствие.

Утром он увидел ибисов, неподвижно стоявших на одной ноге у воды, в которой отражались их бледно-розовые шеи. Подальше с высокого берега склонялась нежная серая листва ив; в ясном воздухе треугольником летели журавли, а из кустов доносился крик невидимых цапель. Великая река несла к горизонту свои широкие зеленые воды, по которым, словно крылья птиц, скользили паруса; у берегов там и сям отражались в воде белые домики, вдали над рекой подымался легкий туман, а с тенистых островков, обремененных пальмами, цветами и плодовыми деревьями, взлетали шумные стаи уток, гусей, фламинго и чирков. Слева по тучной равнине, раскинувшейся до самого горизонта, тянулись поля и весело шелестящие сады, солнце золотило колосья, и плодородная земля исходила душистой пылью. При виде всего этого Пафнутий пал на колени и воскликнул:

— Да будет благословен господь, подвигнувший меня пуститься в путь! Боже, кропящий росой арсиноитидские смоковницы, ниспошли благодать свою на душу Таис, которую ты создал так же любовно, как полевые цветы и деревья садов. Пусть цветет она моим тщанием, как благоуханная роза в твоём горнем Иерусалиме.

И всякий раз, когда он видел цветущее дерево или пеструю птичку, он думал о Таис. Так, идя вдоль левого русла реки по плодородным и многолюдным долинам, он через несколько дней достиг Александрии — города, который греки прозвали прекрасным и золотым. Прошел уже час после восхода солнца, когда Пафнутий с холма увидел кровли большого города, сверкавшие в розовой дымке. Он остановился и, скрестив на груди руки, сказал про себя:

«Так вот оно, сладостное место, где я был рожден во грехе, вот золотистый воздух, вместе с которым я вдыхал пагубные благоухания, вот сладострастное море, возле которого я внимал пению сирен. Вот колыбель моя по плоти, вот мирская моя отчизна! Цветущая колыбель, прославленная отчизна — как судят о ней люди. Чадам твоим, Александрия, положено любить тебя, как мать, а я ведь тоже был зачат в твоём великолепно украшенном лоне. Но аскет презирает природу, мистик пренебрегает видимостью, христианин почитает свою земную родину местом изгнания, монах вырывается из оков суеты. Я отвратил от тебя свое сердце, Александрия. Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя за твоё богатство, за твою просвещенность, за твою изнеженность, за твою красоту. Будь проклят, храм адских сил! Мерзкое ложе язычников, зачумленный престол ариан^[38] — будь проклят! А ты, крылатый сын неба, указывавший путь святому отшельнику, отцу нашему Антонию, когда он, идя из недр пустыни, проник в эту твердыню язычества, дабы укрепить веру исповедников христианства и непреклонность мучеников, — дивный ангел господень, незримое дитя, дуновение божье, лети предо мною и взмахами крыл разлей благоухание в смердящем воздухе, которым мне предстоит дышать среди мирских князей тьмы!»

Так сказал он и снова пустился в путь. Он вошел в город через Солнечные ворота. Они

были сложены из камня и гордо вздымались ввысь. А сидевшие в их тени нищие предлагали прохожим лимоны и винные ягоды или, жалобно причитая, вымаливали подавание.

Старуха в рубище, стоявшая на коленях, взялась за власяницу монаха и, приложившись к ней, сказала:

— Человек божий, благослови меня, чтобы и бог меня благословил. Я много выстрадала в этой жизни, и мне хочется побольше радости в жизни будущей. Святой отче, ты посланец божий, и потому пыль на твоих ногах драгоценнее золота.

— Хвала господу, — отвечал Пафнутий.

И он осенил голову женщины знаком искупления.

Но не успел он пройти по улице и двадцати шагов, как ватага ребятишек стала улюлюкать и швырять в него камнями.

— Поганый монах! Он грязнее обезьяны и бородат, как козел. Он бездельник! Поставить бы его в огороде вместо деревянного Приапа^[39], чтобы отпугивать птиц. Да нет, он, чего доброго, наслет град и погубит цветущий миндаль. Он приносит несчастье. Лучше распять его! Распять монаха!

Крики усиливались, в пришельца летели камни.

— Благослови, боже, неразумных отроков, — прошептал Пафнутий.

И он шел своей дорогой и думал:

«Я внушаю уважение старухе и презрение детям. Так одно и то же по-разному расценивается людьми; они не тверды в своих суждениях и склонны заблуждаться. Старец Тимокл, надо признать, хоть и язычник, а все же не лишен здравого смысла. Он слеп, но он знает, что свет ему недоступен. Он куда рассудительнее тех идолопоклонников, которые, пребывая в глубокой тьме, кричат: „Я вижу свет!“ Все в этом мире призрачно, все подобно сыпучим пескам. Один бог незыблем».

И он быстрым шагом шел по городу. Целых десять лет он не был здесь и все же узнавал каждый камень, и каждый камень был камнем позора, напоминавшим ему о грехе. Поэтому странник сильно ударял ногами по плитам широких мостовых и радовался тому, что его израненные подошвы оставляют на них кровавые следы. Миновав великолепные портики храма Сераписа^[40], он направился по дороге, вдоль которой раскинулись богатые дома, как бы дремлющие среди нежных благоуханий. Тут над красными карнизами и золотыми акротериями^[41] вздымались вершины сосен, кленов, терпентиновых деревьев. Через приотворенные двери в мраморных вестибюлях виднелись бронзовые статуи и водометы, окруженные листвой. Ни единый звук не нарушал тишины этих прекрасных жилищ. Только издали доносились звуки флейты. Монах остановился у дома, небольшого по размерам, но благородных пропорций, с колоннами, стройными, как девушки. Дом был украшен бронзовыми бюстами знаменитых греческих философов.

Пафнутий узнал среди них Платона, Сократа, Аристотеля и Зенона. Постучав в дверь молоточком, он стал ждать и подумал: «Тщетно прославлять в бронзе этих мнимых мудрецов. Их ложь опровергнута; души их низринуты в ад, и сам пресловутый Платон, который некогда разглагольствовал на весь мир, теперь препирается только с бесами».

Дверь отворилась; раб, увидев перед собою человека, стоявшего босиком на мозаичном пороге, сказал ему резко:

— Ступай попрошайничать подальше, мерзкий монах, убирайся, пока я не прогнал тебя палкой.

— Брат мой, — отвечал антинойский настоятель, — я ничего не прошу у тебя, только проводи меня к твоему господину.

Раб ответил еще резче:

— Мой господин не принимает таких псов, как ты.

— Сын мой, — возразил Пафнутий, — исполни, пожалуйста, мою просьбу и скажи хозяину, что я хочу с ним переговорить.

— Вон отсюда, подлый попрошайка! — вскричал взбешенный привратник.

И он замахнулся на праведника палкой, а тот, скрестив на груди руки, спокойно принял удар прямо по лицу и кротко повторил:

— Исполни то, о чем я сказал, сын мой, прошу тебя.

Тогда привратник в трепете прошептал:

— Что это за человек, раз он не страшится боли?

И он побежал к хозяину.

Никий выходил из ванны. Красавицы рабыни водили по его телу скребками. Это был любезный, приветливый человек. Лицо его светилось мягкой усмешкой. При виде монаха он встал и пошел ему навстречу с распростертыми объятиями.

— Это ты, Пафнутий, мой товарищ, мой друг, брат мой! — воскликнул он. — Да, узнаю тебя, хотя, по правде говоря, ты довел себя до того, что стал больше похож на скотину, чем на человека. Обними меня! Помнишь, как мы с тобой изучали грамматику, риторику и философию? Уже тогда все считали, что у тебя мрачный, нелюдимый нрав, но я любил тебя за то, что ты был совершенно искренен. Мы говорили, что ты смотришь на мир глазами дикого коня, и поэтому не удивительно, что ты так мрачен. В тебе чуточку недоставало аттического изящества, зато щедрости твоей не было границ. Ты не дорожил ни богатством, ни собственной жизнью. И был в тебе какой-то странный дух, какая-то диковинная сущность, которая несказанно привлекала меня. Добро пожаловать, любезный мой Пафнутий, после десятилетнего отсутствия! Ты ушел из пустыни! Ты отрекаешься от христианских суеверий и возрождаешься к прежней жизни! Этот день я отмечу белым камушком... Кробила и Миртала, — добавил он, обращаясь к женщинам, — умастите благовониями ноги, руки и бороду моего дорогого гостя.

Рабыни несли уже, улыбаясь, скребок, склянки и металлическое зеркало. Однако Пафнутий властным движением остановил рабынь и потупился, чтобы не видеть их. Ибо они были нагие. А Никий пододвинул к гостю подушки и предложил ему разные яства и напитки, но Пафнутий с презрением отказался от них.

— Никий, — сказал он, — я не отрекся от того, что ты ошибочно называешь христианским суеверием и что есть истина истин. Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог. Все чрез него начало быть, и без него ничего не начало быть... В нем была жизнь, а жизнь была свет людей.

— Уж не думаешь ли ты, любезный Пафнутий, — отвечал Никий, успевший облачиться в надушенную тунику, — поразить меня, твердя слова, неумело подобранные и представляющие собою бессмысленный лепет? Ты, верно, забыл, что я сам до некоторой степени философ. И неужели ты воображаешь, что я удовлетворюсь какими-то лоскутами, которые невежды выдрали из пурпурной мантии Амелия, когда даже сам Амелий, Порфирий и Плотин^[42] во всей славе своей не удовлетворяют меня? Все построения мудрецов не что иное, как сказки, придуманные для забавы людей, вечных младенцев. Этим вздором позволительно только развлекаться, как историей об Осле, Бочке, Матроне Эфесской^[43] или любой другой милетской сказкой.

И, взяв гостя под руку, Никий повел его в зал, где в корзинах хранились тысячи папирусов, свернутых трубками.

— Вот моя библиотека, — сказал он, — здесь лишь ничтожная часть систем, построенных философами с целью объяснить мир. Но даже в Серапее, при всем его

богатстве, они представлены далеко не полно. Увы, все это не более чем бредни больных людей.

Он усадил отшельника в кресло из слоновой кости и сел сам. Пафнутий обвел свитки мрачным взглядом, потом сказал:

— Все это надо сжечь.

— Жалко, милый гость! — возразил Никий. — Ведь мечты больных иной раз очень забавны. Кроме того, если изничтожить все людские мечты и бредни, мир утратит свои очертания и краски, и мы закоснеем в беспросветной тупости.

Пафнутий продолжил занимавшую его мысль:

— Не подлежит сомнению, что все языческие системы — пустой обман. Но бог, который есть истина, явил себя людям в чудесах. И он стал плотью и жил среди нас.

Никий возразил:

— Ты прав, любезный и мудрый Пафнутий, когда утверждаешь, что он стал плотью. Бог размышляющий, действующий, говорящий, странствующий по земле, как античный Улисс по синим морям, — такой бог и впрямь человек. Как можешь ты веровать в этого нового Юпитера, когда в прежнего еще во времена Перикла уже не веровали даже афинские мальчишки? Но оставим это. Ты пришел, наверное, не для того, чтобы спорить со мной о триединстве? Чем я могу услужить тебе, любезный друг?

— Я прошу у тебя самой простой услуги, — отвечал антинойский настоятель. — Одолжи мне надушенную тунику вроде той, какую ты сейчас надел. И сделай милость, прибавь к ней золоченые сандалии и скляночку с маслом, чтобы умастить голову и бороду. Хорошо бы, если бы ты дал мне, кроме того, мошну с тысячью драхм. Вот, Никий, за чем я пришел к тебе и о чем прошу во имя божье и в память нашей давней дружбы.

Никий велел Кробиле и Миртале принести самую роскошную тунику; она была расшита в восточном вкусе — цветами и животными. Женщины держали ее развернутой в ожидании, когда Пафнутий снимет с себя власяницу, покрывавшую его с головы до ног; при этом они искусно колыхали наряд, чтобы играли все переливы его ярких красок. Но пришелец сказал, что скорее позволит содрать с себя кожу, чем власяницу; поэтому женщины надели на него тунику поверх монашеского платья. Женщины были красивые и, зная это, не боялись мужчин, хотя и были рабынями. Они стали смеяться, заметив, какой странный вид придал монаху этот наряд. Кробила подала ему зеркало, назвав его «мой дорогой сатрап», а Миртала дернула его за бороду. Но Пафнутий молился господу и не замечал их. Он обул золоченые сандалии, подвязал к поясу мошну и сказал Никию, который с улыбкой наблюдал за ним:

— Никий, пусть все это в твоих глазах не будет соблазном. Не сомневайся, что тунику, и сандалии, и мошну я употреблю на благочестивое дело.

— Я никогда никого не подозреваю в дурном, дражайший Пафнутий, — ответил Никий, — ибо считаю, что люди одинаково не способны творить ни зло, ни добро. Добро и зло существуют только в наших суждениях. Мудреца побуждают к действию лишь обычай и привычка. Я всегда соображаю с предрассудками, господствующими в Александрии. Поэтому-то я и слышу порядочным человеком. Ступай, друг мой, и веселись.

Но Пафнутий подумал, что лучше сказать ему о своих намерениях.

— Ты знаешь, — спросил он, — Таис, которая выступает на театре?

— Она красавица, — ответил Никий, — и было время, когда я любил ее. Ради нее я продал мельницу и две пашни и сочинил в ее честь три книги элегий; я старался подражать сладостным песням, в которых Корнелий Галл воспевал Ликорис^[44]. Увы! Галл пел в золотой век, и ему покровительствовали авзонские музы. Я же, рожденный в век варварский, начертал свои гекзаметры и пентаметры нильским тростником. Стихи, созданные в наше время, да еще

в этой стране, обречены на забвение. Конечно, нет в мире ничего могущественнее красоты, и если бы мы могли владеть ею вечно, нам мало было бы дела до демиурга, логоса, эонов и прочих выдумок философов. Но я в восторге, славный Пафнутий, что ты пришел из недр Фиваиды только для того, чтобы поговорить со мной о Таис.

И Никий слегка вздохнул. А Пафнутий с ужасом и отвращением смотрел на него, не понимая, как может человек так спокойно признаваться в столь тяжком грехе. Он ждал, что вот-вот земля расступится под Никием и пылающая бездна поглотит его. Однако земля не дрогнула, и александриец молча, закрыв лицо рукой, с грустью улыбался видениям минувшей юности. Монах встал и суровым голосом произнес:

— Знай же, Никий, что с божьей помощью я отрешу Таис от мерзкой земной любви, и она назовется Христовой невестой. Если дух святой не оставит меня, Таис нынче же покинет город и поступит в монастырь.

— Берегись, не оскорбляй Венеру, — возразил Никий, — это могущественная богиня. Если ты похитишь у нее самую прославленную ее служанку, она разгневается на тебя.

— Господь мне защитой, — сказал монах. — Да просветит он твое сердце, Никий, и да извлечет тебя из бездны, в которой ты пребываешь.

И он направился к двери. А Никий проводил его до порога и, положив ему на плечо руку, шепотом повторил:

— Берегись, не оскорбляй Венеру: месть ее бывает ужасна.

Пафнутий пренебрег столь пустыми речами и вышел, не обернувшись. Слова Никия вызвали в нем одно лишь презрение, зато мысль о том, что его друг некогда познал ласки Таис, была ему нестерпима. Ему казалось, что грешить с этой женщиной еще предосудительнее, чем со всякой другой. Он видел в этом какое-то особенное коварство, и Никий стал ему отвратителен. Он всегда ненавидел непотребство, но еще никогда этот порок не представлялся ему до такой степени омерзительным, никогда еще ему не были так понятны гнев Иисуса Христа и печаль ангелов.

От этого еще пламеннее разгоралось в нем желание вырвать Таис из среды язычников, и ему не терпелось поскорее увидеть лицедейку, дабы спасти ее. Однако отправиться к этой женщине можно было лишь после того, как спадет полуденный зной. А было еще только утро, и Пафнутий в ожидании побрел по людным улицам. Он решил не принимать в этот день никакой пищи, чтобы быть достойнее тех милостей, которых просил у господина. К великому своему сожалению, он не решался войти ни в один из городских храмов, потому что знал, что все они осквернены арпанами, повергшими престол божий во прах. Действительно, еретики при поддержке восточного императора прогнали патриарха Афанасия с его пастырской кафедры и посеяли среди александрийских христиан смуту и замешательство.

Поэтому он шел куда глаза глядят, то потупившись из скромности в землю, то обращая взор к небесам, словно в экстазе. Побродив некоторое время, он оказался на одной из городских набережных. В искусственной гавани стояли на якоре бесчисленные корабли с темными бортами, а вдали, сверкая серебром и лазурью, раскинулось коварное море. Одна из галер со статуей Нереиды на носу^[45] снялась с якоря; гребцы взмахивали веслами и пели; белая дева вод, покрытая жемчужинами влаги, быстро удалялась, и монах видел уже только ее ускользающий силуэт; послушная кормчему, она миновала узкий проход, ведущий в гавань Эвноста, и вышла в открытое море, оставляя за собой сверкающую борозду.

«Я тоже мечтал когда-то с песней пуститься в странствия по мирскому океану, — думал Пафнутий. — Но вскоре я осознал свое безрассудство, и Нереида не увлекла меня».

Предавшись таким размышлениям, он присел на груды каната и задремал. Во сне ему было видение. Ему почудился оглушительный звук трубы, а небо представилось кроваво-

красным, и он понял, что настал последний час. Обратившись с горячей молитвой к господу, он увидел огромного зверя со светящимся крестом на лбу; зверь шел прямо на него, и Пафнутий узнал в нем силъсилисского Сфинкса. Зверь подхватил его зубами, не причиняя ни малейшей боли, и понес словно кошка котенка. Так Пафнутий пронесся над многими царствами, пересек реки и горы и оказался в разоренной стране, покрытой зловещими скалами и горячим пеплом. Из многочисленных трещин, образовавшихся в почве, вырывалось раскаленное дыхание.

Зверь осторожно опустил Пафнутия на землю и сказал:

— Смотри!

Пафнутий склонился над краем бездны и увидел огненную реку, бурлившую в недрах земли, между грядками черных скал. Там, в белесом свете, дьяволы терзали души грешников. Души еще не утратили подобия тел, некогда служивших им оболочкой, и на них даже сохранились обрывки одежды. Невзирая на муки, души казались спокойными. Один из призраков, высокий, седой, с закрытыми глазами, с повязкой на лбу^[46] и жезлом в руке, пел; сладостные звуки его голоса разливались по бесплодным берегам; он воспевал богов и героев. Зеленые бесенята вонзали ему в губы и грудь каленое железо. А тень Гомера продолжала петь. Неподалеку от нее старик Анаксагор^[47], седой и лысый, чертил на песке с помощью циркуля какие-то фигуры. Дьявол лил ему в ухо кипящее масло, но мудрец не отвлекался и продолжал размышлять. И монах увидел на мрачных берегах огненной реки еще множество теней, которые спокойно читали, либо предавались раздумью, либо беседовали, как наставники и ученики, прогуливаясь под сенью платанов Академии. Один только старик Тимокл держался в стороне и покачивал головой, как бы все отрицая. Ангел тьмы размахивал перед ним пылающим факелом, но Тимокл считал, что не видит ни ангела, ни огня.

Онемев от удивления, Пафнутий повернулся к зверю. Но Сфинкс исчез, а на его месте монах увидел женщину в покрывале, которая сказала ему:

— Смотри и разумеи. Упорство этих нечестивцев так несокрушимо, что даже в аду они остаются жертвами тех заблуждений, которыми обольщались на земле. Смерть не образумила их, ибо, конечно, недостаточно умереть, чтобы узреть бога. Те, которые не знали истины, живя среди людей, не узнают ее вовеки. Демоны, преследующие эти души, не что иное, как проявление божественного правосудия. Но души грешников не чувствуют и не понимают его. Они чужды истины, они не сознают, что осуждены, и сам бог не может заставить их страдать.

— Бог может все, — сказал антинойский настоятель.

— Ничего бессмысленного он не совершает, — возразила женщина в покрывале. — Чтобы наказать их, пришлось бы их просветить, а если они познают истину, они уподобятся избранникам.

Тем временем Пафнутий, объятый тревогой и отвращением, вновь склонился над бездной. Под сенью призрачных миртов он увидел тень Никия, улыбающегося, с венком на челе. Возле него находилась Аспазия Милетская^[48], закутанная в изящный шерстяной плащ; она, по-видимому, говорила о любви и о философии, — до того выражение ее лица было нежно и вместе с тем благородно. Огненный дождь, ливший на них, казался им прохладной росой, а ноги их ступали по раскаленной почве, точно по мягкой мураве. При виде их Пафнутий пришел в ярость.

— Рази его, господи, рази! — вскричал он. — Это Никий. Пусть он проливает слезы! Пусть стенает! Пусть скрежещет зубами!.. Он прелюбодействовал с Таис...

Тут Пафнутий проснулся в объятиях сильного, как Геркулес, матроса, который тащил его по песку, крича:

— Тише, тише, приятель. Клянусь Протеем, ты во сне буйствуешь, старый тюлений пастырь. Не удержи я тебя, ты свалился бы в Эвност. Я спас тебя от смерти, это так же верно, как то, что мать моя торговала соленой рыбой.

— Благодарение богу, — ответил Пафнутий.

И, встав на ноги, он пошел прямо вперед, размышляя о видении, которое было ему во сне.

«Видение это, конечно, нечистое, — думал он. — В нем хула на благодать господню, ибо ад предстал мне как нечто нереальное. Видение это от дьявола, — сомнений нет».

Он рассуждал так потому, что умел отличать сны, ниспосланные богом, от тех, которые внушены злыми духами. Это умение весьма полезно отшельнику, — ведь его постоянно обступают призраки. Ибо, когда бежишь от людей, непременно встречаешь духов. Пустыни кишат привидениями. Подходя к разрушенному дворцу, где нашел себе убежище святой отшельник Антоний, паломники неизменно слышали крики вроде тех, что раздаются на улицах городов в праздничные ночи. Это кричали дьяволы, искушавшие праведника.

Пафнутию пришел на память поучительный случай. Он вспомнил святого Иоанна Египетского, которого целых шестьдесят лет дьявол пытался соблазнить видениями. Но Иоанн расстраивал все адские козни. Все же дьявол, приняв человеческий облик, однажды вошел в пещеру праведника и сказал ему: «Иоанн, постись до завтрашнего вечера». Иоанн, думая, что это был голос ангела, послушался и не вкушал пищи весь следующий день, до вечерни. Вот единственная победа, которую князю Тьмы удалось одержать над святым Иоанном Египетским, и победа эта не так уж велика. Посему не следует удивляться, что Пафнутий тотчас же распознал лживость видения, представшего ему во сне.

Пафнутий кротко посетовал на бога за то, что он отдал его во власть бесов, и тут же почувствовал, что его толкают и увлекают за собою люди, толпой бегущие в одном направлении. Он уже отвык ходить по улицам, поэтому его как некое безжизненное тело бросало от одного прохожего к другому, и несколько раз он чуть было не упал, запутавшись в тунике. Ему захотелось узнать, куда торопятся все эти горожане, и он спросил у одного из них о причине такой сутолоки.

— Разве ты не знаешь, чужестранец, — отвечал тот, — что сейчас начнется представление и на сцене появится Таис? Все спешат в театр, и я тоже. Не хочешь ли пойти со мною?

Пафнутию вдруг стало ясно, что для осуществления его замысла ему очень важно увидеть Таис на сцене, и он последовал за незнакомцем.

Вот перед ними уже высится театр с портиком, украшенным пестрыми масками, и с длинной закругленной стеной, уставленной бесчисленными статуями. Вместе с толпой они вошли в узкий проход, за которым раскинулся залитый светом амфитеатр. Они сели на одну из скамей, которые ступенями спускались к еще безлюдной, но великолепно разукрашенной сцене. Занавеса не было; на сцене виднелся холм вроде тех, что посвящали древние теням героев. Холм возвышался посреди лагеря. Перед палатками стояли воткнутые копья, на шестах висели золотые щиты, а также лавровые ветки и венки из дубовых листьев. Здесь царили сон и безмолвие. Зато полукруг амфитеатра, переполненный зрителями, гудел, как улей. На лицах отражались пурпурные отсветы колыхавшегося тента, и все взоры с нетерпением и любопытством обращались к широкой безмолвной сцене с палатками и могильным холмом. Женщины, пересмеиваясь, ели лимоны, а завсегдатаи весело перекликались из ряда в ряд.

Пафнутий мысленно молился и воздерживался от пустого разговора, а сосед его стал горько сокрушаться об упадке театра.

— Бывало, искусные актеры в масках декламировали стихи Еврипида и Менандра, — говорил он. — А теперь драмы уже не читают, а представляют их, и от дивных зрелищ, которыми в Афинах гордился сам Дионис, осталось лишь то, что понятно любому варвару, даже скифу: движение и жест. Маска с металлическими пластинками, придававшими голосу больше силы, котурны^[49], которые увеличивали рост актеров, приравнивая их к богам, трагическое величие и напев дивных стихов — все это в прошлом. Мимы без масок да плясуньи заменили Павлов и Росциев^[50]. Что сказали бы афиняне времен Перикла, если бы женщина осмелилась тогда появиться на сцене! Непристойно ей выступать перед зрителями. Мы совсем выродились, раз допускаем такой срам. Женщина — враг мужчины, она позор земли, — это так же верно, как то, что меня зовут Дорионом.

— Ты судишь разумно, — отвечал Пафнутий, — женщина наш злейший враг. Она дарует нам наслаждение, и этим-то она и опасна.

— Клянусь бессмертными богами, — воскликнул Дорион, — женщина дарует мужчинам не наслаждение, а печаль, смятение и заботы. Причина самых жгучих наших мук — это любовь. Послушай, чужестранец, в молодости я побывал в Трезене, в Арголиде, и там я видел невероятной толщины мирт, листья которого были усеяны бесчисленными дырочками. Вот что рассказывают трезенцы об этом мирте: царица Федра, когда она влюбилась в Ипполита, целые дни проводила, томясь, под этим деревом. Смертельно тоскуя, она брала золотую булавку, скреплявшую ее белокурые волосы, и прокалывала ею листья деревца, усеянного душистыми ягодами. Так все листки его покрылись дырочками. Федра, как тебе известно, погубила невинного юношу, преследуя его своей преступной страстью, и сама кончила жизнь позорной смертью. Она заперлась в супружеской опочивальне и удавилась на золотом пояске, который она привязала к крюку из слоновой кости. Богам угодно было, чтобы мирт, свидетель столь страшного падения, и на новых листочках хранил следы этих проколов. Я сорвал один из таких листочков и привязал его к своей кровати, у изголовья, чтобы он беспрестанно предостерегал меня от неистовств любви и утверждал меня в учении моего наставника, божественного Эпикура, который учит, что надо страшиться любого желания^[51]. Но, по правде говоря, любовь — это ведь болезнь печени, и потому никак нельзя зарекаться, что не захвораешь.

Пафнутий спросил:

— Дорион, а что радует тебя?

Дорион грустно отвечал:

— У меня одна-единственная радость, и, должен сознаться, радость небольшая — это размышление. Но при плохом пищеварении не следует стремиться к другим утехам.

Слова Дориона подсказали Пафнутию мысль приобщить эпикурейца к духовным радостям, которые дарует созерцание бога. Он начал так:

— Постигни истину, Дорион, и открой свою душу свету.

Едва он сказал это, как со всех сторон к нему повернулись лица и протянулись руки, призывая его замолчать. Театр совсем затих, и вскоре раздались звуки героической музыки.

Началось представление^[52]. Из палаток стали выходить воины, готовясь к походу, как вдруг, каким-то чудом зловеющая туча заволокла вершину могильного холма. Когда туча рассеялась, на холме появилась тень Ахилла в золотых доспехах. Она простерла руку к воинам, как бы говоря: «Итак, вы уезжаете, сыны Даная. Вы возвращаетесь в отчизну, которой мне уже не видать, и покидаете мою могилу, не совершив жертвоприношения?» Высшие военачальники греков уже толпились у подножия холма. Сын Тезея Акамонт, престарелый Нестор, Агамемнон с жезлом и повязкой на голове дивились чуду. Юный сын

Ахилла Пирр повергся ниц. Улисс, которого легко было узнать по шапке и по выбившимся из-под нее кудрям, жестами показывал, что он поддерживает требования тени героя. Он спорил с Агамемноном, и можно было сразу догадаться, что именно говорит каждый из них.

— Ахилл достоин того, чтобы мы воздали ему почести: он пал смертью храбрых во имя Эллады, — говорил царь Итаки. — Он просит, чтобы девственная Поликсена, дочь Приама, была принесена в жертву на его могиле. Данайцы! Умиротворите душу героя, и да возрадуется Пелеев сын в Аиде.

Но царь царей возразил:

— Поощадим троянских дев, оторванных нами от алтарей. И без того много страданий выпало на долю славного рода Приама.

Он говорил так потому, что разделял ложе с сестрой Поликлены. Тогда хитроумный Улисс попрекнул его тем, что он предпочел ложе Кассандры копью Ахилла.

Все греки в знак одобрения покрыли его слова звоном скрещенных копий. Смерть Поликлены была решена, и умиротворенная тень Ахилла исчезла. Мыслям героев вторила музыка — то гневная, то жалобная. Амфитеатр разразился рукоплесканиями.

Пафнутий, все сопоставлявший с божественной истиной, прошептал:

— О свет и тьма, изливающиеся на язычников! Такие жертвоприношения предвещали народам и в грубом виде изображали искупительную жертву сына божия.

— Все религии порождают преступления, — возразил эпикуреец. — К счастью, явился божественно мудрый грек и избавил людей от тщетного страха перед неведомым...

Тем временем Гекуба в разорванной одежде, с разметавшимися седыми волосами вышла из палатки, где ее держали как пленницу. Когда зрители увидели этот красноречивый образ страдальцы, у них вырвался протяжный вздох. Гекубе приснился вещий сон, и она сокрушалась о своей дочери и о самой себе. Улисс уже стоял возле нее и требовал от нее Поликлену. Престарелая мать рвала на себе волосы, ногтями царапала себе щеки и целовала руки этого жестокого человека, но он был по-прежнему ласково-безжалостен и как бы говорил: «Будь разумна, Гекуба, склонись перед необходимостью. У нас тоже найдется немало старушек матерей, которые оплакивают своих чад, навеки почивших под соснами Иды».

Тем временем Кассандра, некогда царица цветущей Азии, а ныне рабыня, посыпала прахом свою злосчастную голову.

Но вот, приподняв завесу палатки, появляется девственная Поликсена. Единодушный трепет пробегает по рядам зрителей. Они узнали Таис. Пафнутий увидел ее, увидел ту, за которой он пришел. Белоснежной рукой она поддерживала над собою тяжелую завесу. Неподвижная, словно прекрасная статуя, нежная и гордая, она обвела окружающих взглядом фиалковых глаз, и все содрогнулись при виде ее трагической красоты.

Послышался одобрительный гул, Пафнутий же, взволнованный до глубины души, прижав руки к сердцу, как бы сдерживая его биение, прошептал:

— Зачем наделил ты, о господи, таким могуществом одно из твоих созданий?

Дорион, не столь взволнованный, сказал:

— Спору нет, атомы, слившиеся воедино, чтобы составить эту женщину, являют собою сочетание, приятное для глаз. Но это всего лишь игра природы, и атомы сами не ведают, что творят. В один прекрасный день они распадутся с тем же безразличием, с каким соединились. Где теперь атомы, некогда составлявшие Лаису или Клеопатру?^[53] Не спору: женщины бывают иной раз пленительны, но они подвержены досадным недомоганиям и отталкивающим болезням. Умы, склонные к размышлению, всегда помнят об этом, в то время как люди грубые не придают этому значения. И женщины внушают любовь, хотя и

безрассудно любить их.

Так философ и аскет любовались Таис, и мысль каждого из них развивалась своим путем. Ни тот, ни другой не замечал Гекубы, которая, обратившись к дочери, знаками говорила ей: «Старайся растрогать жестокосердного Улисса. Прибегни к слезам, к своей красоте, к своей юности!»

Таис, или вернее сказать — сама Поликсена, выпустила из руки завесу. Она ступила шаг и сразу покорила все сердца. Когда же она благородной и легкой поступью направилась к Улиссу, ритм ее движений, сопровождавшихся звуком флейт, вызвал представление о каком-то блаженном мире, и зрителям показалось, будто она — божественное средоточие мировой гармонии. Люди видели только ее одну, все остальное исчезало в лучах ее сияния. Между тем действие продолжалось.

Осторожный сын Лаэрта отворачивался и прятал руку под плащом, чтобы избежать взглядов и поцелуев умоляющей матери. Девушка знаком успокоила его, сказав, что желание его будет исполнено. Ее ясный взор говорил: «Улисс, я последую за тобою, подчиняясь необходимости, а также потому, что и сама хочу умереть. Я дочь Приама и сестра Гектора^[54], и ложе мое, которое некогда почиталось достойным принять царей, не примет чужеземного владыку. Я добровольно отказываюсь от солнечного света».

Гекуба безжизненно лежала, распростершись на земле, но тут она вдруг поднялась и в отчаянии крепко обняла дочь. Поликсена с ласковой непреклонностью разжала обхватившие ее старые руки. Она как бы говорила: «Матушка, не подвергай себя оскорблениям властелина. Не жди того, чтобы он недостойно поволок тебя, оторвав мать от дочери. Лучше дай мне, родная, свою сморщенную руку и приблизь впалые щеки к моим губам».

Скорбь делала лицо Таис еще прекраснее. Толпа была благодарна этой женщине за то, что она облакает превратности и горести жизни сверхчеловеческой красотой, а Пафнутий прощал ей нынешнее великолепие в предвидении будущего смирения и заранее радовался, что украсит небеса такую праведницей.

Представление подходило к концу. Гекуба замертво рухнула наземь, а Поликсена вслед за Улиссом направилась к могиле, вокруг которой расположились виднейшие военачальники. Под звуки погребальных напевов она вошла на могильный холм, на вершине которого сын Ахилла из золотой чаши совершал возлияние в честь почившего героя. Когда совершавшие жертвоприношение протянули к девушке руки, чтобы схватить ее, она знаком показала, что хочет умереть свободной, как подобает дочери царей. Потом она разорвала на себе тунику и указала место, где бьется сердце. Пирр, отвернувшись, вонзил в него меч, и благодаря искусному приспособлению из белоснежной груди девушки багряной струей хлынула кровь; взор ее затуманился, выражая безмерный ужас смерти; она запрокинула голову и упала, строго соблюдая благопристойность.

В то время как военачальники набрасывали на жертву покрывало и осыпали ее лилиями и анемонами, в амфитеатре слышались вопли ужаса и душераздирающие рыдания, а Пафнутий, вскочив с места, стал громовым голосом пророчествовать:

— Язычники! Мерзкие почитатели темных сил! И вы, ариане, вы, еще более подлые, чем идолопоклонники, это вам назидание! То, что вы сейчас видели, — образ и символ. В этой сказке заключен сокровенный смысл, и вскоре женщина, которую вы здесь видели, будет как непорочный агнец принесена в жертву воскресшему богу.

Толпа темными потоками потекла к выходам. Антинойский настоятель покинул изумленного Дориона и смешался с толпой, не переставая пророчествовать.

Час спустя он стучался у двери Таис.

Лицедейка жила тогда в богатом квартале Ракотиде, вблизи гробницы Александра; ее

дом стоял среди тенистых садов, где возвышались искусственные скалы и струился ручей, обрамленный тополями.

Монаху отворила старая черная рабыня в кольцах и запястьях; она спросила, что ему надо.

— Я хочу повидать Таис, — отвечал он. — Бог мне свидетель, я пришел издалека лишь для того, чтобы повидать ее.

На нем была богатая туника и говорил он властно, поэтому рабыня впустила его.

— Таис в гроте Нимф, — сказала она.

Таис была дочерью бедных, но свободных родителей, приверженных язычеству. Когда она была маленькой, ее отец содержал в Александрии, у Лунных ворот, кабачок, в котором обычно собирались матросы. От времен раннего детства у нее сохранилось несколько отрывочных, но ярких воспоминаний. Отец представлялся ей сидящим поджав под себя ноги возле очага; он был большой, спокойный и жестокий, вроде тех древних фараонов, о которых поют на перекрестках слепцы. Она мысленно видела свою мать, печальную, изможденную женщину, бродившую по кабачку словно голодная кошка; она оглашала весь дом своим резким голосом и озаряла его отблесками фосфорических глаз. В предместье поговаривали, что она колдунья и по ночам, обернувшись совой, улетает к любовникам. Это была неправда. Таис не раз выслеживала мать и поэтому отлично знала, что она не занимается магией, но, снедаемая алчностью, целые ночи напролет подсчитывает дневную выручку. Равнодушный отец и жадная мать предоставляли девочке искать пропитание где придется, как домашней скотине. Поэтому она научилась ловко вытаскивать одну за другой монеты из поясов пьяных матросов, в то время как забавляла их наивными песенками и непристойными словами, смысла которых сама не понимала. В горнице, пропитанной запахом бродивших напитков и смолянистых бурдюков, девочка переходила с колен на колена; щеки ее становились липкими от пива и сплошь исколотыми грубой щетиной; зажав в ручке монеты, она, наконец, убегала, чтобы купить медовых лепешек у старухи, сидевшей на корточках возле своих корзин под Лунными воротами. Из дня в день повторялось то же самое: матросы рассказывали о перенесенных опасностях, когда Эвр^[55] треплет морские водоросли, потом принимались за игру в кости и бабки и сквернословили, требуя лучшего киликийского пива.

По ночам девочка просыпалась из-за драк посетителей. Устричные раковины, летавшие над столами среди дикого воя, рассекали лбы. Иной раз при свете коптящих светильников она видела, как поблескивают ножи и льется кровь.

В детстве добрые чувства пробуждались в ней лишь благодаря кроткому Ахмесу, и ее юная душа преисполнялась негодования, когда при ней обижали этого человека. Ахмес, раб ее родителей, был нубиец; он был черен, как котел, с которого он степенно снимал пену, и добр, как ночь, проведенная в сладком сне. Он часто брал Таис на колени и рассказывал ей древние сказания, где говорилось о подземельях, вырытых для сокровищ жадных царей, которые потом приказывали умертвить и каменщиков и зодчих. Говорилось тут и о ловких ворах, которые женились на царевнах, и о куртизанках, воздвигших для себя пирамиды. Маленькая Таис любила Ахмеса как отца, как мать, как кормилицу, как собаку. Она цеплялась за его передник, когда он отправлялся в чулан, уставленный амфорами, или на скотный двор; здесь худые, взъерошенные цыплята, состоявшие, казалось, только из клюва, когтей да перьев, при виде черного повара с ножом в руках взлетали не хуже орлят. Частенько ночью, лежа на соломе, он, вместо того чтобы спать, мастерил для девочки водяные мельницы и кораблики со всеми снастями величиною с ладонь.

Хозяева обращались с ним жестоко, — одно ухо у него было разорвано, все тело исполосовано рубцами. Тем не менее выражение лица у него было радостное и спокойное. И никто из окружающих не задумывался о том, откуда черпает он душевную бодрость и смирение. Он был простосердечен, как дитя.

Занимаясь тяжелой работой, он тонким голосом пел песнопения, которые смутно волновали Таис и погружали ее детскую душу в мечтательность.

Он торжественно и радостно шептал:

— Скажи нам, Мария, что видела ты там, откуда грядешь?

— Я видела саван, и пелены, и ангелов, восседающих на гробнице. И я видела славу воскресшего.

Таис спрашивала у него:

— Отец, почему ты поешь об ангелах, восседающих на гробнице?

И он ей отвечал:

— Светик глаз моих, я пою об ангелах потому, что господь наш Иисус Христос вознесся на небо.

Ахмес был христианином. Он принял крещение и на собраниях верующих, которые он тайно посещал в часы, предоставленные ему для сна, его звали Феодором.

В те дни Церковь подвергалась жесточайшим гонениям. По приказу императора разрушали базилики, сжигали священные книги, переплавляли богослужебные сосуды и светильники. Христиане лишались всех почетных должностей и ждали только смерти. В александрийской общине царил ужас; темницы были переполнены. Среди верующих ходила страшная молва о том, что в Сирии, Аравии, Месопотамии, Каппадокии — словом, по всей империи — бич, дыба, клещи, кресты, хищные звери терзали епископов и девственников. Тогда Антоний, уже прославившийся отшельничеством и видениями, пророк и пастырь верующих, живущих в Египте, словно орел ринулся с вершины своей дикой горы на Александрию и, перелетая от церкви к церкви, воспламенил своим горением всю общину. Незримый для язычников, он одновременно появлялся на всех собраниях христиан, внушая каждому верующему дух силы и осторожности, которым сам был одушевлен. Особенно жестокие преследования обрушивались на рабов. Многими овладевал ужас, и они отрекались от веры. Другие — и таких было большинство — бежали в пустыню, ибо надеялись спастись там, предавшись созерцанию или пустившись в разбой. Но Ахмес по-прежнему посещал собрания, навещал узников, хоронил замученных и с радостью исповедовал учение Христа. Великий Антоний заметил чистосердечное рвение черного раба, и перед тем как вернуться в пустыню, обнял его и дал ему целование мира.

Когда Таис исполнилось семь лет, Ахмес стал рассказывать ей о боге.

— Добрый господь бог, — говорил он, — жил на небесах как фараон под шатром своего гарема и под кущами своих садов. Он был старейшиной старейших и древнее мира, и был у него один-единственный сын, князь Иисус, который был краше всех дев и ангелов. И господь возлюбил его всем сердцем. И добрый господь бог сказал князю Иисусу: «Покинь гарем мой и чертоги, и водометы мои и сады. Сойди на землю на благо людей. Там ты будешь как малое дитя и будешь жить бедняком среди бедняков. Пищей твоей каждодневной будет страдание, и слезы твои потекут столь обильно, что образуют реки, и изможденный раб, окунувшись в них, обретет утешение. Ступай, сын мой». Князь Иисус послушался доброго господя и сошел на землю в месте, которое зовется Вифлеемом Иудейским. И он гулял там по лугам, покрытым благоухающими анемонами, и говорил идущим вместе с ним: «Блаженны алчущие, ибо я приведу их к престолу отца моего. Блаженны жаждущие, ибо они утолят жажду в небесных источниках. Блаженны плачущие, ибо я утру их слезы тканями более тонкими, чем покрывала сирийских принцесс». Поэтому бедняки любили его и верили ему. Зато богатые его ненавидели, ибо они боялись, что Христос вознесет бедных превыше богатей. В то время

Клеопатра и Цезарь были всемогущи на земле. Они возненавидели Иисуса и повелели судьям и первосвященникам предать его смерти. Сирийские князья подчинились воле египетской царицы и воздвигли на высокой горе крест и на этом кресте казнили Иисуса. Но благочестивые женщины обмыли тело распятого и похоронили его, а князь Иисус разбил крышку гроба и вновь вознесся на небо, к своему отцу, доброму господу. И с тех пор всякий, кто умирает во Христе, возносится на небеса. Господь бог, простирая объятия, говорит им: «Добро пожаловать, возлюбившие сына моего. Омойтесь, потом утолите голод». Они омоются в купели под звуки нежных напевов, а за трапезой увидят пляску танцовщиц и услышат рассказчиков, повествованиям которых не будет конца. Доброму господу богу они будут дороже, чем свет очей его, — ведь они станут его гостями; и в удел им достанутся ковры из его караван-сарая и гранаты из его садов.

Не раз говорил так Ахмес, и благодаря ему Таис познала истину. Слушая его, она приходила в восторг и восклицала:

— Как хотелось бы мне отведать гранатов доброго господа бога.

Ахмес отвечал:

— Вкусить плодов небесных может только тот, кто принял крещение во имя Христово.

И Таис просила, чтобы ее крестили. Когда раб убедился, что она искренно уповает на Христа, он решил просветить ее глубже, дабы она приняла крещение и тем самым вошла в лоно Церкви. И он горячо привязался к ней, как к своей духовной дочери.

Жестокосердные родители постоянно обижали девочку; у нее даже не было постели под отчим кровом. Она спала в хлеву, вместе с домашней скотиной. Тут-то по ночам ее тайно и посещал Ахмес.

Он тихонько подходил к циновке, на которой она лежала, и садился на корточки, выпрямив стан, — в положении, издавна усвоенном его племенем. Черная фигура и черное лицо раба терялись в сумраке; только яркие белки глаз сверкали, и свет их напоминал луч зари, пробивавшийся в дверную щель. Он говорил тихим и певучим голосом, чуть-чуть гнусавя, и это придавало его речи грустную и ласковую протяжность вроде той, что слышится в песнях, раздающихся на улицах по вечерам. Он рассказывал девочке о том, что говорится в евангелии, и подчас голосу его вторили, словно хор таинственных духов, ослиное дыхание или нежное мычание вола. Его речь спокойно текла во мраке, и все вокруг постепенно проникалось верою, благодатью и надеждой; и новообращенная, убаюканная однообразными звуками и очарованная смутными видениями, безмятежно засыпала, улыбаясь и вложив ручку в руку Ахмеса, овеянная благодатью темной ночи и священных тайн, под взглядом звезды, мерцавшей сквозь расщелины яслей.

Посвящение Таис длилось целый год, до тех дней, когда христиане в радости и веселии празднуют пасху. И вот однажды ночью на святой неделе, когда Таис уже задремала на циновке в хлеву, она вдруг почувствовала, что раб приподымает ее. Глаза его горели каким-то особым блеском; на нем был не рваный передник, как обычно, а длинный белый плащ; он прикрыл им девочку и тихо шептал:

— Пойдем, душа моя! Пойдем, мой светик! Пойдем, сердечко мое! Пойдем, чтобы облечься в лучезарные ризы крещения.

И он понес ее, прижав к груди. Девочку мучили страх и любопытство, она высунула голову из-под плаща и обвила руками шею своего друга. А он бежал во мраке по темным улицам, пересек еврейский квартал, потом обогнул кладбище, с которого доносился зловещий крик орлана. На одном из перекрестков им попались кресты с телами распятых; над ними кружила стая воронов, которые хищно щелкали клювами. Таис прижалась лицом к груди раба. Всю остальную часть пути она уже не решалась взглянуть на окружающее. Вдруг

ей почудилось, что ее несут вниз, под землю. Открыв глаза, она увидела себя в тесной пещере, освещенной смоляными факелами; стены были расписаны крупными прямыми фигурами, которые, казалось, оживали в чаду факелов. Там виднелись люди в длинных туниках, с пальмовыми ветвями в руках, среди агнцев, голубок и виноградных лоз.

В одном из этих изображений Таис узнала Иисуса Назарея, потому что у его ног цвели анемоны. Посреди пещеры, возле большой каменной купели, до краев наполненной водой, стоял старец в расшитой золотом пурпурной ризе, с невысокой митрой на голове. У него было худое лицо и длинная борода. Несмотря на богатое одеяние, он казался скромным и ласковым. То был епископ Вивантий, глава Киренской общины, изгнанный из родных мест; чтобы прокормиться, он стал ткачом и выделывал грубые сукна из овечьей шерсти. Двое бедно одетых мальчиков стояли справа и слева от него. Находившаяся тут же старуха негритянка держала в руках беленькое платице. Ахмес поставил девочку на пол, преклонился перед епископом и сказал:

— Отче, вот маленькая душа, чадо души моей. Я привел ее, чтобы ты, как обещал и если твоей милости угодно будет, дал ей крещение жизни.

Слушая Ахмеса, епископ простер руки, и стало видно, что они искалечены. В дни гонений, когда он проповедовал свою веру, у него вырвали ногти; Таис испугалась и бросилась к Ахмесу. Но пастырь ласково успокоил ее:

— Не бойся, возлюбленное дитя. Вот твой духовный отец, Ахмес, которого приобщенные к истинной жизни называют Феодором, и нежная мать по благодати; она собственноручно приготовила тебе белое одеяние.

И он указал на негритянку.

— Ее зовут Нитидой, — пояснил он. — В этом мире она рабыня. Но на небесах Христос возвеличит ее как одну из своих невест.

Потом он спросил новообращенную отроковицу:

— Таис, веруешь ли во единого бога, отца вседержителя, в сына божия единородного, распятого нашего ради спасения, и во все, чему учили апостолы?

— Верую, — ответили в один голос негр и негритянка; они стояли, держась за руки.

По слову епископа Нитида опустилась на колени и сняла с Таис все одежды. Девочка стояла голая, с амулетом на шее. Епископ трижды погрузил ее в крестильную купель. Служки подали елей и соль; Вивантий совершил помазание и положил девочке в рот крупицу соли. Потом рабыня обтерла тельце, которому отныне, после многих испытаний, приуготована была вечная жизнь, и облекла его в белое платье, вытканное ею собственноручно.

Епископ дал каждому целование мира и, завершив обряд, снял с себя пастырское облачение.

Когда все они вышли из подземной молельни, Ахмес сказал:

— Сегодня мы привели еще одну душу к доброму господу богу, это надо отпраздновать. Пойдемте в дом, где ты живешь, пастырь Вивантий, и проведем остаток ночи в ликовании.

— Ты правильно рассуждаешь, Феодор, — ответил епископ.

И он повел их в свое жилище, расположенное неподалеку. Оно состояло из одной-единственной горницы, всю обстановку которой составляли два ткацких станка, топорный стол да истертая циновка. Как только они вошли, нубиец воскликнул:

— Нитида, принеси жаровню и кувшин с маслом, и приготовим отменное угощение.

С этими словами он вынул рыб, которые у него были спрятаны под плащом. Потом развел огонь и поджарил их. Тогда все присутствующие — епископ, девочка, два мальчика и двое рабов — уселись кружком на циновке и съели рыб, благословляя господа. Вивантий рассказал о мученичестве, которое он претерпел, и возвестил скорое торжество Церкви.

Говорил он грубовато, но речь его искрилась шутками и яркими образами. Он сравнивал жизнь праведников с пурпурной тканью и, объясняя таинство крещения, говорил:

— Святой дух реял над водами, поэтому-то христиане и принимают крещение водою. Но ведь и бесы тоже живут в ручьях; источники, посвященные нимфам, очень опасны и нередко несут людям душевные и телесные немощи.

Иной раз он изъяснялся загадками и тем самым внушал девочке еще большее благоговение. Под конец трапезы хозяин предложил собравшимся немного вина, от которого они стали разговорчивей и принялись петь псалмы и молитвы. Ахмес и Нитида поднялись с места и сплясали нубийскую пляску, знакомую им еще с детства; она исполнялась их соплеменниками, вероятно, от начала веков. То была любовная пляска; взмахивая руками и мерно раскачиваясь всем телом, они делали вид, будто то избегают, то ищут друг друга. Они таращили глаза и улыбались, обнажая ослепительно белые зубы.

Вот при каких обстоятельствах Таис приняла святое крещение.

Она любила забавы, и по мере того как она подрастала, в ней стали зарождаться смутные желания. Она целыми днями пела и водила хороводы с уличной детворой, а когда становилось темно, возвращалась в родительский дом, все еще напевая:

«Старушка горемычная, что все дома сидишь?»

«Я разматываю милетскую шерсть и пряжу».

«Старушка горемычная, как погиб твой сын?»

«Он мчался на белом коне, сорвался и упал в море».

Теперь обществу кроткого Ахмеса она предпочитала общество мальчиков и девочек. Она не замечала, что ее друг стал уделять ей меньше времени. Гонения утихли, собрания христиан стали чаще, и нубиец усердно посещал их. Рвение его разгоралось; с уст его порой срывались таинственные угрозы. Он говорил, что богачам не удержать их богатств. Он бродил по базарам, где обычно сходились христиане из простонародья, и тут, собрав вокруг себя бедняков, укрывшихся в тени древних стен, возвещал им освобождение рабов и скорое торжество справедливости.

— В царствии божьем, — говорил он, — рабы будут пить прохладные вина и вкушать сладчайшие плоды, а богачи, валяясь у их ног, как псы, будут подбирать крохи от их трапезы.

Эти речи не остались в тайне; о них стали поговаривать в предместьях, и хозяева встревожились, как бы Ахмес не подбил рабов на восстание. Кабатчик был глубоко возмущен речами Ахмеса, однако не показывал этого.

Однажды в кабачке с жертвенного стола пропала серебряная солонка. Ахмеса обвинили в том, что он украл ее по злобе на хозяина и на богов, чтимых в империи. Улик никаких не нашлось, раб решительно отвергал обвинение. Тем не менее его отвели в суд, а так как он слыл дурным работником, судья приговорил его к смертной казни.

— Руки твои не приносят пользы, — сказал он, — поэтому их пригвоздят к столбу.

Ахмес невозмутимо выслушал приговор, почтительно поклонился судье, и его повели в городскую темницу. В течение трех дней, которые он провел там, он неустанно проповедовал узникам евангелие, и, как потом рассказывали, многие преступники и сам тюремщик уверовали в воскресшего Христа.

Осужденного отвели на тот самый перекресток, где года два тому назад он радостно

шел, неся под белым плащом маленькую Таис, чадо души своей, свой дорогой цветик. Он висел на кресте с пригвожденными руками, но не проронил ни единой жалобы, только несколько раз прошептал: «Жажду».

Его мученичество длилось три дня и три ночи. Трудно поверить, что плоть человеческая может вынести столь долгую пытку. Не раз уже думали, что он скончался; мухи облепили его гноящиеся веки, но он неожиданно раскрывал налитые кровью глаза. Утром четвертого дня он пропел ясным, как у ребенка, голосом:

Скажи нам, Мария, что видела ты там, откуда грядешь?

Потом улыбнулся и сказал:

— Вот они, ангелы доброго господа! Они несут мне вино и плоды. Какая прохлада разливается от взмахов их крыл!

И он испустил дух.

На лице его и после смерти осталось выражение блаженного восторга. Солдаты, охранявшие распятие, исполнились благоговения; Вивантий с несколькими братьями-христианами снял с креста его останки и предал погребению среди могил других мучеников, в подземной молельне святого Иоанна Крестителя. И Церковь сохранила благоговейную память о святом Феодоре Нубийце.

Три года спустя после победы над Максенцием^[56] Константин издал указ, по которому христианам даровался мир, и с тех пор верующие уже больше не подвергались гонениям, разве что со стороны еретиков.

Когда друг Таис принял мученичество, ей шел одиннадцатый год. Его смерть повергла ее в непреодолимый ужас и грусть. Душа ее не была достаточно чиста, чтобы понять, что раб Ахмес как всей жизнью своей, так и смертью заслужил вечное блаженство. В ее маленькой душе зародилась мысль, что быть добрым в этом мире можно только ценою самых жестоких страданий. И она боялась стать доброй, ибо ее нежное тело страшилось мук.

Она еще в отрочестве стала отдаваться юношам, работавшим в порту, и следовала за стариками, бродившими вечером по предместьям, а на полученные от них деньги покупала себе сласти и украшения.

Она не приносила домой ни гроша из того, что зарабатывала, поэтому мать обращалась с ней грубо. Чтобы избежать побоев, девочка босиком убегала к городским стенам и пряталась в расщелинах, служивших убежищем для ящериц. Здесь она с завистью думала о богато разодетых женщинах, которых проносили мимо нее на носилках многочисленные рабы.

Однажды мать избила ее особенно жестоко, и Таис сидела на пороге дома, скорчившись и застыв в угрюмой неподвижности; тем временем какая-то старуха остановилась около их дома; несколько мгновений она молча присматривалась к девочке, потом воскликнула:

— Прекрасный цветок, дивный ребенок! Счастлив отец, зачавший тебя, и мать, которая произвела тебя на свет!

Таис потупилась и не отвечала. Глаза у нее были красные, и видно было, что она плакала.

— Белая моя фиалочка, — продолжала старуха, — неужели твоя мать не гордится, что вскормила такую маленькую богиню, и отец не радуется в сердце своем, когда видит тебя?

Тогда девочка прошептала, как бы говоря сама с собою:

— Мой отец — бурдюк с вином, а мать — ненасытная пиявка.

Старуха оглянулась по сторонам, не видит ли ее кто-нибудь. Потом сказала вкрадчиво:

— Нежный цветок гиацинта, вспоенный солнцем, пойдем со мною, и ты станешь зарабатывать на жизнь только пляской и улыбками. Я буду кормить тебя медовыми лепешками, а сыну моему, милому мальчику, ты станешь дороже зеницы ока. Сын у меня красавец, он молод; на подбородке у него еще только легкий пушок; кожа у него нежная; он, как говорится, все равно что ахарнский поросенок.

Таис ответила:

— Я охотно пойду с тобою.

Она встала и последовала за старухой.

Эта женщина по имени Мероя обучала юношей и девушек танцам и водила из города в город, предлагая их богачам для развлечения во время пиршеств.

Предвидя, что Таис в скором времени станет прекраснейшей из женщин, она выучила ее, с плетью в руках, музыке и декламации; когда дивные ноги девушки поднимались не в лад с звуками кифары, она стегала их ремнем. Старухин сын, хилый бесполой недоносок неопределенного возраста, всячески обижал ее и вымещал на ней свою ненависть к женщинам. Соперничая с танцовщицами, изяществу которых он подражал, он обучал Таис тому, как, исполняя пантомиму, передавать выражением лица, движениями и позами различные чувства и в особенности любовную страсть. Он давал ей советы надменно, как многоопытный наставник, но едва только замечал, что она рождена на радость мужчинам, он царапал ей щеки, щипал руки или, как злая девчонка, исподтишка колол ее шилом. Благодаря его урокам Таис в короткий срок стала превосходной музыкантшей, актрисой и танцовщицей. Жестокость хозяев не удивляла ее; ей казалось вполне естественным, что с ней обращаются так грубо. Она питала даже какое-то почтение к этой старой женщине, которая хорошо знала музыку и пила греческие вина. Остановившись на время в Антиохии, Мероя отдала свою ученицу местным богатым купцам, чтобы девушка развлекала их на пирах пляской и игрой на флейте. Пляски Таис всем очень нравились. По окончании трапезы богатейшие гости уводили ее в рощицы на берегу Оронта. Она отдавалась всем желающим, не зная цены любви. Но однажды ночью, когда она танцевала перед самыми утонченными молодыми щеголями, к ней подошел сын проконсула, сияющий молодостью и вождением, и сказал ей голосом, нежным, как поцелуй:

— Зачем я не венок, венчающий твои кудри, Таис! Зачем я не туника, облегающая твое дивное тело, зачем я не сандалия с твоей прекрасной ноги! Но я хочу, чтобы ты попирала меня ножкой, как сандалию; я хочу, чтобы мои ласки заменили тебе тунику и венок. Пойдем, чудесная девушка, пойдем ко мне и забудем весь мир.

Пока юноша говорил, Таис смотрела на него и заметила, что он очень хорош собою. Вдруг она почувствовала, что на лбу у нее выступила холодная испарина; она позеленела, как трава^[57]; ноги ее подкосились; глаза заволоклись туманом. Юноша стал снова ее просить. Но она отказалась последовать за ним. Тщетно он бросал на нее пылающие взгляды, шептал огненные слова; когда же он обнял ее, пытаясь увести, она его резко оттолкнула. Он стал умолять ее, и на глазах его показались слезы. Но в ней пробудилась какая-то новая сила, неведомая и непреоборимая, и она устояла.

— Что за вздор, — возмущались собравшиеся. — Лоллий из благородной семьи, он красавец, богач, и какая-то флейтистка им пренебрегает!

Лоллий вернулся домой один, и ночью страсть его разгорелась буйным пламенем. На рассвете бледный, с заплаканными глазами, он подошел к дому флейтистки и украсил цветами ее дверь. Таис же, преисполненная смущения и страха, всячески избегала его, но образ его неотступно носился перед нею. Она страдала, сама не понимая почему. Она

спрашивала самое себя: отчего она так изменилась и откуда эта тоска? Она гнала от себя всех своих любовников: они стали ей противны. Ей несносен стал свет божий, и целыми днями она лежала и рыдала, уткнувшись лицом в подушки. Лоллию несколько раз удалось нарушить запрет Таис и проникнуть к ней; он то умолял, то проклинал злую девушку. Она была в его присутствии робка, как девственница, и твердила одно:

— Не хочу! Не хочу!

Недели две спустя, отдавшись Лоллию, она поняла, что любит его; она перешла к нему в дом и уже не покидала возлюбленного. Началась жизнь, полная неизъяснимого блаженства. Они жили, запершись в доме, не спуская друг с друга глаз, говорили друг другу слова, которые говорят только детям. По вечерам они прогуливались вдвоем вдоль пустынных берегов Оронта или бродили по лавровым рощам. Иной раз они поднимались с зарею и отправлялись на склоны Сильпия за гиацинтами. Они пили из одного кубка, а когда Таис клала в рот виноградину, Лоллий зубами брал ее из девичьих губ.

Однажды Мероя явилась к нему и стала требовать, чтобы он вернул ей девушку.

— Это моя дочь, — кричала она во весь голос, — у меня отняли дочь, благоуханный мой цветик, мою плоть и кровь.

Лоллий откупился от старухи, дав ей много денег. Но она вновь пришла и потребовала еще несколько червонцев; тогда юноша отправил ее в тюрьму, и судьи, выяснив, что старуха повинна во многих преступлениях, приговорили ее к смерти и отдали хищникам на растерзание.

Таис любила Лоллия с неистовой страстью, подсказанной ей воображением, и с простодушием непорочности. Она вполне искренно говорила ему:

— Я никогда не принадлежала никому, кроме тебя. Лоллий отвечал:

— Ни одной женщине не сравниться с тобою.

Чары длились полгода и рассеялись в один день.

Вдруг Таис почувствовала, что опустошена и одинока. Она не узнавала прежнего Лоллия, она думала: «Кто внезапно подменил мне его? Как случилось, что он стал похож на всех прочих мужчин и не похож на самого себя?»

Она ушла от него с затаенной надеждой обрести Лоллия в другом юноше, раз она уже не находила его в нем самом. Она думала, что жить с человеком, которого она никогда не любила, будет не так грустно, как жить с тем, кого уже больше не любишь. Она появлялась в обществе молодых сластолюбцев на священных празднествах, когда нагие девушки пляшут в храмах и толпы куртизанок вплавь пересекают Оронт. Она принимала участие во всех увеселениях, которым предавался богатый и порочный город; особенно часто посещала она театры, где искусные мимы, съехавшиеся со всех сторон, приводили в восторг жадную до зрелищ толпу.

Она внимательно наблюдала за мимами, танцовщиками, актерами, а в особенности за женщинами, которые в трагедиях изображали богинь, влюбленных в юношей, и смертных женщин, любимых богами. Она присматривалась к приемам, с помощью которых танцовщицы очаровывали толпу, и, наконец, решила, что она красивее их, а потому и играть будет лучше. Она явилась к начальнику мимов и попросила принять ее в труппу. Ее взяли за красоту, а также за все то, чему она научилась у старухи Мерои; она появилась на сцене в роли Дирке.

Успех она имела посредственный, потому что в ней еще сказывалась неопытность, да и зрители еще не были подогреты молвой. Несколько месяцев ее выступления проходили незаметно, но потом могущество ее красоты открылось с такой очевидностью, что город заволновался. Вся Антиохия устремилась в театр. Чиновники империи и виднейшие граждане

спешили на представления, подстрекаемые всеобщим восторгом. Носильщики, мусорщики и портовые рабочие отказывали себе в чесноке и хлебе, чтобы купить место в театре. Поэты сочиняли в ее честь эпиграммы. Бородатые философы громили ее в банях и гимназиях; христианские священники, встречая на улицах ее носилки, отворачивались от нее. Дверь ее дома была украшена цветами и обрызгана кровью. Золото, которое приносили ей любовники, теперь уже перестали считать, а просто отмеривали бочонками, и все сокровища, накопленные бережливыми старцами, стекались, словно реки, к ее ногам. Поэтому душа ее была безмятежна. Преисполненная тихой гордости, Таис радовалась всенародному поклонению и милости богов и, любимая столь многими, любила только самое себя.

После нескольких лет, проведенных среди антиохийцев, которые окружили ее восхищением и любовью, ей захотелось вновь увидеть Александрию и явить свою славу городу, где она ребенком бродила, нищая и отвергнутая, голодная и худая, как кузнечик, скачущий на пыльной дороге. Золотой город принял ее восторженно и осыпал новыми дарами. Ее выступление на театре вызвало триумф. У нее появились бесчисленные почитатели и любовники. Она принимала всех без разбора, потому что уже не надеялась найти нового Лоллия.

В числе многих других она приняла философа Никия, который возгорелся желанием обладать ею, хотя и считал, что надо подавлять в себе все желания. Он был очень богат, но, несмотря на это, был умен и ласков; однако ни тонкость его ума, ни изысканность чувств не очаровали Таис. Она его не любила, а изящная его ирония иной раз даже раздражала ее. Он возмущал ее своим постоянным сомнением. Ведь он ни во что не верил, а она верила во все. Она верила в божественное провидение, во всемогущество злых духов, в колдовство, заклинания, в извечную справедливость. Она верила в Иисуса Христа и в добрую богиню сирийцев; она верила и тому, что суки лают, когда мрачная Геката появляется на перекрестках дорог^[58], и что женщина может внушить страсть, налив приворотного зелья в чашу, обернутую окровавленным руном. Она жаждала неведомого; она взывала к существам, не имеющим имени, и жила в постоянном ожидании и тревоге. Будущее страшило ее, и в то же время ей хотелось его узнать. Она окружала себя жрецами Изиды, халдейскими магами, знахарями и кудесниками, которые неизменно обманывали ее, но никогда не надоедали. Она страшилась смерти и всюду видела ее. Когда она уступала вожделению, ей вдруг казалось, что кто-то ледяной рукой касается ее обнаженного плеча, и, вся побледнев, она в объятиях любовника кричала от ужаса.

Никий говорил ей:

— Пусть нам суждено, седым и с ввалившимися щеками, спуститься в вечный мрак, пусть даже нынешний день, сверкающий сейчас в необъятном небе, будет нашим последним днем, — не все ли равно, Таис? Насладимся жизнью. Много чувствовать — значит много жить. Нет иной мудрости, кроме мудрости чувств: любить — значит понимать. То, чего мы не знаем, не существует вообще. Зачем же мучиться из-за того, чего нет?

Она отвечала ему с гневом:

— Я презираю тех, кто вроде тебя ни на что не надеется и ничего не боится. Я хочу знать! Хочу знать!

Чтобы проникнуть в тайну жизни, она взялась было за сочинения философов, но не поняла их. По мере того как годы ее детства уходили в прошлое, она все охотнее мысленно возвращалась к ним. Она любила по вечерам бродить переодетою по переулочкам, площадям и пригородным дорогам, где прошло ее безрадостное детство. Она жалела, что потеряла родителей и особенно что никогда не любила их. При встречах с христианскими священниками она вспоминала о своем крещении, и это смущало ее. Однажды ночью,

завернувшись в длинный плащ и прикрыв белокурые волосы темным капюшоном, она бродила по предместьям и, сама не зная как, очутилась перед бедным храмом Иоанна Крестителя. Изнутри до нее донеслись звуки песнопений, и она увидела ослепительный свет, пробивавшийся сквозь щели в дверях. В этом не было ничего удивительного, потому что уже двадцать лет, как христиане, под покровительством победителя Максенция, открыто справляли свои праздники. А в песнопениях этих слышался страстный призыв к душе. Они словно приглашали танцовщицу на таинства; она толкнула рукою дверь и вошла в храм. Она застала здесь многочисленное собрание — женщин, детей, стариков, коленопреклоненных перед надгробием, которое стояло у стены. Это надгробие представляло собою простую каменную раку с высеченными лозами и кистями винограда; однако ему поклонялись с глубоким благоговением; оно было украшено зелеными пальмовыми ветвями и ветками красных роз. Вокруг раки мерцало множество свечей, словно звездочки во мраке, а дым от аравийского ладана стелился, как складки ангельских покрывал. На стенах смутно виднелись фигуры, напоминающие небесные видения. Священники в белых ризах преклоняли колена у подножия саркофага. В псалмах, которые пели хором, говорилось о блаженстве страдания, и в этой торжественной печали слышалось столько радости, смешанной со скорбью, что, внимая песнопениям, Таис почувствовала в своем обновленном сердце одновременно и негу жизни и ужас смерти.

Когда пение кончилось, верующие поднялись и стали по очереди прикладываться к гробнице. То были простые люди, привыкшие к грубому труду. Они подходили неуклюже, уставившись в одну точку и приоткрыв рот, с простодушным и наивным видом, потом один за другим становились на колени и припадали губами к надгробию. Женщины, подняв детей на руки, осторожно прикладывали к камню их щеки.

Таис была взволнована и удивлена всем этим и спросила у одного из дьяконов, почему они так делают.

— Разве ты не знаешь, женщина, — ответил дьякон, — что сегодня мы чтим присноблаженную память святого Феодора Нубийца, который претерпел крестную муку при императоре Диоклетиане? Он жил как праведник и умер мученической смертью. Поэтому мы, облачившись в белое, украсили его славную могилу красными розами.

При этих словах Таис бросилась на колени и залилась слезами. Полуистершееся воспоминание об Ахмесе вновь оживало в ее душе. Сияние свечей, благоухание роз, облака ладана, звуки песнопений, благоговение присутствующих придавали неизвестному, милому и скорбному имени неизъяснимое обаяние славы. Потрясенная Таис думала: «Он был скромным человеком, и вот теперь он велик и прекрасен. Каким путем возвысился он над людьми? Что же такое то неведомое, что ценнее богатств и наслаждений?»

Она медленно встала и обратила взгляд к могиле святого, который любил ее; в ее фиалковых глазах при свете огней блестели слезинки; потом, опустив голову, она после всех, смиренно и неторопливо, подошла к гробнице раба и приложилась к ней губами, которые зажгли огонь желания в стольких сердцах.

Вернувшись домой, Таис застала у себя Никия; волосы его были умащены благовониями, туника расстегнута; в ожидании ее он читал трактат о нравственности. Он подошел к ней с распростертыми объятиями.

— Жестокая Таис, — воскликнул он, и в голосе его слышался смех, — ты так долго не возвращалась, а знаешь ли, что я видел в этой рукописи, продиктованной самым суровым из стоиков? Нравственные наставления и возвышенные истины? Нет! На чистом папирусе передо мной плясали тысячи и тысячи крохотных Таис. Каждая из них была всего лишь с мизинец ростом, но изящество их было несказанно, и все они были одною-единственной

Таис. На некоторых были пурпурные и золотые плащи, другие словно белое облако реяли в воздухе, окутанные прозрачными покрывалами. Третьи, неподвижные и божественно нагие, не выражали никакой мысли, дабы тем сильнее внушать вожделение. Наконец две из них стояли рука об руку и были так схожи, что нельзя было отличить одну от другой. Обе улыбались. Одна говорила: «Я — любовь». А другая: «Я — смерть».

Он говорил, обнимая Таис, и поэтому не видел ее потупленного, сердитого взгляда; он нанизывал мысль на мысль, не замечая, что они пропадают зря.

— Да, когда у меня перед глазами была строка, где говорится: «Пусть ничто не отвлекает тебя от забот о душе», я читал: «Поцелуй Таис горячее пламени и слаще меда». Вот, злая девочка, как по твоей вине понимает теперь философ труды философов. Правда, все мы без исключения в мысли другого открываем только нашу собственную мысль и, пожалуй, всегда читаем книги так, как я читал сейчас эту...

Таис не слушала его, и душа ее была далеко, возле гробницы нубийца. Она вздохнула, а Никий поцеловал ее в затылок, сказав:

— Не грусти, дитя мое. Мы счастливы в мире только когда забываем мир. А как этого достигнуть — нам с тобою известно. Пойдем обманем жизнь; она в долгу не останется. Пойдем! Будем любить друг друга.

Но Таис оттолкнула его.

— Любить друг друга! — горько воскликнула она. — Да ведь ты никогда никого не любил. И я тебя не люблю. Нет! Я не люблю тебя. Я тебя ненавижу. Уходи! Я ненавижу тебя. Я ненавижу и презираю всех счастливых и всех богачей. Уходи! Уходи!.. Добрыми бывают только несчастные. Когда я была ребенком, я знала одного черного раба, который умер на кресте. Он был добрый, душа его наполнилась любовью, и он владел тайною жизни. Ты недостойн был бы даже омыть ему ноги. Ступай. Я не хочу тебя больше видеть.

Она бросилась ничком на ковер и провела ночь в слезах, решив отныне жить, как святой Феодор, в бедности и смирении.

На другой день она вновь окунулась в обычные развлечения. Она знала, что ее красота, сейчас еще цветущая, сохранится недолго, и поэтому торопилась извлечь из нее всю возможную радость и всю славу. На театре, к которому она готовилась с большим тщанием, чем когда-либо, она казалась живым воплощением мечты ваятелей, живописцев и поэтов. Видя во внешности, в движениях, в походке актрисы образ божественной гармонии, правящей мирами, ученые и философы громко восхваляли это безупречное совершенство и говорили: «Таис тоже своего рода геометр!» А люди темные, бедняки, отверженные, забытые, когда она соглашалась выступить перед ними, благословляли ее за это, как за небесную милость. И все же, несмотря на нескончаемые хвалы, она была печальна и больше чем когда-либо страшилась смерти. Ничто не в силах было отвлечь ее от этой тревоги, даже роскошный дом ее и прославленные сады, о которых так много толковали в городе.

Она посадила в них деревья, привезенные за большие деньги из Индии и Персии. Их орошал, журча, прозрачный источник, а в озере отражались статуи и руины колоннады, а также дикие утесы, сооруженные искусным архитектором. Посреди сада возвышался грот Нимф, обязанный своим названием трем превосходно раскрашенным мраморным статуям, стоящим у входа в грот. Нимфы снимали с себя одежды, собираясь купаться. Они боязливо озирались вокруг, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не увидел их, и казались совсем живыми. Свет проникал в этот укромный уголок сквозь тонкую водяную завесу, которая смягчала его и расцвечивала всеми оттенками радуги. Все стены были, словно в священной пещере, увешаны венками, гирляндами и культовыми картинами, прославлявшими красоту Таис. Висели тут также трагические и комические маски, раскрашенные яркими красками,

рисунки, изображавшие то сценку из театрального представления, то некие причудливые фигуры, то диких зверей. Посреди грота стоял постамент с маленьким Эротом из слоновой кости, чудесной старинной работы. Это был подарок Никия. В углублении виднелась черная мраморная козочка с блестящими агатовыми глазами. Шесть алебастровых козлят жались возле ее сосцов, но она подняла копытца и вскинула курносую мордочку, как бы торопясь вскарабкаться на скалы. На полу были постланы византийские ковры, подушки, расшитые желтолицыми обитателями Катхеи, и шкуры ливийских львов. В золотых курильницах еле заметно тлели благоухания. Тут и там в больших ониксовых вазах стояли цветущие ветки персикового дерева. А в самой глубине, в тени и пурпуре, поблескивали золотые гвоздики на опрокинутом панцире гигантской индийской черепахи, который служил Таис ложем. Здесь под рокот воды, среди цветов и благовоний она каждый день лежала, нежась в ожидании часа, когда подадут ужин, беседовала с друзьями либо в одиночестве размышляла об искусстве театра или о беге времени.

Так и в этот день она после представления отдыхала в гроте Нимф. Она разглядывала в зеркале первые признаки увядания своей красоты и с ужасом думала о том, что в конце концов все же настанет время, когда волосы ее поседеют, а лицо покроется морщинами. Тщетно старалась она отогнать эти мысли, твердя себе, что свежий цвет лица нетрудно восстановить — стоит только сжечь некие целебные травы и произнести при этом магические заклинания. Неумолимый голос кричал ей: «Ты состаришься, Таис! Состаришься!» От ужаса на лбу ее выступили капли ледяного пота. Затем она снова с бесконечной нежностью взглядела в свое отражение и убедилась, что все еще хороша и достойна любви. Она улыбалась самой себе и шептала: «Во всей Александрии не найдется женщины, которая могла бы сравняться со мной гибкостью стана, изяществом движений и великолепием рук. А руки, о зеркальце, руки — это воистину цепи любви».

Она была занята этими думами, как вдруг увидела перед собою незнакомца — худого, с горящим взглядом, спутанной бородой и в богато расшитом одеянии. От испуга она вскрикнула и выронила зеркальце из рук.

Пафнутий стоял неподвижно и, дивясь ее красоте, в глубине сердца молился: «Сделай так, о господи, чтобы лицо этой женщины не только не совратило твоего служителя, но помогло ему укрепиться в добродетели».

Потом сказал с усилием:

— Таис, я живу далеко, но молва о твоей красоте привела меня к тебе. Говорят, будто ты самая искусная среди лицедеек и самая обольстительная среди женщин. То, что передают о твоих богатствах и твоих любовных утехах, звучит как сказка и напоминает древнюю Родопу^[59], чудесную историю которой знают наизусть все нильские лодочники. Поэтому-то мне и захотелось увидеть тебя, и ныне я убеждаюсь, что действительность превосходит молву. Ты в тысячу раз мудрее и прекраснее, чем говорят. И, видя тебя, я думаю: «Невозможно приблизиться к ней и не пошатнуться, как шатается хмельной».

Эти слова были притворством, но монах, воодушевленный благочестивым рвением, произнес их с подлинным жаром. Тем временем Таис с любопытством разглядывала странного незнакомца, так напугавшего ее. Своим суровым и диким видом, мрачным огнем, горевшим в его тяжелом взгляде, Пафнутий порастил ее. Ей хотелось узнать о жизни и положении человека, столь непохожего на окружающих ее людей. Она ему ответила с легкой насмешкой:

— Ты, кажется, щедр на восторги, чужестранец. Берегись, как бы мой взор не испепелил тебя. Берегись, как бы не влюбиться!

Он же сказал:

— Я люблю тебя, Таис. Я люблю тебя больше жизни и больше, чем самого себя. Ради тебя я покинул пустыню; ради тебя мои уста, давшие обет молчания, произнесли нечестивые слова; ради тебя я увидел то, чего не должен был видеть, услышал то, что мне слышать запрещено; ради тебя душа моя смутилась, сердце разверзлось и из него хлынули мысли, подобно живому источнику, из которого пьют голубки; ради тебя я днями и ночами шел по пустыне, кишасей ларвами и вампирами; ради тебя я босыми ногами ступал по змеям и скорпионам. Да, я люблю тебя. Я люблю тебя не так, как любят мужчины, охваченные плотским вожделением; они приходят к тебе, уподобившись кровожадным волкам или разъярившись, словно быки. Им ты дорога, как газель льву. Их плотоядная любовь, о женщина, растлевают и тело твое и душу. Я же люблю тебя в духе и истине, люблю тебя в боге и на веки веков; то, что пылает в моем сердце, — истинная любовь и божественное милосердие. Я обещаю тебе нечто большее, чем любовное упоение, чем сны быстротечной ночи. Я обещаю тебе непорочные пиршества и небесное венчание. Блаженству, которое я несу тебе, несть конца: оно безмерно, оно несказанно, и если бы земные счастливицы могли увидеть мельком хотя бы тень его, они тотчас же умерли бы от изумления.

Таис задорно смеялась.

— Яви же мне эту чудесную любовь, друг мой, — сказала она. — Не мешкай! Чересчур длинные речи оскорбительны для моей красоты; не будем терять ни мгновенья. Мне не терпится отведать блаженства, о котором ты возвещаешь, но, откровенно говоря, я боюсь, что так и не узнаю этой любви и что все твои обещания — лишь пустые слова. Великое счастье легче посулить, чем дать. У каждого свой дар, и вот мне кажется, что ты наделен даром рассуждать. Ты говоришь о какой-то неизведанной любви. Люди так давно познали сладость поцелуя, что мало вероятно, чтобы в любви остались еще какие-нибудь тайны. На этот счет влюбленные знают больше мудрецов.

— Таис, не издевайся. Я несу тебе неведомую любовь.

— Друг мой, ты опоздал. Мне ведомы все виды любви.

— Любовь, которую я несу тебе, сияет в лучах славы, в то время как любовь, знакомая тебе, порождает лишь стыд.

Таис бросила на него мрачный взгляд, жесткая складочка пересекла ее низкий лоб:

— Ты дерзкий человек, чужестранец, раз позволяешь себе оскорблять хозяйку дома, в котором находишься. Взгляни на меня и скажи: разве я похожа на тварь, покрытую позором? Нет, мне нечего стыдиться, и все женщины, живущие как я, тоже не знают стыда, хоть они далеко не так прекрасны и богаты, как я. Я вызывала сладострастие всюду, где только ступала моя нога, и этим я и прославилась на весь свет. Я могущественнее владык мира. Я видела их у своих ног. Взгляни на меня, взгляни на эти ноги: тысячи мужчин пожертвовали бы жизнью за счастье поцеловать их. Я не так-то высока ростом и занимаю в мире не много места. Тем, кто видит меня с высоты Серапея, когда я иду по улице, я представляюсь зернышком риса; но это зернышко породило столько горя, отчаяния, ненависти и преступлений, что ими можно заполнить весь Тартар. Ты что же, сошел с ума, что толкуешь мне о позоре, в то время как все вокруг прославляют меня?

— То, что в глазах людей слава, для бога бесчестье. О женщина, мы с тобою вскормлены в чуждых друг другу мирах, и поэтому не удивительно, что мы говорим на разных языках и думаем по-разному. И все же, — небо мне свидетель, — я хочу, чтобы мы поняли друг друга, и не покину тебя до тех пор, пока в нас не загорятся одинаковые чувства. Кто внушит мне, о женщина, огненные речи, чтобы ты растаяла от моего дыхания, словно воск, чтобы персты мои могли вылепить тебя по моему хотению? Какая благодать покорит тебя мне, о возлюбленная душа, дабы дух, ведущий меня, создал тебя вторично и наделил тебя новою

красотою, и ты бы воскликнула, обливаясь слезами радости: «Только сегодня родилась я на свет!» Кто обратит мое сердце в купель силоамскую^[60], дабы, окунувшись в оную, ты вновь обрела изначальную свою чистоту? Кто уподобит меня Иордану, воды которого, омыв тебя, даруют тебе жизнь вечную?

Таис уже не сердилась.

«Этот человек, — думала она, — говорит о вечной жизни, и его слова точно начертаны на талисмане. Он, как видно, мудрец и знает тайные средства против старости и смерти».

И она решила отдаться ему. Поэтому она притворилась, будто робеет, и отошла на несколько шагов в глубь грота; там она села на ложе, искусно спустила с плеч тунику и, замерев, не произнося ни слова, полузакрыв глаза, стала ждать. От длинных ресниц на ее щеки ложилась нежная тень. Весь ее облик выражал стыдливость; ноги ее плавно покачивались, и она похожа была на девочку, сидящую в раздумье на берегу реки.

Но Пафнутий смотрел на нее и не сходил с места. Колена его дрожали и подкашивались, язык прилип к гортани, в голове шумело. Вдруг глаза его заволокло туманом, он уже ничего не видел перед собою, кроме густого облака. Он подумал, что это рука Христова опустилась на его глаза, чтобы заслонить от него эту женщину. Ободренный такою помощью, укрепленный, поддержанный, он сказал сурово, как и подобало старцу-пустыннику:

— Ты воображаешь, будто, отдавшись мне, скроешься от взора божьего?

Она покачала головой.

— Бог! Кто его заставляет неотступно следить за гротом Нимф? Пусть отвернется, если мы его оскорбляем. Но чем мы его оскорбляем? Раз он нас сотворил, ему нечего ни гневаться, ни удивляться, что мы такие, какими он нас создал, и поступаем в соответствии с природой, какою он нас наделил. Слишком уж много говорят от его лица и нередко приписывают ему такие мысли, каких у него вовсе и нет. Ты-то сам, чужестранец, хорошо ли знаешь его истинный нрав? Кто ты такой, чтобы говорить от его имени?

В ответ на это монах распахнул на себе одежду, взятую у Никия, и, открыв власяницу, сказал:

— Я Пафнутий, антинойский настоятель, и пришел я из священной пустыни. Рука, которая вывела Авраама из Халдеи и Лота из Содома^[61], отторгнула меня от всего мирского. Для людей я уже перестал существовать. Но лицо твое явилось мне среди песков, в моем Иерусалиме, и я узнал, что ты погрязла в пороках и что в тебе таится смерть. И вот я стою пред тобою, женщина, как перед гробом и говорю тебе: «Таис, восстань!»

При словах: «Пафнутий, монах, настоятель» — Таис побледнела от ужаса. И в тот же миг она, сложив руки, плача и стеная, с распущенными волосами, припала к стопам святого:

— Не причиняй мне зла! Зачем ты пришел? Что тебе от меня надо? Не причиняй мне зла. Я знаю, что святые пустынники ненавидят женщин, которые, как я, созданы, чтобы обольщать. Я боюсь, что ты ненавидишь меня и хочешь причинить мне вред. Полно! Я и так верю, что ты всемогущ... Но знай, Пафнутий, не следует ни презирать, ни проклинать меня. Я никогда не смеялась над обетом бедности, который ты дал, как смеются многие из окружающих меня. Поэтому и ты не считай преступлением мое богатство. Я красива и искусна в играх. Я не сама выбирала свое ремесло и свою красоту. Я была создана для того, чем я занимаюсь. Я рождена пленять мужчин. Ты сам только что говорил, что любишь меня. Не пользуйся же своей ученостью мне во вред. Не произноси заклинаний, которые уничтожат мою красоту или обратят меня в соляной столб. Не пугай меня! Я и без того уже трепещу! Не лишай меня жизни! Я так боюсь смерти!

Он знаком велел ей подняться и сказал:

— Успокойся, дитя. Я не обижу тебя хулой и презрением. Я пришел к тебе от того, кто,

присев у колодца, испил воды из кувшина, поданного ему самаритянкой^[62], от того, кто за трапезой в доме Симона принял благовония, которые принесла ему Мария. Я и сам не безгрешен, и не я первый брошу в тебя камень. Нередко я дурно пользовался щедротами, дарованными мне господом. Не гнев, а сострадание взяло меня за руку, чтобы привести сюда. Я не лгал, приветствуя тебя словами любви, ибо вожатый мой — сердечное рвение. Я горю огнем милосердия, и если бы твои глаза, привыкшие к грубым плотским зрелищам, могли проникать в сокровенную сущность вещей, я предстал бы тебе как ветвь, отломленная от неопалимой купины^[63], которую господь некогда явил на горе Моисею, дабы он постиг, что такое истинная любовь — та любовь, которая горит в нас, но не сжигает и не только не оставляет после себя пепла и жалкого праха, но навеки пропитывает душу благоуханием и усладой.

— Я верю тебе, монах, и уже не боюсь, что ты сглазишь меня или причинишь мне вред. Мне не раз доводилось слышать о фиваидских отшельниках. Много чудесного рассказывают о жизни Антония и Павла. Твое имя мне тоже знакомо, и я слыхала, будто ты еще в молодых годах был равен добродетелью самым престарелым пустынноикам. Едва увидев тебя и даже еще не зная, кто ты такой, я почувствовала, что ты человек необыкновенный. Скажи мне, в силах ли ты сделать для меня то, чего не могли совершить ни жрецы Изиды, ни служители Гермеса и божественной Юноны, ни халдейские прорицатели, ни вавилонские маги? Монах! Раз ты меня любишь, можешь ты сделать так, чтобы я не умерла?

— Женщина! Тот, кто хочет жить, будет жить. Беги от гнусных наслаждений, в которых ты гибнешь навеки. Из рук демонов, готовых ввергнуть тебя в адское пламя, вырви тело, которое сам господь создал из праха земного и одухотворил своим дыханием. Ты изнемогаешь от усталости, так приди же и освежись в благодатном источнике одиночества; приди и утоли жажду из родников, таящихся в пустыне и вздымающих свои струи до самых небес. Душа, объятая тоской! Приди и завладей тем, чего ты желала! Сердце, взыскующее радости, спеши насладиться радостями истинными: нищетой, самоотречением, забвением самой себя; предайся всем существом в лоно господне. Противница Христа, приди к нему — и ты станешь его возлюбленной. Приди, томящаяся, и ты скажешь: «Я обрела любовь».

Тем временем Таис, казалось, смотрела куда-то вдаль.

— Монах, — спросила она, — если я отрекусь от земных радостей и покаюсь, правда ли, что я воскресну на небе и сохраню нетленным свое тело во всей его красе?

— Таис, я несу тебе жизнь вечную. Верь мне, ибо то, о чем я благовещу, — истина.

— А кто мне поручится, что это истина?

— Давид и пророки, Писание и чудеса, которые ты увидишь воочию.

— Мне хотелось бы тебе верить, монах. Ибо, сознаюсь тебе, я не нашла счастья в мире. Удел мой прекраснее удела царицы, и, однако, жизнь принесла мне много огорчений, много печали, я безмерно устала. Все женщины завидуют моей судьбе, а мне иной раз случается завидовать участи беззубой старухи, которая в дни моего детства торговала медовыми лепешками у городских ворот. Мне часто-часто приходит в голову мысль, что только нищие добры, счастливы, благословенны и что великая радость — жить в бедности и смирении. Монах, ты возмутил глубины моей души и вызвал на ее поверхность то, что дремало на самом дне. Увы, кому же верить? И как быть? И что такое жизнь?

Пока она говорила, Пафнутий преобразился: лицо его озарилось неземной радостью.

— Слушай, — сказал он. — Я вошел в твой дом не один. Другой сопутствует мне, другой, стоящий здесь, возле меня. Его ты не можешь видеть, потому что глаза твои еще недостойны его созерцать, но скоро ты его увидишь во всем его неизъяснимом великолепии и скажешь: «Он один достоин любви». Вот и сейчас, Таис, если бы он не приложил ласковую

руку к моим глазам, я, пожалуй, впал бы в грех вместе с тобою, ибо сам по себе я слаб и беспомощен. Но он спас нас обоих; доброта его так же беспредельна, как и его могущество, и имя ему — Спаситель. О пришествии его возвестили миру Давид и Сивилла^[64], ему еще в колыбели поклонялись пастухи и волхвы, потом его распяли фарисеи, погребли благочестивые женщины, его учение проповедовали апостолы, восславили мученики. И вот, узнав, что ты страшишься смерти, он грядет к тебе, о женщина, чтобы избавить тебя от нее. Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты являешься мне в этот миг, как явился людям земли галилейской в те чудесные дни, когда звезды, спустившись к тебе с небес, настолько приблизились к земле, что невинные младенцы, играя на руках матерей, на кровлях вифлеемских, могли их доставать ручонками? Не правда ли, возлюбленный Иисусе, ты сейчас с нами и являешь мне воочию свое драгоценное тело? Не правда ли, вот лик твой, а слеза, стекающая по твоей щеке, — настоящая слеза? Да, ангел небесного правосудия примет эту слезу, и она станет выкупом за душу Таис. Не правда ли, ты здесь, возлюбленный Иисусе? Иисусе, сладчайшие уста твои приоткрываются. Говори же, говори, я внемлю тебе. А ты, Таис, счастливица, внимай тому, что говорит тебе сам Спаситель. Ибо это не я, а он вещает тебе. Он говорит: «Я долго искал тебя, о заблудшая моя овечка! Наконец я тебя нашел. Не уходи от меня больше. Дай мне взять тебя на руки, бедняжка, и я отнесу тебя в небесную овчарню. Приди, моя Таис, приди, моя избранница, приди и плачь вместе со мною».

И Пафнутий бросился на колени; глаза его горели восторгом. Тут Таис увидела на лице праведника отсвет живого Христа.

— О невозвратные дни моего детства! — воскликнула она, рыдая. — О добрый мой отец Ахмес, добрый святой Феодор, зачем не умерла я под покровом твоего белого плаща, когда ты нес меня при первых лучах зари, только что омытую водою крещения!

Пафнутий устремился к ней, восклицая:

— Ты крещена? О божественная премудрость! О провидение! О боже всеблагой! Теперь я понимаю, что за сила влекла меня к тебе! Теперь я знаю, почему ты была мне так дорога и казалась столь прекрасной. Это сила таинства крещения извлекла меня из-под сени господней, под которой я жил, дабы я отыскал тебя там, где смердит мерзость мирская. Нет сомнения, что крохотная капля, одна-единственная капля воды, омывшей твое тело, упала на мое чело. Приди, возлюбленная сестра, и прими от брата твоего лобзание мира.

И монах губами коснулся чела куртизанки.

Потом он умолк, предоставив говорить самому богу, и теперь в гроте Нимф слышались только рыдания Таис, которым вторило журчание родника.

Она плакала, не утирая слез; тем временем пришли две черные рабыни с одеждами, благовониями и гирляндами в руках.

— А ведь сейчас не время плакать, — промолвила Таис, сияясь улыбнуться. — От слез краснеют глаза и тускнеет румянец. Сегодня я ужинаю в кругу друзей и хочу быть красивой, потому что там будут женщины, а они со злорадством подметят на моем лице следы усталости. Рабыни пришли, чтобы одеть меня. Уйди отсюда, отец мой, и не мешай им. Они ловкие и умелые и обошлись мне очень дорого. Посмотри вон на ту, у которой широкие золотые запястья и на редкость белые зубы. Я перехватила ее у жены проконсула.

Первою мыслью Пафнутия было всеми силами воспротивиться тому, чтобы Таис отправилась на пир. Но решив действовать осмотрительно, он только спросил, кого она там встретит.

Таис ответила, что там, кроме хозяина, старика Котты, начальствующего над флотом, будет Никий и еще несколько философов, любителей поспорить, а также поэт Калликрат и главный жрец Сераписа, будут богатые молодые люди, занятые главным образом объездкой

лошадей, наконец будет несколько женщин, о которых нечего сказать, ибо единственное преимущество их — молодость.

Тогда монах, осененный свыше, сказал:

— Иди к ним, Таис! Иди! Но я не покину тебя. Я пойду вместе с тобою на пир и молча возлягу возле тебя.

Она расхохоталась. Черные рабыни уже суетились вокруг нее, и Таис воскликнула:

— Что же они скажут, когда увидят, что у меня в любовниках фиваидский отшельник?

ПИР

Когда Таис в сопровождении Пафнутия вошла в пиршественный зал, большинство приглашенных уже возлежало за столом, сооруженным в форме подковы и уставленным сверкающей посудой. В середине стола возвышался серебряный сосуд с вареной рыбой; сосуд был украшен четырьмя фигурами сатиров, которые держали в руках бурдюки и поливали рыбу рассолом. При появлении Таис со всех сторон раздались возгласы:

— Привет сестре Харит!

— Привет безмолвной Мельпомене^[65], умеющей все выразить взором!

— Привет любимице богов и людей!

— Желанной!

— Дарующей и страдание и исцеление!

— Ракотидской жемчужине!

— Александрийской розе!

Она нетерпеливо выждала, когда иссякнут приветствия, потом обратилась к хозяину дома:

— Люций, я привела к тебе монаха из пустыни, антинойского настоятеля Пафнутия; это великий праведник, его слова жгут как пламя.

Люций-Аврелий Котта, начальник флота, поднялся из-за стола:

— Добро пожаловать, Пафнутий, проповедник христианской веры. Я и сам отношусь не без уважения к культу, отныне ставшему государственным. Божественный Константин возвел твоих единоверцев в первые ряды друзей империи. Действительно, римская мудрость не могла не допустить твоего Христа в наш Пантеон. Наши предки утверждали, что в любом боге есть нечто божественное. Но оставим это. Давайте пить и веселиться, пока еще не поздно.

Старый Котта был весел и безмятежен. Он только что осмотрел новый образец галеры и закончил шестую книгу своей истории карфагенян. Он чувствовал, что день прошел не зря, и поэтому был доволен и самим собою и богами.

— Пафнутий, — сказал он, — пред тобою несколько человек, вполне достойных уважения и любви: Гермодор, великий жрец Сераписа, философы Дорион, Никий и Зенофемид, поэт Калликрат, юный Кереас и юный Аристокл — сыновья друга моей молодости, дорогого моему сердцу, а возле них — Филина с Дрозеей, достойные всяческой похвалы за свою красоту.

Никий, подойдя к Пафнутию, обнял его и сказал тихонько:

— Ведь говорил же я тебе, брат мой, что Венера всесильна. Ты пришел сюда вопреки своему желанию, — и в этом сказалось ее ласковое насилие. Ты человек, преисполненный благочестия, однако согласишься, что она — мать всех богов, иначе ты неизбежно потерпишь поражение. Знай, что старик Меланфий, математик, всегда твердит: «Без помощи Венеры я не мог бы доказать свойств треугольника».

Дорион пристально всматривался во вновь пришедшего, потом вдруг захлопал в ладоши и восторженно закричал:

— Это он, друзья мои! Его глаза, его борода, туника! Это он самый! Я встретил его в театре, когда наша Таис чаровала зрителей своими несравненными руками. Он пришел в ярость и, могу вас заверить, неистово разглагольствовал. Этот достойный человек сейчас всех нас разгромит. Он наделен грозным красноречием. Если Марк — христианский Платон, то Пафнутий — христианский Демосфен^[66]. Эпикур в своем саду^[67] никогда не слышал ничего подобного.

Тем временем Филина и Дрозья глазами пожирали Таис. Ее белокурую головку обвивал венчик из бледно-лиловых фиалок, и каждый цветочек, хоть и был немного светлее, напоминал цвет ее глаз, так что фиалки казались померкшими взглядами, а глаза — яркими фиалками. Таков был дар этой женщины: на ней все оживало, все гармонировало и одухотворялось. От ее лиловато-розового платья, расшитого серебром и ниспадавшего длинными складками, веяло каким-то особым, грустным изяществом; на ней не было ни запястий, ни ожерелий, и единственным ее украшением были великолепные, доверху обнаженные руки. Филина и Дрозья невольно залюбовались нарядом и прической подруги, однако ни слова не сказали ей об этом.

— Как ты хороша! — молвила, наконец, Филина. — Ты не могла быть красивее, когда приехала в Александрию. А между тем моя мать еще помнила, какой ты была в те годы, и она говорила, что не многие женщины могли бы сравниться с тобою.

— Но кто ж этот новый возлюбленный, которого ты привела к нам? — спросила Дрозья. — У него странный и дикий вид. Если бы существовали пастухи слонов, они, вероятно, были бы похожи на него. Где ты выискала, Таис, такого дикаря? Уж не среди ли троглодитов, что живут под землей и насквозь прокоптились в дыму Аида?

Но Филина приложила пальчик ко рту подруги:

— Замолчи! Тайны любви неприкосновенны, знать их запрещено. Правда, сама я предпочла бы, чтобы меня коснулось пламя дымящейся Этны, чем губы этого человека. Но наша нежная Таис, прекрасная и почитаемая, как богини, должна, как богини, внимать всем молениям, а не только мольбам привлекательных мужчин, как делаем мы.

— Берегитесь, Филина и Дрозья! — отвечала Таис. — Это волшебник и чародей. Он слышит даже то, что говорится шепотом, он читает в мыслях. Когда вы будете спать, он вырвет у вас сердце и заменит его губкой, а на другой день вы захлебнетесь от первого же глотка воды.

Увидев, что подруги побледнели, Таис повернулась к ним спиной и возлегла на ложе рядом с Пафнутием. Вдруг властный и приветливый голос Котты возвысился над общим гулом и прервал непринужденную беседу гостей:

— Друзья, пусть каждый займет свое место. Рабы, налейте медового вина!

Затем хозяин поднял кубок:

— Выпьем прежде всего за божественного Констанция и за гений империи. Отчизна превыше всего, даже превыше богов, ибо она заключает в себе их всех.

Гости поднесли к губам наполненные кубки. Один только Пафнутий не стал пить потому, что Констанций преследовал никейскую веру^[68], а также потому, что отчизна

христианина не от мира сего.

Дорион, осушив кубок, прошептал:

— Что такое отчизна? Текущая река. Берега ее изменчивы, а воды в ней беспрестанно обновляются.

— Я знаю, Дорион, — возразил начальник флота, — что ты мало ценишь гражданские добродетели и считаешь, что мудрец должен чуждаться дел. Я же полагаю, наоборот, что честный человек должен больше всего стремиться к тому, чтобы занять в государстве высшие должности. Государство — прекрасное установление!

Гермодор, великий жрец Сераписа, сказал:

— Дорион спрашивает: что есть отчизна? Я отвечу ему. Отчизна — это алтари богов и могилы предков. Мы сознаем себя согражданами потому, что нас объединяет общность воспоминаний и надежд.

Молодой Аристокбул прервал Гермодора:

— Клянусь Кастором, сегодня я видел прекрасного коня^[69]. Это конь Демофона. У него сухая голова, маленькие скулы и широкая грудь. Голову он несет высоко и горделиво, как петух.

Но юный Кереас покачал головой:

— Не так уж он хорош, как ты говоришь, Аристокбул. Копыто у него хрупкое, бабки провисшие, и он скоро падет на ноги.

Они заспорили, а Дрозья вдруг пронзительно вскричала:

— Ой! Я чуть было не подавилась косточкой — длинной и острой, как стилет. К счастью, мне удалось ее вытащить! Боги любят меня!

— Любезная Дрозья, ты, кажется, сказала, что тебя любят боги? — спросил с улыбкой Никий. — Значит, им свойственны те же слабости, что и людям. Любовь овладевает только теми, кто чувствует свою духовную нищету. Именно любовь свидетельствует о слабости человека. Любовь, которую питают боги к Дрозье, — яркое доказательство их несовершенства.

Слова философа сильно разгневали Дрозью:

— То, что ты говоришь, Никий, — глупо и ни с чем не сообразно. Впрочем, тебе свойственно не понимать того, что говорят, и на все отвечать бессмысленными рассуждениями.

Никий по-прежнему улыбался:

— Говори, говори, прелестная Дрозья; что бы ты ни сказала, нельзя тобою не любоваться, стоит тебе открыть ротик — у тебя такие ослепительные зубки.

В это время в залу не торопясь вошел степенный старик, небрежно одетый, с высоко поднятой головой, и обвел присутствующих спокойным взглядом. Котта знаком пригласил его занять место рядом с собою, на хозяйском ложе.

— Добро пожаловать, Евкрит, — сказал он вошедшему. — Сочинил ли ты в нынешнем месяце какой-нибудь новый философский трактат? Это, если не ошибаюсь, уже девяносто вторая твоя работа, написанная нильским тростником, которым ты владеешь с чисто аттическим изяществом.

Евкрит отвечал, поглаживая серебристую бороду:

— Соловей создан, чтобы петь, а я создан, чтобы славить бессмертных богов.

Дорион. Благоговейно склоним головы перед последним стойком^[70]. Величественный и седовласый, он возвышается среди нас, как образ наших праотцев. В толпе современников он одинок, и слов, которые он произносит, никому не дано понять.

Евкрит. Ты заблуждаешься, Дорион. Философия добродетели еще не умерла в этом мире.

У меня немало учеников в Александрии, Риме и Константинополе. Многие среди рабов и среди потомков цезарей еще умеют властвовать над собою, жить свободными и находить в отречении от земных благ безграничное блаженство. Многие воспитывают в себе дух Эпиктета и Марка Аврелия^[71]. Но, если бы оказалось, что добродетель действительно навеки угасла на земле, разве утрата ее омрачила бы мое счастье, раз не от меня зависит, процветать ей или погибнуть? Только безумцы, Дорион, ищут счастья в том, что не подвластно их воле. Я не хочу ничего иного, кроме того, чего желают боги, и желаю всего, чего желают они. Тем самым я уподобляюсь им и приобщаюсь к их неизменному благоденствию. Если добродетель погибает, я соглашаюсь на то, чтобы она погибла, и это согласие преисполняет меня радостью как высшее проявление моего разума и мужества. Что ни случись, моя мудрость всегда будет вторить мудрости богов, а такое подражание ценнее самого оригинала: оно стоит больших забот и усилий.

Никий. Понимаю. Ты присоединяешься к божественному провидению, Евкрит. Но если добродетель заключается только в усилиях и в стремлении, которые дают ученикам Зенона повод уподоблять себя богам, значит лягушка, которая надувается, чтобы стать толстой как вол, являет высший образец стоицизма.

Евкрит. Ты шутишь, Никий, и по обыкновению насмешничаешь. Но если вол, о котором ты говоришь, в самом деле бог, подобно Апису и тому подземному быку^[72], жреца которого я здесь вижу, и если лягушка, вдохновленная мудростью, достигнет его объема — не будет ли она действительно добродетельнее вола, и неужели в тебе не вызовет восхищения это героическое маленькое существо?

Четыре прислужника подали на стол вепря, еще покрытого щетиной. Выпеченные из теста поросята жались к его брюху, как бы ища сосков, и по этому можно было заключить, что это самка.

Зенофемид сказал, указывая на монаха:

— Друзья! Один из присутствующих пожаловал сам, дабы разделить нашу трапезу. Знаменитый Пафнутий, ведущий в уединении подвижническую жизнь, стал нашим нечаянным гостем.

Котта. Лучше сказать так, Зенофемид: раз он пришел без зова, ему принадлежит первое место.

Зенофемид. Поэтому, любезный Люций, мы должны принять его особенно дружелюбно и подумать о том, чем бы его порадовать. А такой человек, конечно, менее чувствителен к запаху жаркого, чем к благоуханию возвышенных мыслей. Мы несомненно угодим ему, если заведем беседу о вере, которую он исповедует, — о вере распятого Христа. Я сам приму участие в такой беседе тем охотнее, что вероучение это живо интересуется меня, ибо в нем заключено множество самых разнообразных аллегорий. Если распознать смысл, скрытый за словами, то окажется, что учение это изобилует истинами, и мне думается, что книги христиан полны божественных откровений. Но я не могу, Пафнутий, так же высоко ценить книги иудеев. Их книги вдохновлены не божьим духом, как они утверждают, а неким злым гением. Иегова, продиктовавший их, был одним из тех духов, что живут в нижнем небе и причиняют нам больше всего мук и страданий, но он всех их превзошел невежеством и жестокостью. Зато златокрылый змий^[73], обвинившись лазоревой лентой вокруг древа познания, был, наоборот, преисполнен света и любви. Следовательно, борьба между этими двумя силами, одной — лучезарной, другой — сумрачной, была неизбежна. И она разгорелась в первые же дни мира. Бог почил от дел своих, Адам и Ева — первый мужчина и первая

женщина — пребывали, блаженные и нагие, в райском саду, а Иегова, на их несчастье, уже возымел намерение управлять ими, равно как и будущими поколениями, которые Ева уже несла в великолепном лоне своем. Он не располагал ни циркулем, ни лирой и был совершенно чужд знанию, при помощи которого можно повелевать, и искусству, которое умеет убеждать; поэтому он только пугал эти два бедные создания чудовищными видениями, сумасбродными угрозами и раскатами грома. Адам и Ева ощущали над собою его зловещую тень, ближе жались друг к дружке, и любовь их от страха разгоралась еще жарче. Змий сжалился над ними и решил их просветить, дабы они, обладая знанием, не поддавались обману. Замысел змия требовал крайней осторожности, а слабость первой четы делала его почти безнадежным. Доброжелательный дух все же решил попытаться его осуществить. Втайне от Иеговы, который мнил, что видит всё, а на самом деле отнюдь не обладал острым зрением, он приблизился к этим двум существам, пленяя их взоры великолепием своей брони и сиянием крыльев. Затем он прельстил их ум, придав своему телу форму точных фигур, как-то: круга, эллипса и спирали, чудесные свойства которых позднее были открыты греками. Адам легче Евы вникал в особенности этих фигур. Однако, когда змий, заговорив, стал поучать их более возвышенным истинам — тем, что не поддаются доказательству, — он понял, что Адам, созданный из красной глины, по природе своей чересчур груб для усвоения столь утонченных знаний, зато Ева, более чувствительная и нежная, воспринимает их без труда. Поэтому он стал говорить с нею наедине, в отсутствие мужа, чтобы она первая приобщилась...

Дорион. Позволь, Зенофемид, прервать тебя. В мифе, который ты нам излагаешь, я сразу узнал один из эпизодов борьбы Афины Паллады с великанами. Иегова очень похож на Тифона, а Палладу афиняне всегда изображают со змеей^[74]. Но то, что ты сейчас рассказал, вдруг зародило во мне сомнение в уме или в честности змия, о котором ты говоришь. Если он действительно обладал мудростью, неужели он бы ее доверил самочке, головка которой не может ее вместить? Мне кажется правдоподобнее, что змий, как и Иегова, был невежда и обманщик и выбрал он Еву только потому, что ее легче было совратить, в то время как Адам представлялся ему умнее и рассудительнее.

Зенофемид. Знай, Дорион, что не умом и рассудительностью, а именно чувством постигаются самые возвышенные и чистые истины. Поэтому-то женщины, не столь разумные, как мужчины, зато более чуткие, легче возвышаются до познания божественных истин. В них заложен дар ясновидения, и не зря иной раз изображают Аполлона Кифареда и Иисуса Назарея одетыми по-женски, в развевающихся одеждах. Поэтому, что ни говори, Дорион, а змий-просветитель поступил мудро, избрав для преподания истины не грубого Адама, а Еву — нежную, как молоко, и ясную, как звезды. Она внимала ему покорно и последовала за ним к дереву познания, ветви которого возвышались до самого неба и были, словно росой, окроплены божественным духом. Листья, зеленевшие на дереве, говорили на всех языках грядущих народов, и голоса их, слившись, звучали как гармоничный хор. Обильные плоды этого дерева наделяли посвященных, которые вкушали их, даром разбираться в металлах, камнях, растениях, а также в физических и нравственных законах; но плоды эти пылали огнем, и тот, кто страшился мучений и смерти, не смел поднести их ко рту. Между тем Ева, покорно вняв наставлениям змия, презрела страх и пожелала вкусить от плодов, дающих познание бога. А чтобы Адам, которого она любила, не стал ниже ее, она взяла его за руку и подвела к чудесному дереву. Она сорвала румяное яблоко, отведала его и затем подала своему другу. К несчастью, Иегова гулял в это время в саду; он застиг их и, видя, что они становятся мудрыми, пришел в страшный гнев. Он бывал особенно грозен, когда его охватывала зависть. Иегова собрал все подвластные ему силы и вызвал в нижнем

небе такой грохот, что два слабых создания были совершенно ошеломлены. Плод выпал из рук мужчины, а женщина обняла несчастного и сказала: «Я хочу остаться невеждой и страдать вместе с тобой». Торжествующий Иегова держал Адама и Еву и все их потомство в состоянии растерянности и ужаса. Его грубое умение посылать громы небесные оказалось сильнее мастерства, которым владел змий — музыкант и геометр. Иегова научил людей несправедливости, невежеству и жестокости и отдал мир во власть злу. Он преследовал Каина и его сыновей за то, что они были искусны в ремеслах; он уничтожил филистимлян за то, что они сочиняли орфические гимны и басни вроде Эзоповых^[75]. Он стал непримиримым врагом знания и красоты, и в течение долгих веков род человеческий слезами и кровью расплачивался за поражение крылатого змия. К счастью, среди греков нашлись проницательные люди, как, например, Пифагор и Платон; силою своего ума они заново открыли те мысли и знаки, которые змий, враждовавший с Иеговой, тщетно пытался внушить первой женщине. Эти люди обладали мудростью змия; потому-то, как заметил Дорион, змий и почитается афинянами. Наконец в последнее время появились в образе человеческого три божественных ума: Иисус Галилеянин, Василид и Валентин^[76]; им было суждено сорвать прекраснейшие плоды с древа познания, которое корнями своими насквозь пронизывает землю, а маковкой возносится к крайним высотам небес. Вот что я хотел сказать в защиту христиан, которым постоянно приписывают заблуждения, свойственные иудеям.

Дорион. Если я тебя правильно понял, Зенофемид, ты утверждаешь, что три человека, достойных восхищения — Иисус, Василид и Валентин, — открыли такие истины, которые были недоступны Пифагору, Платону, всем греческим философам и даже божественному Эпикуру, хотя он и освободил человека от всех напрасных страхов. Сделай одолжение, скажи, каким же образом эти трое смертных обрели знания, которые не давались даже мудрецам?

Зенофемид. Но ведь я уже сказал, Дорион, что наука и размышления — всего лишь первые ступени познания и что только вдохновение ведет к вечным истинам.

Гермодор. Правда, Зенофемид, душа питается вдохновением, как цикада — росой. Но правильнее сказать: только духу доступно высшее вдохновение. Ведь человек состоит из трех субстанций: из плотского тела, из души, более утонченной, но тоже плотской, наконец из нетленного духа. Тело, покинутое духом, уподобляется дворцу, вдруг обезлюдевшему и погруженному в безмолвие. А дух летит по садам твоей души и сливается с божеством; он вкушает сладость грядущей смерти, или, вернее, будущей жизни, ибо умереть — значит жить, и в этом состоянии дух, приобщаясь к божественной чистоте, сразу обретает и бесконечную радость и всеобъемлющее знание. Он растворяется в единстве, представляющем собою все. Он достигает совершенства.

Никий. Допустим, что так, Гермодор, но, по правде говоря, я не вижу большой разницы между всем и ничем. Для определения этого различия, мне кажется, даже нет подходящих слов. Бесконечность очень похожа на ничто: они равно непостижимы. По-моему, совершенство достается слишком дорогой ценой: за него расплачиваешься всем своим естеством, и чтобы достичь его, надо перестать существовать. В этом заключается изъян, которого не избегнул и сам бог, — с того времени как философы вздумали его усовершенствовать. В сущности, не зная, что такое «не быть», мы тем самым не знаем и того, что такое «быть». Мы ничего не знаем. Говорят, что людям не дано понять друг друга. Мне же думается, несмотря на наши шумные споры, что, наоборот, люди в конце концов непременно придут к согласию, ибо они будут погребены все вместе под грудой противоречий, которые они сами нагромодили, как Пелион на Оссу.

Котта. Я очень люблю философию и посвящаю ей часы досуга. Но она вполне понятна мне лишь в книгах Цицерона. Рабы, налейте медового вина!

Калликрат. Странное дело! Как только я проголодаюсь, мне вспоминаются времена, когда поэты-трагики возлежали на пирах добрых тиранов, — и у меня слюнки начинают течь. Но достаточно мне хлебнуть превосходного вина, которым ты, великодушный Люций, так щедро нас угощаешь, и я помышляю только о междоусобных распрях и героических сражениях. Мне становится стыдно, что я живу в бесславное время, я взываю к свободе и в воображении проливаю свою кровь в битве при Филиппах, бок о бок с последними римлянами.

Котта. На закате республики мои предки умерли за свободу вместе с Брутом. Но возникает сомнение, не было ли то, что они называли свободой римского народа, просто стремлением самим управлять народом. Я не отрицаю, что свобода — Первейшее благо для людей. Но чем дольше я живу, тем больше проникаюсь убеждением, что только сильное правительство может ее обеспечить гражданам. Я сорок лет исполняю высшие государственные должности, и долгий опыт убедил меня, что народ бывает более всего угнетен, когда правительство слабо. Поэтому все, кто вроде большинства риториков силится ослабить правительство, совершают гнусное преступление. Если воля одного иной раз и сказывается пагубно, то требовать всенародного согласия — значит делать вообще невозможным принятие какого-либо решения. До того как величие Римской империи осенило мир, народы благоденствовали только под властью умных деспотов.

Гермодор. Что касается меня, Люций, я думаю, что вообще нет хорошей формы правления и что изобрести такую форму невозможно, раз даже хитроумные греки, давшие миру столько прекрасного, как ни искали ее, все же не нашли. Отныне у нас уже нет на это никакой надежды. По непреложным признакам легко заключить, что мир скоро погрузится во мрак и варварство. Нам суждено, Люций, присутствовать при страшной агонии цивилизации. Из всех усад, которые доставляли нам разум, наука и добродетель, у нас осталась только одна — жестокая радость быть свидетелями собственного умирания.

Котта. Голод, который изнуряет народ, и дерзкие набеги варваров — разумеется, грозные бичи. Но с помощью хорошего флота, хорошей армии и хороших финансов...

Гермодор. К чему обольщаться? Умиравшая империя — легкая добыча для варваров. Города, созданные эллинским гением и римским трудолюбием, скоро будут разграблены пьяными дикарями. Не станет на земле ни искусства, ни философии. Образы богов будут повержены в святилищах и душах. Наступит ночь разума и кончина мира. В самом деле, трудно поверить, что сарматы когда-либо займутся умственным трудом, германцы посвятят себя музыке и философии, а квады и маркоманны станут поклоняться бессмертным богам. Нет! Все катится в бездну. Древний Египет, бывший некогда колыбелью мира, станет его усыпальницей. Серапису, богу смерти, будут посвящены последние таинства смертных, а я окажусь последним жрецом последнего бога.

В эту минуту какой-то странный человек приподнял занавес, и пирующие увидели перед собою горбуна с плешивой, суживающейся кверху головой. Он был одет, сообразно восточному обычаю, в лазоревую тунику, а на ногах у него были, как у варваров, красные шаровары, усеянные золотыми звездочками. Взглянув на вошедшего, Пафнутий узнал в нем Марка-арианина и, страшась, как бы не разразился гром небесный, поднял над головой руки и от ужаса побледнел. Ни богохульства язычников, ни чудовищные заблуждения философов — ничто на этом бесовском пиршестве не могло поколебать мужество Пафнутия, но одного появления еретика оказалось для этого достаточным. Пафнутий хотел бежать, но взгляд его встретился со взглядом Таис, и он сразу успокоился. Он прочел в душе этой избранницы и

понял, что та, которой предстоит стать святою, уже сейчас охраняет его. Он схватился за край ее одежды, раскинутой на ложе, и мысленно вознес молитву к Спасителю Христу.

Появление этого человека, прозванного христианским Платоном, было встречено доброжелательным шепотом. Первым приветствовал его Гермодор:

— Достоправный Марк, все мы рады видеть тебя среди нас, и пришел ты, можно сказать, особенно кстати. Из учения христиан нам известно только то, что преподается гласно. Между тем нет никакого сомнения, что такой философ, как ты, не может разделять мыслей черни, и нам хотелось бы узнать твое мнение об основных тайнах веры, которую ты проповедуешь. Наш любезный Зенофемид, который, как тебе ведомо, всюду ищет символов, расспрашивал сейчас прославленного Пафнутия относительно еврейских книг. Но Пафнутий не дал ему ответа, и не следует этому удивляться, потому что наш сотрапезник дал обет молчания и бог наложил на его уста печать. Но ты, Марк, державший речи на христианских соборах и даже в совете божественного Константина, ты можешь, если согласишься, удовлетворить наше любопытство и открыть нам философские истины, таящиеся в христианских сказаниях. Не правда ли, что первейшая из ваших истин — это существование единого бога? Сам я твердо верую в него.

Марк. Да, почтенные братья, я верую в бога единого, не рожденного, единственно бессмертного, начало всех начал.

Никий. Мы знаем, Марк, что твой бог создал вселенную. Это был, конечно, великий перелом в его существовании. Он существовал уже вечность, прежде чем решился на это. Но справедливости ради я признаю, что положение его было до крайности затруднительным. Чтобы оставаться совершенным, ему надо было пребывать в бездействии, а чтобы доказать себе свое собственное существование, приходилось действовать. Ты уверяешь, что он решил действовать. Я готов тебе поверить, хотя со стороны совершенного бога это было непростительной неосторожностью. Однако скажи нам, Марк, как же он взялся за дело?

Марк. Всякий — даже не христианин, — кто владеет, как Гермодор и Зенофемид, основами знания, понимает, что бог не создал мир самолично, без посредников. Он дал жизнь единственному своему сыну, которым все и было сотворено.

Гермодор. Ты сказал истину, Марк; и этого сына боготворят под именами Гермеса, Митры, Адониса, Аполлона и Христа^[77].

Марк. Я не был бы христианином, если бы называл его другими именами, кроме имени Иисуса, Христа и Спасителя. Он истинный сын божий. Но он не вечен, раз он имел начало^[78]; думать же, что он существовал еще до того, как был рожден, — значит допустить нелепость, которую следует оставить мулам никейского собора да упрямому ослу, который неправомерно долго правил александрийской церковью под именем Афанасия^[79], — будь он проклят!

При этих словах Пафнутий, бледный, с челом влажным от предсмертного пота, осенил себя крестным знамением, но все же не нарушил своего величественного молчания.

Марк продолжал:

— Ясно, что нелепый никейский символ веры является посягательством на величие бога единого, ибо он предполагает раздел неделимых атрибутов бога между богом и его порождением, между богом и посредником, которым все было сотворено. Перестань насмешничать над истинным богом христиан, Никий. Знай, что, как лилии полевые, он не работает, не прядет. Работник не он, а сын его единственный, Христос, который создал мир, а потом пришел, чтобы исправить свое творение. Ибо творение не могло быть совершенным И зло неизбежно примешалось к добру.

Никий. Что такое добро и что такое зло?

Наступило краткое молчание. Гермодор, воспользовавшись им, протянул над скатертью руку и указал на ослика из коринфского металла с навьюченными на него корзинками — одной с белыми, другой с черными оливками.

— Взгляните на эти оливки, — сказал он. — Наш взор тешится контрастом их цветов, и мы радуемся тому, что эти — светлые, а те — темные. Но, если бы они наделены были мыслями и разумением, белые сказали бы: хорошо, когда оливка белая, и плохо, когда она черная; черные же оливки возненавидели бы белых. Мы судим о них правильнее, ибо мы настолько же выше их, насколько боги выше нас. Для человека, видящего лишь одну сторону сущего, зло есть зло; для бога, понимающего все, зло есть добро. Конечно, уродство уродливо, а не прекрасно, но если бы все в мире было прекрасно, то мир в целом не был бы прекрасен. Следовательно, хорошо, что есть зло, — как это доказал второй Платон^[80], превзошедший мудростью первого.

Евкрит. Станем на более нравственную точку зрения. Зло есть зло не для мира, изначальной гармонии которого ему не разрушить, а для дурного человека, который совершает зло, а мог бы его и не совершать.

Котта. Клянусь Юпитером! Вот здоровое рассуждение.

Евкрит. Мир — трагедия, сочиненная превосходным поэтом. Бог, создавший эту трагедию, предназначил каждого из нас сыграть в ней определенную роль. Если ему угодно, чтобы ты был нищим, монархом или хромым, старайся как можно лучше исполнить порученную тебе роль.

Никий. Конечно, хорошо, если хромой из этой трагедии хромает, как Гефест; хорошо, если безумец предается неистовству, как Аякс, если кровосмесительница повторяет преступления Федры^[81], если предатель предает, обманщик лжет, убийца убивает. Когда же представление окончится, сочинитель похвалит в равной мере всех лицедеев — царей-праведников, кровавых тиранов, богобоязненных дев, бесстыжих жен, самоотверженных граждан и подлых душегубцев.

Евкрит. Ты извращаешь мою мысль, Никий, и делаешь из прекрасной девушки отвратительную Медузу^[82]. Мне тебя жаль, — тебе неведомы природа богов, справедливость и вечные законы.

Зенофемид. Что касается меня, друзья мои, я верую в существование добра и зла. Но я убежден, что нет такого человеческого поступка — будь это даже поцелуй Иуды, — который не заключал бы в себе зачатка искупления. Зло содействует конечному спасению человечества, и тем самым оно связано с добром и несет в себе то положительное, что свойственно добру. Христиане превосходно выразили это в сказании о рыжем человеке, который, предавая своего учителя, подошел к нему с поцелуем мира и этим поступком утвердил спасение человечества. Поэтому, на мой взгляд, трудно представить себе что-либо более несправедливое и более необоснованное, чем та ненависть, какую иные из учеников Павла-ткача^[83] питают к несчастнейшему из апостолов Христа; они забывают, что поцелуй Искарота, предсказанный самим Христом, был, по их же собственному учению, необходим для искупления и что, если бы Иуда не получил мошны с тридцатью сребрениками, божественная премудрость не оправдалась бы, провидение было бы опровергнуто, предначертания его опорочены, а мир вновь отдан во власть зла, невежества и смерти.

Марк. Божественная премудрость предвидела, что Иуда, вольный не давать предательского поцелуя, все же даст его. Следовательно, она воспользовалась злодеянием

Искариота как камнем, на котором воздвигнут чудесный замысел искупления.

Зенофемид. Я говорил сейчас с тобою, Марк, так, словно я верю, будто искупление человечества осуществлено распятым Христом; мне известно, что таково верование христиан, и я стал на их точку зрения для того, чтобы лучше уяснить ошибку тех, кто верит, будто Иуда проклят навеки. На самом же деле я полагаю, что Христос всего-навсего предтеча Василида и Валентина. Что же до тайны искупления, я расскажу вам, друзья, если хотите, как оно совершилось на земле в действительности.

Гости знаком просили его продолжать. Двенадцать девушек, словно юные афинянки со священными кошинами Цереры^[84], легкой поступью вошли в зал; они несли на головах корзины с гранатами и яблоками, и мерному шагу их сопутствовали звуки невидимой флейты. Они поставили корзины на стол, флейта умолкла, и Зенофемид продолжал так:

— Когда Евноя, мысль бога, сотворила вселенную^[85], править землей она поручила ангелам. Но ангелы не устояли против соблазнов, как то подобало бы властителям. Они увидели, что дочери человеческие красивы, и однажды вечером застигли их у водоемов и сочетались с ними. От этих союзов произошел буйный род, распространивший по земле несправедливость и жестокость, и пыль на дорогах оросилась кровью невинных. Видя все это, Евноя впала в безысходную печаль.

— Вот что я наделала! — стонала она, склонившись над миром. — По моей вине жизнь детей моих полна горечи. Их страдания — плоды моего преступления, и я хочу искупить его. Сам бог, за которого я мыслю, бессилен вернуть им первоначальную их непорочность. Что сделано — сделано, и творение останется несовершенным навеки. Но я не покину свои создания! Я не могу сделать их счастливыми, как я сама, зато могу стать несчастной, как они. Раз я совершила ошибку, наделив их телами, которые унижают их, я сама воплощусь в тело, подобное их телам, и стану жить среди них.

С этими словами Евноя спустилась на землю и воплотилась во чреве одной из дочерей Тиндарея. Она родилась маленькой и слабой, и ей дано было имя — Елена. Покорная всем тяготам жизни, она вскоре выросла, развилась и похорошела и стала желаннейшей из женщин, — как она заранее и решила, дабы на своем смертном теле испытать самый страшный позор. Пав жертвой грубых и похотливых мужчин, она стала соблазнять их, и предалась блуду во искупление всего блуда, всех злодеяний, всей неправды, и своей красотой принесла гибель народам, чтобы бог мог простить грехи мира. И никогда Евноя, небесная мысль, не была столь пленительной, как в те дни, когда она, женщиной, отдавалась всем без разбору — и героям и пастухам. Поэты угадывали ее божественное происхождение, когда рисовали ее такой невозмутимой, гордой и гибельной и когда взывали к ней: «Душа ясная, как морская гладь!»

Так жалость приобщила Евною к страданиям и злу. Она умерла, и лакедемоняне поныне показывают ее могилу; ей суждено было вкусить от всех горьчайших плодов, которые она посеяла, и вслед за сладострастием познать смерть. Однако, покинув разлагающееся тело Елены, Евноя воплотилась в другую женскую плоть и вновь обрекла себя на всяческое поругание. Так, переходя из тела в тело и разделяя с нами бремя тяжких годин, она принимает на себя грехи мира. Ее жертва не будет напрасной. Связанная с нами узами плоти, любя и сокрушаясь вместе с людьми, она осуществит и свое и наше искупление и вознесет нас, приникших к ее белой груди, в мирные селения вновь обретенных небес.

Гермодор. Я знал это сказание. Помнится, говорили, что при императоре Тиберии, во время одного из своих превращений, божественная Елена жила у Симона Волхва^[86]. Однако я

думал, что ее падение произошло помимо ее воли; по-видимому, ангелы увлекли ее за собою в бездну.

Зенофемид. Действительно, Гермодор, люди, недостаточно посвященные в мистерии, полагали, что падение скорбной Евной совершилось без ее согласия. Но, если бы это было так, Евная не стала бы куртизанкой-искупительницей, не стала бы жертвой, принявшей на себя наши пороки, хлебом, впитавшим в себя вино нашего позора, не стала бы драгоценным даром, почтительным приношением, жертвой всеожжения, дым от которой подымается к богу. Если бы ее грехи не были добровольны, их нельзя было бы поставить ей в заслугу.

Калликрат. А хочешь, Зенофемид, я скажу тебе, в какой стране, под каким именем, в каком прелестном обличье живет в наши дни вечно возрождающаяся Елена?

Зенофемид. Открыть эту тайну может только мудрец. А мудрость, Калликрат, не дана поэтам, ибо они живут в грубом мире материи и, как дети, забавляются звуками да пустыми бреднями.

Калликрат. Берегись, не оскорбляй богов, нечестивый Зенофемид; они благоволят к поэтам. Первые законы были некогда продиктованы в стихах самими бессмертными, а откровения богов — истинные поэмы. Звуки гимнов сладостны для слуха небожителей. Всем известно, что поэты — ясновидящие и что им открыты все тайны. Я тоже поэт, я увенчан венком Аполлона, и, как поэт, я оповещу людей о последнем воплощении Евной. Вечная Елена — среди нас: она смотрит на нас, и мы смотрим на нее. Взгляните на эту женщину, облокотившуюся на подушки ложа; она задумчива и неизъяснимо прекрасна, на глазах у нее слезы, на устах — поцелуи. Вот она! Очаровательная, как во времена Приама и в дни процветания Азии, Евная ныне зовется Таис.

Филина. Да что ты, Калликрат? Неужели наша любезная Таис знавала Париса, Менелая и пышнопоножных ахейцев, сражавшихся под Илионом! Скажи, Таис, троянский конь был очень большой?

Аристобул. Кто говорит о коне?

— Я напился, как фракиец, — вскричал Кереас. И он скатился под стол.

Калликрат поднял кубок:

— Я пью за геликонских муз; они мне обещали, что черное крыло роковой ночи никогда не затмит моей славы.

Старый Котта уснул, и его лысая голова медленно покачивалась на широких плечах.

Философ Дорион, закутанный в плащ, приходил все в большее возбуждение. Он, шатаясь, подошел к ложу Таис:

— Таис, я люблю тебя, хотя любить женщину и ниже моего достоинства.

Таис. А еще недавно ты не любил меня.

Дорион. Я был тогда натошак и еще не выпил.

Таис. А я, друг мой, пила только воду, поэтому позволь мне не любить тебя.

Дорион не стал ее слушать и подсел к Дрозее, которая взглядом подзывала его, чтобы сманить от подруги. Занявший его место Зенофемид поцеловал Таис в губы.

Таис. Я думала, ты добродетельнее.

Зенофемид. Я совершенен, а тот, кто совершенен, — выше всяких законов.

Таис. И ты не боишься, что в объятиях женщины осквернишь свою душу?

Зенофемид. Тело может уступить желанию и без участия души.

Таис. Ступай прочь! Я хочу, чтобы меня любили и телом и душой. Все философы — скоты!

Один за другим гасли светильники. Слабый свет, проникавший в щели занавесей, озарял бледные лица и припухшие глаза пирующих. Аристобул свалился возле Кереаса и во сне, стиснув кулаки и бранясь, посылал своих конюхов вертеть жернов. Зенофемид сжимал в объятиях полураздетую Филину. Дорион кропил вином обнаженную грудь Дрозеи; капли рубинами скатывались с ее белых персей, дрожавших от смеха, а философ ловил вино губами, припав к нежной коже. Евкрит поднялся, обнял Никия за плечо и увлек его в глубь зала.

— Друг, — сказал он улыбаясь, — о чем ты думаешь, если вообще еще можешь думать?

— Я думаю о том, что женская любовь подобна садам Адониса.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты ведь знаешь, Евкрит, что женщины каждый год устраивают у себя на террасах садики и сажают в глиняные горшки вербу в честь возлюбленного Венеры? Эти веточки цветут недолго и скоро вянут.

— Друг, стоит ли беспокоиться о женской любви и о каких-то садиках? Безрассудно привязываться к тому, что мимолетно.

— Если красота только тень, то желание — лишь молния. Разве безрассудно жаждать красоты? Не благоразумно ли, преходящему стремиться к мимолетному, а молнии — поражать ускользающую тень?

— Никий, ты мне напоминаешь мальчугана; занятого игрой в бабки. Поверь, будь свободен. Только тогда станешь мужчиной.

— Как же может человек быть свободным, Евкрит, раз он облечен в тело?

— Сейчас ты это увидишь, сын мой. Сейчас скажешь: Евкрит был свободен.

Старик говорил, прислонившись к порфировой колонне; на его лицо падали первые лучи зари. Гермодор и Марк подошли к собеседникам, и они вчетвером, не обращая внимания на хохот и выкрики опьяневших гостей, завели разговор с божественным. В словах Евкрита было столько мудрости, что Марк заметил:

— Ты достоин познать истинного бога.

Евкрит ответил:

— Истинный бог — в сердце мудреца.

Потом они заговорили о смерти.

— Я хочу, чтобы она застигла меня в одну из тех минут, когда я стремлюсь к совершенству и честно исполняю свой долг, — сказал Евкрит. — Перед лицом смерти я воздену к небу незапятнанные руки и скажу богам: «Ваши образы, запечатленные вами в храме моей души, я, боги, не осквернил; я украсил их моими мыслями, словно гирляндами, букетами и венками. Я жил согласно вашим предначертаниям; я пожил достаточно».

Он говорил, воздевая к небесам руки, и лицо его озарялось тихим сиянием.

На мгновение он задумался, потом добавил голосом, в котором звучала глубокая радость:

— Расстанься с жизнью, Евкрит, подобно тому как зрелая оливка срывается с ветки, воздавая хвалу дереву, на котором она росла, и благословляя вскормившую ее землю.

Тут он вынул из складок хитона обнаженный кинжал и вонзил его себе в грудь.

Когда собеседники мудреца схватили его руку, железное острие уже проникло ему в сердце. Евкрит обрел покой. Гермодор с Никнем перенесли побелевшее, окровавленное тело на одно из пиршественных лож; кругом раздавались пронзительные вопли женщин, сонное

ворчание потревоженных гостей, а из-за ковров, погруженных в полумрак, доносились приглушенные страстные вздохи. Старик Котта, очнувшись от чуткого солдатского сна, уже стоял возле трупa, осматривая рану, и кричал.

— Позвать сюда моего врача Аристия!

Никий покачал головой:

— Евкрита уже нет в живых, — сказал он. — Ему захотелось умереть, как другим хочется любить. Как и все мы, он уступил непреодолимому желанию. И вот он стал подобен богам, которые не желают ничего.

Котта схватился за голову:

— Умереть! Пожелать смерти, когда еще можешь служить государству! Какая бессмыслица!

Между тем Пафнутий и Таис по-прежнему возлежали неподвижно, молча, один возле другого, и души их наполнились отвращением, ужасом и надеждой.

Вдруг монах схватил лицедейку за руку и, шагая через тела пьяных, которые валялись вперемешку с обнявшимися парами, по лужам вина и крови повлек ее к выходу.

Над городом забрезжил рассвет. По сторонам безлюдной дороги тянулись длинные колоннады, ведущие к гробнице Александра, вершина которой сияла в розовых лучах зари. На плитах мостовой тут и там валялись растрепанные венки и погасшие факелы. В воздухе чувствовалось свежее дыхание моря. Пафнутий с отвращением сорвал с себя роскошный хитон и растоптал его ногами.

— Ты слышала, что они говорят, моя Таис! — воскликнул он. — Они изрыгнули все безумства и всю мерзость, какие только можно себе представить. Они вывели божественного создателя всего сущего на посмешище адских сил, они бесстыдно отрицали добро и зло, они хулили Христа и восхваляли Иуду. А гнуснейший из них — шакал тьмы, зловонный гад, арианин, изглоданный развратом и смертью, — раскрывал рот, который можно сравнить с могилой. Таис моя, ты видела, как они ползли к тебе, словно мерзкие слизняки, и оскверняли тебя своим липким потом; ты видела этих скотов, уснувших прямо на полу, под ногами рабов; ты видела этих тварей, совокупившихся на коврах, испачканных блевотиной; ты видела, как безрассудный старец пролил кровь, которая презреннее вина, пролитого во время оргии; видела, как он, прямо после попойки, недостойным предстал перед ликом Христа! Хвала создателю! Ты видела их заблуждения и поняла всю их гнусность. Таис, Таис, Таис, вспомни безрассудства этих философов и скажи: неужели ты хочешь безумствовать вместе с ними? Вспомни взгляды, движения, хохот их достойных подруг, этих похотливых и хитрых распутниц, и скажи: неужели ты хочешь быть похожей на них?

Сердце Таис было преисполнено усталости и отвращения от всего, что произошло в эту ночь, от безразличия и грубости мужчин, от жестокости женщин, — и она прошептала:

— Я смертельно устала, отец. Где бы мне отдохнуть? Лицо у меня пылает, голова пуста, а руки так измождены, что я не удержала бы в них даже счастье, если бы кто-нибудь протянул его мне...

Пафнутий ласково смотрел на нее:

— Мужайся, сестра моя. Час успокоения недалек, он чист и белоснежен, как туман, который поднимается сейчас над водой и садами.

Они подходили к дому Таис и уже видели вершины платанов и терпентиновых деревьев, окропленных росой, которые возвышались за каменной оградой, вокруг грота Нимф, и шелестели от утренних дуновений. Перед путниками открылась площадь — пустынная,

обрамленная стелами и обетными статуями; по краям площади полукругом стояли мраморные скамьи, поддерживаемые химерами. Таис опустилась на одну из скамей. Потом спросила, обратив к монаху тревожный взгляд:

— Что же надо делать?

— Надо последовать за Тем, Кто пришел за тобою, — ответил монах. — Он отрешит тебя от всего мирского, подобно тому как виноградарь срывает спелую гроздь, которая иначе сгнила бы на лозе, и несет ее в давящую, чтобы обратить в благоухающее вино. Слушай: в десяти часах ходьбы от Александрии, к западу, неподалеку от моря, есть женская обитель, устав которой — совершеннейшее создание мудрости, достойное того, чтобы его переложили в лирическую поэму и пели под звуки лютни и тамбуринов. Об этом уставе поистине можно сказать, что женщины, следующие ему, ногами ступают по земле, челом же возвышаются до небес. Они и в земной юдоли живут жизнью ангелов. Они хотят пребывать в бедности, дабы Христос возлюбил их, быть скромными, дабы он взирал на них, целомудренными, дабы он обручился с ними. И Христос каждодневно является им в образе садовника, босой, с простертыми вперед прекрасными руками — словом, таким, каким явился Марии на пути ко Гробу. Так вот, я сегодня же отведу тебя, моя Таис, в эту обитель, и ты присоединишься к этим непорочным девам и станешь участницей их небесных бесед. Они ждут тебя как сестру. На пороге обители благочестивая Альбина, их настоятельница, даст тебе целование мира и скажет: «Добро пожаловать, дочь моя».

Куртизанка восторженно вскричала:

— Альбина! Дочь Цезарей! Внучка императора Кара!

— Да, это она! Та самая Альбина, которая, родившись в пурпуре, облеклась во власяницу и, будучи дочерью владык мира, возвысилась до того, что стала служанкой Христа. Она тебе будет матерью.

Таис поднялась со скамьи и сказала:

— Отведи же меня в дом Альбины.

Сердце Пафнутия возликовало; он огляделся вокруг и, уже не опасаясь греха, вкусил радость от созерцания видимого мира. Его взор с наслаждением упивался божьим светом, какие-то неведомые дуновения касались его чела. Вдруг он заметил в углу городской площади дверцу, ведущую в жилище Таис, вспомнил, что величественные деревья, вершинами которых он только что любовался, осеняют сады куртизанки, и мысленно представил себе все гнусности, отравлявшие своим зловонием воздух, сейчас небесно чистый и прозрачный, — и его мгновенно охватила такая скорбь, что взор его затуманился горькой росой.

— Таис, — сказал он, — бежим без оглядки. Но нельзя оставить за собою пособников, свидетелей, соучастников твоих прошлых преступлений — пышную обивку стен, ложа, ковры, сосуды с благовониями, светильники. Они разгласят твой позор. Неужели ты допустишь, чтобы вся эта постыдная утварь, оживленная злыми силами и подхваченная проклятым духом, притаившимся в ней, понеслась вслед за тобою в пустыню? Истинную правду говорят, что не раз столы, служившие непотребству, и мерзкие ложа по воле темных сил действовали, разговаривали, скакали по земле и носились по воздуху. Да погибнет все, что было свидетелем твоего посрамления. Спеши, Таис! Пока город еще спит, прикажи своим рабам развести костер тут же, на площади, и мы сожжем все гнусные сокровища, накопленные в твоём доме.

Таис согласилась.

— Поступай как хочешь, отец, — сказала она, — знаю, неодушевленные предметы иной раз служат убежищем для духов. По ночам некоторые вещи разговаривают; они то

равномерно постукивают по полу, то сыплют слабые искры, похожие на условные знаки. Больше того. Ты заметил, отец, справа у входа в грот Нимф изваяние нагой женщины, которая собирается искупаться? Однажды я собственными глазами видела, как статуя повернула голову, словно живая, потом сразу же приняла обычное положение. Я оледенела от ужаса. Я рассказала об этом Никию, но он только посмеялся надо мной. Все же в этой статуе есть какая-то колдовская сила, потому что она внушила одному далмату неистовую страсть, в то время как к моей красоте он был равнодушен. Нет сомнения, до сих пор я жила среди заколдованных вещей и подвергалась страшной опасности, — ведь бывали же случаи, что мужчины погибали в объятиях бронзовых статуй. А все-таки жаль уничтожать драгоценные произведения великих мастеров, и, если сжечь все мои ковры и занавеси, это будет великая утрата. Некоторые из них на редкость хороши по подбору красок и очень дорого обошлись тем, кто мне их подарил. У меня есть также кубки, статуи и картины, стоящие много денег. Мне кажется, что уничтожать их нет надобности. Но тебе лучше знать, отец, поэтому делай как хочешь.

С этими словами она последовала за монахом к дверце, над которой всегда висело такое великое множество гирлянд и венков, приказала отворить ее и велела привратнику созвать всех домашних рабов. Первыми явились четыре индуса-повара. Все четверо были желтокожие, и все четверо — кривые. Собрать четырех рабов одной и той же расы, с одним и тем же изъяном стоило Таис немалого труда и немало потешило ее. Прислуживая за столом, они вызывали удивление гостей, а Таис еще заставляла их рассказывать их историю. Теперь они молча ждали приказаний. Вслед за ними явились их подручные. Потом пришли конюхи, псары, носильщики и скороходы с бронзовыми ногами, два садовника, волосатых, как Приап, шесть свирепых с виду негров, три раба-грека: один грамматик, другой поэт и третий певец. Когда все они выстроились на городской площади, прибежали еще негротянки, ворочавшие большими круглыми глазами, любопытные, встревоженные, с огромными ртами, которые доходили чуть ли не до ушей, украшенных подвесками. Наконец появились шесть белых рабынь; они с недовольным видом на ходу расправляли покрывала и не спеша переступали ногами, путаясь в тонких золотых цепочках. Когда все рабы собрались, Таис сказала им, указывая на Пафнутия:

— Исполняйте то, что прикажет вам этот человек, ибо в нем дух господень, и, если вы егослушаетесь, вас поразит смерть.

Она и в самом деле думала, ибо слыхала об этом не раз, что святые пустыnnики облечены властью ввергать в разверстую и дымящуюся землю любого нечестивца, коснувшись его своим посохом.

Пафнутий отпустил женщин, а также женоподобных греков и сказал остальным:

— Принесите сюда побольше дров, разведите костер и свалите в него вперемешку все, что имеется в доме и в гроте.

Озадаченные рабы не трогались с места, вопросительно взирая на хозяйку. Но она стояла молча и безучастно, поэтому рабы сбились в кучу и жались друг к другу, недоумевая, не шутит ли она.

— Повинуйтесь! — сказал монах.

Среди рабов было несколько христиан. Они поняли смысл его распоряжения и пошли в дом за дровами и факелами. Остальные не без охоты последовали их примеру, ибо, как все бедняки, ненавидели богатство и рады были удовлетворить врожденный инстинкт разрушения. Когда они уже стали складывать костер, Пафнутий сказал Таис:

— Я подумал было, женщина, не позвать ли казначея какой-нибудь церкви (если в Александрии еще найдется хоть одна, не оскверненная скотами-арианами и достойная

называться церковью) и не передать ли ему твое имущество для раздачи вдовам, чтобы тем самым обратить мзду за преступления в сокровище справедливости. Но эта мысль была не от бога, и я отверг ее; ведь предложить избранникам Христа плоды прелюбодеяния значило бы тяжело оскорбить их. Все, к чему ты прикасалась, Таис, должно быть без остатка истреблено огнем. Хвала небу! Все эти туники, все покрывала, свидетели поцелуев, неисчислимых, как морские волны, познают теперь поцелуи пламени. Рабы, не медлите! Еще дров! Еще соломы и факелов! А ты, женщина, ступай домой, сними с себя мерзкие украшения и попроси у последней из твоих рабынь, как великой милости, тунику, в которой она моет полы.

Таис повиновалась. Индусы, стоя на коленях, раздували тлеющие головешки, а негры бросали в костер ларцы из черного дерева, кедра и слоновой кости; ларцы приоткрывались, и из них сыпались венки, гирлянды и ожерелья. Дым клубился черным столбом, как при жертвоприношениях, которые поощрялись старым законом. Вдруг огонь, таившийся в дровах, вспыхнул, захрипел, как чудовищный зверь, и почти невидимые языки пламени стали жадно пожирать драгоценную пищу. Тут слуги осмелели и заработали более рьяно; они весело тащили драгоценные ковры, затканые серебром покрывала, пестрые занавеси. Они вприпрыжку несли тяжелые столы, кресла, толстые подушки, лежа с золотыми перекладинами. Три рослых эфиопа прибежали с раскрашенными статуями нимф, в том числе и с той, в которую юноши влюблялись как в смертную; казалось, будто большие обезьяны похитили женщин. Но когда статуи выпали из рук этих чудовищ и восхитительные нагие тела разбились о каменную мостовую, вдруг послышался стон.

В это мгновение показалась Таис; волосы у нее были распущены и спадали длинными прядями, она шла босиком, в бесформенной и грубой тунике, но и этой одежде стоило только коснуться тела Таис, чтобы проникнуться какой-то божественной негой. Вслед за Таис шел садовник; он нес в руках статуэтку Эрота из слоновой кости, полускрытую его развевающейся бородой.

Таис знаком велела ему остановиться, подошла к Пафнутию и, указывая на малютку-бога, спросила:

— Отец, неужели и его надо сжечь? Он древней и восхитительной работы, и цена ему во сто крат больше, чем вес золота. Если он погибнет, это будет непоправимо, ибо никогда в мире уже не появится мастер, который мог бы изваять такого Эрота. Прими в соображение, отец, и то, что этот отрок — Любовь и что поэтому нельзя обращаться с ним жестоко. Поверь: любовь — добродетель, и если я грешила, отец, так грешила не любовью, а тем, что отрицала ее. Я никогда не пожалею о том, что делала по ее велению; я оплакиваю лишь то, что совершала вопреки ее запрету. Она не позволяет женщинам отдаваться тем, кто приходит не во имя любви. Поэтому-то и надо ее чтить. Взгляни, Пафнутий, как прелестен этот Эрот! Как шаловливо он прячется в бороде садовника! Однажды, в те дни, когда меня любил Никий, он мне принес его и сказал: «Он будет говорить с тобою обо мне». Но плутишка все говорил со мной о юноше, которого я знавала в Антиохии, а о Никии не сказал мне ничего. И без того уже много сокровищ погибло тут в огне, отец. Сохрани этого Эрота и пожертвуй его в какой-нибудь монастырь. При виде его каждый обратится сердцем к богу, ибо любви свойственно воспаряться к небесам.

Садовник уже решил, что отрок Эрот спасен, и улыбался ему как ребенку, но Пафнутий вырвал у него статуэтку и бросил ее в огонь, вскричав:

— К нему прикасался Никий, и одного этого достаточно! Значит, он источает яд.

Потом он сам стал хватать охалками сверкающие туники, пурпурные плащи, золотые сандалии, гребни, скребки, зеркала, светильники, лиры и лютни; он бросал все это в костер, который разгорелся ярче Сарданапалова^[87], а тем временем рабы, упиваясь хмельной

радостью разрушения, с дикими воплями плясали под дождем разлетающихся искр и пепла.

Разбуженные шумом соседи один за другим отворяли окна и, протирая глаза, недоумевали, откуда такой дым. Полуодетые люди выбегали на площадь и подходили к костру.

— Что тут такое? — спрашивали они.

Среди них были торговцы, у которых Таис обычно покупала ткани и благовония; они испуганно вытягивали желтые, сухие шеи и силились уразуметь происходящее. На площади появлялись молодые кутилы, возвращавшиеся с ужина в сопровождении рабов; увенчанные цветами, в развевающихся туниках, они останавливались возле костра и громко кричали. Все возраставшая толпа зевая вскоре узнала, что это Таис, по внушению антинойского настоятеля, сжигает свои сокровища перед тем, как уйти в монастырь.

Купцы думали: «Таис уезжает отсюда; больше не придется ничего ей продавать; даже подумать об этом страшно. Что с нами станет без нее? Этот монах лишил ее рассудка. Он нас разоряет. Как правители допускают это? К чему же тогда служит закон? Неужели в Александрии перевелись блюстители порядка? Таис не думает ни о нас, ни о наших женах, ни о бедных наших детишках. Такой поступок — всенародный срам. Надо силой удержать ее в городе».

А юноши думали: «Если Таис отречется от забав и любви — значит, конец самым милым нашим развлечениям. Она была немеркнувшей славой театра, сладчайшим его очарованием. Она радовала даже тех, кто не обладал ею. Женщины, которых любили, были любимы благодаря ей; не было поцелуя, в котором она хоть чуточку не принимала бы участия, ибо она была нею среди нег, и одно только сознание, что она среди нас, уже побуждало к наслаждениям».

Так думали юноши, а один из них, по имени Церонт, которому случалось держать ее в объятиях, кричал, что это злодейское похищение, и хулил бога, именуемого Христом. Всеми поведение Таис сурово осуждалось:

— Это постыдное бегство!

— Подлое предательство!

— Она лишает нас куска хлеба!

— Она увозит с собою приданое наших дочерей!

— Пусть по крайней мере расплатится за венки, которые я ей продал!

— И за шестьдесят платьев, которые она мне заказала!

— Она задолжала всем вокруг!

— Кто же теперь будет представлять Ифигению, Электру и Поликсену? Даже красавцу Полибу не сыграть так, как играла она.

— До чего же грустно станет жить на свете, когда дверь ее будет заколочена!

— Она была лучезарной звездой, ясным месяцем на александрийском небе.

Теперь уже на площадь собрались все наиболее известные в городе нищие — слепцы, безногие, расслабленные; они ползали в ногах у богачей и стонали:

— Как мы будем жить без Таис? Ведь она кормила нас! Двести несчастных каждый день насыщались крохами с ее стола, а когда ее любовники уходили от нее, они в избытке счастья мимоходом бросали нам пригоршни сребреников.

Сновавшие в толпе воры выпускали оглушительные вопли и толкались, чтобы вызвать еще большую сумятицу и, пользуясь ею, украсть какую-нибудь ценную вещь.

В этой сутолоке один только старик Фаддей, торговавший милетской шерстью и тарентским льном, человек, которому Таис задолжала крупную сумму денег, был спокоен и молчалив. Прислушиваясь и искоса взирая на окружающих, он поглаживал свою козлиную

бородку и о чем-то размышлял. Наконец он подошел к юному Церонту и, потянув его за рукав, прошептал:

— Красавец патриций, избранник Таис! Неужели ты допустишь, чтобы какой-то монах отнял ее у тебя?

— Клянусь Поллуксом и его сестрой^[88], это ему не удастся! — воскликнул Церонт. — Я поговорю с Таис и, не хвалясь, ручаюсь, что она послушается скорее меня, чем этого черномазого лапифа. Расступись! Чернь, расступись!

И, расталкивая мужчин, сшибая старух, раскидывая ногою детей, он пробрался к Таис, отвел ее немного в сторону и сказал:

— Красавица, взгляни на меня, вспомни и скажи: неужели ты в самом деле отказываешься от любви?

Но Пафнутий бросился между Таис и Церонтом.

— Нечестивец, — вскричал он, — трепещи! Только коснись ее — и умрешь на месте. Она священна, она достояние божье.

— Прочь, обезьяна! — крикнул взбешенный юноша. — Дай мне поговорить с подругой, иначе я схвачу тебя за бороду и сволоку твою мерзкую тушу на костер, чтобы она поджарилась, как колбаса.

И он протянул руку к Таис. Но монах с такой неожиданной силой оттолкнул его, что Церонт пошатнулся и упал навзничь у самого костра, в рассыпавшиеся уголья.

Тем временем Фаддей переходил от одного к другому, драл уши рабам, целовал руки хозяевам, науськивая и тех и других на Пафнутия; уже образовалась кучка людей, которые решительно наступали на монаха-похитителя. Церонт поднялся, задыхаясь от дыма и бешенства, с испачканным лицом и опаленными волосами. Он разразился бранью на богов и присоединился к нападающим, позади которых ползли, потрясая костылями, нищие. Вскоре Пафнутия окружила толпа людей, которые грозили кулаками, размахивали палками и кричали: «Смерть ему!»

— На виселицу монаха! На виселицу!

— Нет, бросьте его в костер. Сожгите его живьем!

Пафнутий схватил свою прекрасную добычу и прижал ее к сердцу.

— Нечестивцы! — кричал он громовым голосом. — Не пытайтесь отнять голубицу у господнего орла. Лучше последуйте примеру этой женщины и обменяйте свою грязь на золото. Отрекитесь подобно ей от ложных богатств; вы воображаете, будто владеете ими, а в действительности они владеют вами. Спешите: близок день, и долготерпение божие подходит к концу. Покайтесь, исповедуйтесь в своих грехах, плачьте и молитесь. Грядите по стопам Таис. Возненавидьте преступления ваши, они не меньше преступлений Таис. Кто из вас, бедняков и богачей, купцов и воинов, рабов, прославленных граждан, кто осмелится перед лицом бога сказать, что он лучше этой блудницы? Вы — ходячая нечисть, и только благодаря дивному милосердию божьему вы не обратились еще в потоки зловонной грязи.

Он говорил, а в глазах его сверкали молнии; казалось, из уст его вылетают рдеющие угли, и толпа поневоле слушала его.

Но старый Фаддей не унимался. Он подбирал камни и устричные раковины, прятал их в складки своей туники, затем, не решаясь бросить их сам, потихоньку совал их в руки нищих. Вскоре в воздух полетели камни, а ловко брошенная раковина рассекла Пафнутию лоб. Кровь, струившаяся по темному лику мученика, капля за каплей стекала на голову кающейся, как воды нового крещения. Пафнутий прижимал к себе Таис, ее нежное тело страдало от прикосновения к грубой власянице монаха, и она чувствовала, как все ее существо пронизывается трепетом ужаса, отвращения и блаженства.

В это мгновение какой-то богато одетый человек с венком на голове растолкал разъяренную толпу и воскликнул:

— Стой! Стой! Этот монах — мой брат.

То был Никий. Он только что закрыл глаза философу Евкриту и теперь возвращался домой; выйдя на площадь, он увидел дымящийся костер, Таис в рубище и Пафнутия, стоящего под градом камней. Это не особенно удивило его, ибо он вообще ничему не удивлялся.

Он повторял:

— Стойте, говорю я вам! Пощадите моего старого друга. Славный Пафнутий достоин уважения!

Но он привык к изысканной беседе мудрецов, и ему не доставало той властности и силы, которая покоряет чернь. Его не послушались. Камни и раковины градом сыпались на монаха, а он прикрывал собою Таис и возносил хвалы господу, по великой милости которого раны были ему сладостны, как ласка. Никий уже отчаялся воздействовать на толпу и ясно сознавал, что ему не спасти своего друга ни при помощи силы, ни путем уговоров; он уже примирился с этим и предоставил дальнейшее на волю богов, которым мало доверял, как вдруг ему пришла в голову уловка, подсказанная презрением к людям. Он отвязал от пояса кошель, туго набитый золотом и серебром, ибо он был человеком изнеженным и щедрым, потом подбежал к людям, швырявшим камнями, и стал позванивать возле них монетами. Сначала они не обращали на это внимания, до такой степени были разъярены; но понемногу их взоры стали обращаться в ту сторону, где позвякивало золото, и вскоре руки мучителен ослабли и перестали терзать жертву. Никий понял, что привлек к себе их взоры и души; тогда он развязал кошель и стал кидать в толпу пригоршни золотых и серебряных монет. Наиболее алчные бросились их подбирать. Философ обрадовался успеху своей затеи и продолжал ловко разбрасывать то тут, то там динарии и драхмы. Монеты со звоном падали на мостовую и подскакивали; слышав эти звуки, скопище преследователей ринулось на землю. Нищие, рабы и торговцы в исступлении ползали на брюхе, а патриции, окружавшие Церонта, потешались этим зрелищем и громко хохотали. Даже сам Церонт забыл о своем негодовании. Его приятели подстрекали валявшихся соперников, намечали сильнейших и держали на них пари, а когда среди ищущих вспыхивали ссоры, они подзадоривали несчастных, как науськивают сцепившихся собак. Какому-то безногому удалось схватить драхму, и это вызвало восторженные крики. Молодые люди тоже стали бросать монеты, и вся площадь покрылась спинами, которые под медным дождем сталкивались друг с другом, словно волны разбушевавшегося моря. Пафнутий был забыт.

Никий подбежал к нему, накрыл своим плащом и повлек его вместе с Таис в соседние переулки, куда за ними уже никто не последовал. Некоторое время они бежали молча, потом, сочтя себя вне опасности, замедлили шаг, и Никий сказал с какой-то грустной иронией:

— Итак, свершилось! Плутон похищает Прозерпину, и Таис готова уйти от нас с моим суровым другом.

— Да, Никий, — отвечала Таис. — Я устала от жизни среди таких людей, как ты, — улыбающихся, умищенных благоговениями, вежливых, себялюбивых. Я устала от всего, что знаю, и я отправляюсь на поиски неведомого. Я убедилась, что радость — не радость, а этот человек учит меня, что истинная радость в страдании. Я ему верю, потому что он обладает истиной.

— А я, друг мой, — с улыбкой возразил Никий, — я обладаю истинами. У него только одна истина, а у меня они все. Я богаче, чем он; но, по правде говоря, я от этого не счастливее и отнюдь не горжусь этим.

Видя, что монах бросает на него огненные взгляды, он сказал:

— Любезный Пафнутий, не думай, что ты представляешься мне особенно нелепым или хотя бы неразумным. Если сравнить мою жизнь с твоею, я не решусь сказать, которая из них сама по себе предпочтительней. Сейчас я приму ванну, которую Кробила и Миртала приготовят для меня, съем крылышко фазана, потом в сотый раз прочту какую-нибудь милетскую сказку или один из трактатов Метродора^[89]. Ты же вернешься в свою келью, станешь, как покорный верблюд, на колени и будешь перебирать, словно жвачку, какие-то старые колдовские заклинания, уже жеванные и пережеванные тысячи раз, а вечером поешь репы без масла. Так вот, дорогой мой, совершая эти поступки, на первый взгляд столь различные, мы оба подчиняемся одному и тому же чувству — единственному двигателю всех человеческих деяний; каждый из нас стремится к тому, что радует его, и цель у всех нас одна и та же — счастье, несбыточное счастье. Поэтому несправедливо было бы осуждать тебя, друг мой, раз я не осуждаю самого себя. А ты, моя Таис, ступай и радуйся; будь, если это возможно, еще счастливее в воздержании и лишениях, чем ты была в богатстве и утехах. В сущности тебе, я думаю, можно позавидовать. Ибо если мы с Пафнутием в течение всей своей жизни стремились, соответственно нашей природе, только к одному виду счастья, ты, любезная Таис, испытываешь в жизни противоречащие друг другу радости, а это суждено лишь немногим. Право, я хотел бы хоть на час стать праведником вроде нашего дорогого Пафнутия. Но мне этого не дано. Итак, прощай, Таис! Иди туда, куда влекут тебя сокровенные силы твоего существа и твоей судьбы. Иди, и да сопутствуют тебе добрые пожелания Никия. Я сознаю их тщету; но чем, кроме бесплодных сожалений и ненужных пожеланий, я могу одарить тебя в награду за восхитительные мечты, которыми опьянялся я некогда в твоих объятиях и тень которых еще витает возле меня? Прощай, благодетельница! Прощай, душа, не познавшая самое себя, прощай, таинственная добродетель, услада людей. Прощай, восхитительнейший из образов, когда-либо оброненных природой с какой-то неведомой целью в этот обманчивый мир!

Пока он говорил, в сердце монаха нарастала глухая ярость; наконец она излилась в неистовой брани:

— Прочь отсюда, проклятый! Я презираю и ненавижу тебя! Прочь, исчадье ада, в тысячу раз гнуснейшее, чем те жалкие слепцы, которые только что хулили меня и швыряли в меня камнями! Они не ведали, что творят, и милосердие господне, которое я призываю на них, еще может коснуться их сердец. Но ты, ненавистный Никий, ты коварный яд, ты разъедающая отравя! Дыхание твое несет с собою отчаяние и смерть. В одной твоей улыбке больше богохульств, чем их срывается за целый век с дымящихся уст сатаны. Отыди, окаянный!

Никий смотрел на него с нежностью,

— Прощай, брат мой, — сказал он. — И да будет тебе дано до последнего часа сохранить сокровище твоей веры, твоей ненависти и любви. Прощай! Таис, мне безразлично, что ты забудешь меня: я-то ведь сохраню о тебе память!

Он расстался с ними и побрел, задумавшись, по извилистым улицам, примыкавшим к большому александрийскому некрополю. Здесь жили гончары, изготавливавшие погребальные урны. Их лавочки были полны глиняными, раскрашенными в светлые цвета фигурками, изображавшими богов и богинь, мимов, женщин, крылатых гениев, которых принято было хоронить вместе с покойниками. Он подумал о том, что некоторые из этих хрупких фигурок, лежащих сейчас перед его глазами, быть может станут его спутниками, когда он уснет навеки, и ему показалось, будто маленький Эрот, задрав тунику, заливается задорным смешком. Мысль о его собственных похоронах, которые он заранее представил себе, была ему тягостна. Чтобы как-нибудь развеять грусть, он стал философствовать и построил

следующее рассуждение.

«Конечно, — думал он, — время лишено реальности. Оно только призрак, порожденный нашим умом. А раз оно не существует, как же может оно принести мне смерть?.. Значит ли это, что я буду жить вечно? Нет, но из этого я заключаю, что смерть моя все же существует и всегда была в такой же мере, в какой будет. Я еще не чувствую ее, однако она есть, и мне не следует ее страшиться, ибо было бы безумием бояться появления того, что уже появилось. Она существует, как последняя страница книги, которую я читаю, но еще не дочитал».

Это рассуждение, хоть и не радовало его, все же занимало его мысли всю дорогу; он подошел к своему дому, охваченный безысходной тоской, и услышал веселый смех Кробилы и Мирталы, которые в ожидании хозяина развлекались игрой в мяч.

Пафнутий и Таис вышли из города через Лунные ворота и отправились в путь по берегу моря.

— Женщина, — говорил монах, — всему этому необъятному синему морю не смыть твоей скверны.

Он говорил гневно и презрительно:

— Ты бесстыжа, как сука и свинья, ты отдавала язычникам и неверным тело, которое создал Предвечный, чтобы оно служило ему дарохранительницей, и грехи твои столь тяжки, что теперь, когда ты познала истину, ты уже не можешь сомкнуть уста или сложить руки без того, чтобы сердце твое не дрогнуло от омерзения.

Она покорно шла вслед за ним кремнистыми тропами, под палящим солнцем. Ноги ее ныли от усталости, гортань горела от жажды. Но Пафнутий, чуждый ложному состраданию, растлевающему сердца безбожников, радовался искупительным мукам, которые претерпевает эта грешная плоть. Он горел благочестивым рвением, и ему хотелось бы исполосовать бичом это тело, все еще сохраняющее красоту как непреложное доказательство своего непотребства. Мысли, осаждавшие монаха, все больше и больше распаляли его священный гнев, и когда он вспомнил, что Таис принимала на своем ложе Никия, он представил себе это с такой отвратительной ясностью, что сердце его залилось кровью и грудь готова была разорваться. Проклятия не находили себе исхода и сменились скрежетом зубным. Он рванулся вперед, стал перед нею бледный, страшный, преисполненный духа божия, пронзил ее взглядом до самых глубин души и плюнул ей в лицо.

Она смиренно утерлась и продолжала идти. Теперь он следовал позади, и взор его был к ней прикован, как к бездне. Он шел, объятый благочестивым гневом. Он собирался отомстить за Христа, дабы Христос не отомстил сам, и вдруг увидел, что с ноги Таис стекла на песок капля крови. Тогда он почувствовал, что какое-то свежее дуновение ворвалось в его раскрывшееся сердце; рыдания подступили к его губам, и он заплакал; бросившись вперед, он преклонился перед нею, называл ее сестрою и лобзал ее окровавленные ноги. Он без конца шептал:

— Сестра моя, сестра! Матерь моя, святая!

Он молился:

— Ангелы небесные! Примите эту драгоценную каплю и вознесите ее к престолу всевышнего. И да расцветет чудесная лилия на песке, орошенном кровью Таис, дабы всякий, кто увидит этот цветок, обрел непорочность сердца и чувств. О святая, святая, о пресвятая Таис!

Пока он так молился и пророчествовал, с ними поравнялся юноша, ехавший на осле. Пафнутий велел ему слезть, посадил на осла Таис, а сам взялся за повод и снова отправился в

путь. К вечеру они добрались до источника, осененного густыми деревьями; Пафнутий привязал осла к стволу финиковой пальмы и, присев на замшелый камень, преломил хлеб, который они с Таис и съели, приправив его иссопом и солью. Они пили с ладони студеную воду и беседовали о вечных истинах. Она говорила:

— Я никогда не пила такой чистой воды и не дышала таким легким воздухом, а в дуновениях ветерка я чувствую присутствие самого бога.

Пафнутий отвечал:

— Видишь, сестра моя, теперь вечер. Синие ночные тени обволокли холмы. Но скоро ты узришь освещенную зарей скинию жизни, скоро узришь сияющие розы немеркнущего утра.

Они шли всю ночь; тонкий серп месяца серебрил гребни волн, а они пели псалмы и гимны. Когда взошло солнце, пустыня развернулась перед ними, как огромная львиная шкура на ливийской земле. Вдали, на самой грани песков, виднелись белые шатры и пальмы, освещенные зарей.

— Это скинии жизни, отче? — спросила Таис.

— Воистину так, дочь моя и сестра. Это обитель спасения, в которую я заключу тебя собственными руками.

Вскоре им стали встречаться женщины, которые хлопотали возле келий, как пчелы вокруг ульев. Одни пекли хлеб или варили овощи; многие пряли шерсть, и свет небесный освещал их, как божья улыбка. Иные предавались созерцанию, укрывшись под сенью деревьев; их белые руки безжизненно свисали, ибо женщины эти, преисполнившись любви, избрали участь Магдалины и потому ничем не занимались, а проводили время в молитве, созерцании и благочестивых восторгах. Их звали Мариями, и одежды на них были белые. Тех же, которые работали, звали Марфами^[90], и одеты они были в синее. Все они ходили в покрывалах, но у самых молоденьких на лбу выбивались завитки волос; вероятно, так случалось помимо их воли, ибо уставом это было запрещено. Высокая, седая и очень старая женщина ходила из кельи в келью, опираясь на крепкий деревянный посох. Пафнутий почтительно подошел к ней, приложился к краю ее покрывала и сказал:

— Мир господень да пребудет с тобою, досточтимая Альбина. Я привел в улей, над которым ты царствуешь, заблудшую пчелку, подобранную мною на дороге, где не было цветов. Я положил ее на ладонь и согрел своим дыханием. Передаю ее тебе.

И он пальцем указал на лицедейку, а та преклонилась перед дочерью цезарей.

Альбина на мгновение остановила на Таис пронизательный взгляд, потом велела ей встать, поцеловала в лоб и, обернувшись к монаху, сказала:

— Она будет у нас среди Марий.

Тут Пафнутий рассказал игуменье, какие пути привели Таис в обитель спасения, и попросил, чтобы сначала ее заключили в одиночную келью. Игуменья снизошла к его просьбе и отвела кающуюся в хижину, которая была освящена пребыванием в ней Леты, а ныне пустовала после кончины этой непорочной девы. В этой тесной камерке помещались только кровать, стол и кувшин. Когда Таис переступила порог кельи, ее охватила неизреченная радость.

— Я хочу сам запереть дверь, — сказал Пафнутий, — и наложить печать, которую Христос ломит собственной рукой.

Он взял возле колодца пригоршню сырой глины, положил в нее свой волос и, добавив немного слюны, вмазал глину в дверную щель. Потом он подошел к оконцу, у которого стояла умиротворенная и радостная Таис, пал на колени, трижды восславил господа и воскликнул:

— Как хороша идущая по тропам жизни! Как прекрасны ее ноги и как лучезарен ее лик!

Он встал, опустил куколь до самых глаз и медленно удалился.

Альбина подозвала одну из монахинь.

— Дочь моя, — сказала она, — отнеси Таис все необходимое: хлеба, воды и трехдырчатую флейту.

Пафнутий вернулся в священную пустыню. Около Атриба он сел на корабль, направлявшийся вверх по течению Нила с продовольствием для обители игумена Серапиона. Когда Пафнутий сошел на берег, его с великой радостью встретили ученики. Одни воздевали руки; другие, простершись па земле, лобзали его сандалии. Ибо им уже известно стало все, что совершил праведник в Александрии. Монахи всегда какими-то неведомыми и скорыми путями узнавали обо всем, что касалось благоденствия и славы Церкви. Вести разносились по пескам с быстротой самума.

Пафнутий направился в глубь пустыни, а ученики следовали за ним, воздавая хвалу господу. Флавиан, старшина общины, внезапно загорелся благоговейным восторгом и стал петь вдохновенный псалом:

— Да будет благословен этот день! Вот отец наш вернулся к нам!
Он вернулся, украшенный новыми подвигами, а славные деяния его зачтутся и нам!
Ибо достоинства отца составляют богатство детей и святость настоятеля
разливается благоуханием по всем кельям.
Отец наш Пафнутий привел ко Христу еще одну невесту.
Дивным умением своим он превратил черную овцу в белого агнца.
И вот он возвращается к нам, украшенный новыми подвигами,
Подобно арсинойской пчеле, обремененной цветочным нектаром,
Совсем как нубийский баран, изнемогающий под тяжестью своего обильного руна.
Отпразднуем день сей, приправив пищу нашу оливковым маслом!

Подойдя к пастырской келье, ученики преклонили колена и сказали:

— Благослови нас, отче, и надели каждого меркою масла, дабы мы достойно отпраздновали твое возвращение!

Один только Павел Юродивый не стал на колени; он не узнал Пафнутия и спрашивал у всех: «Что это за человек?» Но на слова его иноки не обращали внимания, потому что всем было известно, что он убог разумом, хоть и весьма благочестив.

Оставшись один в келье, антинойский настоятель размышлял:

«Вот я, наконец, снова в приюте тишины и радости. Вот я вернулся в обитель безмятежности. Почему же любезная моему сердцу соломенная кровля не приветствует меня как друга и стены не говорят мне: „Добро пожаловать!“ Ничто со времени моего ухода не изменилось в этом несравненном жилище. Вот мой стол, вот одр мой. Вот голова мумии, столько раз внушавшая мне спасительные мысли, и вот книга, в которой я так часто искал лика божьего. Но я не нахожу ничего из того, что оставил здесь. Все утратило в моих глазах обычную прелесть, и мне кажется, будто я вижу эти вещи в первый раз. Стол и ложе, которые я некогда сделал собственными руками, черная иссохшая голова, свитки папируса со словами, изреченными самим богом, — все это кажется мне утварью какого-то мертвеца. Я так хорошо знал эти вещи, а теперь не узнаю их. Увы! Раз в действительности ничто вокруг меня не изменилось, значит сам я уже не тот, каким был. Я стал другим. Мертвец этот был я! Что же с ним случилось? Что унес он с собою? Что он мне оставил? И кто я теперь?»

Особенно тревожило его то, что помимо его воли келья теперь казалась ему маленькой и тесной, в то время как в глазах верующего она должна быть необъятной, ибо она — начало божественной бесконечности.

Он начал молиться, припав к земле, и на душе его стало немного легче. Но не провел он в молитве и часа, как образ Таис мелькнул перед его глазами. Он возблагодарил господя:

— Иисусе! Это ты посылаешь мне ее. Узнаю твое великое милосердие: ты хочешь, чтобы я возликовал, успокоился и умиротворился при виде той, которую я привел к тебе. Ты являешь мне ее улыбку, отныне уже не тлетворную, ее прелесть, отныне непорочную, ее красоту, жало которой я вырвал. Чтобы порадовать меня, ты мне показываешь ее, господи, очищенной и украшенной мною для тебя, — подобно тому как друг с улыбкой напоминает другу о приятном даре, полученном от него. Я верю, что видение послано тобою, и поэтому взираю на эту женщину с радостью. По благодати своей ты не забываешь, Иисусе, что она приведена к тебе мною. Храни же ее, раз она тебе угодна, и не давай прелестям ее сиять ни для кого, кроме тебя.

Всю ночь он не смыкал глаз, и Таис представлялась ему даже явственнее, чем он видел ее в гроте Нимф. Он оправдывался, говоря:

— Свершенное мною совершено во славу господню.

И все же, к великому удивлению своему, он не находил покоя. Он вздыхал:

— Почто грустишь ты, душа моя, и почто смущаешь меня?

И душа его томилась. Тридцать дней пребывал он в тоске и печали, а для отшельника — это предвестие суровых испытаний. Образ Таис не покидал его ни днем, ни ночью. Он не гнал его от себя, потому что все еще полагал, что видение ниспослано ему богом и что это образ праведницы. Но однажды, под утро, Таис явилась ему в сновидении с венком из фиалок на голове, и от нежности ее веяло такою страшной силой, что монах закричал и тут же проснулся, обливаясь холодным потом. Не успел он еще открыть глаза, как почувствовал какое-то горячее и влажное дуновение: маленький шакал взобрался передними лапами на койку и хохотал, обдавая его лицо зловонным дыханием.

Пафнутий несказанно удивился, и ему показалось, будто некая неприступная твердыня рушится под ним. И в самом деле, он низвергался с высот своей веры. Некоторое время он не мог собраться с мыслями; наконец он немного успокоился, но, подумав, пришел в еще большую тревогу.

«Одно из двух, — думал он, — либо видение это, как и все прежние, от господя; оно было благостно, и лишь греховность моя извратила его, подобно тому как грязный сосуд портит доброе вино. Будучи недостойным его, я обратил назидание в соблазн, а бесовский шакал тотчас же воспользовался этим. Либо видение было не от господя, а, наоборот, от дьявола и потому несло с собою пагубу. А если так, кто же мне поручится, что предыдущие видения были ниспосланы мне с небес, как я верил до сих пор? Значит, мне не дано распознавать их, а такое умение необходимо отшельнику. И в том и в другом случае бог отвращает от меня лик свой, я чувствую это, но причины понять не могу».

Так рассуждал он и в отчаянии вопрошал: — Боже милосердный, каким же испытаниям подвергаешь ты твоих служителей, раз созерцать праведниц столь опасно для них! Дай мне каким-нибудь ясным знаком понять, что исходит от тебя и что от другого!

Но бог, чьи пути неисповедимы, не счел нужным просветить своего служителя, и Пафнутий, ввергнутый в сомнения, решил больше не думать о Таис. Однако решение его оказалось бесплодным. Отсутствующая находилась возле него неотступно. Она смотрела на него, когда он читал, когда размышлял, созерцал и молился. Ее бесплотному появлению предшествовал легкий шорох, вроде шороха женского платья, и видения приобретали такую

ясность, какой никогда не бывает у образов реального мира, ибо последние сами по себе зыбки и изменчивы, тогда как призраки, порожденные одиночеством, наделены его сокровенными свойствами и несокрушимой стойкостью. Таис являлась ему в различных обликах: то задумчивая, с челом, увенчанная ее последним бранным венком, в том самом наряде, в каком она присутствовала на пиру в Александрии — в лиловато-розовой тунике, усеянной серебряными цветами; то сладострастная, овеянная облаком легчайших покрывал и теплыми тенями грота Нимф; то благочестивая и сияющая неземной радостью, в монашеской рясе; то трагическая, со взглядом, исполненным смертного ужаса, с обнаженной грудью, по которой струится кровь ее пронзенного сердца. Всего больше смущало его в этих видениях то, что ведь все эти венки, туники, покрывала он сжег своими собственными руками, — и вот они являлись вновь. У него не оставалось никаких сомнений в том, что вещи эти наделены неумирающей душой, и он восклицал:

— Вот являются ко мне души неисчислимых грехов Таис!

Когда он отворачивался, он чувствовал присутствие Таис у себя за спиной, и это еще больше волновало его. Он жестоко страдал. Но и душа и тело его среди всех этих соблазнов оставались непорочными, поэтому он твердо уповал на господа и лишь кротко пенял ему:

— Боже мой! Я ведь отправился за ней в такую даль, к язычникам, ради тебя, а не ради себя. Будет несправедливо, если я пострадаю за то, что сделал в угоду тебе. Заступись за меня, сладчайший Иисусе! Спаситель мой, спаси меня! Не допусти, чтобы призраку удалось то, что не удалось живому телу. Я восторжествовал над плотью, не дай же призраку сразить меня. Чувствую, что ныне я подвергаюсь таким опасностям, каким не подвергался еще никогда. Я убеждаюсь и знаю, что мечта могущественнее действительности. Да и как может быть иначе, когда мечта есть высшая действительность? Мечта — душа вещей. Сам Платон, хоть и был идолопоклонником, признавал самодовлеющее бытие идей. В том бесовском сонмище, куда ты сопутствовал мне, господи, я слышал, как люди, — правда, запятнанные преступлениями, но все же не лишённые разума, — единодушно признавали, что в одиночестве, размышлениях и экстазе мы постигаем действительно существующие вещи; а в Писании твоём, господи, не раз говорится о природе снов и о могуществе видений, посылаемых как тобою, боже лучезарный, так и твоим супостатом.

В нем родился новый человек, и теперь он начинал рассуждать, обращаясь к богу, но бог не хотел вразумить его. Ночи превратились для него в бесконечное сновидение, а дни не отличались от ночей. Однажды утром он проснулся от собственных стонов, которые напоминали стенания, доносящиеся в лунные ночи из могил тех, кто стал жертвою злодеяния. Таис явилась ему с окровавленными ногами, и он горько заплакал, она же тем временем скользнула к нему в постель. Теперь он уже перестал сомневаться: видение Таис было видением нечистым.

Он с ужасом вскочил с оскверненного ложа и закрыл лицо руками, чтобы не видеть божьего света. Проходили часы, но чувство стыда не ослабевало. В келье царила полная тишина. Впервые за долгое время Пафнутий был один. Призрак, наконец, покинул его, но в самом его отсутствии было что-то жуткое. Ничто, ничто не отвлекало его мысль от сновидения. Он думал, терзаемый ужасом и отвращением: «Как же я не оттолкнул ее? Как не вырвался из ее холодных рук и обжигающих колен?»

Он уже не осмеливался произнести имя божье возле этого гнусного ложа и боялся, как бы в оскверненную келью не стали в любое время беспрепятственно проникать бесы. Опасения его оправдались. Семь маленьких шакалов, не смевших дотоле переступить его порог, теперь гуськом вошли в келью и забились под ложе. В час, когда должна была начаться вечерня, он заметил еще одного, восьмого, шакала, испускавшего острое зловоние. На другой

день появился девятый, и вскоре их собралось уже тридцать, потом шестьдесят, потом восемьдесят. Преумножаясь, они становились все мельче и, став величиною с крысу, заполнили всю келью, ложе и скамью, Один из них прыгнул на деревянную полочку у изголовья одра, всеми четырьмя лапками вскарабкался на мертвую голову и уставился на монаха горящими глазками. И с каждым днем появлялись все новые и новые шакалы.

Дабы искупить греховное сновидение и бежать от нечистых мыслей, Пафнутий решил оставить келью, отныне для него омерзительную, и в недрах пустыни подвергнуть плоть свою неслыханному истязанию, заняться тяжелым трудом и новым подвижничеством. Но прежде чем осуществить это намерение, он отправился к старцу Палемону, чтобы испросить его совета.

Пафнутий застал праведника в садике за поливкой овощей. День угасал. Нил принял голубоватый оттенок, и воды его текли у подножья лиловых холмов. Старец ступал осторожно, чтобы не вспугнуть голубка, сидевшего у него на плече.

— Господь да не оставит тебя, брат Пафнутий, — сказал он. — Преклонись пред его милосердием: он посылает ко мне твари, созданные им, чтобы я побеседовал с ними о его творениях и возвеличил его в птицах небесных. Взгляни на этого голубка, посмотри, как переливаются краски на его шейке, и скажи, не прекрасно ли это божье создание? Но ты, брат мой, вероятно, хочешь поговорить со мною о божественном? Если так, я отставлю лейку и внимательно выслушаю тебя.

Пафнутий поведал старцу о своем странствии, о возвращении, о видениях последних дней, о том, что ему снится по ночам, не утаив и греховного сна и появления стаи шакалов.

— Не думаешь ли, отче, — спросил он, — что мне следует удалиться в глубь пустыни, дабы заняться там невиданным трудом и посрамить дьявола жесточайшим умерщвлением плоти?

— Я всего лишь жалкий грешник, — отвечал Палемон, — и плохо разбираюсь в людях, потому что всю жизнь провел в этом саду, с газелями, зайчатами и голубями. Но мне думается, брат мой, что недуг твой происходит оттого, что ты опрометчиво перешел сразу от мирских волнений к покою одиночества. Такие резкие перемены всегда пагубны для здоровья души. Ты, брат мой, уподобился человеку, который почти одновременно подвергает себя сильному жару и сильному холоду. Его мучит кашель и трясет лихорадка. На твоём месте я, брат Пафнутий, не только не удалился бы теперь в суровую пустыню, а, наоборот, прибегнул бы к каким-нибудь развлечениям, приличествующим иноку и настоятелю. Я посетил бы окрестные монастыри. Говорят, среди них есть превосходные. Обитель игумена Серапиона насчитывает, как я слышал, тысячу четыреста тридцать две кельи, и монахи разделены там на братства, число коих равняется числу букв греческого алфавита. Уверяют даже, что при делении монахов принимается во внимание соответствие их характеров с формой объединяющей их буквы и что, например, те, которые значатся под литерой «Z», отличаются нравом переменчивым, те же, которые объединены под знаком «I», наделены стойкостью и прямодушием. На твоём месте, брат мой, я отправился бы самолично убедиться в этом и не успокоился бы до тех пор, пока не увидел собственными глазами столь диковинный порядок. Я ознакомился бы с уставами многочисленных общин, рассеянных по берегам Нила, и сравнил бы одну с другой. Эти занятия вполне приличествуют такому монаху, как ты. До тебя, вероятно, дошли слухи о том, что игумен Ефрем сочинил правила для иноков, преисполненные великого благолепия. Ты мог бы испросить у него позволения и переписать их; ты ведь изрядный грамотей. Мне бы с этим не справиться, да и у рук моих, привыкших орудовать лопатой, не достало бы гибкости, чтобы водить по папирусу заостренным тростником. Ты же, брат мой, знаешь грамоте, и за то — хвала господу, ибо

хорошее письмо всегда радует душу. Труд переписчика и чтеца весьма полезен против дурных помыслов. А почему бы, брат Пафнутий, не записать тебе поучения отцов наших Павла и Антония? В этих благочестивых занятиях ты постепенно вновь обретешь умиротворение души и тела; отшельничество вновь станет любезно твоему сердцу, и вскоре ты снова сможешь посвятить себя подвижничеству, прерванному твоей отлучкой. Но от излишнего самобичевания большой пользы ожидать нельзя. Отец наш Антоний, когда жил среди нас, часто говаривал: «Излишний пост вызывает слабость, а слабость порождает нерадение. Некоторые монахи изнуряют тело неумеренно долгим воздержанием. О них можно сказать, что они вонзают себе в грудь кинжал и бездыханными предаются в руки дьявола». Так говорил святой муж Антоний. Я всего лишь невежда, но, с божьей помощью, я твердо запомнил его пастырские поучения.

Пафнутий поблагодарил Палемона и обещал подумать над его советами. Он вышел за живую изгородь, опоясывавшую садик, обернулся и увидел, что добрый садовник поливает овощи, а на согбенной его спине покачивается голубок. И, когда он увидел это, на глаза его навернулись слезы.

Возвратясь к себе в келью, он заметил в ней какое-то странное кишение. Оно напоминало шуршание песчинок, поднятых бешеным вихрем, и Пафнутий понял, что это мириады крошечных шакалов. В ту ночь ему приснилась высокая каменная колонна, на вершине которой стоял человек, и он слышал голос, сказавший:

— Взойди на этот столп.

Он проснулся, убежденный в том, что сон этот послан ему небесами, собрал учеников своих и обратился к ним с таким словом:

— Возлюбленные чада мои, покидаю вас, дабы направить стопы свои туда, куда посылает меня господь. Пока меня не будет с вами, слушайтесь Флавиана как меня самого и не оставляйте попечения о брате вашем Павле. Да снизойдет на вас благословение господне. Мир вам.

Он стал удаляться, а ученики его простерлись на земле; когда же они подняли головы, они увидели очертания его высокой черной фигуры уже среди песков, у самого горизонта.

Он шел день и ночь, пока не добрался до развалин храма, некогда воздвигнутого язычниками; здесь ему однажды, во время его чудесного путешествия, уже довелось переночевать среди скорпионов и сирен. Тут все так же возвышались стены, испещренные колдовскими знаками. Тридцать гигантских колонн, украшенных человеческими головами или цветами лотоса, все еще поддерживали каменные архитравы. Только в углу храма одна из колонн сбросила с себя вековую ношу и стояла свободная. Капителью ей служила голова улыбающейся женщины с продолговатыми глазами, пухлыми щечками и коровьими рогами на лбу.

Пафнутий взглянул на колонну и узнал в ней ту самую, что была явлена ему во сне; высоту ее он определил в тридцать два локтя. Он отправился в соседнюю деревню и заказал лестницу соответствующей длины, а когда лестницу приставили к столпу, он взошел на него, преклонил колени и обратился к господу:

— Боже мой! Вот жилище, которое ты уготовил мне. Сподоби же меня остаться здесь вплоть до смертного моего часа.

Он не взял с собою ничего съестного, ибо полагался на божественное провидение и надеялся, что сердобольные поселяне не оставят его без пищи. И действительно, на другой день, в час полуденной молитвы, к нему пришли женщины с детьми и принесли хлебы, финики и свежую воду, а мальчики подняли все это на вершину столпа.

Капитель колонны была невелика по площади, так что монах не мог растянуться на ней;

поэтому он спал, поджав под себя ноги и склонив голову на грудь, и сон становился для него еще худшей мукой, нежели бодрствование. На заре ястребы задевали его своими крыльями, и он просыпался в тоске и ужасе.

Оказалось, что плотник, сколотивший для него лестницу, человек богобоязненный. Он беспокоился, что у праведника нет защиты от солнца и дождей, и опасался, как бы тот во сне не упал со столпа; поэтому благочестивый плотник соорудил на колонне навес и окружил оградой ее вершину.

Между тем молва о столь дивной жизни распространялась от деревни к деревне, и по воскресеньям из долины стали стекаться крестьяне с женами и детьми, чтобы посмотреть на столпника. Ученики Пафнутия, с восторгом узнав о месте его священного уединения, пришли к нему и испросили благословения построить хижины у подножия столпа. По утрам они собирались вокруг наставника, и он обращался к ним со словами поучения.

— Чада мои, — говорил он, — уподобьтесь младенцам, коих возлюбил Христос. В этом спасение. Плотский грех — источник и основа всех прочих грехов: все они исходят от него, как дети от отца. Гордыня, жадность, гнев, леность и зависть — его возлюбленные чада. Вот что я видел в Александрии: я видел, как грех любострастия, словно мутная река, захватывает богачей и ввергает их в зловонную пучину.

Когда известие дошло до игуменов Ефрема и Серапиона, они пожелали собственными глазами увидеть столпника. Заметив вдали на реке треугольный парус лодки, на которой игумены плыли к нему, Пафнутий невольно подумал, что господь поставил его примером для прочих отшельников. При виде столпника святые отцы не могли скрыть своего крайнего изумления. Они посовещались между собою и, придя к выводу, что столь странный вид покаяния достоин осуждения, стали увещевать Пафнутия, убеждая его спуститься.

— Такая жизнь несообразна с обычаями, — говорили они. — Это неслыханно и противно уставу.

Но Пафнутий отвечал:

— А разве монашеская жизнь сама по себе не чудесна? И разве подвиги отшельника не должны быть необыкновенными, как и он сам? Я взошел сюда по знаку господню, и только по знаку господню сойду я вниз.

С каждым днем стекались все новые толпы монахов; они присоединялись к ученикам Пафнутия и строили себе жилища вокруг его воздушной кельи. Многие из них, в подражание святому, взобрались на развалины храма; по другие порицали их, и, побежденные усталостью, они вскоре отказались от такого подвига.

Паломники все прибывали. Некоторые приходили издалека и изнемогали от голода и жажды. Некоей бедной вдове пришла в голову мысль продавать им свежую воду и арбузы. Она стояла, прислонившись к колонне, возле глиняных кувшинов, чаш и плодов, прикрытых холстиной в белую и синюю полоску, и кричала: «Кому воды, воды?» Булочник, следуя ее примеру, притащил кирпичей и соорудил рядом с нею печь, надеясь, что пришельцы будут покупать у него хлеб и лепешки. А толпы паломников все росли; сюда стали стекаться также и жители больших египетских городов; поэтому один жадный до наживы человек построил караван-сарай, чтобы в нем могли найти приют и господа со слугами, и верблюды их, и мулы. Вскоре вокруг колонны образовался базар, и нильские рыбаки стали приносить сюда рыбу, а огородники — овощи. Цирюльник, бривший желающих на открытом воздухе, забавлял толпу прибаутками. Старый храм, так долго погруженный в покой и безмолвие, теперь полнился нестихающим шумом и житейской суетой. Кабатчики переделывали подземные залы в погреба и прибывали к древним колоннам вывески, украшенные изображением праведника Пафнутия и гласившие по-гречески и египетски: «Здесь торгуют гранатовым вином, а также

вином из смоквы и настоящим киликийским пивом». На стенах со старинными изваяниями торговцы развесили связки луковиц и копченой рыбы, тушки баранов и зайцев. По вечерам давнишние хозяева развалин — крысы — длинной вереницей устремлялись к реке, а встревоженные ибисы вытягивали шеи и с опаской садились на высокие карнизы, к которым снизу поднимался кухонный чад, крики посетителей и возгласы служанок. Землемеры прокладывали вокруг развалин улицы, каменщики строили монастыри, часовни, храмы. Через полгода тут возник целый город со сторожевой службой, судом, тюрьмой и школой, которую держал дряхлый, ослепший писец.

Паломники сменяли паломников. Сюда съезжались епископы и викарии, и все дивились подвигу отшельника. Прибыл даже сам антиохийский патриарх со всей своей свитой. Он всенародно одобрил редкостный подвиг столпника, а пастыри ливийских общин в отсутствии Афанасия присоединились к мнению патриарха. Когда об этом узнали игумены Ефрем и Серапион, они преклонились перед Пафнутием, смиренно моля, чтобы он им простил их первоначальные сомнения. Пафнутий ответил им так:

— Знайте, братья, что покаяние, которое я несу, еще далеко не равносильно искушениям, ниспосланным мне; многообразие их и сила крайне изумляют меня. Когда смотришь на человека, он извне кажется маленьким, а с вершины столпа, на который господь возвел меня, люди и вовсе представляются муравьями. Но если заглянуть внутрь человека — он безмерен: он велик, как мир, ибо в нем заключен целый мир. Все, что расстилается предо мною — монастыри, харчевни, суда на реке, деревни, и то, что виднеется вдали — пашни, каналы, пески и горы, все это ничто по сравнению с тем, что во мне. Я несу в своем сердце неисчислимые города и бескрайние пустыни. И над всей этой безмерностью распростерлось зло; зло и смерть покрыли ее, как ночь покрывает землю. Да и сам я — целый мир греховных помыслов.

Он говорил так потому, что вожделем к женщине.

На седьмой месяц из Александрии, Бубаста и Саиса пришло много женщин, которые долгое время были бесплодными и надеялись на помощь святого и благотворную силу столпа. Они терлись о колонну животами, не приносящими плода. Потом появились нескончаемые вереницы телег, возков и носилок, которые останавливались, сталкивались, теснились вокруг божьего человека. Из них выползали больные, на которых страшно было взглянуть. Матери протягивали к Пафнутию младенцев с пеной у рта, с вывернутыми конечностями, с закотившимися глазками и хриплым голосом. Он возлагал на них руки. Подходили слепцы с протянутыми вперед руками и наугад оборачивали к нему лица с двумя кровоточащими впадинами. Паралитики обнажали перед ним омертвевшие и неподвижные или исхудавшие и безобразно укороченные конечности; хромы оголяли свои изуродованные ноги; женщины, больные раком, брали обеими руками и выставляли напоказ груди, изъеденные невидимым коршуном. Страдающие водянкой просили положить их на землю, и тогда казалось, будто с повозки снимают наполненные бурдюки. Пафнутий благословлял страдальцев. Нубийцы, пораженные слоновой проказой, подходили грузной походкой, обращая к нему неподвижные лица с глазами, полными слез. Он осенял их крестным знаменем. К нему поднесли на носилках девушку из Афродитополя, которая после кровавой рвоты спала уже четвертый день. Она стала похожа на восковой слепок, и родители, считая ее мертвой, уже возложили ей на грудь пальмовую ветвь. Пафнутий обратился к богу с молитвой, и девушка приподняла голову и открыла глаза.

В народе шли бесконечные толки о чудесах, совершенных святым; поэтому несчастные, страдавшие недугом, который греки называли священным, несметными толпами стекались сюда со всех концов Египта. При виде столпа у них сразу же начинались судороги, они

падали на землю, корчились, катались клубком. И — диковинное дело — присутствующие при этом тоже начинали бесноваться, подражая судорогам припадочных. Монахи и паломники, мужчины и женщины валялись вперемешку, бились с пеной у рта, с вывороченными конечностями, пригоршнями ели землю и пророчествовали. А Пафнутий, стоя на вершине столпа, ощущал во всем теле какой-то особый трепет и кричал, обращаясь к богу:

— Я козел отпущения и вбираю в себя все грехи этих людей; вот почему, господи, все существо мое кишит злыми духами.

Всякого больного, который уходил исцеленным, присутствующие провожали радостными возгласами, торжественно несли его на руках и твердили:

— Нам дарована новая силоамская купель!

На чудотворном столпе уже висели сотни костылей; благодарные женщины вешали у его подножия венки и обетные приношения. Греки высекали на нем изящные двустиишия; каждый паломник оставлял здесь свое имя, так что вскоре вся колонна на высоту человеческого роста покрылась всевозможными надписями на латинском, греческом, коптском, пуническом, еврейском, сирийском языках, а также магическими знаками.

Когда наступил праздник пасхи, в этот град чудес стеклоь такое множество народа, что старикам казалось, будто вернулись времена древних мистерий. На обширном пространстве смешались широкие пестрые одежды египтян, бурнусы арабов, белые передники нубийцев, короткие хитоны греков, длинные складчатые тоги римлян, пунцовые безрукавные кафтаны, и штаны варваров, и затканые золотом туники куртизанок. Приезжали на ослах женщины в покрывалах, предшествоваемые черными евнухами, которые прокладывали им дорогу, размахивая палками. Акробаты, расстелив на земле коврик, показывали чудеса ловкости и жонглировали перед обступившими их зрителями. Заклинатели змей, вытянув руки, разматывали свои живые пояса. Все это скопище сверкало, блестело, пылило, звенело, кричало, рокотало. Брань погонщиков верблюдов, щелканье бичей, возгласы торговцев, предлагавших амулеты от порчи и проказы, гнусавое бормотанье монахов, певших стихи из Писания, завывания кликуш, взвизгиванья нищих, напевавших древние гаремные песни, блеяние баранов, ослиный рев, крики матросов, сзывавших замешкавшихся путешественников, — все эти звуки сливались в оглушительный гам, в котором выделялись резкие голоса голых негрятят, сновавших под ногами и предлагавших свежие финики.

Весь этот разнообразный люд толкался под знойным небом, в тяжелом воздухе, насыщенном благовониями, веявшими от женщин, запахом негров, кухонным чадом и ароматом смолы, которую благочестивые христианки покупали у пастухов, чтобы воскурить его у подножья столпа.

Спускалась ночь; повсюду зажигались огни, факелы, светильники, а толпа превращалась в смутное скопище красных теней и черных силуэтов. Посреди слушателей, присевших на корточки, стоял старик, освещенный коптящей плошкой, и рассказывал, как некогда Битиу околдовал свое собственное сердце, вырвал его из груди, бросил в акацию и сам превратился в дерево. Старик широко размахивал руками, тень его вторила этим движениям, придавая им потешную несуразность, а зачарованные слушатели испускали восторженные возгласы. В кабачках, развалясь на циновках, пьяницы требовали вина и пива. Танцовщицы с подведенными глазами и голым животом исполняли перед ними религиозные или похотливые сцены. В сторонке юноши играли в кости или в мору, а старцы под покровом темноты преследовали блудниц. Над всем этим волнующимся многообразием один только столп высился незыблемой твердыней; голова с коровьими рогами смотрела во мрак, а над нею, между землей и небом, бодрствовал Пафнутий. Вот над Нилом всплывает луна, словно

обнаженное плечо какой-то богини. С холмов струится свет и лазурь, и Пафнутию кажется, будто он видит тело Таис, сверкающее в отсветах воды, среди сапфиров ночи.

Проходили дни, а праведник по-прежнему пребывал на столпе. Когда наступила пора дождей, небесные воды стали просачиваться сквозь крышу и заливать Пафнутия; руки и ноги его оцепенели, и он уже не мог двигаться. Кожа его, спаленная солнцем, растравленная росой, начала трескаться; глубокие язвы разъедали его тело. Но душа его сгорала от желания обладать Таис, и он кричал:

— Этого еще недостаточно, всемогущий боже! Еще искушений! Еще непотребных помыслов! Еще чудовищных вожделений! Господи, надели меня всею людской похотью, дабы я искупил ее всю! Если и неправда, что некая спартанская сука приняла на себя все грехи мира, как говорил мне когда-то один обманщик, — все же в сказке этой есть тайный смысл, и теперь я вполне разумею его. Ибо воистину вся гнусность народов вторгается в души праведников, чтобы исчезнуть там, как в бездонном колодце. Поэтому души святых осквернены больше, нежели души простых грешников. И да будешь благословен ты, господи, что сделал меня сточною ямою мира.

Но вот в один прекрасный день до святого града дошла молва, которая всех всполошила и даже достигла слуха подвижника: важный сановник, один из знаменитейших государственных деятелей — сам начальник александрийского флота Люций-Аврелий Котта собирается сюда! Он уже едет, он недалеко!

Слух был верный. Старик Котта, обследовавший в ту пору каналы и судоходство на Ниле, неоднократно выражал желание взглянуть на столпника и на новый город, которому дали название Стилополиса. Однажды утром жители Стилополиса заметили, что вся река усеяна парусами. На борту золотой галеры, обтянутой пурпуром, ехал Котта, а за ним следовала целая флотилий. Он спустился на берег и пошел в сопровождении писца, несшего навощенные таблички, и врача Аристей, с которым он любил беседовать.

Позади шествовала многочисленная свита, и берег пестрел латиклавами и воинскими одеждами. Неподалеку от колонны Котта остановился и, утирая себе лоб краем тоги, стал рассматривать столпника. Он был от природы любознателен и много видел во время своих длительных путешествий. Он любил вспоминать прошлое и намеревался, после того как закончит историю пунических войн, написать книгу о диковинных вещах, которые ему довелось видеть. Зрелище, представившееся ему, по-видимому, очень занимало его.

— До чего странно! — говорил он, тяжело дыша и обливаясь потом. — И удивительнее всего то, что этот человек был моим гостем. Да, в прошлом году монах однажды ужинал у меня и после этого похитил танцовщицу.

Он обернулся к писцу:

— Отметь это, сынок, на табличке, равно как и размеры колонны. Не забудь указать и форму капители.

Потом он снова утер лоб и добавил:

— Люди, достойные доверия, клялись мне, будто он сидит на столпе уже целый год и ни разу с него не спускался. Аристей, возможно ли это?

— Возможно для сумасшедшего или больного, но немыслимо для человека, здорового телом и душой, — отвечал Аристей. — Разве ты не знаешь, Люций, что некоторые душевные и телесные недуги наделяют больных такими способностями, каких не бывает у здоровых? Да и, в сущности говоря, нет ни больных, ни здоровых. Есть только различные состояния органов. Чем больше я изучаю то, что зовется недугами, тем больше убеждаюсь, что болезни надо считать неизбежными явлениями жизни. Я охотнее изучаю их, чем лечу. Некоторые из них нельзя наблюдать без восторга, ибо на первый взгляд они нарушают порядок, а в

действительности полны глубокой гармонии. Право же, перемежающаяся лихорадка — прекрасная вещь! Иной раз телесные немощи влекут за собою неожиданное обострение умственных способностей. Ты знаком с Креоном. В детстве он был дурачок и заика. Но однажды он упал с лестницы и проломил себе череп, а после этого стал превосходным адвокатом, каким ты его и знаешь. По-видимому, и у этого монаха поврежден какой-нибудь внутренний орган. Впрочем, его образ жизни не так уж необычен, как тебе кажется, Люций. Вспомни индийских гимнософистов, которые могут пребывать в полной неподвижности не только что год, но даже двадцать, тридцать и сорок лет.

— Клянусь Юпитером, вот нелепость! — воскликнул Котта. — Ведь человек рождается, чтобы действовать, а косность — непростительное преступление, ибо она наносит ущерб государству. Не знаю, с какими верованиями сопряжен столь пагубный предрассудок. Вероятно, тут сказываются некоторые азиатские вероучения. Когда я был губернатором Сирии, я видел на пропилеях Гиераполя изображения фаллуса. Два раза в год кто-нибудь из мужчин поднимается на пропилю и проводит там семь дней. Народ уверен, что этот человек беседует с богом и вымаливает у него благоденствие Сирии. Такой обычай представлялся мне бессмысленным, однако я не старался искоренить его. Я ведь считаю, что хороший правитель должен не препятствовать народным обычаям, а, наоборот, всячески поддерживать их. Не дело государства навязывать народу какие-либо верования; его обязанность — покровительствовать существующим религиозным представлениям, потому что — плохи ли они, хороши ли — они предопределены духом времени, места и расы. Если государство начинает бороться с ними, оно становится нетерпимым по духу, самоуправным в своих действиях и вызывает справедливое озлобление. Да и можно ли возвыситься над суевериями черни иначе, как только поняв и примирившись с ними? Аристей, я того мнения, что этого тучежителя надо оставить в покое; пусть себе парит в воздухе, не терпя обид ни от кого, кроме птиц. Не насилием могу я справиться с ним, а только считаясь с его верованиями и его образом мыслей.

Он отдышался, покашлял и, положив руку на плечо писца, сказал:

— Запиши, сынок, что некоторые христианские секты считают похвальным похищать куртизанок и жить на колоннах. Можешь добавить, что такой обычай связан, по-видимому, с культом оплодотворения. Но об этом всего лучше спросить у него самого.

Котта поднял голову, заслонился от солнца рукою и закричал:

— Эй, Пафнутий! Помнишь, ты был у меня в гостях? Так ответь же мне. Что ты там делаешь? Зачем ты забрался на такую высь и зачем там поселился? Придаешь ли ты этому столпу некий фаллический смысл?

Приняв во внимание, что Котта — язычник, Пафнутий не удостоил его ответом. Зато ученик столпника, Флавиан, подошел к Котте и сказал:

— Сиятельный владыка, этот праведник берет на себя грехи мира и врачует болезни.

— Клянусь Юпитером! Ты слышал, Аристей? — воскликнул Котта. — Этот тучежитель занимается, как и ты, врачеванием! Что скажешь о собрате, достигшем таких вершин?

Аристей покачал головой:

— Вполне возможно, что кое-какие болезни он излечивает и лучше меня, например, падучую, которую в народе называют священной болезнью, хотя и вообще-то все болезни священны, раз все они от богов. Но причина падучей частично коренится в воображении больного, а согласишься сам, Люций, что этот монах, примостившийся на голове богини, сильнее действует на воображение больных, чем я, корпящий в своей аптечке над ступками и

склянками. Существуют, Люций, силы куда могущественнее разума и науки.

— Какие именно? — спросил Котта.

— Невежество и безрассудство, — отвечал Аристей.

— Мне редко доводилось наблюдать что-либо любопытнее того, что я вижу сейчас, — продолжал Котта, — и мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь искусный писатель рассказал историю основания Силополиса. Однако даже самые редкостные зрелища не должны задерживать человека степенного и трудолюбивого дольше, чем следует. Пойдем же и осмотрим каналы. Прощай, добрый Пафнутий! Или вернее — до свидания! Если ты спустишься со столпа и паче чаяния вернешься в Александрию, не забудь зайти ко мне поужинать!

Слова эти, сказанные при многочисленных свидетелях, стали переходить из уст в уста, а верующие с особым усердием распространяли их, и это еще приумножило несравненную и громкую славу Пафнутия. Благочестивые домыслы всячески приукрашались и переиначивались, и в народе уже стали рассказывать, будто праведник с высот своего столпа обратил начальника флота в веру, исповедуемую апостолами и отцами Никейского собора. Христиане придавали последним словам Люция-Аврелия Котты иносказательный смысл; по их толкованию, ужин, на который сановник пригласил столпника, — не что иное, как святое причастие, духовная трапеза, небесное пиршество. Рассказ об этой встрече расцветивали чудесными знамениями, и тот, кто выдумывал их, первый же им и верил. Передавали, будто в тот миг, когда Котта, после долгого спора, познал истину, с неба снизошел ангел и отер пот с его чела. Добавляли, что врач и писец последовали примеру начальника флота и тоже обратились. Чудо было столь очевидно, что дьяконы главнейших ливийских церквей составили его достоверное описание. Можно без преувеличения сказать, что с этого дня весь мир загорелся желанием узреть Пафнутия и что к нему обратились изумленные взоры всех христиан и Запада и Востока. Славнейшие города Италии посылали к нему посольства, и сам римский цезарь, божественный Констант, блюститель чистоты христианской веры^[92], обратился к подвижнику с письмом, которое ему с великой торжественностью доставили посланцы императора. И вот однажды, в то время как город, расцветший у его ног, спал, окропленный росой, столпник услышал голос, вещавший ему:

— Пафнутий! Ты прославился делами своими, и слово твое могущественно. Бог вдохновляет тебя во славу свою. Он избрал тебя, чтобы творить чудеса, исцелять страждущих, обращать неверных, просвещать грешников, посрамлять ариан и восстановить в Церкви мир.

Пафнутий ответил:

— Да свершится воля господня!

Голос продолжал:

— Встань, Пафнутий, и ступай к нечестивому Констанцию, который не только не следует мудрому примеру брата своего Константа, но даже поощряет заблуждение Ария и Марка. Ступай! Бронзовые ворота дворца распахнутся пред тобою, и сандалии твои застучат по золотым плитам базилик, перед престолом цезарей, и твой грозный голос преобразит сердце Константинова сына. Ты станешь во главе умиротворенной и несокрушимой Церкви. И подобно тому как душа руководит телом, церковь будет руководить империей. Тебя вознесут выше сенаторов, комитов и патрициев. Ты утолишь голод народа и обуздаешь дерзость варваров. Старик Котта признает тебя первым среди сановников и будет добиваться чести омыть тебе ноги. После кончины твоей твою власяницу отвезут александрийскому патриарху, и великий Афанасий, убеленный сединами славы, приложится к ней как к святыне. Ступай!

Пафнутий ответил:

— Да исполнится воля господня!

И, с усилием встав на ноги, он уже собрался было спуститься со столпа. Но голос, разгадав его помыслы, сказал:

— Только не сходи по этой лестнице. Это значило бы поступить как заурядный человек и не дорожить высоким даром, которым ты наделен. Постигни же собственное могущество, ангелоподобный Пафнутий. Такой великий святой, как ты, должен парить в воздухе. Прыгай! Херувимы здесь, возле тебя; они тебя поддержат. Прыгай же!

Пафнутий ответил:

— Да будет воля господня на земле и на небесах!

Он стоял, размахивая широко распростертыми руками, словно огромная больная птица, машущая обломанными крыльями, и уже готов был броситься вниз, как чье-то мерзкое хихиканье прозвучало над самым его ухом. Он в ужасе спросил:

— Кто это так смеется?

— Ха-ха, — взвизгнул голос. — Мы с тобою еще только начинаем дружить, но в один прекрасный день ты спознаешься со мною поближе. Любезный мой, это я заставил тебя подняться сюда и должен тебе сказать, что я вполне удовлетворен тем, как покорно выполняешь ты мои веления. Пафнутий, я доволен тобою.

Пафнутий пролепетал сдавленным от ужаса голосом:

— Отыди! Отыди! Узнаю тебя: ты тот, кто вознес Христа на крыло храма и показал ему все царства мира сего.

Он в изнеможении упал на камень.

«Как не распознал я его раньше? — думал он. — Я неможнее всех слепцов, глухих, паралитиков, которые уповают на меня! Я утратил дар понимать сверхъестественное; я стал хуже безумцев, грызущих землю и вожделеющих к трупам, я перестал отличать адские вопли от небесных голосов. Я беспомощнее новорожденного; ведь даже младенец плачет, когда его отнимают от груди кормилицы, даже собака нюхом находит след хозяина, даже растение само поворачивается к солнцу. Я игрушка в бесовских руках. Итак, я приведен сюда сатаной. Когда он возносил меня на эту вершину, мне сопутствовали гордыня и похоть. Не безмерность искушений удручает меня; Антоний, удалившись на гору, подвергался не меньшим испытаниям. И пусть их острое пронзит мою плоть пред ликом ангелов. Я дошел до того, что даже радуюсь своим терзаниям. Но бог безмолвствует, и его молчание изумляет меня. Он меня покидает, а ведь он — единственная моя опора; он бросает меня в одиночестве, и мне без него жутко. Он удаляется от меня. Я хочу бежать вслед за ним. Камень жжет мне ноги. Скорее! Бежать! Не разлучаться с богом!»

Он схватил лестницу, прислоненную к колонне, стал ногами на перекладину и, спустившись на одну ступеньку, оказался лицом к лицу с головой женщины, увенчанной коровьими рогами; она странно ухмылялась. Тут столпнику стало ясно, что он принимал за место своего успокоения и славы то, что на самом деле было дьявольским орудием его смятения и гибели. Он поспешно спустился вниз. Ноги его уже отвыкли от земли и дрожали. Но он чувствовал на себе тень проклятого столпа и, сделав усилие, побежал. Все вокруг спало. Он незамеченным пересек площадь, окруженную харчевнями, кабаками и караван-сараями и завернул в переулок, ведущий кверху, к ливийским холмам. Какая-то собака с лаем следовала за ним и отстала только там, где начались пески пустыни. И Пафнутий пошел по равнине, где не было иных дорог, кроме звериных тропок. Оставив позади покинутые хижины фальшивомонетчиков, гонимый отчаянием, он брел всю ночь и весь день.

Наконец, уже совсем изнемогая от голода, жажды и усталости и все еще не ведая, далеко ли ему до бога, он увидел безмолвный город, который расстился вправо и влево, вплоть до пурпурного горизонта. Широко разбросанные строения, похожие одно на другое, напоминали пирамиды, усеченные на полвысоты. То были гробницы. Двери в них были выломаны, и в сумраке мавзолеев поблескивали глаза волков и гиен; хищники кормили своих детенышей, а мертвецы валялись на полу, обобранные грабителями и обглоданные зверьем. Миновав это мрачное селение, Пафнутий в изнеможении упал возле склепа, возвышавшегося в стороне, у ручья, осененного пальмами. Склеп был богато украшен, но дверь в нем тоже была выломана, и внутри виднелась каморка с расписными стенами, в которой змеи свили себе гнездо.

— Вот, — вздохнул он, — уготованная мне обитель, вот скиния моего покаяния и искупления.

Он дополз до склепа, ногою разогнал гадов и пролежал на каменных плитах восемнадцать часов, после чего с трудом добрал до источника и напился, зачерпнув воды рукою. Затем он нарвал немного фиников и несколько стеблей лотоса и съел зерна. Он решил, что такой образ жизни ему и подобает и что надо и в дальнейшем придерживаться его. С утра до ночи он лежал распростершись ниц на каменном полу.

И вот однажды, лежа так, он услышал голос, сказавший ему:

— Посмотри на эти картины себе в назидание.

Он приподнял голову и увидел на стене склепа картины, изображающие жизнерадостные семейные сцены. Они были очень древнего письма и отличались большой живостью. Тут изображены были повара, разводившие огонь и поэтому смешно надувшие щеки; другие ощипывали гусей или варили в котлах бараньи окорока. Подальше охотник нес на плечах газель, пронзенную стрелами. Там — трудились земледельцы: сеяли, жали или убирали урожай. В другом месте женщины плясали под звуки лютни, флейт и арф. Девушка играла на кинноре. В ее черных волосах, заплетенных тонкими косичками, сиял цветок лотоса. Под прозрачной туникой виднелись чистые очертания ее тела. Ее груди и уста говорили о поре цветения. Прекрасный глаз ее смотрел прямо, хотя лицо было изображено сбоку. Весь облик ее был восхитителен. Взглянув на нее, Пафнутий потупился и ответил голосу:

— Зачем ты повелеваешь мне смотреть на такие картины? Ведь они рисуют земную жизнь того язычника, прах которого покоится у меня под ногами, в глубокой могиле, в черном базальтовом гробу. Они напоминают о жизни человека, который уже умер, и, несмотря на всю яркость красок, это всего-навсего лишь тень тени. Жизнь усопшего! О тщета!

— Он умер, но он жил, — возразил голос, — а ты умрешь, так и не изведав жизни.

С этого дня Пафнутий уже не знал ни часа покоя. Голос говорил с ним непрестанно. Девушка с киннором пристально смотрела на него глазом, обрамленным длинными веками. Она тоже говорила:

— Смотри: я таинственна и прекрасна. Люби меня, утоли в моих объятиях страсть, которая терзает тебя. Что пользы меня бояться? От меня не уйдешь: я олицетворение женской красоты. Куда думаешь ты бежать от меня, безумец? Образ мой ты найдешь в пестроте цветов и стройности пальм, в полете голубок, в прыжках газели, в плавном течении ручейков, в мягком свете луны, а закрыв глаза, ты найдешь его и в самом себе. Прошло тысяча лет с тех пор, как человек в повязке, покоящийся здесь, на черном каменном ложе, прижимал меня к сердцу. Прошло тысяча лет с тех пор, как я в последний раз поцеловала его, а поцелуй этот и до сего дня наполняет его сон благоуханием. Ты хорошо знаком со мной, Пафнутий. Как же ты не узнал меня? Я одно из бесчисленных воплощений Таис. Ты монах

ученый, и тебе доступен смысл явлений. Ты долго странствовал, а в странствиях учишься многому. Нередко за день, проведенный вдали от дома, узнаешь больше нового, чем за десять лет, проведенных в своих четырех стенах. И ведь ты, конечно, слышал, что Таис некогда жила в Спарте под именем Елены. В Фивах Стовратных она жила в другом облиии. Так вот: фиванскою Таис была я. Как же ты не распознал это? При жизни я приняла немалую долю грехов мира, но и теперь, когда я всего лишь тень, я все же могу взять на себя твои грехи, возлюбленный инок. Чему же ты так удивляешься? Ведь нет никакого сомнения, что куда бы ты ни пошел, ты всюду найдешь Таис.

Он бился головой о каменный пол и кричал от ужаса. И каждую ночь девушка с киннором сходила со стены, приближалась к нему и разговаривала с ним ясным голосом, веявшим свежими дуновениями. Но праведник не поддавался ее искушениям, и она сказала так:

— Люби меня. Покорись, друг мой. Доколе ты будешь противиться мне, я не перестану мучить тебя. Ты не представляешь себе, что такое терпение умершей. Если понадобится, я подожду, пока и ты умрешь. Я волшебница, я вдохну тогда в твое безжизненное тело дух, который вновь оживит его и не откажет мне в том, о чем я сейчас тщетно прошу тебя. Подумай, Пафнутий, как странно будет, когда твоя блаженная душа увидит с высоты небес свое собственное тело, предающееся греху. Сам бог, обещавший возратить тебе тело после Страшного суда и конца мира, будет этим немало смущен. Как же утвердит он во славе небесной человеческую плоть, одержимую бесом и охраняемую колдуньей? Ты не подумал об этой помехе. Вероятно, не подумал и бог. Между нами говоря, он не очень хитер. Самая простая кудесница легко проведет его, и не будь в его распоряжении хлябей небесных и грома, так даже деревенские ребятишки дергали бы его за бороду. Что и говорить, он далеко не так мудр, как старый змий, его противник. Этот-то — чудесный мастер! Я столь прекрасна только потому, что он сам потрудился над моей внешностью. Это он научил меня заплетать косы и красить пальцы в розовый, а ногти в черный цвет. Ты не оценил его. Придя сюда, чтобы поселиться в этом склепе, ты ногами разогнал змей, обитавших тут, и даже не позаботился узнать, не его ли это родичи, и ты даже раздавил их яйца. Берегись, бедный друг мой, ты навлек этим на себя большую беду. Тебя предупреждали, что он музыкант и к тому же влюблен. А ты что сделал? Ты рассорился с наукой и красотой. Ты низко пал, и Иегова не помогает тебе. Да, вероятно, и не поможет. Он необъятен, как бесконечность, и поэтому за отсутствием места не может двигаться. А если он паче чаяния сделает хоть малейшее движение, вся вселенная распадется. Прекрасный отшельник, поцелуй меня.

Пафнутий хорошо знал, каких превращений можно добиться при помощи колдовских чар. Он думал, объятый великой тревогой: «Быть может, покойнику, погребенному у меня под ногами, ведомы слова таинственной книги, зарытой неподалеку отсюда в недрах царской усыпальницы? Силою заклинаний мертвецы могут вернуть себе обличье, которым они были наделены на земле, и вновь видеть солнечный свет и улыбки женщин».

Он боялся, как бы девушка с киннором и покойник вновь не сочетались, как при жизни, и страшился стать свидетелем их объятий. Порою ему чудились легкие звуки поцелуев.

Все смущало его; и теперь, в отсутствии бога, он так же боялся думать, как и чувствовать. Однажды вечером, когда он по обыкновению лежал, распростершись на полу, чей-то незнакомый голос сказал ему:

— Пафнутий, на земле куда больше народов, чем ты думаешь, и если бы я показал тебе то, что видел сам, ты бы умер от испуга. Есть люди с одним-единственным глазом на лбу. Есть люди, у которых только одна нога, и поэтому они ходят подпрыгивая. Есть люди, которые меняют пол и из самок превращаются в самцов. Есть люди-деревья, пускающие в

землю корни, И есть люди без головы, с глазами, носом и ртом на груди. Неужели ты в самом деле считаешь, что Христос принял смерть ради таких людей?

В другой раз ему было видение. Пред ним предстала широкая дорога, залитая светом, ручейки и сады. По дороге верхом на сирийских конях вскачь неслись Аристобул и Кереас, и щеки их пылали от веселого задора. Калликрат, стоя под портиком, читал вслух стихи; удовлетворенная гордость звучала в его голосе и светилась во взоре. Зенофемид, прогуливаясь по саду, срывал золотые яблоки и ласкал лазоревокрылого змея. Гермодор, в белом облачении, со сверкающей митрой на челе, предавался размышлениям под священным персиковым деревом, сплошь усеянным вместо цветов крошечными головками с правильными чертами лица и с прическами, украшенными, как у египетских богинь, коршунами, грифами или сверкающим диском луны; в сторонке же, у фонтана, Никий изучал на армиллярной сфере стройное движение светил.

Потом к иноку подошла женщина под покрывалом, с веткою мирта в руке. И она сказала ему:

— Гляди. Одни ищут вечную красоту и заключают бесконечное в свою мимолетную жизнь. Другие живут, не утруждая себя раздумьем. Они просто покоряются прекрасной природе и тем самым становятся счастливыми и прекрасными и самой своей жизнью воздают хвалу великому творцу всего сущего. Ибо человек — великолепный гимн богу. Но и те и другие считают, что счастье не греховно и что радость дозволена. А что, Пафнутий, если они правы? Какой же ты тогда глупец!

И видение сгинуло.

Так Пафнутий непрерывно подвергался искушениям и тела и души. Сатана не давал ему ни мгновения покоя. Пустой с виду склеп кишел живыми тварями, как площадь большого города. Бесы заливались громким хохотом, и мириады ларвов, эмпуз и лемуров были заняты подобием всевозможных житейских дел. Вечерами, когда отшельник отправлялся к источнику, сатиры и нимфы начинали плясать вокруг него и завлекали его в свой развратный хоровод. Бесы уже не боялись его. Они осыпали его насмешками, непристойной бранью и били его. Однажды какой-то бесенок, ростом едва ему по пояс, украл у Пафнутия ремень, которым тот препоясывался.

Пафнутий думал: «Мысль, куда завела ты меня?»

И он решил заняться ручным трудом, чтобы дать уму покой, в котором он так нуждался. Возле источника в тени пальм росли широколиственные бананы. Он срезал несколько банановых веток и отнес их в склеп. Он растер их камнем, как делают канатчики, и превратил в тонкие волокна. Ибо он решил свить себе бечевку взамен ремня, украденного лукавым. Это несколько смутило бесов: они перестали безобразничать, и даже девушка с киннором, оставив колдовство, уже не сходила с раскрашенной стены. Пафнутий продолжал растирать банановые ветки, и это помогало ему утверждаться в мужестве и вере.

«С божьей помощью я одолею плоть, — думал он. — Душа же моя никогда не теряла надежды. Тщетно все бесы и эта окаянная пытаются внушить мне сомнения в природе бога. Я отвечу им устами апостола Иоанна: „В начале было слово... и слово было бог“. В это я верю непоколебимо, а если то, во что я верю, — нелепость, я верю тем более непоколебимо; значит, тем лучше, если это нелепость. Иначе я не верил бы, а знал. А то, что знаешь, не дарует жизни; только в вере спасение».

Отделенные друг от друга волокна он выставлял на солнце и на росу, а по утрам тщательно переворачивал их, чтобы они не сгнили. И он радовался, чувствуя, что в нем вновь возрождается младенческое простодушие. Сплетя веревку, он нарезал прутьев, чтобы сделать из них циновки и корзины. Внутренность склепа стала теперь похожа на мастерскую

плетельщика, и Пафнутий легко переходил здесь от работы к молитве. Но, видимо, господь не благоволил к нему, ибо однажды ночью некий голос разбудил Пафнутия и поверг его в леденящий; ужас; отшельник понял, что это голос мертвеца.

Голос звучал как нетерпеливый зов, как легкий шепот:

— Елена! Елена! Пойдем искупаемся вместе! Пойдем скорее!

Какая-то женщина под самым ухом инока, касаясь его губами, ответила:

— Я не могу встать, друг мой: на мне лежит мужчина.

Вдруг Пафнутий заметил, что щека его покоится на женской груди. Он узнал девушку с киннором; слегка высвободившись, она выпрямила стан. Тогда монах исступленно обнял это теплое и благоухающее девичье тело и, сжигаемый гибельным вожделением, вскричал:

— Останься, блаженство мое, останься!

Но она уже поднялась и стояла на пороге. Она смеялась, и лунный луч серебрил ее улыбку.

— Зачем оставаться? — возразила она. — Влюбленный с таким живым воображением удовлетворится и тенью тени. Да ты и так уже согрешил. Чего же тебе еще? Прощай. Меня ждет любовник.

В сгустившемся мраке слышались рыдания Пафнутия, а когда занялась заря, он обратился к небесам с молитвой, кроткой, как жалобное стенание:

— Христос, Христос, для чего покидаешь меня? Ты видишь, в какой я опасности. Поддай мне помощь, сладчайший Спаситель. Раз отец твой отвратился от меня, раз он глух к моим мольбам, подумай, ведь у меня нет иной защиты, кроме тебя! Мы с ним перестали понимать друг друга: я не в силах постичь его волю, а он не хочет пожалеть меня. Но ты — ты рожден женщиною, и поэтому все упование мое на тебя. Вспомни, ведь ты был человеком. Я взываю к тебе не потому, что ты бог, исходящий от бога, свет от света, бог истинный от бога истинного, но потому, что ты жил нищим и слабым на той же земле, где я так страдаю... потому что сатана пытался искушать твою плоть... потому что в смертный час чело твое покрылось холодным потом. К человечности твоей взываю я, Христос, брат мой Христос!

После того как он, ломая руки, произнес эту молитву, оглушительный раскат хохота потряс стены склепа и тот же голос, что раздавался на вершине столпа, сказал с насмешкой:

— Вот молитва, вполне достойная еретика Марка. Пафнутий стал арианином! Пафнутий стал арианином!

Монах рухнул без чувств, словно сраженный громом.

Когда он вновь открыл глаза, он увидел вокруг себя монахов в черных куколях; они смачивали ему водой виски и читали молитвы об изгнании бесов. Многие из них стояли снаружи с пальмовыми ветвями в руках.

— Мы шли пустыней, — сказал один из монахов, — и слышали стоны, доносившиеся из этого склепа; мы вошли в склеп и нашли тебя распростертым без чувств на каменном полу. Нет никакого сомнения, что тебя повергли наземь бесы, а при нашем приближении они разбежались.

Пафнутий приподнял голову и слабым голосом спросил:

— Кто вы, братья? И зачем в руках у вас пальмовые ветви? Вы собираетесь хоронить меня?

Ему ответили:

— Разве ты не слыхал, брат, что отец наш Антоний, которому исполнилось сто пять лет, получил свыше предвозвестие о близкой кончине и решил поэтому спуститься с горы

Кольцинской, где он жил отшельником, дабы благословить своих бесчисленных духовных чад? Мы идем с пальмами в руках навстречу нашему пастырю. Но как же ты, брат, не знаешь о таком великом событии? Неужели ангел не явился к тебе сюда, в склеп, и не возвестил об этом?

— Увы, — отвечал Пафнутий, — я не достоин такой милости, и логово это навещают одни только бесы и вампиры. Молитесь за меня! Я Пафнутий, антинойский настоятель, презренный из слуг господних.

При имени «Пафнутий» все иноки стали помавать пальмовыми ветвями и шептать ему славословие. Монах, который уже говорил с Пафнутием, восторженно воскликнул:

— Неужели ты — святой Пафнутий, прославленный столькими подвигами, которые, как думают, со временем приравняют тебя к самому великому Антонию? Преподобнейший, это ты обратил к господу блудницу Таис и, пребывая на столпе, был унесен серафимами? Люди, стоявшие в ту ночь у подножья колонны, видели твоё блаженное вознесение. Крылья ангелов окутали тебя белым облаком, и ты десницей своей благословлял жилища людей. На другой день, когда народ увидел, что тебя нет, громкие горестные стенания стали возноситься к развенчанной вершине столпа. Но ученик твой Флавиан возвестил о совершившемся чуде и принял на себя руководство братией. Один только человек — Павел Юродивый — вздумал перечить единодушному мнению окружающих. Он уверял, будто видел во сне, что тебя утащили бесы. Толпа хотела закидать его камнями, и только чудом избежал он смерти. Я — Зосима, настоятель отшельников, которых ты видишь распростертыми у твоих ног. Я тоже преклоняюсь перед тобою, дабы ты вместе с чадами благословил и отца. А потом расскажи нам о чудесах, кои господь восхотел совершить, избрав тебя своим орудием.

— Господь не только не удостоил меня своего благоволения, как ты полагаешь, — возразил Пафнутий, — а подверг меня жестоким искушениям. Меня не вознесли ангелы. Но темная завеса встала перед моими глазами и двигалась вместе со мною. Я жил как во сне. Вне господа — все сновидение. Когда я совершил путешествие в Александрию, я там за короткий срок услышал много речей и убедился, что полчищам людских заблуждений несть числа. Их рать преследует меня, я окружен мечами.

Зосима ответил:

— Досточтимый отче, следует принять во внимание, что святые, и особенно святые пустынножители, зачастую подвергаются страшным испытаниям. Если ты не был вознесен на небеса на руках серафимов, значит господь удостоил этой милости твой образ; ведь Флавиан, монахи и народ собственными глазами видели твоё вознесение.

Тут Пафнутий решил, что и ему надо отправиться навстречу Антонию и получить его благословение.

— Брат Зосима, — сказал он, — дай мне пальмовую ветвь, и я пойду вместе с вами встретить отца нашего Антония.

— Пойдем, — ответил Зосима. — Монахам подобает ратный строй, ибо они прежде всего — воины. Мы с тобою, как игумены, пойдем впереди. Меньшая же братия последует за нами и будет петь псалмы.

И они тронулись в путь. Пафнутий стал говорить:

— Бог есть единство, ибо он истина, а истина едина. Мир многообразен потому, что он заблуждение. Надлежит отвернуться от всего сущего даже от самого безобидного на вид. Разнообразие, придающее явлениям мира прелесть, есть признак их пагубности. Поэтому стоит мне только увидеть пучок папирусов над водною гладью, как душа моя омрачается печалью. Все, что воспринимают органы чувств, отвратительно. Малейшая песчинка несет в себе опасность, любая вещь соблазняет нас. Женщина — не что иное, как совокупность всех

соблазнов, развеянных в легком воздухе, на цветущей земле, в прозрачных водах. Блажен тот, чья душа — запечатанный сосуд. Блажен тот, кому дано стать немым, слепым и глухим и кто ничего не понимает в мире, дабы понимать творца!

Зосима, обдумав слова Пафнутия, отвечал так:

— Досточтимый отче, мне надлежит исповедовать тебе мои грехи, раз ты обнажил предо мной свою душу. Так мы, по завету апостолов, исповедуемся друг другу. Перед тем как принять монашество, я жил в миру самой постыдной жизнью. В Мадавре, городе, который славится блудницами, я предавался всем видам любви. Каждую ночь я пировал в обществе молодых распутников и флейтисток и приводил к себе домой ту, которая приглянулась мне больше других. Такой праведник, как ты, и представить себе не может, до чего доводило меня неистовство желаний. Достаточно тебе сказать, что я не щадил ни матрон, ни монахинь и не останавливался ни перед прелюбодеянием, ни перед святотатством. Я распалял свою похоть вином, и меня по справедливости называли самым отчаянным пьяницей среди мадавровцев. Между тем я был христианином и сквозь все свои заблуждения нес в глубине души веру в распятого Христа. Растратив в кутежах все свое состояние, я уже почувствовал первые признаки нищеты, а тем временем один из самых крепких моих товарищей по разгулу стал у меня на глазах чахнуть от какой-то страшной болезни. Ноги уже не держали его; трясущиеся руки отказывались ему служить; помутневшие глаза закрывались. Из горла его вырывался лишь страшный хрип. Его ум, отяжелевший больше тела, был погружен в какое-то оцепенение. Ибо в наказание за то, что он жил, как скотина, бог и в самом деле превратил его в скотину. Потеря состояния и без того уже стала внушать мне спасительные мысли, но пример друга был мне еще полезнее: я был так потрясен, что покинул свет и удалился в пустыню. И вот я уже двадцать лет вкушаю там мир, который никогда ничем не нарушался. Вместе с братией я тружусь, работая, как ткач, зодчий, плотник и даже писец, хотя, признаюсь, письменные занятия мне не столь по душе, ибо я всегда отдавал предпочтение действию перед мышлением. Дни мои полны радостей, а ночи проходят без сновидений, и я уповаю, что милость господня пребывает на мне, ибо даже в пучине самых страшных грехов надежда никогда не оставляла меня.

При этих словах Пафнутий возвел глаза к небу и прошептал:

— Господи! На человека сего, оскверненного столькими злодеяниями, на сего прелюбодея, на святотатца ты зриаешь с любовью, а от меня, который всегда был послушен твоим велениям, ты отвращаешь свой взор. Как непостижимо твое правосудие, боже мой, и как неисповедимы твои пути!

Зосима простер руку:

— Смотри, досточтимый отче, с обеих сторон горизонта тянутся черные нити, словно полчища переселяющихся муравьев, это братья наши идут, как и мы, навстречу Антонию.

Дойдя до места, где назначена была встреча, они увидели величественное зрелище. Монашеская рать расположилась в три ряда огромным полукругом. В первом ряду стояли старцы-пустынники с посохами в руках, и бороды их ниспадали до самой земли. Монахи, состоявшие под началом игуменов Ефрема и Серапиона, а также иноки из нильских монастырей образовали второй ряд. Отшельники, спустившиеся с отдаленных скалистых гор, разместились позади. У одних почерневшие и исхудавшие тела были прикрыты жалким рубищем; у других всю одежду заменяли ветви, сплетенные в пучки. Иные были наги, но бог покрыл их густой растительностью, словно овечьим руном. Каждый держал в руках пальмовую ветвь; казалось, то раскинулась изумрудная радуга, и монахи подобны были сонмищу избранных, живой стене града господня.

Среди присутствующих царил такой порядок, что Пафнутий без труда разыскал свою

паству. Он стал поодаль, прикрыв лицо свое куколом, чтобы братья не узнали его и не возмутилось бы их благоговейное ожидание. Вдруг раздались оглушительные крики.

— Святитель! — неслось со всех сторон. — Святитель! Вот великий угодник! Вот тот, перед которым отпрянули силы ада! Божий избранник! Отец наш Антоний!

Затем наступила великая тишина, и все распростерлись ниц на песке.

С вершины холма, среди бескрайней пустыни, спускался Антоний, поддерживаемый своими возлюбленными учениками Макарием и Амафасом. Он ступал медленно, но стан его еще держался прямо, и в нем еще чувствовались остатки прежней сверхчеловеческой силы. Белая борода раскинулась на широкой груди, блестящий череп отражал лучи света, как Моисеево чело. У него был орлиный взгляд; младенческая улыбка озаряла его круглые щеки. Благословляя народ, он воздел руки, изможденные целым столетием неслыханных подвигов, и последняя мощь его голоса прозвучала в произнесенных им словах любви:

— Сколь прекрасны кущи твои, о Иаков! Сколь любви, о Израиль, твои шатры!

И тотчас же от края до края живой стены, как сладкозвучный раскат грома, загремел псалом: «Блажен муж богобоязненный».

Между тем Антоний, сопровождаемый Макарием и Амафасом, проходил по рядам старцев, отшельников и монахов. Этот ясновидец, узревший небо и ад, этот пустынный, из пещеры управлявший христианской Церковью, этот святой, поддерживавший в дни страшных гонений веру в мучениках, этот ученый, сокрушавший своим красноречием ересь, ласково обращался к каждому из духовных своих чад и по-родственному говорил ему «прости» в канун блаженной кончины, которую бог в своем благоволении, наконец, обещал ему.

Он говорил игуменам Ефрему и Серапиону:

— Вы начальствуете над многочисленным воинством и стали прославленными полководцами. Поэтому на небесах вы будете облечены в золотые доспехи и архангел Михаил наречет вас хилиархами^[93] своих дружин.

Увидев старца Палемона, он обнял его и сказал:

— Вот самый кроткий и лучший из моих сынов. Его душа благоухает слаще цветка бобов, которые он сеет ежегодно.

К игумену Зосиме он обратился с таким словом:

— Ты не терял веры в божественное милосердие, поэтому мир господень пребывает с тобою. Лилии присущих тебе добродетелей зацвели на гноище твоего распутства.

К каждому обращался он со словами, преисполненными непогрешимой мудрости. Престарелым он говорил:

— Апостол видел вокруг престола божия двадцать четыре старца в белых одеждах, с венцами на челе.

Молодых мужей он наставлял:

— Будьте радостны, оставьте печаль в удел счастливым мира сего.

Так, обходя ряды духовного воинства, он поучал детей своих. Видя его приближение, Пафнутий бросился на колени, раздираемый страхом и надеждой.

— Отче, отче, — воззвал он в отчаянии, — отче, приди мне на помощь, ибо я погибаю. Я привел к господу душу Таис, я жил на вершине столпа и в склепе. Мой лоб, беспрестанно повергнутый в прах, стал мозолистым, как колени верблюда. И все-таки бог отвратился от меня. Благослови меня, отче, и я буду помилован. Окропи меня иссопом, и я очищусь и засверкаю, как снег.

Антоний не отвечал. Он обратил на антинойских иноков взгляд, сияния которого никто не мог выдержать. Остановив взор свой на Павле, прозванном Юродивым, он долго всматривался в него, потом знаком подозвал его к себе. Все удивились, что святитель

обращается к человеку, скудному разумом, но Антоний сказал:

— Господь удостоил его большими милостями, чем кого-либо среди вас. Возведи горе взор свой, чадо мое Павел, и скажи нам, что ты видишь в небесах.

Павел Юродивый обратил очи ввысь; лицо его засияло, и язык обрел красноречие.

— Я вижу в небе, — сказал он, — ложе, затянутое пурпурными и золотыми тканями. Три девственницы зорко охраняют его, дабы к нему не приблизилась ни одна душа, кроме той избранной, для которой оно приуготовано.

Думая, что ложе это — символ его славы, Пафнутий уже обратился к богу с благодарственной молитвой. Но Антоний знаком повелел ему умолкнуть и внимать тому, что в восторге шепчет Юродивый:

— Три девственницы обращаются ко мне; они говорят: «Скоро праведница покинет землю. Таис Александрийская умирает. И мы приуготовили для нее ложе славы, ибо мы — ее добродетели: Вера, Страх божий и Любовь».

Антоний спросил:

— Возлюбленное чадо, что видишь ты еще?

Павел всматривался в небо с зенита до надира, с запада до востока, но ничего не видел, как вдруг на глаза ему попался антинойский настоятель. Лицо юродивого побледнело от священного ужаса, в зрачках блеснул отсвет незримого пламени.

— Я вижу, — прошептал он, — трех бесов, которые с ликованием готовятся схватить этого человека. Они приняли облики столпа, женщины и волхва. На каждом из них каленым железом выжжено его имя: у одного — на лбу, у другого — на животе, у третьего — на груди, и имена эти суть: Гордыня, Похоть и Сомнение. Я видел их.

Тут Павел снова впал в слабоумие, взор его помутнел, губы обвисли.

Монахи антинойской общины с тревогой взирали на Антония, а праведник только молвил:

— Господь открыл нам свое справедливое решение. Мы должны чтить его и молчать.

Он направился дальше. Он шел, благословляя. Солнце, склонившееся к горизонту, озаряло старца сиянием славы, а тень его, безмерно увеличившаяся по милости неба, простиралась за ним, как бесконечный ковер, — в знак долгой памяти, которую этому великому праведнику суждено оставить среди людей.

Сраженный Пафнутий еще стоял на ногах, но уже ничего не слышал. В ушах его звучали только слова: «Таис умирает!» Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Двадцать лет изо дня в день взирал он на голову мумии, но мысль, что смерть потушит взор Таис, показалась ему чудовищной и ошеломила его.

«Таис умирает!» Непостижимые слова! «Таис умирает!» Какой страшный и новый смысл заключают в себе эти два слова! «Таис умирает!» К чему же тогда солнце, цветы, ручейки и все творение? «Таис умирает!» К чему же тогда вселенная? Вдруг он рванулся. «Увидеть, еще раз увидеть ее!» Он побежал. Он не понимал, где он, куда стремится, но внутренний голос уверенно вел его: Пафнутий направился прямо к Нилу. Полноводная река была покрыта целым роем парусов. Он вскочил в лодку, снаряженную нубийцами, и здесь, простершись на носу, пожирая глазами пространство, кричал от муки и бешенства:

— Безумец, безумец я, что не обладал Таис, когда еще было время. Безумец я, что воображал, будто в мире есть что-то, кроме нее! О безрассудство! Я помышлял о боге, о спасении души, о вечной жизни, словно все это имеет какую-то ценность для того, кто видел Таис. Как не понял я, что в одном поцелуе этой женщины заключается вечное блаженство, что без нее жизнь лишена смысла и превращается всего-навсего в дурной сон? О глупец! Ты видел ее и мечтал о благах иного мира! О трус! Ты видел ее и побоялся бога! Бог! Небеса!

Что в них? Разве могут они предложить тебе нечто, что хоть в малой степени возместит дары, которые она принесла бы тебе? О жалкий безумец, искавший где-то божьей благодати, когда она только на устах Таис! Чья рука заслонила твой взор? Будь проклят тот, кто тогда лишил тебя зрения! Ценою вечного осуждения ты мог заплатить за мгновение ее любви и не воспользовался этим! Она открывала тебе объятия, созданные из плоти и из благоухания цветов, а ты не бросился к ней, не приник к ее обнаженным персям, чтобы вкусить несказанный восторг! Ты послушался голоса, который завистливо говорил тебе: «Воздержись!» Глупец, глупец, ничтожный глупец! О сожаление! О раскаяние! О безнадежность! Ты мог бы унести с собою в ад радостное воспоминание о незабываемом мгновении и крикнуть богу: «Жги мое тело, иссуши всю кровь в моих жилах, переломай мне кости, — тебе не отнять у меня воспоминания, от которого будет веять благоуханием и прохладой во веки веков! Таис умирает! Жалкий бог, если бы ты только знал, как я презираю твой ад. Таис умирает и уже никогда не будет моей, — никогда, никогда!»

И в то время как стремительное течение уносило лодку, он целыми днями лежал, твердя: — Никогда, никогда, никогда!

Потом, вспомнив, что она отдавалась, но не ему, а другим, что она излила на мир целое море любви, а он даже не смочил в нем своих губ, он дико вскакивал и был от нестерпимых мук. Он раздирал ногтями грудь и кусал себе руки. Он думал: «Если бы только я мог убить всех, кого она любила!»

Мысль об убийстве этих мужчин наполняла его упоительной яростью. Он мечтал о том, как он медленно, с наслаждением задушит Никия и при этом вопьется взглядом в его глаза. Потом неистовство его вдруг стихало. Он плакал, рыдал. Он становился слабым и кротким. Душа его смягчалась несказанной нежностью. Его охватывало желание броситься на шею к товарищу детства и сказать ему: «Никий, я тебя люблю, раз ты любил ее. Расскажи мне о ней! Повтори мне то, что она тебе говорила». А слова: «Таис умирает!» — беспрестанно пронзали его сердце.

— Свет полуденный! Серебристые ночные тени, звезды, небеса, колышущиеся вершины деревьев, дикие звери, домашние животные, мятущиеся людские души, слышите ли вы? «Таис умирает!» Солнце, ветерки и благоухания — сгиньте! Рассейтесь, обличья и помыслы вселенной! «Таис умирает!» Она была украшением мира, и все, что приближалось к ней, сияло отсветами ее красоты. Как хороши были и старик и мудрецы, возлежавшие вместе с ней за пиршественным столом в Александрии! Как сладкозвучны были их речи! Целый рой ликующих образов порхал на их устах, и благоуханием неги были напоены все их мысли. Дыхание Таис парило над ними, и поэтому все, что они говорили, была любовь, красота, истина. Пленительное безбожие наделяло своим изяществом их речи. В них непринужденно выражалось все великолепие человека. Увы, и все это теперь только сон. Таис умирает! Пусть ее смерть сразит и меня! Да можешь ли ты умереть, чахлый росток, зародыш, уморенный в горечи и бесплодных слезах? Презренный выродок, тебе ли вкусить смерть, тебе ли, не знавшему, что такое жизнь? Лишь бы существовал бог, и лишь бы он проклял меня! Я надеюсь на это, я этого хочу. Ненавистный бог, услышь меня. Порази меня своим проклятием. Чтобы принудить тебя к этому, я плюю тебе в лицо. Мне необходимы вечные муки ада, дабы я мог вечно изливать клокочущую во мне ярость.

На заре у порога скита Альбина приняла антинойского настоятеля.

— Добро пожаловать в наши мирные скинии, досточтимый отче, ибо ты, разумеется, пришел, чтобы благословить праведницу, которую ты дал нам. Тебе ведомо, что господь в

милосердии своем призывает ее к себе; да и как не знать тебе весть, которую ангелы возгласили во всех пустынях? Да, Таис приближается к блаженной кончине. Подвиги ее завершены, и я должна вкратце рассказать тебе о том, как она жила среди нас. После твоего ухода, когда она осталась в келье, запечатанной твоей печатью, я послала ей вместе с пищей флейту, вроде тех, на каких играют во время пиршеств девушки одного с нею ремесла. Я сделала это для того, чтобы она не затосковала, а предстала перед ликом божьим с неменьшей прелестью и с теми же талантами, какие она являла людям. Я поступила разумно, ибо Таис каждый день воздавала на флейте хвалу создателю, и девственницы, привлеченные звуками невидимой флейты, говорили: «Мы слышим соловья, поющего в небесных кущах, и умирающего лебедя распятого Христа». Так Таис искупала свои прегрешения; вдруг, на шестидесятый день, дверь, запечатанная тобою, сама собою растворилась, а глиняная печать распалась, хотя ее не трогала ни одна человеческая рука. По этому знаку я поняла, что искус, который ты наложил на Таис, пришел конец и что господь простил ей ее грехи. С той поры она стала жить общей жизнью с моими питомицами, стала работать и молиться вместе с ними. Скромность ее поведения и речей служила им примером, и она была среди них как бы образом целомудрия. Случалось ей и взгрустнуть, но эти тучки быстро рассеивались. Когда я заметила, что она сочеталась с богом узами веры, надежды и любви, я решила воспользоваться ее искусством и даже ее красотой в назидание сестрам. Я просила ее представить перед нами дела достославных жен и мудрых дев, о которых говорится в Писании. Она изображала Эсфирь, Дебору, Юдифь, Марию — сестру Лазаря и Марию — мать Христа. Я знаю, досточтимый отче, что твоя суровость возмутится при мысли о таких зрелищах. Но ты и сам умилился бы, если бы видел, как она проливала при этом благочестивом представлении истинные слезы и воздевала к небесам руки, стройные, как пальмы. Я уже давно руковожу женщинами, и я взяла себе за правило не перечить их природе. Не все семена дают одинаковые плоды. Не все души очищаются одинаково. Надо принять во внимание и то, что Таис посвятила себя богу, пока еще была красива, а такая жертва, если и случается, так очень редко... Красота, природное одеяние Таис, еще не покинула ее, несмотря на то, что лихорадка, от которой она умирает, мучит ее уже четвертый месяц. С тех пор как она захворала, она беспрестанно выражает желание видеть небо, поэтому я велю каждое утро выносить ее во двор, к колодцу, под древнюю смоковницу, в тени которой старшие сестры этого скита обычно собираются на совет; там ты и найдешь ее, досточтимый отче. Но поспешай, ибо господь призывает ее к себе, и прекрасное лицо, созданное богом ради соблазна и назидания миру, к вечеру уже будет скрыто саваном.

Пафнутий пошел вслед за Альбиной по двору, залитому утренним светом. На краю черепичной крыши сидели голуби, образуя словно жемчужную нить. Под сенью смоковницы на ложе покоилась Таис, вся белая, с руками, скрещенными на груди. По сторонам от нее стояли женщины под покрывалами; они читали отходную.

— Сжался надо мною, господи, по великой милости твоей, и отпусти грехи мои по множеству щедрот твоих!

Он окликнул ее:

— Таис!

Она приоткрыла веки и обратила померкший взгляд в ту сторону, откуда слышался голос.

Альбина сделала женщинам знак, чтобы они немного отошли.

— Таис, — повторил монах.

Она приподняла голову; легкий шепот слетел с ее побелевших губ:

— Это ты, отче? Помнишь, как мы срывали финики и пили воду из источника? В тот

день, отче, я родилась для любви... для жизни.

Она умолкла, и голова ее опустилась на грудь.

Смерть витала над нею, и капли холодного пота венчали ее чело. Жалобный крик горлицы нарушил торжественную тишину. Потом к заунывным напевам девственниц примешались рыдания монаха.

— Избавь меня от скверны моей и очисти меня от грехов моих. Ибо я сознаю неправоту свою, и мерзость моя беспрестанно восстает на меня.

Вдруг Таис приподнялась. Ее фиалковые глаза широко раскрылись, и, блуждая взором, протянув руки к далеким холмам, она ясным и звонким голосом произнесла:

— Вот они, розы немеркнувшей зари!

Глаза ее сияли; легкий румянец расцветил ее щеки. Она оживала и была упоительнее, прекраснее, чем когда-либо. Пафнутий бросился на колена, и его черные руки обвились вокруг ее тела.

— Не умирай, — кричал он каким-то странным голосом, которого сам не узнавал. — Я люблю тебя, не умирай! Слушай, моя Таис! Я обманул тебя, я всего лишь жалкий безумец. Бог, небеса, все это — ничто. Истинна только земная жизнь и любовь живых существ. Я люблю тебя! Не умирай, этого не может быть, ты слишком хороша. Пойдем, пойдем со мною. Бежим! Я унесу тебя на руках далеко-далеко. Уйдем, будем любить друг друга. Услышь же меня, о возлюбленная моя, и скажи: «Я буду жить, я не хочу смерти». Таис, Таис, восстань!

Она не слышала его. Взор ее тонул в бесконечности.

Она прошептала:

— Небо разверзается. Я вижу ангелов, пророков и святых... Среди них — добрый Феодор, руки у него полны цветов; он улыбается и зовет меня... Два серафима летят ко мне. Они приближаются... как они прекрасны!.. Я вижу бога.

Она радостно вздохнула, и голова ее безжизненно откинулась на подушку. Таис преставилась. Пафнутий в отчаянии обнимал ее, снедаемый вожделением, бешенством и любовью.

Альбина крикнула ему:

— Уходи, проклятый!

И она нежно коснулась пальцами век усопшей. Пафнутий попятился, шатаясь; ему казалось, что языки пламени лижут ему глаза, а земля расступается под его ногами.

Монахини запели псалом Захарии:

— Благословен господь, бог Израиля!

Вдруг голоса их оборвались. Они увидели лицо монаха и разбежались, крича:

— Вампир! Вампир!

Он стал таким отвратительным, что, проведя рукой по лицу, сам почувствовал свое безобразие.

ХАРЧЕВНЯ КОРОЛЕВЫ ГУСИНЫЕ ЛАПЫ^[94] (LA RÔTISSERIE DE LA REINE PÉDAUQUE)

Подлинная рукопись, написанная прекрасным почерком XVIII века, имеет подзаголовок: «Жизнь и суждения господина аббата Жерома Куаньяра». (Прим. издателя.)

Я решил поведать миру о тех примечательных встречах, что произошли на моем веку. Бывали встречи прекрасные, бывали и странные. Перебирая их в памяти, я и сам подчас сомневаюсь, уж не пригрезилось ли мне все это. Знавал я одного кабалиста-гасконца; не скажу, чтобы он блистал особой мудростью, поскольку погиб столь нелепым образом, но однажды ночью на Лебязьем острове он вел со мной возвышенную беседу, смысл каковой я, по счастью, удержал в памяти и озаботился занести на бумагу. Предметом его речей была магия и оккультные науки, к которым нынче весьма пристрастились. Только и слышно разговоров, что о розенкрейцерах^[95]. Не льщусь, однако ж, мыслью, что откровения гасконца послужат к моей славе. Одни скажут, будто все выдумал я сам и что учение это не истинное; другие же — что передаю я вещи давным-давно всем известные. Не скрою, сам я не слишком силен в кабалистике, ибо мой гасконец погиб, успев ввести меня лишь в преддверие ее тайн. Но даже то малое, что узнал я об этом искусстве, наводит меня на мысль, что все в нем лишь обман, заблуждение и суета. Впрочем, одно уж то, что магия противоречит религии, способно навеки отвратить меня от подобных занятий. Тем не менее почитаю своим прямым долгом дать разъяснение по одному вопросу этой лженауки, дабы не прослыть в глазах людей еще большим невеждой, чем есть я на самом деле. Мне ведомо, что кабалисты обычно полагают, будто сильфы, саламандры, эльфы, гномы и гномиды рождаются на свет со смертной, как и тело их, душою, приобретают же они бессмертие лишь чрез общение с магами^[96]. Мой же кабалист, напротив того, учил, что жизнь вечная не может быть ничьим уделом, будь обиталищем живого существа земля или воздух. Я старался следовать ходу его мысли, воздерживаясь от какого-либо суждения.

Мой кабалист любил повторять, что эльфы умерщвляют каждого, кто раскроет их тайну, и приписывал кончину г-на аббата Куаньяра, убитого на Лионской дороге, мстительности этих духов. Я же прекрасно знаю, что смерть эта, которую никогда не перестану оплакивать, произошла в силу куда более естественных причин, и позволяю себе совершенно свободно толковать о духах воздуха и огня. Любого из нас подстерегают опасности в жизни, эльфы же представляют опасность наименьшую.

С усердием собрал я суждения моего доброго учителя г-на аббата Жерома Куаньяра, о смерти коего уже упоминал выше. Был он человеком великой учености и благочестия. Если бы природа не наделила его столь спокойной душой, он несомненно сравнялся бы в добродетели с г-ном аббатом Роленом^[97], которого превосходил как обширностью знаний, так и глубиной ума. Впрочем, полная тревожений жизнь дала ему еще и то неоспоримое преимущество перед г-ном Роленом, что он не впал в янсенизм. Ибо устои духа его были

слишком прочны, и не могли их поколебать неистовые и предрезостные доктрины; я сам готов свидетельствовать перед богом о чистоте его верований. В общении с людьми самыми разнообразными почерпнул он знание света. Этот опыт весьма бы ему пригодился при написании истории римлян, чем он несомненно занялся бы по примеру г-на Ролена, если позволило бы время и если бы обстоятельства жизни более споспешествовали его дарованиям. То, что я расскажу об этом превосходнейшем человеке, послужит к украшению моих воспоминаний. И подобно Авлу Гелию, который отвел страницы своих «Аттических ночей» избранным речениям философов, подобно Апулею, который в своих «Метаморфозах» приводит чудесные сказания греков, задумал и я, подражая пчеле, собрать с ее упорством наитончайший мед. Никогда не осмелюсь притом тешить себя лестной мыслью о соперничестве с этими двумя великими Мужами, ибо я черпаю свои богатства в житейских воспоминаниях, а не в усердном чтении. Моя лепта — в совершенной чистоте помыслов. Ежели кому придет охота прочесть мои записки, он признает, что одна лишь чистая душа могла излить себя в таких простых и незамысловатых словах. С кем бы я ни общался, я всегда слыл человеком бесхитростным, и писания мои лишь укрепят это мнение после того, как я покину земную юдоль.

* * *

Зовут меня Эльм-Лоран-Жак Менетрие. Отец мой Леонар Менетрие держал на улице св. Иакова харчевню под вывеской «Королева Гусиные Лапы»; королева эта, как известно, имела перепончатые лапки наподобие гуся или утки.

Наш навес возвышался как раз против церкви Бенедикта Увечного, между г-жой Жилье, — галантерейная лавочка «Три девственницы», — и г-ном Блезе, — книготорговля «Под образом св. Екатерины», — неподалеку от «Малютки Бахуса», чья решетка, увитая виноградными листьями, выходила на угол Канатной улицы. Батюшка весьма меня любил, и, когда после ужина меня укладывали в кроватку, он, взяв мою ручонку, перебирал один за другим все пальцы, начиная с большого, и приговаривал:

— Этот по воду ходил, этот дрова носил, этот огонь разводил, этот кашку варил. А мизинчику не дали... Кашки, кашки, кашки, — прибавлял он, щекоча моим же мизинцем мою ладонь.

И громко смеялся. Я тоже смеялся, засыпая, и матушка уверяла, что еще поутру на губах моих играла улыбка.

Батюшка был не только отменный харчевник, но и человек богобоязненный. Поэтому-то в праздничные дни он носил цеховое знамя харчевников, на котором был искусно вышит святой Лаврентий со своим рашпером и золотой пальмовой ветвью. Отец мой часто говаривал:

— Жако, твоя матушка — святая и достойная женщина.

Эти слова он повторял при каждом удобном случае. И впрямь, матушка каждое воскресенье отправлялась в церковь, прихватив книгу, напечатанную крупным шрифтом. Ибо мелкие буквы она разбирала с трудом и жаловалась, что от них в глазах рябит. Каждый вечер

батюшка часок-другой проводил в кабачке «Малютка Бахус», куда заглядывали также Жаннета-арфистка и Катрина-кружевница. И всякий раз, когда он возвращался домой, чуть запоздав против обычного, он, надевая на ночь полотняный колпак, умильно возглашал:

— Барб, почивайте с миром. Только что я говорил хромому ножовщику: моя супруга — святая и достойная женщина.

Мне минуло шесть лет, когда в один прекрасный день батюшка, обдернув свой передник, что служило у него признаком решимости, повел такую речь:

— Наш добрый пес Миро вращал вертел целых четырнадцать лет. Он безупречно нес свою службу. Этот честный работяга ни разу не стащил даже кусочка индейки или гуся. И довольствовался он за свой труд одной наградой — разрешением вылизывать противни. Но он стареет. Лапы его не слушаются, глаза слепнут, и куда ж ему вращать вертел. Тебе, Жако, тебе, сынок, пора занять его место. Привычка и сообразительность помогут справиться с делом не хуже нашего Миро.

Миро слушал наш разговор и одобрительно вилял хвостом. А батюшка продолжал:

— Итак, ты будешь сидеть на этой скамеечке и вращать вертел. Но чтобы образовать свой ум, ты будешь твердить букварь, и когда со временем сможешь различать все печатные буквы, то выучишь наизусть какую-нибудь книжку, грамматику, или там притчи, или же прекрасные изречения из Ветхого и Нового Завета. Ибо познание господа и умение отличить добро от зла необходимо человеку, занятому даже ремеслом, пусть нехитрым, но зато достойным, каковое есть мое ремесло, было ремеслом моего родителя и, если будет на то милость божья, станет и твоим.

С того самого дня, сидя от зари до зари в уголке у очага, я вращал вертел, держа на коленях открытый букварь. Один добрый капуцин с сумой за плечами, как-то заглянув в нашу харчевню в надежде получить подавание, стал учить меня грамоте. В это занятие он вкладывал тем более охоты, что батюшка, почитавший науки, оплачивал уроки добрым куском индюшатины и полным стаканом вина; наконец брат капуцин, убедившись, что я достаточно бойко составляю слоги и даже целые слова, принес мне назидательное «Житие святой Маргариты» и стал учить меня по этой книге беглому чтению.

В один прекрасный день, положив по обыкновению свою котомку на прилавок, капуцин уселся рядом со мной, засунул босые ноги в теплый еще пепел очага и заставил меня в сотый раз повторить:

Дева чистая, святая,
При родах нам помогая,
Смилуйся над нами.

В эту самую минуту дверь распахнулась, и мужчина дородного телосложения, однако благородной осанки, в священническом облачении, переступил порог харчевни и зычно позвал:

— Эй, хозяин, подайте-ка мне кусок мяса, да по-сочнее!

Несмотря на седину, он, казалось, был полон сил и не стар годами. На губах его играла веселая улыбка, а взгляд был живой. Чуть отвислые щеки вместе с тройным подбородком величественно спускались до самых брыжей, которые из сочувствия ко всему прочему покрылись слоем жира, под стать шее, не вмещавшейся в воротнички.

Мой батюшка, который славился любезностью даже среди харчевников, стащил с головы колпак и, поклонившись, сказал:

— Ежели вы, ваше преподобие, соблаговолите погреться у камелька, через минуту-другую я подам все, что вы пожелаете.

Аббат не заставил себя просить и присел перед очагом рядом с моим капуцином. Услышав, что тот тянет вслух:

Дева чистая, святая,
При родах нам помогая... —

новоприбывший хлопнул в ладоши и воскликнул:

— Ого! Птичка редкостная! Чудо-человек! Капуцин, умеющий читать! Как же вас звать, братец?

— Брат Ангел, недостойный капуцин, — отвечал мой наставник.

Услышав чужие голоса, матушка, влекомая любопытством, спустилась из верхней горницы.

Аббат приветствовал ее вежливо, но уже как старый знакомый, и обратился к ней со следующими словами:

— Вот что достойно изумления, сударыня: брат Ангел — капуцин и, однако, умеет читать!

— Он может разобрать любую руку, — подхватила матушка.

И, приблизившись к брату Ангелу, она узнала молитву св. Маргариты по картинке, на которой изображена была святая дева-великомученица с кропилом в руках.

— Молитву эту, — добавила матушка, — очень трудно прочесть, потому что слова тут крохотные, одно к другому лепится. На счастье страждущих, достаточно приложить ее вместо пластыря к наболевшему месту, и она окажет действие ничуть не слабее, а пожалуй, и посильнее, чем при чтении вслух. Я сама, сударь, это на себе испытала, когда разрешалась от бремени сыном моим Жако, здесь присутствующим.

— И не сомневайтесь, добрейшая сударыня, — подхватил брат Ангел. — Молитва святой Маргариты доходчивее прочих при тех обстоятельствах, о коих вы изволили упомянуть, особенно если не забывать милостью своей капуцинов.

С этими словами брат Ангел осушил полную до краев чарку, которую ему поднесла матушка, закинул свою суму за спину и направился в сторону «Малютки Бахуса».

Батюшка подал аббату четверть жареной индейки, а тот, вынув из кармана ломоть хлеба, скляницу вина и нож, медная рукоятка коего изображала нашего усопшего государя^[98] в облиции римского императора, водруженного на античную колонну, принялся за еду.

Но, положив в рот первый кусок, аббат оборотился к батюшке и попросил соли, выразив удивление, что на стол своевременно не поставили солонки.

— Таков, — сказал он, — обычай древних. Они предлагали гостю соль в знак гостеприимства. И также ставили солонки в храмах на пелену у языческих алтарей.

Батюшка подал крупную серую соль, хранившуюся в деревянном башмаке, который обычно висел у очага. Аббат густо посолил жаркое и произнес:

— Древние почитали соль необходимейшей приправой ко всем блюдам и так ее ценили, что иносказательно называли «солью» те остроумные слова, которыми приправляют беседу.

— Ах, — вздохнул батюшка, — как бы ни ценили соль ваши древние, нынче она по причине налогов в еще большей цене.

Не переставая шевелить спицами, матушка, вязавшая шерстяной чулок, обрадовалась

случаю вставить словечко.

— Надо полагать, — начала она, — что соль и впрямь хорошая штука, коли священник кладет крупицу ее на язык младенца во время обряда крещения. Когда мой Жако почувствовал на языке вкус соли, он весь сморщился, потому что уже тогда, будучи совсем крошкой, отличался умом. Я говорю, господин аббат, о моем сыне Жаке, здесь присутствующем.

Взглянув на меня, аббат сказал:

— Сейчас он уже совсем большой мальчик. На лице его написана скромность, и он со вниманием читает «Житие святой Маргариты».

— Это еще что! — подхватила матушка. — Он читает и молитву против ознобления и молитву святого Юбера, каким научил его брат Ангел, и еще историю про одного человека, которого в предместье Сен-Марсель пожрали дьяволы, так как он хулил святое имя господне.

Батюшка, с умилением глядя на меня, нагнулся к аббату и шепнул ему на ухо, что я-де по врожденной своей природной понятливости могу выучить все что угодно.

— Стало быть, — проговорил аббат, — надобно его приобщить к изящной словесности, каковая возвышает человека в глазах общества, служит утешением противу житейских бед и лекарством ото всех недугов, даже любовных, как утверждал поэт Феокрыт^[99].

— Пусть я всего-навсего лишь скромный харчевник, — отвечал батюшка, — но я почитаю науки и верю, что они служат, как говорит ваша милость, лекарством от любви. Однако ж сомневаюсь, чтобы они могли стать лекарством от голода.

— Возможно, их нельзя уподобить всеисцеляющей мази, — возразил аббат, — но все же они приносят кое-какое облегчение на манер умягчающего, хоть и несовершенного бальзама.

Так говорил он, как вдруг на пороге харчевни показалась Катрина-кружевница со сбитым на сторону чепцом и изрядно помятой косынкой. При виде ее матушка нахмурилась и спустила две-три петли на своем вязании.

— Господин Менетрие, — обратилась Катрина к батюшке, — пойдите замолвите словечко дозорным стражам, иначе они непременно засадят брата Ангела за решетку. Достойный братец только что явился в «Малютку Бахуса», где и выкушал две, а может, три кружки пива, за которые не заплатил, опасаясь, по его словам, преступить правила, преподанные святым Франциском^[100]. Но худо другое: увидев, что я сижу в беседке с веселой компанией, он подошел, желая научить меня новой молитве. Я сказала, что сейчас для этого не время, но так как он упорствовал, колченогий ножовщик, с которым мы сидели рядышком, дернул его, и пребольно, за бороду. Тогда брат Ангел набросился на ножовщика, и тот покатился на землю, опрокинув стол и стоявшие на нем кувшины. На шум прибежал хозяин и увидел, что стол опрокинут, вино разлилось, а брат Ангел, придавив ногой голову ножовщика, размахивает табуретом и того, кто посмеет подойти, бьет не глядя; тогда зловредный хозяин начал ругаться последними словами и побежал за стражниками. Идите скорее, господин Менетрие, идите не мешкая, вызволите несчастного братца из лап стражников. Он святой человек и в этом деле заслуживает прощения.

Вообще-то батюшка охотно угождал Катрине. Однако на сей раз слова кружевницы не произвели на него того действия, на какое она рассчитывала. Он заявил, что находит непростительным подобное поведение со стороны капуцина и желает, чтобы того поскорее посадили на хлеб и воду в самую что ни на есть мрачную дыру, в подземелье той обители, чьим позором и бесчестьем он сделался.

С каждым словом батюшка все больше распалялся:

— Чтоб какой-то пьяница и развратник, кому я каждый божий день даю чарку доброго вина и самые жирные куски, отправился озорничать в кабак с гулящими девицами, которые

до того уж дошли, что предпочитают общество бродячего ножовщика и капуцина обществу честных торговцев, облеченных доверием всего квартала! Какого черта!

Тут батюшка вдруг прервал свою отповедь и украдкой взглянул на матушку; она, вытянувшись, стояла у лестницы, сурово и резко шевеля спицами.

Катрина, удивленная столь нелюбезным приемом, сухо проговорила:

— Стало быть, вы не хотите замолвить за него словечко перед кабатчиком и перед стражниками?

— Если прикажете, я им скажу словечко, — посоветую забрать вместе с капуцином и ножовщика.

— Как же так! — воскликнула кружевница со смехом. — Ведь ножовщик ваш друг.

— Не так мой, как ваш, — гневно отрезал батюшка. — Этот-то бродяга, разносчик, да еще хромой.

— Ах, вот оно в чем дело, — хихикнула Катрина, — верно, он хромает. Но хропать-то хромает, да в цель попадает!

И, громко смеясь, она покинула харчевню.

Батюшка повернулся к аббату, который аккуратно соскабливал ножом с индюшачьей ноги остатки мяса:

— Так вот, как я уже имел честь докладывать вашей милости, за каждый урок чтения и письма, который этот капуцин давал моему сыну, я платил ему чаркой вина и лакомым куском — зайчатины, крольчатины, гусятин, а то и пулярки или каплуна. Он просто пьянчужка и забулдыга!

— Будьте благонадежны, — подхватил аббат.

— Попробуй он только переступить порог харчевни, я его грязной метлой прогоню.

— И отлично сделаете, — одобрил аббат. — Этот капуцин сущий осел, и учил-то он вашего сына не столько человеческой речи, сколько ржанию. Бросьте в огонь «Житие святой Маргариты», молитву против обмораживания и все эти истории про оборотней, которыми монах отравлял разум отрока, — и вы совершите благое дело. За ту цену, что получал от вас брат Ангел, я сам согласен давать уроки, я обучу это дитя латыни и греческому, обучу даже французской речи, над усовершенствованием коей немало потрудились Вуатюр и Бальзак^[101]. Таким образом, благодаря двойной и редкостной удаче сей юный вертеловерт, сей Жако Турнеброш^[102], станет ученым мужем, а я буду каждодневно обедать.

— По рукам! — вскричал батюшка. — Принесите-ка нам, Барб, две чарки. Пока обе стороны не чокнутся в знак согласия — дело не пойдет. Разопьем вино здесь. Ноги моей больше не будет в «Малютке Бахусе», только бы подальше от этого ножовщика и этого капуцина.

Аббат поднялся с места и, опершись на спинку стула, произнес медленным, торжественным тоном:

— Прежде всего благодарю тебя, создатель, творец и попечитель всего сущего, за то, что ты привел меня в сей дом хлебодарный. Один лишь ты направляешь наши стопы, и в делах повседневных узнаем мы твои предначертания, хотя было бы весьма дерзко, а то и просто неуместно следовать им слишком неукоснительно. Ибо каждый наш шаг направляет божественная длань, ее обнаруживаем мы в любых делах, само собой разумеется возвышенных, коль скоро в них сказывается воля божья, и, однако ж, низменных и смехотворных, коль скоро в них участвуют люди, а воля его открывается нам только в своей человеческой ипостаси. Посему не будем, как то делают капуцины и простодушные женщины, при виде козявки вопить, что ползет она-де, выполняя промысел божий. Воздадим

хвалу отцу небесному, помолимся ему, дабы просветил он меня в тех знаниях, какие я надеюсь передать этому отроку, а что касается всего прочего, положимся на его святую волю, не пытаюсь понять ее через малое.

Потом, подняв чарку, он отхлебнул чуть не половину.

— Вино, — сказал он, — вносит в состав человеческого тела приятное и оздоравливающее тепло. Влага сия достойна быть воспета на Теосе или в Тамиле князьями вакхической поэзии Анакреоном и Шолье^[103]. Мне хочется омочить вином губы юного моего ученика.

Он поднес чарку к моему подбородку и воскликнул:

— Пчелы Академии, сюда, сюда, спуститесь благозвучным роем на уста Якобуса Турнеброша, посвященные отныне музам.

— О господин аббат, — вмешалась матушка, — вино и вправду привлекает пчел, особенно сладкое вино. Но зачем этим злыдням, этим мухам садиться на губы моего Жако, ведь они пребольно жалят. Как-то раз я надкусила персик, а пчела возьми да и ужаль меня в язык, от боли я света божьего невзвидела. И полегчало мне лишь тогда, когда брат Ангел положил мне на язык щепотку земли, смешанной со слюною, и прочел молитву святому Козьме.

Аббат разъяснил матушке, что о пчелах он упомянул в иносказательном смысле. А батюшка, не сдержавшись, упрекнул ее:

— Барб, вы святая и достойная женщина, но я сотни раз замечал за вами прискорбную слабость врываться очертя голову в серьезную беседу, забывая, что хуже всего соваться в воду, не спросясь броду.

— Может, и так, — согласилась матушка. — Но, если бы вы слушались моих советов, Леонар, вам же было бы лучше. Понятно, я не разбираюсь во всех пчелах, какие бывают на свете, но я понимаю, как нужно вести дом и что полагается делать мужчине в годах, отцу семейства и знаменосцу цеха, дабы сохранить приличие и благонравие.

Батюшка поскреб за ухом и налил вина аббату, который произнес со вздохом:

— Увы, в наши дни наука не столь почитаема во Французском королевстве, как была она почитаема у римского народа, хотя к тому времени, когда риторика возвысила Евгения до императорского сана^[104], римляне уже утратили свои древние добродетели. В наш век не редкость видеть сведущего человека на чердаке без света и огня. Exemplum ut talpa^[105]. Тому примером я.

Тут он поведал нам историю своей жизни, каковую и привожу дословно, разве что за исключением тех мест, которые я, по детскому своему недомыслию, не мог уразуметь, а следовательно, и удержать в памяти. Надеюсь, что мне все же удалось восстановить пробелы, пользуясь теми признаниями, какие делал он позднее, когда удостоил меня своей дружбы.

* * *

— Таким, каким вы видите вашего покорного слугу, — начал аббат, — или, вернее сказать, таким, каким вы меня не видите, — ибо тогда был я молод, строен, черноволос и быстроглаз, — я преподавал свободные искусства в коллеже Бове под началом господ Дюге,

Герена, Коффена и Баффье. Я получал награды и надеялся составить себе громкое имя в науках. Но женщина разбила все мои чаяния. Звалась она Николь Пигоро и держала книготорговлю под вывеской «Золотая библия» на площади перед самым коллежем. Я был завсегдатаем ее лавочки и без конца листал книги, полученные из Голландии, равно как иллюстрированные издания, снабженные весьма учеными сносками, толкованиями и комментариями. Я был пригож собой, и, на мою беду, госпожа Пигоро не преминула это заметить. Была она премиленькая и могла еще нравиться. Глаза ее говорили красноречивее слов. В один прекрасный день Цицерон и Тит Ливий, Платон и Аристотель, Фукидид, Полибий и Варрон, Эпиктет, Сенека, Боэций и Кассиодор, Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Плавт и Теренций, Диодор Сицилийский и Дионисий Галикарнасский, святой Иоанн Златоуст и святой Василий, святой Иероним и блаженный Августин, Эразм, Сомез, Тюрнеб и Скалигер, святой Фома Аквинский, святой Бонавентура, Боссюэ в компании с Ферри, Ленен, Годфруа, Мезерэ, Мейнбург, Фабрициус, отец Лелон и отец Питу, все поэты, все ораторы, все историки, все отцы церкви, все ученые мужи, все теологи, все гуманисты, все компиляторы, сверху донизу заполнившие стены, стали свидетелями нашего первого поцелуя.

— Я ни в чем не могу вам отказать, — сетовала Николь, — только не возымейте обо мне худого мнения.

В выражении своей безумной любви она не знала удержа. Как-то раз она примерила мне кружевные брыжи с кружевными манжетами и, решив, что я в них просто душка, потребовала, чтобы я взял их себе. Я, понятно, отказался. Но так как мой отказ она сочла оскорблением для своей любви и разгневалась, я согласился принять ее дар, боясь вызвать неудовольствие милой.

Счастье мое длилось до того самого дня, когда меня сменил некий офицер. Легко представить себе, как глубоко был я уязвлен; горя жаждой мести, я довел до сведения попечителей коллежа, что больше в «Золотую библию» я не ходок, ибо опасаясь стать свидетелем сцен, могущих оскорбить скромность юного священнослужителя. Признаюсь откровенно, затея оказалась не из самых удачных, так как госпожа Пигоро, проведая о распускаемых на ее счет слухах, объявила под рукой, будто я стянул у нее кружевные манжеты и кружевные брыжи. Лживые эти жалобы достигли слуха наших попечителей, которые повелели обыскать мой сундучок, где и были обнаружены вышеупомянутые вещицы, стоившие немалых денег. Меня изгнали из коллежа, и я, по примеру Ипполита и Беллерофонта, испытал на себе, что значит женское коварство и злоба^[106]. Очутившись на улице с моими пожитками и тетрадями по элоквенции, я чуть было не умер с голоду, но, сняв свое священническое одеяние, пошел к одному вельможе-гугеноту, представился ему, он взял меня в секретари, и я стал писать под его диктовку пасквилы противу религии.

— Ну это уж, господин аббат, не к вашей чести, — воскликнул батюшка. — Порядочный человек не должен прикладывать руку к подобным мерзостям. И пусть я человек неученый, пусть занимаюсь рукомерлом, не выношу я гугенотского духа.

— Вы правы, хозяин, — ответил аббат. — То была самая черная страница в моей жизни. До сих пор меня день и ночь грызет раскаяние. Однако ж мой вельможа был кальвинист. По его приказу я громил лишь лютеран и социнианскую ересь, каковую он не терпел, и, уверяю вас, по его наущению я поносил еретиков куда более сурово, чем сама Сорбонна.

— Аминь, — сказал батюшка. — Когда волки грызутся, ягнята мирно пасутся. Аббат продолжал свой рассказ.

— Впрочем, я недолго оставался у этого вельможи, которого больше занимали письма Ульриха фон Гуттена^[107], нежели речи Демосфена, и за столом у которого пили одну чистую воду. Уйдя от него, я переменял десяток занятий и ни в одном не преуспел. Был я

носильщиком, затем комедиантом, монахом, лакеем. Потом, вновь надев священническое одеяние, определился я секретарем к епископу Сеэзскому, где и составил каталог ценнейших манускриптов, находившихся в его библиотеке. Каталог этот, представлявший собой два тома in folio, епископ поместил в своей галерее, отдав предварительно переплести в сафьян, вытеснить на переплете свой герб и позолотить обрезы. Осмелюсь сказать, что труд получился обстоятельный.

Сидеть бы мне да сидеть в тиши у моего епископа и мирно стариться за книгами. Но я полюбил горничную супруги судьи. Не осуждайте меня за то слишком сурово. Пухленькая, веселая, свежая брюнеточка, тут бы сам святой Пахомий согрешил. В один прекрасный день она в почтовой карете отправилась в Париж на поиски счастья. И прихватила меня с собой. Однако ж мне не так повезло, как ей. По ее рекомендации я поступил в услужение к госпоже Сент-Эрнест, танцовщице оперы, которая, проведав о моих талантах, пожелала продиктовать мне памфлет против мадемуазель Давилье, имея свои основания не жаловать последнюю. Я недурно исполнил роль секретаря и честно заработал обещанные мне пятьдесят экю. Книга была отпечатана в Амстердаме у Марка-Мишеля Рея с аллегорической заставкой, и мадемуазель Давилье получила первый экземпляр памфлета перед самым выходом на сцену, где ей предстояло петь знаменитую арию Армиды. От злости она охрипла, и голос ее дрожал. Пела она фальшиво и была освистана. Кое-как закончив арию, она, как была — в пудре и в фижмах, — помчалась к управителю, который ни в чем ей не мог отказать. В слезах она кинулась к его ногам, взывая о мщении. В скором времени дознались, что удар нанесен рукой госпожи Сент-Эрнест.

Не выдержав допросов, очных ставок и угроз, она назвала мое имя, и меня заточили в Бастилию, где я и провел четыре года. Единственно, что отчасти утешало меня в моем горе, было чтение Боэция^[108] и Кассиодора^[109].

Потом на кладбище святого Иннокентия я открыл лавчонку, где в качестве писца отдаю за плату влюбленным служанкам перо, достойное изображать прославленных мужей Рима и толковать писания отцов церкви. За каждое любовное письмо я получаю по два лиара и, занимаясь этим ремеслом, не столь живу, сколь умираю с голоду. Но я не забываю, что Эпиктет был рабом, а Пиррон — садовником^[110].

По счастливой случайности нынче мне перепало экю за составление подметного письма. Два дня во рту у меня маковой росинки не было. Не мешкая, я двинулся в путь на поиски харчевни. Еще с улицы я заметил вашу вывеску, огонь в очаге, приветливо играющий в окнах. Почуял уже на пороге сладостный запах съестного. И вошел. Теперь, дражайший хозяин, вы знаете всю мою жизнь.

— Жизнь честного человека, на мой взгляд, — ответил батюшка, — и, если не считать гугенотской мерзости, ничего за вами худого не водится. Вот вам моя рука! Отныне мы друзья. Как прикажете вас величать?

— Жером Куаньяр, доктор богословия, лицензиат наук.

* * *

Если что поистине замечательно во всех делах людских, так это взаимное сцепление

следствий и причин. Прав поэтому был г-н Жером Куаньяр, говоривший: «Приглядевшись хорошенько к этой странной череде ударов и ответных тычков, где сталкиваются меж собой судьбы человеческие, нельзя не признать, что господь бог в своем совершенстве наделен и остроумием, и фантазией, и чувством смешного; более того, по части чисто театральных эффектов он столь же искусен, как во всем прочем, и если бы он, вдохновивший Моисея, Давида и пророков, удостоил еще вдохновить господина Лесажа и ярмарочных сочинителей^[111], мы наслаждались бы презабавными арлекинами». И я сделался латинистом только потому, что брат Ангел был взят стражей и заключен в церковную тюрьму за то, что едва не задушил ножовщика в беседке «Малютки Бахуса». Г-н Же-ром Куаньяр честно сдержал свое слово. Он стал давать мне уроки и, убедившись в моем послушании и понятливости, с удовольствием обучал меня древней словесности. Через несколько лет он образовал из меня изрядного латиниста.

До конца жизни в моей душе не изгладится благодарная о нем память. Нетрудно понять, сколь я ему обязан; ведь, развивая мой ум, он не пренебрегал ничем, желая одновременно развить и мое сердце и душу. Он читал мне «Максимы» Эпиктета, «Проповеди» св. Василия и «Утешения» Боэция. На прекраснейших текстах знакомил он меня с философией стоиков; но лишь для того открывал он мне ее величие, дабы еще ниже низвергнуть во прах перед философией христианской. Это был тонкий богослов и добрый католик. Вера его уцелела среди обломков как самых милых его сердцу иллюзий, так и самых его законных чаяний. Слабости, заблуждения, ошибки, которые он не старался скрыть или приукрасить, даже они не могли поколебать его веру во благость провидения. И чтобы еще явственнее стал его облик, добавлю: о вечном спасении своей души он пекся неусыпно, даже в самых, казалось бы, неподходящих для того обстоятельствах. Мне он внушал принципы просвещенного благочестия. Старался он также приохотить меня к добродетели и с помощью примеров, позаимствованных из жизнеописания Зенона^[112], превратить ее для меня, так сказать, в повседневную житейскую привычку.

Надеясь показать мне все опасности пороков, он черпал аргументы из близлежащего источника и признавался, что из-за чрезмерного пристрастия к вину и женщинам он лишился чести взойти на кафедру коллежа в длинной мантии и четырехугольной шапке.

Со всеми этими редкостными достоинствами сочетались усидчивость и терпение, ибо аббат соблюдал часы наших занятий с такой неукоснительной точностью, какой трудно было ждать от человека, не защищенного от превратностей бродячей жизни и увлекаемого беспокойным потоком судьбы к приключениям не столь ученого, сколь плутовского свойства. Рвение это объяснялось его добротой, а также и его привязанностью к нашей славной улице св. Иакова, где находили себе удовлетворение все насущные потребности его, как плотские, так и духовные.

Дав с пользой для меня урок и скушав обильный обед, он отправлялся в обход, заглядывая к «Малютке Бахусу» и в лавку «Под образом св. Екатерины», так как здесь, на маленьком клочке земли, в этом раю, обретал он одновременно свежее вино и книги.

Он стал завсегдатаем г-на Блезю, книготорговца, который приветливо встречал аббата, хотя тот, перелистав все книги, ни разу не приобрел ни одной. Кто бы не залюбовался чудеснейшей этой картиной, видя, как в глубине лавки мой добрый учитель, уткнувшись носом в какую-нибудь книжицу, только что полученную из Голландии, при случае отрывался от чтения и с одинаковым знанием дела пускался в пространные и остроумные рассуждения о любом предмете, будь то планы всемирной монархии, приписываемые покойному королю, или галантные похождения некоего финансиста и девицы с театральных подмостков. Г-н Блезю никогда не уставал его слушать. Сам г-н Блезю был маленький, сухонький и чистенький

старичок, ходивший во фраке, дикого цвета панталонах и серых шерстяных чулках. Я от души восторгался им и не мыслил себе более прекрасного удела, чем торговать подобно ему книгами в лавке «Под образом св. Екатерины».

Одно воспоминание придало в моих глазах особое несказанное очарование книготорговле у г-на Блезю. Здесь, в один прекрасный день, будучи еще на заре моих лет, я впервые увидел обнаженную женщину. Вижу ее, как сейчас. То была Ева на картинке в библии. У нее был толстый живот и коротковатые ноги, и на фоне голландского пейзажа она беседовала со змием. Тогда-то я почувствовал к обладателю эстампа величайшее уважение, которое не ослабло и впоследствии, когда я, по милости г-на Жерома Куаньяра, пристрастился к книгам.

В шестнадцать лет я уже порядочно знал латынь и разбирался в греческом. Как-то добрый мой учитель сказал батюшке:

— Не находите ли вы, дорогой хозяин, что поистине непристойно держать далее юного поклонника Цицерона в наряде поваренка?

— Я об этом не думал, — признался батюшка.

— Верно, верно, — подхватила матушка, — пора одеть нашего сынка в канифасовый камзол. Внешность у него приятная, манеры хорошие, к тому же он ученый и камзола не посрамит.

Батюшка с минуту сидел в раздумье, затем спросил, пристало ли харчевнику носить канифасовый камзол? Но аббат Куаньяр возразил, что никогда мне, питомцу муз, не быть харчевником и что недалеко то время, когда я облачусь в рясу священнослужителя.

Батюшка глубоко вздохнул при мысли, что после его кончины не я буду знаменосцем славного цеха парижских харчевников. А матушка вся так и засияла от гордости и счастья при мысли, что сын ее станет священнослужителем.

Сделавшись обладателем канифасового камзола, я сразу же обрел уверенность в обхождении и почувствовал необходимость составить себе о женщинах более полное представление, нежели то, какое я некогда получил от созерцания Евы г-на Блезю. Я справедливо рассудил, что в этом мне могут помочь Жаннета-арфистка и Катрина-кружевница, которые по двадцать раз на дню проходили мимо нашей харчевни, и, когда стояла дождливая погода, я беспрепятственно мог любоваться тоненькой лодыжкой и крохотной ножкой, нащупывавшей носком сухие камни. Красотой Жаннета уступала Катрине. Была она и постарше и не так щеголяла нарядами. Будучи родом из Савои, она и похожа-то была на сурка, так как подбирала волосы под клетчатый платок. Зато у нее имелось одно бесспорное достоинство: наша арфистка не особенно чинилась и понимала, чего от нее хотят, еще прежде, чем к ней обращались с просьбой. Словом, характер ее вполне отвечал моей робости. Как-то вечером на паперти св. Бенедикта Увечного, уставленной каменными скамьями, Жаннета обучила меня той науке, что была мне еще неведома, но в которой она давно уже понаторела. Но я не чувствовал должной признательности к своей наставнице и мечтал лишь о том, как бы поскорее применить преподанную ею науку к другим, более привлекательным особам. Добавляю в извинение своей неблагодарности, что и сама Жаннета-арфистка придавала этим урокам не больше значения, нежели придавал им я, и она охотно оказывала подобные услуги всем ветрогонам нашего околотка.

Катрина, отличавшаяся большей сдержанностью манер, внушала мне непобедимую робость, и я не осмеливался сказать ей, что нахожу ее очаровательной. Особенно же усиливало мое смущение то, что она беспрерывно высмеивала меня и не упускала случая, чтобы меня поддразнить. Чаще всего она шутила по поводу моего еще безволосого подбородка, отчего я краснел и готов был сквозь землю провалиться. Заметив ее, я напускал

на себя мрачный и грустный вид. Я притворялся, будто пренебрегаю ею. Но слишком была она хороша, чтобы я действительно мог ею пренебречь.

* * *

В ту ночь, в ночь девятнадцатой годовщины моего рождения и крещенский сочельник, когда с неба сыпался мокрый снег и в промозглой сырости под порывами ледящего ветра скрежетала вывеска нашей «Королевы Гусиные Лапы», — яркий огонь, благоухавший гусиным салом, озарял нашу харчевню, и миска с дымящимся супом уже красовалась на белоснежной скатерти, покрывавшей стол, вокруг которого сидели г-н Жером Куаньяр, мой батюшка и я. Следуя установленному обычаю, матушка стояла за стулом хозяина дома, готовая служить ему. Батюшка уже налил полную тарелку аббату, как вдруг дверь распахнулась и пред нами предстал брат Ангел с белым как мел лицом и багровым носом; с бороды его ручьями стекала вода. От удивления батюшка так взмахнул разливательной ложкой, что чуть было не задел закопченных балок потолка.

Удивление батюшки было вполне объяснимо. После первого своего исчезновения, длившегося полгода, вследствие драки с колченогим ножовщиком, брат Ангел на сей раз целых два года не давал о себе знать. В один весенний день он исчез из города вместе с ослом, нагруженным священными реликвиями, и, что много хуже, вместе с Катриной-кружевницей в монашеском одеянии. Никто не знал, что с ними случилось, однако в «Малютке Бахусе» прошел слух, что братец и сестрица имели неприятности с духовным судьей где-то меж Туром и Орлеаном. Уж не говоря о том, что викарий обители св. Бенедикта вопил как оглашенный, что этот мерзопакостник-капуцин похитил у него осла.

— Смотрите-ка, — воскликнул батюшка, — оказывается, этого мошенника не засадили в подземелье. Видно, нет больше справедливости в нашем королевстве.

Но брат Ангел прочел Benedicite^[113] и осенил крестным знаменем суповую миску.

— Ну-ну! — продолжал батюшка. — Хватит юродствовать, честной чернец. И признайтесь лучше, что из двух лет, в течение коих мы не имели счастья лицезреть у себя вашу сатанинскую харю, вы никак не меньше года провели в церковном узилище. На улице святого Иакова одним жуликом стало меньше, а околотку прибавилось уважения. Эх, жарить бы на вертеле таких бахвалов, которые уводят ослов у ближнего своего и девиц, принадлежащих всему приходу.

— Я догадываюсь, — ответил брат Ангел, опустив глаза и пряча руки в обшлага рясы, — я догадываюсь, мэтр Леонар, что вы имеете в виду Катрину, которую мне посчастливилось обратить к истине, указать ей путь к лучшей жизни; я так преуспел в выполнении своей задачи, что она возжелала следовать за мной со священными реликвиями и совершить благочестивое паломничество к черной Шартрской богоматери. Я согласился на ее общество лишь при том условии, что она облачится в монашеское одеяние. Что она и совершила безропотно.

— Замолчите вы, распутник этакой, — прервал его батюшка. — Вы не уважаете свою рясу. Убирайтесь туда, откуда пришли, и посмотрите-ка, сделайте милость, снаружи, нет ли

сосулек под крышей «Королевы Гусиные Лапы».

Но матушка знаком пригласила брата Ангела присесть у очажного колпака, что тот и сделал, стараясь не шуметь.

— Надобно прощать капуцинам, — заметил аббат, — ибо грешат они в простоте душевной.

Батюшка попросил г-на Куаньяра не говорить более об этом отродье, так как даже при одном упоминании о капуцинах вся кровь бросается ему в голову.

— Мэтр Леонар, — сказал аббат, — философия смягчает душу. Скажу о себе, я охотно отпускаю грехи жуликам, мошенникам и всем отверженным. Более того, я не питаю злобы и к людям состоятельным, хотя они слишком заносчивы. И если бы вы, мэтр Леонар, подобно мне вращались среди знатных особ, вы знали бы, что они не лучше всех прочих и что общение с ними подчас не так уж приятно. В трапезной епископа Сеэзского мне было отведено место за третьим столом, и за моим стулом стояли двое слуг в черных ливреях: Церемонность и Скука.

— Скажем прямо, у слуг его высокопреподобия были диковинные имена, — вмешалась матушка. — Почему бы по обычаю было не назвать их Шампанем, Оливком или Рокфором!

— Правда, — продолжал аббат, — иные особы без труда применяются к тем неудобствам, какие испытываешь в кругу вельмож. За вторым столом епископа Сеэзского сидел некий каноник, человек редчайшей учтивости, который до последнего своего вздоха соблюдал все церемонии. Узнав, что часы каноника сочтены, его преосвященство пожелал навестить больного и, поднявшись в его комнату, увидел, что тот отходит. «Прошу прощения, ваше преосвященство, за то, что вынужден умереть перед вами», — прошептал каноник. «Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь!» — благосклонно отвечивал епископ.

В эту минуту матушка принесла жаркое и водрузила блюдо на стол движением, исполненным такой хозяйской степенности, что батюшка, видимо, умилился душой, ибо неожиданно для всех воскликнул с набитым ртом:

— Барб, вы святая и достойная женщина!

— И впрямь, — подхватил мой добрый учитель, — нашу хозяйку не грех уподобить тем достойным женщинам, о коих повествует Священное писание. Это жена пред господом.

— Благодарение богу! — отвечала матушка. — Я ни разу не преступила обета верности, в которой поклялась Леонару Менетрие, своему супругу, и, надеюсь, не осрамлюсь до конца дней моих, раз самое опасное уже позади. Хотелось бы, чтобы и он хранил мне верность столь же свято, как я.

— Сударыня, увидев вас, я с первого же взгляда понял, что вы честная женщина, — уверил аббат, — ибо в вашем присутствии я ощутил некое умиротворение, которое скорее сродни небесам, нежели грешной земле.

Моя матушка, будучи женщиной простой, но отнюдь не глупой, отлично поняла намек аббата и ответила ему, что, знай он ее лет двадцать назад, он составил бы о ней иное мнение, чем ныне, когда ее миловидность поблекла в этой лавке, где пышет огонь, чадят вертела и дымит похлебка. Но так как замечание аббата все ж таки уязвило матушку, она добавила, что, видно, пришлась по вкусу пекарю Оно, коли он всякий раз предлагал ей пирожок, когда она проходила мимо его булочной. В заключение матушка не без горячности сказала, что нет на свете такой уродливой девицы или женщины, которая не могла бы нагрешить, коли ей очень захочется.

— Моя славная женушка права, — подхватил батюшка. — Припоминаю, когда я был еще подручным в харчевне «Королевский Гусь», неподалеку от ворот Сен-Дени, мой хозяин, который в те времена был знаменосцем нашего цеха, каковым стал теперь я, сказал мне: «При

такой безобразной жене, как моя, никогда не буду я рогоносцем». Слова эти навели меня на мысль сделать то, что он почитал невозможным. И мне это удалось при первой же попытке, как-то утром, когда он уехал по делам в Валле. Он правду сказал: супруга его была на редкость безобразна, зато отличалась умом и умела быть признательной.

Услышав эту забавную историю, матушка сильно прогневалась и сказала, что подобные речи не к лицу отцу семейства, если он желает, чтобы жена и сын относились к нему с должным уважением.

Господин Жером Куаньяр, заметив, что матушка даже побагровела от досады, с присущей ему ловкостью и добротой поспешил переменить разговор. Неожиданно для всех он обратился к брату Ангелу, который, спрятав руки под обшлага рясы, смиренно сидел у камелька, и спросил его:

— А какие реликвии вы, братец, развозили на осле второго викария в сопровождении сестры Катрины? Уж не ваши ли собственные штаны, которые вы давали лобызать прихожанкам, по примеру некоего францисканского монаха, чьи похождения описаны Анри Этьеном^[114].

— Ах, господин аббат, — вздохнул брат Ангел с видом мученика, готового пострадать за истину, — вовсе не мои штаны, а ногу святого Евстахия.

— Клянусь, я так и знал, прости мне бог мою клятву, — вскричал аббат, размахивая индюшачьим крылышком. — Эти капуцины откапывают святых, о которых и не слыхивали благочестивые отцы, толкующие Священное писание. Ни Тилемон, ни Флери даже не упоминают о святом Евстахии и совершенно напрасно воздвигли ему в Париже храм, когда есть десятки святых, чьи заслуги засвидетельствованы вполне уважаемыми писателями, однако ж эти святые еще только ждут такой чести. Житие этого Евстахия не что иное, как собрание нелепых рассказов. И то же самое можно сказать о святой Екатерине, которая существовала лишь в воображении какого-то жалкого византийского монаха. Впрочем, не стану на нее нападать, поскольку она покровительница сочинителей и ее имя значится на вывеске лавки добрейшего господина Блезо, а его лавка самое восхитительное на свете место.

— Вozил я также, — спокойно продолжал братец, — ребро святой Марии Египетской.

— Ах, вот ее-то, — вскричал аббат, швырнув через всю комнату обглоданную кость, — вот ее-то я почитаю самой что ни на есть пресвятой, ибо она своей жизнью преподала нам прекраснейший пример самоуничтожения.

— Как вам известно, сударыня, — обратился аббат к матушке и даже потянул ее за рукав, — святая Мария Египетская отправилась поклониться гробу господню, но путь ей преградила глубокая река; не имея ни гроша, дабы заплатить за перевоз, она предложила паромщикам в качестве платы свое тело. Ну, что вы на это скажете, милейшая сударыня?

Матушка осведомилась сначала, действительно ли так оно и было. Когда же аббат заверил, что история эта напечатана в книгах и даже изображена на витраже Жюсьенской церкви, матушка признала ее подлинность.

— Сдается мне, — сказала она, — надобно быть святой, как Мария Египетская, чтобы сотворить такое без греха. Поэтому-то я никогда бы не решилась.

— Что касается меня, — воскликнул аббат, — то я вполне одобряю поступок святой Марии, сходясь в том с учеными мужами. Она дала достойный урок добропорядочным женщинам, которые с излишним высокомерием упорствуют в добродетели, обращая ее в предмет гордыни. Если подумать хорошенько, в этом стремлении чересчур высоко ценить свою плоть и хранить с излишней щепетильностью то, что достойно лишь презрения, — во всем этом есть нечто слишком уж чувственное. На каждом шагу встречаются почтенные

матроны, которые воображают себя вместилищем некоего клада, требующего постоянной охраны, и поэтому явно преувеличивают то значение, какое придают их особе господь бог и ангелы. Они почитают себя какими-то ходячими святыми дарами. Святая Мария Египетская более трезво смотрела на вещи. Будучи на диво сложена и прелестна лицом, она правильно рассудила, что прерывать святое паломничество ради предмета самого по себе столь незначительного — признак чрезмерной гордыни, тем паче речь ведь шла о том, что следует умерщвлять, а отнюдь не возводить в ранг бесценного алмаза. И она, сударыня, умертвила то, что подлежит умерщвлению; свершив тем самым акт достойнейшего самоуничтожения, она вступила на стезю раскаяния и отметила ее достохвальными деяниями.

— Господин аббат, — я что-то вас не совсем понимаю, — призналась матушка. — Уж очень вы для меня учены.

— Эта великая праведница, — вставил брат Ангел, — представлена в натуральную величину в часовне нашей обители и все ее тело, по великой милости господней, покрыто густыми и длинными волосами. С этой картины снято множество изображений, и я вам, хозяйushка, непременно принесу один такой освященный образок.

Матушка растрогалась и потихоньку от хозяина дома протянула капуцину миску с супом, а достойный братец, грея ноги в золе, без лишних слов погрузил бороду в благоухающий навар.

— По-моему, — начал батюшка, — сейчас как раз самое время откупорить одну из тех бутылочек, что я держу для больших праздников, каковыми являются рождество, крещение и день святого Лаврентия. Самое приятное на свете — попивать доброе вино, сидя спокойно у себя дома, и знать, что ты надежно защищен от непрошенных гостей.

Не успел батюшка договорить, как распахнулась дверь, и какой-то высокий мужчина, весь в черном, ворвался в харчевню, сопровождаемый снежным вихрем и порывами ветра.

— Саламандра! Это саламандра! — вопил он.

И, не обращая на всех нас никакого внимания, он нагнулся над очагом и расшвырял кончиком трости тлеющие головни к великому неудовольствию брата Ангела, который, волей-неволей проглотив вместе с ложкой супа изрядную порцию золы и угольков, раскашлялся так, что чуть было не отдал богу душу. А черный человек продолжал ворошить угли с криком: «Саламандра! Вижу саламандру!», и потревоженное пламя отбрасывало на потолок его дрожащую тень, похожую на огромную хищную птицу.

Батюшка был не только удивлен, но и раздосадован поведением сего незваного гостя. Но он умел владеть собой. Поэтому он поднялся и, держа под мышкой салфетку, приблизился к очагу и нагнулся над топкой, упершись руками в бока.

Вдоволь налюбовавшись развороченным камельком и братом Ангелом, засыпанным золою, батюшка наконец произнес:

— Да простит меня ваша милость, но, кроме этого гнусного монаха, я не вижу никакой саламандры, о чем, впрочем, и не особенно сожалею, — добавил он, — ибо, но слухам, саламандра мерзкая тварь, в шерсти, рогатая и с преогромными когтями.

— Какое заблуждение! — воскликнул черный человек. — Саламандры схожи с женщинами, или, вернее сказать, с нимфами, и они отличаются редкостной красотой. Но только по наивности своей я мог требовать от вас, чтоб вы увидели саламандру. Для того, чтобы узреть ее, надобно быть философом, а я не думаю, чтобы в этой кухне нашелся хоть один философ.

— Так недолго и ошибиться, сударь, — возразил аббат Куаньяр. — Вот я, к примеру, доктор богословия и магистр наук; я изрядно поднаторел в изучении греческих и латинских моралистов, чьи максимы укрепили мою душу во всех жизненных передрыгах, особенно же

охотно прибегал я к Боэцию, как к лекарству противу всех земных бед. А рядом со мною сидит Якобус Турнеброш, мой ученик, который на зубок знает все изречения Публия Сира.

Незнакомец обратил к аббату желтые глаза, дико сверкавшие по сторонам крючковатого носа, и с любезностью, какую трудно было даже предположить, глядя на его свирепую физиономию, попросил прощения, что не признал с первого взгляда человека столь многих достоинств.

— Более чем возможно, — добавил он, — что эта саламандра явилась сюда ради вас или ради вашего ученика. Проходя мимо харчевни, я отчетливо увидел ее с улицы. Если бы огонь горел жарче, ее было бы видно яснее. Вот почему, как только в очаге вам почудится саламандра, надобно изо всех сил мешать угли.

При первом же движении незнакомца, который снова хотел было разворошить золу, брат Ангел испуганно прикрыл суповую миску подолом рясы и зажмурил глаза.

— Сударь, — промолвил искатель саламандр, — дозвоьте вашему юному ученику приблизиться к очагу, и пусть он скажет, не видно ли в пламени некоего подобия женщины.

В эту самую минуту струя дыма, подымавшегося от очага к колпаку, вдруг изогнулась с каким-то неповторимым изяществом и образовала выпуклое полукружие, которое могло сойти за изгиб женского бедра в глазах человека слишком склонного лицезреть подобные предметы. Посему я не солгал, заявив, что, кажется, вижу нечто подобное.

Не успел я вымолвить этих слов, как незнакомец, подняв свою непомерно длинную руку, с такой силой хлопнул меня по плечу, что я испугался за целостность ключицы.

— Дитя мое, — заговорил он ласковым голосом, благосклонно глядя на меня, — мой долг впечатлеть вас столь ощутимым манером, дабы вы никогда не забыли о том, что узрели саламандру. Это — знак того, что вам суждено стать ученым, и, кто знает, быть может, даже магом. Не напрасно ваше лицо подсказало мне самое благоприятное мнение о ваших талантах.

— Сударь, — вмешалась матушка, — он может выучить все, что пожелает, и, если будет на то милость божья, станет аббатом.

Господин Жером Куаньяр добавил, что я извлек кое-какую пользу из его уроков, а батюшка осведомился у незнакомца, не угодно ли его милости чего-либо отведать.

— Никакой нужды в пище я не испытываю, — отвечал тот, — и для меня сущий пустяк по году, а то и более, вовсе обходиться без еды, помимо некоего эликсира, состав коего известен одним только философам. Впрочем, способность эта присуща не мне одному; она свойственна всем мудрецам, и известно, что прославленный Кардано в течение нескольких лет воздерживался от принятия пищи, не испытывая от того никаких неудобств. Более того, во время поста ум его приобрел необыкновенную живость. Впрочем, — заключил философ, — в угодку вам я не прочь отведать все, что вам заблагорассудится мне предложить.

И не чинясь, он подсел к нам. В то же самое мгновение брат Ангел бесшумно вдвинул свою скамеечку между моим стулом и стулом моего наставника и очутился за столом как раз вовремя, чтобы не упустить своей доли паштета из дичины, который матушка водрузила на стол.

Когда философ сбросил на спинку стула свой плащ, мы увидели, что его камзол застегнут алмазными пуговицами. За столом он сидел с самым задумчивым видом. Тень от крючковатого носа падала на губы, а впалые щеки подчеркивали линию челюстей. Эта угрюмая мина омрачала наше веселье. Даже добрый мой учитель, и тот, потягивая винцо, хранил упорное молчание. Тишину нарушали лишь чавкающие звуки — это братец с аппетитом уписывал паштет.

Внезапно философ заговорил:

— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что саламандра явилась сюда ради этого юноши.

И он ткнул в мою сторону ножом.

— Сударь, — ответил я, — если саламандры и впрямь таковы, как вы утверждаете, то приходившая сюда саламандра оказала мне немалую честь, и я глубоко признателен ей за это. Но, по правде говоря, я скорее угадал ее очертания, нежели видел ее воочию, и наша первая встреча лишь возбудила мое любопытство, отнюдь не насытив его.

Лишенный возможности наговориться всласть, мой добрый учитель недовольно сопел.

— Сударь, — неожиданно обратился он к философу, и голос его раскатился по всей комнате, — сударь, мне пятьдесят один год, я магистр наук и доктор богословия, я прочел всех греческих и римских авторов, чьи творения пощадило жестокое время или злобное невежество людей, и там я никогда не встречал саламандр, из чего разумно заключаю, что таковых вообще не существует.

— Прошу прощения, — проямлил брат Ангел, не успевший справиться со своим паштетом и страхом. — Прошу прощения. Увы, саламандры существуют на нашу погибель, и некий отец иезуит, чье имя я запомнил, прямо пишет об их существовании. Да и сам я в одном селении, носящем название Сен-Клод, видел в очаге возле самого котла саламандру. Голова у нее была кошачья, тело жабье, а хвост рыбий. Я выплеснул целый горшок святой воды на это чудище, и оно тут же растворилось в воздухе, зашипев, как сало на сковородке, в клубах такого едкого дыма, что удивительно, как мне еще глаза не выжгло. Доказательством истинности моих слов служит то, что целую неделю от моей бороды несло паленым, а что может красноречивее свидетельствовать о нечистой природе сего чудища?

— Да вы почитаете нас дурачками, братец, — воскликнул аббат, — ваша жаба с кошачьей головой не более достоверна, чем нимфа сидящего против вас господина философа. И вообще все это лишь мерзостные выдумки.

Философ залился смехом.

— Брат Ангел никак не мог видеть саламандру, являющуюся мудрецам, — пояснил он. — Когда Нимфа, обитательница огня, завидит по случайности капуцина, она спешит повернуться к нему спиной.

— Ха! Ха! Ха! — захохотал батюшка. — Спина нимфы... Да, для капуцина и это уж чересчур жирно.

И, так как к нему вернулось доброе расположение духа, он отрезал братцу изрядный кусок паштета.

Матушка поставила посреди стола блюдо с жарким и, воспользовавшись подходящим случаем, рискнула спросить, являются ли саламандры добрыми христианками, в чем она сомневается, ибо ни разу ни от кого не слыхивала, чтобы твари, обитающие в огне, славили имя господа.

— Сударыня, — ответил аббат, — многие богословы из ордена иезуитов признавали существование инкубов и суккубов, которые по сути дела не являются демонами, коль скоро при окроплении святой водой не бросаются в бегство, но и не принадлежат к господней церкви, ибо духи небесные никогда не посягнули бы на жену булочника, как то произошло в Перудже. Но если вам угодно выслушать мое мнение, знайте же, что все это — пустые басни, измышленные грязным воображением ханжи, а отнюдь не умозаключения ученого мужа. Всяческого презрения достойна эта нелепая чертовщина, и весьма прискорбно то обстоятельство, что сыны церкви, просвещенные христианством, создают о вселенной и боге представление, уступающее в величии тому, что мыслили о сем предмете Платон или Цицерон, пребывавшие во мраке язычества. И я осмелюсь утверждать, что дух господень

более ощутим в «Сне Сципиона»^[115], нежели в туманных трактатах по демонологии, чьи авторы мнят себя христианами и добрыми католиками.

— Поостерегитесь, господин аббат, — прервал его философ. — Ваш Цицерон говорил легко и красно, по этот человек заурядного ума был невеждой в тайных науках. Разве вы ничего не слышали о Гермесе Трисмегисте и об «Изумрудных таблицах»^[116]?

— Сударь, — возразил аббат, — я обнаружил в библиотеке епископа Сеэзского весьма древнюю рукопись «Изумрудных таблиц» и несомненно рано или поздно сумел бы ее разобрать, если бы горничная супруги судьи не отправилась в Париж искать счастья и не усадила бы вместе с собой в почтовую карету и меня. И в том не было никакой магии, господин философ, я лишь повиновался чарам естества:

Non facit hoc verbis; facie tenerisque lacertis
Devoret et flavis nostra puella comis^[117].

— Вот вам еще одно доказательство, — подхватил философ, — что женщины являются злейшими врагами науки. Поэтому-то мудрец должен остерегаться всяких с ними отношений.

— Даже в законном браке? — осведомился батюшка.

— В законном браке особенно, — подтвердил философ.

— Увы, куда же тогда идти вашим несчастным мудрецам, когда им припадет охота немного позабавиться? — рискнул батюшка снова спросить гостя.

— Пусть идут к саламандрам, — отвечивал философ.

При этих словах брат Ангел оторвался от жаркого и со страхом взглянул на незнакомца.

— Не говорите так, любезный сударь, — зашептал он, — во имя всех святых нашего ордена, не говорите так! И не упускайте из виду, что саламандра тот же дьявол, который, как известно, может принимать любые обличья: то он предстает в соблазнительном виде, удачно скрывая свое прирожденное уродство, то в отвратном, если не желает приукрашивать свою подлинную статью.

— Поберегитесь и вы тоже, брат Ангел, — ответил философ, — и коль скоро вы страшитесь дьявола, бойтесь прогневить его, не раздражьте его своими опрометчивыми словами. Вы же знаете, что извечный враг, заклятый отрицатель, до сего времени имеет в мире духа такую силу, что даже господь бог вынужден с ним считаться. Более того: сам господь боится его и держит при себе в качестве доверенного лица. Поостерегитесь, братец: они стакнулись меж собой.

Услышав подобные речи, злосчастный капуцин решил, что не кто иной, как сам дьявол собственной персоной вещает пред ним, тем паче что пылающим взором, крючковатым носом, смуглым цветом лица, всей своей длинной сухопарой фигурой незнакомец и впрямь походил на нечистого. Душа святого братца, и без того потрясенная, окончательно погрузилась в бездну священного ужаса. Он затрепетал всем телом, словно лукавый уже коснулся его своим когтем, незаметно припрятал в суму самые лакомые куски, которые ему удалось стащить со стола, тихонечко поднялся с места и, пятясь, добрался до двери, бормоча заклинания.

Но философ и бровью не повел. Из кармана камзола он вытащил книжицу в сморщенном пергаментном переплете и, раскрыв ее, протянул нам с аббатом. Взглянув на старинный греческий текст, полный к тому же сокращений и лигатур, я подумал было, что это просто

тарабарщина, но г-н аббат Куаньяр, нацепив очки и отодвинув книгу на требуемое расстояние, начал бойко разбирать письма, похожие скорее на клубок ниток, перепутанных кошкой, нежели на простые и спокойные литеры моего св. Иоанна Златоуста, по которому я изучал язык Платона и евангелия. Окончив чтение, аббат произнес:

— Сударь, это место можно перевести следующим образом: «Те египтяне, каковые почитаются образованными, прежде всего изучают народное письмо, именуемое эпистолографическим, затем священные письма, коими пользуются писцы при храмах, и, наконец, иероглифы».

Засим, сняв очки и торжествующе потрясая ими, он добавил:

— Ага, господин философ, нас на кривой не объедешь. Это извлечение из пятой книги «Строматов», автор коей, Климент Александрийский^[118], не попал в житие святых в силу различных причин, которые весьма убедительно изложил его святейшество папа Бенедикт Одиннадцатый, и главная из них заключается в том, что вышеназванный отец церкви нередко заблуждался в вопросах веры. Не думаю, чтобы это обстоятельство нанесло ему существенный изъян, особенно если учесть, что в течение всей своей жизни он в силу философских соображений всячески чурался мученичества. Мученичеству он предпочел изгнание и, будучи человеком порядочным, не допустил своих преследователей до преступления. Писал же он весьма изящно; обладал острым умом, нравами славился чистыми, даже суровыми. Больше всего на свете он любил иносказание и салат латук.

Философ протянул через стол руку, которая — так мне во всяком случае почудилось — внезапно приобрела поистине нечеловеческую длину, и взял книгу, лежавшую перед моим ученым наставником.

— Достаточно, — объявил он, пряча «Строматы» в карман. — Вы, господин аббат, как я вижу, вполне разумеете по-гречески. Вы довольно точно разъяснили это место, если говорить о буквальном и вульгарном его истолковании. Мне хотелось бы взять на себя заботы об устройстве вашей судьбы, равно как и судьбы вашего питомца. Вы оба пригодитесь мне для перевода греческих текстов, которые я получил из Египта.

Потом он обернулся к батюшке:

— Полагаю, господин харчевник, что вы согласитесь отпустить ко мне вашего сына, чтобы с моей помощью он стал человеком ученым и почтенным. Ежели разлука с ним нанесет слишком чувствительный удар вашим отцовским чувствам, я согласен нанять за свой счет поваренка, чтобы он заменил этого юношу у вертела.

— Коли вы, ваша милость, так рассудили, — ответил батюшка, — я не стану препятствовать счастью своего сына.

— При том условии, — вмешалась матушка, — что это не пойдет в ущерб спасению его души. Поклянитесь мне, сударь, что вы добрый христианин.

— Барб, — сказал батюшка, — вы святая и достойная женщина, но вынуждаете меня просить извинения у нашего гостя за ваши нелюбезные речи, чему причиной, откровенно говоря, не столько недостаток природных добродетелей, сколько скудость образования.

— Не прерывайте эту славную женщину, — воскликнул философ, — пусть будет она спокойна: я человек глубоко верующий.

— Вот и чудесно! — отозвалась матушка. — Каждый должен чтить святое имя господне.

— Я чту все его имена, сударыня, ибо их у него множество. Он зовется Адонаи, Тетраграмматон, Иегова, Отей, Атанатос и Исхирос. И еще многими другими.

— Не слыхивала о таких, — ответила матушка. — Но ваши слова, сударь, меня не удивляют; я ведь давно заметила, что чем знатнее человек, тем больше у него имен, не в пример простолюдинам. Сама-то я родом из Оно, это неподалеку от города Шартра, и была

еще совсем крошкой, когда скончался наш сеньор, и вот я прекрасно помню, что, когда глашатай извещал жителей о кончине сеньора, он называл его чуть ли не всеми именами, какие есть в святцах. Ясно, что у господа бога еще больше имен, чем у сеньора Оно, ведь и положение-то у него еще выше. Большое счастье выпало людям образованным — знать все эти имена. И если вы, сударь, направите сына моего Жака на путь таких знаний, я буду вам весьма признательна.

— Итак, дело решено, — заключил философ. — А вам, господин аббат, вам, полагаю, перевод с греческого доставит удовольствие; за приличную мзду, разумеется.

Добрый мой наставник с минуту старался выловить из хаоса мыслей те, которые еще не окончательно утонули в винных парах, потом налил чарку, поднялся и сказал:

— Господин философ, всем сердцем принимаю ваше великодушное предложение. Кто из смертных может сравняться с вами? И я горжусь, сударь, тем, что отдаю себя в ваше распоряжение. Существуют два предмета, к коим я питаю безграничное уважение: это ложе и стол. Стол, который попеременно заставляют то учеными книгами, то изобильными блюдами, служит основой для принятия как телесной, так и духовной пищи; ложе благоприятствует не только безмятежному отдохновению, но и жестокостям любви. Лишь богочеловек мог даровать чадам Девкалиона^[119] ложе и стол. Ежели, сударь, я обнаружу у вас два сих бесценных предмета, я возвеличу ваше имя, как своего благодетеля, бессмертной хвалой и прославлю вас в стихах греческих и латинских, прибегая к различным размерам.

Он замолк и осушил чарку.

— Вот это хорошо, — отозвался философ. — Жду вас завтра обоих к себе с утра. Сначала идите по Сен-Жерменской дороге, пока не достигнете Саблонского креста. От подножья этого креста отсчитайте сотню шагов на запад, и вы упретесь в зеленую калитку, прорубленную в садовой ограде. Постучитесь молотком, изображающим фигуру под покрывалом, приложившую палец к губам. А когда старик отопрет вам дверь, спросите господина д'Астарака.

— Сын мой, — обратился ко мне мой добрый наставник, потянув меня за рукав, — запечатлей все это в своей памяти, удержи в ней и крест и молоток и все прочее, дабы завтра мы без труда отыскали благословенную дверь. А вы, господин меценат...

Но философ уже скрылся, и никто из нас не успел заметить, как он исчез.

* * *

На другой день, на рассвете, мы с наставником уже брели по Сен-Жерменской дороге. От земли, укрытой пеленою снега, и до самых небес, позлащенных зарею, стояла немая, глухая тишина. Дорога была пустынна. Мы шагали по глубоким колеям, проложенным колесами среди огородов, расшатанных заборов и низеньких домишек, окна которых подозрительно косились нам вслед. Потом, миновав две-три глинобитные полуразвалившиеся лачуги, мы увидели посреди унылой равнины Саблонский крест. В полсотне шагов от него раскинулся огромный парк, обнесенный наполовину обвалившейся стеной. В стене этой была пробита зеленая калитка, и висящий над ней молоток изображал какое-то страшилище, приложившее к губам палец. Руководствуясь описанием философа, мы без труда признали его жилище и

пустили в ход молоток.

После довольно долгого ожидания калитку открыл старик слуга и, сделав знак следовать за ним, повел нас запущенным парком. Статуи нимф, видевшие покойного государя еще молодым, скрывали под завесой плюща свою грусть и свое убожество. В конце бугристой аллеи, припорошенной снежком, возвышался замок, сложенный из камня и кирпича, столь же мрачный, как и сосед его, Мадридский замок; увенчанный высокой шиферной крышей, он напоминал жилище Спящей Красавицы.

Пока мы шествовали вслед за безмолвным слугой, аббат шептал мне на ухо:

— Признаюсь тебе, сын мой, это строение отнюдь не веселит глаз. Оно свидетельствует о суровости нравов, в которых еще коснели французы во времена Генриха Четвертого^[120], и вся эта мерзость запустения переполняет душу печалью, даже меланхолией. Куда как приятнее было бы бродить по волшебным склонам Тускулума^[121], в надежде услышать слово Цицерона, трактующего о добродетели в тени пиний и фисташковых деревьев на своей вилле, столь драгоценной для философов. И заметил ли ты, сын мой, что на этой дороге нет ни одного кабачка, ни одной харчевни; значит, чтобы выпить стакан вина, надо по меньшей мере пройти по мосту и берегом добраться до площади Пастушек? Правда, помнится, что там есть постоянный двор под вывеской «Красный конь», куда госпожа Сент-Эрнест водила меня обедать вместе со своей мартышкой и своим любовником. Ты и представить себе не можешь, Турнеброш, до чего ж там изысканная кухня! «Красный конь» славится не только своими утренними трапезами, но и числом лошадей и почтовых карет, которые там сдаются в наем. Я имел случай убедиться в этом собственными глазами, так как забрел на конюшню, преследуя одну служаночку, которая показалась мне миловидной. Но миловидной она не была; вернее было бы назвать ее просто уродливой. Это я, сын мой, разукрасил ее пламенем своих желаний. Таков удел человека: когда он руководствуется только своими чувствами, он заблуждается наиплачевнейшим образом. Нас вводят в соблазн обманчивые грезы; мы бросаемся в погоню за мечтой и заключаем в объятия бесплотную тень; лишь в одном только госпде боге — истина и постоянство.

Тем временем мы, предшествуемые стариком слугой, уже подымались по разошедшимся ступеням лестницы.

— Увы! — шепнул мне на ухо аббат. — Мне уже взгрустнулось при мысли о харчевне вашего батюшки, где мы лакомились сочными кусками, толкуя творения Квинтилиана.

Мы поднялись по широкой каменной лестнице на второй этаж, и слуга ввел нас в залу, где господин д'Астарак писал что-то возле ярко пылавшего камина; здесь вдоль стен стояли египетские саркофаги, напоминавшие своими очертаниями формы человеческого тела, а с раскрашенных футляров на вошедшего глядели позолоченные лики с продолговатыми блестящими глазами.

Господин д'Астарак учтиво предложил нам присесть и заговорил:

— Я вас ждал, господа. И коль скоро вы оба любезно согласились отдать себя в мое распоряжение, прошу вас почитать этот дом своим. Вам предстоит переводить греческие тексты, вывезенные мною из Египта. Не сомневаюсь, что вы приметесь за работу с должным рвением, особенно же узнав, что она имеет непосредственное касательство к предпринятым мною трудам, цель коих вновь возратить человеку утраченную им науку властвовать над стихиями. Хотя я не собираюсь сегодня же снимать перед вами покровы, скрывающие природу, и показывать вам Изиду^[122] во всей ее ослепительной наготе, я все же намерен открыть вам предмет моих изысканий, не опасаясь, что вы разгласите эту тайну, ибо уверен в вашей честности, равно как в собственном своем даре предугадывать и предвидеть все, что злоумышляется противу меня, не говоря уж о том, что в качестве орудия мести в моем

распоряжении имеются тайные и ужасные силы. Будете вы нарушите верность, чего я, впрочем, не думаю, данная мне власть, господа, станет порукой вашему молчанию, так что, открывшись вам, я ничем не рискую. Ведайте же, что человек вышел из рук Иеговы, наделенный совершенным знанием, впоследствии утраченным. Появившись на свет, он отличался чрезвычайным могуществом и мудростью. Об этом свидетельствуют книги Моисея. Но их надо читать умеючи. Из них в первую очередь явствует, что, поскольку Иегова создал наш мир, его должны полагать не богом, а великим демоном. Идея бога, как силы одновременно созидающей и совершенной, не что иное, как устаревшие бредни, варварство, достойное дикаря-саксонца или невежды. Какой человек, мало-мальски образовавший свой ум, станет утверждать, что существо совершенное может хоть что-либо прибавить к своему совершенству? Такое заключение противоречит здравому смыслу. Бог не предается размышлению. Ибо, будучи бесконечен, о чем может он мыслить? Он не создает ничего, ибо не имеет представления о времени и пространстве, каковые суть необходимейшие предпосылки для любого созидания. Моисей был слишком сведущий философ и не утверждал поэтому, будто мир создан богом. Он почитал Иегову тем, чем был Иегова в действительности, иначе говоря, могущественным Демоном, и, ежели уж требуется быть точным — Демиургом.

Итак, сотворив человека, Иегова передал ему знание мира видимого и мира невидимого. Грехопадение Адама и Евы, речь о котором пойдет в свое время, не окончательно лишило этих знаний первого мужчину и первую женщину, которые передали полученные ими сведения потомкам. Эти знания, каковые суть главнейшие условия власти человека над природой, записаны в книге Еноха^[123]. Египетские жрецы сохранили эти предания и запечатлели их таинственными письменами на стенах храмов и на гробницах. Моисей, выросший в святилищах Мемфиса, был одним из таких посвященных. Его книги, счетом пять, даже шесть, заключают, наподобие бесценных ковчегов, сокровища божественного знания. Там можно обнаружить величайшие тайны, если только уметь очистить первоначальный текст от позднейших позорящих его вставок и добавлений, пренебречь буквальным и прямым смыслом, дабы постичь смысл тончайший, чего почти повсюду и удалось мне добиться, как вы увидите из дальнейшего. Однако ж истины, которые подобно непорочным девам оберегались жрецами египетских капищ, стали достоянием александрийских мудрецов, и эти последние еще более обогатили их и увенчали чистейшим золотом, какое завещал Греции Пифагор со своими учениками, а ведь с ним были накоротке духи воздуха. Стало быть, господа, речь идет о том, чтобы исследовать древние книги евреев, иероглифы египтян и трактаты тех греков, которых именуют гностиками, как раз за то, что они являлись обладателями знания. На себя я взял, что и естественно, наиболее важную часть этого пространного труда. Я занят расшифровкой иероглифов, которыми египтяне покрывали стены храмов, посвященных богам, и гробницы жрецов. Из Египта я вывез немало таких надписей, и в смысл их я проникаю с помощью ключа, обнаруженного мною у Климента Александрийского.

Раввин Мозайд, живущий здесь в уединении, трудится над раскрытием подлинного смысла Пятикнижия. Сей старец весьма сведущ в магии, недаром он прожил целых семнадцать лет добровольным затворником в склепах великой пирамиды, где читал книги Тота^[124]. На вас же, милостивые государи, на ваши знания я рассчитываю для прочтения александрийских манускриптов, которые я самолично собрал во множестве. Не сомневаюсь, вы обнаружите там немало чудеснейших тайн, и я, бесспорно, черпая из этих трех источников знаний — египетского, древнееврейского и греческого, — в скором времени буду располагать теми средствами, которых до сих пор мне еще недостает, дабы полностью

подчинить себе природу, как видимую, так и невидимую. Поверьте, я сумею оценить ваши услуги и приобщу вас так или иначе к своему могуществу.

Не стану говорить о более низменных способах признательности. Я так подвинулся в моих философских исследованиях, что деньги меня нимало не заботят.

Тут мой добрый наставник прервал г-на д'Астарака.

— Сударь, — сказал он, — не утаю от вас, что деньги, которые вас не заботят, для меня — предмет вечных забот, ибо я на опыте познал, как трудно их заработать, оставаясь честным человеком или даже не оставаясь таковым. Посему я буду весьма вам признателен, если вы соблагovolите дать мне на сей предмет более определенные заверения.

Движением руки, словно отталкивая какой-то невидимый предмет, г-н д'Астарак успокоил г-на Жерома Куаньяра. А я, с жадностью озираясь вокруг, мечтал об одном: поскорее начать новую жизнь.

По зову хозяина на пороге залы появился тот самый старик слуга, что отпер нам калитку.

— Господа, вы свободны вплоть до полуденной трапезы, — продолжал г-н д'Астарак. — Я буду весьма вам обязан, если вы пройдете в приготовленные для вас комнаты и убедитесь, все ли там есть, что нужно. Критон вас проводит.

Видя, что мы готовы следовать за ним, молчальник Критон вышел и начал подыматься по лестнице. Так мы добрались за ним до самого верха. Здесь, пройдя несколько шагов по длинному коридору, Критон указал нам две опрятные комнаты, где весело горел огонь. Судя по наружному виду ветхого замка, по его потрескавшимся стенам и подслеповатым оконцам, я даже предположить не мог, что под его крышей можно обнаружить столь уютный уголок. Первым делом я осмотрелся. Наши комнаты выходили в поле, и взор блуждал среди болотистых обрывистых берегов Сены, пока не достигал каменного распятия, венчавшего Мон-Валерьен. Оглядев затем обстановку комнаты, я заметил, что на постели приготовлен серый кафтан, такие же панталоны, шляпа и шпага. На ковре возле кровати, словно нежная супружеская пара, красовались туфли с пряжками, каблуки были составлены вместе, а носки раздвинуты, как будто они обладали знанием светских манер.

При виде этих богатств я не замедлил вынести благоприятное заключение о тароватости нашего хозяина. Желая воздать ему честь, я с превеликим тщанием занялся туалетом и с излишней щедростью осыпал волосы пудрой, полную коробку которой я обнаружил на столике. И наконец, в ящике комода я нашел сорочку, отделанную кружевами, и белые чулки.

Надев сорочку, чулки, панталоны, жилет и кафтан, зажав под локтем левой руки шляпу и положив кисть правой на эфес шпаги, я стал прохаживаться взад и вперед по комнате, ежеминутно раскланиваясь с собственным изображением в зеркале и горько сожалея, что Катрина-кружевница не может видеть меня в таком изящнейшем наряде.

Должно быть, я еще долго бы вертелся перед зеркалом, если бы в комнату не вошел г-н Жером Куаньяр в новеньких брыжах и в весьма респектабельной рясе.

— Ты ли это, Турнеброш, ты ли это, сын мой? — вскричал он. — Смотри не забывай, что этой новой одеждой ты обязан тем знаниям, какие передал тебе я. Наряды пристали тебе как гуманисту, ибо понятие гуманизма включает также и изящное. Но будь любезен, погляди на меня и согласись, что вид у меня более чем приличный. В таком одеянии я чувствую себя вполне порядочным человеком. Этот господин д'Астарак, на мой взгляд, мужчина великодушный. Жаль только, что поврежден в уме. Но он все же достаточно разумен, коль скоро назвал своего слугу Критоном, что означает судья. Ибо не подлежит сомнению, что наши слуги суть свидетели всех наших поступков. А иногда и вдохновители их. Когда лорд Веруламский, канцлер Англии, которого я не особенно высоко ставлю как философа, но что как человека ученого, явился в палату в качестве подсудимого^[125], его слуги в богатых

ливреях, один вид которых свидетельствовал о роскоши, царившей в канцлерском доме, увидев своего господина, дружно поднялись с места из уважения к нему. Но лорд Веруламский сказал им: «Садитесь! Вознося вас, пал я так низко». И впрямь, эти мошенники довели его своими тратами до разорения и вынуждали к поступкам, за которые он ответил по суду как мздоимец. Турнеброш, сын мой, пусть пример лорда Веруламского, канцлера Англии и автора «Novum Organum»^[126] послужит тебе предостережением. Но обратимся к сеньору д'Астараку, коему мы служим ныне, и посетуем, что он колдун и предался чернокнижию. Тебе известно, сын мой, что в вопросах веры я донельзя щепетилен. Мне претит служить кабалисту, который переворачивает Священное писание вверх тормашками под тем предлогом, что так-де оно становится понятнее. Но, судя по имени и произношению, господин д'Астарак гасконский дворянин, и, следовательно, бояться нам нечего. Пусть гасконец продает свою душу дьяволу; будь уверен, дьявол непременно окажется в накладе.

Колокол, призывавший нас к трапезе, прервал речь аббата.

— Турнеброш, сын мой, — говорил мой добрый наставник, спускаясь с лестницы, — постарайся за обедом следить за моими манерами и подражать им. Недаром же сидел я за третьим столом епископа Сеэзского; я понимаю что к чему. Нелегкое это искусство. Ибо держать себя за столом, как полагается дворянину, куда труднее, нежели вести дворянские речи.

* * *

В столовой уже ждал накрытый на три персоны стол, и г-н д'Астарак пригласил нас занять места.

Критон, исправлявший обязанности дворецкого, подавал желе, отвары и различные пюре, десятки раз пропущенные сквозь сито. Ничто не предвещало появления жаркого. Хотя мы с моим добрым наставником изо всех сил старались скрыть свое изумление, г-н д'Астарак угадал наши мысли и обратился к нам со следующей речью:

— То, что вы видите здесь, господа, не что иное, как опыт, и если он покажется вам не особенно удачным, я не намерен упорствовать. Я прикажу подавать вам впредь привычные блюда, да и сам не откажусь отведывать их. Ежели кушанье, которым я угощаю вас нынче, приготовлено неудачно, то повинен в этом не столько мой повар, сколько химия, находящаяся еще в пеленках. Тем не менее сегодняшняя трапеза даст вам представление о трапезах будущего. В наши дни люди просто принимают пищу, а не вкушают ее по-философски. Они питаются не так, как подобает питаться существам разумным. Даже и не думают об этом. Но о чем же они тогда думают? Огромное большинство их коснеет в тупости, ну а те, что одарены способностью размышлять, забивают себе мозги всякой ерундой, я имею в виду бессмысленные словопрения и поэтику. Судите сами, господа, как питаются люди с тех незапамятных времен, когда от них отступились сильфы и саламандры. Прекратив общение с духами воздуха, они погрязли в невежестве и варварстве. Жалкие людишки, не знавшие ни благочиния, ни ремесел, ни одежд, они ютились в пещерах по берегам рек или в лесных чащах. Охота была единственным их промыслом. Когда им удавалось застичь врасплох или опередить в быстроте боязливую лань, они пожирали свою

добычу живьем.

Не брезговали они также мясом своих сородичей и престарелых родителей, так что первой гробницей человека была ходячая могила — ненасытная и глухая ко всему утроба. После долгих веков жестокости появился человек, равный богам, коего греки нарекли Прометеем. Вне всякого сомнения, сей мудрец в приюте нимф общался с племенем саламандр. От них он перенял искусство добывать и поддерживать огонь, преподанное им жалким смертным. Среди всех прочих неисчислимых преимуществ, какие человек сумел извлечь из этого божественного дара, самым благодетельным безусловно было то, что отныне он мог варить пищу и, пользуясь этим, делать любую снедь более удобоваримой и нежной. И, пожалуй, именно благодаря влиянию на человека пищи, подвергшейся действию огня, люди начали медленно и постепенно набираться разума, научились размышлять, стали более предприимчивы, получили возможность развивать искусства и науки. Но то был лишь первый шаг, и прискорбно думать, что протекли миллионы лет, а второй шаг все еще не сделан. С того самого времени, когда наши предки, устроившись у подножья скалы, разводили из хвороста костер и жарили медвежатину, в области кухни не достигнуто настоящего прогресса. Ибо не считаете же вы, конечно, господа, прогрессом кулинарные ухищрения Лукулла и тот тяжелый пирог, который с легкой руки Вителлия зовется «минервин щит», равно как и все наши жаркие, паштеты, тушеные мяса, фаршированные грудинки и прочие фрикассе, весьма сильно отдающие варварством.

Королевский стол в Фонтенебло, где подают на блюде целого оленя в шерсти и с рогами, для взоров истого философа являет собой столь же неприглядное зрелище, как трапеза троглодитов, усевшихся на корточках прямо в золе костра и гложущих лошадиные кости. Ни роскошная роспись стен, ни королевская стража, ни пышные ливреи лакеев, ни музыканты, играющие на хорах мелодии Ламбера и Люлли^[127], ни шелковые скатерти, серебряные блюда, золоченые кубки, венецианское стекло, факелы, чеканные вазы для цветов — ничто не может ни ввести вас в заблуждение, ни набросить покрывало очарования на истинную природу этой гнусной бойни, где кавалеры и дамы расселись вокруг трупов животных, раздробленных костей и разодранного на куски мяса с единственной целью поскорее набить себе брюхо. О, вот уж где поистине пища не может послужить философу. Мы тупо и жадно обжираемся мускулами, жиром, потрохами животных, даже не потрудившись разобраться, какие из этих частей действительно пригодны для еды, а какие — и таких большинство — следует отбросить прочь; и мы поглощаем все подряд: и плохое, и хорошее, и вредное, и полезное. А именно здесь-то и необходим выбор, и будь на всем факультете хоть один медик, он же химик и философ, нам не пришлось бы становиться свидетелями и участниками этих омерзительных пиршеств.

Такой ученый муж, господа, готовил бы нам мясо, подвергнувшееся перегонке и содержащее потому лишь те элементы, которые находятся в соответствии и родстве с нашей собственной плотью. Мы питались бы квинтэссенцией быков и свиней, эликсиром из куропаток и пулярок, и все, что попадало бы нам в желудок, переваривалось бы без затруднений. Я надеюсь, господа, раньше или позже успешно разрешить эту задачу, если сумею посвятить более досуга, чем до сих пор, изучению химии и медицины.

При этих словах г-н Жером Куаньяр поднял взор от тарелки, на доньшке которой стыла бурая размазня, и тревожно взглянул на нашего хозяина.

— Но и это, — продолжал г-н д'Астарак, — все еще нельзя будет считать настоящим прогрессом. Порядочный человек не может без отвращения пожирать мясо животных, и ни один народ не смеет почитать себя просвещенным, пока в городах имеются бойни и мясные ряды. В один прекрасный день мы избавимся от этих варварских промыслов. Когда мы узнаем

точно, какие именно питательные субстанции заключены в теле животных, не исключена возможность, что мы сумеем добывать эти самые вещества в изобилии из тел неживой природы. Ведь тела эти содержат все, что заключено в одушевленных существах, поскольку животные ведут свое происхождение от растительного мира, а он в свою очередь почерпнул необходимые ему вещества из неодушевленной материи.

Таким образом, мы будем вкушать металлические и минеральные экстракты, которые нам изготовят искусные физики. Не бойтесь, на вкус они будут упоительны, поглощение их оздоровит человеческий организм. Пища будет вариться и жариться в ретортах и перегонных кубах, а место наших поваров займут алхимики. Признайтесь же, господа, вам не терпится увидеть все эти чудеса въяве. Ручаюсь, вскорости вы их и увидите. Но вы и представления не имеете, какое действие они окажут.

— И впрямь, сударь, не имею, — отозвался мой наставник, отхлебнув глоток вина.

— В таком случае разрешите мне закончить свою мысль, — продолжал г-н д'Астарак. — Коль скоро пищеварение перестанет быть медлительным и одурающим процессом, люди приобретут неслыханную подвижность; их зрение обострится до крайних пределов, и они без труда разглядят корабли, скользящие по лунным морям. Рассудок их прояснится и нравы смягчатся. Они преуспеют в познании бога и природы.

Но мы должны предвидеть все вытекающие отсюда перемены. Само строение человеческого тела претерпит изменения. Те или другие органы, не будучи упражняемы, утончатся, а то и вовсе исчезнут — таков непреложный закон. Уже давно замечено, что глубоководные рыбы, лишенные дневного света, слепнут; я сам свидетель тому, что пастухи в Валэ, питающиеся одной простоквашей, до времени теряют зубы; а кое у кого из них зубы и вовсе не прорезались. Так воздадим же должное мудрой природе, которая не терпит ничего бесполезного. Когда люди станут питаться вышеупомянутым бальзамом, их внутренности сократятся на несколько локтей и соответственно уменьшится объем живота,

— Позвольте, позвольте, — вскричал мой добрый учитель, — слишком уж вы торопитесь, сударь, глядите, как бы не наделать беды. Я лично никогда не ставил женщине в вину округлый живот, если, конечно, все прочее ему под стать. Я равнодушен к этому виду красоты. Так не рубите же плеча.

— Не беспокойтесь. Пусть в своих изгибах дамские талии и бедра следуют канонам греческих ваятелей. Таким образом, господии аббат, будут приняты во внимание и ваши вкусы и труды материнства; хотя, по правде сказать, я намереваюсь и сюда внести кое-какие изменения, о которых в свое время сообщу вам. Возвращаясь к теме нашего разговора, должен признаться, что все изложенное мною выше — лишь приближение к истинному питанию, то есть питанию сильфов и всех духов воздуха. Они впивают свет, и этого вполне достаточно, чтобы придать их телу силу и неслыханную гибкость. Это их единственное питье. Рано или поздно оно станет и нашим единственным питьем, господа. Остановка лишь за тем, чтобы сделать годными для усвоения солнечные лучи. Признаюсь, что мне еще не совсем ясны пути достижения цели, и я предвижу множество помех и препятствий. Но если какой-нибудь мудрец добьется успеха, люди сравнятся умом и красотой с сильфами и саламандрами.

Мой добрый учитель слушал эти речи, уныло ссутулившись и понуриив голову. Мне показалось, что он уже видит мысленным взором те изменения, какие внесет в его организм пища, над изобретением которой трудится наш хозяин.

— Сударь, — промолвил он наконец, — если не ошибаюсь, вы говорили давеча в харчевне о некоем эликсире, который может заменить всякую иную пищу?

— Говорил, — отозвался г-н д'Астарак, — но питье это пригодно лишь для философов, и

потому вы можете заключить, сколь ограничено его применение. Поэтому не стоит о нем и толковать.

Тем временем меня терзал неразрешимый вопрос; я попросил у нашего хозяина позволения изложить мучившие меня мысли, надеясь, что он не замедлит разрешить мои сомнения. Получив его согласие, я заговорил:

— Сударь, неужели саламандры, которые, по вашим словам, столь прекрасны и которые с вашей помощью предстали передо мной во всем их очаровании, неужели они, потребляя солнечные лучи, по несчастью испортили себе зубы на манер пастухов из Валэ, кои лишились этого украшения, питаясь одним молоком? Смею вас уверить, этот вопрос меня весьма тревожит.

— Сын мой, — отвечал г-н д'Астарак, — ваша любознательность мне по душе, и я попытаюсь ее удовлетворить. У саламандр нет зубов, в том смысле, как мы это понимаем. Зато десны их украшены двумя рядами жемчужин редкостной белизны и блеска, что придает их улыбке несказанную прелесть. Запомните к тому же, что жемчуг этот не что иное, как затвердевшие лучи.

Я ответил г-ну д'Астараку, что весьма рад этому обстоятельству. А он продолжал:

— Зубы человека есть знак его жестокости. Когда люди будут питаться как должно, место зубов займут драгоценности, подобные жемчужинам саламандр. И тогда уж никто не поверит, что было время, когда влюбленный мог без ужаса и отвращения видеть, как из-за губок его милой выглядывают собачьи клыки.

* * *

После трапезы наш хозяин провел нас в просторную галерею, соседствовавшую с его кабинетом и служившую библиотекой. Нашему взору предстало бесчисленное воинство, или, вернее говоря, вселенский собор выстроившихся на дубовых полках книг in 12 °, in 8 °, in 4 °, in folio в самых разнообразных одеяниях — из телячьей кожи, из сафьяна обычного, из сафьяна турецкого, из пергамента и свиной кожи. Полдюжины окон освещали это безмолвное собрание, расположившееся вдоль высоких стен, из одного конца галереи в другой. Середину залы занимали длинные столы, расступившиеся, чтобы дать место небесным сферам и астрономическим приборам. Г-н д'Астарак любезно предложил каждому из нас выбрать себе место, наиболее удобное для предстоящих трудов.

Но добрый мой наставник, запрокинув голову, пожирал взором и дыханием уст своих все эти тома и даже пустил от удовольствия слюну.

— Клянусь Аполлоном! — воскликнул он. — Что за великолепное собрание! Как ни богата была библиотека господина епископа Сеэзского трудами по церковному праву, она ничто против этой. Даже пребывание в полях Елисейских, воспетых Вергилием^[128], было бы мне не столь сладостным. Беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться в наличии здесь редчайших книг и ценнейших коллекций, представленных в таком изобилии, что, полагаю, сударь, с вашей библиотекой не сравнится ни одно частное собрание во Франции и уступает она разве только библиотеке Мазарини и королевской. Осмелюсь даже утверждать, что один лишь вид этой груды латинских и греческих рукописей, сложенных вон в том углу, позволяет

в ряду с такими книгохранилищами, как Бодлеенское, Амвросианское, Лауренцианское и Ватиканское, назвать, сударь, и Астаракианское. Скажу не хвастаясь, я уже издали нюхом чую трюфели и книги, и отныне я числю вас, сударь, в одном ряду с Пейреском, Гролье и Каневариусом — князьями книголюбов.

— Куда им до меня, — мягко заметил д'Астарак, — да и библиотека эта неизмеримо более ценна, чем все, которые вы изволили назвать; королевская библиотека в сравнении с моей — лавчонка с книжным хламом, если не принимать в расчет простого количества томов и измаранной бумаги. Прославленные библиотекари Габриэль Ноде и ваш аббат Биньон в сравнении со мной лишь лентяи, пасущие мерзкие стада книг, неразличимых, как овцы в отаре. Что касается бенедиктинцев, не могу не согласиться, люди они старательные, но уж очень придурковаты, и подбор книг в их библиотеках свидетельствует о посредственности хозяев. Моя галерея, сударь, создана по иному образцу. Труды, собранные мною, образуют целое, которое прямым путем приводит к знанию. Библиотека эта — гностическая, ойкуменическая^[129] и духовная. Ежели все эти строчки, выведенные на бессчетных листах бумаги и пергамента, вошли бы нерушимым строем в ваш мозг, сударь, вы узнали бы все, все бы могли, стали бы повелителем природы и гончаром вещей; вы держали бы весь мир у себя в щепоти, как держу я между большим и указательным пальцами понюшку табаку.

С этими словами он протянул табакерку доброму моему наставнику.

— Вы весьма любезны, — промолвил аббат Куаньяр.

И, по-прежнему обводя восхищенным взглядом эти стены, хранители мудрости, он воскликнул:

— Вот там, меж третьим и четвертым окном, полки несут на себе ценнейший груз. Там встретились восточные рукописи и как бы ведут меж собой беседу. Под одеянием из пурпура и златотканого шелка я приметил с дюжину весьма почтенных особ. Иные на манер византийского императора скрепляют свою мантию рубиновыми застешками. Другие укрыты пластинками из слоновой кости.

— Это труды древнееврейских, арабских и персидских кабалистов, — пояснил г-н д'Астарак. — Вы листаете «Могущественную руку». А рядом вы обнаружите «Накрытый стол», «Верного пастыря», «Обломки храма» и «Свет во тьме». Одно место пусто: здесь стоял бесценный трактат «Медленные воды», но его в данное время изучает Мозайд. Как я вам уже говорил, господа, Мозайд, живущий у меня в доме, старается проникнуть в самые сокровенные тайны, заключенные в писаниях древних евреев, и хотя ему уже перевалило за сотню лет, мой раввин не желает умирать, прежде чем не разберется в смысле кабалистических знаков. Я многим ему обязан и прошу вас, господа, при встречах оказывать ему не меньше почтения, чем оказываю ему я сам.

Но оставим это и перейдем к вопросу, касающемуся вас. Я рассчитываю на вас, господин аббат, как на переписчика и переводчика на латинский язык ценнейших греческих рукописей. Я полностью доверяю вашим знаниям и усердию и отнюдь не сомневаюсь, что этот юноша не замедлит стать вашим надежным помощником.

Затем он повернулся ко мне:

— Да, дитя мое, я возлагаю на вас большие надежды. Они внушены мне прежде всего полученным вами воспитанием, ибо вы были вскормлены, если так можно выразиться, в пламени, у очага, посещаемого саламандрами. А обстоятельство это не маловажное.

С этими словами он взял связку рукописей и положил ее на стол.

— Сей труд, — сказал он, указывая на свиток папируса, — вывезен из Египта. Это творение Зосимы Панополитанского, которое считалось утерянным и которое я самолично обнаружил в гробнице некоего жреца Сераписа^[130]. А вот это, — добавил он, указывая на

обрывки залоснившихся и размочаленных листов, на которых еле виднелись греческие буквы, выведенные кисточкой, — вот это неслыханные откровения, одним из них мы обязаны персу Сафару, а другим — Иоанну, протоиерею святой Евагии.

Если вы первым делом займетесь этими рукописями, я буду вам бесконечно признателен. Затем изучим рукописи Синезия, Птолеманского епископа, Олимпиодора и Стефануса, которые я обнаружил в Равенне, в пещере, где они пролежали со времен царствования неуча Феодосия, прозванного Великим^[131].

Прежде всего, господа, составьте себе общее представление о ждущем вас обширном труде. В глубине залы, направо от камина, вы найдете грамматики и словари, которые мне удалось собрать; они, возможно, помогут вам. Разрешите пока удалиться, в кабинете меня ждут пять-шесть сильфов. Критон позаботится о том, чтобы у вас ни в чем не было недостатка. Прощайте.

Как только г-н д'Астарак скрылся за дверью, мой добрый наставник подсел к столу, где лежал папирус Зосимы, и, вооружившись лупой, оказавшейся под рукой, приступил к расшифровке текста. Я обратился к нему с вопросом — не слишком ли он удивлен всем услышанным?

Не подымая от рукописи головы, учитель ответил мне:

— Сын мой, я знал достаточно разных людей и достаточно испытал превратностей судьбы, чтобы чему-либо удивляться. Этот дворянин на первый взгляд может показаться безумцем, и не потому, что он действительно безумец, а скорее потому, что его мысли слишком уж отличны от образа мыслей людей дюжинных. Однако ж если бы мы с большим вниманием прислушивались к тому, что обычно говорится, то обнаружили бы в людских речах еще меньше смысла, чем в разглагольствованиях нашего философа. Предоставленный самому себе разум человеческий, даже наиболее возвышенный, склонен возводить воздушные замки и храмы, и господин д'Астарак, как видно, понаторел в этой воздушной архитектуре. Нет иной истины, кроме бога; не забывай этого, сын мой. Но здесь предо мной вьаве лежит «Имуф» — сочинение, принадлежащее перу Зосимы Панополитанского, написанное им для своей сестры Теосебии. Какая честь и какая улада читать эту уникальную рукопись, чудом извлеченную на свет божий! Ей жажду я посвятить свои дневные труды и ночные бдения. От души жалею я, сын мой, невежд, брошенных бездельем в бездну распутства. Что за жалкую жизнь влачат они! Что в сравнения с александрийским папирусом любая женщина? Сравни, прошу тебя, эту благороднейшую библиотеку с кабачком «Малютка Бахус», а беседу, которой тебя удостаивает бесценная рукопись, с ласками, которыми дарят тебе девицы в укромном уголке, и скажи сам, сын мой, где получаем мы истинное наслаждение? Я собеседник муз, завсегдатай безмолвных оргий раздумья, воспетых красноречивым Мадорским ритором, я возношу благодарность господа богу, создавшему меня человеком порядочным.

* * *

В течение месяца, а быть может и больше, г-н Куаньяр дни и ночи со всем тщанием предавался, как и обещал, чтению рукописи Зосимы Панополитанского. Даже во время

трапез, которые мы по-прежнему делили с г-ном д'Астараком, разговор шел только о воззрениях гностиков и познаниях древних египтян. Будучи всего лишь невежественным школяром, боюсь, я недостаточно умело помогал доброму моему наставнику. Но я трудился, не щадя сил, отыскивал по его указанию нужные места; и делал это не без удовольствия. И действительно, мы жили счастливо и спокойно. К концу седьмой недели г-н д'Астарак отпустил меня повидаться с родителями. Как удивительно уменьшилась в размерах наша харчевня! Я застал там только матушку, печальную и одинокую. Увидев меня в богатом платье, она громко вскрикнула.

— Жак, мой Жак, — твердила она, — как же я тебе рада!

И она залилась слезами. Мы обнялись и расцеловались. Затем, утерев глаза кончиком холщового передника, матушка промолвила:

— Отец твой отправился к «Малютке Бахусу». После того как ты ушел от нас, он все время туда ходит, говорит, что дома стало как-то тоскливо. Вот-то он обрадуется. Но скажи мне, Жак, сынок, хорошо ли тебе теперь живется? Уж как я убивалась, что отпустила тебя к этому сеньору; исповедуясь у господина третьего викария, я призналась ему, что о плоти твоей позаботилась, а о душе нет, и позабыла о господе боге, лишь бы тебя получше пристроить. Господин третий викарий ласково меня пожурил и посоветовал следовать примеру добродетельных жен из Священного писания и назвал их мне целый десяток; но имена у них такие мудреные, что мне их не упомянуть. Да и говорил он со мной недолго, я пошла к нему в субботу вечером, и в церкви было полно исповедующихся.

Я как мог успокоил бедную мою матушку, сказав, что по желанию г-на д'Астарака работаю над греческими рукописями, а на греческом языке, как известно, написано святое евангелие. Матушке мои слова пришлись по душе. Однако ж какая-то забота все еще грызла ее.

— Ты никогда, Жако, сынок, не угадаешь, — начала она, — кто говорил мне о господине д'Астараке. Кадетта Сент-Ави, служанка господина кюре из церкви святого Бенедикта. Она сама гасконка, родом из местечка, называемого Ларок-Тембо, это по соседству с Сент-Эвлали, помещьем господина д'Астарака. Ты ведь и сам знаешь, Кадетта Сент-Ави женщина преклонного возраста, как и подобает служанке кюре. В молодые годы она знавала трех тамошних господ д'Астараков, один из них был капитаном корабля и потом утонул в море. Это самый из них младший. Второй, полковник, пошел на войну, где его и убили. Из всех троих остался в живых только старший, Геракл д'Астарак. Вот ему-то ты и служишь, сынок, надеюсь, к твоему благу. В молодости он был первый щеголь, права весьма вольного, хоть и угрюмого. Он сторонился казенных должностей и не искал случая послужить королю не в пример своим братьям, нашедшим достойную кончину. И любил повторять, что не велика честь разгуливать со шпагой на боку, что нет ремесла более низкого, чем ремесло военное, и, по его разумению, последний деревенский костоправ стоит большего, чем бригадир или там маршал Франции. Вот какие он держал речи. По мне-то, признаться, ничего дурного или зловердного тут нет, но уж слишком дерзко да и чудно так говорить. Однако и впрямь достойны такие речи хулы, недаром же говорила Кадетта Сент-Ави, что господин кюре считает подобные слова противными установленному богом порядку и идущими наперекор тому месту библии, где господь бог прямо называется начальником воинства. А это великий грех. Господин Геракл так чурался королевского двора, что даже не пожелал поехать в Версаль, дабы представиться его величеству, хотя по своему происхождению имел на это право. «Король ко мне не едет, — говаривал он, — и я к нему не поеду». А ведь, сынок, всякому ясно, что такого человек в здравом рассудке не скажет.

Добрая моя матушка вопросительно и тревожно взглянула на меня и продолжала:

— А сейчас я тебе, Жако, сынок, скажу такое, что и не поверишь. Но Кадетта Сент-Ави говорит об этом, как о самом достоверном деле. Так вот, слушай. Господин Геракл д'Астарак, оставшись в своем поместье, только тем и занимался, что ловил в графины солнечный свет. Кадетта Сент-Ави сама не знает, как это он ухитрился, но в одном она уверена, что в этих графинах, тщательно закупоренных и простоявших известное время в горячей водяной бане, мало-помалу появлялись крохотные женщины, стройненькие на диво в разодетые, как принцессы на театре... Не смейся, сынок; до шуток ли, когда смекаешь, к чему все это ведет. Грех-то какой мастерить живые существа, не для них небось святое крещение, да и вечное блаженство им заказано. Что ж, по-твоему, господин д'Астарак взял да собрал свои бутылки и отнес их священнику, чтобы тот окунул в купель этих самых мартышек. Да ни одна порядочная женщина к ним в крестные матери не пошла бы!

— Дражайшая маменька, — ответил я, — а зачем было бы крестить куколок господина д'Астарака, коли на них нет первородного греха?

— Об этом я как раз и не подумала, — заметила матушка, — и Кадетта Сент-Ави тоже на этот счет ничего не говорила, хоть она и служит у самого господина кюре. На наше горе, она в молодых годах покинула Гасконь и перебралась во Францию и поэтому ничего больше не слыхала ни о господине д'Астараке, ни о его графинах, ни о его мартышках. От души надеюсь, Жако, что он отказался от этого окаянного занятия, ведь тут без помощи нечистого никак не обойтись.

— Скажите, маменька, — спросил я, — а Кадетта Сент-Ави, служанка господина кюре, своими собственными глазами видела этих самых красоток в графине?

— Нет, не видела, сынок. Разве такой скрытник, как господин д'Астарак, кому покажет своих куколок. Но ей рассказывал об этом один церковнослужитель по имени Фульгенций — сам-то он бывал в замке и клялся, что видел, как эти крошки выбираются из своей стеклянной темницы и танцуют менуэт. Как же ей было не поверить? Ведь если можно еще сомневаться в том, что видишь собственными глазами, то в словах честного человека, особенно церковнослужителя, сомневаться-то грех. А уж совсем плохо, что на такие дела уходит пропасть денег: Кадетта Сент-Ави уверяла меня, что трудно даже представить, сколько потратил этот самый господин Геракл на приобретение бутылей различных форм, на горны и на черные книги, от которых у него в замке негде повернуться. Но после смерти братьев он сделался первым богачом во всей округе и хотя ради своих безумных затей бросает деньги на ветер, земли у него плодородные, за него, можно сказать, работают. Кадетта Сент-Ави уверяет, что сколько он ни потратил, все равно он сейчас еще богат.

При этих словах в харчевню вошел батюшка. Он нежно облобызал меня и признался, что без меня и г-на Жерома Куаньяра, человека славного и веселого, дом для него не дом. Он похвалил мой новый наряд и преподавал мне урок по части манер, так как, заявил батюшка, торговые занятия приучили его к любезному обхождению, недаром приходится ему приветствовать любого посетителя, даже простолюдина, как знатного дворянина. Он порекомендовал мне при ходьбе округлять локти и держать носки врозь и дал совет отправиться на Сен-Жерменскую ярмарку посмотреть Леандра^[132] и во всем строго ему подражать.

Мы пообедали с отменным аппетитом, а прощаясь, пролили потоки слез. Я был от души привязан к батюшке и матушке и еще горше плакал при мысли, что достаточно оказалось полуторамесячной разлуки, чтобы нам отвыкнуть друг от друга. Полагаю, что то же чувство повергло в печаль и моих родителей.

Когда я вышел из харчевни, уже спустилась ночь. На углу улицы Писцов я услышал густой и сочный бас, выводивший:

Коль красotka честь теряет,
Знать, сама того желает.

Оглянувшись в сторону, откуда шел голос, я сразу же признал брата Ангела, который, обняв за талию Катрину-кружевницу, брел в темноте неверным, но победным шагом, за плечами его в такт шагам моталась сума, а из-под сандалий, шлепавших вдоль водосточной канавы, взлетали в воздух снопы грязи, очевидно во славу его беспутного ликования, подобно тому, как версальские фонтаны взметают свои струи во славу королей. Я поспешил укрыться в подворотне за тумбой, надеясь остаться незамеченным. Напрасная предосторожность, ибо они вполне довольствовались обществом друг друга. Положив головку на плечо капуцину, Катрина заливалась смехом. Луч луны трепетал на ее влажных устах, в зрачках ее глаз, словно на поверхности родника. И я повернул к замку с уязвленной душой, и гнев переполнял мое сердце при мысли, что округлую талию красотки обвивают лапы грязного монаха.

«Как же возможно, — твердил я про себя, — чтобы столь прекрасное создание находилось в столь мерзостных руках? И если Катрина пренебрегла мной, зачем жестокая еще усугубляет свое презрение, выказывая склонность к этому мерзкому брату Ангелу?»

Я становился в тупик перед таким предпочтением, мне оно было и непонятно и омерзительно. Но недаром же был я питомцем г-на Жерома Куаньяра. Сей несравненный наставник привил мне склонность к размышлениям. И тут же в моем воображении возникли сатиры — завсегдатаи волшебных садов, принадлежавших нимфам, и я вывел заключение, что ежели Катрина равна красою нимфам, то сатиры, какими нам их изображают, столь же богомерзки, как этот капуцин. Потому я пришел к мысли, что не следует слишком дивиться увиденному мною. Однако ж голос рассудка не мог рассеять печали, ибо отнюдь не рассудком была она рождена. Так размышлял я в ночном мраке, увязая в месиве из снега и грязи, и, сопутствуемый своими мыслями, добрался до Сен-Жерменской дороги, где повстречал г-на аббата Жерома Куаньяра, который, отужинав в городе, возвращался на ночь к Саблонскому кресту.

— Сын мой, — воскликнул он, — за столом некоего весьма ученого священнослужителя, какового смело уподоблю Пейреску^[133], беседовали мы о Зосиме и гностиках. Вино там подавали терпкое, а пищу посредственную. Зато с каждым словом нашим изливались нектар и амброзия.

И мой добрый учитель с редкостным красноречием заговорил о Панополитанце. Увы! Я почти не внимал его речам, я думал о той капле лунного света, что упала во мраке на уста Катрины.

Когда, наконец, аббат умолк, я осведомился, чем именно греки объясняли пристрастие нимф к сатирам. Добрый мой учитель, человек обширных знаний, не имел обыкновения мешкать с ответом на любой вопрос.

— Сын мой, — сказал он, — пристрастие это основано, по мнению греков, на вполне естественной склонности. Будучи достаточно сильным, оно все же не столь пылко, как аналогичная тяга сатиров к нимфам. Поэты весьма тонко подметили различие. Расскажу тебе в связи с этим удивительнейшую историю, которую я вычитал в манускрипте, хранящемся в библиотеке господина епископа Сеэзского. Это сборник — до сих пор вижу его перед собой, — написанный прекрасным почерком, каким писали лишь в минувшем веке. Так вот какой необыкновенный случай сообщается там. Некий нормандский дворянин и его супруга как-то принимали участие в народном гулянии, он — в костюме сатира, она — в костюме нимфы. А еще Овидий рассказывал, с каким пылом преследуют сатиры нимф. Наш дворянин начитался «Метаморфоз» и до того проникся духом изображаемого им сатира, что спустя девять месяцев супруга подарила ему сына, лоб коего украшали рожки, а ноги были с копытцами на манер козлиных. Нам не известна участь родителя, одно достоверно, что, покорный участи всех смертных, он отошел в лучший мир, оставив, помимо своего козлоногого отпрыска, еще и младшего сына, облика вполне человеческого и приобщившегося таинства крещения. Так вот, этот младший братец обратился в суд с просьбой лишить отцовского наследства старшего по той причине, что тот-де не принадлежит к роду человеческого, чьи грехи искупил своей кровью Иисус Христос. Нормандский суд, заседавший в Руане, решил дело в пользу жалобщика, и постановление было утверждено по всей форме.

Я осведомился у доброго моего наставника, неужели простое переодевание может оказать такое воздействие на человеческую природу и неужели своим обликом младенец обязан лишь перемене платья. Г-н аббат Куаньяр посоветовал мне не доверять таким вещам.

— Жак Турнеброш, сын мой, — промолвил он, — запомни хорошенько, что здравый смысл отрицает все, что входит в противоречие с разумом, за исключением вопросов религии, где потребна слепая вера. Я, слава тебе господи, никогда не мудрствовал лукаво относительно догматов святой нашей веры и уповаю вплоть до смертного своего часа пребывать в подобном же расположении ума.

Так рассуждая, добрались мы до замка. В ночной тьме выступила его кровля, ярко освещенная багровым отсветом. Из трубы вырывались снопы искр и, поднявшись в воздух, тут же падали золотым дождем на землю, не разрывая густой пелены дыма, обволакивавшей небо. Мы оба одновременно подумали, что в замке хозяйничает огонь. Мой добрый учитель, громко стелая, начал рвать на себе волосы:

— Мой Зосима, мои папирусы, мои греческие манускрипты! На помощь! На помощь! Зосима горит!

Что было сил понеслись мы по главной аллее, оступаясь в лужи, окрашенные отсветом пожара, пересекли парк, укрытый густым мраком. Тут было пустынно и тихо. В замке, казалось, все спало. На неосвещенной лестнице, куда, наконец, мы вступили, слышался рев пламени. Перескакивая через две ступеньки, мы то и дело прислушивались, стараясь понять, откуда доносится этот зловещий шум.

Нам показалось, что идет он из коридора второго этажа, куда мы ни разу еще не заглядывали. Ощупью добрались мы туда и, увидев, что сквозь щель закрытой двери пробивается красноватый отблеск, изо всех сил налегли на створки. Внезапно дверь подалась.

Господин д'Астарак, — это он распахнул двери, — спокойно стоял перед нами. На багровом фоне черным силуэтом вырисовывалась его длинная фигура. Он учтиво

осведомился, какое срочное дело привело нас сюда в столь поздний час.

Нет, не пламя пожара освещало комнату, а свирепый огонь, выбивавшийся из огромной отражательной печи, которая, как мне стало известно впоследствии, зовется атанором. Вся зала — помещение обширных размеров — была сплошь заставлена склянками с узким горлышком, над которыми причудливо изгибались стеклянные трубки, заканчивавшиеся краном в виде утиного клюва; были здесь и приземистые реторты с раздутыми боками, похожие на щекастое лицо, на котором торчит нос наподобие хобота, тигели, длиннгорлые колбы, пробирные чашечки, перегонные кубы и иные сосуды непонятных форм.

Утирая мокрое лицо, пылавшее, как раскаленные уголья, мой добрый учитель промолвил:

— Ах, сударь, мы думали, что весь замок охвачен огнем, точно стог сухой соломы. Хвала господу, библиотека цела. Но я вижу, сударь, вы занялись алхимией.

— Не скрою от вас, — отвечивал г-н д'Астарак, — что хотя я немало продвинулся в этом искусстве, я все еще не нашел секрета, необходимого для окончательного совершенствования моих трудов. В ту самую минуту, господа, когда вы ломились в двери, я добывал Вселенский Дух и Небесный Цветок, которые есть не что иное, как истинный источник молодости. Вы хоть что-нибудь смыслите в алхимии, господин Куаньяр?

Аббат ответил, что из книг составил себе кое-какое представление о сем предмете, но, по его мнению, занятие алхимией злокозненно и противоречит святой вере. Г-н д'Астарак улыбнулся его словам.

— Вы, господин Куаньяр, человек сведущий и бесспорно слышали и про Летающего Орла, и про Птицу Гермеса, и про Курицу Гермогена, и про Голову Ворона, и про Зеленого Льва, и про Феникса.

— Слышал, — подтвердил мой добрый учитель, — и знаю, что именами этими называют философский камень в различных его состояниях. Однако ж сомневаюсь, чтобы с помощью его можно было превращать металлы.

На это г-н д'Астарак хладнокровно отвечивал:

— Нет ничего легче, чем положить конец вашим сомнениям, сударь.

Он открыл старенький колченогий поставец, прислоненный к стене, вынул оттуда медную монету с изображением нашего покойного государя и указал на круглое пятно, видимое и с орла и с решки.

— Таково, — промолвил он, — воздействие камня, с помощью коего медь превращена в серебро. Но это лишь детская забава.

Вновь повернувшись к поставцу, он достал оттуда сапфир величиной с куриное яйцо, затем необыкновенно крупный опал и горсть изумрудов редчайшей красоты.

— Перед вами, — заключил он, — кое-какие плоды моих трудов, доказывающие со всей убедительностью, что искусство алхимии отнюдь не игра праздного ума.

На дне ларчика, где хранились драгоценные камни, лежало с полдюжины крошечных алмазов, о которых г-н д'Астарак даже не упомянул. Добрый мой наставник обратился к нему с вопросом, не его ли искусству обязаны эти алмазы своим появлением на свет, и, получив подтверждение, воскликнул:

— Осмелюсь, сударь, посоветовать вам, благоразумия ради, показывать первым долгом эти розочки. Ежели вы сначала предъявите сапфир, опал и рубин, каждый справедливо заключит, что подобные камни могут быть творением одного лишь дьявола, и вас притянут к суду по обвинению в колдовстве. В равной мере один лишь дьявол способен благоденствовать среди этих горнов огнедышащих. Что касается меня, то, пробыв здесь всего четверть часа, я уже наполовину изжарился.

Господин д'Астарак снисходительно улыбнулся и, провожая нас к выходу, повел такую речь:

— Досконально зная, как надлежит мне относиться к вопросу о подлинном существовании дьявола и того, другого, я охотно беседую об этом предмете с верующими людьми. Оба они — дьявол и тот, другой, как говорится, характеры собирательные; и, следовательно, о них можно рассуждать, как, скажем, об Ахилле и Терсите. Будьте благонадежны, милостивые государи, ежели дьявол таков, каким мы его себе представляем, он не может жить в столь деликатной стихии, как огонь. Величайшая из нелепостей предоставить солнце в распоряжение столь зловредной твари. Но я, господин Турнеброш, уже имел честь объяснить капуцину вашей матушки, что христиане, по глубокому моему убеждению, клеветают на сатану и на демонов, хотя почти и непостижимо, что где-то в мире, нам неведомом, обитают существа еще более злобные, чем люди. И конечно же, ежели они существуют, они населяют края, лишенные света, и если пылают, то лишь среди льдов, которые, как известно, своим прикосновением причиняют жгучую боль, а отнюдь не среди славного пламени в окружении пылких звездных дев. Да, они страдают, ибо исполнены злобы, а злоба — это своего рода болезнь, но страдают они только от жестокого холода. Что же до вашего сатаны, этого жупела богословов, я, господа, не склонен, судя по вашим же рассказам, считать его существом презренным, и ежели по случайности он действительно есть, в моих глазах он не мерзопакостная тварь, а маленький силф или, если угодно, гном-рудознавец, пусть даже насмешник, зато умница.

Мой добрый учитель закрыл ладонями уши и пустился в бегство, не желая слушать дальше.

— Какое безбожие, — воскликнул он, очутившись на лестнице, — какое богохульство! Турнеброш, сын мой, уловил ли ты всю мерзость изречений нашего философа? К моему изумлению, он доводит неверие до какого-то лихого неистовства. Но как раз это-то и снимает с него почти все бремя вины. Ибо, отринув всяческую веру, он, естественно, не оскверняет догматы святой церкви, как тот, кто связан с нею своей пуповиной, уже полуоторванной, но еще кровоточащей. Таковы, сын мой, лютеране и кальвинисты, от разрыва коих со святой церковью остается не просто рубец, а гнойная рана. Безбожники в противовес им губят лишь свою собственную душу, и не совершает греха тот, кто делит с ними трапезу. Посему не будем плакаться на свое пребывание у господина д'Астарака, не верящего ни в бога, ни в дьявола. А заметил ли ты, Турнеброш, сын мой, на дне ларчика горсточку мелких алмазов: похоже, что он сам не ведает им счета, мне же они показались чистой воды. Вот опал и сапфиры, те что-то подозрительны. Бриллианты же совсем как настоящие.

Добравшись до наших покоев, мы с аббатом пожелали друг другу мирных снов.

* * *

До самой весны мы с добрым моим наставником вели жизнь размеренную и уединенную. Каждое утро, удалившись в галерею, мы занимались вплоть до обеда, после чего возвращались обратно, — в театр, говоря словами г-на Жерома Куаньяра; но не для того,

пояснял сей превосходный муж, чтобы подобно дворянам и лакеям рукоплескать скабрёзным сценам, а дабы слышать возвышенные, пусть и противоречивые, диалоги древних авторов.

Не удивительно, что при таком образе жизни чтение и перевод Зосимы Панополитанского продвигались с быстротой поистине чудесной. Моей заслуги тут не было. Подобный труд превосходил мои скромные познания, но я довольствовался уж тем, что научился разбирать греческие буквы в том виде, в каком изображают их на египетских папирусах. Все же я помогал моему наставнику, обращаясь за необходимыми справками к тем авторам, которыми он руководствовался в своих разысканиях, и, в первую очередь, к Олимпиодору и Фотию^[134], благодаря чему я изучил их на зубок. Мелкие эти услуги значительно возвысили меня в собственном мнении.

После суровой и долгой зимы я уже твердо вступил на стезю учености, но вдруг пришла весна в своем щегольском наряде, сотканном из потоков света, нежной листвы и птичьих трелей. Аромат сирени, вливавшийся в окна библиотеки, навевал смутные мечты, от которых меня внезапно пробуждал голос доброго моего наставника:

— Жако Турнеброш, будь столь любезен, взберись-ка на лестницу и скажи, не пишет ли чего этот мошенник Манефон^[135] о боге Имхотепе, который своими противоречиями мучает меня как дьявол?

И мой добрый наставник с довольным видом забивал себе в обе ноздри понюшку табака.

— Сын мой, — говорил он еще, — примечательно то, что одежда изрядно воздействует на наше нравственное состояние. С той поры, как моя ряса испещрена пятнами, каковые оставили пролитые мною соуса, я ощущаю себя уже не столь порядочным человеком. И неужели, Турнеброш, теперь, когда ваш костюм под стать маркизу, вас не подмывает присутствовать при туалете оперной дивы и проиграть в фараон пяток червонцев, короче, разве не чувствуете вы себя человеком знатным? Не истолкуйте худо моих слов и заметьте, что достаточно нацепить каску на отъявленного труса, как ему уже не терпится поскорее сложить голову на королевской службе. Наши чувства, Турнеброш, образуются под воздействием сотен мелочей, которых мы не замечаем именно в силу их малости, и судьба бессмертной нашей души зависит подчас от дуновения столь легкого, что под ним не согнется и травинка. Мы, человеки, — игрище ветров. Однако ж передайте мне, пожалуйста, «Начала» Фоссия, я вижу их отсюда, вон красные обрезы сияют под вашей левой рукой.

В тот день, после трапезы, происходившей по обыкновению в три часа, г-н д'Астарак пригласил меня и доброго моего учителя пройтись по парку. Он привел нас в западную часть, примыкающую к Рюэлю и Мон-Валерьену. То был самый отдаленный и самый запущенный уголок его владений. Аллеи поросли плющом и травой, дорогу нам то и дело преграждали стволы поваленных бурей деревьев. Стоявшие вдоль аллеи мраморные статуи кокетливо улыбались, не подозревая о своем увечье. Здесь нимфа подносила к устам несуществующую более руку, призывая пастушка к скромности. Там юный фавн, с отбитой головой, валявшейся в траве, все еще пытался приложить к губам звонкую свою флейту. И эти божественные создания как бы преподали нам урок презрения к жестокости времени и судеб. Мы шли вдоль канавы, наполненной дождевой водой, где искали корма лягушки. Вокруг лужайки возвышались наклонные чаши, где утоляли свою жажду горлинки. Отсюда мы свернули на узкую тропинку, проложенную прямо среди кустов.

— Ступайте осторожнее, — предупредил нас г-н д'Астарак. — Эта тропинка опасна тем, что вдоль нее растут мандрагоры^[136], которые с наступлением ночи поют у подножья деревьев. Мандрагоры эти скрыты в земле. Остерегайтесь наступить на них: вами овладеет любовное томление или жажда наживы, и тогда вы погибнете, ибо страсти, внушенные мандрагорой,

сродни печали.

Я осведомился, как можно избежать опасности, коль скоро она невидима. Г-н д'Астарак пояснил мне, что избежать ее можно лишь в силу внутреннего прозрения и не иначе.

— Да и вообще, — добавил он, — это погибельная тропа.

Дорожка выводила к кирпичному, увитому плющом флигельку, похожему на домик сторожа. Здесь кончался парк и начинались унылые огороды, разбитые на берегах Сены.

— Взгляните на этот флигель, — обратился к нам г-н д'Астарак. — В стенах его обитает мудрейший из людей. Здесь Мозайд, стодвенадцатилетний старец, проникает с подлинно величественным упорством в запутаннейшие тайны природы. Далеко за собой он оставил Имбонатуса и Бартолони. Я надеялся, господа, что величайший после Еноха, сына Каина, кабалист окажет мне честь и поселится под моей кровлей. Но, соблюдая религиозные запреты, Мозайд отказался сидеть за моим столом, который он почитает христианским, чем, признаться, льстит и повару и мне сверх всякой меры. Трудно представить себе, как яростно этот мудрец ненавидит христиан. Хорошо еще, что мне удалось уговорить его поселиться во флигельке, где он и живет, как затворник, со своей племянницей Иахилью. Уже нельзя откладывать далее ваше знакомство с Мозайдом, господа, и я немедленно представлю вас обоим этому человеку, а вернее, полубогу.

С этими словами г-н д'Астарак ввел нас во флигель, и мы поднялись за ним по винтовой лестнице в горницу, где среди разбросанных рукописей стояло мягкое кресло и в нем сидел старец с живыми глазами, горбатым носом и срезанным подбородком; на грудь его падала расчесанная на обе стороны жидкая белая борода. Бархатный колпак, похожий на императорский венец, покрывал плешивую голову, нечеловечески худое тело было укутано в ветхий балахон желтого шелка, — поистине царственное отрепье.

Хотя его пронзительный взор обратился к нам, старик даже движением век не показал, что заметил присутствие посторонних. На его лице запечатлелось скорбное упрямство, а в морщинистых пальцах он нетерпеливо вертел тростинку, которой пользовался для письма.

— Не рассчитывайте услышать от Мозаида праздные слова, — пояснил нам г-н д'Астарак. — Вот уже много лет, как мудрец беседует лишь с духами и со мной. До чего же возвышенны его речи! Поскольку он не удостоит вас, господа, беседы, постараюсь сам в немногих словах дать представление о его заслугах. Во-первых, он сумел проникнуть в сокровенный смысл книг Моисея, исходя из значения древнееврейских букв, которое определяется их порядковым местом в алфавите. Начиная с одиннадцатой буквы порядок этот был нарушен. Мозайд восстановил его, добившись успеха там, где потерпели неудачу Атрабис, Филон, Авиценна, Раймон Люль, Пикко де ла Мирандолла, Рейхлин, Генрих Мор и Роберт Флид. Мозаиду известно золотое число, которое в мире духов соответствует имени Иеговы. А вы, надеюсь, понимаете, господа, что это влечет за собой поистине невообразимые последствия.

Добрый мой наставник вытащил из кармана табакерку, учтиво предложил нам одолжиться и, втянув в ноздри понюшку, произнес:

— Не думаете ли вы, господин д'Астарак, что подобные знания приведут вас по окончании вашего земного странствия прямехонько в лапы дьявола? Ибо сеньор Мозайд, толкуя Священное писание, впадает в явную ересь. Когда Иисус Христос испустил на кресте дух ради спасения человеков, синагога почувствовала, как пелена закрыла ее очи; она зашаталась подобно пьяной женщине, и венец свалился с главы ее. С той самой поры толкование Ветхого Завета перешло к святой католической церкви, к коей принадлежу и я, несмотря на многие мои прегрешения.

При этих словах Мозайд, похожий на какого-то козлобога, улыбнулся страшной улыбкой

и ответил моему наставнику голосом медленным, скрипучим и как бы идущим из неведомых далей:

— Масхора не доверила тебе своих тайн, и Мишна^[137] не раскрыла тебе загадок своих.

— Мозайд, — подхватил г-н д'Астарак, — проникновенно толкует не только Моисеевы книги, но и книгу Еноха, превосходящую вышеупомянутые заключенным в ней знанием, книгу, которую христиане отвергли по недомыслию, уподобясь тому петуху из арабской басни, который презрел жемчужное зерно, попавшееся ему среди овса. Особую ценность, господин аббат Куаньяр, книге Еноха сообщает то, что там упоминается о первых беседах дочерей человеческих с сильфами. Надеюсь, вы не станете оспаривать того, что ангелы, которые, по словам Еноха, состояли с женщинами в любовном общении, как раз и были сильфами и саламандрами.

— Готов признать это, сударь, — отвечивал добрый мой наставник, — лишь бы не противоречить вам. Но судя по отрывкам, дошедшим до нас из книги Еноха, которая представляет собой явный апокриф, я склонен полагать, что ангелы эти были менее всего сильфами, а скорее обыкновенными финикийскими купцами.

— На чем же вы основываете столь удивительное суждение? — осведомился г-н д'Астарак.

— Я основываю его, сударь, на том, что в этой книге говорится: ангелы научили женщин носить браслеты и ожерелья, преподали им искусство сурмить брови и пользоваться всевозможными притираниями. В той же книге говорится еще, что ангелы ознакомили дочерей человеческих со свойствами кореньев и дерев, научили их чародейству и искусству читать по звездам. Положа руку на сердце, скажите, сударь, разве эти самые ангелы не смахивают более на жителей Тира и Сидона, которые, пристав к полупустынному берегу, раскладывали у подножья скал свои товары с целью прельстить дикарок? Коробейники эти давали им ожерелья из меди, амулеты и снадобья в обмен на амбру, ладан и меха и поражали невежественных красоток рассказами о звездах, сведения о коих сами они почерпнули во время мореплавания. Это ясно как день, и я рад бы услышать возражение господина Мозаида на сей предмет.

Мозайд по-прежнему хранил молчание, а г-н д'Астарак вновь улыбнулся.

— Господин Куаньяр, — промолвил он, — рассуждения ваши достаточно здравы, особенно для человека, неискушенного в гностике и кабале. Ваши слова наводят меня на мысль, что среди сильфов, имевших любовное общение с дочерьми человеческими, находились гномы-рудознатцы и гномы — золотых дел мастера. Ведь гномы охочи до ювелирных работ, и возможно, именно эти искусные духи и выковывали браслеты, которые по вашему домыслу мастерили финикийцы. Но предупреждаю вас, сударь, если вы решите помериться с Мозайдом в области познания человеческих древностей, вы окажетесь в затруднительном положении. Он обнаружил памятники, считавшиеся безвозвратно утерянными, и в числе их столп Сифа и пророчества Самбефы, дочери Ноя, первой из сивилл.

— О! какие бредни! — вскричал мой добрый наставник и даже подскочил, отчего с давно не метенного пола поднялся столб пыли. — Это уж слишком, — вы просто насмежаетесь надо мной! И даже сам господин Мозайд не в силах вместить столько безумств в своей голове, под огромным своим колпаком, напоминающим венец Карла Великого. Этот Сифов столп — смехотворнейшая выдумка пошляка Иосифа Флавия^[138], бессмысленная побасенка, которою никого еще не удалось одурачить, не считая вас. Что же касается пророчеств Самбефы, дочери Ноя, мне было бы любопытно узнать их, и господин Мозайд — а он, как я вижу, скуп на слова — весьма бы обязал меня, если б открыл рот и издал хотя бы звук, ибо — хочется верить — он не склонен издавать их иным, более сокровенным путем,

каким имели обыкновение пользоваться древние сивиллы, давая свои загадочные ответы.

Мозаид, казалось, ничего не слышавший, произнес неожиданно для всех нас:

— И сказала дочь Ноя, и вещала Самбефа: «Суетный человек, что смеется и потешается, не услышит голоса, идущего из седьмой скинии; гряди, нечестивец, к бесславной гибели своей».

Выслушав это пророчество, мы покинули флигель Мозаида.

* * *

В тот год лето выдалось на диво лучезарное, и меня так и тянуло из душных покоев. В один прекрасный день, бродя под сенью деревьев в аллее Королевы, сжимая в руке две монеты по экю каждая, которые я поутру обнаружил в кармане своих панталон и которые явились пока еще первым проявлением щедрости нашего алхимика, я присел, наконец, под навес торговца лимонадом, облюбовав себе столик, вполне подходящий для человека скромного и желающего побыть в одиночестве, и, поглядывая на мушкетеров, распивавших испанское вино с местными красотками, задумался о превратности своей судьбы. Я усомнился в существовании Саблонского креста, г-на д'Астарака, Мозаида, папирусов Зосимы, даже парадной моей одежды, почитая все это лишь мимолетным сном, очнувшись от которого я окажусь в канифасовом своем камзольчике у вертела «Королевы Гусиные Лапы».

Вдруг кто-то потянул меня за рукав, нарушив бег моих мечтаний. И я увидел перед собой брата Ангела, чьи черты с трудом различил из-за капюшона и бороды.

— Господин Жак Менетрие, — зашептал он, — некая молодая особа, желающая вам добра, ждет вас в карете на дороге между рекой и воротами Конферанс.

Сердце как бешеное забилося в моей груди. Испуганный и восхищенный этим приключением, я тотчас же поспешил к указанному месту, стараясь идти степенным шагом, что казалось мне наиболее благопристойным. Добравшись до набережной, я заметил карету и в окошке ее маленькую ручку, покоившуюся на бархате.

При моем приближении дверца приоткрылась, и я с удивлением увидел в карете мамзель Катрину, в платье розового атласа и в прелестной наколке, сквозь черные кружева которой пробивались золотистые локоны.

В нерешительности я замер на подножке.

— Входите же, — пригласила она, — и сядьте рядом со мной. Будьте добры, поскорее закройте дверцу. Не надо, чтобы вас видели. Проезжая по аллее Королевы, я заметила вас у лимонадщика. Тотчас же я послала за вами доброго братца, которого взяла к себе, чтобы достойно провести пост, и с тех пор держу его при себе, ибо в какое бы положение ни попал человек, он не должен забывать о правилах благочестия. Я, господин Жак, просто залюбовалась вами, когда вы сидели у столика со шпагой на боку, и вид у вас был такой грустный, как у настоящего дворянина. Уже давно я питаю к вам дружеское расположение, а я не из тех женщин, которые в богатстве пренебрегают старыми знакомыми.

— Как, мамзель Катрина, — вскричал я, — неужели эта карета, эти лакеи, это атласное платье...

— Знаки благоволения господина де ла Геритода, — подхватила она, — богатейшего

банкира, занимающего видное положение. Он ссужает деньги самому королю. Это такой отменный друг, что ни за какие блага мира я не соглашусь его огорчить. Но, увы, он не так мил, как вы, господин Жак. Он подарил мне маленький особнячок в Гренеле, я вам его покажу от погреба до чердака. Как я рада, господин Жак, что вы так преуспели. Истинные достоинства всегда бывают оценены. Вы увидите мою спальню, она обставлена точь-в-точь как у мадемуазель Давилье. Все стены в зеркалах и кругом статуэтки, статуэтки... Как поживает ваш добрейший батюшка? Между нами говоря, он малость пренебрегает своей супругой и харчевней. А уж ему не положено так поступать. Но давайте поговорим о вас.

— Поговорим лучше о вас, мамзель Катрина, — вставил я наконец. — Вы чудо как хороши, и очень жаль, что вам по душе капуцины. А генеральных откупщиков никто не поставит вам в упрек.

— О, не попрекайте меня братом Ангелом, — возразила она. — Он мне нужен лишь ради спасения души, и если уж у господина де ла Геритода появится соперник, то это будет...

— Кто?

— Вы еще спрашиваете, господин Жак. Какая неблагодарность! Ведь вы-то хорошо знаете, что я вас всегда отличала. А вы даже на меня не глядели.

— Напротив, мамзель Катрина, я всегда страдал от ваших насмешек. Вы меня стыдили тем, что я безусый юнец. Вы же сами не раз говорили, что я простак.

— Это сушая правда, господин Жак, вы и сами не сознаете, до чего ж это верно. Неужели вы не поняли, что я всегда желала вам добра?

— Тогда зачем же, Катрина, были вы до того прелестны, что нагоняли на меня страх? Я и глаз поднять на вас не смел. А в один прекрасный день я заметил, что вы почему-то совсем на меня разгневались.

— Конечно, разгневалась и была права, господин Жак. Ведь вы предпочли мне эту савойскую сурчиху, эту шваль с пристани святого Николая.

— Ах, верьте мне, душенька Катрина, что тут ни при чем ни мой вкус, ни мои наклонности, а просто Жаннете удалось победить мою застенчивость достаточно энергическими средствами.

— Ах, друг мой, поверьте мне, как старшей: робость в делах любви тяжкий грех. Но разве вы не заметили, что эта нищенка ходит в дырявых чулках и что подол у нее на целый локоть покрыт грязью, словно кружевом!

— Заметил, Катрина.

— Разве вы не заметили, Жак, что она кособокая, хуже того, и боков-то у нее нет?

— Заметил, Катрина.

— Как же в таком случае вы могли любить эту савойскую образину, вы, с вашей белоснежной кожей и изысканными манерами?

— Сам в толк не возьму, Катрина. Надо полагать, что в эту минуту перед моими глазами стояли вы. И коль скоро один ваш образ придал мне отваги и сил, за что вы же меня теперь и упрекаете, — судите сами, Катрина, с какой страстью я заключил бы в свои объятия вас или же девушку, хоть немного на вас похожую. Ибо я безумно любил вас.

Катрина взяла мои руки в свои и вздохнула. А я продолжал самым меланхолическим тоном:

— Да, я любил вас, Катрина, и любил бы поныне, не будь этого мерзкого монаха.

Тут Катрина воскликнула:

— Какое низкое подозрение! Не сердите меня. Это же безумие.

— Стало быть, вы разлюбили капуцинов?

— Фи!

Я счел неуместным распространяться далее на эту тему и обнял Катрину за талию; мы упали друг другу в объятия, наши губы встретились, и я почувствовал, как все мое естество растворяется в жажде наслаждения.

Когда после краткого мгновения сладостного забытья она высвободилась из моих объятий, щеки ее пылали, взор увлажнился, уста полуоткрылись. Так, в этот день узнал я, сколь хорошеет и расцветает женщина, когда губы ее еще хранят вкус поцелуя. От моего поцелуя на щеках Катрины расцвели розы нежнейшего оттенка и словно роса окропила васильки ее глаз.

— Какое вы еще дитя, — промолвила Катрина, поправляя наголку. — Уходите скорее. Вам нельзя здесь дольше оставаться. Сейчас явится господин де ла Геритод. У него не хватает терпения дожидаться назначенного для встречи часа, — так он меня любит.

Должно быть, Катрина догадалась по выражению моего лица об охватившей меня досаде, потому что тут же нежно прибавила:

— Послушайте меня, Жак, каждый вечер он ровно в девять часов возвращается домой к своей старой супруге, которая с возрастом стала сварлива, а с тех пор, как сама не способна проказничать, не желает терпеть мужниных проказ и ревнует его сверх меры. Приходите ко мне нынче вечером в половине десятого. Я вас приму. Я живу на углу улицы Бак. Вы сразу узнаете мой дом по трем окнам вдоль фасада и по балкону, увитому розами. Вы же знаете, я всегда любила цветы. До вечера.

Ласковым жестом она оттолкнула меня, и в этом ее движении я почувствовал горечь вынужденной разлуки. Потом, приложив пальчик к губам, она повторила шепотом:

— До вечера!

* * *

Уж не помню, как удалось мне оторвать уста от уст Катрины. Помню лишь, что, прыгнув с подножки кареты, я столкнулся с г-ном д'Астараком, он стоял на краю дороги, напоминая своей долговязой фигурой одинокое дерево. Учтиво поклонившись, я выразил удивление по поводу столь счастливой случайности.

— Сила случая, — возразил он мне, — уменьшается по мере того как возрастает сила знания. Для меня случая не существует. Я, например, твердо знал, сын мой, что непременно встречу вас здесь. Пришла пора для нашей беседы, и так слишком долго откладывавшейся. Если не возражаете, давайте поищем уединенного и спокойного местечка, ибо только такой обстановки требует речь, которую я поведу. Не делайте столь озабоченной мины. Тайны, что я намереваюсь вам поведать, хоть и возвышенны, но приятны.

Говоря так, он повлек меня за собой вдоль берега Сены, и вскоре мы очутились прямо напротив Лебязьего острова, который вздымал пышный шатер листвы, словно корабль свои паруса. Тут он сделал знак перевозчику, и тот доставил нас на зеленеющий остров, посещаемый, да и то лишь в погожие дни, увечными воинами, что играют здесь в шары и опрокидывают чарочку-другую. Ночь зажгла в небесах первые звезды и пробудила к жизни хор кузнечиков. Остров был пустынен. Г-н д'Астарак присел на деревянную скамью в освещенном конце ореховой аллеи, пригласив меня занять место рядом с ним, и повел такую

речь:

— Существуют, сын мой, три сорта людей, от коих философ вынужден скрывать свои тайны. Это власть имущие, ибо неблагоразумно содействовать укреплению их могущества; затем честолюбцы, чьи безжалостные замыслы не должна вооружать философия, и, наконец, распутники, которым обладание магической наукой послужит к удовлетворению низких страстей. Но вам я могу довериться смело, ибо вы не распутник, и хочу надеяться, что лишь недоразумение бросило вас в объятия этой девицы, и не честолюбец, ибо до сего времени вы были вполне довольны жизнью, вращая родительский вертел. Посему без боязни посвящаю вас в сокровенные законы вселенной.

Было бы ошибкой полагать, что жизнь ограничена лишь теми узкими рамками, в которых протекает она на глазах толпы. Когда ваши богословы и ваши философы утверждают, будто человек есть цель и венец творения, они рассуждают не лучше мокриц, которые уверены, что сырые подвалы Версаля или Тюильри построены ради них, мокриц, и что весь остальной дворец необитаем. Система мироздания, открытая монахом Коперником в минувшем веке в согласии с Аристархом Самосским^[139] и философами-пифагорейцами, вам безусловно известна, поскольку ее в переложении преподают школярам и даже сочиняют на сей предмет диалоги для светской болтовни. Вы сами видели у меня машину, которая показывает все это с помощью часового механизма.

Подымите взор к небесам, дитя мое, и над своей головой вы увидите колесницу Давида, влекомую Мизаром и двумя прославленными спутниками к полюсу, вокруг коего она совершает путь свой; увидите Арктур, Вегу из созвездия Лиры, Колос в созвездии Девы, Ариаднин венец с восхитительной жемчужиной. Все это суть солнца. Даже поверхностный взгляд на вселенную убедит вас, что все творения природы — чада огня и что жизнь в самых совершенных ее формах вскормлена пламенем!

А что такое планеты? Капельки грязи, щепотки тины и плесени. Приглядитесь к царственному хору светил, к скопищу солнц. Все они равны нашей планете или превосходят ее величиной и светоносной силой, и если я зимней ясной ночью покажу вам через мою трубу Сириус, не только ваш взор, но и душа будут ослеплены.

Скажите же, положив руку на сердце, неужели вы верите, что Сириус, Альтаир, Регул, Альдебаран, что все эти солнца не что иное, как светильники и только светильники? Неужели верите вы, что древнейшему Фебу, извечно изливающему в пространство, где плывем мы, неиссякаемые потоки света и тепла, нет иного занятия, как освещать нашу землю и еще тройку-другую каких-то мелких и жалких планет? Вот так свечка! В миллион раз больше опочивальни!

Я хочу нарисовать вам картину вселенной, состоящей из множества солнц, а разбросанные там и сям планеты — это просто так, пустяки. Но я вижу, с губ ваших готово сорваться возражение, каковое и хочу предварить своим ответом. Солнца, скажете вы мне, тоже гаснут с круговоротом веков и тоже становятся капелькой грязи. Отнюдь нет! — отвечу я вам, — ибо они живут поддержкой притягиваемых ими комет, которые в конце концов на них падают. Вот оно, обиталище жизни истинной. Планеты и в числе их наша с вами земля являются временным прибежищем для жалких личинок. Эти истины вам и должно усвоить поначалу.

Теперь, когда вы поняли, сын мой, что огонь является первостихией, вы легче усвоите ту истину, какую я поведаю вам сейчас и каковая оставляет далеко за собой не только то, чему учили вас до сего времени, но даже то, что знали Эразм, Тюрнеб^[140] и Скалигер^[141]. Уж не говорю о таких богословах, как Кенель или Боссюэ, которых, между нами говоря, смело уподоблю мутному осадку человеческого разума и которые не более способны к

рассуждениям, чем какой-нибудь гвардейский капитан. Но стоит ли терять время, обливая презрением этих умников, мозги коих объемом и содержимым подобны воробьиному яйцу? Давайте лучше перейдем к предмету нашей беседы. В то время как существа, порожденные землей, ни на волос не могут превзойти предела совершенства, уже достигнутого в области физической красоты Антиноем и госпожой де Парабер^[142], а в искусстве познания — Демокритом и мною, существа, порожденные огнем, наделены мудростью и силою ума, безмерность которых для нас непредставима.

Такова, сын мой, природа лучезарных чад солнца: они с такой же легкостью постигают законы, управляющие вселенной, с какой мы, смертные, овладеваем правилами шахматной игры, и ход светил на небосводе смущает их не более, чем нас ход короля, ладьи или слона на шахматном поле. Духи эти творят новые миры в необитаемой еще части вселенной и устраивают их сообразно своим вкусам. Подобные утехы дают им краткий роздых, отвлекая от главного занятия — сочетаться меж собой в несказанном порыве любви. Вчера я наставил свою трубу на созвездие Девы и узрел отдаленный световой вихрь. Не сомневаюсь, сын мой, что это дело рук одного из этих сынов огня, правда еще далекое от завершения.

В самом деле таково, и только таково, происхождение вселенной. Отнюдь не будучи созданием единой воли, она возникла по воле высшей прихоти несчетного количества духов, которые забавы ради трудились над ее созданием, каждый в свой час и каждый по своему разумению. Вот вам объяснение ее разнообразия, великолепия и несовершенств. Ибо силе и предвидению этих духов, при всей их огромности, все же положен предел. И я солгал бы, утверждая, что человек, будь он даже философ или маг, может войти с этими духами в интимное общение. Ни один из них не открывался мне, и к вышесказанному я пришел путем собственных умозаключений и через услышанное мною от других. И хотя существование этих духов бесспорно, я взял бы на себя слишком много, утверждая, что могу описать вам их нравы и характер. Надобно уметь сознавать свое невежество. И я горжусь тем, сын мой, что любое мое утверждение основано на тщательно изученных фактах. Итак, давайте оставим этих духов, или, вернее, этих демиургов, в сиянии их далекой славы и перейдем к существам не менее знаменитым, но касающимся нас непосредственно. Обратитесь в слух, сын мой.

Если, говоря вам о планетах, я невольно поддался чувству презрения, то потому лишь, что имел в виду только твердую оболочку и кору этих шариков или волчков, а также тех жалких тварей, что ползают по ней. Я говорил бы об этих планетах в ином тоне, если б ум мой охватил не только самые планеты, но также воздух и туманности, их окружающие. Ибо воздух — стихия, уступающая в благородстве только огню, откуда явствует, что своими достоинствами и блеском планеты обязаны омывающему их воздуху. Эти облака, эта нежная дымка, эти дуновения, эти блики, эти голубые волны, эти пурпурово-золотые острова, пребывающие в постоянном движении и плывущие над нашей головой, вот они-то и являются приютом дивных существ. Создания эти зовутся сифами и саламандрами. Это творения непередаваемого очарования и красоты. Нам не только доступно, но и положено вступать с ними в общение самое упоительное. Внешность саламандр столь совершенна, что в сравнении с ними первая красавица среди придворных дам или горожанок покажется вам просто образиной. Саламандры охотно идут навстречу желаниям философов. Вы, конечно, слышали о том восхитительном создании, что сопровождало в его путешествиях господина Декарта. Одни уверяли, что это его побочная дочь, другие говорили, что это автомат, который с непревзойденным умением смастерил этот философ. В действительности же то была саламандра, которую нашему искуснику удалось взять себе в подруги. Он ни на минуту не разлучался с нею. Совершая морской переезд в Голландию, он взял ее с собой на борт корабля в футляре из ценного дерева, обитого изнутри атласом. Форма этого футляра и та

забота, с которой господин Декарт хранил свою поклажу, привлекла внимание капитана, и когда философ уснул, тот открыл крышку и увидел саламандру. Невежественный и грубый моряк решил, что столь чудесное создание могло выйти только из рук дьявола. Со страха он бросил ее в море. Но, как вы догадываетесь, эта прелестная особа не утонула и без труда вернулась к своему другу господину Декарту. Она хранила ему верность до конца его дней, а после его смерти покинула наш мир с тем, чтобы не возвращаться более на землю.

Я привел этот пример, хотя мог бы привести десятки других, желая дать вам представление о любви между философами и саламандрами. Любовь эта слишком возвышенна, и нелепо скреплять такие узы брачными контрактами; вы согласитесь со мной, что в подобных союзах были бы неуместны, и даже просто смешны, обычные свадебные обряды. Вообразите, как хорош был бы в этих обстоятельствах нотариус с его париком и священник с его брюхом! Господа эти годны лишь там, где скрепляется законом пошлое сожителство мужчины и женщины. При бракосочетании саламандры с мудрецом присутствуют более знатные свидетели. Их приветствуют обитатели воздуха, которые, разукрасив по случаю торжества корму своих кораблей розами, проплывают над головами брачующихся по невидимым волнам в легком дуновении ветерка и услаждают их слух звуками арфы. Не следует, однако ж, думать, что союзы эти, не будучи занесены в засаленные книги какой-нибудь душной ризницы, от того менее прочны и расторгаются легче, чем обычные браки. За прочность сих уз ручаются духи, резвящиеся в небесах, а ведь там грохочет гром, оттуда низвергается молния. Все эти откровения, которые вы, сын мой, слышите от меня, несомненно пригодятся вам, ибо, по некоторым признакам, вы предназначены для ложа саламандры.

— Увы, сударь, — вскричал я, — это предназначение меня страшит, и я почти понимаю страхи того голландского морехода, который швырнул в море подружку господина Декарта. Подобно ему я склонен верить, что эти воздушные дамы — из рода демонов. И я боюсь загубить свою душу, имея с ними дело, ибо такие браки, сударь, противоречат природе и несовместимы с божественным законом. О, если бы господин Жером Куаньяр, если бы мой добрый учитель был здесь и мог слышать ваши слова! Уверен, он нашел бы убедительные доводы против прелестей ваших саламандр, сударь, и против соблазнов вашего красноречия.

— Аббат Куаньяр, — возразил г-н д'Астарак, — незаменим для переводов с греческого. Но не следует отрывать его от книг. Меньше всего он философ. А вы, сын мой, беспомощны в рассуждениях, как и подобает невежде, и слабость ваших доводов удручает меня. Эти союзы, говорите вы, противоречат природе. А откуда это вам известно? Да и каким способом могли бы вы узнать сие? Как возможно различить то, что естественно, от того, что противоречит естеству? Разве люди до конца познали вселенскую Изиду и в состоянии решать, что ей способствует и что противоречит? Скажем лучше так: ничто ей не противоречит, и все ей способствует, коль скоро все сущее есть часть ее состава, ее органов, и все подчиняется бесконечным их изменениям. Так откуда же, скажите на милость, взяться оскорбляющим ее врагам? Ничто не совершается вне или вопреки ее воле, и противоборствующие ей, на наш взгляд, силы не что иное, как ее собственная жизнь в движении.

Одни только невежды достаточно самоуверенны, дабы решать, какое из действий противоречит природе, а какое нет. Но давайте на минуту разделим эти заблуждения и предрассудки и притворимся, будто мы верим в то, что возможно совершать поступки, противные природе. Становятся ли в силу этого наши действия дурными или предосудительными? Разрешите сослаться в данном случае на избитое мнение моралистов, каковые изображают добродетель как нашу победу над собственными инстинктами, как

одоление заложенных в нас самой природой склонностей, словом, как борьбу против ветхого Адама. По их собственному признанию, добродетель — нечто противоречащее природе, так как же могут они осуждать поступки за то, что роднит эти последние с добродетелью.

Я с умыслом сделал это отступление, сын мой, дабы показать прискорбную легковесность ваших доводов. И не желая вас оскорблять, я даже мысли не допускаю, будто вы можете еще сомневаться в непорочности плотского общения людей с саламандрами. Так знайте же, что такие союзы не только не запрещены законами религии, но и рекомендуются ею, как преимущественные перед всеми прочими. Сейчас я приведу вам тому очевидные доказательства.

Он замолчал, вытащил из кармана табакерку и втянул изрядную понюшку табаку.

Ночной мрак уже давно окутал землю. Луна струила на речные воды свой расплавленный свет, и он сливался с дробящимся отражением фонарей. Легчайшими вихрями вились вокруг нас ночные бабочки. Пронзительное пение кузнечиков одно лишь нарушало молчание вселенной. Такой негой исходили небеса, словно молочные струи примешивались к звездному сиянию.

Тем временем господин д'Астарак снова повел свою речь:

— В библии, сын мой, особенно же в пятикнижии Моисеевом, содержится множество великих и полезных истин. Мнение это может показаться нелепым и безрассудным благодаря бесцеремонному обхождению богословов с тем, что именуют они Священным писанием, которое они своими комментариями, толкованиями и рассуждениями превратили в скопище ошибок, средоточие нелепостей, набор пустяков, музей лжи, выставку чепухи, школу невежества, коллекцию вздора, кладовую человеческой глупости и злобы. Знайте же, сын мой, что поначалу библия была храмом, исполненным небесного света.

Мне выпало счастье восстановить его в первозданном блеске. И я погрешил бы против истины, утаив, что в этом мне оказал неоценимую помощь Мозайд благодаря своему пониманию древнееврейского алфавита и языка. Но не будем отвлекаться от основного предмета нашей беседы. Прежде всего усвойте, сын мой, что все библейские речения имеют иносказательный смысл и важнейшая ошибка богословов состоит в том, что они видят букву там, где налицо символ, подлежащий истолкованию. Следуя за ходом моих дальнейших рассуждений, ни на минуту не забывайте этой истины.

Когда демиург, который зовется Иеговой, а также множеством других имен, поскольку к нему вообще применяют все обозначения, выражающие качество или количество, не то чтобы сотворил мир, — утверждать это было бы глупостью непростительной, — а просто приспособил небольшой уголок вселенной под жилье Адама и Евы, мировое пространство уже тогда было населено некими легчайшими существами, которых Иегова не создавал, да и не в силах был создать. Они — дело рук иных демиургов, более древнего происхождения, нежели Иегова, и более умелых по части созидания. В своем мастерстве Иегова в конце концов пошел не дальше того весьма умелого гончара, которому удалось бы наделать из глины наподобие горшков те самые существа, каковыми мы и являемся. Говоря так, я отнюдь не желаю преуменьшить его заслуг, ибо и такие труды не по плечу человеку. Однако нельзя умолчать о довольно жалком итоге его семидневных трудов.

Иегова мастерил не при помощи огня, каковой один лишь способен рождать истинные шедевры, а из грязи, пользуясь которой даже гений не подымет выше посредственного горшкодела. Поэтому, сын мой, мы не что иное, как одушевленные глиняные изделия. Было бы несправедливо упрекать Иегову в том, будто он заблуждался относительно ценности своей работы. Если поначалу он в творческом пылу преувеличивал ее достоинства, то довольно скоро обнаружил свой промах, и библия кишит выражениями его недовольства,

которое подчас переходит в досаду, а порою и в гнев. Никогда ни один ремесленник так не хулил и не поносил дело рук своих. Иегова подумывал даже о том, как бы его уничтожить, и действительно уничтожил, потопив почти целиком. Этот потоп, упоминания о котором мы встречаем у евреев, у греков и у китайцев, был последней каплей, переполнившей чашу разочарования незадачливого демиурга, ибо, не замедлив осознать всю бесполезность и смехотворность этого акта насилия, он впал в уныние и апатию, все усиливавшиеся со времен Ноя и до наших дней: ныне же они дошли до последних пределов. Но я, кажется, забегаю вперед. Слабая сторона эпических сюжетов заключается в том, что трудно остаться в рамках. Раз бросившись в подобное предприятие, ум человеческий уподобляется сынам солнца, одним прыжком переносющимся из одной вселенной в другую.

Но вернемся к земному раю, где демиург поместил собственноручно вылепленные им два сосуда — Адама и Еву. Нет, они не жили там в одиночестве среди растений и зверей. Духи воздуха, созданные демиургами огня, рея над ними, взирали на наших прародителей с любопытством, к которому примешивалось расположение и жалость. Иегова предвидел это обстоятельство. Замечу, к его чести, что он возлагал немалые надежды на духов огня — будем отныне называть их подлинными именами, эльфами и саламандрами, — в видах улучшения и совершенствования своих глиняных фигурок. С похвальным благоразумием твердил он себе: «Моему Адаму и Еве, замешанным из глины, не хватает прозрачности, света и воздуха. Да и насчет крыльев я недоглядел. Однако, вступая в союзы с эльфами и саламандрами, вышедшими из рук демиурга, более искусного и тонкого в работе, чем я, они произведут на свет детей наполовину светозарной, наполовину глиняной породы, те в свою очередь наплодят детей уже на три четверти светозарных, и так будет продолжаться впредь до того времени, пока потомство Адамово не сравняется красотой с сынами и дочерьми воздуха и огня».

Воздадим должное Иегове, — при сотворении своих Адама и Евы он не пренебрег ни одной мелочью, могущей привлечь взгляд сильфов и саламандр. Женщине придал он очертания амфоры, добившись такой гармонии кривых линий, что уж за одно это его смело можно назвать князем геометров, и сумел искупить грубость материала роскошью формы. Адама лепила не столько нежная, сколько решительная рука, и его тело приобрело такую стройность и столь совершенные пропорции, что греки, обращаясь впоследствии в архитектуре к этой соразмерности частей и их пропорциям, создали свои неповторимо прекрасные храмы.

Итак, вы сами видите, сын мой, что Иегова в меру сил своих постарался сделать все, дабы созданные им существа оказались, как он и надеялся, достойными поцелуев жителей воздушных сфер. Обойду молчанием те меры, какие он озаботился принять, имея в виду плодovitость этих союзов. Уже одна анатомия достаточно красноречиво свидетельствует о мудрости, проявленной им в этом отношении. Недаром же сам он дивился своей хитрости и ловкости. Я уже докладывал вам, что сильфы и саламандры взирали на Адама и Еву с любопытством, сочувствием и нежностью, а ведь это — необходимейшие элементы любви. Духи приближались и попадали в хитроумные ловушки, какие Иегова с намерением уготовил для них и поместил в соответствующих местах и на округлости наших двух амфор. Первый мужчина и первая женщина в течение долгих веков упивались сладостными объятиями духов воздуха, что способствовало сохранению их вечной молодости.

Таков был их удел, таким должен был стать и наш. Почему же случилось так, что прародители рода человеческого, пресытившись этим небесным сладострастием, стали искать преступных утех во взаимной близости? Но, сын мой, что ждать от того, кто сделан из глины: грязь — она к грязи и влечется. Увы, они познали друг друга тем же способом,

каким познавали ранее духов.

А этого-то и не желал допустить демиург. Справедливо опасаясь, что от такой близости пойдут дети, которые, подобно слишком земным родителям, будут неуклюжи и тяжеловесны, он под страхом самых суровых кар запретил нашим прародителям даже подходить друг к другу. Именно так надо толковать слова Евы: «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Надеюсь, вы догадались, сын мой, что яблоко, соблазнившее несчастную Еву, росло вовсе не на яблоне и было лишь аллегорией, смысл коей я только что вам открыл. Пусть Иегова, при всем своем несовершенстве и сумасбродстве, легко впадал в гнев, он был слишком умен, чтобы так осердиться из-за какого-то яблока или груши. Только епископ или капуцин способны поддерживать подобные нелепости. И доказательством того, что яблоко было вовсе не яблоком, служит кара, поразившая Еву за ее непослушание. Ведь Иегова не сказал ей: «В муках ты будешь переваривать хлеб свой», а сказал: «В муках ты будешь рожать детей своих». Скажите на милость, какое отношение имеет яблоко к трудным родам? И напротив того, если вина Евы заключалась именно в том, о чем я вам говорил, — кара на редкость соответствует прегрешению.

Таково, сын мой, подлинное объяснение первородного греха. И пусть оно послужит вам уроком, научит чураться женщин. Ваша склонность к женскому полу приведет вас к гибели. Все дети, рожденные таким путем, не более как жалкие глупцы.

— Но, сударь, разве могут младенцы рождаться иным путем? — вскричал я, пораженный его словами.

— К нашему счастью, — огромное число их рождается от союза людей с духами воздуха, — возразил г-н д'Астарак. — И рожденные от этих уз — умны и прекрасны собой. Таково происхождение гигантов, о которых нам повествуют Гесиод и Моисей^[143]. Таково происхождение Пифагора, который своей матери саламандре обязан тем, что появился на свет с золотым бедром^[144]. Таково происхождение Александра Великого, который, как утверждают, был сыном Олимпиады и змия, Сципиона Африканского, Аристомена Мессенского, Юлия Цезаря, Порфирия, императора Юлиана, который возродил культ огня, уничтоженный Константином Отступником, волшебника Мерлина, рожденного от сильфа и монахини, дочери Карла Великого, святого Фомы Аквинского, Парацельса, а в недавние времена господина Ван-Гельмонта.

Я пообещал г-ну д'Астараку, раз уж дело обстоит так, не отвергать дружбу саламандры, если найдется хоть одна, которая удостоит меня своим посещением. Он уверил, что найдется, и не одна, а целых двадцать или тридцать, и все затруднение будет лишь в выборе. И влекомый более желанием угодить философу, чем пускаться в неведомые приключения, я осведомился, каким же путем можно войти в сношения с этими воздушными особами.

— Нет ничего легче, — ответил он. — Для этой цели вполне достаточно стеклянного шара, обращение с каковым я вам растолкую. В моем кабинете множество таких шаров, и я дам вам все необходимые объяснения. Но на сегодня хватит!

Философ поднялся со скамьи и зашагал к лодке, где поджидавший нас перевозчик спал, растянувшись на спине и храпя на луну. Когда мы достигли берега, г-н д'Астарак тут же покинул меня, и через минуту его поглотила ночная мгла.

Эта длинная беседа прошла мимо меня, как сонная греза; мысль о Катрине куда более волновала мои чувства. Пусть я наслушался самых возвышенных рассуждений, меня тянуло повидать ее, даже в ущерб вечерней трапезе. Видно, недостаточно глубоко проникся я идеями нашего философа и не мог связать представление о чем-то мерзостном с обликом прелестной Катрины. Поэтому я решил не упускать счастливого случая и довести приключение до конца, прежде чем вступить в обладание красавицей из числа этих воздушных фурий, которые к тому же не терпят земных соперниц. Я опасался лишь того, что Катрине прискучит ждать меня в столь поздний час. Вихрем промчался я вдоль реки, одним махом пересек Королевский мост и свернул на улицу Бак. Через минуту я уже достиг улицы Гренель, где слышал вопли, сопровождаемые лязгом шпаг. Шум доносился из того дома, где, по описаниям, должна была жить Катрина. Перед самым входом на мостовой скользили тени и лучи фонарей, гремели голоса:

— Спасите во имя Христа! Убивают! — Бей капуцина! Смелее! Коли его! — Иисусе, святая Мария, не дайте погибнуть. — Посмотрите на этого кота! Ату его! Ату! Коли его, ребята, коли смелей!

В соседних домах распахивались окна и высовывались головы в ночных чепцах и колпаках.

Внезапно вся эта чреда теней с криками пронеслась мимо меня подобно стае гончих в лесу, и я узнал брата Ангела, который улепетывал с такой непостижимой быстротой, что при каждом скачке поддавал себе сандалиями под зад, а тройка здоровенных дылд-лакеев, вооруженных на манер гвардейцев, колола его сзади острием своих алебард. Молодой дворянин, краснолицый коротышка, подбадривал своих слуг голосом и взмахом руки, совсем как свору охотничьих псов.

— Валяй! Коли! Так его, кабана толстокожего!

Когда дворянин поравнялся со мной, я обратился к нему со следующими словами:

— Ах, сударь, у вас нет ни капли жалости.

— Сразу видно, сударь, — отозвался он, — что этот капуцин никогда не ласкал вашу милую и что ни разу вы не заставляли своей дамы в объятиях этой ехидны. Банкира приходится терпеть, жизнь и не тому научит. Но не капуцина. Полюбуйтесь на бесстыдницу!

И он указал мне на Катрину: в одной рубашке, с блестящими от слез глазами стояла она, ломая руки, в дверях, и сейчас, с разметавшимися кудрями, показалась мне еще прелестнее; ее прерывистый шепот раздирал мне душу:

— Не убивайте его! Это брат Ангел, это же братец!

Негодяи лакеи, возвратившись, объявили хозяину, что вынуждены были прекратить погоню ввиду появления городской стражи, но им все же удалось всадить на четверть пальца острие своих пик в заднюю часть святого мужа. Ночные чепцы и колпаки исчезали в окнах, рамы захлопывались, и пока молодой дворянин беседовал со своими людьми, я подошел к Катрине, чьи слезы сохли в хорошеньких ямочках, предвестницах улыбки.

— Бедный братец спасся, — сказала она мне. — Но как же я боялась за него. Мужчины страшны во гневе. Когда они влюблены, они и слышать ничего не желают.

— Катрина, — промолвил я, уязвленный ее словами, — неужели вы позвали меня лишь затем, чтобы присутствовать при драке ваших друзей. Увы, я даже не имею права принять в ней участие.

— А могли бы иметь, господин Жак, — возразила она, — могли бы, если б только

захотели.

— Помилуйте, — сказал я, — и без меня весь Париж у ваших ног. Вы мне ничего не говорили об этом молодом дворянине.

— Я о нем и думать забыла. Он явился невзначай.

— И застал вас с братцем Ангелом?

— Ему почудилось невесть что. Вот горячка! Не желает слушать никаких доводов.

Сквозь полуоткрытый ворот ее сорочки, украшенной кружевом, виднелась округлая, как прекрасный плод, грудь, увенчанная нераспустившейся розой соска. Я заключил Катрину в объятия и покрыв ее грудь поцелуями.

— О боже, — воскликнула она, — на улице! На глазах господина д'Анктиля!

— Что это еще за господин д'Анктиль?

— Убийца брата Ангела, вот кто. А то кто же, по-вашему?

— Верно, Катрина, пожалуй других и не требуется, ваши друзья и так собрались более чем в достаточном количестве.

— Не оскорбляйте меня, пожалуйста, господин Жак.

— Я вас ничем не оскорбил, Катрина; я лишь отдаю должное вашим прелестям и хотел бы оказать им ту же честь, что и многие другие.

— От ваших слов, господин Жак, несет харчевней вашего достопочтенного батюшки.

— Когда-то вы вполне довольствовались, мамзель Катрина, нашим вертелом.

— Фу! Гадкий невежа! Оскорблять женщину!

Катрина начала визжать и размахивать руками, и г-н д'Анктиль покинул своих слуг, подошел к нам, втолкнул Катрину в дом, обозвав ее обманщицей и шлюхой, вошел за ней следом и захлопнул дверь перед самым моим носом.

* * *

В течение всей недели, последовавшей за этим досаднейшим приключением, все мои помыслы были отданы Катрине. Это ее пленительный образ вставал со страниц томов, над которыми я корпел, сидя в библиотеке бок о бок с добрым моим наставником; и Фотий, Олиомпиодор, Фабриций, Фоссий, казалось, наперебой рассказывали мне о миленькой девице в кружевной рубашечке. Эти видения нагоняли на меня лень. Но г-н Жером Куаньяр, равно снисходительный и к ближнему своему и к самому себе, только благодушно улыбался, видя мое томление и рассеянность.

— Жак Турнеброш, — как-то обратился он ко мне, — разве не удивляют тебя те изменения, какие претерпела мораль на протяжении веков? Книги, собранные в этой великолепной Астаракиане, наглядно свидетельствуют о неустойчивости воззрений человека на сей предмет. Если я говорю тебе это, сын мой, то лишь затем, чтобы внушить здравую и важную мысль, а именно: нет и не может быть добрых нравов вне религии, и все максимы философов, утверждающих, что они-де устанавливают некую естественную мораль, — все это вздор и гиль. Нравственность отнюдь не покоится на законах природы, ибо природа как таковая не только равнодушна к добру и злу, но даже не ведает этих понятий. Основа нравственности в слове божьем, которого не следует преступать, а раз преступивши,

надобно покаяться в содеянном, как оно положено. Основа человеческих законов — полезность, но полезность эта в силу естественных причин — лишь иллюзия и видимость, ибо само собой разумеется, никто не знает в действительности, что полезно людям и чего им держаться. К тому же, если говорить о нашем обычном праве, то добрая половина его статей подсказана предрассудками и ничем иным. Законы человеческие, опирающиеся на угрозу кары, ничего не стоит обойти, прибегнув к хитрости и притворству. Любой человек, наделенный способностью мыслить, намного выше их. Они в сущности — ловушка, годная лишь для дурачков.

Иное дело, сын мой, законы божеские. Они непреложны, неотвратимы и неизменны. Их нелепость только кажущаяся, на деле же они таят непостижимую мудрость. И если подчас они оскорбляют наш разум, то лишь потому, что превосходят наше понимание и имеют целью не видимое, а истинное предназначение человека. Тому, кто, по счастью, познал их, надлежит их блюсти. Подчас, признаюсь откровенно, блюсти эти законы, изложенные в десяти заповедях и в наставлениях святой церкви, затруднительно и даже невозможно, если только на вас не снизойдет благодать, а она порой не торопится, поскольку долг наш уповать на нее. Вот так и получается, что все мы жалкие грешники.

И в этом смысле всяческого восхищения достойны основы христианской религии, которая строит спасение на раскаянии. Заметь, сын мой, что самые прославленные святые выходили из числа кающихся, и коль скоро раскаяние соответствует проступку, то у самых великих грешников есть все данные стать величайшими святыми. Я мог бы подкрепить свою мысль десятком удивительных примеров. Но и из сказанного ты поймешь, что похоть, невоздержанность, все нечистые поползновения плоти и духа суть не что иное, как простой продукт, из коего и возникает святость. Итак, все дело в том, чтобы собрать его, обработать его, следуя законам богословского искусства, и слепить из него, если так можно выразиться, зримую статую покаяния, па что требуется несколько лет, несколько дней, а иногда достаточно и единого мига — в случаях полного и глубоко искреннего раскаяния. Жак Турнеброш, если ты правильно понял мысль мою, ты не растратишь своих сил на жалкие потуги стать порядочным человеком в понимании людском, а научишься отвечать законам небесной справедливости.

Я не преминул оценить высокую мудрость, заключенную в словах моего славного учителя. Однако ж я убоялся, что, применяя мораль вкривь и вкось, человек может натворить любые бесчинства. Я высказал свои сомнения г-ну Жерому Куаньяру, который рассеял их следующими словами:

— Якобус Турнеброш, ты пропустил мимо ушей мысль, на которой я особенно настаиваю: именно то, что зовется бесчинством, представляется таковым лишь глазам законников и судей как светских, так и церковных и исходит из законов человеческих, произвольных и недолговечных; короче говоря, следовать этим законам могут лишь овечьи души. Человек умный не столь щепетилен в исполнении правил, какими руководствуются суд светский и суд духовный. Он печется лишь о спасении души своей и не почитает для себя зазорным попасть на небеса окольными путями, которыми шли прославленнейшие из святых. Если бы блаженная Пелагея не занималась ремеслом, коим промышляет небезызвестная тебе Жаннета-арфистка на паперти храма святого Бенедикта Увечного, вышеупомянутая святая не имела бы случая явить пример столь всеобъемлющего и глубокого раскаяния, и весьма возможно, что, прожив жизнь в качестве честной женщины, погрязшей в самой дюжинной и пошлой добропорядочности, она не играла бы сейчас, когда мы беседуем, на гусях перед скинией, где почитет во всей славе своей святая святых. Неужели назовешь ты бесчинством столь благочинный путь — жизнь, предуготовленную для блаженства? Отнюдь нет! Пусть

прибегает к этим низменным выражениям начальник полиции, который, хочу надеяться, после смерти своей не отыщет себе даже пяди на небесах, ибо все места там займут те несчастные, которых он нынче самым недостойным образом посылает в Убежище^[145]. Одно лишь следует почитать бесчинством, преступлением и злом в нашем бренном мире, где все должно быть приноровлено и сообразовано с миром божественным, а именно — погибель души и вечное проклятие. Усвой же, Турнеброш, сын мой, что поступки, наиболее порицаемые людским мнением, могут иметь самый счастливый исход, и не пытайся поэтому примирить справедливость человеческую со справедливостью небесной, которая одна лишь справедлива, не в нашем понимании этого слова, а как таковая. Сейчас же, сын мой, ты весьма обяжешь меня, отыскав у Фоссия значение пяти-шести туманных выражений, встречающихся у Зосимы Панополитанского, с которым приходится бороться в непроглядной тьме витиеватостей, удивлявших даже прямодушного Аякса, по свидетельству Гомера, — князя поэтов и историков. У этих древних алхимиков довольно-таки тяжелый слог; Манилий, да простит мне господин д'Астарак, писал о тех же предметах куда изящнее.

Не успел еще мой добрый учитель произнести последних слов, как между нами выросла какая-то тень. То была тень г-на д'Астарака, или, вернее, сам г-н д'Астарак собственной персоной, тонкий и черный, как тень.

То ли он не расслышал замечания аббата, то ли пренебрег им, только он не выказал ни малейшего неудовольствия. Более того, он похвалил г-на Жерома Куаньяра за его рвение и ученость и добавил, что обширные познания аббата несомненно помогут завершить труд, равного которому еще не предпринимал человек. Затем, обернувшись ко мне, он промолвил:

— Сын мой, попрошу вас спуститься на минуту в мой кабинет, я намерен поведать вам знаменательную тайну.

Я последовал за г-ном д'Астараком в кабинет, где он принял нас в тот день, когда мы с учителем впервые пришли по его зову. Древние египтяне с позолоченными лицами по-прежнему стояли вдоль стен. На столе красовался стеклянный шар величиной с тыкву. Г-н д'Астарак опустился на софу, жестом пригласил меня сесть напротив, провел два-три раза по лбу рукой, на которой блестели драгоценные камни и перстни с амулетами, и заговорил:

— Сын мой, я не оскорблю вас несправедливым предположением, что после нашей беседы на Лебязьем острове в вас еще живет сомнение в существовании сиффов и саламандр, столь же подлинном, как и существование людей, и даже еще более достоверном, если измерять степень реальности продолжительностью явлений, в которых она себя утверждает, ибо существование это значительно превосходит пределы нашей жизни. Саламандры проносят свою молодость из столетия в столетие безо всякого для нее ущерба; некоторые из них воочию видели Ноя, Менеса^[146] и Пифагора. Не удивительно, что при такой сокровищнице воспоминаний и неувядаемой памяти они в беседе неотразимы. Говорят, что объятия мужчин дарят им бессмертие и что на ложе философа их влечет надежда на жизнь вечную. Но все это выдумки, на которые не поддается человек мыслящий. Общение полов не только не дает любовникам бессмертия, но служит знаменiem смерти, и если б роду человеческому суждено было жить вечно, мы так и не познали бы любви. То же относится и к саламандрам, которые надеются обрести в объятиях мудреца лишь один из видов бессмертия: бессмертие рода. Разумный человек уповает только на такое бессмертие. Хотя я и не теряю надежды с помощью науки значительно продлить человеческую жизнь, ну, скажем, до пяти-шести веков, никогда я не тешил себя праздной мечтой сделать ее бесконечной. Только безумец дерзнет ниспровергнуть незыблемый порядок вещей. А посему, сын мой, отриньте, как пустую побасенку, мысль о бессмертии, даруемом поцелуем. Неслыханным позором покрыли себя те из кабалистов, что допустили подобное предположение. Тем не

менее столь же достоверна склонность саламандр к любви человеческой. Вы не замедлите убедиться в этом на собственном опыте. Я должным образом подготовил вас к их появлению, и коль скоро с той памятной ночи, когда состоялось ваше посвящение, вы не оскорбили себя нечистой близостью с женщиной, вы будете вознаграждены за свое воздержание.

Не легко было мне при моем врожденном простодушии слушать похвалы, которые я заслужил вопреки своему желанию, и я уже решил признаться г-ну д'Астараку в своих греховных помыслах. Но он не дал мне рта открыть для чистосердечной исповеди и продолжал с живостью:

— Теперь мне остается лишь передать вам, сын мой, ключ, с помощью которого вы проникнете в царство духов. Что я и сделаю без промедления.

Поднявшись с софы, он положил руку на стеклянный шар, занимавший чуть ли не половину стола.

— Этот сосуд, — добавил он, — наполнен солнечной пылью, которая недоступна вашему органу зрения именно в силу своей совершенной чистоты. Ибо она слишком тонка, чтобы ее мог воспринять человек с помощью своих грубых чувств. Точно так же, сын мой, самые прекрасные уголки вселенной сокрыты от нашего взора и доступны лишь ученому, который вооружен приборами, годными для подобных целей. К примеру, для вас остаются невидимыми воздушные реки и равнины, хотя в действительности они представляют собою в тысячу раз более разнообразное и роскошное зрелище, нежели самый прекрасный земной пейзаж.

Итак, знайте, что в этом сосуде содержится солнечный порошок, могущий с огромной силой распалить таящийся в нас огонь. И действие этого пламени не замедлит сказаться, оно выразится в крайнем обострении наших чувств, что позволит нам видеть и осязать воздушные создания, парящие вокруг нас. Как только вы сломите печать, закрывающую горлышко сосуда, и вдохнете испаряющуюся оттуда солнечную пыль, вы тут же обнаружите в этой самой комнате одно или несколько существ, напоминающих женщину сочетанием кривых линий, очерчивающих контуры их тела, несравненно более прекрасного, чем у любой смертной; они-то и есть саламандры. Не сомневаюсь, что та, которую я в минувшем году увидел в харчевне вашего батюшки, явится первой, и советую вам, не мешкая, пойти навстречу его желаниям, ибо вы пришли к ней по вкусу. Итак, раскиньтесь удобнее в этих креслах перед столом, откупорьте сосуд и потихоньку вдыхайте его содержимое. И вскоре вы увидите, что все мои предсказания сбудутся с неукоснительной точностью. Я ухожу. Прощайте.

И он исчез, как обычно, с непостижимой быстротой. Я остался один и сидел перед стеклянным сосудом, не решаясь откупорить его из страха, как бы оттуда не полился ядовитый дурман. Я опасался, что искушенный в магии г-н д'Астарак наполнил сосуд парами, вдохнув которые человек в сонном мечтании видит саламандр. В ту пору я еще не был достаточно философом и не нуждался в блаженстве, даруемом таким путем. «А вдруг, — твердил я про себя, — пары эти располагают к безумию». Короче, сомнения мои были так велики, что я решил даже сбегать в библиотеку и попросить совета у г-на аббата Жерома Куаньяра, но тут же я понял, что это напрасная затея. «Как только Жером Куаньяр услышит, — говорил я себе, — о солнечном порошке и духах воздуха, он тут же скажет: „Жак Турнеброш, сын мой, запомни раз навсегда: не следует давать веры бессмыслице, а надобно полагаться лишь на собственный разум во всем, за исключением вопросов святой нашей религии. Брось все эти сосуды, порошки и прочие безумные выдумки кабалистов и алхимиков“».

Мне показалось, что не я, а он сам произносит эту речь меж двух понюшек табака, и я не

нашел возражения против этих истинно христианских слов. С другой стороны, я заранее представлял себе, как буду я смущенно лепетать, когда г-н д'Астарак осведомится у меня, как обстоит дело с моей саламандрой. Что ему отвечать? Как признаться в осторожности и воздержанности, не выдав одновременно моего недоверия и страха? И к тому же меня бессознательно соблазняла мысль о приключении. Легковерным меня не назовешь. Напротив того, я наделен редкостной склонностью к сомнению, и этому качеству обязан я тем, что доверяю общепринятым мнениям и даже самой очевидности не более, чем всему прочему. Какие бы странные вещи мне ни рассказывали, я говорю себе: «А почему бы и нет?» Но сейчас это «почему бы и нет» сослужило недобрую службу моей прирожденной рассудительности. Оно склонило меня к легковерию, и в этих обстоятельствах любопытно заметить следующее: не верить ни во что — то же самое, что верить во все, и не следует предоставлять своему уму слишком много свободы и досуга, иначе голова, чего доброго, превратится в хранилище такого причудливого и такого тяжеловесного хлама, какому не найдется места в уме, скромно и в меру обставленном верованиями. Положив руку на восковую печать, я вспоминал матушкины рассказы о чудесных графинах, а тем временем мое «почему бы и нет» нашептывало мне: а вдруг вопреки всему я увижу в солнечной пыли воздушных фей? Но как только эта мысль проскользнула в мой разум, как только попыталась расположиться там со всеми удобствами, она тут же показалась мне странной, нелепой и смешной. Навязчивые идеи быстро наглеют. Редкая из них придет и уйдет, как промелькнувшая на улице прекрасная незнакомка; а уж эта и впрямь была сродни безумию. Твердя про себя: «Открыть? Не открыть?», я все сильнее нажимал на печать, пока она вдруг не сломалась под моими пальцами, и сосуд открылся.

Я ждал, я наблюдал. Я ничего не видел, я ничего не чувствовал. Мной овладело разочарование, ибо надежда вырваться за пределы естества весьма коварна и ловко умеет проскользнуть в нашу душу. Ровно ничего! Хоть бы какое-нибудь смутное неясное видение, хоть бы расплывчатый контур. Сбылись мои предчувствия. Какое разочарование! Я испытывал даже досаду. Откинувшись на спинку кресла, с вызовом глядя на стоявших вдоль стен египтян с продолговатыми черными глазами, я поклялся замкнуть отныне свою душу для всяческой лжи кабалистов. В который раз я убедился в мудрости доброго моего наставника и решил, следуя его примеру, во всех делах, не связанных с христианской и католической верой, руководствоваться лишь разумом. Ждать появления мамзель-саламандры — непростительное простодушие. Да и возможно ли допустить существование саламандр? Но кто знает, «а почему бы и нет?»

Жара, начавшаяся еще к полудню, стала непереносимой. Долгие дни, проведенные в мирном затворничестве, истомили меня, и я почувствовал на лбу и веках подозрительную тяжесть. Приближение грозы окончательно лишило меня сил. Руки мои упали, голова откинулась на спинку кресел, веки смежились, и в полусне предо мною замелькали золотики египтяне и какие-то похотливые тени. Не скажу, сколько времени находился я в этом странном состоянии, когда одно только чувство — любовь — теплилось во мне подобно огоньку в ночи, как вдруг я очнулся, выведенный из дремоты шуршанием шелков и легкими шагами. Я открыл глаза и громко вскрикнул.

Восхитительное создание в черном атласном платье, в кружевной косынке на темных волосах стояло предо мною; черты лица синеглазой красавицы поражали чистотой линий, какая дается только молодости с ее свежей и упругой кожей, щеки нежно круглились, а на устах играл след невидимого поцелуя. Из-под недлинного платья выглядывала крохотная ножка, задорная, веселая, поистине неземная ножка. Выпрямившись во весь рост, стояла незнакомка предо мною, вся округлая, подобранная в своем сладострастном совершенстве.

Ниже бархотки, обвивавшей шею, в четырехугольном вырезе платья, виднелась смуглая, но ослепительно прекрасная грудь. Незнакомка смотрела на меня с любопытством.

Выше я упоминал, что сон предрасположил меня к любви. Я поднялся с кресла, я бросился к ней.

— Простите, — промолвила незнакомка, — я искала господина д'Астарака.

Я ответил ей:

— Сударыня, здесь нет никакого господина д'Астарака. Здесь только нас двое — вы и я. Я ждал вас. Вы — моя саламандра. Я открыл хрустальный сосуд. Вы явились, и вы моя.

С этими словами я заключил ее в объятия и стал осыпать бесчисленными поцелуями все свободные от покровов уголки ее тела, которые удалось обнаружить моим губам.

Вырвавшись от меня, она воскликнула:

— Вы безумец!

— Возможно, — отвечал я. — Но кто бы не лишился разума на моем месте?

Она потупила глазки, покраснела и улыбнулась. Я бросился к ее ногам.

— Раз господина д'Астарака здесь нет, — сказала она, — мне остается уйти.

— Не уходите! — вскричал я и запер дверь на задвижку.

Она спросила:

— А не знаете ли вы, скоро он вернется?

— Нет, сударыня, не скоро. Он оставил меня наедине с саламандрами. А я хочу только одну из них — вас.

Я взял ее на руки, отнес на софу, упал вместе с нею на ложе и стал покрывать ее поцелуями. Я ничего не сознавал. Она кричала, но я не слышал. Ее ладони отталкивали меня, меня царапали ее ногти, но эта обреченная на неудачу защита лишь обостряла мои желания. Я сжимал ее в объятиях, я обнимал ее — упавшую навзничь и беззащитную. Наконец ее ослабевшее тело уступило, она закрыла глаза; и вскоре в довершение своего торжества я почувствовал, как прелестные руки, сдавшиеся на милость победителя, прижали меня к груди.

Когда вслед за этим нам, увы, пришлось разжать объятия, мы с удивлением взглянули друг на друга. Она молча стала оправлять смятые юбки, торопясь вернуться в мир благопристойности.

— Я люблю вас, — произнес я. — Как вас зовут?

Я не верил, чтобы она была саламандрой, по правде говоря ни минуты не верил по-настоящему.

— Меня зовут Иахиль, — ответила она.

— Как! Вы племянница Мозаида?

— Да, но молчите. Если бы он знал...

— Что бы он тогда сделал?

— О, мне ничего. Но вам — много плохого. Он не любит христиан.

— А вы?

— А я, я не люблю евреев.

— Иахиль, любите ли вы меня хоть немного?

— Мне кажется, сударь, после состоявшейся между нами беседы ваш вопрос звучит оскорбительно.

— Вы правы, мадемуазель, но мне хотелось бы оправдаться за излишнюю свою живость и пыл: они проявили себя, не испросив вашего сердца.

— Ах, сударь, не считайте себя более виноватым, чем виноваты вы на самом деле. Все ваше неистовство и весь ваш жар не послужили бы вам ни к чему, если бы вы не

приглянулись мне. Увидев вас спящим в кресле, я сочла вас достойным моего внимания и решила подождать, когда вы проснетесь; остальное вам известно.

Я ответил ей поцелуем. Она вернула мне поцелуй. И какой! Мне показалось, что во рту у меня растаяла ягода земляники. Желания мои пробудились вновь, и я пылко прижал ее к своему сердцу.

— На сей раз, — посоветовала она мне, — не надобно так увлекаться и думать лишь о себе. Стыдно быть эгоистом в любви. Молодые люди часто погрешают в этом отношении. Но постепенно их обтесывают.

Мы погрузились в бездну наслаждения, после чего божественная Иахиль спросила меня:

— Есть ли у вас гребень? Я растрепана, как ведьма.

— Нет у меня гребня, Иахиль, — отвечивал я; — я ведь ждал саламандру. Я обожаю вас.

— Обожайте, друг мой, но только берегитесь. Вы еще не знаете Мозаида.

— Как, Иахиль! Неужели он так страшен в свои сто тридцать лет, из которых семьдесят пять к тому же просидел в пирамиде?

— Я вижу, друг мой, вам наговорили разных небылиц о моем дядюшке, и вы имели наивность поверить им. Никто не знает его настоящего возраста; даже я сама не знаю, но сколько помню его, он всегда был стариком. Знаю только, что он крепок и обладает недюжинной силой. Он держал в Лиссабоне банкирскую контору, но убил христианина, которого застал с моей теткой Мириам. Он бежал, захватив меня с собой. И привязался ко мне с тех пор, как родная мать. Он обращается со мной, будто с малым ребенком, и плачет от умиления, глядя на меня спящую.

— Вы живете с ним вместе?

— Да, во флигельке на том конце парка.

— Знаю, туда ведет тропка мандрагор. Как могло статься, что я не встретил вас раньше? По какому велению злой судьбы я, живя в столь близком от вас соседстве, ни разу не видел вас? Как, я сказал «живя»? Осмелюсь ли я назвать жизнью прозябание, бывшее моим уделом до встречи с вами. Неужели флигелек стал вам тюрьмой?

— Вы правы, я живу затворницей и не могу отправиться по собственной воле ни на прогулку, ни за покупками или в комедию. Привязанность Мозаида лишает меня свободы. Он сторожит меня, как ревнивец, и, не считая полдюжины золотых чашечек, которые вывез из Лиссабона, любит во всем свете только меня одну. Он любит меня даже сильнее, чем любил мою тетушку Мириам, и потому убьет вас еще с большей охотой, чем того португальца. Я говорю вам это для того, чтобы призвать вас к осторожности и еще потому, что такое соображение не может остановить настоящего мужчину. Достаточно ли вы высокого происхождения, друг мой, из какой вы семьи?

— Увы, — вздохнул я, — мой батюшка посвятил себя некоему ремеслу и ведет некие торговые дела.

— Есть ли у него хотя бы какое-нибудь звание, доходная должность? Нет? Жаль. Придется любить вас ради ваших собственных достоинств. Но скажите мне правду: скоро ли вернется господин д'Астарак?

Услышав это имя и обращенный ко мне вопрос, я почувствовал, как в душу мою закралось ужасное подозрение. В моем уме мелькнула догадка, что кабалист с умыслом подослал ко мне прелестную Иахиль, дабы она разыграла для меня роль саламандры. Более того, в душе я упрекал ее за то, что она, должно быть, и есть нимфа, отдавшая свою благосклонность старому безумцу. Желая положить конец сомнениям, я в упор спросил ее, не является ли роль саламандры ее обычной ролью в замке гасконца.

— Я вас не понимаю, — ответила она, с невинным удивлением вскинув на меня глаза. — Вы говорите не хуже самого господина д'Астарака, и я подумала бы, что вы страдаете той же манией, если бы не испытала на себе, что вам чуждо его женоненавистничество. Господин д'Астарак не переносит присутствия женщины, и при каждой встрече и беседе с ним я испытываю непреодолимое стеснение. Однако ж сейчас я искала его, а нашла вас.

Успокоенный и счастливый, я вновь покрыв ее поцелуями. А она уселась напротив меня с таким расчетом, чтоб оказались видны ее черные чулочки, схваченные выше колен подвязками с бриллиантовыми пряжками, и это зрелище вернуло меня на тот путь, которому с удовольствием следовала Иахиль. Более того, она искусно и с немалым пылом поощряла меня в нашем странствии, и от меня не укрылось, что игра начинает особенно воодушевлять ее в ту минуту, когда мои силы приходят к концу. Тем не менее я постарался превзойти самого себя и, к огромной моей радости, избавил очаровательное создание от вовсе ею не заслуженного афронта. Думаю, она осталась довольна мной. Она села на софу и спокойно спросила:

— Вам действительно неизвестно, скоро ли возвратится господин д'Астарак? Признаюсь, я пришла попросить у него из назначенного дядюшке содержания небольшую сумму, которая мне нужна сейчас до зарезу.

Прося извинения за скудость, я вынул из кошелька три находившиеся там эку, и она благоволила принять их. Это все, что осталось от нечастых щедрот кабалиста, который, исповедуя презрение к деньгам, увы, забывал выплачивать мне обещанное содержание.

Я осведомился у мадемуазель Иахили, буду ли я иметь счастье вновь увидеть ее.

— Будете, — пообещала она.

И мы уговорились, что всякий раз, когда ночью ей удастся ускользнуть из-под строгого надзора, она станет приходить в мою комнату.

— Только запомните хорошенько, — сказал я, — моя комната четвертая по коридору направо, а пятую занимает мой добрый наставник аббат Куаньяр. Все прочие горницы, — добавил я, — выводят на чердак, служащий приютом для двух-трех поварят и целого полчища крыс.

Иахиль уверила меня, что постарается не ошибиться и тихонько постучит именно в мою дверь, а никак не в чужую.

— Впрочем, — заметила она, — ваш аббат Куаньяр, на мой взгляд, человек славный. Думаю, его бояться нам нечего. В тот день, когда вы приходили с ним к дядюшке, я видела его через глазок. Он показался мне весьма милым, хоть я и не расслышала его речей. Особенно приятно поразил меня его нос — такие бывают лишь у людей остроумных и одаренных. Поэтому владелец его несомненно человек одаренный, и я не прочь завести с ним знакомство. В обществе умных людей можно многого набраться. Обидно только, что он не угодил дядюшке своими вольными речами и насмешливым нравом. Мозайд его ненавидит, а к ненависти у него положительно талант, о котором не может и помыслить христианин.

— Мадемуазель, — заметил я, — господин аббат Жером Куаньяр преученейший человек и, что еще важнее, славится философским складом ума и доброжелательностью. Он знает людей, и вы совершенно справедливо ждете от него доброго совета. Я свято руковожусь его мнениями. Но скажите, не заметили ли вы также и меня тогда во флигельке, когда глядели, по вашим словам, через глазок?

— Заметила, — сказала Иахиль, — и не скрою, сразу вас отличила. Но пора возвращаться к дядюшке. Прощайте.

После ужина г-н д'Астарак не преминул спросить меня про саламандру. Его любопытство несколько смутило меня. Я отвечал, что встреча превзошла все мои ожидания,

но что я долгом своим почитаю соблюдать скромность, приличествующую в такого рода приключениях.

— Напрасно вы, сын мой, думаете, — возразил он, — что скромность так уж необходима в подобных делах. Саламандры вовсе не настаивают на сохранении тайны, ибо отнюдь не стыдятся своих чувств. Одна из этих нимф, та, что дарит меня своим расположением, весь досуг в мое отсутствие посвящает сладостному для нее занятию: она вырезывает наши затаенно переплетенные инициалы на деревьях, в чем вы можете легко убедиться сами — осмотрите стволы пяти или шести сосен, стройные верхушки которых видны отсюда. Но заметили ли вы, сын мой, что любовь подобного рода — поистине небесная любовь, — не только не оставляет после себя усталости, но и дает сердцу новые силы? Не сомневаюсь, что после всего случившегося с вами вы посвятите ночные часы трудам и переведете не менее шестидесяти страниц из Зосимы Панополитанского.

Я признался, что, наоборот, чувствую неодолимое влечение ко сну, каковое г-н д'Астарак приписал потрясению первой встречи. Итак, сей великий муж остался при убеждении, что я вступил в общение с саламандрой. Как ни мучила меня совесть за обман, я был вынужден к этому обстоятельствами, и коль скоро сам философ обманывал себя за милую душу, мог ли я хоть на йоту увеличить груз его заблуждений. Потому я с миром отправился почивать и, улегшись в постель, задул свечу, тем закончив самый упоительный из всех доселе прожитых мною дней.

* * *

Иахиль сдержала слово. На следующую ночь она тихонько постучала в мою дверь. Мы расположились в моей спальне с гораздо большим удобством, чем в кабинете г-на д'Астарака, и то, что произошло при нашем первом знакомстве, оказалось ребяческой забавой в сравнении с тем, на что вдохновила нас любовь при этой второй встрече. Иахиль вырвалась из моих объятий лишь на заре и перед разлукой тысячу раз поклялась в новой и скорой встрече, называя меня при этом душенькой, своей жизнью и котиком.

В тот день я поднялся очень поздно. Когда я спустился в библиотеку, мой учитель уже корпел над папирусом Зосимы; он держал в одной руке перо, а в другой — лупу, и картина эта умилила бы любого почитателя наук.

— Жак Турнеброш, — сказал он мне, — главная трудность таких занятий заключается в том, что нет ничего легче, как принять одну букву за другую, и в расшифровке писем мы можем преуспеть лишь в том случае, если составим таблицу начертаний, приводящих к ошибкам; иначе, не приняв нужной предосторожности, мы рискуем допустить грубейшие промахи к вечному позору и справедливой хуле. Сегодня я уже совершил ряд смехотворных ошибок. Надо полагать, причина этого кроется в смятении духа, в каковом нахожусь я с самого утра вследствие ночных приключений, о коих я вам сейчас поведаю.

Проснувшись на заре, я возымел желание глотнуть доброго белого вина, которое, если вы помните, я хвалил вчера господину д'Астараку. Ибо существует, сын мой, меж белым вином и пением петуха некая тайная взаимосвязь, восходящая еще ко временам Ноя, и я уверен, что если бы апостол Петр в ту святую ночь, которую он провел во дворе

первосвященника, хлебнул бы чуточку мозельвейна или пусть даже орлеанского вина он не предал бы Христа^[147], прежде чем вторично пропел петух. Но не следует, сын мой, ни в коем случае сожалеть об этом недостойном поступке, ибо пророчества должны неукоснительно сбываться, и если бы Петр, он же Кифа, не совершил в ту ночь величайшей низости, не быть бы ему ныне в сонме величайших праведников рая, не стать бы краеугольным камнем святой нашей церкви к великому конфузу честных, в мирском понимании этого слова, людей, зрящих ключи к вечному своему блаженству в руке трусливого негодяя. О спасительный пример, отрешающий человека от обмана, суетности тщеславия и наставляющий его на путь спасения! О, сколь целесообразно устроена религия! О божественная мудрость, возвышающая смиренного и нищего духом во посрамление гордецу! О чудо! Тайна сия велика есть! К вечному позору фарисеев и законников простой рыбарь с Тивериадского озера, ставший за свою непроходимую подлость предметом насмешек судомоек, гревшихся с ним вместе во дворе первосвященника, мужлан и трус, предавший своего учителя и свою веру перед девицами, несомненно куда менее миловидными, чем горничная супруги сеэзского судьи, днесь носит на челе тройную корону, на пальце — папский перстень, вознесен превыше всех архиепископов, королей и даже императора и облечен правом отпускать или не отпускать грехи; самый уважаемый мужчина, самая почтенная дама не попадут на небеса без его разрешения. Но подскажите мне, будьте добры, Турнеброш, сын мой, на чем бишь это я прервал свой рассказ, когда в сети его затесался святой Петр, князь апостолов? Припоминаю, что я говорил о чарке белого вина, которую опрокинул на заре. В ночной рубашке я спустился в буфетную и из поставца, ключ от которого благоразумно припрятал еще с вечера, извлек бутылочку и распил ее не без удовольствия. После чего, подымаясь по лестнице, я между вторым и третьим этажом повстречал девушку в ночном наряде, спускавшуюся по ступеням. Она, как видно, насмерть перепугалась и бросилась от меня по коридору. Я пустился вслед за ней, настиг ее, схватил в объятия и поцеловал в порыве внезапного и непобедимого влечения. Не порицайте меня, сын мой; на моем месте вы сделали бы то же, а возможно, и более того. Эта красивая девица похожа на горничную супруги судьи, только взгляд ее еще живее. Она даже крикнуть не посмела. И шепнула мне на ухо: «Пустите меня, пустите меня, вы с ума сошли!» Взгляните-ка, Турнеброш, до сих пор у меня на руке видны следы ее ноготков. О, если бы удалось мне сохранить столь же неприкосновенным вкус поцелуя, которым она меня подарила!

— Как, господин аббат, — воскликнул я, — неужели она поцеловала вас?

— Можете не сомневаться, сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — на моем месте вы получили бы такой же поцелуй, при том условии, конечно, что сумели бы, как и я, воспользоваться счастливым случаем. Кажется, я уже говорил вам, что крепко держал ее в объятиях. Она пыталась вырваться, хотела кричать и боялась, она жалобно шептала: «Пустите меня, молю вас! Уже светает, еще минута, и я погибла!» Даже варвара, и того тронул бы ее страх, растерянный вид и грозящая ей опасность. Я же отнюдь не варвар. Я дал ей свободу в обмен на поцелуй, который она тут же запечатлела на моих устах. Поверьте слову: ни разу в жизни не доводилось мне вкушать более сладостного лобзания.

Тут, прервав свой рассказ, мой добрый учитель поднял от бумаг нос, чтобы зарядить его понюшкой табака; заметив мое смущение и грусть, он счел их знаком изумления.

— Жак Турнеброш, конец моего рассказа удивит вас куда сильнее, — продолжал он. — Итак, к великому своему сожалению, я выпустил красотку, но, влекомый любопытством, последовал за ней. По ее пятам я спустился с лестницы, видел, как пересекла она прихожую, выскользнула через калитку, выводящую в поле, к которому примыкает главная часть парка, и побежала по аллее. Я бежал за ней следом. Я справедливо рассудил, что не может же она

явиться к нам издалека, в ночной рубашонке и ночном чепце. Она свернула на тропку мандрагор. Тут любопытство мое возросло, и я тоже приблизился к флигельку, занимаемому Мозаидом. В это мгновение в окне показалась фигура богомерзкого еврея все в том же балахоне и в том же огромном колпаке, и я невольно подумал о тех деревянных уродцах, которые ровно в полдень появляются на цоколе башенных часов, столь же старинных и столь же забавных, как и сами церковные башни, где они водружены, — появляются к вящему удовольствию мужиков и к выгоде причетников.

Он обнаружил мое присутствие среди густой листвы как раз в ту самую минуту, когда наша прелестница, не уступающая в быстроте Галатее, шмыгнула во флигелек; словом, могло показаться, будто я преследовал красотку по примеру сатиров, о коих мы с вами как-то беседовали, разбирая прекрасные строки Овидия. Да и туалет мой усугублял сходство, ибо, надеюсь, я уже сказал вам, Турнеброш, что был я в одной ночной рубашке. При виде меня глаза Мозаида сверкнули. Из-под полы своей грязной желтой хламиды он вытащил стилет, довольно миленький стилетик, и стал в окне размахивать рукой, которая, признаюсь, по виду вовсе не кажется такой уж дряхлой. Тем временем он осыпал меня двязычной бранью. Да, да, Турнеброш, сын мой, грамматические познания позволяют мне утверждать, что ругался он на двух языках; испанские, а скорее португальские проклятия перемежались с древнееврейскими. Я был вне себя, так как мне не удавалось уловить их точный смысл, поскольку языки эти мне незнакомы, хотя я отличу их от прочих благодаря некоторым присущим им звукосочетаниям. Но, надо полагать, он обвинял меня в намерении соблазнить эту девицу, а она, должно быть, и есть его племянница Иахиль, о которой, если помните, не раз упоминал господин д'Астарак, в связи с чем хула его в известной мере прозвучала даже лестью, ибо таким, каким я стал ныне, сын мой, в силу беспощадного бега времени и утомления — следствия беспокойной моей жизни, — я уже не могу рассчитывать на благосклонность юных девственниц. Увы! Никогда более не вкушу я от сего лакомого блюда, разве что стану епископом. О чем и сожалею! Но не следует с излишним упорством цепляться за преходящие мирские блага, научимся отказываться оттого, в чем нам отказано. Итак, Мозаид, размахивая стилетом, извлекал из свой глотки хриплые звуки, перемежавшиеся с пронзительным визгом, так что хула и поношения раздавались мне в тоне песнопений или кантилен. И не хвалясь, сын мой, скажу, что был я обозван распутником и совратителем весьма торжественно, как бы с амвона. Когда вышеупомянутый Мозаид исчерпал свои проклятия, я постарался дать ему достойную отповедь, тоже на двух языках. По-латыни и по-французски ответил я ему, что он сам человекоубийца и святотатец, коль скоро душит невинных младенцев и оскверняет святое причастие. Свежий утренний ветер, овевавший мне ноги, напомнил, что я стою перед окном в одной рубашке. Это привело меня в некоторое замешательство, ибо, согласитесь, сын мой, что человек, забывший надеть панталоны, не совсем приготовлен к тому, чтобы вещать святую истину, громить заблуждения и бичевать пороки. Тем не менее я сумел нарисовать перед ним ужасающую картину его преступлений и пригрозил ему судом божьим и судом человеческим.

— Как, мой дорогой учитель, — воскликнул я, — значит, этот Мозаид, у которого такая миленькая племянница, удушал новорожденных младенцев и осквернял святое причастие?

— На сей счет ничего не знаю, — отвечал г-н Жером Куаньяр, — да и не могу ничего знать. Но, будучи сыном своего народа, он причастен к сим преступлениям, и потому я вправе был сказать ему это, и никто не упрекнет меня в том, что я его оскорбил. Понося этого нехристя, я рикошетом метил в его извергов-прадедов и прапрадедов. Ибо вы сами знаете, что говорят о евреях и их гнусных обрядах. В старинной Нюренбергской хронике имеется изображение евреев, закалывающих младенца, и в знак своего бесчестия они должны носить

на одежде цветной круг или кружок, чтоб их узнавали с первого взгляда. Я все же не верю, что они ничтоже сумняшеся и каждодневно убивают по младенцу. И сомневаюсь также, что все эти израильтяне так уж стремятся осквернить святое причастие. Обвинять их в этом — значит полагать, что они столь же глубоко, как и мы сами, верят в божественное происхождение господа нашего Иисуса Христа. Ибо нет кощунства без веры, так что иудей, осквернивший святое причастие, тем самым подтвердил бы свое безоговорочное признание таинства пресуществления. Пусть, сын мой, такие побасенки повторяют глупцы, и если я бросил их в лицо этому непотребному Мозаиду, то повиновался при том не столько духу здоровой критики, сколько властному голосу гнева и досады.

— Ах, сударь, — сказал я, — за глаза хватило бы попрекнуть Мозаида португальцем, которого он убил из ревности, ибо он действительно настоящий убийца.

— Как! — вскричал мой добрый наставник. — Мозайд убил христианина? В его лице, Турнеброш, мы имеем опасного соседа. Но из утреннего происшествия вы выведете те же заключения, что и я. Совершенно бесспорно, что племянница Мозаида — подружка нашего господина д'Астарака, из чьей спальни она и пробиралась на заре, когда я застиг ее на лестнице. Я слишком привержен святой религии и не могу не сожалеть о том, что столь приятная особа принадлежит к расе, распявшей Иисуса Христа. Ибо — увы! — бесспорно, сын мой, что сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири^[148], которой нет нужды умащать себя в течение полугода миррой, дабы стать достойной царского ложа. Наш старый ворон-алхимик меньше всего может соответствовать подобной красе, и я бы не прочь поволочиться за ней.

Понятно, что Мозайд бережет ее как зеницу ока, ибо если в один прекрасный день она появится при дворе или на театральном представлении, на завтра же весь свет будет у ее ног. А хотелось бы вам, Турнеброш, увидеть ее?

Я ответил, что хочу этого страстно, и мы оба углубились в наши греческие папирусы.

* * *

В тот вечер, когда мы вдвоем с добрым моим учителем проходили улицей Бак, стояла невыносимая жара, и г-н Жером Куаньяр сказал мне:

— Жак Турнеброш, сын мой, не склонен ли ты свернуть налево на улицу Гренель и зайти в кабачок? Не забывай, что мы не сразу найдем такой, где отпускают вино по два су за кувшин. Я совсем обезденежел и полагаю, сын мой, что и ты не в лучшем положении по вине господина д'Астарака, который, быть может, и делает золото, но забывает давать его своим секретарям и слугам, чему свидетельство наши карманы. Положение, в которое мы попали благодаря ему, поистине плачевно. У меня гроша ломаного нет, и придется пуститься на разные хитрости, чтобы выбраться из беды. Легко нести бремя нищеты, когда ты невозмутимостью духа равен Эпиктету, стяжавшему себе на этом пути неувядаемую славу. Но испытания нищеты утомили меня и прискучили мне своим постоянством. Чувствую, пришло время обратиться к иным добродетелям и научиться владеть богатствами так, чтобы они не завладели тобой, а это является наиболее благородным состоянием, до которого может подняться душа философа. Надеюсь в ближайшем времени разбогатеть немного с

целью показать, что благоденствие не вредит мудрости. Я ищу лучшие к тому способы, и ты, Турнеброш, застаешь меня в думах о преуспевании.

Пока мой учитель с обычным своим благородным изяществом распространялся на эту тему, мы поравнялись с хорошеньким особнячком, где г-н де ла Геритод поселил мамзель Катрину. «Вы узнаете мое жилище, — сказала она мне тогда, — по увитому розами балкону». Уже вечерело, и я не мог различить роз, но зато мне показалось, что я обоняю их аромат. Пройдя еще несколько шагов, я увидел и саму Катрину, — с кувшином в руке, она стояла у окна и поливала цветы. Узнав меня, она засмеялась и послала мне воздушный поцелуй. Вслед за тем чья-то рука, высунувшаяся из-за оконной створки, дала Катрине звонкую пощечину, чего она, видимо, никак не ожидала, ибо выпустила из рук кувшин, и он в падении своем чуть не раскроил голову доброго моего наставника. Затем заушенная прелестница исчезла, а заушатель, заняв ее место у окна, перевесился через решетку и крикнул мне:

— Благодарите бога, сударь, что вы не капуцин! Не могу я терпеть, чтобы моя любовница посылала поцелуи этому смрадному псу, что бродит день и ночь под ее окошком. Сейчас мне хоть не приходится краснеть за ее выбор. На мой взгляд, вы человек порядочный, и, сдается, мы уже с вами где-то встречались. Сделайте милость, зайдите к нам. Стол давно накрыт. Вы весьма обяжете меня, если согласитесь отужинать со мной, это касается и господина аббата, которого чуть не убили кувшином и который отряхивается сейчас, как дворняга под ливнем. После ужина перекинемся в картишки, а когда рассветет, отправимся в поле и перережем друг другу глотки. Но это будет лишь выражением чистейшей учтивости с моей стороны и знаком моего к вам, сударь, уважения, ибо, откровенно говоря, эта девка не стоит удара шпаги. Да я эту мошенницу и видеть больше не хочу.

Я узнал в говорившем того самого г-на д'Анктиля, которого уже видел давеча, когда он подуськивал своих слуг колоть в зад братца Ангела. Со мной он говорил вежливо и обращался как с дворянином. Я не преминул оценить благорасположение г-на д'Анктиля, выразившееся в готовности перерезать мне глотку. Мой добрый учитель тоже не устоял против такой обходительности. Страхнув с себя последние капли воды, он промолвил:

— Жак Турнеброш, сын мой, нельзя пренебречь столь любезным приглашением.

Навстречу нам уже спускались двое слуг, неся в руках зажженные факелы. Они провели нас в залу, где на столе, освещенном двумя серебряными канделябрами, был готов холодный ужин. Г-н д'Анктиль пригласил нас садиться, и мой добрый учитель повязал салфетку вокруг шеи. Он уже подцепил было на вилку жареного дрозда, как вдруг до нашего слуха донеслись жалобные стоны.

— Не обращайтесь внимания, — посоветовал нам г-н д'Анктиль, — это ревет Катрина, которую я запер в спальне.

— Ах, сударь, простите ее, — ответил мой добрый учитель, взирая не без грусти на птичку, поддетую на трезубец его вилки. — Самая вкусная пища, будучи приправлена слезами и стенаниями, становится горше полыни. Неужели можете вы спокойно слышать женский плач? Простите ее, ведь вся ее вина заключается в том, что она послала поцелуй юному моему ученику, который был ее соседом и приятелем еще в те времена, когда оба они прозябали в серости и достоинства этой красотки были оценены лишь узким кругом посетителей «Малютки Бахуса». Поступок поистине невинный, если, конечно, любое человеческое деяние, а особенно деяние женщины, может быть вообще невинным и совершенно чистым от первородного греха. Позвольте присовокупить, сударь, что ревность есть чувство первобытное, прискорбный пережиток варварских нравов, коему нет места в душе изящной и высокородной.

— Господин аббат, — ответил г-н д'Анктиль, — откуда вывели вы заключение о том, что

я ревную? Я не ревнив. Но не потерплю, чтобы женщина насмеялась надо мною.

— Все мы игралище ветров, — со вздохом промолвил мой добрый наставник. — Все смеется над нами — и небеса, и звезды, и дождь, и зефиры, и тень, и свет, и женщина. Соболаговолите разрешить Катрине отужинать. Она хороша собой и украсит наше общество. Даже все прегрешения — этот поцелуй и прочее — не умаляют для нашего глаза ее прелестей. Измена не уродует женского облика. Природа, которая с такой охотой украшает женщин, равнодушна к их проступкам. Так последуйте же ее примеру, сударь, и простите Катрину.

Я присоединился к просьбам моего учителя, и г-н д'Анктиль согласился вернуть пленнице свободу. Он подошел к двери, откуда доносились стенания, приоткрыл ее и окликнул Катрину, которая ответила на зов еще более громкими стонами.

— Господа, — обратился к нам любовник, — вот глядите, она лежит ничком на кровати, зарывшись головой в подушки, и при каждом приступе рыданий нелепо вскидывает крупом. Прошу вас, полюбуйтесь. Вот из-за чего мы так страдаем и делаем столько глупостей!.. Катрина, иди ужинать.

Но Катрина не шелохнулась и зарыдала еще пуще. Г-н д'Анктиль взял ее за руку, приподнял за талию. Она вырывалась. А он настаивал:

— Ну, идем, идем, крошка.

Однако Катрина не пожелала покинуть облюбованную позицию и судорожно цеплялась за борта кровати и тюфяки.

Ее любовник потерял терпение и грубо заорал, уснащая свою речь проклятиями:

— Вставай, шлюха!

При этих словах Катрина поднялась с постели и, улыбаясь сквозь слезы, взяла его под руку и вышла в залу с видом блаженствующей жертвы.

Она уселась между господином д'Анктилем и мной, склонила головку на плечо своего любовника, а ножкой нащупала под столом мой башмак.

— Господа, — проговорил наш хозяин, — прошу извинить меня за невоздержанное выражение своих чувств, о чем я, впрочем, не сожалею, ибо именно этому я обязан честью принимать вас здесь. Я в самом деле не желаю терпеть бесконечные капризы этой милашки, и с тех пор, как застал ее с капуцином, со мной шутки плохи.

— Друг мой, вас ослепляет ревность, — возразила Катрина, пожимая под столом своей ножкой мою. — Знайте же, что мне по вкусу один только господин Жак.

— Шутит, — буркнул г-н д'Анктиль.

— Не сомневайтесь, — подтвердил я. — Она любит только вас, это сразу видно.

— Могу сказать, не хвалясь, — заметил он, — я сумел внушить ей кой-какое чувство. Но она кокетка.

— Выпьем! — возгласил аббат Куаньяр.

Господин д'Анктиль пододвинул к моему учителю большую, оплетенную соломой бутыль и воскликнул:

— Вы, аббат, человек церковный, черт побери, объясните же хоть вы нам, почему женщины так любят капуцинов?

Господин Куаньяр утер губы и промолвил:

— Причина этому та, что капуцины и в любви хранят смирение и ни от чего не отказываются. А вторая причина та, что природные их инстинкты не сдерживаются ни размышлением, ни соображениями учтивости. У вас, сударь, прекрасное вино.

— Вы мне оказываете незаслуженную честь, — возразил г-н д'Анктиль. — Это вино господина де ла Геритода. Я располагаю его любовницей. И тем паче могу располагать его винным погребом.

— Совершенно справедливо, — подхватил добрый мой наставник. — Я вижу, сударь, вы выше людских предрассудков.

— Вы преувеличиваете мои достоинства, аббат, — отвечал г-н д'Анктиль. — Там, где человек незнатный остановится в нерешительности, я в силу своего происхождения чувствую себя непринужденно. Обыкновенный смертный волей-неволей должен взвешивать свои поступки. Он подчинен недвусмысленным требованиям порядочности, дворянин же взыскан честью драться во имя короля и ради собственного удовольствия. Это обстоятельство освобождает его от необходимости стеснять себя различными пустяками. Я служил под началом господина Виллара, я принимал участие в войне за наследство^[149] и рисковал ни за что ни про что сложить голову в битве при Парме. Надеюсь, я заслужил хотя бы право сечь своих слуг, надувать своих кредиторов и отбивать у своих друзей, если мне заблагорассудится, их жен или даже их любовниц.

— Благороднейшая мысль, — промолвил мой добрый наставник, — вы, как я вижу, ревниво охраняете привилегии знати.

— Мне неведомы, — продолжал г-н д'Анктиль, — громкие фразы, которые действуют на воображение толпы и которые, на мой взгляд, уместны лишь тогда, когда нужно припугнуть робких и согнуть в бараний рог обездоленных.

— В добрый час! — произнес аббат.

— Я не верю в добродетель, — отозвался его собеседник.

— И вы правы, — подтвердил мой учитель. — По самому своему устройству животное, именуемое человеком, приходит к добродетели лишь путем искажения своей природы. Сошлюсь для примера на миленькую девицу, что ужинает за одним столом с нами: взгляните на ее прекрасную головку, красивую грудь, дивно округлый живот, не говоря уж обо всем прочем. Ну, есть ли у этой особы такой укромный уголок, куда могла бы она поместить хоть крупичу добродетели! Да нет там такого места, слишком все это упруго, сочно, крепко сбито и выпукло. Добродетель, подобно ворону, гнездится среди развалин. Она облюбовывает себе жильё среди морщин, на впалой груди. Я и сам, сударь, размышляя с отроческих лет над возвышенными истинами религии и философии, я и сам сумел ввести в себя чуточку добродетели лишь через бреши, пробитые во мне страданием и годами. Да и то получалось, что всякий раз я набирался не так добродетели, как гордыни. Потому и приобрел я привычку возносить нашему создателю такую мольбу: «Упаси меня, боже, от добродетели, коль скоро уводит она меня от святости». Ах, святость, вот к чему должно и можно нам стремиться! Вот приличествующая нам цель! Да приблизимся мы к ней в положенный час. А пока давайте выпьем.

— Признаюсь, я не верую в бога, — заметил г-н д'Анктиль.

— А вот за это, — промолвил аббат, — я вас пожурю. Человек должен веровать в бога и во все истины, преподаваемые святой нашей церковью.

Тут г-н д'Анктиль громко воскликнул:

— Вы насмехаетесь над нами, аббат, и, видно, почитаете нас уж совершенными глупцами. Ну нет! Говорю вам, я не верую ни в бога, ни в дьявола, я никогда не посещаю церковных служб, за исключением службы о здравии короля. Проповеди, произносимые с амвона, — бабьи сказки, и годились в те времена, когда моя бабушка видела аббата Шуази, который в женском платье раздавал освященные просфоры в Сен-Жак-дю-О-Па^[150]. В ту пору, возможно, религия и существовала. А теперь ее, слава те господи, нет.

— Во имя всех угодников и всех дьяволов, не говорите так, друг мой, — промолвила Катрина. — Бог существует, это так же достоверно, как то, что этот паштет стоит на этом столе, и за доказательствами недалеко ходить, ибо когда в прошлом году я как-то впала в

отчаяние и грусть, то по совету братца Ангела отправилась в церковь Капуцинов поставить свечку. И что же? На следующий же день я встретила на гулянье господина де ла Геритода, а он подарил мне этот особняк со всей обстановкой и непочатый погреб вина, которое мы сейчас пьем, и дал вполне достаточно денег, чтобы жить прилично.

— Тьфу! — сказал г-н д'Анктиль, — эта дуреха сует бога во все свои грязные делишки, а это уж до того мерзко, что может оскорбить даже безбожника.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — куда лучше вмешивать по примеру сей простодушной девицы господа бога в самые грязные дела, чем вовсе изгонять его из им же созданного мира, как это пытаетесь сделать вы. Не стану утверждать, что он с умыслом подослал толстосума-откупщика творению своему Катрине, но допустил же он их встречу. Неисповедимы пути господни, и в невинных речах мадемуазель Катрины, хотя в них есть привкус и примесь кощунства, содержится более истины, чем в том суесловии, каковое высокомерно черпает нечестивец в опустошенном сердце своем. Нет ничего ненавистнее того распутства мысли, которым кичится нынешняя молодежь. От ваших слов меня даже оторопь берет. Опровергну ли я их ссылками на священные книги и писания отцов церкви? Повторю ли слова господа, вещавшего патриархам и пророкам:

Sic locutus Abraham et semini ejus saecula?^[151]

Обращу ли ваши взоры к преданиям церкви? Прибегну ли к помощи могущественного слова Ветхого и Нового Заветов? Смущу ли вас чудесами, сотворенными Христом или словом его, еще более чудесным, нежели деяния. Нет! Не прибегну я к этому священному оружию, слишком боюсь осквернить его в малопочтенном поединке. В благоразумии своем церковь учит нас беречься назиданий, которые могут обернуться позорищем. Вот почему, сударь, я умолчу о тех истинах, каковыми был вскормлен под сенью святынь. Но, не нарушая целомудренной чистоты своей души и не выставляя на посмеяние священных тайн, я покажу вам бога, властвующего над сознанием людей; покажу его в философических доктринах язычников, даже в словах нечестивцев. Да, сударь, я докажу вам, что вы сами веруете в бога вопреки своей воле, хотя утверждаете, что его нет. Ибо вы, конечно, согласитесь со мной, что если в мире существует некий порядок, то порядок этот божественный, и проистекает он из источника и родника всякого порядка.

— С этим я согласен, — ответил г-н д'Анктиль, откинувшись на спинку кресла и поглаживая икру своей и впрямь стройной ноги.

— Так не ошибитесь же, — продолжал добрый мой наставник, — когда вы утверждаете, что бога не существует, ведь вы приводите в связь мысли, подбираете доводы разума и обнаруживаете в самом себе начало всякой мысли и всякого разума, каковое начало и есть бог. И можно ли, даже пытаясь установить, что бога не существует, обойтись без рассуждений, пусть самых жалких, где не блеснула бы искорка гармонии, предустановленной во вселенной богом?

— Вы, аббат, софист хоть куда, — ответил г-н д'Анктиль. — В наши дни всякий знает, что мир есть лишь плод случайности, и с тех пор как ученые разглядели в зрительные трубки на луне крылатых лягушек, смешно даже толковать о провидении.

— Что ж, сударь, — возразил мой добрый учитель, — пусть на луне живут крылатые лягушки; эта болотная дичь вполне достойна обитать в мире, не искупленном кровью господа нашего Иисуса Христа. Согласен, мы знаем только ничтожную часть вселенной, и,

вполне возможно, прав господин д'Астарак, хоть он и безумец, утверждающий, что наш мир — лишь капля грязи в бесконечности миров. Возможно, не так уже бредил астролог Коперник, когда поучал нас, что Земля математически не является центром вселенной. Я читал даже, что один итальянец по имени Галилей, принявший жалкую кончину, разделял мысли этого Коперника, и, как мы видим, ныне наш господин де Фонтенель ^[152] соглашается с их доводами. Но все это суетные вымыслы, могущие смутить лишь слабые умы. Что мне за дело до того, велик или мал физический мир, имеет он ту форму или иную. Достаточно того, что он представим только через категории разума и познания, а в этом и проявляется бог.

Если размышления мудреца могут хоть чем-нибудь пригодиться вам, сударь, то я поведаю, как нежданно открылось мне во всей своей неоспоримой ясности доказательство существования бога, более даже убедительное, нежели то, что приводит святой Ансельм, и совершенно независимое от доказательств, вытекающих из веры в Откровение. Произошло это в Сеэзе четверть века тому назад. Я служил библиотекарем господина епископа Сеэзского, и в окна галереи, выходявшей во двор, я ежеутренне мог видеть тамошнюю судомойку, которая начищала кастрюли его высокопреосвященства. Была она молода, ловка и крепка телом. Легкий пушок, затемнявший верхнюю ее губу, придавал девице гордый и завлекательный вид. Всклобоченные кудри, плоская грудь, слишком тонкие обнаженные руки сделали бы честь не только Диане, но и Адонису ^[153], — словом, красоту ее справедливо было бы назвать отроческой. За это-то я ее и полюбил и любовался ее огрубевшими красными ладонями. Короче говоря, вождение, которое внушала мне эта девица, было столь же грубым и звериным, как и она сама. Вам ведомо, как властны подобные чувства. Стоя у окна, я дал ей это понять с помощью двух-трех жестов и слов. С помощью еще более скупой жестикуляции она оповестила меня, что разделяет мои чувства, и назначила мне свидание той же ночью на чердаке, где по милости его высокопреосвященства, чью посуду она мыла, ей предоставляли для ночлега охапку сена. С нетерпением ждал я ночи. Когда ж, наконец, тьма окутала землю, я взял лестницу и взобрался на чердак, где меня поджидала девица. Первым моим побуждением было обнять ее, вторым — восславить сцепление обстоятельств, приведших меня в ее объятия. Ибо судите сами, сударь: молодой священнослужитель, судомойка, лестница, охапка сена! Какая закономерность, какой стройный порядок! Какая совокупность предустановленной гармонии, какая взаимосвязь причин и следствий! Какое неоспоримое доказательство существования бога! Вот что поразило меня до чрезвычайности, и я возликовал, что могу пополнить еще одним доводом мирского характера доводы богословия, впрочем более чем достаточные.

— Ах, аббат, — воскликнула Катрина, — в вашей истории только одно плохо — это то, что девица была плоскогрудая. Женщина без груди — все равно что постель без подушки. А не знаете ли вы, господин д'Анкиль, чем нам сейчас заняться?

— Знаю, — ответил тот, — будем играть в ломбер, он требует лишь трех игроков.

— Как угодно, — согласилась Катрина. — Только будьте любезны, друг мой, прикажите принести трубки. Нет ничего приятнее, чем курить трубку, попивая вино.

Слуга принес колоду карт и трубки, которые мы тут же закурили. Вскоре вся горница наполнилась густым дымом, в клубах которого наш хозяин и г-н аббат Куаньяр степенно развлекались игрой в пикет.

Удача благоприятствовала моему учителю вплоть до той минуты, когда г-ну д'Анкилью вдруг показалось, будто его партнер в третий раз подряд записал пятьдесят пять очков, в то время как у него было всего-навсего сорок; обозвав аббата греком, мерзостным плутом, трансильванским рыцарем, он запустил ему в голову бутылкой, которая, к счастью, разбилась об угол стола, залив все вокруг вином.

— Придется вам, сударь, — промолвил аббат, — взять на себя труд откупорить новую бутылку, так как нас мучит жажда.

— Охотно, — отвечал г-н д'Анктиль, — но знайте, аббат, что человек моего круга приписывает себе очки и подтасовывает карты только в том случае, когда игра идет при королевском дворе, где попадают всякие люди, с которых и спросу нет. А при всех прочих обстоятельствах — это уж пакость. Неужели, аббат, вам так хочется прослыть проходимцем?

— Вот что поистине примечательно, — возразил мой добрый учитель, — при карточной игре или при игре в кости зазорным почитается как раз то, что рекомендовано в ратном деле, в политике и коммерции, где человек, исправляя превратности фортуны, приписывает это своей чести. Это не значит, что я позволяю себе в карточной игре отступить хоть на йоту от требований чести. Слава тебе господи, я весьма точен в счете, и вам, сударь, пригрезилось, что я приписал себе несуществующие очки. Но будь это даже так, я разрешу себе сослаться на пример присноблаженного епископа Женевского, который не считал грехом плутовать в карты. Однако ж не могу не заметить, что люди более склонны к щепетильности в карточных играх, нежели в делах первостепенной важности, и со всем тщанием соблюдают честность при игре в триктрак, где и соблюдать-то ее не составляет особого труда, но отнюдь не блюдут ее во время боя или при подписании мирных договоров, ибо там она показалась бы неуместна! Элиан, написавший по-гречески книгу о военной хитрости, показывает, в каком почете у великих полководцев разного рода уловки.

— Аббат, — возразил г-н д'Анктиль, — я не читал вашего Элиана, да и читать не намерен. Но я сам воевал, как и подобает каждому доброму дворянину. Я прослужил королю целых полтора года. Нет более благородного занятия на свете. Я сейчас вам расскажу, к чему оно в сущности сводится. С легкой душой поверяю вам эту тайну, ибо услышать ее здесь могут лишь вы, эти бутылки, вон тот господин, которого я убью на заре, да вон та девица, что стягивает с себя платье.

— Да, стягиваю, — отозвалась Катрина, — и останусь в одной рубашке, потому что здесь уж очень жарко.

— Ну так вот! — продолжал господин д'Анктиль. — Что бы ни твердили ваши газеты, воевать — значит воровать кур и свиней у крестьян. Солдаты во время походов только этим и занимаются.

— Вы совершенно правы, — подхватил добрый мой наставник, — в Галлии некогда сложили поговорку: нет солдату подруги слаже, чем кражи. Но молю вас, не убивайте Жака Турнеброша, моего воспитанника.

— Аббат, — возразил г-н д'Анктиль, — этого требует дворянская честь.

— Уф! — вздохнула Катрина, расправляя на груди кружевные оборки рубашечки, — так куда легче.

— Сударь, — продолжал мой добрый наставник. — Жак Турнеброш весьма полезен мне в предпринятых мною трудах по переводу Зосимы Панополитанского. Я был бы бесконечно вам обязан, если б вы отложили ваше намерение драться с ним до той поры, когда сей великий труд придет благополучно к завершению.

— Плевать мне на вашего Зосиму, — отрезал г-н д'Анктиль. — Плевать мне на него, слышите, аббат. Плевать мне на него с высокого дерева.

И он запел:

Чтоб наловчился ездок молодой
И приучился к езде верховой,

Дай ему милку в награду!
Случай терять не надо.

Какой еще там Зосима?

— Зосима, сударь, — ответил аббат, — Зосима Панополитанский был ученый грек, процветавший в Александрии в третьем веке по рождестве Христовом и писавший трактаты о магии и об алхимии.

— А мне-то что до этого? — возразил г-н д'Анктиль. — И зачем вы его переводите?

Куйте железо, пока горячо,
И одалиску целуйте еще, —
Евнухи нам не преграда!
Случай терять не надо.

— Сударь, — промолвил мой добрый наставник, — признаюсь вам, что существенной пользы мой труд не принесет и не повлияет на ход мироздания. Но, комментируя и разбирая трактат, каковой вышеупомянутый грек посвятил своей сестре Теосебии...

Прервав речь доброго моего наставника, Катрина затянула пронзительным голосом:

Пусть я завистников всех обозлю,
Мужа пожаловать в графы велю —
Мужу-писцу я не рада.
Случай терять не надо.

— ... я вношу свою лепту, — продолжал аббат, — в сокровищницу знаний, собранную учеными мужами, и кладу свой камень в монумент подлинной истории, ибо история есть свод максим и мнений в большей мере, нежели летопись войн и мирных трактатов. Ведь человека облагораживает...

Катрина не унималась:

Будет весь город о нас говорить,
В песенках станут над нами трунить,
Плюнем на глупое стадо.
Случай терять не надо.

А добрый мой наставник тем временем продолжал:

— ...мысль, сударь. И с этой точки зрения нам не безразлично знать, как представлял себе

этот египтянин природу металлов и свойства материи.

Аббат Жером Куаньяр опрокинул чару вина под звонкое пенье Катрины:

Как бы там ни был наш сан заслужен —
Шпагою или посредством ножен,
В титуле графском услада.
Случай терять не надо.

— Аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — вы не пьете и к тому же мелете чепуху. Мне самому довелось в Италии во время войны за наследство служить под началом бригадира, который переводил Полибия. Другого такого дурака свет не видывал. К чему переводить Зосиму?

— Если угодно знать всю правду, — ответил мой добрый наставник, — я черпаю в этом занятии некую чувственную усладу.

— В час добрый! — воскликнул г-н д'Анктиль, — но в чем тогда может помочь вам господин Турнеброш, который в эту минуту ласкает мою любовницу?

— Знанием греческого языка, — отвечал добрый мой учитель, — каковым он обязан мне. Господин д'Анктиль повернулся в мою сторону.

— Как, сударь, — сказал он, — вы знаете греческий? Стало быть, вы не дворянин?

— Сударь, — ответил я, — мой батюшка знаменосец цеха парижских харчевников.

— Итак, мне не удастся вас убить, — вздохнул он, — приношу свои извинения. Но, аббат, вы ничего не пьете. Это обман. А я-то полагал, что вы не дурак выпить, и уж подумывал было назначить вас своим капелланом, когда обзаведусь собственным домом.

Господин аббат Куаньяр тем временем пил прямо из бутылки, а Катрина, склонив головку на мое плечо, шептала мне на ухо:

— Жак, я чувствую, что всю жизнь буду любить только вас.

Услышав такие слова, произнесенные прелестной особой, раздетой до рубашки, я впал в состояние небывалого смятения. Я окончательно захмелел, ибо Катрина заставляла меня пить из одного с ней стакана, что, впрочем, прошло незамеченным в общей суматохе, так как ужин изрядно разгорячил наши головы.

Господин д'Анктиль, отбив о край стола горлышко бутылки, вновь обдал нас струей вина, и с этой минуты я уже перестал отдавать себе отчет в том, что говорилось и делалось вокруг. Однако ж я успел заметить, что коварная Катрина выплеснула стакан вина за шиворот своему любовнику, в ответ на что любезный кавалер вылил две, а может, и три бутылки вина на девицу, сидевшую в одной рубашке, и превратил ее таким способом в некую мифологическую фигуру из породы никогда не просыхающих нимф или наяд. Катрина заплакала от злости и стала корчиться в судорогах.

В эту самую минуту в глубокой тишине ночи мы услышали резкие удары молотка во входную дверь. Мы окаменели и лишились дара речи наподобие сотрапезников из волшебной сказки. А в дверь стучали все сильнее, все упорнее. Г-н д'Анктиль первым прервал молчание и, чертыхнувшись, громко спросил, кого это принесла нелегкая. Добрый мой учитель, которому самые, казалось бы, будничные обстоятельства часто подсказывали самые вдохновенные изречения, поднялся с места и произнес елеин и торжественно:

— Неважно, чья рука стучит столь грубо в двери, движимая низменной, а быть может, и нелепой причиной! Стоит ли дознаваться, кому она принадлежит? Пусть удары эти

отдадутся во вратах наших душ, зачерствелых и растленных. И при каждом последующем ударе станем говорить себе: вот этот тщится исправить нас, напомнить о нашем спасении, коим пренебрегаем мы, погрязшие в утехах; вот тот учит презирать блага мира сего; а тот напоминает о вечности. Таким образом, мы сумеем извлечь всю мыслимую пользу из события самого по себе ничтожного и вздорного.

— Ну, знаете, аббат, — отвечал г-н д'Анкиль, — от таких ударов того и гляди вся дверь в щепы разлетится.

И впрямь молоток грохотал наподобие грома.

— Это разбойники! — вскричала промокшая насквозь Катрина. — Господи Иисусе! Они всех нас сейчас перережут; это нас покарал бог за то, что мы прогнали братца Ангела. Я вам сотни раз говорила, Анкиль, тот, кто прогоняет капуцинов, навлекает на свой дом несчастье.

— Экая дура! — отозвался г-н д'Анкиль. — Этот чертов монах забивает ей голову всякими бреднями. Воры вели бы себя учтивее или во всяком случае скромнее. Скорее уж это стража.

— Стража! Так это же еще хуже! — завизжала Катрина.

— Ба! — отозвался г-н д'Анкиль, — мы их в тычки прогоним.

Добрый мой наставник предусмотрительно сунул одну бутылку вина в один карман, а в другой — вторую, для равновесия, как говорится в сказке. Теперь весь дом сверху донизу сотрясаясь от неистового стука. Г-н д'Анкиль, в душе которого внезапное нападение пробудило воинскую доблесть, воскликнул:

— Иду на разведку.

Неверным шагом подбежал он к окну, возле которого не так давно наградил свою любовницу пощечиной, и вскоре воротился к нам в столовую, даваясь от смеха.

— Ха! Ха! Ха! — с хохотом вскричал он. — Знаете, кто стучит? Господин де ла Геритод в своем дурацком парике, а по обе его стороны стоят два великана-лакея с зажженными факелами.

— Не может быть, — возразила Катрина, — в этот час он спит со своей старухой.

— В таком случае, — произнес г-н д'Анкиль, — это его призрак, причем до крайности похожий. К тому же привидение, надо полагать, взяло напрокат парик настоящего Геритода. Даже призраку не удалось бы смастерить такой нелепый парик.

— Скажите правду, вы не смеетесь надо мной? — спросила Катрина. — Это действительно господин де ла Геритод?

— Собственной персоной, Катрина, если только меня не обманывает зрение.

— Я пропала! — воскликнула бедная девица. — До чего несчастны мы, женщины! Ни на минуту нас не оставляют в покое! Что со мной станется? Быть может, вы, господа, попрчетесь по шкафам?

— Мы-то охотно, — отвечал г-н аббат Куаньяр, — но только как упрятать туда за компанию еще и пустые бутылки, добрая половина которых разбита или во всяком случае валяется без горлышек, а также осколки оплетенной бутылки, которую господин д'Анкиль швырнул мне в голову, эту скатерть, эти паштеты, эти тарелки, эти факелы и дамскую рубашку, которая так пропиталась вином, что позволяет любоваться красами мамзель Катрины не хуже прозрачно-розовой вуали?

— И правда, этот болван насквозь промочил мне рубашку, — отозвалась Катрина, — и я чувствую, что простыла. Но, может быть, достаточно спрятать в верхней горнице одного господина д'Анкилья? Аббата я выдам за своего дядю, а господина Жака — за брата.

— Нет уж, увольте, — воскликнул г-н д'Анкиль. — Пойду и приглашу господина де ла Геритода отужинать с нами.

Мы втроем — добрый мой учитель, Катрина и я — отговаривали его, мы молили его, висли у него на шее. Но тщетно. Схватив факел, он спустился с лестницы. Трепеща, последовали мы за ним. Г-н д'Анктиль распахнул дверь. У порога стоял г-н де ла Геритод совсем такой, каким его описал возлюбленный Катрины, — в парике, с двумя лакеями по бокам, державшими горящие факелы. Г-н д'Анктиль промолвил с церемонным поклоном:

— Окажите нам честь, сударь, своим посещением. Вас ждет общество весьма любезных и своеобразных особ: некоего Турнеброша, которому мамзель Катрина посылает из окон воздушные поцелуи, и некоего аббата, который верует в бога.

И он низко склонился перед вновь прибывшим.

Господин де ла Геритод — из породы сухощавых верзил, — как видно, был не охотник до милых шуток. Поэтому слова г-на д'Анктиля вызвали у него сильнейшее раздражение, а при виде доброго моего наставника с бутылкой в руке и двумя другими бутылками, торчащими из карманов, при виде Катрины в мокрой насквозь и прилипшей к телу рубашке он совсем вышел из себя.

— Молодой человек, — обратился он к г-ну д'Анктилю, и в словах его прозвучала холодная ярость, — я имею честь знать вашего батюшку, и не позже чем завтра мы с ним вместе выберем город, куда король вас пошлет, чтобы на досуге вы могли обдумать свою позорную распущенность и столь же позорную дерзость. Этот достойный дворянин, которого я охотно ссужаю деньгами, не требуя их возврата, бесспорно пойдет мне навстречу. Наш обожаемый монарх, который находится в таких же обстоятельствах, как и ваш батюшка, тоже благоволит ко мне. Потому почитайте дело решенным. Слава богу, мы и не такие дела обдeldывали, что же касается до этой девицы, которую, видно, нет надежды вернуть на стезю добродетели, то завтра же утром я шепну два слова начальнику полиции, а он, насколько мне известно, весьма не прочь отправить ее в Убежище. Говорить больше нам не о чем. Этот дом принадлежит мне, я за него заплатил, и я намерен сюда войти.

Вслед за тем, обернувшись к лакеям, он ткнул кончиком трости в сторону моего наставника, а также в мою и приказал:

— Выбросьте-ка вон этих двух пьяниц.

Обычно г-н Жером Куаньяр являл собою редкостный образец благодушия и любил повторять, что кротостью своей обязан житейским превратностям, ибо судьба подобна морской волне, которая, перекатывая взад и вперед гальку, в конце концов стачивает острые края. Он легко сносил обиды и как христианин и как философ. Особенно же укрепляло его в этом безмерное презрение к роду человеческому, причем и для себя он не делал исключения. Однако на сей раз он утратил всякую меру и забыл всякое благоразумие.

— Замолчи, гнусный мытарь! — завопил он, размахивая бутылкой, точно дубиной. — Если только эти негодяи осмелятся тронуть меня, я разможжу им череп, я сумею внушить им уважение к этой одежде, как-никак свидетельствующей о моем сани.

При свете факелов мой добрый учитель с блестевшим от пота побагровевшим лицом и выпученными глазами, в распахнутой рясе, открывавшей его объемистое чрево, которое угрожающе выползло из панталон, всей своей особой свидетельствовал, что не так-то просто справиться с таким молодцом. Негодники-лакеи остановились в нерешительности.

— Хватайте, — кричал г-н де ла Геритод, — хватайте этот бурдюк! Не видите разве, что стоит бросить его в сточную канаву, и он преспокойно пролежит там до утра, пока метельщики не выкинут его на свалку. Я бы сам за него взялся, да не хочется рук марать.

Добрый мой учитель не мог стерпеть подобной обиды.

— Гнусный откупщик, — воскликнул он голосом, достойным вещать с церковного амвона, — подлый клевет, безжалостный лихоимец, и ты смеешь еще называть этот дом

своим? Если ты хочешь, чтобы люди поверили тебе, чтобы издали узнавали они владение твое, начертай на дверях евангельское слово «Ацельдама», что означает «Цена крови». Что ж, тогда мы отступимся, с поклоном дадим хозяину войти в его жилище. Вор, разбойник, душегубец, пиши скорее вот этим углем, что я швырну тебе в харю, пиши собственной грязной лапой свой титул, удостоверяющий права на владение: «Ценою крови вдовицы и сиротки, ценою крови праведного», «Ацельдама». А не напишешь, торчи себе здесь, и оставьте нас в покое, ваша лихоимствующая светлость.

Никогда в жизни г-н де ла Геритод не слыхивал подобных поношений, и справедливо решив, что перед ним безумец, он поднял тяжелую трость, не столько с целью нанести удар, сколько желая защитить себя от удара. Добрый мой наставник зашелся от гнева и запустил бутылку в голову откупщика, который рухнул на мостовую, успев испустить крик: «Караул!» И так как кругом него лужей растеклось вино, могло и впрямь показаться, что он убит. Оба его лакея набросились на убийцу, и тот из них, что был повыше и покрепче, чуть было не сгреб за ворот аббата Куаньяра, но аббат с такой силой ударил мошенника головой в живот, что он повалился на мостовую, прямо на откупщика. На свое горе он тут же вскочил с земли и, вооружившись горящим факелом, бросился к подъезду дома, туда, где находился его обидчик. Но доброго моего учителя уже и след простыл. В дверях рядом с Катриной стоял г-н д'Анкиль, который и получил по лбу удар, предназначавшийся аббату. Наш дворянин не стерпел такого оскорбления; вытащив шпагу, он погрузил ее в живот злосчастного негодяя, и тот, прежде чем испустить дух, успел убедиться на собственном опыте, что негоже связываться с аристократом. Однако мой учитель не пробежал и двадцати шагов, как другой лакей, огромный детина, с длинными, как у паука-сенокосца, ногами, пустился за ним вдогонку, громогласно сзывая стражу и крича: «Держи, держи его!»

Превосходя моего наставника в быстроте, лакей нагнал его на углу улицы св. Гильома, и мы увидели, как он уже протянул руку к воротнику беглеца. Но добрый мой учитель — не новичок в драках — круто свернул в сторону и, обойдя противника с фланга, дал ему подножку, отчего тот упал и раскроил себе череп о тумбу. Произошло все это молниеносно, и хоть мы с г-ном д'Анкилем решили, что не пристало оставлять друга в минуту грозной опасности, все же не успели к нему подбежать.

— Аббат, — сказал г-н д'Анкиль, — вот вам моя рука: вы храбрый человек.

— Боюсь, что я к тому же и человекоубийца, — отвечал добрый мой наставник. — Но я еще не настолько испорчен, чтобы кичиться делом рук своих. Хорошо, если я отделаюсь не слишком суровым осуждением. Такое насилие не в моих нравах; ваш покорный слуга, сударь, рожден для обучения юношества изящной словесности с кафедры колледжа, а не для драк по закоулкам с лакеями.

— О, это еще полгоря, — возразил г-н д'Анкиль. — Но боюсь, вы уложили также и генерального откупщика.

— Неужто верно? — удивился аббат.

— Точно так же, как верно то, что я малость пощекотал шпагой кишки его мерзавца-лакея.

— При данных обстоятельствах, — ответил аббат, — нам первым делом подобает вымолить прощение у господ бога, ибо только пред ним одним мы в ответе за пролитую кровь, а затем поспешим к ближайшему фонтану, где можно было бы умыться. У меня, кажется, из носу кровь идет.

— Вы правы, аббат, — сказал г-н д'Анкиль, — ведь тот негодяй, что околеваает сейчас в канаве со вспоротым брюхом, рассек мне лоб. Нет, какова наглость!

— Отпустите ему грехи его, дабы и вам были отпущены ваши, — промолвил аббат.

В конце улицы Бак, там, где она теряется среди полей, у стены Убежища, мы весьма кстати обнаружили маленького бронзового тритона, извергавшего струю воды в каменную чашу. Мы остановились, чтобы умыться и утолить жажду. Горло у нас совсем пересохло.

— Что мы натворили! — вздохнул мой учитель. — И как это я мог выйти из естественного для меня состояния. Да, правы утверждающие, что судить человека надо не по его поступкам, каковые являются следствием обстоятельств, а по тайным его помыслам и сокровенным побуждениям, следуя примеру отца нашего небесного.

— А Катрина, — спросил я, — что случилось с ней во время этого ужасного происшествия?

— Когда я оглянулся, — ответил г-н д'Анктиль, — она изо всех сил дула в рот своему откупщику, надеясь привести его в чувство. Но зря она старается, я знаю господина де ла Геритода. Это — кремень безжалостный. Он отправит ее в Убежище, а то и в Америку. Жаль! Славная была девчонка. Я-то ее не любил, но она по мне, что называется, сохла. Удивительное дело, — выходит, я теперь без любовницы.

— Не тревожьтесь, — успокоил его добрый мой учитель. — Вы найдете себе новую, которая ничем не будет отличаться от прежней, во всяком случае ничем существенным. Мне сдается, вы ищите в женщинах как раз то, что присуще каждой.

— Нет сомнения, — воскликнул г-н д'Анктиль, — что всем нам грозит опасность: меня упрячут в Бастилию, а вас, аббат, вздернут вместе с вашим воспитанником Турнеброшем, хотя он никого не убивал.

— Вы недалеки от истины, — подхватил мой добрый наставник. — Пора подумать, как бы спасти свою шкуру. Возможно, даже придется покинуть Париж, где нас не преминут отыскать, и скрыться в Голландии. Но увы! Слишком мне ясен мой тамошний жребий: той самой деснице, что столь пространно комментировала трактат Зосимы Панополитанского об алхимических науках, суждено кропать пасквили на потребу оперных див.

— Послушайте, аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — у меня есть друг, и он согласится приютить нас на любой срок в своем поместье. Живет он в четырех лье от Лиона, в диком и мерзком краю, где ничего, кроме тополей, травы да лесов, не увидишь. Вот куда нужно нам держать путь. Переждем в его поместье грозу. Поохотимся. Но для этого нам требуется незамедлительно почтовая карета или еще лучше — берлина.

— В этом я могу вам легко помочь, — ответил мой добрый учитель. — В гостинице «Красный конь», что на площади Пастушек, вам предложат прекрасных лошадей и любые экипажи на выбор. Я познакомился с хозяином гостиницы еще в те времена, когда служил секретарем у госпожи Сент-Эрнст. Он охотно выручал знатных господ; боюсь, его нет уж в живых, но сын его, говорят, пошел в батюшку. Есть у вас деньги?

— При мне как раз имеется довольно крупная сумма, — отозвался г-н д'Анктиль. — И это обстоятельство меня немало радует: ведь нечего и думать о возвращении домой, где меня тут же сцапают и препроводят под стражей в Шатле. Мои слуги остались у Катрины, и один бог знает, что с ними станется, но мне на это плевать. Я их поколачивал, я ни гроша им не платил и все же не уверен в их преданности. Но в ком можно быть уверенным? Скорее идем на площадь Пастушек.

— Сударь, — заметил аббат, — я намерен сделать вам одно предложение в надежде, что оно придется вам по душе. Мы с Турнеброшем проживаем вблизи Саблонского креста в некоем алхимическом и обветшалом замке, где вы, никем не замеченный, можете провести полдня. Сейчас мы отведем вас туда и подождем, пока нам подадут карету. Кстати, замок расположен невдалеке от площади Пастушек.

Господин д'Анктиль не стал возражать против этого предложения, и, наглядевшись на тритончика, который, старательно надувая толстые щеки, извергал струю воды, мы

порешили идти сначала к Саблонскому кресту, а затем нанять в гостинице «Красный конь» берлину и отправиться в Лион.

— Должен признаться вам, милостивые государи, — сказал мой добрый наставник, — что из трех бутылок, которые я озаботился унести с собой, одна, к великому моему огорчению, разбилась о голову господина де ла Геритода, вторая треснула у меня в кармане во время бегства. Пожалею же об их участи. Но третья вопреки ожиданию цела — вот она!

И, вытащив из кармана третью бутылку, аббат поставил ее на каменный борт фонтана.

— Вот удача, — воскликнул г-н д'Анктиль. — У вас вино, у меня в кармане — кости да карты. Мы можем сыграть партию-другую.

— И в самом деле, — подхватил мой добрый наставник, — это великая утеха. Карточная игра, сударь, та же книга приключений, именуемая романом, но она имеет перед всеми прочими книгами то неоспоримое преимущество, что создание ее идет одновременно с чтением, и создающему эту книгу не требуется ума, равно как читающему ее не требуется знания грамоты. Творение это поражает еще одним свойством: всякий раз при перетасовке страниц оно закономерно приобретает новый смысл. Нельзя надивиться мастерству, с каким сделана эта книга, ибо, основываясь на законах математики, она дает тысячи и тысячи прелюбопытных комбинаций и редкостных сочетаний, недаром же люди вопреки истине поверили, что она открывает секреты сердца, загадки судеб и тайны грядущего. Слова мои особенно применимы к цыганскому тароку, интереснейшей из игр, но могут быть распространены также и на пикет. Изобретение карт с уверенностью приписывают древним, и я считаю, что происхождением своим они обязаны халдеям, хотя, откровенно говоря, не нашел в книгах подтверждения этому смелому умозаключению. Но в теперешнем своем виде пикет восходит не далее как ко временам короля Карла Седьмого, если верить ученому труду, который, помнится, я прочел в Сеэзской библиотеке, и там еще говорилось, что кёровая дама изображает Агнесу Сорель^[154], а дама пик в образе Паллады — это Жанна Дюлис, именуемая также Жанной д'Арк, та самая, что своей доблестью поправила пошатнувшиеся дела монархии, потом англичане сварили ее в Руане в котле; котел этот показывают желающим за два ливра, и я сам его видел, будучи проездом в вышеназванном городе. Впрочем, кое-кто из историков утверждает, что наша девственница была сожжена заживо на великолепнейшем костре. У Николя Жиля^[155] и у Паскье^[156] можно прочесть, что ей являлись святая Екатерина и святая Маргарита. Но, уж конечно, не господь бог посылал их; ибо любой мало-мальски сведущий и благочестивый человек знает, что эти самые Маргарита с Екатериной — лишь порождение необузданной варварской фантазии византийских монахов, изгадивших от начала до конца все жития святых. Какое нелепое кощунство утверждать, будто господь бог направлял этой Жанне Дюлис святых великомучениц, каких никогда и не существовало. Однако древние летописцы не постеснялись утверждать нечто подобное. Недоставало еще, чтобы господь посылал нашей девственнице также и златокудрую Изольду, Мелузину, Большеногую Бертю и прочих героинь рыцарских романов, чье бытие не менее достоверно, чем бытие девы Екатерины с девой Маргаритой! В минувшем веке господин де Валуа с полным основанием поднял голос против этих дикарских побасенок, которые столь же противоречат религии, сколь заблуждение противно истине. Было бы весьма желательно, чтобы какое-нибудь сведущее в исторических науках лицо священного звания отсеяло бы мнимых святых от подлинных, достойных почитания: я имею в виду Маргариту, Лукию или Люцию, Евстахия и даже святого Георгия, насчет которого у меня тоже имеются кое-какие сомнения.

Если мне посчастливится найти приют в порядочном аббатстве, располагающем богатой библиотекой, я посвящу этой задаче остаток жизни, увы, достаточно потрепанной грозными

бурями и частыми кораблекрушениями. Чаю мирной пристани и жажду вкусить безгрешного покоя, подобающего человеку моих лет и моего сана.

Пока аббат Куаньяр держал эту примечательную речь, г-н д'Анктиль, не слушая его, тасовал карты, присев на край бассейна, и проклинал на чем свет стоит чертову темень, из-за которой нельзя сыграть в пикет.

— Вы совершенно правы, сударь, — сказал мой добрый наставник, — здесь не совсем светло, и это вызывает у меня немалую досаду, не столько из-за пикета, без чего я как-нибудь проживу, сколько потому, что мне пришла охота прочесть две-три странички из «Утешений» Боэция, томик сочинений которого я постоянно ношу в кармане, дабы иметь его под рукой в ту минуту, когда меня преследуют неудачи, что и произошло не далее как сегодня. Ибо, сударь, нет горше участи для человека моего сана, как стать человекоубийцей и очутиться под угрозой заключения в церковную тюрьму. Чувствую, что одна-единственная страница этой превосходной книги укрепила бы мое мужество, которое иссякает при мысли о духовном суде.

С последними словами аббат, неосторожно перевесившись через край бассейна, рухнул в водоем и попал в такое глубокое место, что погрузился в воду до пояса. Но это обстоятельство его не смутило, боюсь, даже не привлекло его внимания; извлекши из кармана своего Боэция, каковой и вправду там оказался, и нацепив на нос очки теперь уже с одним стеклом, и то треснувшим в трех местах, он начал листать книжицу, спеша отыскать страницу, наиболее отвечающую настоящему положению вещей. И бесспорно он обнаружил бы ее и почерпнул бы в ней новые силы, если бы поискам его не препятствовало плачевное состояние очков, слезы, застилавшие взор, и слишком слабый свет, падавший с небес. Вскоре он и сам вынужден был признать, что не видит ни зги, и принялся честить месяц, который имел неосторожность выставить из-за тучки кончик своего острого серпа. Он резко обрушился на ночное светило с обвинениями и стал громить его в следующих словах:

— Непристойное светило, бесчинное и блудодейственное, — говорил он, — не зная устали, ты освещаешь людское беспутство, но жалеешь луча человеку, старающемуся отыскать благочестивое изречение!

— Ну что ж, аббат, — сказал г-н д'Анктиль, — раз эта блудница-луна дает нам довольно света, чтобы найти дорогу, но не довольно, чтобы играть в пикет, отправимся же, не мешкая, в тот самый замок, о котором вы мне говорили и куда я должен проникнуть никем не замеченный.

Совет был уместен, и, допив прямо из горлышка вино, мы втроем направились к Саблонскому кресту. Я и г-н д'Анктиль шли впереди. Шествие замыкал мой добрый наставник, отяжелевший от воды, которую впитали в себя его панталоны, и всю дорогу мы слышали его охи и стенания, а также мерный стук стекавших с его одежды капель.

* * *

Первые лучи солнца уже резали наши утомленные бессонницей глаза, когда мы добрались до зеленой калитки Саблонского парка. Нам незачем было браться за молоток. Не так давно г-н д'Астарак вручил нам ключи от своего жилища. Было решено, что добрый мой наставник

вместе г-ном д'Анктилем тихохонько проберутся темной аллеей, а я чуть поотстану и буду следить, не появятся ли поблизости верный Критон или поварята, которые, чего доброго, могут заметить незваного гостя. Эта диспозиция, вполне благоразумная со всех точек зрения, доставила мне впоследствии немало неприятностей. Ибо, когда мои спутники уже поднимались по лестнице и благополучно достигли моей спальни, где решено было спрятать г-на д'Анктиля до прибытия почтовой кареты, я успел достичь только площадки второго этажа и наткнулся на самого г-на д'Астарака в пурпуровом халате из камки и с серебряным подсвечником в руке. По своему обыкновению, он дружески коснулся моего плеча.

— Ну что ж, дитя мое, — сказал он, — разве не счастливы вы, что порвали всякое общение с женщинами и тем самым избежали риска и многих опасностей, которые возникают при сомнительных связях? Отныне, имея дело со светлыми дщерями воздуха, вам нечего опасаться распрей, ссор, оканчивающихся дракой, тех оскорбительных и жестоких сцен, которые то и дело вспыхивают в обществе погибших созданий. В вашем одиночестве, скрашенном присутствием фей, вы вкусите сладостный покой.

Сначала я подумал, что г-н д'Астарак насмехается надо мной, но тут же по его виду понял, что у него и в мыслях этого не было.

— Как кстати я вас встретил, сын мой, — добавил он, — и буду весьма вам признателен, если вы заглянете на минуту в мою рабочую комнату.

Я последовал за г-ном д'Астараком. Достав ключ длиной в целый локоть, он отпер двери этой проклятой комнаты, откуда в тот раз вырывался адский пламень. И когда мы вошли в лабораторию, г-н д'Астарак попросил меня поддержать догоравший огонь. Я подбросил несколько поленьев в печь, где варилось какое-то вонючее снадобье. Пока хозяин возился с чашами и колбами, творя свою дьявольскую стряпню, я не подымался со скамеечки, на которую рухнул без сил, и веки мои невольно смежались. Однако г-н д'Астарак заставил меня открыть глаза и полюбоваться зеленым глиняным сосудом со стеклянной крышечкой, который он держал в руках.

— Сын мой, — начал он, — да будет вам ведомо, что этот перегонный аппарат именуется алюдель. В нем содержится некая жидкость, которая заслуживает того, чтобы поглядеть на нее попристальнее, ибо открою вам, жидкость эта не что иное, как философическая ртуть. Не думайте, что она навсегда сохранит бурую окраску. Пройдет немного времени, и она станет белой и вот в этом-то состоянии сможет превращать неблагородные металлы в серебро. Потом, силой моего искусства и знаний, она приобретет багряный оттенок и одновременно способность обращать серебро в золото. Всего разумнее было бы вам запереться в стенах лаборатории и не покидать ее до тех пор, пока шаг за шагом не совершатся все эти удивительные превращения, что займет не более двух-трех месяцев. Но боюсь, подобное затворничество покажется мучительным юноше ваших лет. Так удовольствуйтесь на сей раз наблюдением за прологом к действию, подкладывая в печь побольше дров, о чем я и хочу вас просить.

С этими словами он снова предался вдохновенным манипуляциям над колбами и чашами. А я тем временем размышлял о своей злосчастной судьбе и о непростительной опрометчивости, доведшей меня до столь плачевного состояния.

«Увы! — думал я, подкидывая в печь поленья, — в это самое время городская стража разыскивает доброго моего наставника и меня; кто знает, быть может нам придется сменить на узилище этот замок, где пусть я не заработал ни гроша, зато у меня был готовый стол и почетное положение. Никогда не осмелюсь я вновь предстать пред господином д'Астараком, который верит, будто я посвятил эту ночь тихим наслаждениям магией, что, кстати, было бы куда лучше. Увы, никогда более не увижу я племянницы Мозаида, мадемуазель Иахили,

которая так упоительно умела по ночам будить меня. И, без сомнения, она перестанет думать обо мне. Полюбит, быть может, другого и другого будет ласкать так, как ласкала меня. Даже мысль о ее неверности для меня несносна. Но вижу, что при том повороте, какой приняли события, следует ждать худого».

— Сын мой, — обратился ко мне г-н д'Астарак, — вы не слишком-то щедро питаете наш атодор. Видно, вы еще недостаточно прониклись идеей превосходства огня, а ведь только он может довести ртуть до полной готовности и превратить ее в чудесный плод, каковой мне дано будет вскорости сорвать. А ну-ка, еще охапку! Огонь, сын мой, высшая из стихий; я вам об этом уже толковал и сейчас приведу еще один пример. Как-то морозным зимним днем я отправился навестить Мозаида в его флигельке; когда я вошел, старец сидел, поставив ноги на грелку, и я заметил, что легчайшие частицы огня, вырывавшиеся из жаровни, обладают такой мощностью, что, играючи, надувают и приподымают балахон нашего мудреца; отсюда я умозаключил, что, если бы пламя пылало еще жарче, Мозаида прямым путем подняло бы в небеса, куда он и впрямь достоин вознестись, и что, буде удалось бы заключить в какой-нибудь корабль достаточное количество этих огненных частиц, мы с вами могли бы плавать по эфиру столь же легко, как плаваем по морям, и наносить визиты саламандрам в их воздушном жилище. Подумаю об этом как-нибудь на досуге. И я не отчаиваюсь построить огнедышащий воздушный корабль. Но вернемся к делу и подбросим-ка дров в печь.

Еще не скоро выпустил он меня из этой пламенеющей горницы, откуда я мечтал поскорее ускользнуть и повидаться с Иахилью, которой мне не терпелось рассказать о моих злоключениях. Наконец он направился к двери, и я решил, что получу свободу. Но я обманулся в своих надеждах и на этот раз.

— Нынче утром, — произнес он, — погода хоть и хмурится, зато достаточно мягка. Не угодно ли вам пройтись по парку, прежде чем засесть за Зосиму Панополитанского, труды над каковым принесут великую честь вам и вашему учителю, если только вы завершите их столь же успешно, как начали.

Печально вздохнув, я последовал за ним в парк, где он обратился ко мне со следующими словами:

— Я весьма рад, сын мой, что мы находимся здесь с глазу на глаз, и я имею случай, пока еще не поздно, уберечь вас от великой беды, которая может неожиданно обрушиться на вас, более того, я упрекаю себя, что не постарался предупредить вас об этом раньше, так как то, что я собираюсь доверить вам сейчас, крайне важно по возможным своим последствиям.

С этими словами г-н д'Астарак увлек меня в главную аллею, ведущую к болотистым берегам Сены, откуда были видны Рюэль и распятие, венчающее Мон-Валерьен. Он облюбовал эту аллею для своих прогулок. Да к тому же только по ней и можно было пройти из конца в конец, хотя и тут дорогу в двух-трех местах преграждали поваленные стволы.

— Надобно знать, — продолжал он, — какой опасности вы подвергнетесь, если вздумаете изменять саламандре. Не стану расспрашивать о вашем общении с этим небесным созданием, с которым я имел счастье вас познакомить. Сколько я мог заметить, вам претят подобные разговоры. Пожалуй, это даже похвально, и хотя саламандры не так высоко ценят, как наши придворные дамы, умение любовников держать язык за зубами, верно и то, что истинная любовь по сути своей неизреченна, и, предавая гласности высокое чувство, мы тем самым унижаем его.

Но ваша саламандра (мне ничего бы не стоило узнать ее имя, будь мне свойственно нескромное любопытство), быть может, не сообщила вам о том, какое именно чувство преобладает у них над всеми прочими: я имею в виду ревность. Ревность присуща всем ей подобным. Так знайте же, сын мой, что нельзя безнаказанно изменять саламандрам. Они

жестоко мстят вероломному. Божественный Парацельс приводит в связи с этим один случай, который, надеюсь, сумеет внушить вам спасительный страх. Вот почему я намерен ознакомить вас с его рассказом.

Жил-был в немецком городе Штауфене некий философ-алхимик, который подобно вам состоял с связи с саламандрой. Но, будучи человеком развращенным, он обманывал ее с дамой, правда недурной, но не подымавшейся над пределом, положенным женскому естеству. Однажды вечером, когда он ужинал в обществе своей новой любовницы и двух-трех друзей, пирующие вдруг заметили, как над их головами сверкнуло в воздухе совершеннейшее по форме бедро. Саламандра показала эту часть своего тела, дабы все видели, что она отнюдь не заслуживала обиды со стороны своего возлюбленного. После чего небесная дочь в негодовании наслала на изменника апоплексию. Чернь, рожденная быть жертвой заблуждений, сочла эту кончину естественной, но посвященные знали, чья рука нанесла удар. Таков пример и таков урок, который я счел полезным вам преподать.

Но польза была не так велика, как полагал г-н д'Астарак. Внимая его речам, я тревожился совсем по иным причинам. Без сомнения, мое лицо выдало обуревавшее меня беспокойство, ибо великий кабалист, обратив ко мне свой взор, осведомился, уж не опасаясь ли я, что обязательство, даваемое под страхом столь суровой кары, будет обременительным для юноши моих лет.

— Могу вас успокоить на сей счет, — добавил он. — Ревнуют саламандры лишь тогда, когда соперницей их является женщина, да и, откровенно говоря, испытывают они не настоящую ревность, а скорее обиду, негодование и отвращение. Слишком возвышенна душа саламандр, слишком утончен их ум, чтобы они могли ревновать друг к другу и поддаваться чувству, порожденному варварским состоянием, из которого человечество еще только-только выходит. Напротив того, они от чистого сердца делят с подружками те радости, что вкушают в объятиях мудреца, и весьма охотно приводят к любовнику прекраснейших из своих сестер. Вы скоро сами убедитесь в том, сколь далеко они заходят в своей любезности, и не пройдет года, а быть может, и полугода, как в вашу спальню будут являться сразу пять-шесть светозарных дев, и все они наперегонки станут развязывать перед вами свой сверкающий пояс. Смело, сын мой, отвечайте на их ласки. Ваша возлюбленная не огорчится. Да и как может она быть оскорблена, будучи мудрой? Но в свою очередь и вы не гневайтесь понапрасну, если ваша саламандра покинет вас и заглянет ненадолго к другому философу. Запомните, что спесивая ревность, которую вносят люди в отношение полов, не что иное, как дикарское чувство, основанное на смехотворнейшей иллюзии. И чувство это зиждется на представлении, будто женщина, отдавшись вам, становится вашей, а ведь это на самом деле игра слов и только.

Держа такие речи, г-н д'Астарак свернул на тропу мандрагор, откуда уже виднелась среди листвы кровля флигелька Мозаида, как вдруг грозный голос поразил наш слух и заставил забиться мое сердце. Хриплые звуки сменялись пронзительным взвизгом, и, подойдя поближе, мы убедились, что звуки эти меняют тональность и что каждая фраза кончается своего рода напевом, правда еле уловимым, но наводящим ужас.

Сделав еще несколько шагов, мы, напрягши слух, уловили, наконец, смысл этих диковинных слов. Голос вещал:

— Да поразит тебя проклятие, коим Елисей проклял чад [\[157\]](#) предрозостных и веселящихся. Внемли анафеме, которой Варух [\[158\]](#) предал жителей Мероса.

— Проклинаю тебя именем Архифариила, именуемого также Владыкой битв и держащего в деснице своей меч огненный. Предаю тебя гибели во имя Сардалифона, предстающего пред своим господином с приятными ему цветами и дарственными венцами,

кои подносят ему сыны Израиля.

— Проклят будь, пес! Анафема тебе, боров!

Взглянув в том направлении, откуда шел голос, мы увидели на пороге флигеля Мозаида: он стоял, воздев руки горе, и скрюченные, как когти, пальцы его с загнутыми ногтями казались кроваво-красными в лучах восходящего солнца. Голову его венчала гнусная тиара, засалившийся до блеска балахон распахнулся, обнажив тощие кривые ноги, едва прикрытые рваными подштанниками, и он показался мне неким нищенствующим магом, вечным и очень древним. Глаза его сверкали. Он вопил:

— Будь проклят во имя Сфер; будь проклят во имя Колес; будь проклят во имя таинственных чудищ, представших взору Иезекииля!^[159]

И, вытянув вперед длинные руки, вооруженные когтями, он повторил:

— Во имя Сфер, во имя Колес, во имя таинственных чудищ, низринься к тем, кого уже нет более.

Мы прошли еще несколько шагов, пробираясь меж деревьями, в надежде обнаружить того, кому предназначались гневные выкрики и угрожающе выставленные когти Мозаида, и каково же было мое изумление, когда я увидел г-на Жерома Куаньяра, зацепившегося полкой рясы за колючки кустарника. Весь его облик красноречиво свидетельствовал о беспутно проведенной ночи: порванный воротничок и такие же панталоны, забрызганные грязью чулки, распахнутая на груди рубашка — все это неприятно напоминало наши совместные злоключения, особенно же удручал меня вид непомерно распухшего носа, столь неуместного на этом благородном, вечно смеющемся лице.

Я бросился к моему наставнику и довольно удачно извлек его из терний, пожертвовав лишь малой частью его панталон. И Мозаид за неимением предмета для проклятий вернулся в свое жилище. Поскольку он был обут в ночные туфли без задников, я успел заметить, что плюсна у него приходится как бы посреди ступни и пятка выступает назад настолько же, насколько выступают вперед пальцы. В силу такого устройства походка его поражала своей неуклюжестью, хотя без этого недостатка могла бы показаться даже величественной.

— Жак Турнеброш, дитя мое, — проговорил со вздохом мой добрый учитель, — полагаю, что этот иудей не кто иной, как Вечный Жид собственной своей персоной, ибо только тот умел богохульствовать на всех языках мира. Он сулил мне скорую и насильственную смерть, нагромождая безо всякой меры образы, и обозвал меня свиньей на четырнадцати, если только я не сбился в счете, наречьях. Я решил было, что это сам антихрист, но не обнаружил в нем кое-каких признаков, по которым христианин распознает сего врага господня. Во всяком случае, это гнусный еврей, и никогда еще позорное изображение колеса не украшало одежду столь завзятого безбожника. Он заслуживает не только того колеса, которое некогда нашивали на еврейские плащи, но и того, к какому привязывают злодеев.

И добрый мой учитель, распалившись в свою очередь, погрозил кулаком скрывшемуся за дверью Мозаиду и обвинил его в том, что он распинает христианских детей и пожирает живьем младенцев.

Тут подоспел г-н д'Астарак и притронулся к груди аббата рубином, который сверкал на его указательном пальце.

— Видите, как полезно знать свойства драгоценных камней, — сказал наш великий кабалист. — Рубин утишает гнев, и вы убедитесь, как не замедлит вернуться к господину аббату Куаньяру его прирожденное добродушие.

Мой добрый учитель уже улыбался, не так под влиянием чудодейственных свойств рубина, как в силу своего философического умонастроения, возвышавшего этого

удивительного человека над всеми людскими страстями. Ибо г-н Жером Куаньяр — я должен сказать об этом сейчас, когда повествование мое становится от страницы к странице все мрачнее и печальнее, — являл пример мудрости даже в тех обстоятельствах, когда труднее всего было ожидать этого.

Мы осведомились о причинах недавней ссоры. Но по уклончивым и туманным ответам аббата я понял, что он не расположен удовлетворить наше законное любопытство. Я сразу же заподозрил, что дело тут не обошлось без Иахили, на что указывал доносившийся до нас скрипучий голос Мозаида, сопровождаемый скрежетом запираемых замков, и громкие отголоски ссоры, разгоревшейся во флигельке между дядей и племянницей. Я вновь попытался получить от моего доброго учителя разъяснения на этот счет.

— Ненависть к христианам, — промолвил он, — глубоко укоренилась в сердцах иудеев, и Мозайд служит тому мерзостным доказательством. Кажется, я разобрал в его гнусном твякании те самые проклятия, какие в минувшем веке обрушила синагога на голову некоего голландского еврея, называемого Барух или Бенедикт, но более известного под именем Спинозы, за то, что он создал философскую систему, блистательно опровергнутую почти при самом ее зарождении лучшими богословами. Но этот старый Мардохей добавил от себя — насколько я могу понять — с десятков еще более ужасных проклятий, и, признаюсь, мне стало даже не по себе. Я уже подумывал, как бы скрыться от этого потока поношений, да на свою беду запутался в колючках, которые так сильно впились в различные части моей одежды и тела, что я испугался, как бы не лишиться и того и другого: быть бы мне и посейчас во власти терний, рвущих мою плоть, если б меня не спас мой ученик Жак Турнеброш.

— Колючки — это еще полбеды, — возразил г-н д'Астарак. — Я боюсь другого. Уж не наступили ли вы неосторожно на мандрагору, господин аббат.

— На мандрагору! — ответил аббат. — Вот уж что меня ничуть не заботит!

— И напрасно, — с живостью воскликнул г-н д'Астарак. — Достаточно наступить на мандрагору, чтобы оказаться вовлеченным в любовное преступление и бесславно погибнуть.

— Ах, сударь, — отозвался мой добрый учитель, — сколько вокруг гибельных бед, и лучше уж безвыходно сидеть среди хранящих мудрость стен Астаракианы, царицы библиотек. Стоило мне покинуть ее на минуту, и тут же мне на голову обрушились чудища Иезекииля, не считая всего прочего.

— А как обстоит дело с Зосимой Панополитанским? — осведомился г-н д'Астарак.

— Двигается помаленьку, — ответил мой добрый учитель, — подвигается своим чередом. Только вот сейчас он чуть-чуть позамешкался.

— Запомните, господин аббат, — промолвил кабалист, — что изучение древних, рукописей дает нам ключи к обладанию великими тайнами.

— Помню, сударь, и пекусь о них, — ответил аббат.

И г-н д'Астарак, удовольствовавшись этим заверением, поспешил в чащу на зов своих саламандр и покинул нас у статуи фавна, который играл на флейте, не смущаясь тем, что голова его валялась в траве.

Добрый мой учитель взял меня за руку и начал с видом человека, наконец-то получившего возможность говорить свободно:

— Жак Турнеброш, сын мой, не утаю от вас, что нынче утром под крышей замка произошла довольно удивительная встреча, пока вы по воле этого одержимого сидели в нижнем этаже. Ибо я слышал, как он попросил вас заглянуть в его кухню, которая куда менее благоуханна, чем христианская кухня вашего батюшки, мэтра Леонара. Увы! Когда увижу я вновь харчевню «Королевы Гусиные Лапы» и книжную лавку господина Блезо с вывеской «Под образом святой Екатерины», где я не раз вкушал блаженство, листая книги, только что

полученные из Амстердама и Гааги?

— Увы! — воскликнул я, и слезы навернулись на мои глаза. — Когда и я увижу их? Когда увижу я улицу святого Иакова, где появился на свет, и добрых моих родителей, которым весть о наших злключениях причинит жестокие страдания? Не соблаговолите ли вы, добрый мой учитель, поведать мне, какая удивительная встреча произошла, по вашим словам, нынче утром и что последовало затем.

Господин Жером Куаньяр охотно дал мне все желаемые объяснения и сделал это в следующих словах:

— Знай же, сын мой, что я без помех добрался до верхнего этажа с господином д'Анктилем, который, хоть он грубиян и невежда, все-таки пришелся мне по душе. Ум его лишен прекрасных знаний и глубокой пытливости. Но мне мил в нем живой блеск юности и пылкость крови, толкающая на забавные выдумки. Он знает свет так же, как знает женщин, ибо занят ими и не занят никакой философией. Только по великой наивности души мог он причислять себя к безбожникам. В его неверии нет зла. И ты сам убедишься, много ли останется от его безбожия, когда остынет пыл страстей. В этой душе господь бог не имеет иных врагов, кроме лошадей, карт и женщин. В уме подлинного вольнодумца, например господина Бейля, истина встречает куда более грозных и лукавых противников. Но я вижу, сын мой, что напрасно рисую тебе портрет или характер, когда ты ждешь от меня бесхитростного рассказа.

Удовлетворю же твое нетерпение. Достигнув вместе с господином д'Анктилем верхнего этажа, я ввел юного дворянина в твою спальню и предложил ему, согласно нашему уговору у фонтана с тритоном, располагать этой комнатой, как своей собственной, на что он охотно согласился; он разделся, но сапог не снял, и лег в твою постель, опустил полог, дабы докучливый дневной свет не мешал ему, и тут же уснул.

А я, сын мой, хоть и разбитый усталостью, удалясь к себе в спальню, не пожелал вкусить покоя, а стал перелистывать томик Боэция в надежде найти подходящие к моему состоянию строки. Но не нашел ни одной, полностью ему отвечающей. Что ж удивительного, наш великий Боэций не имел случая размышлять о подобной напасти — шутка ли разmozжить череп генерального откупщика бутылкой, позаимствованной из его собственного погреба. Все же мне удалось почерпнуть из этого превосходного трактата ряд истин, каковые позволительно применить к данным обстоятельствам. После чего, нахлобучив на глаза ночной колпак и препоручив душу свою господу, я забылся спокойным сном. По прошествии некоторого времени, которое показалось мне недолгим, хотя я и не имел возможности его измерить, ибо, сын мой, только поступки наши суть единственное мерило времени, приостанавливающего, так сказать, свой бег для нас, спящих, я вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за руку и одновременно чей-то голос заорал у меня над ухом: «Эй, аббат, эй, аббат, да проснитесь же!» Я решил было, что это явился арестовать меня судейский чин с тем, чтобы препроводить в духовный суд, и подумывал уже, уместно ли будет раскрыть ему череп подсвечником. Увы, сын мой, по несчастью, слишком правы утверждающие, что, единожды свернув со стези благолепия и справедливости, по которой твердой и осторожной поступью шествует мудрец, человек — хочет он того или нет — начинает отвечать на насилие насилием и на жестокость жестокостью, так что первая наша оплошность неумолимо порождает череду новых. Вот что должно не упускать из виду для уразумения жизни римских императоров, которую весьма дотошно описал господин Кревье^[160]. Эти государи при своем рождении на свет были не злее всех прочих людей. Гаю, прозванному Калигулой, нельзя отказать ни в природном уме, ни в здравости суждений, к тому же он любил своих друзей. Нерон обладал врожденной склонностью к добродетели и по складу

своего характера устремлялся к великим и возвышенным предметам. Первая же совершенная ими промашка привела их на путь злодейства, с которого они так и не сошли вплоть до своей жалкой кончины. Вот что явствует из книги господина Кревье. Я сам знавал этого ученого мужа в бытность его преподавателем изящной словесности в коллеже Бове, где и я преподавал бы поныне, если бы жизнь мою не подстерегали бесчисленные препятствия и если бы свойственная мне легкость нрава не заводила меня в различные ловушки, куда я неизменно попадал. Господин Кревье, сын мой, был человек строгих правил, он исповедовал суровую мораль, и я сам слышал из его уст, что женщина, единожды изменившая супружескому долгу, готова на любые преступления, вплоть до убийства и поджога. Поминаю же я эту аксиому, дабы дать тебе представление о высоком духе нашего священнослужителя. Но, как видно, я снова уклонился в сторону и спешу поэтому продолжить свой рассказ с того самого места, где остановился. Итак, я решил было, что на меня поднял руку судейский чин, и внутреннему взору моему уже представилось узилище архиепископа, как вдруг я узнал голос и физиономию господина д'Анктиля. «Аббат, — сказал он, — в спальне Турнеброша со мной произошло престранное происшествие. Пока я спал, в комнату вошла женщина, скользнула ко мне в постель и разбудила меня градом ласк, нежных прозвищ, сладострастным шепотом и жаркими поцелуями. Я раздвинул полог, желая увидеть ту, кого послала мне фортуна. И увидел пред собой брюнетку с пылающим взором, самую прекрасную смуглянку в мире. Но тут она испустила громкий крик и, осердившись, бросилась прочь, однако недостаточно быстро, чтоб я не смог догнать ее в коридоре и заключить в объятия, которые сжимал все сильнее. Незнакомка начала вырываться и расцарапала мне лицо; когда я дал ей нацарапаться вволю, — столько, сколько требует оскорбленная девичья честь, — мы перешли к словам. Она с удовольствием узнала, что я дворянин, и не из бедных. Вскоре я уже перестал быть в ее глазах отвратительным, и она начала относиться ко мне все благосклоннее, когда по коридору вдруг прошмыгнул поваренок, обративший ее своим появлением в бегство. Насколько я могу понять — добавил господин д'Анктиль, — эта восхитительная девица приходила не ко мне, а к кому-то другому, но ошиблась дверью и от удивления испугалась, однако мне удалось ее успокоить и, не будь этого чертова поваренка, я бы завоевал ее дружбу». Я поспешил согласиться с господином д'Анктилем. Мы оба стали ломать голову, к кому могла приходиться эта красотка, и порешили, что к нашему старому безумцу д'Астараку; как я уже имел случай тебе говорить, Турнеброш, он принимает ее в комнате, смежной с твоей, а возможно, в тайне от тебя и в собственной твоей спальне. Какого ты на сей счет мнения?

— Более чем возможно, — ответил я.

— Тут даже сомневаться грешно, — подхватил мой добрый учитель. — Этот колдун просто потешается над нами, болтая о саламандрах. А на самом деле ласкает юную деву. Обманщик он, вот кто!

Я стал молить доброго моего учителя продолжать рассказ. Он охотно исполнил мою просьбу.

— Передаю тебе, сын мой, речи господина д'Анктиля в сокращенном виде. Будучи вульгарного и низменного образа мыслей, он склонен самые незначительные события описывать с излишним многословием. Мы же, напротив того, должны исчерпать их в скупых словах, стремиться к краткости и беречь для нравоучительных речей и назиданий всю силу многословия, которое в этих случаях должно обрушиваться на поучаемого как снежная лавина, сорвавшаяся с горы. Поэтому, сказав, что господин д'Анктиль уверял, будто обнаружил в знакомке редкостную красоту, обаяние и незаурядную привлекательность, я достаточно ознакомлю тебя с содержанием его рассказа. В заключение он спросил, не знаю ли

я, как зовут его красавицу и кто она такая. «Судя по тому портрету, какой вы набросали сейчас, — отвечал я, — речь идет, если не ошибаюсь, о племяннице раввина Мозаида, именуемой Иахилью, которую мне как-то ночью довелось обнять на лестнице с той только разницей, что произошло это между вторым и третьим этажом». — «Надеюсь, — возразил господин д'Анктиль, — разница не только в том, ибо я обнимал ее весьма крепко. Досадно также, что, по вашим словам, она еврейка. Хотя я и не верую в бога, но по какому-то внутреннему чувству меня сильнее влечет к христианкам. Однако кто может с уверенностью назвать своих родителей? А вдруг ее украли еще ребенком? Ведь евреи и цыгане крадут детей за милую душу. К тому же мы слишком редко вспоминаем, что святая дева Мария была еврейского рода. Еврейка эта девица или нет, я хочу ее и заполучу!» Так говорил наш юный безумец. Но позволь мне, сын мой, присесть на эту поросшую мхом скамью, ибо после треволнений минувшей ночи, баталий и бегства, ноги отказываются мне служить.

Он уселся и, вытащив из кармана пустую табакерку, печально уставился на нее.

Я сел возле него, не в силах побороть беспокойство и уныние. Рассказ аббата причинил мне боль. Я клял судьбу, пославшую моей бесценной возлюбленной вместо меня какого-то грубияна в тот самый миг, когда она пришла в мою спальню, исполненная страстной неги, а я тем временем подкидывал дрова в печь алхимика. Мысль о непостоянстве Иахили, в котором трудно уже было сомневаться, раздирала мне душу. Я подумал про себя, что доброму моему учителю не следовало бы пускаться в откровенности с соперником его ученика. И в весьма почтительных выражениях я осмелился упрекнуть его в том, что он назвал имя прекрасной незнакомки.

— Сударь, — произнес я, — осторожно ли было с вашей стороны давать подобные сведения столь сластолюбивому и необузданному дворянину?

Но добрый мой учитель, казалось, даже не слышал меня.

— По несчастью, — продолжал он, — во время ночной потасовки моя табакерка раскрылась и табак, смешавшись в кармане с вином, теперь являет собой лишь отвратительное месиво. Я не осмеливаюсь просить Критона растереть мне табак, столь суров и бесчувствен на вид этот слуга, он же судия. Если бы я был только лишен возможности забить в ноздрю понюшку табаку! Но страдания мои усугубляются еще и тем, что после удара, полученного нынче ночью, у меня зудит нос, и ты сам видишь, как я мучаюсь, не будучи в силах удовлетворить потребность моего назойливого табаколюбца. Однако я стойко перенесу эту маленькую напасть в надежде, что господин д'Анктиль позволит мне угоститься из его табакерки. Но продолжу свой рассказ об этом молодом дворянине; вот что сказал он без обиняков: «Я люблю эту девицу. Знайте, аббат, я увезу ее с собой в почтовой карете. И не уеду без нее, пусть мне придется просидеть здесь неделю, месяц, полгода или даже год». Я описал ему опасности, какими чревата малейшая задержка. Он ответил, что опасности его не тревожат: уже по одному тому, что, страшные для нас, они не столь уж страшны ему. «Вам, аббат, — сказал он, — вам с Турнеброшем грозит виселица, а я рискую лишь одним — попасть в Бастилию, где наверняка найдется колода карт и общество девиц и откуда моя семья незамедлительно меня вызволит, так как отец постарается заинтересовать в моей судьбе какую-нибудь герцогиню или танцовщицу, а матушка, хоть она и стала с годами чересчур богомольна, сумеет напомнить о себе двум-трем принцам крови, к которым она в свое время благоволила, с тем чтобы они похлопотали за меня. Так что это дело решенное, аббат, я уеду с Иахилью или вовсе не уеду. А вы с Турнеброшем вольны приобрести себе место в почтовой карете».

Жестокосердный отлично знал, что у нас с тобою, сын мой, нет ни гроша. Я убеждал его изменить решение. Говорил я настойчиво, умильно и даже назидательно. Пустая трата

времени! Зря расточал я свое красноречие, которое, не сомневаюсь, принесло бы мне почет и деньги, если б я вещал с церковной кафедры. Увы, сын мой, видно, так уж предначертано, что ни одно мое деяние не приносит на земле сладостного плода, и, должно быть, про меня сказал Екклесиаст:

«Quid habet amplius homo de universo labore suo, quo laborat sub sole»?^[161]

Я не только не образумил нашего юного дворянина, но своими речами лишь укрепил его упорство, и, не скрою, сын мой, он дал мне понять, что полностью рассчитывает на меня в исполнении своих желаний; это он и послал меня спешно отыскать Иахиль с целью склонить ее к побегу, посулив ей штуку голландского полотна, посуду, драгоценности и приличное содержание.

— О учитель! — вскричал я. — Этот господин д'Анктиль редкостный наглец. Что, по-вашему, ответит Иахиль, узнав об этих предложениях?

— Сын мой, она уже знает и, полагаю, примет их благосклонно, — промолвил аббат.

— В таком случае, — с живостью возразил я, — следует открыть глаза Мозаиду.

— У Мозаида, — ответил мой добрый наставник, — глаза открыты даже слишком широко. Ты сам только что слышал последние раскаты его гнева, доносившиеся из флигеля.

— Как, сударь? — воскликнул я растроганно. — Вы открыли глаза этому иудею на бесчестие, готовое обрушиться на его семью! Как это прекрасно с вашей стороны! Дозвольте мне обнять вас. Значит, ярость Мозаида, которой мы были свидетелями, относилась к господину д'Анктилю, а не к вам?

— Сын мой, — ответил аббат с видом благородным и скромным, — прирожденная терпимость к людским слабостям, кроткая обходительность, неосмотрительная доброта слишком уступчивого сердца подчас толкают человека на необдуманные шаги, и на голову его обрушивается вся тяжесть суровых и суетных суждений света. Не скрою от тебя, Турнеброш: уступив настойчивым мольбам этого молодого дворянина, я с обычной своей предупредительностью обещал отправить его послом к Иахили и пустить в ход все соблазны, дабы склонить ее к побегу.

— О горе! — воскликнул я. — И вы, сударь, сдержали это чреватое бедами обещание? Не могу выразить, как глубоко уязвил и задел меня ваш поступок.

— Турнеброш, — сурово возразил мой добрый наставник, — ты рассуждаешь, как фарисей. Некий столь же любезный, сколь и возвышенно мыслящий ученый сказал: «Обрати свой взор на себя самого и остерегись судить поступки ближнего. Напрасный труд — осуждение ближнего своего; того и гляди, впадешь в ошибку и согрешишь, меж тем как, изучая и судя себя самого, пожнешь обильную жатву». Ибо сказано также: «Не убоитесь людского суждения», а апостол Павел рек: «Пусть судит меня судилище человеков — что мне в том?» И если я привожу здесь прекраснейшие тексты нравоучительного свойства, то лишь с целью наставить тебя, Турнеброш, и внушить приличествующее тебе тишайшее смирение, а вовсе не затем, чтобы обелить себя, хотя велик и тягостен груз беззаконий моих. Трудно человеку не впасть во грех, и не подобает ему предаваться отчаянию при каждом шаге нашем по этой земле, где все причастно в одно и то же время и первородному греху и искуплению через пролитую за нас кровь сына божьего. Не хочу преуменьшать своей вины, признаюсь, что поручение, которое я взялся выполнить по просьбе господина д'Анктиля, восходит к грехопадению Евы и являет собой, так сказать, лишь одно из бесчисленных его последствий

в отличие от чувства смирения и скорби, осенившего меня сейчас и почерпнутого в жажде и надежде вечного спасения. Постарайся представить себе род человеческий как бы на качелях, качающихся между проклятием и искуплением, и знай, что в эту минуту я нахожусь на благостном конце описываемой ими дуги, тогда как еще нынче утром я пребывал на противоположном ее конце. Итак, пробравшись тропинкой мандрагор как можно ближе к флигелю Мозаида, я спрятался за куст терновника и стал ждать, когда в окошке покажется Иахиль. В скором времени она и показалась, сын мой. Тогда я высунулся из кустов и сделал ей знак спуститься вниз. Решив, что бдительность ее престарелого стража усыплена, она, улучив минуту, прибежала ко мне за куст. Тут я шепотом поведал ей все наши ночные злоключения, о которых она еще не слыхала: я изложил намерения, которые возымел на ее счет наш пылкий дворянин, я указал, что в своих интересах, а также ради моего и твоего, Турнеброш, спасения она должна оставить родной кров и тем облегчить наше бегство. Я описал ей всю соблазнительность предложений господина д'Анктиля. «Если вы последуете за ним нынче вечером, — говорил я ей, — у вас будет приличный доход, должным образом обеспеченный, белье, более роскошное, чем у оперной дивы или пантемонской аббатисы, и прелестный серебряный сервиз». — «Он, видно, считает меня девкой, — возразила Иахиль, — и он наглец». — «Он в вас влюблен, — настаивал я. — Неужели вы предпочли бы, чтоб он вас уважал?» — «Мне требуется, — отрезала она, — похлебка, да пожирнее. Говорил он вам о похлебке? Пойдите, господин аббат, и скажите ему...» — «Что сказать ему?» — «Что я честная девушка». — «И еще что?» — «Что он нахал». — «И это все? Иахиль, подумайте о нашем спасении». — «Скажите ему, что я соглашусь уехать только при том условии, если он выложит на стол заемное письмо, составленное по всей форме и подписанное в вечер отъезда». — «Подпишет, подпишет! Считайте, что уже подписал». — «Нет, аббат, ничего не выйдет, если он не пообещает мне, что я буду брать уроки у господина Куперена^[162]. Я мечтаю учиться музыке».

Тут нас, по несчастью, заметил старый Мозайд, и хотя не мог расслышать наших слов, угадал их смысл. Ибо он тут же обозвал меня совратителем и стал обвинять во всех смертных грехах. Иахиль укрылась в своей спальне, и мне одному пришлось выдержать ураган гнева этого богоубийцы, и вот тогда-то я очутился в том состоянии, из коего вы меня извлекли, сын мой. По правде говоря, дело было закончено, соглашение заключено, бегство обеспечено. Колесам и чудищам Иезекииля не устоять перед горшком похлебки. Боюсь только, как бы этот старый Мардохей не засадил свою племянницу под замок.

— И в самом деле, — отозвался я, не в силах скрыть своей радости, — я слышал, как яростно скрипели замки и звенели ключи в тот самый миг, когда извлекал вас из гущи терний. Но неужели правда, что Иахиль столь скоропалительно приняла эти не совсем пристойные предложения, которые вам не так-то легко было ей передать. Я просто в смятении. Скажите мне, мой добрый наставник, не говорила ли она обо мне, не произнесла ли моего имени с печальным вздохом или хотя бы без оного?

— Нет, сын мой, — ответил г-н аббат Куаньяр, — не произнесла, во всяком случае я ничего такого не заметил. Не слышал я также, чтобы она шепнула имя господина д'Астарака, своего любовника, хотя оно могло бы прийти ей на память прежде вашего. Но не удивляйтесь, что Иахиль забыла своего алхимика. Еще недостаточно обладать женщиной, дабы оставить в ее душе глубокий и неизгладимый след. Души людские почти непроницаемы друг для друга, и здесь-то таится жестокая тщета любви. Мудрец скажет себе: «Я ничто в том ничто, каковым является все сущее. Надеяться оставить по себе память в сердце женщины — не то же ли самое, что желать оставить отпечаток перстня на глади бегущих вод? Так поостережемся же укореняться в преходящем и прилипимся душой к тому, что

нетленно».

— А все-таки, — ответил я, — Иахиль сидит под замком, и трудно усомниться в бдительности ее стража.

— Турнеброш, — возразил мой добрый учитель, — не далее как сегодня вечером она встретится с нами в «Красном коне». Ночная темь благоприятствует побегам, умыканиям, поспешным шагам и тайным планам. Положимся на хитроумие этой девицы. А ты, ты озаботься, когда начнет смеркаться, попасть на площадь Пастушек. Помни, что господин д'Анктиль нетерпелив, с него станется уехать без тебя.

Пока аббат давал мне последние наставления, прозвонил колокол, сзывавший к завтраку.

— Нет ли у тебя иголки с ниткой, — спросил аббат, — мои одежды порвались во многих местах, и я хотел бы, прежде чем выйти к столу, привести их двумя-тремя стежками в прежний, благопристойный вид. Особенно меня беспокоят панталоны. Они пришли в состояние такого упадка, что если я не поспешу к ним незамедлительно на помощь, боюсь, придется распрощаться с ними навеки.

* * *

Итак, заняв за столом кабалиста свое обычное место, я не мог отделаться от гнетущей мысли, что сижу здесь в последний раз. Измена Иахили погрузила мою душу в беспросветный мрак. «Увы, — думал я, — не было у меня другого столь пламенного желания, как бежать вместе с ней. И не было никакой надежды, что желание это может исполниться. Однако оно исполняется, но каким жестоким путем». И я еще раз подивился мудрости моего возлюбленного наставника, который, когда я однажды с излишним пылом пожелал успеха какому-то делу, ответил мне библейским речением: «Et tribuit eis petitionem eorum»^[163]. Горести и волнения лишили меня аппетита, и я едва притрагивался к пище. Зато мой добрый учитель сохранял неизменное обаяние ума.

Он вел, не умолкая, приятные речи, и всякий увидел бы в нем скорее одного из тех мудрецов, которые изображены в «Телемаке»^[164] беседующими в тиши Елисейских полей, нежели простого смертного, преследуемого за убийство и обреченного на жалкий удел скитальца. Г-н д'Астарак, полагая, что я провел ночь в харчевне, любезно расспрашивал меня о здоровье моих дражайших родителей и, одолеваемый вечными своими видениями, добавил под конец:

— Когда я называю владельца этой харчевни вашим батюшкой, я, само собой разумеется, говорю так, следуя законам света, а не закону природы. Ибо где доказательства, дитя мое, что вы не были зачаты сильфом? И я тем охотнее склонюсь к этому последнему выводу, чем быстрее ваши таланты, пока еще не окрепшие, приобретут силу и красоту.

— О сударь, воздержитесь, будьте любезны, от таких предположений, — с улыбкой возразил ему аббат, — а то он, чего доброго, станет таить от всех свой ум, боясь повредить честному имени родительницы. Знай вы ее лучше, вы согласились бы со мной, что никогда она не имела ни с одним сильфом никаких дел; эта примерная христианка состояла в плотском общении лишь со своим собственным мужем; добродетель запечатлена в чертах ее лица в отличие от супруги другого харчевника, некоей госпожи Коньян, молва о которой в

дни моей молодости разнеслась не только по Парижу, но и по провинции. Вы о ней ничего не слыхали, сударь? В любовниках у нее состоял некий господин Мариет, тот самый, что потом сделался секретарем господина д'Анжервилье. Толстяк Мариет после каждой встречи дарил своей милой на память какую-нибудь драгоценную вещь — то лотарингский крест или образок, то часы или цепочку для ключей. А там платок, веер, ларчик; ради ее прекрасных глаз он опустошал ювелирные и галантерейные ряды Сен-Жерменской ярмарки; так что в конце концов харчевник, видя, что его благоверная разукрашена на манер раки с мощами, заподозрил, что такое богатство заработано не совсем честным путем. Он начал следить за женой и в недолгом времени застал ее с любовником. А надо вам сказать, что супруг нашей харчевницы был гнусный ревнивец. Он рассвирепел, но ничего не выиграл, хуже того, проиграл. Он так надоел влюбленным своими вечными жалобами, что они решили от него отделаться. У господина Мариета всюду была рука. И он добился приказа об аресте злосчастного Коньяна. А тем временем коварная харчевница сказала мужу:

— Свезите меня в воскресенье за город пообедать. Я ожидаю от этой поездки немало удовольствия.

Просила она своего харчевника нежно и настойчиво. И он, польщенный, согласился исполнить ее желание. Когда наступило воскресенье, он уселся бок о бок с супругой в плохонькую коляску и велел везти их в Поршерон. Но едва только достигли они Руля, как с полдюжины стражников, выскочив на дорогу, схватили харчевника по приказу Мариета и привезли в Бисетр, откуда его отправили на Миссисипи, где он пребывает по сию пору. Об этом приключении сложили песенку, заканчивающуюся следующим припевом:

Муж, презри молву людскую, —
Что в ее змеином шипе?
Жить удобней в ус не дуя,
Чем любуясь Миссисипи.

Вот в этом-то четверостишии бесспорно и содержится вся соль морали, которую можно извлечь из случая с харчевником Коньяном. Что же до приключения как такового, то, будучи изложено Петронием или Апулеем, оно не уступило бы самым лучшим милетским басням. Нашим современникам далеко до древних на поприще эпоса и трагедии. Но если мы и уступаем грекам и римлянам в искусстве рассказа, то не ищите тут вины парижских красоток, они каждодневно дают своими хитроумными проделками и милыми шуточками богатую поживу для новеллиста. Вам, сударь, конечно, знаком сборник Боккаччо; я достаточно изучал его развлечения ради и берусь утверждать, что, живи этот флорентиец сейчас во Франции, он почерпнул бы в задаче Коньяна сюжет для самого своего забавного рассказа. Упоминаю же я эту историю сейчас за столом лишь для того, чтобы по закону контраста еще ярче засияли добродетели супруги господина Леонара Менетрие, каковая в той же мере является гордостью цеха парижских харчевников, в какой госпожа Коньян служит ему позором. Осмелюсь утверждать, что госпожа Менетрие ни разу не отступила от мелких и будничных добродетелей, рекомендованных для выполнения в браке, который один лишь среди всех семи таинств не заслуживает уважения.

— Не буду спорить, — отозвался г-н д'Астарак, — но вышеупомянутая госпожа Менетрие стяжала бы себе еще большее уважение, вступи она в связь с каким-нибудь

сильфом по примеру Семирамиды, Олимпиады^[165] или матери прославленного папы Сильвестра Второго.

— Эх, сударь, вот вы все время толкуете нам о сильфах и саламандрах, — заметил аббат Куаньяр. — Скажите положе руку на сердце: сами-то вы их когда-нибудь видели?

— Как вас вижу, — ответил г-н д'Астарак, — и даже еще на более близком расстоянии, если говорить о саламандрах.

— Этого еще, сударь, недостаточно для того, чтобы поверить в их существование, которое противоречит учению святой церкви, — возразил мой добрый учитель. — Ведь человек может быть прельщен иллюзией. Наши глаза и прочие органы чувств лишь проводники заблуждений и носители лжи. Они не столько научат, сколько проведут. Они являют нам лишь скоротечные и изменчивые образы. Истину же они уловить не способны, она невидима, как невидим и основополагающий ее принцип.

— Ах, я и не знал, что вы философ, да еще такой тонкий, — заметил г-н д'Астарак.

— Что верно, то верно, — ответил мой добрый наставник. — В иные дни моя душа теряет присущую ей легкость и влечется к ложу и трапезе. Но нынешней ночью я разбил бутылку о голову некоего мытаря, и все чувства мои чрезмерно взбудоражены этим приключением, — вот почему я ощущаю в себе достаточно силы, дабы разогнать преследующие вас видения и рассеять вредоносный туман. Ибо в конечном счете, сударь, все эти сильфы лишь только пары, туманящие ваш мозг.

Мягким движением руки г-н д'Астарак остановил моего наставника и промолвил:

— Прошу прощения, господин аббат, а веруете ли вы в демонов?

— На этот вопрос отвечу вам без промедления, — сказал мой добрый учитель, — верую в демонов, в таких, какими изображают их нам священные книги, и отрицаю, как обман и суеверие, веру в ворожбу, амулеты и заклинания. Блаженный Августин учит: когда Священное писание призывает человека бороться против демонов, оно подразумевает борьбу против наших страстей и наших необузданных вожделений; всяческого же презрения достойна та бесовщина, которой капуцины страшат простодушных женщин.

— Я вижу, — заметил г-н д'Астарак, — ваш образ мыслей свидетельствует о том, что вы достойный человек. Вы не меньше меня ненавидите все эти грубые поповские суеверия. Но ведь вы верите в демонов, в чем сами только что признались. Так помните же: нет иных демонов, кроме сильфов и саламандр. Однако робкие умы, послушные голосу невежества и страха, исказили их образ. В действительности духи эти прекрасны и исполнены добродетели. Не будучи, господин аббат, до конца уверен в чистоте ваших нравов, не решусь открыть вам пути, ведущие к саламандрам. Но отчего бы мне не ввести вас в круг сильфов, жителей воздушных пространств, которые охотно вступают в общение с людьми, выказывая при этом столько доброжелательства и симпатии, что их справедливо было бы величать духами споспешествующими. Они не только не приводят нас к гибели, как полагают богословы, для которых сильфы — те же дьяволы, но, напротив того, охраняют и берегут своих земных друзей от всех опасностей. Я мог бы привести сотни и сотни примеров, доказывающих, как неоценимо велика их помощь. Но, коль скоро во всем нужна мера, позволю себе сослаться на рассказ, услышанный мною из уст супруги маршала де Грансе. Живя во вдовстве уже много лет, эта пожилая дама мирно почивала как-то ночью, когда к ней в постель проник сильф и сказал: «Сударыня, прикажите своим людям порыться в носильном платье покойного вашего супруга. В кармане его панталон лежит письмо, которое при разглашении погубит моего и вашего доброго друга господина де Роша. Велите передать это письмо вам и тут же сожгите его».

Супруга маршала пообещала исполнить благой совет и спросила сильфа, как чувствует

себя покойный маршал, однако тот, не ответив ни слова, исчез. Проснувшись поутру, госпожа де Грансе призвала служанок и приказала им проверить, не осталось ли в гардеробе усопшего маршала его носильных вещей. Служанки ей ответили, что не осталось ни одной и что лакеи всё скопом продали старьевщику. Но хозяйка велела продолжать розыски до тех пор, пока не будет обнаружена хоть одна пара панталон.

Перерыв все закоулки, служанки нашли пару ветхих панталон из черной тафты, со шнуровкой по старинной моде, и принесли их хозяйке. Та, сунув руку в карман, вынула письмо, распечатала его и убедилась, что написанного там более чем достаточно, чтобы господин де Рош тут же угодил в королевскую тюрьму. Она поторопилась бросить письмо в огонь. Таким образом, дворянин был спасен благодаря двум своим друзьям: супруге маршала и сильфу.

Скажите на милость, господин аббат, в характере ли дьявола подобный поступок? Однако сейчас я приведу еще один случай, который бесспорно не оставит вас равнодушным и, уверен, тронет ваше сердце, сердце человека ученого. Вам, конечно, ведомо, что Дижонская академия собрала в своих стенах множество блестящих умов. Один из ее членов, имя которого вы безусловно слышали, живший в минувшем веке, в неусыпных трудах готовил к изданию сочинения Пиндара^[166]. Как-то безуспешно просидев всю ночь над пятью стихами, до смысла коих он не мог добраться, так как текст был изрядно искажен, он отчаялся и лег в постель, когда уже запели петухи. Во время сна сильф, благорасположенный к нашему ученому, перенес его в Стокгольм, ввел во дворец королевы Христины, проводил в библиотеку и, достав с полки рукопись Пиндара, раскрыл ее как раз на непонятном месте. В эти пять стихов были внесены два-три исправления, что делало их смысл совершенно понятным.

Не помня себя от радости, наш ученый проснулся, высек огонь и тут же записал карандашом стихи в том виде, в каком они запечатлелись в его памяти. Наутро, поразмыслив о ночном приключении, он решил выяснить обстоятельства дела. В ту пору господин Декарт гостил у шведской королевы и посвящал ее в свою философию. Наш пиндарист был с ним знаком; однако настоящая дружба связывала его с господином Шаню, послом шведского короля во Франции. Через его посредство и было переслано господину Декарту письмо с просьбой сообщить, находится ли в королевской библиотеке в Стокгольме рукопись Пиндара и есть ли в ней такой-то вариант. Господин Декарт, известный своей редкостной учтивостью, ответил дижонскому академику, что ее величество действительно владеет упомянутым манускриптом и что он, Декарт, сам прочел там стихи Пиндара в том варианте, какой содержится в письме.

В продолжение всего рассказа г-н д'Астарак усердно чистил яблоко, но тут взглянул на аббата Куаньяра, желая полнее насладиться успехом своей истории.

Мой добрый учитель улыбнулся.

— Ах, сударь, зря тешил я себя ложной надеждой, — промолвил он, — вы, как вижу, не склонны отказаться от своих химер. Готов признать, что описанный вами сильф обладает незаурядной сметливостью, и я сам был бы не прочь заполучить столь любезного секретаря. Поистине неоценимы оказались бы его услуги при расшифровке двух-трех мест из Зосимы Панополитанского, смысл которых крайне темен. Не могли бы вы указать мне способ вызвать при случае какого-нибудь сильфа-книгочия, столь же смышленного, как дижонский его брат?

Господин д'Астарак торжественно ответил:

— Охотно поверю вам свою тайну, господин аббат. Но предваряю вас: если вы неосторожно откроете ее профанам, ваша гибель неизбежна.

— Не беспокойтесь на сей счёт, — ответил аббат. — Мне не терпится узнать столь великолепную тайну, хотя, если быть откровенным, я не жду от нее особого прока, ибо не верю в ваших сильфов. Будьте столь любезны, просветите меня.

— Вы настаиваете? — переспросил кабалист. — Так знайте же: если вам нужна помощь сильфа, произнесите одно только слово «Агла». И тут же сыны воздуха слетятся к вам; однако вы понимаете, сударь, что слово это должно быть произнесено не только устами, но и сердцем и что одна лишь вера может сообщить ему чудодейственную силу. Без веры оно лишь звук пустой. А так как я только что произнес это слово, не вложив в него ни души, ни желания, то даже в моих устах оно сейчас почти не обладает силой, и разве только несколько детей света, услышав мой зов, промелькнули по комнате лучезарной и легчайшей тенью. Я сам не так увидел, как угадал их появление за этим занавесом, и, едва приняв зримые очертания, они тут же исчезли. Ни вы, ни ваш ученик не заподозрили даже их присутствия. Но произнеси я это магическое слово с истинной верой, вы оба увидели бы их во всем их несказанном блеске. Они прелестны собой, более того, прекрасны! Я открыл вам, господин аббат, великую и полезную тайну, прошу еще раз, не разглашайте же ее неосмотрительно. И помните, что случилось с аббатом Вилларом^[167], который, выдав тайну сильфов, был убит ими на Лионской дороге.

— На Лионской дороге, — пробормотал мой добрый учитель. — Воистину странное совпадение.

Господин д'Астарак внезапно исчез из комнаты. — Пойду подымусь в последний раз в царственную библиотеку, — сказал аббат, — вкушу на прощание возвышенных наслаждений. Не забудьте же, Турнеброш, к закату вам следует быть на площади Пастушек.

Я пообещал не забыть об этом; а пока я возымел намерение удалиться в свою комнату и там в одиночестве написать письма г-ну д'Астараку и добрым моим родителям, дабы вымолить у них прощение за то, что, даже не сказав последнего прости, вынужден скрыться после некоего приключения, которое — не столько моя вина, сколько моя беда.

Но еще на лестнице я услышал храп, доносившийся из моей комнаты, и, приоткрыв дверь, увидел г-на д'Анктиля спящим на собственной моей кровати, к изголовью которой была прислонена шпага, а по одеялу рассыпана колода карт. Меня так и подмывало проткнуть дворянина его же шпагой, но эта мысль лишь промелькнула в моем мозгу, и я оставил гостя поживать с миром, ибо, как ни велика была моя печаль, я не мог без смеха думать о том, что Иахиль сидит в своем флигельке под тремя запорами и не свидится с ним.

Собираясь написать письма, я вошел в спальню доброго моего наставника, вспугнув своим появлением пяток крыс, которые усердно грызли томик Боэция, лежавший на ночном столике. Я написал г-ну д'Астараку и матушке, а также составил трогательнейшее послание к Иахили. Перечитав его, я оросил исписанные листки слезами. «Быть может, — твердил я про себя, — изменница тоже уронит слезинку на эти строки».

Затем, сморенный усталостью и грустью, я бросился на тюфяк, служивший ложем доброму моему наставнику, и сразу же впал в забытие, смущаемый видениями в равной мере сладострастными и мрачными. Из состояния дремоты меня вывел наш вечный молчальник Критон; он вошел в спальню и протянул мне на серебряном подносе пеструю бумажку, на которой чья-то неумелая рука нацарапала карандашом несколько слов. Некто поджидал меня у ворот по самонужнейшему делу. Под запиской стояла подпись: «Брат Ангел, недостойный капуцин». Я бросился к зеленой калитке и увидел у придорожной канавы брата Ангела, который сидел пригорюнившись. У него даже не хватило сил подняться мне навстречу, и он обратил ко мне взгляд своих больших собачьих глаз, исполненных теперь почти человеческой грусти и увлажненных слезами. От тяжелых вздохов ходуном ходила его борода, веером

прикрывавшая грудь. Он заговорил, и звуки его голоса наполнили меня тревогой.

— Увы, господин Жак, настал для Вавилона предсказанный пророками час испытаний. По жалобе, принесенной господином де ла Геритодом начальнику полиции, судейские препроводили мамзель Катрину в Убежище, откуда ее с ближайшей партией отправят в Америку. Эту новость мне сообщила Жаннета-арфистка, которая видела, как Катрину ввезли на повозке в Убежище в ту самую минуту, когда сама Жаннета, наконец, выходила оттуда после того, как искусные врачи излечили ее от некоей болезни, если была на то воля божья. А Катрине, той не миновать высылки на острова.

Дойдя до этого места своего рассказа, брат Ангел разразился неудержимыми рыданиями. Я попытался унять его слезы ласковыми словами и осведомился, нет ли у него для меня еще новостей.

— Увы, господин Жак, — ответил он, — я сообщил вам самое главное, а все прочее витает у меня в голове, простите за сравнение, как дух божий над водами. Там один лишь хаос и мрак. Все мои чувства пришли в замешательство от горя, обрушившегося на Катрину. Однако, видно, должен я был сообщить вам нечто важное, коли отважился приблизиться к сему проклятому жилищу, где обитаете вы в обществе демонов и дьяволов; ужасаясь душой, прочитав молитву святого Франциска, я взялся за молоток и постучал, чтобы вручить вам через слугу записку. Не знаю, удалось ли вам ее разобрать, ведь я не силен в грамоте. Да и бумага мало подходила для письма, но к вящей славе нашего святого ордена мы умеем пренебрегать мирской суетой. Ах, Катрина в Убежище! Катрина в Америке! Самое жестокое сердце дрогнет! Жаннета и та проплакала себе все глаза, а ведь она всегда завидовала Катрине, которая затмевала ее красотой и молодостью в такой же мере, в какой святой Франциск затмевает своей святостью всех прочих угодников божьих. Ах, господин Жак! Катрина в Америке, вот до чего неисповедимы пути провидения. Увы! Коль скоро Катрину забрали в Убежище, значит истинна наша святая вера и прав царь Давид, сказавший, что все мы, человеки, подобны траве полевой. Даже эти камни, на которых я сижу, и те счастливее меня, хоть я христианин и даже лицо духовное. Катрина в Убежище!

Он снова залился слезами. Переждав, пока иссякнет поток его скорби, я спросил братца Ангела, не наказывали ли мои дражайшие родители передать мне чего-либо.

— Они-то как раз и послали меня к вам, господин Жак, с важным делом, — ответил он. — Должен сообщить вам, что по вине мэтра Леонара, вашего батюшки, который проводит каждый божий день в попойках и карточной игре, нет больше счастья в их доме. И сладостный аромат жареных гусей и пулярок не подымается ныне, как подымался, бывало, к вывеске «Королевы Гусиные Лапы», чье изображение невозбранно раскачивает ветер и поедает ржа. Где то блаженное время, когда харчевня вашего батюшки благоухала на всю улицу святого Иакова от «Малютки Бахуса» до «Трех девственниц»? С той поры, как туда ступила нога этого чародея, навлекшего беду на ваш дом, все там чахнет — и звери и люди. И свершается уже небесное отмщение там, где еще недавно привечали толстяка, аббата Куаньяра, меня же прогнали прочь. Корень зла тут в самом Куаньяре, в том, что он возгордился своей ученостью и изяществом своих манер. А ведь гордыня — она-то и есть источник всех бед. Ваша матушка, эта святая женщина, совершила большую ошибку, господин Жак, не удовольствовавшись теми уроками, которые я вам христоролюбиво давал, что, без сомнения, приуготовило бы вас к подобающей деятельности — распоряжаться кухней, действовать шпиговальной иглой и носить знамя парижских харчевников после христианской кончины, отпевания и погребения вашего батюшки, что уже не за горами, ибо жизнь человеческая преходяща, а он к тому же пьет, не зная меры.

Нетрудно догадаться, что, услышав эти слова, я впал в глубокое уныние. Я смешал свои

слезы со слезами капучина. Все же я спросил его, как поживает моя добрая матушка.

— Господь бог, который счел нужным ввергнуть в печаль Рахиль из Рамы, ниспослал вашей матушке, господин Жак, многие тревобления ради ее же блага и с целью покарать мэтра Леонара за его грех, грех изгнания из своей харчевни меня, а в моем лице — самого Иисуса Христа. Теперь господь наш всевышний направляет стопы жаждущих приобрести жареную дичь и паштеты в другой конец улицы святого Иакова, туда, где вращает вертел дочь госпожи Коньян. Достойная ваша матушка с болью сердечной видит, что всевышний благословил дом сей в ущерб вашему, который пришел ныне в такой упадок, что уже замшели каменные ступени крыльца. В ниспосланных вашей матушке испытаниях её в первую очередь поддерживает вера в святого Франциска, а затем мысль о вашем преуспевании в свете, где вы появляетесь со шпагой на боку, словно прирожденный дворянин.

Однако второе это утешение изрядно померкло, когда нынче утром за вами в харчевню явилась городская стража с целью отвести вас в Бисетр, где бы вам не миновать годик-другой известь мешать. Это Катрина выдала вас господину де ла Геритоду; но не следует порицать ее: будучи христианкой, она, как то и положено, не утаила истины. Она указала не только на вас, но и на господина аббата Куаньяра, как на сообщников господина д'Анктиля, и в точности описала убийства и резню, имевшие место в ту ужасную ночь. Увы! Искренность не сослужила ей службы! Катрину препроводили в Убежище! Страшно и думать о подобных вещах.

Дойдя до этого места рассказа, братец схватился руками за голову и снова залился слезами.

Спускалась ночь. Я боялся опоздать к месту свидания, назначенному мне аббатом. Оттащив братца Ангела подальше от придорожной канавы, куда он рухнул под бременем горя, я поставил его на ноги и стал молить продолжать свой рассказ, пока мы с ним вместе пойдем по Сен-Жерменской дороге к площади Пастушек. Он безропотно согласился и печально поплелся рядом, говоря, что без моей помощи ему ни за что не распутать клубка помутившихся мыслей. Я вернул братца к тому месту его истории, когда за мной в харчевню явились стражники.

— Не обнаружив вас, — продолжал братец, — они хотели было увести вашего батюшку. Мэтр Леонар уверял, что ему ничего не известно о вашем местопребывании. Достойная ваша матушка твердила то же и клялась всеми святыми, что знать ничего не знает. Да простит ей бог, господин Жак, ибо клялась она ложно. Стражники начали сердиться. Ваш папаша сумел их успокоить, пригласив выпить с ним, после чего они расстались добрыми друзьями. Тем временем ваша матушка отправилась к «Трем девственницам», где я согласно правилам нашего святого ордена собирал милостыню. Боясь, что начальник полиции с часу на час может все обнаружить, она отрядила меня сюда, чтобы я уговорил вас бежать без промедления.

Услышав эти печальные вести, я невольно ускорил шаги, и мы пересекли мост Нельи.

Добравшись до вершины крутого откоса, который ведет к площади Пастушек и откуда уже виднелись высокие вязы, росшие вокруг нее, брат Ангел вдруг произнес слабеющим голосом:

— Достойная ваша матушка особо наказывала мне предупредить вас о грозной опасности и вручила для передачи вам мешочек, который я и спрятал под рясу. Но я никак его не найду, — добавил братец, ощупывая себя со всех сторон. — Да и как могу я, судите сами, найти хоть что-нибудь, потеряв Катрину? Она была предана святому Франциску и щедро раздавала милостыню. А они обращаются с ней, как с уличной девкой, они обреют ей голову, и ужас берет при мысли, что Катрина будет похожа на манекен шляпницы и в таком-то виде

ее отправят в Америку, где она умрет от лихорадки или ее пожрут дикари-людоеды.

Под его бесконечный рассказ, прерываемый вздохами, мы добрались, наконец, до площади Пастушек. Налево от нас над аллею молодых вязов возносила свою шиферную крышу и слуховые окна гостиница «Красный конь», и сквозь листву виднелись распахнутые настежь ворота каретного сарая.

Я замедлил шаги, а брат Ангел без сил рухнул у подножья вяза.

— Брат Ангел, — сказал я, — вы говорили что-то о мешочке, который добрая моя матушка просила мне передать.

— Просила, и в самом деле просила, — отозвался братец Ангел, — и я так надежно схоронил этот мешочек, что ума не приложу, где он; но если я его и потерял, господин Жак, то лишь из-за чрезмерной заботы о его сохранности.

Я горячо уверял капуцина, что он никоим образом не мог потерять мешочка и, если он его немедленно не отыщет, я сам помогу ему в поисках.

Слова мои и тон, которым они были произнесены, должно быть, проняли брата Ангела, ибо он с тяжким вздохом отвернул полу рясы и, достав маленький миткалевый мешочек, не без сожаления протянул его мне. В мешочке я обнаружил монету в шесть ливров и иконку черной Шартрской богородицы, которую я облобызал, оросив слезами умиления и раскаяния. Тем временем братец Ангел стал извлекать из своих многочисленных карманов пачки раскрашенных иконок и кипы листков с молитвами, украшенными аляповатыми заставками. Он выбрал и вручил мне две или три наиболее пригодные, по его мнению, при сложившихся обстоятельствах для меня, как странствующего и путешествующего.

— Они освященные, — пояснил братец Ангел, — и отвращают угрозу смерти или недуг при изустном чтении, равно как через прикосновение или наложение на тело. Дарю же вам их, господин Жак, из любви к господу нашему. Не забудьте и вы меня своею милостью. Помните, что прошу я подаяние во имя присноблаженного Франциска. И он не оставит вас, если вы поддержите не достойнейшего его сына, каков как раз я и есмь.

Пока братец Ангел разглагольствовал таким образом, я заметил, как в бледном свете умирающего дня из дверей конюшни «Красного коня» четверка лошадей вынесла берлину, которая остановилась, оглушив нас щелканьем кнута и громким лошадиным ржанием, возле того самого вяза, где сидел капуцин. Затем я разглядел, что это вовсе не берлина, а огромная четырехместная карета с маленьким закрытым отделением позади козел. Минуту, а то и две я молча смотрел на экипаж, когда вдруг увидел, что по откосу подымается г-н д'Анктиль с Иахилью в кокетливом чепчике, неся под полой свертки, а вслед за ними шагает аббат Куаньяр, нагруженный связкой книг, завернутых в рукопись старой диссертации. При их появлении кучера спустили обе подножки, и моя прелестная возлюбленная, подобрав стоявшие колом юбки, с помощью д'Анктиля юркнула в переднее отделение.

При виде этого зрелища я устремился вперед и закричал:

— Остановитесь, Иахиль! Остановитесь, сударь!

Но в ответ на мой вопль коварный соблазнитель только еще сильнее подтолкнул изменницу, чьи прелестные округлости тут же и исчезли в полумраке кареты. Потом, поставив сапог на подножку экипажа и готовясь последовать за своей милой, он с удивлением оглядел меня с ног до головы:

— Ах, это вы, господин Турнеброш! Вы, видно, решили отбивать у меня всех любовниц подряд! Сначала Катрину, теперь Иахиль! Должно быть, просто об заклад с кем-нибудь побились!

Но я не слышал его слов, я продолжал звать к Иахили, а братец Ангел тем временем, восстав из-под вяза, вырос перед дверцей кареты и стал предлагать г-ну д'Анктилю образок

св. Роха, молитву, помогающую при ковке лошадей, молитву против горячки и жалобно клянчил милостыню.

Так бы я и простоял всю ночь, призывая Иахиль, если бы мой добрый учитель не увлек меня за собой и не втолкнул в карету, куда вошел следом сам.

— Пусть они едут в маленьком отделении, — сказал он, — а мы зайдем вдвоем всю карету. Я тебя долго искал, Турнеброш, и нигде не обнаружил; не скрою, мы уже собирались уезжать, но тут я заметил вас под вязом. Мы не могли больше мешкать, ибо господин де ля Геритод разыскивает нас повсюду. А у него длинные руки — недаром он ссужает деньгами самого короля.

Карета уже катила вдоль дороги, и братец Ангел, уцепившись за ее дверцу, бежал вровень с лошадьми, протягивая за подаванием руку.

Я без сил откинулся на подушки.

— Увы, сударь, — вскричал я, — вы же сами говорили, что Иахиль сидит взаперти под тремя засовами.

— Сын мой, — ответил добрый мой наставник, — не следует чрезмерно доверяться крепости замков, ибо женщине ни по чем ни ревнивцы, ни засовы ревнивцев. Закройте дверь, она выскользнет в окно. Ты, Турнеброш, дитя мое, и представить себе не можешь всей меры женского лукавства. Древние писатели приводят десятки самых удивительных примеров, и ты немало обнаружишь их в «Метаморфозах» Апулея, где они рассыпаны щедро, как соль. Но лучше всего постигаешь силу женского коварства при чтении арабской сказки, с которой господин Галан^[168] недавно ознакомил Европу и которую я тебе сейчас расскажу.

Шахриар, султан Татарии, и брат его, Шахзенан, прогуливались как-то по берегу моря и вдруг увидели, что над волнами поднялся черный столб, двигавшийся в сторону суши. Братья узнали некоего Духа в обличье великана, свирепейшего среди всех прочих духов; он нес на голове стеклянный сундук, запертый на четыре железных замка. При виде великана братьев охватил страх, и они, не мешкая, вскарабкались на дерево, росшее поблизости, и притаились на развилине сука. Дух тем временем вышел на берег со своим сундуком, а затем скинул поклажу под то самое дерево, где нашли себе убежище оба принца. После чего он растянулся на земле и тут же захрапел. Ноги его упирались в море, от мощного дыхания ходуном ходили земля и небо. Пока он почивал, нагоняя страх на все живое, крышка сундука поднялась, и оттуда вышла госпожа величественной осанки и несказанной красы. Она подняла голову...

Тут я прервал рассказ, который, признаюсь, почти не слушал.

— Ах, сударь, — воскликнул я, — о чем, по-вашему, беседуют сейчас Иахиль и господин д'Анктиль, запершись в своем отделении?

— Не знаю, — отвечал мой добрый наставник, — это уж их дело, а не наше. Но слушай дальше арабскую сказку, она полна глубокого смысла. Ты, Турнеброш, необдуманно прервал меня на том месте, когда эта госпожа, подняв голову, заметила притаившихся на дереве принцев. Она сделала им знак спуститься и, увидев, что они колеблются между желанием ответить на призыв столь очаровательной особы и боязнью перед великаном, сказала им негромко, но выразительно: «Спускайтесь немедленно, или я разбужу Духа!» По повелительному тону красавицы и по ее решительному виду братья поняли, что это не пустая угроза и что не только приятнее, но и благоразумнее спуститься на землю, что они и сделали со всевозможными предосторожностями, боясь разбудить спящего Духа. Когда они очутились на земле, госпожа взяла их за руки и, отойдя чуть подальше под купу деревьев, дала им понять, и весьма недвусмысленно, что она не прочь тут же отдаться и тому и другому. Братья с превеликой охотой пошли навстречу ее капризу, и так как оба были истые храбрецы, страх

не испортил им удовольствия. Получив от них желаемое, госпожа, заметив, что на указательном пальце каждого из братьев красуется перстень, попросила подарить ей оба перстня. Потом подошла к сундуку, служившему ей жилищем, извлекла оттуда длинную связку перстней и показала ее нашим принцам.

— Знаете ли вы, что означают эти четки? — спросила она. — Тут нанизаны перстни всех мужчин, к которым я была столь же благосклонна, как и к вам. Здесь девяносто восемь перстней, да, да, девяносто восемь, и я храню их в память бывших владельцев. И у вас я попросила перстни по той же причине и еще потому, что мне хотелось довести их число до сотни. Итак, — продолжала она, — с того самого дня, когда этот противный Дух запер меня в сундук, у меня вопреки его бдительной охране было сто любовников. Пусть запирает меня в этот стеклянный ящик, пусть держит меня на дне морском, я все равно буду ему изменять столько, сколько мне заблагорассудится.

— Эта забавная притча, — добавил добрый мой наставник, — учит нас, что женщины на Востоке, где их держат взаперти, столь же коварны, как и наши с вами соотечественницы, которые пользуются свободой. Если уж женщина вобьет себе что-нибудь в голову, нет такого мужа, любовника, отца, дяди, опекуна, который мог бы ей помешать. Посему, сын мой, не удивляйся легкости, с какой Иахиль провела своего старого Мардохея; ведь только изощренная в пороках красавица может сочетать в себе ловкость наших распутниц с чисто восточным вероломством. Подозреваю, сын мой, что она так же охоча до наслаждений, как падка на золото и серебро, и потому она достойная дочь племени Олиба и Аолиба.

Красота ее дразнит и манит, и даже я сам не остался нечувствительным к прелестям Иахили, хотя возраст, возвышенные размышления и горести жизни, исполненной тревог, изрядно притупили во мне охоту к плотским наслаждениям. Видя, как огорчают тебя успешные домогательства господина д'Анктиля, я разумею, сын мой, что ты куда чувствительнее меня уязвлен жалом страсти и раздираем ревностью. Вот потому ты и порицаешь ее, не спорю, не совсем пристойный и противоречащий обычной морали поступок, но безразличный сам по себе и во всяком случае ни на йоту не утяжеляющий бремя всемирного зла. В душе ты обвиняешь меня как соучастника и полагаешь, что стоишь на страже нравов, тогда как на самом деле следуешь только голосу собственных страстей. Вот так-то, сын мой, человек обеляет в собственных глазах самые низменные свои побуждения. Таково и только таково происхождение человеческой морали. Но признай же, что оставлять такую красоту во власти старого лунатика было бы просто обидно. Согласись, что господин д'Анктиль молод и хорош собою и, стало быть, больше подходит к этой любезной особе, а главное, смиришься с тем, чему помешать не в силах. Трудно принять подобную мудрость и, конечно, еще труднее было бы примириться с ней, если бы у тебя похитили любовницу. Поверь мне, железные зубы рвали бы тогда твою утробу и в воображении вставляли бы ненавистные и, увы, слишком ясные картины. Пусть это соображение умягчит твою теперешнюю боль, сын мой. К тому же жизнь вообще полна трудов и мук. В этом-то и черпаем мы надежду на вечное блаженство.

Так говорил мой добрый учитель, а вязы, росшие по обе стороны королевской дороги, рядами убегали назад за окном кареты. Я поостерегся сказать аббату, что он лишь усугубляет мою печаль, желая ее утишить, и что, неведомо для себя, вкладывает персты в мою рану.

Наш первый привал состоялся в Жювизи, куда мы прибыли под утро в дождь. Войдя в залу почтовой станции, я заметил Иахиль, сидящую у камина, где жарилось на вертелах с полдюжины цыплят. Чуть приоткрыв шелковые чулочки, она грела ноги, увидев которые я впал в неопишное смятение, потому что тут же на мысль мне пришла вся ножка с ее родинками, пушком и прочими выразительными подробностями. Г-н д'Анктиль стоял,

облокотившись о спинку ее стула и подперев подбородок ладонью. Он называл ее своей душенькой, своей жизнью, спрашивал, не голодна ли она, и так как Иахиль сказала, что голодна, вышел из залы, чтобы отдать распоряжения. Оставшись наедине с неверной, я взглянул ей прямо в глаза, где играли блики пламени.

— Ах, Иахиль, — вскричал я, — я так несчастлив, вы изменили мне, вы не любите меня больше.

— Кто вам сказал, что я вас больше не люблю? — ответила она, обратив ко мне свой бархатный и пламенный взгляд.

— Увы, мадемуазель, это явствует из вашего поведения.

— Оставьте, Жак, неужели вы ревнуете меня к приданому голландского полотна и серебряному сервизу, которые обещал мне подарить этот дворянин? Одного прошу у вас — будьте скромнее до того времени, пока он не сдержит своего слова, и вы увидите, что я не переменялась к вам после бегства из Саблонского замка.

— Увы, Иахиль, пока я стану ждать, мой соперник будет срывать цветы удовольствия.

— Чувствую, — ответила она, — что этих цветов окажется не так уж много и ничто не изгладит вас из моей памяти. Не мучьтесь же по пустякам, им придает значение лишь сила вашей фантазии.

— О, — воскликнул я, — фантазия моя разыгралась сверх меры, и боюсь, я не переживу вашего вероломства.

Подняв на меня дружелюбно-насмешливый взгляд, Иахиль сказала:

— Поверьте мне, друг мой, от этого мы с вами не умрем. Поймите, Жак, нужны же мне белье и посуда. Будьте благоразумны, ничем не выдавайте обуревающих вас чувств, и обещаю вам, со временем я сумею вознаградить вашу скромность.

Эта надежда умерила мою жгучую печаль. Хозяйка гостиницы постелила на стол скатерть, благоухающую лавандой, поставила оловянные тарелки, чарки и кувшины. Я изрядно проголодался, и когда г-н д'Анктиль, вошедший в залу вместе с аббатом, пригласил нас к столу, я охотно занял место между Иахилью и добрым моим наставником. Боясь погони, мы наскоро уничтожили три омлета и двух цыплят. Перед лицом грозившей нам опасности решено было без передышки ехать вплоть до Санса, где мы располагали остановиться на ночлег.

Ужасным видением предстала передо мной эта ночь, когда Иахили суждено было совершить свою измену. И это вполне справедливое предчувствие до того томило меня, что я рассеяннo внимал речам доброго моего наставника, которому ничтожнейшие сами по себе дорожные приключения внушали самые возвышенные мысли.

Страхам моим суждено было оправдаться. По прибытии в Санс мы едва успели отужинать в жалкой харчевне под вывеской «Воин в доспехах», как г-н д'Анктиль увел Иахиль в свою комнату, расположенную рядом с моей. Я провел бессонную ночь. Поднявшись на заре, я поспешил покинуть опостылевшую мне горницу, вышел во двор и, уныло присев у ворот каретного сарая, стал глядеть, как суется кучера, попивая белое вино и заигрывая со служанками. Так провел я два, а может, и три часа в горестных раздумьях о своих невзгодах. Когда нашу карету уже заложили, в воротах появилась Иахиль; она зябко куталась в черную накидку. Не в силах видеть изменницы, я отвратил от нее взор. Но она подошла ко мне, опустилась возле меня на тумбу и нежно попросила меня не грустить, ибо, сказала она, то, что представляется мне столь ужасным, на деле — сущие пустяки, что надобно быть благоразумным, что такой умный человек, как я, не может требовать, чтобы женщина принадлежала только ему одному, иначе пришлось бы довольствоваться дурехой-женой, да к тому же уродливой; да и такую еще не так-то просто

найти.

— Пора вас покинуть, — добавила она. — Я слышу шаги господина д'Анктиля, он спускается с лестницы.

И она слила свои уста с моими в долгом поцелуе и длила это лобзание, которому страх придавал неистовое упоение, так как уж совсем рядом под сапогами ее любовника скрипели деревянные ступени; целуя меня, Иахиль дерзко ставила на карту свое голландское полотно и свою серебряную посуду для жирной похлебки.

Кучер спустил было подножку переднего отделения, но г-н д'Анктиль обратился к Иахили с вопросом, не будет ли ей приятнее продолжать путешествие вместе с нами в карете, и я расценил это как первый знак их только что установившейся близости и решил также, что, удовлетворив свои желания, он уже не так жаждет путешествовать с глазу на глаз со своей милой. Мой добрый учитель озабочился прихватить из погреба харчевни «Воин в доспехах» пять-шесть бутылок белого вина, которые он и припрятал под сидением, — благодаря чему мы могли скрасить дорожную скуку.

В полдень мы прибыли в Жуаньи, оказавшийся довольно живописным городком. Предвидя, что мои средства иссякнут еще до конца пути, и будучи не в силах примириться с мыслью, что оплачивать все расходы придется за меня г-ну д'Анктилю, на что я мог согласиться лишь в случае последней крайности, я задумал продать перстень и медальон, подарок моей матушки, и пустился по улицам Жуаньи на поиски ювелира. Наконец на главной площади напротив собора я и обнаружил искомое — лавку золотых дел мастера, торговавшего цепочками и крестами под вывеской «Будьте благонадежны!». Легко представить себе мое изумление, когда перед прилавком я увидел доброго моего наставника, осторожно извлекавшего из бумажного фунтика бриллианты, — их было счетом пять или шесть, и я без труда признал те самые розочки, которыми хвастался перед нами г-н д'Астарах; передавая их владельцу лавки, аббат попросил назначить цену.

Хозяин внимательно осмотрел камешки и взглянул на аббата поверх очков.

— Сударь, — начал он, — будь это бриллианты настоящие, им бы цены не было. Но они поддельные, и, чтобы убедиться в этом, нет нужды даже прибегать к помощи пробного камня. Это — просто стеклянные бусинки, которыми впору играть детям, если, конечно, вы не пожелаете вправить бриллиантики в венец богоматери какого-нибудь сельского храма, где они непременно произведут должное впечатление.

Услышав такой ответ, г-н Куаньяр собрал свои камешки и повернулся к ювелиру спиной. Тут только он заметил меня, и мне показалось, что он смущен нашей встречей. Быстро закончив сделку, я вышел вместе с добрым моим учителем из лавки и тут же убедительно доказал ему, какой опасности мог он подвергнуть своих спутников и самого себя, присвоив бриллианты, если бы, на его беду, они оказались не поддельными.

— Сын мой, — ответил аббат, — дабы уберечь меня в состоянии невинности, господь бог возжелал, чтобы они были лишь видимостью и лжеобольщением. Признаюсь, что, присвоив их, я был неправ. Вы свидетель моего раскаяния, и эту страницу мне хотелось бы вырвать из книги моей жизни, где, откровенно говоря, попадают листки не такие уж чистые и, увы, запятнанные. Поверьте, я сам сознаю, что такое поведение предосудительно. Но не следует человеку, впавшему в грех, излишне предаваться самоуничижению; вот она, подходящая минута, чтобы напомнить себе речения прославленного ученостью мужа: «Поразмыслите, сколь немощен дух ваш, что подтверждается при самых ничтожных испытаниях; и все же ниспосланы они ради спасения души вашей. Гибель не в самих соблазнах и даже не в том, что вы поддадитесь им. Человек еси, а не господь бог; ты из плоти, а не ангел бесплотный. Как же можешь ты вечно пребывать в неизменном состоянии

добродетели, коль скоро стойкости не хватало самим ангелам небесным и первому обитателю рая?» Итак, Турнеброш, сын мой, лишь такие возвышенные мысли и монологи приличествуют теперешнему состоянию моей души. Но не пора ли, после этого злосчастного шага, о котором не стану больше распространяться, воротиться на постоянный двор и распить с кучерами, людьми непритязательными и простыми, бутылочку-другую местного вина?

Я присоединился к мнению аббата, и мы отправились на постоянный двор, где повстречали г-на д'Анктиля, который подобно нам тоже успел пройтись по городу и приобрести колоду карт. Он тут же уселся играть в пикет с добрым моим наставником, и когда мы тронулись в путь, они и в карете продолжали игру. Азарт, охвативший моего соперника, дал мне случай свободно побеседовать с Иахилью, да и она, чувствуя себя покинутой, охотно мне отвечала. В этих беседах черпал я горькую усладу. Упрекая Иахиль за ее вероломство и неверность, я изливал свою печаль то в сдержанных, то в яростных жалобах.

— Увы, Иахиль, — говорил я, — вспоминая и представляя себе наши ласки, еще недавно радовавшие меня превыше всего, я испытываю жесточайшую муку при мысли, что сейчас вы такая же с другим, какой некогда были со мною...

На что Иахиль возражала:

— Женщина с каждым бывает иной.

Но когда я с излишней настойчивостью продолжал свои нарекания и попреки, она говорила:

— Не спорю, я огорчила вас. Но это еще не причина для того, чтобы казнить меня по двадцать раз на дню своими бессмысленными стенаниями.

После проигрыша г-н д'Анктиль обычно приходил в дурное расположение духа. По всякому поводу он стал дерзить Иахили, которая, не отличаясь терпением, грозила, что напишет дяде Мозаиду и попросит взять ее домой. Если первая ссора пробудила во мне проблеск надежды и радости, то после десятой я пришел в тревогу, видя, что вслед за гневной вспышкой следует бурное примирение, оканчивающееся над самым моим ухом нежным шепотом, поцелуями и страстными вздохами. Г-н д'Анктиль с трудом переносил мое присутствие. К моему же доброму наставнику он, напротив, чувствовал самое искреннее расположение, которое тот вполне заслуживал своим ровным и веселым нравом, а также и несравненным изяществом ума. Они вместе развлекались карточной игрой, вместе пили, и взаимная их симпатия росла с каждым днем. Положив на сдвинутые колени дощечку, чтобы удобнее было играть в карты, они смеялись, шутили, подтрунивали друг над другом, хотя не раз колода летела в голову одного из игроков, сопровождаемая такой бранью, от которой залились бы краской стыда даже грузчики пристани св. Николая и паромщики с Майля; и хотя д'Анктиль, поминая бога, божью мать и всех угодников, клялся, что даже среди висельников не встречал такого завязанного мошенника, как аббат Куаньяр, он все же от души любил доброго моего наставника, и было приятно слышать, как через минуту, забыв о ссоре, он уже заливался смехом и твердил:

— Знайте, аббат, я сделаю вас своим капелланом и своим неперменным партнером в пикет. Будете также делить с нами охотничьи забавы. Подыщем где-нибудь в Перше мерина покрепче, чтобы не подогнулся под вами, и смастерим вам охотничий костюм вроде того, какой я видел на епископе Сеэзском. Впрочем, давным-давно пора вас одеть: не говоря худого слова, панталоны у вас, аббат, сзади совсем расползлись.

Иахиль тоже не могла устоять против неотразимого обаяния моего учителя, привлекавшего к нему все сердца. Она решила хоть отчасти привести в порядок его туалет.

Разорвав свое старое платье, Иахиль поставила заплаты на подрясник и панталоны нашего почтенного друга и даже подарила ему кружевную косыночку, которую он повязал вместо брыжей. Мой добрый учитель принимал эти скромные дары с достоинством, исполненным утонченного изящества. Я не раз имел случай убедиться, что в разговорах с особами женского пола он вел себя как человек отменного воспитания. Он проявлял к ним интерес, никогда не переступавший рамок приличия, превозносил их достоинства, умело, как знаток, давал им советы, почерпнутые из собственного многолетнего опыта, распространял на них безграничную снисходительность сердца, готового прощать дамам все их слабости, но не упускал, однако, случая преподать им высокие и полезные истины.

На четвертый день пути мы прибыли в Монбар и остановились на пригорке, откуда открывался весь город, уменьшенный расстоянием до таких размеров, что казался нарисованным рукой искусного живописца, стремившегося запечатлеть на холсте самые мельчайшие подробности.

— Посмотрите, — сказал мой добрый учитель, — на эти стены, на эти башни, колокольни, кровли, выступающие из густой зелени. Это — город, и пусть нам неведома ни история его, ни имя, следует, глядя на него, призадуматься, словно нет уголка земли более достойного наших размышлений. И в самом деле, любой город, каким бы он ни был, дает обильную пищу для рассуждений. Кучера сказали, что пред нами Монбар. Не слыхивал о таком. Тем не менее в силу аналогии берусь смело утверждать, что обитатели его — наши ближние — суть себялюбцы, трусы, вероломные души, сластолюбцы и распутники. В противном случае они не были бы люди и не вели бы своего происхождения от того самого Адама, одновременно и презренного и почтенного, который велик как первоисточник всех наших инстинктов, вплоть до самых низменных. Единственно, чего мы не можем еще решить с уверенностью, — склонны ли эти люди более к чревоугодию или к воспроизведению рода. Хотя нет здесь места сомнениям: любой философ здраво рассудит, что для этих несчастных голод более настоятельная потребность, нежели любовь. На заре своей юности я полагал, что для животного, именуемого человеком, важнейшая потребность — это сближение полов. Но я судил по себе. Бесспорно же, что люди более склонны к тому, чтобы сохранять свою жизнь, нежели давать жизнь другому. Именно голод властвует над людьми, впрочем, так как спор об этом здесь неуместен, — скажу, если угодно, так: жизнь смертных колеблется меж двух полюсов — голодом и любовью. А теперь откройте ваш слух и души! Эти дикие существа, созданные лишь для яростного взаимопожирания и взаимных объятий, живут вместе, подчиняясь закону, который как раз и запрещает им удовлетворять это двоякое и самонужнейшее вожделение. Закон препятствует им присваивать себе чужое добро силой или хитростью, что для них представляется непереносимым запретом, а также обладать всеми женщинами подряд, что противоречит их естественной склонности, особенно если они еще не общались с этими женщинами, ибо любопытство пробуждает желание сильнее, нежели воспоминание об уже испытанных наслаждениях. Так почему же тогда, объединившись для жизни в городах, они подчиняются закону, противоречащему их природным инстинктам? Непонятно, как удалось навязать им такого рода законы. Говорят, что первобытные люди приняли их, дабы без страха владеть своими женами и своим добром. Но они, без всякого сомнения, с большим вожделением взирали на чужое добро и на чужую жену, и мысль о том, чтобы завладеть ими силком, не пугала их: не будучи в состоянии рассуждать, они не испытывали недостатка в отваге. Нельзя представить себе дикарей, создающих справедливые законы. Вот почему я позволяю себе искать истоки и происхождение законов не в человеке, но вне человека, и полагаю, что исходят они от бога, который непостижимым мановением своей десницы сотворил не только сушу и воды, растения и животных, но также

народы и общества. Люди только исказили и испортили эти законы. Не побоимся признаться: государство есть божественное установление. Отсюда явствует, что любое правление должно быть теократическим. Надобно возродить законы человеческие в их первоизданной чистоте.

Епископ, прославившийся участием в составлении декларации тысяча шестьсот восемьдесят второго года, господин Боссюэ, не совершил ошибки, желая согласовать положения политики с максимами Священного писания, и если он, увь, потерпел самую позорную неудачу, виной тому лишь дюжинность его ума, который самым пошлым образом цеплялся за примеры, извлеченные из книги Судей и книги Царств, забывая о том, что когда господь бог вмешивается в дела мира сего, он принимает в расчет время и пространство и умеет провести различие между французами и израильтянами. Град, восстановленный под его единственно законной и подлинной властью, не будет градом ни Иисуса Навина, ни Саула, ни Давида, скорее уж это будет град евангелия, град сирых, где работника и блудницу не посмеет унижить фарисей. О милостивые государи, сколь достойна задача извлечь из Священного писания политические доктрины, более прекрасные и святые, чем те, которые с таким трудом высосал оттуда этот тяжеловесный и скудный мыслию господин Боссюэ! Град, который будет построен на фундаменте изречений Иисуса Христа, превзойдет своей гармоничностью град Амфиона^[169], возведенный при звуках лиры, и возникнет этот град в тот день, когда священнослужители, перестав угождать императору и королям, выкажут себя истинными правителями народа!

Примерно в трех лье от Монбара оборвалась постройка и, так как у кучеров не нашлось веревки, чтобы ее починить, а место оказалось пустынное и далекое от жилья, то мы изнывали в бездействии. Чтобы убить скучные часы вынужденной остановки, мой добрый учитель с г-ном д'Анктилем уселись играть в карты, прерывая игру дружескими сварами, которые уже вошли у них в привычку. Пока наш молодой дворянин дивился, почему это на руках у его партнера то и дело оказывается козырной король, что явно противоречило теории вероятности, Иахиль отвела меня в сторону и взволнованно спросила, не вижу ли я карету, которая остановилась позади нашей за поворотом дороги. Поглядев в указанном направлении, я действительно заметил допотопную колымагу, смешную и нелепую на вид.

— Этот экипаж остановился одновременно с нашим, — добавила Иахиль. — Стало быть, он едет за нами по пятам. Мне бы очень хотелось разглядеть лица пассажиров, путешествующих в этом рыдване. У меня на сердце неспокойно. Ведь, верно, у этой кареты узкий и высокий верх? Она напоминает мне ту коляску, в которой дядя привез меня, совсем еще крошку, в Париж, после того как убил португальца. Если не ошибаюсь, все эти годы экипаж мирно стоял в каретном сарае Саблонского замка. Так вот эта карета очень похожа на ту, и я не могу без ужаса вспомнить, как неистовствовал тогда мой дядя. Вы даже себе представить не можете, Жак, до чего он свиреп. Я сама испытала силу его гнева в день нашего отъезда. Он запер меня в спальне, призывая ужасные проклятия на голову господина аббата Куаньяра. Я трепещу при мысли, в какую ярость он впал, обнаружив пустую спальню, а на оконной раме веревку, которую я сплела из своих простынь, чтобы выбраться из дома и убежать с вами.

— Вы хотите сказать с господином д'Анктилем, Иахиль?

— Какой вы педант! Разве мы не едем все вместе? Но эта карета так похожа на дядину, что я не могу не тревожиться.

— Не волнуйтесь, Иахиль, в этой карете путешествует по своим делам какой-нибудь безобидный бургундец, который совсем о нас и не думает.

— Откуда вы знаете? — возразила Иахиль. — Я боюсь.

— Нечего бояться вам, мадемуазель, куда уж вашему дядюшке при его дряхлости носиться по дорогам, преследуя вас? Да он, кроме своей кабалистики и древнееврейских бредней, ничем и не интересуется.

— Вы его не знаете, — вздохнула Иахиль. — Он интересуется только мной. Он так меня любит, что ненавидит весь белый свет. Он любит меня так...

— Как «так»?

— Ну, по-всякому. Короче говоря, любит.

— Иахиль, ваши слова повергают меня в ужас. Праведное небо! Неужели этот Мозайд любит вас не с тем бескорыстием, какое так умиляет нас в старце и столь приличествует дяде? Скажите же, Иахиль!

— О, вы сказали лучше, чем могу выразить я, Жак.

— Я немею. Возможно ли, в его-то годы?

— Друг мой, у вас белоснежная кожа и душа под стать ей. Всему-то вы удивляетесь. В этом простодушии вся ваша прелесть. Обмануть вас не стоит труда. Вам внушили, что Мозаиду сто тридцать лет, когда ему на самом деле немногим больше шестидесяти, что он просидел всю жизнь в великой пирамиде, тогда как он держал в Лиссабоне банкирскую контору, да и я сама при желании могла бы сойти в ваших глазах за саламандру.

— Неужели, Иахиль, вы говорите правду? Ваш дядя...

— Потому-то он так ревнив. Он считает своим соперником аббата Куаньяра. Он ни с того ни с сего возненавидел аббата с первого же взгляда. А с тех пор, когда он подслушал несколько фраз из той беседы, которую вел со мной наш славный аббат в тернистом кустарнике, он возненавидел его всей душою, как виновника моего бегства и похищения. Ибо в конце концов меня похитили, друг мой, и должно же это придать мне в ваших глазах хоть какую-нибудь цену. О, до чего нужно быть неблагодарной, чтобы покинуть столь доброго дядю! Но он держал меня взаперти, как рабыню, и я не могла этого больше выносить. К тому же мне ужасно захотелось стать богатой, и разве противоестественно желать себе земных благ, будучи молодой и красивой? Нам дана всего одна жизнь, да и та быстротечна. Ведь меня-то никто не учил вашим прекрасным басням о бессмертии души.

— Увы, — воскликнул я, чувствуя, что жестокость Иахили только разжигает во мне любовный пыл. — Увы! Там, в Саблонском замке, возле вас я обладал всем, что требуется для счастья; чего же недоставало вам?

Иахиль сделала мне знак, что г-н д'Анктиль наблюдает за нами. Постромку починили, и наша карета покатила среди холмов, покрытых виноградниками.

Мы остановились в Ньюи, где решили отужинать и заночевать. Мой добрый наставник выпил с полдюжины бутылок местного вина, сильно подогревшего его красноречие. Г-н д'Анктиль, не пожелавший отстать от него, то и дело прикладывался к стакану, но соперничества в искусстве застольной беседы наш молодой дворянин не выдержал.

Ужин был весьма хорош; ночлег весьма дурен. Г-ну аббату Куаньяру отвели низенькую горницу под лестницей, и ему пришлось делить пуховую перину вместе с харчевником и его супругой, так что все трое чуть не задохнулись. Г-н д'Анктиль с Иахилью заняли комнату попросторнее, где с потолочных балок свисали копченые окорока и связки лука. Я же по приставной лестнице влез на чердак и растянулся на соломе. Когда я уже изрядно выспался, луч луны, проскользнувший сквозь щели крыши, упал на мои веки, как бы желая приподнять их в тот самый миг, когда в отверстии люка показалась Иахиль в ночном чепчике. Я не мог удержать крика, но она приложила палец к губам.

— Тише! — шепнула она. — Морис пьян как сапожник, или, вернее, как маркиз. Он спит внизу сном праведника.

— Какой Морис? — спросил я, протирая глаза.

— Анктиль. Кто же, по-вашему, здесь Морис?

— Вы правы. Но я и не знал, что его зовут Морис.

— Я сама только что узнала. Но какое это имеет значение?

— Вы правы, Иахиль, никакого значения это не имеет.

Иахиль была в одной рубашечке, и лунный свет стекал млечными каплями с ее обнаженных плеч. Она юркнула ко мне на ложе, и среди сладкого шепота я услышал самые нежные и самые грубые прозвища, которые легко слетали с ее губ. Потом она замолкла и стала осыпать меня поцелуями, тайну которых знала только она одна и перед которыми лобзания всех женщин мира кажутся пресными.

Близость соперника и само молчание довели мою страсть до предела. Неожиданность, радость мести, возможно извращенная ревность разжигали мои желания. Упругое, крепкое тело Иахили, гибкие в своем буйстве движения держали меня в плену, требовали, сулили и были достойны самых пламенных ласк. Этой ночью мы познали бездну наслаждений, соприкасающихся с мукой.

Спустившись наутро во двор харчевни, я увидел там г-на д'Анктиля, который теперь, когда я его обманывал, показался мне не таким противным, как ранее. Да и он, со своей стороны, выказывал ко мне больше расположения, чем в начале пути. Он заговорил со мной по-дружески, доверчиво, и по-братски попенял меня, что в обращении с Иахилью я не проявляю должного внимания, не угождаю ей, не окружаю теми заботами, какие дама вправе ожидать от каждого порядочного мужчины.

— Она жалуется на вашу неучтивость, — заметил он. — Смотрите, Турнеброш, как бы и нам с вами не поссориться, если у вас с ней дойдет до размолвки. Она у нас красавица и любит меня сверх всякой меры.

Уже целый час наша берлина катила по дороге, как вдруг Иахиль, раздвинув занавеску, сказала мне:

— Тот экипаж снова здесь. Как бы мне хотелось разглядеть лица сидящих в нем путников. Но я ничего не вижу.

Я ответил, что расстояние слишком велико, да и утренняя дымка застилает вид.

На это Иахиль возразила, что глаза у нее презоркие и она, несмотря на дальность расстояния и утреннюю дымку, непременно разглядела бы пассажиров, если б только у них были лица.

— Но у них не лица, — добавила она.

— Что же, по-вашему, у них? — спросил я со смехом.

Иахиль осведомилась, какие такие пошлости приходят мне в голову, коль скоро я так глупо смеюсь, и сказала:

— У них не лица, а маски. Нас преследуют два человека, и оба замаскированы.

Я решил предупредить г-на д'Анктиля и сказал, что, по всей видимости, эта дрянная колымага преследует нас. Но он попросил оставить его в покое.

— Если бы за нами гналось сто тысяч чертей, — воскликнул он, — я и тогда бы не пошевелился, у меня и так хлопот по горло, — попробуй уследи за этой жирной канальей-аббатом, он так ловко передергивает карты, что, кажется, я скоро останусь без гроша. Я даже подозреваю, Турнеброш, что вы нарочно, по предварительному сговору с этим старым плутом, подсовываете мне какую-то дрянную колымагу в самый разгар игры. Стоит ли волноваться только потому, что рядом проехала самая обыкновенная карета?

Иахиль шепнула мне на ухо:

— Предсказываю вам, Жак, что эта карета принесет нам несчастье. Я предчувствую это,

а предчувствия никогда меня не обманывают.

— Неужели вы хотите уверить меня, что обладаете пророческим даром?

Она ответила вполне серьезно:

— Да, обладаю.

— Итак, вы пророчица! — воскликнул я улыбаясь. — Вот чудеса!

— Вы только потому насмехаетесь надо мной и не верите моим словам, что никогда не видели пророчиц вблизи. Какие же, по-вашему, должны быть пророчицы?

— Полагаю, что они должны быть девственны.

— Это не так уж необходимо, — уверенно произнесла она.

Подозрительная коляска скрылась за поворотом. Но беспокойство Иахили передалось г-ну д'Анктилю, и он, хоть старался скрыть это, все же велел пустить лошадей в галоп и посулил кучерам дать щедро на чай.

Он даже переусердствовал, выдав кучерам по бутылке вина, которое аббат хранил про запас в уголке кареты.

Вино воспламенило кучеров, которые не замедлили передать свой пыл лошадям.

— Можете успокоиться, Иахиль, — сказал г-н д'Анктиль, — теперь, когда мы мчимся таким аллюром, этой древней колымаге, влекомой конями, о которых упоминается в Апокалипсисе^[170], в жизни нас не догнать.

— Несемся как угорелые, — добавил аббат.

— Дай-то бог подальше уехать! — заметила Иахиль.

Справа от нас мелькали виноградники, разбитые по откосам дороги. Слева лениво катила свои воды Сона. Как вихрь пронеслись мы мимо Турнуйского моста. На противоположном берегу реки раскинулся городок, и с пригорка на нас надменно взглянуло аббатство, обнесенное, точно крепость, высокими стенами.

— Вот одно из бесчисленных бенедиктинских аббатств, которыми, как драгоценными камнями, усыпана риза христианнейшей Галлии, — промолвил аббат. — Если бы господу было угодно дать мне удел сообразно моим наклонностям, я выбрал бы себе здесь келью и жил бы безвестный, счастливый и кроткий. Превыше всех прочих я почитаю орден бенедиктинцев за его ученость и чистоту нравов. У них чудесные библиотеки. Блажен тот, кто носит их рясу и следует их святому уставу! То ли потому, что я испытываю неудобство от резких толчков кареты, которая не преминет вскоре опрокинуться на ухабе, а ухабы здесь зверские, то ли под бременем лет, которые требуют покоя и степенных размышлений, я особенно пылко жажду сидеть за столом в каком-нибудь почтенном книгохранилище среди безмолвного собрания хорошо подобранных томов. Их беседу предпочту разговорам людей, и самое заветное мое желание — трудиться в ожидании часа, когда господь призовет меня к себе. Я писал бы историю и предпочтительно историю римлян времен упадка республики. Ибо эпоха эта исполнена великих деяний и особенно поучительна. Я делил бы свое рвение между Цицероном, святым Иоанном Златоустом и Боэцием, и скромная, но плодотворная жизнь моя уподобилась бы саду Тарентского старца. Чего только я не изведal на своем веку и полагаю, что нет лучшей доли, чем, отдавшись наукам, стать невозмутимым свидетелем превратностей человеческих судеб, надеясь, что созерцание государств и минувших веков восполнит краткость наших дней. Но для этого надо быть последовательным и постоянным. А вот этих-то качеств мне больше всего и не хватало. Если только, хочу надеяться, мне удастся с честью выбраться из моих теперешних передрыг, уж я постараюсь найти себе надежное и достойное пристанище в каком-нибудь высокоученом аббатстве, где изящная словесность не только в почете, но и в силе. Так и вижу себя упивающимся великолепным покоем, даруемым наукой. Если бы еще мне удалось заручиться услугами сильфов

споспешествующих, о которых нам рассказывал старый безумец д'Астарак и которые, по его словам, являются на зов, когда вызывающий произносит магическое слово «Агла!..»

В ту самую минуту, когда с уст доброго моего наставника слетело это слово, страшный толчок свалил нас всех, осыпав градом битого стекла, на пол кареты, причем в таком живописном беспорядке, что я, накрытый юбками Иахили, задыхался в темноте, куда до меня доносился приглушенный голос аббата Куаньяра, клявшего шпагу г-на д'Анктиля, выбившую ему последние зубы, а над моей головой раздавались вопли Иахили, от которых сотрясался вольный воздух бургундских долин. Тем временем г-н д'Анктиль, не стесняясь в выражениях, клялся отправить кучеров на виселицу. Когда мне удалось, наконец, выбраться из-под юбок на свет божий, дворянин уже вылез наружу через разбитое окно. Мы с добрым моим учителем последовали его примеру, затем втроем извлекли нашу спутницу из опрокинувшейся кареты. Иахиль не ушиблась, и первой ее заботой было привести в порядок растрепанные кудри.

— Хвала небу! — сказал мой добрый учитель. — Я отделался только одним зубом, к тому же не самым крепким и не самым белым. Время, раскачав его, уготовило ему этим гибель.

Стоя на широко раздвинутых ногах и уперев руки в бока, г-н д'Анктиль оглядывал перевернувшуюся карету.

— Эти каналы, — промолвил он, — здорово ее отделали. Если мы подыдем лошадей, она развалится в щепы. Она годится теперь, аббат, лишь для игры в бирюльки.

Лошади, свалившиеся при падении друг на друга, отчаянно лягались. Среди бесформенного хаоса конских круп, грив, ног и животов, от которых валил пар, торчали задранные к небесам сапоги нашего кучера. Второй кучер, которого отбросило в овраг, плевал кровью. При виде виновников катастрофы г-н д'Анктиль завопил:

— Негодяи! Почему только я тут же на месте не проткнул вас шпагой!

— Сударь, — возразил аббат, — не лучше ли сначала извлечь беднягу из-под конских тел, среди которых он погребен?

Мы дружно взялись за работу, и, только когда лошади были распряжены и поставлены на ноги, нам удалось определить размеры бедствия. Одна рессора лопнула, одно колесо сломалось и одна лошадь захромала.

— Живо приведите сюда каретника, — приказал г-н д'Анктиль кучерам, — чтоб через час все было готово!

— Здесь нет каретника, — ответили кучера.

— Ну, тогда кузнеца.

— Нет здесь кузнеца!

— Тогда шорника.

— Нет здесь шорника!

Мы огляделись вокруг. На западе до самого горизонта тянулись волнистые гряды виноградников. На пригорке, возле колокольни, дымила труба. По другую руку от нас текла Сона, окутанная прозрачным туманом, и на глади ее вод медленно расходился след, оставленный только что прошедшей баржей. Длинные тени тополей касались своей вершиной берегов. Разлитое вокруг нас безмолвие нарушал лишь пронзительный птичий щебет.

— Где мы? — спросил г-н д'Анктиль.

— В двух лье от Турню; а то и побольше, — ответил тот кучер, что харкал кровью после неудачного падения в овраг, — а до Макона и все четыре.

И, указав рукой на пригорок, где дымилась труба, венчавшая кровлю, он добавил:

— Вон та деревня, наверху, должно быть Валлар. Только оттуда помощи не жди.

— Разрази вас гром, — воскликнул г-н д'Анктиль.

Пока сбившиеся в кучу кони кусали друг друга за холку, мы приблизились к нашей карете, уныло лежавшей на боку.

Низенький кучер, которого мы извлекли из конских недр, заметил:

— Рессора — еще полбеда: ее можно заменить пасом, благо он крепкий, только тогда ходу у кареты такого легкого не будет. А вот колесо! И хуже всего, что моя шляпа там осталась.

— Плевать мне на твою шляпу! — воскликнул г-н д'Анктиль.

— Ваша милость, должно быть, не знает, что шляпа-то была новехонькая, — возразил низенький кучер.

— И все стекла разбиты! — вздохнула Иахиль.

Она сидела на краю дороги, подстелив под себя накидку.

— Хорошо бы, если только стекла, — отозвался мой добрый наставник, — это горе легко поправить, спустим на худой конец шторы, но вот бутылки, должно быть, не в лучшем состоянии, чем стекла. Как только берлину поставят на колеса, непременно проверю. Тревожит меня и судьба моего Боэция, которого я запрягал под подушки с несколькими другими полезными сочинениями.

— Пустяки! — отрезал г-н д'Анктиль. — Карты у меня в кармане. Но неужели нам не удастся поужинать?

— Я уже думал об этом, — сказал аббат. — Не напрасно же господь бог создал на потребу человеку животных, населяющих землю, воздух и воду. Я искусный рыбак; подстерегать карася с удилицем в руке — вот занятие, наиболее подходящее моему созерцательному нраву, и не раз берега Орны видели меня держащим хитрую снасть и размышляющим о вечных истинах. Поэтому отбросьте всякие заботы об ужине. Если мадемуазель Иахиль сообразовит пожертвовать мне одну из булавок, поддерживающих ее юбки, я тут же смастерю крючок и льщу себя надеждой принести вам еще до наступления ночи двух, а то и трех карпов, которых мы и зажарим на костре, собрав побольше хворосту.

— Мы, как я вижу, возвращаемся в первобытное состояние, — сказала Иахиль, — но я не дам вам булавок, аббат, если вы не дадите мне что-нибудь в обмен; не то наша дружба пойдет врозь. А этого я не хочу.

— Итак, я заключаю выгодную сделку, — отозвался мой добрый учитель. — За булавку, мадемуазель, я плачу поцелуем.

И приняв из рук Иахили булавку, он приложился к ее щечке с отменной вежливостью, изяществом и пристойностью.

Потеряв зря много времени, мы пришли, наконец, к наиболее разумному решению. Кучера повыше, который уже перестал харкать кровью, мы отрядили верхом на лошади в Турню, за каретником, а его собрату тем временем велели разжечь где-нибудь в укрытии огонь; к ночи поднялся ветер и сильно похолодало.

В сотне шагов от места катастрофы мы обнаружили возле дороги скалу мягкой породы, основание которой там и сям было размыто, так что образовались небольшие пещеры. В одной из таких пещерок мы и решили ждать, греясь у костра, возвращения кучера, отряженного гонцом в Турню. Второй кучер привязал трех оставшихся у нас лошадей, среди них одну хромую, к дереву неподалеку от нашего убежища. Аббат, который ухитрился смастерить удочку с помощью ивовой ветви, ниток, пробки и булавки, отправился на рыбную ловлю, движимый в равной мере своей склонностью к философическим размышлениям и желанием принести нам на ужин рыбы. Г-н д'Анктиль, оставшись в гроте с Иахилью и со мною, предложил нам сыграть в ломбер, требующий трех партнеров; игра эта,

добавил он, будучи испанского происхождения, наиболее подходит к искателям приключений, в роли каковых мы очутились. И правда, в этой каменоломне с наступлением ночи на пустынной дороге наша маленькая труппа была вполне достойна выступить в какой-нибудь сцене из жизни Дон-Кихота, или, как его еще именуют, Дон-Кишота, столь любезного сердцу служанок. Итак, мы засели за ломбер. Игра эта требует сосредоточенности. Я делал ошибку за ошибкой, и мой не отличавшийся терпением партнер начал уже сердиться, когда вдруг при свете костра мы увидели смеющееся благородное лицо аббата. Развязав носовой платок, добрый мой наставник извлек три-четыре рыбешки, которых он вспорол с помощью ножа, того самого, что был украшен изображением нашего покойного государя в одеянии римского императора на триумфальной колонне, — и выпотрошил их с такой ловкостью, словно всю жизнь провел среди рыночных торговок; так самое малое деяние он совершал с тем же искусством, как и наиболее великое. Разложив пескариков на горячих углях, он произнес:

— Открою вам, друзья мои, что, бредя вверх по течению реки в поисках подходящего места, я заметил ту самую апокалиптическую колымагу, которая так напугала нашу мадемуазель Иахиль. Она остановилась немного позади берлины. Пока я ловил рыбу, она, должно быть, проехала мимо вас, и теперь душа мадемуазель Иахили может быть спокойна.

— Мы ее не видели, — возразила Иахиль.

— Значит, она пустилась в путь, когда уже стемнело, — продолжал аббат. — Не видели, так слышали.

— Мы ее и не слышали, — ответила Иахиль.

— Стало быть, — подхватил аббат, — нынешняя ночь слишком беспросветна и глуха. Подумайте сами, чего ради эта карета станет торчать на дороге, ведь и колеса у нее все целы и лошади не хромают. Ну, что ей там делать?

— Действительно, что ей там делать? — переспросила Иахиль.

— Наш ужин, — продолжал мой добрый учитель, — напоминает своей простотой те библейские трапезы, когда благочестивые путники делили на берегу Тигра пищу свою с ангелом. Но у нас нет ни хлеба, ни соли, ни вина. Сейчас я попытаюсь извлечь из кареты провизию и посмотрю, не уцелела ли, по счастью, хоть одна бутылочка. Ибо иной раз бывает, что сила удара ломает стальной брус, а стекло даже и не треснет. Турнеброш, сын мой, дай мне, пожалуйста, свое огниво, а вы, мадемуазель, соблаговолите переворачивать рыбки. Я скоро вернусь.

Он ушел. Некоторое время мы прислушивались к его тяжелым шагам, но вскоре на дороге все стихло.

— Эта ночь, — заметил г-н д'Анктиль, — напоминает мне ночь накануне битвы при Парме. Надеюсь, вы знаете, что я служил под началом Виллара и участвовал в войне за наследство. Меня назначили в разведку. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Такова одна из самых тонких военных хитростей. На разведку неприятеля посылают людей, которые возвращаются, ничего не разведав и не узнав. Но после битвы рапортуют о результатах поиска, и вот тут-то наступает час торжества стратегов. Итак, в девять часов вечера меня послали в разведку вместе с дюжиной лазутчиков...

И он стал рассказывать нам о войне за наследство и о своих любовных утехах с итальянками; рассказ его длился уже добрых четверть часа, как он вдруг воскликнул:

— А каналья Куаньяр все еще не возвращается. Готов биться об заклад, что он попивает там уцелевшее вино.

Решив, что доброму моему учителю трудно управиться одному, я поднялся и пошел к нему на помощь. Ночь была безлунная, и, хотя на небе высыпали звезды, землю окутывал

мрак, к которому мои глаза, ослепленные светом костра, никак не могли привыкнуть.

Когда я прошел по дороге не более полусотни шагов, до меня вдруг донесся страшный крик, который, казалось, вырвался не из человеческой груди, крик, не похожий ни на один, слышанный мною доселе, и леденящий ужас сковал мои члены. Я бросился в ту сторону, откуда донесся этот вопль смертельной тоски. Однако ноги плохо повиновались мне; изнывая от страха, я спотыкался во мгле. Когда я, наконец, добежал до того места, где бесформенной, как бы разросшейся во тьме громадой валялась наша берлина, я увидел доброго моего наставника. Согнувшись вдвое, он сидел на краю откоса. Лица его я не мог разглядеть. Трепеща от волнения, я спросил:

— Что с вами? Почему вы кричали?

— Да, почему я кричал? — ответил он странно изменившимся, незнакомым мне голосом. — Я и не заметил, что крикнул. Турнеброш, не видели ли вы здесь поблизости человека? Он налетел на меня в темноте и грубо ударил кулаком в грудь.

— Пойдемте, — сказал я, — поднимитесь, мой добрый учитель.

Но, едва приподнявшись, аббат снова тяжело опустился на землю.

Я попытался его поднять и вдруг почувствовал, что моя ладонь, коснувшись его груди, стала совсем мокрая.

— У вас идет кровь?

— Идет кровь? Тогда мне конец. Он меня убил. Сначала я подумал, что он просто сильно ударил меня. Но выходит, он нанес мне рану, от которой, чувствую, мне не оправиться.

— Кто нанес вам удар, мой добрый учитель?

— Тот еврей. Я его не видел, но знаю, что это он. Как же могу я знать, что это он, раз я его не видел? Да, как? Как все это странно! Просто невероятно, не правда ли, Турнеброш? Во рту у меня привкус смерти, непередаваемый вкус... Так было суждено, боже мой! Но почему здесь, а не там! Вот тайна! *Adjutorium nostrum in nomine Domini... Domine, exaudi orationem meam...* [\[171\]](#)

С минуту он молился про себя, потом сказал:

— Турнеброш, сын мой, возьми две бутылки, которые я извлек из кузова и поставил рядышком. Сил больше у меня нет. Турнеброш, как по-твоему, куда я ранен? Больше всего болит спина, и мне кажется, что жизнь капля по капле уходит из моего тела, течет по икрам. Разум мутится.

Пробормотав эти слова, аббат тихо склонился набок. Я едва успел подхватить его и попытался отнести к гроту, но с трудом дотащил только до дороги. Расстегнув сорочку, я обнаружил на его груди рану, она оказалась небольшой и почти не кровоточила. Я разорвал свои манжеты и приложил тряпки к ране, я звал на помощь, я кричал во все горло. Вскоре мне показалось, что кто-то спешит на мой зов со стороны Турню, и вдруг я увидел г-на д'Астарака. Как ни неожиданна была эта встреча, я не удивился, я совсем оцепенел от горя. Любимейший наставник испускал дух у меня на руках.

— Что случилось, сын мой? — спросил алхимик.

— Помогите мне, сударь, — воскликнул я. — Аббат Куаньяр умирает. Его убил Мозайд.

— Совершенно справедливо, что Мозайд пустился в ветхой карете в погоню за своей племянницей, — ответил г-н д'Астарак, — и я отправился с ним, надеясь возвратить вас к тем обязанностям, которые вы выполняли в моем доме. Со вчерашнего дня мы ехали вслед за вашей каретой, которая на наших глазах опрокинулась на ухабе. Тут Мозайд вышел из экипажа, то ли ему захотелось размять ноги, то ли он воспользовался данной ему властью стать невидимым, но только я его больше не видел. Возможно, что он уже предстал перед своей племянницей и проклял ее, ибо таково было его намерение. Но он не убивал аббата

Куаньяра. Это эльфы, сын мой, убили вашего наставника, желая покарать его за то, что он выдал их тайны. Можете не сомневаться.

— Ах, сударь, — вскричал я, — не все ли равно, кто это был — иудей или эльфы; надо спасти аббата.

— Напротив, сын мой, это крайне важно. Ибо если его поразила десница человека, я без труда исцелю недуг при помощи кое-каких магических действий, но ежели он навлек на себя немилость эльфов, ему не миновать их неотвратимого мщения.

Не успел г-н д'Астарак закончить этой фразы, как, предводительствуемые кучером, с фонарем в руке показались г-н д'Анктель с Иахилью, привлеченные моими криками.

— Как, господину Куаньяру худо? — произнесла Иахиль.

И опустившись на колени возле доброго моего наставника, она приподняла его голову и поднесла к его носу нюхательную соль.

— Мадемуазель, — сказал я, — вы причина его гибели. Он заплатил своей жизнью за ваш побег. Его убил Мозайд.

Иахиль обратила ко мне свое побледневшее от ужаса и залитое слезами лицо.

— А вы полагаете, — ответила она, — что так легко быть красивой и не причинять горя?

— Ах, — вздохнул я, — вы правы. Но мы потеряли лучшего из людей.

В эту минуту г-н аббат Куаньяр испустил глубокий вздох, поднял веки над закатившимися глазами, попросил томик Боэция и снова лишился чувств.

Кучер предложил перенести раненого в деревушку Валлар, расположенную на пригорке в полулье от дороги.

— Пойду приведу самую смирную из трех наших лошадей, — сказал он. — Мы привяжем беднягу покрепче и поведем лошадь шагом. На мой взгляд, он сильно занедужил. Лицо у него совсем такое, как у того гонца, которого убили близ Сен-Мишель на этой же дороге, в четырех перегонах отсюда, рядом с Сене-си, где живет моя суженая. Тот хлопал веками и закатывал глаза, что твоя шлюха, не обессудьте на слове, господа. И ваш аббат тоже закатил глаза, когда барышня пощекотала ему кончик носа своим пузырьком. Для раненого это плохой знак; а вот девки хоть тоже иной раз закатывают глаза, да что им делается! Ваша милость сами небось знаете. Слава тебе господи, конец концу рознь. А глаза такие же... Подождите здесь, господа, сейчас приведу лошадь.

— Забавный малый, — заметил г-н д'Анктель, — ловко это он сказал о потаскухах — как они закатывают глаза да млеют. Я видел в Италии солдат, так те, когда умирали, наоборот, выкатывали глаза и смотрели в одну точку. Так что никаких правил для смерти от ран не существует, даже в военном деле, где уж, кажется, все до мелочей предусмотрено уставом. Но за неимением более именитой особы соблаговолите вы, Турнеброш, представить меня этому дворянину в черном платье, который носит алмазные пуговицы и который, как я догадываюсь, и есть господин д'Астарак.

— Ах, сударь, — ответил я, — считайте, что я уже представил вас друг другу. У меня одна забота — помочь моему доброму учителю.

— Ну что ж! — сказал г-н д'Анктель.

И, сделав шаг по направлению к алхимику, он произнес:

— Сударь, я отнял у вас любовницу и готов дать вам удовлетворение.

— Сударь, — возразил г-н д'Астарак, — слава небу, я не общаюсь с женщинами и просто не понимаю ваших намеков.

Тут возвратился кучер, ведя в поводу лошадь. Мой добрый учитель немного оправился. Вчетвером мы не без труда усадили его на лошадь и привязали веревкой. Потом наш кортеж двинулся в путь. Я поддерживал аббата справа, а слева держал его г-н д'Анктель. Кучер вел

лошадь в поводу и нес фонарь. Шествие замыкала плачущая Иахиль. Г-н д'Астарак вернулся к своей карете. Мы медленно продвигались вперед. Пока мы шли по дороге, все было более или менее благополучно. Но когда пришлось взбираться узкой тропкой, которая вилась среди виноградников, мой добрый учитель, кренившийся набок при каждом шаге лошади, потерял последние силы и вновь впал в обморочное состояние. Оставался единственный разумный выход — снять его с лошади и нести на руках. Кучер подхватил аббата под мышки, а я взял его за ноги. Подъем оказался крут, и не раз я со страхом думал, что вот-вот упаду прямо на каменистую дорогу под тяжестью своей живой крестной ноши. Наконец откос кончился. Мы свернули на более отлогую узенькую дорожку, тянувшуюся по вершине пригорка меж живых изгородей, и вскоре по левую нашу руку показались первые кровли Валлара. Увидев их, мы положили наземь страдальца и остановились на минуту перевести дух. Потом снова подняли свою скорбную ношу и так достигли деревушки.

На востоке забрезжил розовый свет. В побледневшем предрассветном небе зажглась утренняя звезда. Защебетали птицы; мой добрый наставник тяжело вздохнул.

Опередившая нас Иахиль стучалась во все двери в надежде отыскать приют и лекаря. Крестьяне, взвалив на спины плетушки, с корзинами в руках спешили на сбор винограда. Один из них сказал Иахили, что Голар держит на площади постоянный двор с конюшней.

— А костоправ Кокбер, — добавил поселянин, — вон он стоит под тазиком для бритья — это у него такая вывеска. Он тоже собирается на виноградник, потому и вышел из дома.

Костоправ оказался низеньким, весьма учтивым человеком. Он сказал нам, что недавно выдал замуж дочь и теперь у него есть свободная кровать, которую можно уступить раненому.

По приказанию Кокбера его супруга, дородная особа в поярковой шляпе поверх белого чепца, постелила кровать в комнате нижнего этажа. Она помогла нам раздеть г-на аббата Куаньяра и уложить его в постель. После чего отправилась за священником.

Тем временем г-н Кокбер осмотрел рану.

— Посмотрите, — сказал я, — какая она маленькая и почти что не кровоточит.

— То-то и плохо, — ответил он, — и совсем мне не нравится, молодой человек. По мне, пусть рана будет побольше да посильнее кровоточит.

— Ничего не скажешь, — заметил г-н д'Анктиль, — для брадобрея и сельского костоправа у него зоркий глаз. Нет ничего опаснее маленьких глубоких ран, совсем безобидных с виду. Возьмите, например, сабельный удар по лицу. И смотреть приятно и затягивается за неделю. Но знайте, почтеннейший, ранен мой капеллан, он же мой партнер в пикет. Можете ли вы поставить его на ноги, достаточно ли вы сведущи для этого, господин клистирщик?

— К вашим услугам, сударь, — с поклоном отвечал костоправ, — я брадобрей, но я также вправляю вывихи и врачую раны. Сейчас осмотрю вашего больного.

— Только поскорее, сударь, — взмолился я.

— Терпение, терпение! — сказал костоправ. — Сначала нужно промыть рану, и я жду, пока в котелке закипит вода.

Мой добрый учитель снова пришел в себя и произнес медленно, но твердым голосом:

— Со светильником в руке обойдет он закоулки Иерусалима, и все, что было тайным, станет явным.

— Что, что вы сказали, мой добрый учитель?

— Обожди, сын мой, — ответил он, — я веду беседу со своей душой, как и пристало моему нынешнему положению.

— Вода закипела, — обратился ко мне брадобрей. — Приблизьтесь-ка к постели и

подержите таз. Сейчас я промою рану.

В то время как сельский костоправ промывал рану доброго моего наставника губкой, смоченной в теплой воде, в горницу вошла г-жа Кокбер в сопровождении священника. Тот держал в руке корзинку и садовые ножницы.

— Так вот он, бедняга, — проговорил он. — А я уже было отправился на виноградник; однако первый наш долг печься о лозе господней. Сын мой, — добавил он, подходя к аббату, — положитесь в недугах своих на всевышнего. Станем надеяться, что болезнь не так серьезна, как может показаться. А пока что надлежит исполнять волю господню.

Потом, повернувшись к брадобрею, он спросил:

— Дело спешное, господии Кокбер, или я успею еще заглянуть на свой участок? Белый-то виноград еще может подождать, пусть получше дозреет, и даже дождик ему на пользу — еще сочнее станет. Но вот черный — самая пора снимать.

— Верно вы говорите, ваше преподобие, — отозвался Кокбер, — в моем винограднике многие гроздья уже начали гнить: от солнышка спаслись, а от дождя погибли.

— Увы, влага да засуха — вот два истонных врага виноградаря, — вздохнул священник.

— Ваша правда, — подхватил брадобрей, — но сейчас я исследую больного.

С этими словами он нажал пальцем на рану,

— Ох, палач! — со стоном воскликнул страдалец.

— Не забывайте, что Христос отпустил палачам своим, — заметил священник.

— Да, но они не были брадобреями, — ответил аббат.

— Злокозненные речения, — промолвил священник.

— Не следует попрекать умирающего, если он и пошутит, — сказал мой добрый наставник. — Но я жестоко страдаю: этот человек меня убил, и я умираю дважды. В первый раз я пал от иудейской десницы.

— Как это понимать? — осведомился священник.

— Самое разумное, ваше преподобие, не обращать внимания. Мало ли чего больной не скажет. Все это бред.

— Неправильно вы говорите, Кокбер, — прервал его священник. — Надобно уметь понимать речи больного в час исповеди, ведь бывает, что христианин за всю свою жизнь ничего путного не сказал, а на смертном одре такое мудрое слово произнесет, что перед ним откроются врата рая.

— Я имел в виду земную жизнь, — ответил брадобрей.

— Ваше преподобие, — обратился я к священнику. — Господии аббат Куаньяр, мой добрый наставник, вовсе не бредит, и, увы, более чем достоверно, что его убил некий иудей, именуемый Мозаидом.

— В таком случае, — подхватил священник, — раненый должен усмотреть в том особую милость господа бога, возжелавшего, дабы он погиб от руки потомка тех, что распяли Христа. Сколь удивительны пути провидения в нашем грешном мире. Значит, Кокбер, я еще успею заглянуть на свой участок?

— Можете, ваше преподобие, — ответил брадобрей. — Рана мне не нравится, но от таких ран умирают не вдруг. Это, ваше преподобие, такая рана, которая еще всласть наиграется с больным, как кошка с мышью, и при этой игре можно выиграть время.

— Ну и прекрасно, — подхватил священник. — Возблагодарим бога, сын мой, что он продлил часы вашей жизни; но бытие наше преходяще и недолговечно. Надобно быть готовым расстаться с жизнью в любую минуту.

Мой добрый наставник ответствовал торжественным тоном:

— Быть на земле и как бы не быть на ней; владеть, как бы не владея, ибо изменчив лик

мира сего.

Снова вооружившись корзиной и ножницами, священник сказал:

— Не столько по вашему облачению и панталонам, сын мой, которые, проходя, я заметил на спинке стула, сколько по вашим речам я понял, что вы человек духовного звания и святой жизни. Были ли вы посвящены в сан?

— Он священнослужитель, — отвечал я, — доктор богословских наук и профессор красноречия.

— А какой епархии? — осведомился священник.

— Сеэзской в Нормандии, руанского викариата.

— Недурная церковная вотчина, — одобрил священник, — но все же уступает в смысле древности и славы рейнской, служителем которой являюсь я.

И он вышел. Г-н Жером Куаньяр провел день довольно спокойно. Иахиль вызвалась сидеть ночью у постели больного. В одиннадцать часов вечера я покинул жилище г-на Кокбера и отправился на розыски постоянного двора почтенного Голара. Тут я столкнулся с г-ном д'Астараком: в свете луны его непомерно огромная тень лежала от одного угла площади до другого. По своей привычке он положил руку мне на плечо и промолвил обычным торжественным тоном:

— Хочу, наконец, сын мой, успокоить вас; только с этой целью я и согласился сопровождать Мозаиду. Я вижу, что вас жестоко терзает нежить. Эта земная мелкота обступила вас, одурачила фантазмагориями, обольстила обманными видениями и под конец толкнула на бегство из моего дома.

— Увы, сударь, — отвечал я, — совершенно справедливо, что я оставил ваш гостеприимный кров, выказав себя человеком неблагодарным, за что и молю простить меня. Но меня преследовали стражники, а отнюдь не домовые и нежить. И добрый мой наставник убит. Какая уж тут фантазмагория.

— Не сомневайтесь в том, — подхватил великий кабалист, — что несчастного аббата сразила насмерть рука сильфов, чьи тайны он неосторожно выдал. Он похитил из шкафа несколько драгоценных камней, которые только еще начали мастерить сильфы, и потому эти розочки пока уступают бриллиантам в блеске и чистоте воды.

— Вот эта-то алчность, а также слово «Агла», неосмотрительно им произнесенное, и разгневало сильфов. А вам следует знать, сын мой, — даже философам не дано остановить карающей десницы этого вспылчивого народца. Сверхъестественным путем, а также из донесения Критона я знал о безбожном посягательстве господина Куаньяра, дерзко похвалявшегося, что ему удалось подсмотреть, каким способом саламандры, сильфы и гномы выпаривают утреннюю росу и постепенно обращают ее в кристаллы и алмазы.

— Увы, сударь, смею заверить вас, что он об этом и не помышлял и что его поразила на дороге своим стилетом ужасный Мозайд.

Мои слова сильно пришлись не по вкусу г-ну д'Астараку, и он весьма настоятельно посоветовал мне никогда не вести подобных речей,

— Мозайд, — добавил он, — достаточно искусен в кабалистике, и ему нет нужды гоняться за врагами, которых он хочет поразить. Знайте, сын мой, если б он действительно намеревался убить господина Куаньяра, он мог бы преспокойно сделать это, не покидая своей комнаты, прибегнув к магическим пассам. Вижу, что вам еще неизвестны первоосновы кабалистической науки. На самом же деле произошло вот что: сей ученый муж, узнав от верного Критона о побеге племянницы, сел в карету и пустился в дорогу с целью догнать ее и вернуть домой. Что он и сделал бы, если б увидел, что в душе этой несчастной сохранился хотя бы проблеск сожаления и раскаяния. Но, убедившись, что она безвозвратно погрязла в

пороках, он предпочел отлучить ее и проклясть именем Сфер, Колес и чудищ Елисеевых. И он выполнил свое намерение на моих глазах в своей карете, где и сейчас пребывает в уединении, не желая делить с христианами ложе и трапезу.

Молча внимал я этим речам, произносившимся как бы в забытьи: этот необыкновенный человек говорил так красноречиво, что даже смутил меня.

— Почему, — говорил он, — вы противитесь тому, чтобы вас просветил философ? Какую мудрость, сын мой, можете вы противопоставить моей? Знайте же, что ваша мудрость уступает моей лишь количественно, но по сути своей не отличается от нее. Вам, так же как и мне, природа представляется как бесконечное множество образов, которые подлежат изучению и упорядочению и составляют как бы длинную цепь иероглифов. Вы без труда опознаете многие из этих знаков, с которыми связываете определенный смысл; но вы чересчур склонны довольствоваться смыслом обыденным и буквальным и недостаточно ищете идеального и символического. Меж тем мир познаваем только лишь как символ, и все, что мы созерцаем во вселенной, не что иное, как азбука образов, которую людская чернь еле разбирает по складам, не понимая ее смысла. Ученые, заполняющие наши академии, лишь беспомощно мямлят и блеют на этом вселенском языке; бойтесь же подражать им, сын мой, и примите лучше из моих рук ключ ко всякому знанию.

Он помолчал и заговорил уже более доверительным тоном:

— Вас преследуют, сын мой, не столь опасные враги, как сильфы. И вашей саламандре нетрудно будет освободить вас от всей этой нежити, если вы только попросите ее об этом. Повторяю вам, я приехал с Мозаидом лишь затем, чтобы дать вам добрый совет и поторопить вас возвратиться ко мне для продолжения начатых нами трудов. Я понимаю, что вы хотите присутствовать при последних часах вашего несчастного учителя. Предоставляю вам полную свободу. Но не замедлите затем вернуться в мой дом. Прощайте! Нынешней ночью я возвращаюсь в Париж вместе с нашим великим Мозаидом, которого вы столь несправедливо заподозрили.

Я пообещал г-ну д'Астараку сделать все, что он пожелает, и уныло поплелся на постоянный двор, где, упав на убогое ложе, забылся, разбитый усталостью и горем.

* * *

На рассвете следующего дня я уже снова был в доме костоправа и застал там Иахиль неподвижно сидящей на сломанном стуле у изголовья славного моего учителя; в черной накидке на голове она походила на самую заботливую, усердную и долготерпеливую сиделку. Г-н Куаньяр лежал в полузабытьи, лицо его пылало.

— Он провел тяжелую ночь, — тихо сказала Иахиль. — Все время разговаривал, пел, называл меня сестрой Жерменой и обращался ко мне с игривыми предложениями. О, я, конечно, не обижаюсь, но посудите, как же помутился его ум.

— Увы! Если бы вы не обманули меня, Иахиль, — вскричал я, — если бы не пустились в дорогу с этим дворянином, добрый мой наставник не лежал бы здесь, в постели, с пронзенной грудью!

— Если я о чем и сожалею горько, так это как раз о беде, приключившейся с нашим

другом, — ответила она. — Об остальном же, право, не стоит и говорить, и я диву даюсь, как можете вы помнить об этих пустяках в такую минуту.

— Я только и делаю что думаю об этом, — ответил я.

— А я вовсе не думаю, — перебила она, — Свое горе вы сами на три четверти сочинили.

— Что вы хотите этим сказать, Иахиль?

— А то, друг мой, что я только выткала канву, вы же вышиваете по ней узоры, и воображение ваше слишком щедро расцвечивает простой житейский случай. Клянусь вам, я уже не помню и четверти того, что вас терзает, но вы упорно возвращаетесь к этому предмету и не можете забыть о сопернике, о котором я вспоминаю куда реже. Выкиньте все это из головы и не мешайте мне дать питье аббату; видите, он просыпается.

В эту минуту г-н Кокбер приблизился к постели, раскрыл свою сумку, сделал перевязку и во всеуслышанье заявил, что рана, по-видимому, затягивается. Потом он отвел меня в сторону.

— Могу вас заверить, сударь, — проговорил он, — что наш славный аббат не умрет от полученной раны. Но, по правде сказать, я опасаясь, что ему не оправиться от острого воспаления плевры, вызванного ранением. Сейчас его сильно лихорадит. Но вот и его преподобие.

Мой добрый наставник сразу же узнал вошедшего и учтиво осведомился, как он поживает.

— Не в пример лучше, чем мой виноградник, — отвечал священник, — он изрядно попорчен филлоксерой и червями, которые должны были бы погибнуть после торжественного крестного хода с хоругвями, устроенного духовенством Дижона нынче весной. Придется, видно, в наступающем году устроить еще более торжественное шествие и не жалеть свечей. А духовному судье надобно будет снова предать анафеме насекомых, вредящих винограду.

— Господин кюре, говорят, будто в своих виноградниках вы развлекаетесь с девицами, — промолвил славный мой учитель. — Фи! Это в ваши-то лета! В молодости и я, признаться, подобно вам был падок до девчонок. Но время усмирило мою плоть, и я недавно пропустил мимо монашенку, так ничего и не сказав ей. Вы же, ваше преподобие, видать, совсем иначе управляетесь и с девицами и с бутылками. Но вы поступаете и того хуже — не служите обеден, за которые вам уплачено, и торгуете церковным добром. Вы — двоеженец и святокупец.

Священник слушал эти речи в горестном изумлении; он так и застыл с отверстым ртом, а щеки его обвисли скорбными складками по обе стороны мясистого подбородка.

— Сколь кощунственное оскорбление сана, коим я облечен! — вздохнул он, подняв взор к потолку. — И что за речи ведет он, уже готовясь предстать перед божьим судом! О господин аббат! Подобаает ли вам говорить такие вещи, вам, кто прожил святую жизнь и изучил столько книг?

Добрый мой учитель приподнялся на локтях. Лихорадка, словно в насмешку, возвратила его лицу то выражение лукавой веселости, которое некогда так пленяло нас.

— Истинно, я изучал древних авторов, — проговорил оп. — Но мне довелось прочесть куда меньше, чем второму викарию его преосвященства, епископа Сеэзского. Хотя внешне и внутренне он походил на осла, но оказался еще более усердным книгочием, нежели я, ибо был он косоглаз и пробегал по две страницы сразу. Вот оно как, ваше блудодейственное преподобие! Что? Набегался, старый греховодник, по притонам в лунные ночи? Подружка твоя, священник, вылитая ведьма. Смотри, какая у нее борода! Это — супруга костоправа-брадобрея. У него знатные рога, так ему и надо, недоноску этому, чьи медицинские познания

ограничиваются умением ставить клистир.

— Боже милостивый! Что он такое мелет? — вскричала г-жа Кокбер. — Должно быть, в него бес вселился.

— Немало мне доводилось слышать бреда, — заметил г-н Кокбер, — но ни один больной не вел столь злонамеренных речей.

— Вижу я, — произнес священник, — нам придется немало помучиться, прежде чем удастся приуготовить его к честной кончине. Натуре этого человека присущи язвительность и склонность к непристойностям, чего я поначалу не заметил. Он ведет речи, не подобающие священнослужителю, да еще тяжело больному.

— Тут виной горячка, — вмешался костоправ-брадобрей.

— Однако, — продолжал священник, — горячка эта, если ее не приостановить, может привести его прямехонько в ад. Он только что выказал полное неуважение к духовному сану. И все же я возвращусь увещевать его завтра, ибо мой долг, по примеру спасителя нашего, проявить к нему бесконечное милосердие. Но на этот счет у меня есть немалые сомнения. В довершение бед в моей давяльне появилась трещина, а все работники заняты в виноградниках. Кокбер, не сочтите за труд сказать об этом плотнику; вы призовете меня к раненому, если состояние его внезапно ухудшится. Да, забот, как видите, хватает, Кокбер!

На следующий день г-ну Куаньяру настолько полегчало, что у нас зародилась надежда на его выздоровление. Учитель выпил бульона и даже сел, облокотившись на подушки. Он обращался к каждому из нас с присущими ему изяществом и добротой. Г-н д'Анктиль, который остановился на постоялом дворе Голара, посетил его и довольно некстати предложил сыграть в пикет. Добрый мой наставник, улыбнувшись, пообещал сразиться с ним на следующей неделе. Однако к исходу дня у него снова сделался жар. Он побледнел, в глазах его застыл невыразимый ужас; дрожа всем телом и щелкая зубами, он вскричал:

— Вот он, старый жидюга! Это — сын Иуды Искарюта, которого тот прижил с ведьмой, принявшей обличье козы. Но он будет повешен на отцовской смоковнице, и внутренности его вывалятся наземь. Хватайте его... Он меня убивает! Мне холодно!

Минуту спустя, отбросив одеяло, больной пожаловался, что изнывает от жары.

— Меня нестерпимо мучит жажда, — проговорил он. — Дайте вина! Но остудите его. Госпожа Кокбер, скорее освежите его в водоеме, ведь день обещает быть жарким.

Стояла ночь, но в мозгу аббата путалось представление о времени.

— Живее, — торопил он г-жу Кокбер, — смотрите, только не окажитесь столь просты, как звонарь сеэзской кафедральной церкви: отправившись к колодцу, дабы вытащить оттуда бутылки с вином, которое он охлаждал, человек этот увидел в воде собственное отражение и принялся вопить: «Ко мне, господа, скорей, на помощь! Там внизу объявились антиподы, они выпьют все наше вино, если мы их вовремя не обуздаем».

— Да он весельчак, — заметила г-жа Кокбер. — Однако только что он делал на мой счет весьма непристойные предположения. Если бы я и изменяла Кокберу, то уж, конечно, не с их преподобием, принимая во внимание сан и возраст господина кюре.

Как раз в это мгновение в комнату вошел священник.

— Ну, как, господин аббат? — обратился он к моему наставнику. — В каком расположении духа вы находитесь? Что новенького?

— Благодарение богу, в мозгу моем нет ничего нового, — отвечал г-н Куаньяр. — Ибо, как изрек святой Иоанн Златоуст, — бегите новизны. Не ходите тропами непроторенными: стоит только раз сбиться с пути, и станешь плутать до гроба. Я — печальный пример тому. Я тем и погубил себя, что пустился неторной стезею. Послушался своего внутреннего голоса, и он вверг меня в бездну. Ваше преподобие, я жалкий грешник. Безмерность моих прегрешений

гнетет меня.

— Вот истинно прекрасные речи, — воскликнул священник. — Это сам господь бог внушает их вам. Узнаю его неповторимый слог. Не желаете ли вы, чтобы мы приступили к спасению вашей души?

— С великой охотой, — отвечал г-н Куаньяр. — Ибо прегрешения мои ополчаются на меня. Я зрю среди них и великие, и малые, и кроваво-красные, и аспидно-черные. Зрю малорослые, что гарцуют на собаках и свиньях, зрю и другие, жирные, голые, с сосцами как бурдюки, с брюхом в огромных складках, с необъятными ягодицами.

— Может ли быть, — изумился священник, — что вы видите их столь отчетливо? Но если грехи ваши таковы, как вы утверждаете, сын мой, то лучше уж не описывать их, а попросту ненавидеть в душе своей.

— Уж не хотите ли вы, ваше преподобие, — продолжал аббат, — чтобы прегрешения мои походили на Адониса? Но хватит об этом. А вы, брадобрей, подайте мне питье. Знаком ли вам господин де ла Мюзардьер?

— Нет, сколько я припоминаю, — отвечал г-н Кокбер.

— Да будет вам известно, — продолжал мой добрый учитель, — он был весьма падок до женщин.

— Именно таким путем, — вмешался священник, — дьявол и берет обычно верх над человеком. Но куда вы клоните, сын мой?

— Сейчас поймете, — отвечал добрый мой наставник. — Господин де ла Мюзардьер назначил некоей девственнице свидание на конюшне. Она пришла, он же позволил ей уйти оттуда такой, какой она явилась. А знаете почему?

— Нет, — отозвался священник, — но оставим этот разговор.

— Напротив, — продолжал г-н Куаньяр. — Да будет вам ведомо, что он остерегся вступить с нею в плотское общение из боязни зачать жеребенка и навлечь на себя этим судебное преследование.

— Ах! — вырвалось у брадобрея. — Скорее уж должен он был бояться зачать осла.

— Вот именно, — подтвердил священник. — Но все это мало подвигает нас по пути в рай. Пора вернуться на стезю праведных. Ведь вы только что держали столь назидательные речи!

В ответ мой добрый наставник принялся петь довольно громким голосом:

Мы короля Луи повеселим:
В пятнадцать дудок мы ему дудим,
Ландериретта,
И вот уж в пляс пустилася метла,
Ландерира...

— Если вам хочется петь, сын мой, — заметил священник, — спойте уж лучше какой-нибудь добрый бургундский рождественский псалом. Так вы возрадуетесь духом и очиститесь.

— С превеликим удовольствием, — отвечал добрый мой учитель. — У Ги Барозе есть псалмы, которые, несмотря на их кажущуюся простонародность, блестят куда ярче бриллианта и стоят дороже золота. Вот этот, к примеру:

Студеные ночи стояли,
Как в мир наш спаситель пришел,
И в яслях его согревали
Дыханьем бычок и осел.
Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!

Костоправ, его жена и священник подхватили хором:

Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!

И добрый мой учитель продолжал голосом уже несколько ослабевшим:

Но главного мы не сказали:
Дыханием грея дитя,
Всю ночь без еды и питья
Бычок и осел простояли.
Немало быков и ослов
В парче и шелку мы видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!

Потом он уронил голову на подушку и умолк.

— В этом христианине, — обратился к нам священник, — многое заслуживает похвалы, очень многое; еще совсем недавно я сам заслушался его прекрасных наставлений. Но я не могу не тревожиться за него, ибо все решает кончина, и никому не дано знать, что он прибережет для последнего часа. Господь по благодати своей полагает наше спасение в едином миге; но только мгновение это должно быть последним, так что все и зависит от сего последнего мига, в сравнении с коим вся остальная жизнь — лишь звук пустой. Вот почему я и трепещу за нашего больного, ибо душу его яростно оспаривают ангелы и демоны. Но не следует отчаиваться в божественном милосердии.

Два дня мой добрый учитель провел в жестоком борении между жизнью и смертью. После чего он впал в крайнюю слабость.

— Надежды больше нет, — шепнул мне г-н Кокбер. — Взгляните, как голова его ушла в подушки и как заострился нос. Видите?

В самом деле, нос доброго моего учителя, некогда мясистый и багровый, походил теперь на выгнутый клинок и отливал свинцом.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне голосом все еще ясным и сильным, но звук которого был мне вовсе не знаком. — Чувствую, что мне уже недолго жить. Ступай и призови сюда этого доброго пастыря, дабы он принял мою исповедь.

Священник был у себя в винограднике, я кинулся туда.

— Сбор винограда окончен, — сказал он мне, — и урожай оказался куда обильнее, чем я полагал; пойдете же, я приму исповедь у этого страждущего.

Я проводил его к ложу доброго моего учителя и оставил наедине с умирающим.

По прошествии часа священник вышел к нам и сказал:

— Смею вас заверить, что господин Жером Куаньяр умирает, исполненный самых прекрасных чувств благочестия и смирения. Во внимание к его просьбе и рвению намереваюсь я причастить его святых тайн. Пока я стану облачаться в стихарь и эпитрахиль, вы, госпожа Кокбер, соблаговолите прислать в ризницу мальчика, что прислуживает мне ежеутренне во время обедни, и приготовьте комнату для приятия всеблагого господа.

Жена костоправа подмела пол, застлала постель белоснежным одеялом, придвинула к изголовью столик и покрыла его скатертью; она поставила на него два подсвечника с зажженными свечами и фаянсовую чашу со святой водою, в которой стояла веточка буксуса.

С дороги к нам донесся звук колокольчика, которым размахивал на ходу служка, и вскоре мальчик вступил в комнату с крестом в руках; за ним следовал облаченный в белые одеяния священник со святыми дарами. Все мы — Иахиль, г-н д'Анктиль, супруги Кокбер и я — опустились на колени.

— *Rex huic domui*^[172] — возгласил священник.

— *Et omnibus habitantibus in ea*^[173], — подхватил служка.

После чего священник зачерпнул святой воды и окропил ею больного и ложе.

Он сосредоточенно помолчал с минуту и торжественно произнес:

— Сын мой, не желаете ли вы что-нибудь сказать?

— Желаю, господин кюре, — отвечал аббат Куаньяр твердым голосом. — Я прощаю убийце моему.

Тогда священнослужитель извлек из дароносицы остию и провозгласил:

— *Esse agnus Dei, qui tollit peccata mundi*^[174].

Славный мой учитель ответил со вздохом:

— Как осмелюсь обратиться к господу моему я, кто всего лишь прах и пепел? Как дерзну предстать пред ликом его я, в ком нет ни на йоту благости, в коей мог бы я почерпнуть решимость? Как введу я его в обитель духа своего, я, столь часто оскорблявший взор спасителя, исполненный кротости?

И аббат Куаньяр получил последнее причастие в глубоком молчании, прерываемом лишь

нашими рыданиями да трубным звуком, который, сморкаясь, издавала г-жа Кокбер.

После соборования добрый мой наставник сделал мне знак приблизиться и заговорил голосом слабым, но ясным:

— Жак Турнеброш, сын мой, откинь, по примеру моему, наставления, которые я внушал тебе в состоянии безумия, длившегося, увы, всю мою жизнь. Страшись женщин и книг, ибо они расслабляют наш дух и ввергают в гордыню. Смирись сердцем и разумом своим. Господь бог просвещает малых сих, они мудрецы мира сего. Он источник всякого знания. Сын мой, не слушай тех, кто подобно мне пожелает мудрствовать по поводу добра и зла. Не дай увлечь себя изысканностью и красотою их речей. Ибо царствие божие зиждется не на словах, а на добродетели.

Обессиленный, он умолк. Я схватил его руку, лежавшую поверх одеяла, покрыл ее поцелуями и оросил слезами. Я твердил, что он наш наставник, наш друг, наш отец и что я не мыслю жизни без него.

Долгие часы оставался я, убитый горем, у его изголовья.

Ночь он провел так спокойно, что во мне зародилась безумная надежда. В том же состоянии аббат пребывал и весь следующий день. Но к вечеру начал метаться и произносить слова, столь невнятные, что они навеки останутся ведомы лишь богу и ему.

В полночь учитель вновь впал в глубокое забытие, и в комнате раздавался лишь легкий шорох, который производили его ногти, царапавшие одеяло. Он уже никого не узнавал.

В два часа ночи он начал хрипеть: сиплое, учащенное дыхание, вырывавшееся из его груди, было слышно далеко на деревенской улице и так терзало мой слух, что еще несколько дней, последовавших за этой злосчастной ночью, мне все чудилось, будто я слышу этот хрип. На заре он сделал рукою знак, которого мы не смогли понять, и испустил глубокий вздох. Последний вздох. Лицо его приняло в смерти величественное выражение, соответствующее благородству духа, обитавшего в нем, чья утрата вовеки невозместима.

* * *

Валларский священник устроил г-ну Жерому Куаньяру торжественные похороны. Он отслужил по нем панихиду и возвестил отпущение грехов.

Добрый мой наставник был погребен на церковном кладбище. И г-н д'Анктиль дал у Голара ужин всем, кто принял участие в погребальной церемонии. Присутствующие угощались молодым вином и распевали бургундские песни.

На следующий день я вместе с г-ном д'Анктилем отправился поблагодарить священника за его благочестивые труды.

— Ах! Аббат Куаньяр принес нам великое утешение своей назидательной кончиной, — вскричал святой человек. — Не много видел я христиан, что умирали, преисполненные столь возвышенных чувств, и нам должно запечатлеть память о нем достойной надписью на его надгробье. Оба вы, милостивые государи, достаточно образованны и, конечно, справитесь с делом, я же позабочусь о том, чтобы эпитафия была вырезана на большом белом камне, с сохранением того вида и слога, который вы для нее изберете. Однако ж помните, что, заставляя глаголать камень, вы должны прославлять бога, и только его.

Я просил не сомневаться, что приступлю к делу с невозможным усердием, а г-н д'Анктиль пообещал со своей стороны придать надписи блеск и изящество.

— Я хочу, — заявил он, — попытаться сложить ее французскими стихами, следуя образцам господина Шапеля^[175].

— В добрый час! — напутствовал нас священник. — Не любопытствуете ли вы, однако, взглянуть на мою давяльню? Вино в этом году будет чудесное, а винограда я собрал столько, что достанет и для моих нужд и для нужд моей служанки. Увы! Не будь филлоксеры, урожай был бы еще обильнее.

Отужинав, г-н д'Анктиль потребовал письменный прибор и приступил к сочинению французских стихов. Но вскоре, потеряв терпение, отшвырнул перо, чернильницу и бумагу.

— Турнеброш, — обратился он ко мне, — я сложил всего-навсего два стиха, да и то не уверен, хороши ли они; вот какими они вышли из-под моего пера:

Здесь лежит аббат Жером,
Все когда-нибудь умрем.

— Две эти строки, — сказал я ему, — хороши уж тем, что они не требуют третьей.

И всю ночь напролет я просидел над составлением латинской эпитафии. Вот что у меня получилось:

D. O. M.
Hic jacet
in spe beatae aeternitatis
Dominus Hieronymus Coignard
Piesbyter
Quondam in bellovacensi collegio
eloquentiae magister eloquentissimus
Sagiensis episcopi bibliothecarius solcrtissimus
Zozimi Panapolitani ingeniosissimus
translator
Opere tamen immaturata morte interceplo
periit enim cum lugdunum peteret
Judaea manu nefandissima
id est a nepote Christi carnificum
in via trucidatus
Anno aet LII.
Comitate fuit optima doctissimo convictu
ingenio sublimi
facetiis jucundus sententiis plenus
donorum dei laudator
Fide devotissima per multas tempestates
constanter munitus
Humilitate sanctissima ornatus

saluti suae magis intentus
quam vano et fallaci hominum iudicio
Sic honoribus mundanis
nunquam quaesitis
sibi gloriam sempiternam
meruit.

В переводе эпитафия эта звучит приблизительно так:

Здесь покоится,
в надежде на вечное блаженство,
мессир Жером Куаньяр,
священнослужитель,
некогда красноречивый профессор красноречия
коллежа Бове,
весьма усердный библиотекарь епископа Сеэзского,
автор великолепного перевода Зосимы Панополитанского,
который остался, по несчастью, незавершенным,
ибо преждевременная смерть оборвала сей труд.
На 52 году жизни
презлудейская рука некоего иудея
поразила его кинжалом на Лионской дороге,
и он стал тем самым жертвой одного из потомков палачей
господа нашего Иисуса Христа.
Был он приятен в обращении,
учен в беседе,
отмечен возвышенным гением и щедро
рассыпал забавные шутки и прекрасные наставления,
воздавая хвалу господу и творениям его.
Сквозь жизненные бури пронес он
непоколебимую веру.
В своем воистину христианском уничижении,
более озабоченный спасением души своей,
нежели суетным и обманчивым мнением людским,
уже тем, что прожил без почестей в сей юдоли,
вознесен он ныне к престолу вечной славы.

Через три дня после того, как преставился славный мой наставник, г-н д'Анктиль решил отправиться в путь. Экипаж был починен, наш дворянин велел кучерам быть наготове к утру следующего дня. Общество этого человека никогда не было мне приятно. Состояние же скорби, в коем я находился, сделало его для меня непереносимым. Я не мог и подумать о том, что придется продолжать путь вместе с ним и с Иахилью. И я решил, приискав себе занятие в Турню или в Маконе, жить там, скрываясь до той поры, пока не уляжется буря и станет возможно возвратиться в Париж, где, я не сомневался, родители примут меня с распростертыми объятиями. Я осведомил г-на д'Анктиля о своем намерении и принес извинения в том, что не могу сопровождать его дальше. Сначала он пытался удержать меня с неожиданной любезностью, но затем охотно согласился на разлуку. Иахиль приняла эту новость не без огорчения; но, будучи от природы благоразумной, она поняла причины, по которым я решил ее покинуть.

В ночь перед моим отъездом, пока г-н д'Анктиль пил и играл в карты с костоправом-брадобреем, мы с Иахилью вышли на улицу, чтобы подышать воздухом. Все было напоено запахом травы, вокруг громко стрекотали кузнечики.

— Какая великолепная ночь, — сказал я. — В этом году, а быть может, и во всю жизнь не доведется мне пережить другой столь сладостной ночи.

Деревенское кладбище, все в зелени, раскинуло пред нами неподвижное море травы, и лунный свет серебрил могилы, разбросанные среди темных газонов. И обоих нас одновременно посетила мысль сказать последнее «прости» нашему другу. Место его вечного успокоения было отмечено одним только крестом, орошенным нашими слезами; основание креста уходило в мягкую землю. Камень, еще ожидавший эпитафии, не был установлен. Мы опустились на траву возле могилы и в безотчетном, естественном порыве бросились друг другу в объятия, зная, что не оскорбим своими поцелуями память друга, слишком мудрого, чтобы проявлять нетерпимость к человеческим слабостям.

Вдруг Иахиль, чьи губы касались моего уха, шепнула мне:

— Здесь господин д'Анктиль, он взобрался на кладбищенскую ограду и упорно глядит в нашу сторону.

— Неужели он видит нас в такой темноте? — усомнился я.

— Он наверняка видит мои белые юбки, — отвечала Иахиль. — И этого, полагаю, достаточно, чтобы ему захотелось увидеть больше.

Я взялся за эфес, полный решимости защищать две жизни, которые в ту минуту были еще, можно сказать, слиты в одну. Спокойствие Иахили меня удивляло; ничто в ее движениях и голосе не выдавало страха.

— Ступайте, — приказала она, — бегите и не бойтесь за меня. Признаюсь, я даже рада, что Морис нас здесь застал. Он уже начинал остывать, и нет лучшего средства подогреть влечение и придать остроту любви. Ступайте, оставьте меня! Поначалу мне придется туго, ибо у него неистовый нрав. Он меня поколотит, но зато я стану ему еще дороже. Прощайте!

— Проклятье! — вскричал я. — Стало быть, вы воспользовались мною, Иахиль, чтобы распалить чувства моего соперника.

— Вот мило! Теперь и вы хотите со мной ссориться? И вы тоже? Ступайте, говорю вам.

— Неужели мы так и расстанемся?

— Так нужно, прощайте! Он не должен застигнуть вас здесь. Я намерена возбудить в нем ревность, но не столь грубо. Прощайте, прощайте!

Едва успел я сделать несколько шагов среди лабиринта могил, как г-н д'Анктиль подошел совсем близко и узнал свою любовницу; он разразился бранью и проклятьями, способными разбудить всех мертвецов деревни. Я твердо решил спасти Иахиль от его гнева,

ибо боялся, что он ее тут же и убьет. Скрываясь в тени каменных плит, я уже пополз было к ней на помощь. Несколько минут я внимательнейшим образом наблюдал за ними и вот увидел, как г-н д'Анктиль вытолкал ее за ворота кладбища и потащил на постоялый двор Голара, не остыв еще от ярости, которую Иахиль, однако, была в силах утишить одна, без посторонней помощи.

Когда они вошли в свою комнату, я тоже проскользнул к себе. Всю ночь я не сомкнул глаз и на заре, откинув краешек занавески, увидел, как они пересекли двор; между ними установилось, по-видимому, полное согласие.

Отъезд Иахили усилил мою скорбь. Я бросился ничком на пол посреди комнаты и, закрыв лицо руками, проплакал до самого вечера.

* * *

С той поры жизнь моя утрачивает интерес, который придавали ей особые обстоятельства, и существование мое, вновь придя в полное согласие с моим характером, уже не представляет ничего необыкновенного. Вздумай я продолжать свои записки, повесть моя непременно показалась бы вам бесцветной. Поэтому завершу ее немногими словами. Валларский священник снабдил меня рекомендательным письмом к некоему виноторговцу в Маконе, у которого я пробыл в услужении два месяца, после чего батюшка известил меня, что дело мое улажено и я могу безбоязненно воротиться в Париж.

Тотчас же приобрел я место в почтовой карете и совершил обратное путешествие в обществе новобранцев. Сердце мое неистово заколотилось, когда я вновь узрел улицу св. Иакова, башенные часы на церкви св. Бенедикта Увечного, вывеску «Три девственницы» и лавку г-на Блезе «Под образом св. Екатерины».

Матушка, увидя меня, разрыдалась; прослезился и я, и, бросившись друг другу в объятия, мы еще поплакали вместе. Батюшка, спешно воротившийся из «Малютки Бахуса», сказал мне с важностью, за которой прятал волнение:

— Не скрою, Жако, я сильно разгневался на тебя, когда стражники явились к нам в харчевню за тобой; а в случае твоего отсутствия они собирались увести меня самого. Они ничего не желали слушать, утверждая, что объясниться я смогу и в тюрьме. Разыскивали тебя, сынок, по жалобе господина де ла Геритода. Я невесть что вообразил о твоём беспутстве. Но, узнав из твоих писем, что речь идет о сущих пустяках, я только и думал, как бы нам вновь свидеться. Много раз совещался я с содержателем «Малютки Бахуса» о том, какими путями замять это дело. Он всякий раз отвечал мне: «Мэтр Леонар, отправляйтесь-ка к судье да прихватите с собой добрый мешок со звонкой монетой, и он возвратит вам сынка белее снега». Но деньги у нас не водятся, и нет в нашем доме ни курицы, ни гусыни, ни утки, что несет золотые яйца. Хорошо еще, если живность в наше время окупает расходы на дрова для очага. По счастью, твоя святая и достойная матушка возымела мысль отправиться к матери господина д'Анктиля; последняя, как нам стало известно, хлопотала за сына, которого разыскивали по тому же делу, что и тебя. Ибо проведал я, мой милый Жако, что ты напроказничал в компании с неким дворянином; душа у меня, сам знаешь, тонкая, и я сразу почувствовал, какая честь выпала на долю нашего семейства. Итак, матушка твоя испросила

аудиенцию у госпожи д'Анктиль в ее особняке, что в Сент-Антуанском предместье. Она опрятно оделась, будто к обеду, и госпожа д'Анктиль милостиво ее приняла. Твоя матушка, Жако, святая женщина, но она плохо знает светское обращение и сперва понесла околесицу. Она сказала: «Сударыня, в наши лета, кроме бога, нам остаются только дети». Разве так надо было говорить со знатной дамой, у которой еще водятся поклонники?

— Помолчите, Леонар, — вскричала матушка. — Что знаете вы о поведении госпожи д'Анктиль? И надо думать, я не так уж неловко взялась за дело, коль скоро дама мне ответила: «Будьте благонадежны, госпожа Менетрие; я стану хлопотать за вашего сына, так же как и за своего, уж положитесь на мое рвение». И вам отлично известно, Леонар, что не прошло и двух месяцев, как мы получили заверение в том, что наш Жако может возвратиться в Париж, ни о чем не тревожась,

Мы поужинали с отменным аппетитом. Батюшка спросил, намерен ли я оставаться на службе у г-на д'Астарака. Я отвечал, что после смерти славного моего учителя, которая навеки оставит меня безутешным, я отнюдь не желаю оказаться в обществе свирепого Мозаида и услужать дворянину, который расплачивается со своими людьми одними лишь прекрасными речами. Батюшка ласково предложил мне, как и прежде, вращать вертел.

— С недавних пор, Жако, — сказал он, — я доверил эту должность брату Ангелу; но он справляется с делом куда хуже, чем Миро, и даже хуже тебя. Не пожелаешь ли, сынок, вновь занять свое место на скамеечке возле очага?

Матушка моя, при всей своей простоте не лишенная здравого смысла, пожала плечами и заметила:

— Господину Блезо, владельцу книжной лавки «Под образом святой Екатерины», нужен приказчик. Должность эта, мой милый Жако, как раз по тебе. Нрав у тебя смирный, и держать ты себя умеешь. А ведь именно это и требуется, чтобы продавать священные книги.

Я тотчас же отправился к г-ну Блезо предложить свои услуги, и он определил меня к себе в лавку.

Несчастья прибавили мне благоразумия. Скромность моего занятия не отвращала меня, и я тщательно исполнял свои обязанности, действуя метелочкой и щеткой, к вящему удовольствию хозяина.

Я решил, что обязан нанести визит г-ну д'Астараку и в последнее воскресенье ноября после обеда отправился к великому алхимику. От улицы св. Иакова до Саблонского креста расстояние не малое, и календарь не лжет, утверждая, что дни в ноябре короткие. Когда достиг я Руля, уже наступила ночь, и непроницаемая мгла окутала пустынную дорогу. В грустном раздумье шагал я во мраке.

«Увы! — думал я. — Вот уж скоро год с тех пор, как я впервые шел этой заснеженной дорогой в обществе доброго моего наставника, который покоится ныне в бургундской деревеньке, на пригорке, поросшем виноградом. Он уснул в надежде на вечную жизнь. Я не могу не разделять чаяния столь ученого и мудрого человека. Упаси меня боже хоть когда-нибудь усомниться в бессмертии души. Однако ж что скрывать? Ведь все, относящееся к грядущей жизни и к лучшему миру, принадлежит к области тех неуловимых истин, в которые веруешь, но которые не ощущаешь, ибо не обладают они ни вкусом, ни запахом и входят в тебя неприметно. Признаюсь, меня нимало не утешает мысль, что в один прекрасный день я снова свижусь в раю с господином аббатом Куаньяром. Ибо наверняка он будет неузнаваем, а речи его утратят ту приятность, какую придавали им обстоятельства земного существования».

Погруженный в эти размышления, я внезапно увидел перед собою огромное зарево, охватившее полнеба; туман вокруг меня словно порыжел, и в самом средоточии его полыхал

огонь. Тяжелый дым перемешивался с промозглой сыростью. Я тотчас же со страхом подумал, что горит замок д'Астарака. Ускорив шаги, я тут же убедился, что опасения мои вполне справедливы. Из густого мрака выступил увенчанный крестом Саблонский холм, осыпаемый искрами пламени, и почти сразу я увидел замок, все окна которого пылали будто в честь какого-то зловещего празднества. Маленькая зеленая калитка была выбита. По парку бродили какие-то тени и в страхе шептались меж собой. То были жители предместья Нельи, которых привело сюда любопытство, а равно и желание помочь. Несколько человек возилось у насоса, направляя струи воды на пылающее здание, но вода тут же обращалась в пар. Густой дым столбом поднимался над замком. Дождь искр и пепла обрушился на меня, и я вскоре заметил, что одежда моя и руки покрылись копотью. С горестью подумал я о том, что сажа, наполнявшая воздух, — это все, что осталось от множества великолепных книг и бесценных манускриптов, доставлявших радость доброму моему наставнику, все, что осталось и от рукописи Зосимы Панополитанского, над которой мы трудились совместно в самую возвышенную пору моей жизни.

Я присутствовал при кончине г-на аббата Жерома Куаньяра. На сей раз, думалось мне, сама душа его, светоносная и кроткая, обращалась во прах вместе с царицей всех библиотек. И я понял, что в эти минуты умерла и часть моего существа. Поднявшийся ветер раздувал пожарище, и пламя завывало, словно пасть прожорливого зверя.

Заметив какого-то жителя Нейи, еще более закопченного, нежели я, и стоявшего в одном жилете, я осведомился, спасли ли г-на д'Астарака и его слуг.

— Никому не удалось вырваться из замка, — отвечал он, — кроме какого-то старого еврея, который убежал со свертками в руках в сторону болот. Он проживал во флигеле возле реки, и все ненавидели этого человека за его веру и за преступления, в которых его подозревали. Дети кинулись за ним вдогонку. Убегая от них, он упал в Сену. Его выудили оттуда уже мертвым, к груди он прижимал какую-то кабалистическую книгу и полдюжины золотых чашечек. Можете полюбоваться на него: вон он лежит на берегу в своем желтом балахоне, страшный, с открытыми глазами.

— Ах, он заслужил такую кончину своими злодеяниями, — отвечал я. — Однако эта смерть не возвратит мне лучшего из наставников, который пал от его руки. Но скажите: не видел ли кто-либо господина д'Астарака?

В ту самую минуту, когда задал я этот вопрос, я услышал, как один из людей, метавшихся среди пожарища, испустил отчаянный крик:

— Кровля рушится!

И тогда я с ужасом различил высокую темную фигуру г-на д'Астарака: пробираясь по краю крыши, алхимик кричал громовым голосом:

— Возношусь на крылах огня в пределы божественной жизни!

Едва произнес он эти слова, как кровля рухнула с ужасающим грохотом, и гигантские языки пламени поглотили верного почитателя саламандр.

* * *

Не существует на свете любви, которая устояла бы перед разлукой. Воспоминания об

Иахили, поначалу мучительные, мало-помалу смягчились и оставили во мне лишь смутную боль; впрочем, не одна Иахиль была тому причиной.

Господин Блезе все больше старился. Он ушел от дел и поселился в своем деревенском домике, в Монруже, а лавку продал мне на условиях пожизненной ренты. Ставши вместо него полноправным книгопродавцем все с той же вывеской «Под образом св. Екатерины», я поселил у себя своих родителей, ибо харчевня наша с некоторых пор пришла в упадок. Во мне зародилась привязанность к скромному моему заведению, и я старался украсить его получше. По стенам я развесил старые венецианские карты и изречения, снабженные аллегорическими рисунками; спору нет, это придавало лавке вид причудливый и старинный, но вместе с тем привлекло к ней истинных друзей знания. Образованность моя не слишком вредила торговле, тем паче что я тщательно ее скрывал. Куда больший вред принесла бы мне моя ученость, будь я не только книготорговцем, но и издателем вроде Марка-Мишеля Рея, то есть будь я вынужден зарабатывать себе на пропитание за счет человеческой глупости!

В своей лавке я держу, как принято выражаться, классических авторов, и этого рода пища в большом ходу на нашей высокоученой улице св. Иакова, чьи древности и примечательные особенности я бы с превеликой охотой описал на досуге. Первый парижский типограф основал здесь свою достославную книгопечатню. Господа Крамуази^[176], которых Ги Патен^[177] именует королями улицы св. Иакова, издали здесь труды корпорации историографов. Еще до того, как был основан Французский Коллеж^[178], королевские чтецы Пьер Данес, Франсуа Ватабль, Рамус выступали здесь с лекциями в сарае, куда доносилась брань носильщиков и прачек. И как не вспомнить Жана де Мена^[179], который в небольшом домике на этой же улице сочинил «Роман о Розе»^[180].

Я не нарадуюсь на свой дом старинной постройки; он восходит по крайней мере ко временам готическим, как можно заключить по деревянным балкам, которые скрещиваются над узким фасадом так, что верхний этаж выступает над нижним, а кровля с замшелой черепицей нависает над стенами. В каждом этаже всего по одному окошку. Верхнее окно во все времена года одето зеленью, весною перед ним по веревочкам карабкаются вьюнки и настурции. Добрая моя матушка сажает и поливает их.

Это — окно ее комнаты, расположенное над вывеской «Под образом св. Екатерины». С улицы можно увидеть, как старушка читает молитвы по книге, напечатанной большими буквами. Почтенный возраст, благочестие и материнская гордость придают ей внушительную осанку, и, глядя на ее восковое лицо, окаймленное оборками белоснежного чепца, всякий наверняка решит, что это богатая горожанка.

Батюшка к старости также приобрел важные повадки. Он любит свежий воздух и прогулки, и поэтому я поручаю ему относить книги на дом покупателям. Сперва эту обязанность выполнял брат Ангел, но он кланчил милостыню у моих клиентов, уговаривал их прикладываться к реликвиям, воровал у них вино, тискал их служанок и добрую половину книг оставлял в сточных канавах. Я скоро отказался от его услуг. Но славная моя матушка, которую он умел уверить, будто ему ведомы тайные пути в рай, кормит и поит его. Человек он неплохой и в конце концов внушил и мне своего рода привязанность.

Несколько выдающихся людей и немало ученых посещают мою лавку. Великое преимущество моего занятия как раз в том и состоит, что я каждодневно вступаю в общение с людьми достойными. Среди тех, кто нередко заходит ко мне полистать новые книги и запросто побеседовать меж собой, встречаются историографы, столь же ученые, как Тильефон^[181], ораторы-проповедники, способные соперничать в красноречии с Боссюэ и даже с Бурдалу^[182], комические и трагические пииты, богословы, у которых чистота нравов

соединяется с непоколебимой верностью доктрине, почтенные сочинители рыцарских романов, геометры и философы, кои, по примеру г-на Декарта, способны измерить и взвесить миры. Я восторгаюсь ими и упиваюсь их словом. Но ни один, по моему разумению, не может сравниться знаниями и талантом со славным моим учителем, которого я имел несчастье потерять на Лионской дороге; ни один не может похвастаться таким несравненным изяществом мысли, таким кротким и возвышенным нравом, таким удивительным богатством души, вечно распахнутой навстречу людям и струящей аромат подобно установленным в садах мраморным урнам, из которых, не иссякая, струится вода; ни один не способен возвратить мне тот вечный источник знаний и нравственности, из коего посчастливилось мне утолять духовную жажду в дни юности; ни один не обладает даже тенью того обаяния, той мудрости, той силы мысли, которыми блистал г-н Жером Куаньяр. Его я почитаю одним из самых приятных умов, какие когда-либо украшали нашу землю.

**СУЖДЕНИЯ ГОСПОДИНА ЖЕРОМА
КУАНЬЯРА [\[183\]](#) (LES OPINIONS DE JÉRÔME
COIGNARD)**

Мне нет надобности описывать здесь жизнь аббата Жерома Куаньяра, профессора красноречия коллежа в Бове, библиотекаря епископа Сеэзского, *Sagiensis episcopi bibliothecarius solertissimus*, как гласит надпись на его надгробном камне, позднее писца при кладбище св. Иннокентия, и, наконец, хранителя королевских библиотек, Астаракианы, утрата которой для нас — непоправимое бедствие. Он погиб по дороге в Лион от руки еврей-кабалиста по имени Мозайд (*Judaea manu nefaudissima*, оставив потомству целый ряд неоконченных трудов и память о чудесных душевных беседах. Все обстоятельства его удивительной жизни и трагической кончины сообщены потомству его учеником Жаком Менетрие, прозванным *Турнеброшем* по той причине, что он был сыном содержателя харчевни на улице св. Иакова. Сей Турнеброш питал чувство глубокого и пылкого восхищения к тому, кого называл своим добрым учителем. «Это был, — говорил Турнеброш, — один из самых приятных умов, какие когда-либо украшали нашу землю». С правдивой простотой и непритязательностью он написал воспоминания об аббате Куаньяре, который оживает перед нами в этом творении, как Сократ в *Меморабилиях* Ксенофонта^[184].

Бережно, тщательно и любовно создал он портрет, полный жизни, проникнутый пламенной преданностью. Его произведение напоминает те портреты Эразма кисти Гольбейна, которые можно увидеть в Лувре, в Базельском музее и в Гэмптон-Корте, и тончайшим изяществом коих никогда не устает любоваться. Словом, он оставил нам подлинный шедевр.

Конечно, можно удивляться, почему он не позаботился опубликовать его. А ведь он сам мог бы выпустить его в свет, так как впоследствии стал книготорговцем, преемником г-на Блезе, державшего на улице св. Иакова книжную лавку «Под образом св. Екатерины». Быть может, оттого, что он проводил свои дни, зарывшись в книги, он опасался, что его листки только увеличат чудовищную грудку испачканной черной краской бумаги, которая истлевает в неизвестности у букинистов. Мы разделяем его опасения, когда, бродя по набережной, видим грошовой прилавки, где солнце и дождь постепенно обращают в прах страницы, написанные для бессмертия. Как те умильные черепа, которые Боссюэ посылал настоятелю Траппы^[185], дабы на них отдыхал взор отшельника, так зрелище этих прилавков наводит писателя на мысль о тщете писания. Со своей стороны могу признаться, что всякий раз, проходя между Королевским и Новым мостом, я глубоко чувствовал эту тщету. Я склонен думать, что ученик аббата Куаньяра не напечатал свое произведение потому, что, воспитанный столь достойным учителем, здраво судил о писательской славе и знал ей цену, то есть понимал, что она ничего не стоит. Он знал, что она ненадежна, изменчива, подвержена всяким превратностям и зависит от множества обстоятельств, которые сами по себе ничтожны и жалки. Наблюдая невежество, злобу и несовершенство своих современников, он не видел оснований надеяться, что их потомство сразу станет просвещенным, справедливым и совершенным. Он полагал только, что будущее, чуждое нашим распрям, отнесется к нам с равнодушием, которое заменит справедливость. Мы можем быть почти уверены, что всех нас, великих и малых, оно объединит в забвении и даст нам вкусить мирное равенство неизвестности. Но, даже если паче чаяния эта надежда обманет нас и в грядущих поколениях сохранится какое-то воспоминание о наших именах и писаниях, то

можно заранее сказать, что их представление о нашем образе мыслей будет всецело зависеть от тех хитроумных измышлений и лжемудрствований, которые одни только и сохраняют в веках память о гениальном творении. Долговечность великих произведений достигается жалкими умствованиями ученых педантов, которые своим напыщенным вздором дают пищу для забавных острот талантливым людям. Я осмеливаюсь утверждать, что ни один стих из «Илиады» и «Божественной Комедии» не сохранил в нашем понимании того смысла, какой был придан ему первоначально. Жить — значит меняться, и посмертная жизнь наших мыслей, запечатленных пером, подчиняется тому же закону: они продолжают свое существование, лишь непрерывно меняясь и становясь все более и более непохожими на то, какими они были, когда появились на свет, зародившись у нас в душе. То, чем будут восхищаться в нас грядущие поколения, нам совершенно чуждо.

Наверно, Жак Турнеброш, известный своим простодушием, и не задавался всеми этими вопросами по поводу маленькой книжки, вышедшей из-под его пера. Мы были бы несправедливы к нему, если бы позволили себе заподозрить его в таком самомнении.

Мне думается, я знаю его. Я размышлял над его книгой во всем, что он говорит, как и во всем, о чем он умалчивает, сказывается удивительная скромность его души. А если он все-таки сознавал свою даровитость, он так же хорошо сознавал, что именно это люди меньше всего склонны прощать другим; людям, которые на виду, прощают и низость души и коварство; мирятся с тем, что они трусливы и злы, и не так уже завидуют их богатству, когда видят, что оно ничем не заслужено. Людей посредственных охотно превозносят и возвеличивают окружающие их посредственности, которые прославляют в них самих себя. Слава заурядного человека никого не задевает. Она скорее даже тайно льстит толпе; но в таланте есть нечто дерзновенное, за что воздают глухой ненавистью и клеветой. Если Жак Турнеброш предусмотрительно отказался от горькой чести раздражать своим красноречивым пером толпу глупцов и злоязычников, можно только восхищаться его здравым смыслом и следует признать его достойным учеником мудрого наставника, хорошо знавшего людей. Как бы то ни было, рукопись Жака Турнеброша, оставшись неизданной, затерялась и пребывала в неизвестности более ста лет. На мою долю выпало редкое счастье обрести ее в лавчонке у антиквара; хозяин, торгующий на бульваре Монпарнас всяким старьем, выставил в грязном окне кресты Лилии, медали св. Елены и Июльские ордена^[186], не задумываясь над тем, какой печальный урок примиренчества преподносит он людям. Эта рукопись была опубликована моими стараниями в 1893 году под заглавием «Харчевня королевы Гусиные Лапы» (один томик в 18-ю долю листа большого формата). Отсылаю к ней читателя, который неожиданно для себя обнаружит там гораздо больше нового, чем, казалось бы, можно ждать от старой книги. Но сейчас речь идет не об этом произведении.

Жак Турнеброш не удовлетворялся тем, что запечатлел поступки и изречения своего учителя в связанном рассказе. Он восстановил в памяти и записал несколько бесед и рассуждений аббата Куаньяра, которые не вошли в мемуары (как следовало бы по-настоящему назвать «Харчевню королевы Гусиные Лапы»), а составили небольшую тетрадь, попавшую мне в руки вместе с прочими его бумагами.

Эту тетрадь я и публикую ныне под заглавием «Суждения господина Жерома Куаньяра». Добрый и благосклонный прием, оказанный читателями вышедшей недавно книге Жака Турнеброша, воодушевляет меня выпустить теперь и эти беседы, где бывший библиотекарь г-на епископа Сеэзского вновь обнаруживает и свою снисходительную мудрость и тот своеобразный, полный великодушия скептицизм, что отличает его суждения о людях, проникнутые мягким презрением и благожелательностью. Я не могу считать себя ответственным за мысли, которые высказывает этот философ по самым разнообразным

вопросам политики и морали; но, как издатель, я считаю себя обязанным представить взгляды моего автора в наиболее благоприятном освещении. Его независимый ум презирал избитые истины и никогда не присоединялся без критики к общему мнению, за исключением лишь того, что касалось католической веры, — в этом он был непоколебим. Во всем остальном он не боялся спорить с веком. И уже одно это внушает к нему уважение. Мы должны быть благодарны мыслителям, которые боролись с предрассудками. Но насколько легче прославлять этих людей, нежели подражать им. Предрассудки, как облака на небе, исчезают и снова появляются с той же неустанной подвижностью. Им свойственно повергать в трепет, прежде чем вызывать ненависть, и немного найдется людей, которые не испытали на себе власть суеверий своего века и осмеливались глядеть прямо в глаза тому, на что толпа страшится поднять взор. Аббат Куаньяр, при своем крайне скромном положении, был человеком независимым, и этого, я полагаю, достаточно, чтобы поставить его выше какого-нибудь Боссюэ и всяких прославленных особ, которые, занимая подобающее им место, блистают традиционной пышностью обычаев и верований.

Но если мы признаем, что аббат Куаньяр жил, как свободный человек, не поработанный заблуждениями толпы, что никакие призраки наших увлечений и ваших страхов не имели над ним ни малейшей власти, мы должны согласиться также, что этот замечательный ум отличался исключительно своеобразными взглядами на природу и на общество; и если он не поразил и не пленил человечество широкой и стройной системой мышления, то лишь потому, что ему не доставало ловкости или просто желания почаще подпираться истинами софизмами, как своего рода цементной прокладкой. Ибо только таким образом и воздвигаются великие философские здания: для того, чтобы они могли держаться, их скрепляют известью софистики. Дух системы, или, если угодно, искусство симметричных построений, был ему чужд. Не будь у него этого недостатка, он явился бы перед нами тем, чем был на самом деле, — иначе говоря, мудрейшим из моралистов, чудесно сочетающим в себе Эпикура и святого Франциска Ассизского.

На мой взгляд, эти двое — лучшие друзья страждущего человечества, повстречавшиеся ему в его бесконечных блужданиях. Эпикур освободил нас от пустых страхов и научил соразмерять идею счастья с жалкой человеческой природой и ее слабыми силами. Добрый святой Франциск, более нежный и чувственный, приобщил нас к блаженству через духовное созерцание и хотел, чтобы мы, следуя его примеру, познали радость, погрузившись в бездну восторженного одиночества. Оба они творили добро, один — разрушая обманывающие нас иллюзии, другой — создавая иллюзии, от которых не пробуждаются.

Но не следует ничего преувеличивать! Аббат Куаньяр, конечно, не может быть уподоблен ни своими делами, ни даже мыслью самому смелому из мудрецов и самому пылкому из святых. Он открывал истины, но не бросался в них как в бездну. В самых своих дерзновенных исследованиях он сохранял невозмутимость человека, который вышел спокойно прогуляться. Он распространял на себя то всеобъемлющее презрение, какое ему внушали люди. Ему не доставало драгоценной иллюзии, которая поддерживала Бэкона и Декарта и позволяла им, не верившим ни в кого, верить в самих себя. Он сомневался в истине, которую носил в себе, и, не мудрствуя, расточал сокровища своего ума. Он был лишен самоуверенности, присущей всем творцам идей: а ведь это и позволяет им считать себя превыше самых великих гениев. Такой недостаток не прощается, ибо слава приходит только к тем, кто ее домогается. У аббата Куаньяра это было не только слабостью, но и непоследовательностью. Коль скоро он доходил до крайнего предела философических дерзаний, ему надлежало, не колеблясь, провозгласить себя первым из людей. Он же был простосердечен и чист душой, и неспособность его ума ставить себя превыше всего нанесла

ему непоправимый вред. Но, быть может, именно за это я и люблю его.

Я не побоюсь сказать, что аббат Куаньяр, философ и христианин, бесподобно сочетает в себе эпикуреизм, ограждающий нас от страданий, и святую простоту, дающую радость.

Замечательно, что он не только принял идею бога в том виде, как она была внушена ему католической верой, но даже пытался обосновать ее доводами разума. Он не подражал практичной ловкости заправских деистов, которые приспособливают бога для своих надобностей, превращая его в моралиста, филантропа и скромника, и таким образом пребывают с ним в полном согласии. Тесные отношения, которые у них устанавливаются с богом, придают их писаниям немалый авторитет, а им самим доставляют почет и уважение в обществе. И вот этот правящий, умеренный, спокойный бог, чуждый всякого фанатизма, бог со светскими связями, покровительствует им в разных собраниях, салонах и академиях. Но аббат Куаньяр отнюдь не допускал мысли, что всевышний может представлять собою нечто столь полезное. Однако, полагая, что нельзя постигнуть вселенную иначе, как в категориях разума, и что мир следует считать познаваемым, даже если поставить себе целью доказать его нелепость, он считал первопричиной всего некое разумное начало, которое и называл богом, оставляя за этим понятием всю его бесконечную растяжимость, а во всем прочем полагаясь на теологию, каковая, как известно, трактует непознаваемое с самой скрупулезной точностью.

Эта ограничительная ссылка, определяющая пределы его познания, была для него счастливой находкой, ибо, как я полагаю, именно она удержала его от соблазна попасться на приманку той или иной завлекательной философской системы и уберегла его от тех мышеловок, в которые мигом попадают вольнодумцы. Обжившись в просторном старом капкане, он обнаружил в нем немало лазеек, через которые мог познавать мир и наблюдать природу. Я не разделяю его религиозных убеждений и считаю, что он обманывался, так же как, на радость себе или на горе, обманывалось уже столько людских поколений. Но мне кажется, что старые ошибки не столь досаждают, как новые, и если уж нам суждены заблуждения, то уж лучше держаться тех, что стерлись от времени.

Во всяком случае несомненно, что аббат Куаньяр, признавая христианские и католические догматы, не боялся делать из них весьма своеобразные выводы. На корнях правоверия буйная душа его расцвела изумительным цветом эпикуреизма и смирения. Я уже говорил, что он постоянно стремился разогнать все эти ночные призраки, пустые страхи или, как он выражался, всю эту готическую чертовщину, которая превращает благочестивую жизнь честного горожанина в какой-то пошлый повседневный шабаш. Наши современные богословы обвиняли аббата Куаньяра в том, что он, уповая на спасение, впадал в крайности, которые граничат с безнравственностью. Я натолкнулся на эти упреки и в сочинении одного прославленного философа^[187]. Не знаю, действительно ли аббат Куаньяр чрезмерно уповал на милость господню. Но можно не сомневаться, что он понимал благодать в самом широком, естественном смысле, в силу чего мир в его глазах менее напоминал пустыню Фиваидскую, нежели сады Эпикура. Он прогуливался в этих садах с тем дерзким простодушием, которое является отличительной чертой его характера и основой его учения.

Никогда еще мысль человеческая не проявляла себя столь дерзновенно и вместе с тем столь миролюбиво и не смягчала презрение свое такой кротостью. В его поучениях вольность философов-циников сочетается с чистотой первых монахов обители священной Порциункулы^[188]. Он презирал людей, но презирал их с любовью. Он пытался внушить им, что если в них и заложена крупца чего-либо великого, так это лишь их способность

страдать, а посему они не могут вместить в себя ничего полезного или прекрасного, кроме сострадания, и поскольку им дано только желать и страдать, они должны воспитывать в себе добродетели снисходительные и улаживающие. Все это привело его к заключению, что гордость является источником величайших зол и единственным преступлением против природы.

Надо думать, люди и в самом деле становятся несчастными из-за преувеличенного представления о себе самих и своих ближних, а будь у них более скромное, более правильное представление о природе человеческой, они были бы добрее и к другим и к себе. Эта благожелательность к людям и побуждала аббата Куаньяра принижать ближних своих в их образе мыслей, их познаниях, их философии, их установлениях. Он стремился показать им, что их глупая природа не изобрела и не выдумала ничего такого, что стоило бы горячо оспаривать или защищать, и что если бы они сознавали, сколь грубы и шатки их величайшие творения, как, например, законы и государства, то могли бы только играть в войну, забавляясь, как дети, которые возводят замки из песка на берегу моря.

Поэтому не следует ни удивляться, ни возмущаться по поводу того, что он принижал все те идеи, с помощью которых человек стремится обрести славу и почести в ущерб собственному спокойствию. Величие законов не потрясло его прозорливый дух, и он сожалел, что несчастные люди взваливают на себя столько разных обязательств, ни смысла, ни происхождения которых обычно невозможно доискаться. Все принципы казались ему одинаково спорными. Это привело его к убеждению, что граждане лишь потому и обрекают на позор и бесчестие множество своих ближних, чтобы, сравнивая себя с ними, наслаждаться своей добропорядочностью. Поэтому он предпочитал дурное общество хорошему, по примеру того, кто жил среди мытарей и блудниц^[189]. Он сохранял в этой среде чистоту сердца, дар сострадания и сокровища милосердия. Я не буду здесь говорить о его деяниях, описанных в «Харчевне королевы Гусиные Лапы». Я не задавался вопросом, был ли он, как говаривали о г-же де Муши, достойнее своей жизни. Мы не вполне распоряжаемся своими поступками, они меньше зависят от нас, нежели от случая. Они внушаются нам разными обстоятельствами, и мы не всегда заслуживаем того, что выпадает на нашу долю. Наша неуловимая мысль — вот в сущности и все, чем мы по-настоящему владеем. Отсюда-то и проистекает суетность людских суждений. Тем не менее я с удовольствием отмечаю, что люди тонкого ума все без исключения почитали г-на аббата Куаньяра приятным и любезным человеком. И одни только фарисеи могут не видеть в нем прекрасное творение божие! А теперь, после того как я это сказал, поспешу вернуться к его воззрениям, ибо они-то и представляют собою суть книги.

Аббату Куаньяру было не свойственно чувство преклонения. Природа отказала ему в нем, а сам он не сделал ничего, чтобы его приобрести. Он опасался, превознося одних, унижить других, и его всеобъемлющее милосердие одинаково осеняло и смиренных и гордецов. Правда, оно простиралось с большей заботливостью на пострадавших, на жертвы, но и сами палачи казались ему слишком презренными, чтобы внушать к себе ненависть. Он не желал им зла, он только жалел их за то, что в них столько злобы.

Он не верил, что какие-либо кары, узаконенные или произвольные, приводят к чему-нибудь иному, кроме умножения зла. Он не находил удовольствия ни в ехидных выпадах, продиктованных жаждой мести, ни в величественной жестокости законов, а если ему случалось улыбнуться, когда при нем били полицейского, то это был просто отклик плоти и крови да врожденная веселость.

Короче говоря, у него было весьма простое и ясное представление о зле. Он всецело приписывал его человеческой природе и естественным побуждениям организма, не усложняя

этого представления всяческими предрассудками, которые в сводах законов приобретают искусственную прочность. Я уже говорил, что он не создал никакой системы, ибо не был склонен обходить трудности при помощи софизмов. Очевидно, с первой же трудностью он столкнулся в своих размышлениях о том, какими средствами можно утвердить счастье или хотя бы мир на земле. Он был убежден, что человек по природе своей — очень злое животное и человеческие общества потому так скверны, что люди создают их согласно своим склонностям. Поэтому он и не верил, что может получиться что-нибудь хорошее, если человек вернется к природе. Сомневаюсь, изменил ли бы он свое мнение, если бы дожил до более поздней поры и мог бы прочесть «Эмиля»^[190]. К тому времени, когда г-н Жером Куаньяр скончался, Жан-Жак еще не успел потрясти мир пламенным красноречием самой неподдельной чувствительности, которая уживалась у него с самой извращенной логикой. Он был тогда всего лишь малолетним бродягой, которому на скамейках пустынного парка в Лионе встречались, на его беду, совсем не такие аббаты, как г-н Жером Куаньяр. Можно пожалеть, что г-н Куаньяр, который знал всяких людей, не столкнулся случайно с юным приятелем г-жи де Варенс^[191]. Но, пожалуй, это была бы всего лишь забавная сценка, картина в романтическом духе: Жан-Жаку вряд ли пришлась бы по вкусу скептическая мудрость нашего философа. Трудно вообразить что-либо менее похожее на философию Руссо, чем философия аббата Куаньяра. Его философия проникнута доброжелательной иронией. Она снисходительна и покладиста. Основываясь на человеческой немощности, она имеет под собой твердую опору. А философии Руссо недостает счастливого сомнения и легкой усмешки. И так как она зиждется на мнимом фундаменте естественного добра, якобы присущего роду человеческому, то оказывается в очень неудобном положении и не замечает, насколько оно смешно. Это — философия людей, которые никогда не смеялись. Ее замешательство выражается в дурном настроении. Она не умеет быть обходительной. Все это было бы еще терпимо, но она тащит человека назад к обезьяне^[192] и неосновательно возмущается, когда видит, что обезьяна лишена добродетели. Поэтому такая философия бессмысленна и жестока. И это стало ясно для всех, когда государственные деятели вздумали применить «Общественный договор» к наилучшей из республик^[193].

Робеспьер чтит память Руссо. Аббат Куаньяр показался бы ему дурным человеком. Я бы не упомянул об этом, если бы Робеспьер был извергом. Напротив, это был человек великого ума и неподкупной честности. К несчастью, он был оптимистом и верил в добродетель. Вопреки своим самым благим намерениям государственные деятели подобного склада приносят наибольший вред. Если уж человек берется управлять людьми, он не должен упускать из виду, что они — просто гадкие обезьяны. Только при этом условии можно быть гуманным и доброжелательным политическим деятелем. Безумие Революции заключалось в том, что она хотела утвердить на земле добродетель. А когда людей хотят сделать добрыми, умными, свободными, умеренными, великодушными, то неизбежно приходят к тому, что жаждут перебить их всех до одного. Робеспьер верил в добродетель — и создал террор. Марат верил в справедливость — и требовал двести тысяч голов. Пожалуй, среди мыслителей XVIII века аббат Куаньяр больше всех расходился в своих принципах с принципами Революции. Он не подписался бы ни под единой строкой из «Декларации прав человека»^[194] по причине того чрезмерного и несправедливого различия, которое проводится в ней между человеком и гориллой.

На прошлой неделе меня посетил один мой приятель-анархист, который достаивает

меня своей дружбы и которого я люблю потому, что, пока его еще не допустили к управлению страной, он сохранил много наивного простодушия. Он только потому и жаждет взорвать все, что считает людей хорошими и добродетельными от природы. Он полагает, что если их освободить от собственности, избавить от законов, с них сразу же слетит эгоизм и порочность. К этой дикой жестокости его привел самый что ни на есть мягкий оптимизм. Вся его беда и преступление в том, что он, обреченный быть поваром, обладает нездешней душой, которая вполне подошла бы для золотого века. Это своего рода Жан-Жак, очень простой и очень честный, который не растерялся бы при виде г-жи Удето и не размяк бы от благородной учтивости маршала Люксембургского^[195]. Душевная чистота не позволяет ему отступить от своей логики и делает его поистине страшным. Он рассуждает лучше всякого министра, но исходит из нелепых предпосылок. Он не верит в первородный грех, а ведь на этом прочном и незыблемом догмате можно было построить все, что ни вздумается.

Как жаль, что вы не встретились с ним у меня в кабинете, господин аббат Куаньяр, вы доказали бы ему ошибочность его учения! Вы не стали бы толковать с этим благородным утопистом о благах цивилизации и интересах государства. Вы-то понимали, что все это чепуха, и неприлично угощать ею бедняков; вы-то понимали, что общественный порядок — это просто организованное насилие и что всякий сам может судить, какой от него толк. Но вы нарисовали бы ему подлинную и страшную картину того естественного строя, который он жаждет восстановить; вы показали бы ему в той идиллии, о которой он мечтает, бесконечное множество кровавых и трагических междоусобиц, а в его блаженной анархии — зачатки чудовищной тирании.

Теперь пора перейти к взглядам аббата Куаньяра, которые он высказывал в кабачке «Малютка Бахус», рассуждая о правительствах и народах. Он не питал уважения ни к общественным собраниям, ни к властям предержащим. Он даже подвергал сомнению силу святого миропомазания, — в его время такой же священный принцип государства, как в наши дни всеобщее избирательное право. Подобное свободомыслие, которое в те времена, наверно, возмутило всех французов, теперь уже нас не коробит. Но оправдывать горячность его высказываний злоупотреблениями старого режима — значит плохо понимать нашего философа. Аббат Куаньяр не видел большого различия между образом правления, именуемым самодержавным, и теми, что именуются свободными, и мы можем предположить, что, доживи он до наших дней, он сохранил бы немалую долю того благородного негодования, которым было преисполнено его сердце.

Поскольку он всегда добирался до самых основ, он несомненно обнаружил бы суетность наших установлений. Я сужу об этом по одному из его высказываний, которое дошло до нас. «При народовластии, — говорил аббат Куаньяр, — люди подчинены своей собственной воле, а это — тяжкое рабство. В действительности своя воля не менее враждебна народу, чем воля монарха. Ибо общая воля присутствует очень мало или вовсе не присутствует в отдельном человеке, тогда как гнет ее ощущается каждым полностью. А всеобщее избирательное право — это такая же приманка для простаков, как тот голубь, что принес в клюве святое миро. Власть народа, так же как и власть монарха, опирается на выдумки и изворачивается как умеет. Все дело в том, чтобы заставить поверить в эти выдумки и извернуться половчее».

Это рассуждение позволяет предположить, что и в наши дни аббат Куаньяр сохранил бы то же насмешливое и гордое свободомыслие, которым он украсил душу свою во времена королей. Однако он никогда не стал бы революционером. Для этого ему не доставало

иллюзий, и он не считал, что государственный строй должен быть ниспровергнут чем-либо иным, кроме тех слепых и глухих сил, медлительных и неодолимых, которые сокрушают все. Он полагал, что тот или иной народ в то или иное время может управляться только одним определенным образом по той причине, что нации суть тела и отправления их зависят от устройства организма и состояния органов, то есть от страны и населяющего ее народа, а никак не от государственного строя, который подгоняется к народу, как платье подгоняется к фигуре человека.

«Беда в том, — говорил он, — что с народами вечно та же история, что с арлекинами и паяцами в ярмарочных балаганах. Их ветхая одежда всегда или чересчур широка, или слишком обужена, нескладна, смешна, изъедена молью, вся в пятнах и кишит паразитами. Ее можно еще кое-как привести в порядок, если осторожно вытрясти, заштопать тут и там, а если нужно — пройтись легонько ножницами, дабы избежать лишних затрат на приобретение другой, такой же скверной; не следует упрямо сохранять одежду, когда из нее уже выросли, когда тело с возрастом приобрело другие формы».

Отсюда видно, что аббат Куаньяр признавал порядок наряду с прогрессом и в сущности был не плохим гражданином. Он никогда не подстрекал к мятежу и предпочитал, чтобы введенные порядки изнашивались и приходили в негодность сами собой, а не опрокидывались и ниспровергались сокрушительными ударами. Он постоянно внушал своим ученикам, что самые суровые законы чудесным образом сглаживаются от употребления и что куда вернее положиться на милосердие времени, нежели на людское милосердие. Что же касается возможности перекроить смаху беспорядочное нагромождение законов, на это он не возлагал никаких надежд, да и не стремился к этому, ибо не очень-то полагался на благодетельные результаты скороспелого законодательства. Жак Турнеброш иной раз спрашивал своего наставника, не опасается ли он, как бы его критическая философия, задевающая основу необходимых учреждений, которые он сам же почитает таковыми, не сокрушила раньше времени то, что надлежит сохранить.

— Зачем же, — говорил его верный ученик, — зачем же, о лучший из учителей, обращать во прах основы нрава, судопроизводства, законов и вообще всех установлений гражданских и военных, коль скоро вы сами признаете, что необходимы и право, и суд, и армия, и блюстители порядка, и стражники?

— Сын мой! — отвечал г-н аббат Куаньяр. — Я всегда замечал, что бедствия людские проистекают из предрассудков подобно тому, как пауки и скорпионы появляются из мглы погребов и сырости огородов. Недурно пройтись иногда скребком и метлой по темным углам, недурно также пошаркать мотыгой по стенам погреба и по забору сада, чтобы пугнуть всю эту нечисть и дать обвалиться тому, что уже готово обрушиться.

— Я бы рад согласиться с этим, — отвечал кроткий Турнеброш, — но когда вы сокрушите все устои, о учитель, что же останется вместо них?

На это учитель отвечал так:

— Когда все ложные устои рухнут, останется общество, ибо оно зиждется на необходимости, чьи законы, более древние, чем Сатурн, будут править и после того, как Прометей свергнет Юпитера с его трона.

Со времени, когда г-н аббат Куаньяр вел эту беседу, Прометей уже несколько раз свергал Юпитера, и предсказания мудреца оправдались с такой точностью, что ныне уже сомневаются, не восседает ли древний Юпитер по-прежнему на своем престоле, — до такой степени новый строй напоминает старый. Многие даже вовсе отрицают пришествие Титана. На его груди, говорят они, не видно следов той раны, которую нанес ему орел несправедливости, терзая его сердце своим клювом, а она должна кровоточить вечно. Ему

неведомы муки и мятежная горечь изгнания. Это не тот бог-труженик, который был нам обещан и которого мы так ждали. Это все тот же тучный Юпитер с древнего осмеянного Олимпа. О, когда же явится к нам мощный друг человечества, даятель огня, Титан, все еще прикованный к скале своей? Грозный гул доносится с горы, — это он, наконец, расправляет свои истерзанные плечи над скалой произвола, и мы издали чувствуем на себе его пламенное дыхание.

Чуждый всяких дел, г-н Куаньяр был склонен к отвлеченной мысли и охотно прибегал к широкому обобщениям. Эта склонность его ума, которая могла повредить ему в глазах современников, теперь, по истечении полутора лет, придает его рассуждениям известную ценность и несомненную полезность. Мы можем по ним научиться лучше судить о наших современных нравах и распознавать то, что в них есть дурного.

Несправедливость, глупость, жестокость не поражают никого, когда они вошли в обычай. Мы видим все это у наших предков, но не видим у себя. А поскольку в истории прошлого нет ни одной эпохи, когда бы человек не представлял перед нами вздорным, несправедливым и жестоким, было бы просто чудом, если бы наш век, по счастливому исключению, оказался избавленным от глупости, коварства и жестокости. Суждения г-на аббата Куаньяра могли бы помочь нам потребовать отчета у своей совести, если бы мы не уподобились тем идолам, у которых очи не видят и уши не слышат. Достаточно нам было бы проявить немного доброй воли и беспристрастия, и мы очень скоро убедились бы, что наши своды законов — это гнездилища несправедливостей, что в наших нравах мы сохраняем унаследованную нами жестокость, алчность и гордыню, что мы почитаем одно только богатство и совсем не уважаем труд; установившийся у нас порядок вещей предстал бы перед нами таким, каков он на самом деле, — убогим, преходящим порядком, который справедливостью самого хода вещей, за отсутствием людской справедливости, осужден на гибель и уже начинает разрушаться. Наши богачи оказались бы в наших глазах столь же безмозглыми, как тот майский жук, который продолжает глотать древесный лист, хотя жучок, проникший в его тело, уже пожирает его внутренности. Мы не позволили бы усыплять себя плоской и лживой превыспренней болтовней наших государственных деятелей; нам показались бы жалкими наши экономисты, препирающиеся между собой о стоимости обстановки в доме, объятom пожаром. В беседах аббата Куаньяра мы видим пророческое презрение к великим принципам нашей Революции и к демократическим правам, именем которых мы вот уже сто лет, прибегая к всевозможным насилиям и захватам, создаем пеструю вереницу рожденных мятежами правительств, сами же при этом без малейшей иронии осуждаем мятежи. Если бы мы позволили себе чуть-чуть посмеяться над этими нелепостями, которые казались величественными и нередко оказывались кровавыми; если бы мы, приглядевшись, обнаружили, что современные предрассудки, точь-в-точь как и предрассудки давних дней, приводят к тем же результатам, уродливым или смешным, если бы мы научились судить друг о друге с благожелательным скептицизмом, то бесконечные распри в самой прекрасной стране мира несколько поутихли бы, а воззрения г-на аббата Куаньяра были бы достойной лептой на благо человечества.

Анатоль Франс

I. Правители

В тот день после обеда г-н аббат Жером Куаньяр зашел по своему обыкновению в книжную лавку г-на Блезю «Под образом св. Екатерины» на улице св. Иакова. Увидев на полке сочинения Жана Расина, он взял один из томов и начал небрежно его перелистывать.

— Сей поэт был не лишен таланта, — сказал он нам, — и если бы он додумался до того, чтобы писать свои трагедии латинскими стихами, ему была бы честь и хвала, в особенности за его «Гофолию», из которой видно, что он недурно разбирался в политике^[196]. Корнель в сравнении с ним пустой фразер. Эта трагедия, изображающая воцарение Иоаса, показывает нам некоторые тайные пружины, от действия коих возникают и распадаются государства. И надо полагать, господин Расин обладал той проницательностью ума, каковую надо ценить превыше всех напыщенных красот поэзии и красноречия, представляющих собой просто-напросто искусные ухищрения ораторов для развлечения зевак. Возвеличивать человека — свойство слабого ума, пребывающего в заблуждении касательно истинной природы адамова племени, которое по существу своему ничтожно и достойно жалости. Я сказал бы, что человек нелепое животное, и воздерживаюсь от этого только потому, что господь наш Иисус Христос пролил за него свою бесценную кровь. Человеческое благородство зиждется исключительно на этом непостижимом таинстве, а сами по себе смертные, и малые и большие, просто отвратительные, дикие звери.

Господин Роман вошел в лавку как раз в ту минуту, когда мой добрый учитель произносил последние слова.

— Так, так, господин аббат! — вскричал сей просвещенный муж. — Вы забываете, что эти отвратительные, дикие звери подчинены, по крайней мере в Европе, превосходному управлению и что такие государства, как французское королевство или голландская республика, весьма далеки от дикости и грубости, которые вас так оскорбляют.

Мой добрый учитель поставил на место том Расина и возразил г-ну Роману со своей обычной учтивостью:

— Я готов признать, сударь, что поступки государственных деятелей приобретают известную стройность и ясность в творениях философов, кои о них трактуют, и в вашем сочинении «О монархии» меня глубоко восхищают связность и последовательность идей. Но разрешите мне, сударь, воздать честь вам одному за те превосходные рассуждения, которые вы приписываете великим политикам прошлых и нынешних дней. Они не обладали умом, коим вы их наделяете; эти прославленные люди, которые якобы управляли миром, сами были всего лишь жалкой игрушкой в руках природы и случая. Они не возвышались над человеческой глупостью и, по сути говоря, были всего лишь блистательными ничтожествами.

Господин Роман, нетерпеливо слушавший эту речь, схватил старый атлас и начал размахивать им, производя сильный шум, который смешивался с его зычным голосом.

— Какое ослепление! — вскричал он. — Как? Отрицать деятельность великих правителей, великих граждан! Неужели вы до такой степени неосведомлены в истории и не видите, что люди, подобные Цезарю, Ришелье, Кромвелю, месили народ, как горшечник месит глину? Неужели вы не видите, что государство в их руках подобно часам в руках часовщика?

— Нет, отнюдь не вижу, — возразил мой добрый учитель. — За те пятьдесят лет, что я живу на свете, я имел возможность наблюдать, как в этой стране много раз менялось правительство, и это никак не отражалось на жизненных условиях людей, если не считать того неощутимого прогресса, который нисколько не зависит от человеческой воли. Из этого я заключаю, что в сущности почти безразлично, тем ли, или другим способом нами управляют, и что важность и внушительность министрам придает только их одежда да кареты.

— И вы можете говорить так, — воскликнул г-н Роман, — чуть ли не на другой день после кончины министра^[197], который некогда вершил дела государства, а ныне, после долгой опалы, скончался в то самое время, когда власть и почет снова возвратились к нему? По тому, какой шум вызвала кончина этого человека, вы можете судить о влиянии его деятельности. Оно надолго переживет его.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — этот министр был честный человек, рачительный и прилежный, и о нем, как о господине Вобане^[198], можно сказать, что он обладал слишком большой учтивостью, чтобы выставлять ее напоказ, ибо он никогда не старался кому-либо понравиться. Я считаю его особенно достойным похвалы за то, что, оставаясь на государственном посту, он совершенствовал себя, в противовес многим другим, кои развращаются на службе. Это был человек сильный духом, с глубоким сознанием величия своей страны. И еще я хвалю его за то, что он спокойно нес на своих могучих плечах ненависть торгашей и мелкой знати. Даже его враги втайне питали к нему уважение. Но что он сделал такого значительного, сударь, и на каком основании вы считаете его чем-то иным, а не игрушкой ветров, бушевавших кругом него? Иезуиты, которых он изгнал, снова вернулись, малая религиозная война, которую он разжег, дабы потешить народ, угасла, и после празднества остался лишь смрадный каркас дрянного фейерверка. Я готов согласиться, что у него был дар развлекать, или, вернее, отвлекать народ. Его сторонники, которых ему благодаря случайности и разным уловкам удалось сплотить вокруг себя, не постеснялись еще при его жизни присвоить себе другое имя и сменить вместе с именем и своего вождя, не изменяя программы. Так его клика, продолжая приспособляться к обстоятельствам, осталась в этом верна своему учителю и самой себе. Ужели вы считаете, что подобные деяния поражают своим величием?

— Деяния поистине великолепные! — отвечал г-н Роман. — И даже если бы этот министр ограничился лишь тем, что вызволил искусство управления из дебрей метафизики и заставил его служить насущным нуждам, я за одно это почитал бы его достойным всяческих похвал. Вы говорите, что он нашел себе приверженцев благодаря случайности да уловкам. А что еще нужно, чтобы успешно управлять людскими делами, как не умение пользоваться благоприятным случаем и прибегать к полезным уловкам? Так он и поступал или по крайней мере поступал бы, если бы трусливая неустойчивость друзей и коварная дерзость противников не были ему постоянной помехой. Но он выбился из сил в тщетных попытках усмирить врагов и укрепить сторонников. Ему недоставало двух необходимых орудий — времени и людей, — дабы утвердить свой благодетельный деспотизм. Но во всяком случае он разработал превосходные проекты внутренней политики. А что касается внешней, вы не должны забывать, что он подарил своей стране обширные и богатые владения. И мы должны быть ему тем более благодарны, что он совершил эти счастливые завоевания один, вопреки воле парламента, от коего зависел.

— Сударь, — отвечал мой добрый учитель, — он проявил настойчивость и смекалку в колониальных делах, но, пожалуй, не больше, чем любой горожанин, приобретающий участок земли. Но что мне всегда претит в морских операциях, так это вошедшее ныне в привычку обращение европейцев с народами Африки и Америки. Белые, едва только они

сталкиваются с желтыми или черными, почитают себя вынужденными истреблять их. С дикарями расправляются посредством самого изощренного дикарства. Все колониальные экспедиции заканчиваются подобными крайностями. Я не отрицаю, что испанцы, голландцы и англичане достигли таким способом известных преимуществ; но обычно в эти крупные и жестокие авантюры пускаются на риск, на удачу. Что значит разум и воля одного человека для экспедиций, в коих заинтересованы торговля, земледелие, судоходство и все зависит от несметного множества маленьких людей. Роль министра в подобных делах крайне ничтожна, и если она представляется нам сколько-нибудь значительной, то лишь потому, что ум наш, напичканный мифологией, стремится дать наименование и облик всем тайным силам природы. Что нового внес ваш министр в колониальную политику, чего бы не знали финикийцы еще во времена Кадма?^[199] При этих словах г-н Роман выронил из рук атлас, а книгопродавец тихонько подошел и поднял его.

— Господин аббат, я с прискорбием убеждаюсь, что вы софист, — сказал г-н Роман. — Ибо только софист может припутать Кадма и финикийцев к колониальным завоеваниям покойного министра. Вы не можете отрицать, что эти завоевания были делом его рук, и вы недостойно приплетаете сюда этого Кадма, чтобы сбить нас с толку.

— Сударь, — отвечал аббат, — оставим в покое Кадма, ежели он вас раздражает; я хочу только сказать, что министр играет ничтожную роль в собственных начинаниях и поэтому не заслуживает ни славы, ни осуждения. Я хочу сказать, что, если в жалкой комедии жизни и кажется со стороны, будто монархи повелевают, а народы послушно выполняют их волю, так это всего-навсего игра, пустая видимость, на самом же деле теми и другими управляет незримая сила.

II. Святой Авраамий

В тот летний вечер, когда уже стемнело и вокруг фонаря «Малютки Бахуса» плясала роем мошकारа, г-н аббат Куаньяр наслаждался прохладой на паперти храма св. Бенедикта Увечного. Он, как обычно, предавался размышлениям, когда подошла Катрина и села рядом с ним на каменную скамью. Мой добрый учитель любил воздавать хвалу господу в его творениях. Ему доставляло удовольствие смотреть на эту пригожую девушку, а так как он обладал умом веселым и цветистым, то стал говорить ей приятные слова. Он похвалил ее за то, что она умница и умна не только своим язычком, но и грудка у нее умная и все прочие статьи, а улыбается она не только устами и щечками, но всеми ямочками и прелестными изгибами своего тела; и потому-то так несносны скрывающие ее одежды, что они не позволяют видеть, как она смеется вся.

— Раз уж нам все равно положено грешить на этой земле, — говорил он, — и никто, кроме тех, что пребывают в гордыне, не может почитать себя непогрешимым, я хотел бы, милочка, лишиться господней благодати возле вас, если, конечно, на то будет ваша добрая воля. Для меня в этом было бы два неоценимых преимущества: во-первых, я согрешил бы с редким удовольствием и с несказанным наслаждением, во-вторых, могущество ваших чар было бы мне оправданием, ибо несомненно в Книге Суда написано, что прелести ваши неотразимы. И сие должно быть принято во внимание. Бывают неразумные люди, которые предаются блуду с женщинами некрасивыми и плохо сложенными. Поступая таким образом, эти несчастные рискуют погубить свою душу, ибо они грешат ради того, чтобы согрешить, и, усердствуя во грехе, творят зло. Тогда как такая прельстительная кожа, как у вас, Катрина,

является оправданием пред очами всевышнего. Ваши прелести чудеснейшим образом смягчают вину, ибо она, будучи невольной, становится простительной. Скажу без утайки, милочка, возле вас я чувствую, как божья благодать покидает меня и стремительно уносится ввысь. Вот сейчас, когда я говорю с вами, она уже почти исчезла, от нее осталась только крохотная беленькая точка вон над теми крышами, где коты на карнизах предаются любви с яростным визгом и детскими воплями, меж тем как луна бесстыдно восседает на дымовой трубе. Все, что открыто моему взору в вашей особе, Катрина, волнует меня, а то, чего я не вижу, волнует еще более.

Слушая эти слова, Катрина опустила глаза и уставилась на свои колени, а потом украдкой скользнула блестящим взором по лицу аббата Куаньяра.

И нежнейшим голосом сказала:

— Я вижу, вы желаете мне добра, господин Жером, так пообещайте мне сделать то, о чем я вас попрошу; я буду вам за это так благодарна!

Мой добрый учитель пообещал. Кто бы не сделал этого на его месте!

Тогда Катрина с живостью заговорила:

— Вы знаете, господин Жером, что аббат Ла Перрюк, викарий прихода святого Бенедикта, обвиняет брата Ангела, будто тот украл у него осла; и вот теперь он подал на него жалобу духовному судье. А все это клевета и напраслина. Добрый брат просто взял осла на время, развозить реликвии по деревням. А осел дорогой потерялся. Реликвии-то потом нашлись. И это, конечно, самое главное, как говорит брат Ангел. Но аббат Ла Перрюк требует своего осла и слушать ничего не хочет. И добьется того, что бедного братца посадят в епархиальную темницу. Только вы один и можете смягчить гнев этого священника и уговорить его взять обратно свою жалобу.

— Но у меня, милочка, нет никакой возможности это сделать, — отвечал аббат Куаньяр, — да и ни малейшей охоты!

— Ах! — вздохнула Катрина, подсаживаясь к нему поближе и поглядывая на него с притворной нежностью. — На что бы я годилась, коли бы не могла внушить вам охоту! А что до возможности, то она у вас есть, господин Жером, она у вас есть. Вам не будет стоять никакого труда спасти бедного братца. Нужно только поднести господину Ла Перрюк восемь проповедей на великий пост и четыре на рождественский. У вас так складно выходят проповеди, что вам, должно быть, одно удовольствие их сочинять. Напишите двенадцать проповедей, господин Жером, напишите их вот теперь же. А я сама приду к вам за ними в вашу каморку на кладбище святого Иннокентия. Господин Ла Перрюк, который такого высокого мнения о вашей учености и заслугах, считает, что дюжина ваших проповедей стоит одного осла. И как только он получит всю дюжину, он возьмет свою жалобу обратно. Он сам это сказал. Ну, что для вас двенадцать проповедей, господин Жером? И я вам обещаюсь произнести аминь в конце последней. Ведь вы же мне пообещали, — прибавила она, обнимая его за шею.

— Ну, нет! — решительно сказал г-н Куаньяр, сбрасывая хорошенькие ручки, лежавшие на его плечах. — Отказываюсь наотрез. Обещания, которые даешь пригожей девушке, обязывают только нашу плоть и нарушить их нет греха. Не рассчитывайте, моя красавица, что я стану спасать вашего любезного бородача из рук духовного судьи. И если бы я взялся написать одну, две или даже дюжину проповедей, так это были бы проповеди против дурных монахов, которые позорят церковь и липнут, как мухи, к одежде святого Петра. Этот брат Ангел — мошенник. Он подсовывает благочестивым женщинам под видом реликвий бараньи и свиные кости после того, как сам с омерзительной жадностью обглодает их дочиста. Бьюсь об заклад, что на осле господина Ла Перрюка у него было перо из крыла

архангела Гавриила и луч от звезды, которая указывала путь волхвам, а в какой-нибудь маленькой скляночке немножко звона тех самых колоколов, что звонили на колокольне храма Соломонова. Он неуч, он враль, и вы его любите. Вот три причины, по которым он мне не нравится. Предоставляю вам самой, милочка, судить, какая из них самая веская. Очень может быть, что это окажется наименее возвышенная, ибо, признаюсь, что я сейчас вождедел к вам с такой силой, которая отнюдь не подобает ни возрасту моему, ни сану, Но не извольте ошибаться: я весьма живо ощущаю, какой ущерб этот ваш любовник в монашеской рясе наносит церкви господа бога нашего Иисуса Христа, коей весьма недостойным членом я себя почитаю, И пример этого капуцина вызывает во мне такое отвращение, что у меня внезапно явилось желание поразмыслить над какими-нибудь прекрасными строками святого Иоанна Златоуста вместо того, чтобы тереться коленями о ваши коленки, чем я занимаюсь вот уж добрую четверть часа. Ибо похоть грешника преходяща, а слава господня длится во веки веков. Я никогда не придавал слишком большого значения плотскому греху. В этом мне можно отдать справедливость. Я не прихожу в ужас по примеру господина Никодема из-за такой малости, как шашни с хорошенькой девушкой. Но чего я не выношу, так это низости душевной, лицемерия, вранья, тупого невежества, словом, всего того, чем отличается ваш брат Ангел, ибо он истый капуцин. Якшаясь с ним, мадемуазель, вы привыкаете к такому грязному распутству, которое роняет вас в вашем звании веселой девицы. Я знаю, что в вашем ремесле приходится сносить много унижений и горестей, и все же это несравненно достойнее, чем быть капуцином. Этот мошенник грязнит вас, как он грязнит все, к чему прикасается, вплоть до сточной канавы на улице святого Иакова, которую он мутит своими ногами. Подумайте, мадемуазель, о всех тех добродетелях, коими вы еще могли бы украсить даже при своем сомнительном ремесле, а ведь и единая из них могла бы однажды открыть вам врата рая, не будь вы так слепо преданны и подчинены этой грязной скотине.

Не отказываясь от того, что вам как-никак полагается получать от гостя, вы все же могли бы блюсти себя, Катрина, украшаться верой, надеждой и милосердием, любить бедных и посещать больных, вы могли бы раздавать милостыню, утешать страждущих и радоваться невинно, созерцая небо, воды, леса и поля. Вы могли бы по утрам, распахнув окно, славить господа, внимая щебету птиц; в дни паломничества вы могли бы взойти на гору святого Валериана и там, у подножья креста, оплакивать тихими слезами свою утраченную невинность; словом, вы могли бы заслужить, чтобы тот, кто читает в сердцах людей, сказал: «Катрина — мое создание, и я узнаю ее по тем проблескам божественного света, который еще не совсем угас в ней».

Тут Катрина перебила его.

— Послушайте, аббат, — сухо сказала она, — с чего это вам вздумалось угощать меня проповедью?

— Да ведь вы только что просили у меня их целую дюжину, — ответил он.

Она рассердилась.

— Берегитесь, аббат. От вас зависит, будем мы друзьями или врагами. Согласны вы сочинить двенадцать проповедей? Подумайте, прежде чем ответить.

— Мадемуазель, — сказал аббат Куаньяр, — я в своей жизни не раз совершал поступки, достойные порицания, но только не тогда, когда я над ними думал.

— Стало быть, вы не хотите? Окончательно? Раз... два... так вы отказываетесь?.. Смотрите, аббат, я отомщу.

Она надулась и некоторое время сидела молча с сердитым лицом. И вдруг завопила:

— Перестаньте, господин аббат Куаньяр! В ваши годы, да еще в этом почтенном облачении, так приставать ко мне! Фу! господин аббат! Фу! Постыдитесь!

В то время, когда она вопила во все горло, аббат увидел, как на паперть взошла девица Лекэр, которая торговала прикладом в лавке «Три девственницы». Она пришла в этот поздний час на исповедь к третьему викарию церкви св. Бенедикта и, проходя мимо, отвернулась в знак глубочайшего отвращения.

Аббат невольно подумал, что месть Катрины оказалась скорой и верной, ибо добродетель девицы Лекэр, укрепившись с годами, сделалась столь отважной, что заставляла ее ополчаться против всех пороков в приходе и по семи раз на дню пронзать острием своего языка блудодеев с улицы св. Иакова.

Но Катрина еще и сама не подозревала, как ловко ей удалось отомстить. Она видела приближавшуюся девицу Лекэр. Но она не видела моего отца, который шел следом.

Мы пришли с ним на паперть, чтобы позвать аббата к «Малютке Бахусу». Батюшке нравилась Катрина: он просто из себя выходил, если ему случалось застать ее в объятиях какого-нибудь любезного кавалера. Он не заблуждался относительно ее поведения, но, как он говаривал, знать и видеть — совсем не одно и то же. Он ясно слышал вопли и крики Катрины. Человек он был горячий и не умел сдерживаться. Я очень испугался, как бы он во гневе не пустил в ход грубые ругательства и угрозы: мне уже представлялось, как он выхватывает свою шпиговальную иглу, которую он всегда затыкал за лямки передника, как почетное оружие, ибо очень гордился своим ремеслом.

Мои опасения оправдались лишь наполовину. Случай, когда Катрина проявила добродетель, не столько рассердил, сколько удивил отца, и чувство удовлетворения, охватившее его, пересилило гнев.

Он обратился к моему доброму учителю довольно учтиво и сказал ему с насмешливой строгостью:

— Господин Куаньяр, священники, которые домогаются общения с веселыми женщинами, теряют добродетель и бесчестят свое имя. И это справедливо даже в том случае, если они не получают за свое бесчестье никакого удовольствия.

Катрина поднялась и гордо удалилась с видом оскорбленной невинности, а мой добрый учитель с мягкой убедительностью шутливо возразил моему отцу:

— Превосходное рассуждение, мэтр Леонар, по все же не следует применять его без разбора и приклеивать ко всякому случаю, словно ярлык с ценой, который хромоногий ножовщик наклеивает на свои ножи. Не стану допытываться, чем, собственно, я заслужил, что вы сейчас применили его ко мне. Не достаточно ли будет, если я признаю, что заслужил его?

Непристойно распространяться о самом себе, и, чтобы говорить о своих отличительных свойствах, мне пришлось бы сперва побороть свою скромность. Я лучше позволю себе, мэтр Леонар, сослаться на пример почтенного Робера д'Абриссельского, который, посещая девиц легкого поведения, тем самым добился высоких заслуг. Можно еще припомнить святого Авраамия, сирийского отшельника, который не побоялся переступить порог злочного дома.

— Какой это святой Авраамий? — спросил батюшка, у которого уже все перепуталось в голове.

— Сядем-ка вот здесь, возле вашего дома, — сказал мой добрый учитель, — вы принесете нам кувшин вина, а я расскажу вам историю этого великого святого так, как она дошла до нас в сказаниях святого Ефрема.

Батюшка кивнул в знак согласия. Мы уселись втроем под навесом, и мой добрый учитель рассказал нам следующее:

— Святой старец Авраамий жил один в пустыне, в маленькой хижине. Но вот у него умер

брат и оставил сиротку-дочь замечательной красоты по имени Мария. Будучи убежден, что жизнь, которую он ведет, вполне подходит и для его племянницы, Авраамий построил для нее келийку рядом со своей и поучал сироту через небольшое оконце, сделанное в стене.

Он тщательно следил за тем, чтобы она постилась, бодрствовала и распевала псалмы. Но однажды некий монах, который, как полагают, был лжемонахом, прокрался к Марии в то время, когда святой Авраамий размышлял над Священным писанием, и склонил ко греху юную девицу, а она после этого сказала себе:

«Раз уж я погибла для господина бога, лучше мне удалиться отсюда в край, где меня никто не знает».

И, покинув свою келью, она отправилась в соседний город, именуемый Эдессой, где были чудесные сады и прохладные фонтаны; это и поныне один из самых благодатных городов в Сирии.

А святой муж Авраамий тем временем по-прежнему предавался благочестивым размышлениям. Прошло уже несколько дней, как исчезла его племянница, и вот однажды, открыв окошко, он спросил:

— Почему, Мария, ты больше не распеваешь псалмов, которые ты так хорошо пела?

И, не получив ответа, он заподозрил истину и воскликнул:

— Свирепый волк похитил мою овечку!

В течение двух лет он пребывал в глубокой скорби, а затем до него дошли слухи, что его племянница ведет дурную жизнь. Решив действовать осторожно, он попросил одного из своих друзей побывать в городе и разузнать, что с ней случилось. Тот подтвердил, что Мария ведет дурную жизнь. Тогда святой муж попросил своего друга одолжить ему мирскую одежду и достать ему коня; затем, надев на голову широкополую шляпу и скрыв под нею свое лицо, он отправился в гостиницу, где, как ему сказали, проживала его племянница.

Долго он поглядывал по сторонам в надежде увидеть ее, но так как она не появлялась, он, прикинувшись беспечным, с улыбкой обратился к хозяину:

— Говорят, любезный хозяин, что у вас здесь есть красивая девица. Нельзя ли мне ее повидать?

Хозяин, человек услужливый, велел позвать Марию. И вот она появилась в таком наряде, который, по собственным словам святого Ефрема, красноречиво говорил о ее поведении, И святой муж при виде ее исполнился горести.

Однако он притворился веселым и заказал роскошное угощение. А Мария в тот день тосковала душой. Те, кто дарит удовольствия, не всегда вкушают их сами, и этот старик, которого она не узнала, ибо он не снимал своей шляпы, нисколько не веселил ее. Хозяин стал стыдить девушку за угрюмый вид, столь не подобающий ее ремеслу, но она, вздохнув, промолвила:

— Уж лучше бы господь бог дал мне умереть три года тому назад!

Святой Авраамий отвечал ей, как полагается галантному кавалеру, за какового его можно было принять по одежде.

— Малютка моя, — сказал он, — я пришел сюда не оплакивать твои грехи, а разделить с тобою любовь.

Но когда хозяин, наконец, оставил его наедине с Марией, он перестал притворяться и, сняв шляпу, промолвил, обливаясь слезами:

— Дитя мое, Мария! Разве ты не узнаешь меня? Ведь я — Авраамий, заменивший тебе отца,

Он взял ее за руку и всю ночь увещевал, призывая покаяться в своих грехах и искупить их. Но больше всего он старался уберечь ее от отчаяния и без конца повторял: «Дочь моя,

один бог без греха!»

Мария от природы была кроткого нрава. Она согласилась вернуться к старцу. И едва стало светать, они отправились в путь. Она хотела было взять с собой свои наряды и украшения. Но святой муж убедил ее, что лучше все это оставить. Он посадил ее на коня и привез обратно в келью, где они снова зажили прежней жизнью. Но только на сей раз святой муж озаботился, чтобы келийка Марии не сообщалась с внешним миром и чтобы нельзя было из нее выйти иначе как через его келью; и вот таким-то образом, с божьей помощью, ему удалось уберечь свою овечку.

Такова история святого Авраамия, — заключил мой добрый учитель, поднимая чарку с вином.

— Замечательная история, — сказал мой отец, — я даже прослезился, так тронула меня несчастная судьба этой бедняжки Марии.

III. Правители (Продолжение и конец)

В этот день мы с моим добрым учителем чрезвычайно удивились, повстречав у г-на Блезо в лавке «Под образом св. Екатерины» маленького человечка, желтого и худого, который оказался не кем иным, как прославленным памфлетистом Жаном Гибу. Мы были уверены, что он содержится в Бастилии, где уже привык обретаться. Но мы не замедлили узнать его, ибо на лице его еще остались следы мрака и тюремной сырости. Он перелистывал дрожащей рукой только что полученные из Голландии политические брошюры, а книгопродавец тревожно следил за ним. Г-н аббат Жером Куаньяр снял перед г-ном Гибу шляпу с непринужденным изяществом, которое было бы еще заметней, если бы шляпа моего доброго учителя не пострадала накануне вечером во время потасовки под виноградным навесом «Малютки Бахуса».

Господин аббат Куаньяр выразил удовольствие, что видит снова столь даровитого человека.

— Вы не долго будете меня здесь видеть, — отвечал г-н Жан Гибу. — Я покидаю эту страну, где не могу жить. Я не в состоянии больше дышать отравленным воздухом этого города. Через месяц я обоснуюсь в Голландии. Нет сил выносить Флери после Дюбуа, и я, по-видимому, чересчур порядочен, чтобы быть французом. У нас дурные законы, и правят нами дураки и мошенники. А этого я не в силах терпеть.

— Это верно, — подтвердил мой добрый учитель, — государственные дела у нас ведутся из рук вон плохо, и среди должностных лиц много воров. Власть поделили между собой глупцы и негодники, и если я когда-нибудь соберусь написать о нашем времени, это будет небольшая книжечка, нечто вроде *Apokolokyntosis* Сенеки-философа либо нашей довольно смачной «Менипповой сатиры»^[200]. Такая легкая и веселая манера больше подходит для этого предмета, нежели суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту^[201]. Я бы распространял этот памфлет в списках, чтобы его можно было легко спрятать под плащ и черпать в нем философское презрение к людям. Большинство лиц, стоящих у власти, он, вероятно, привел бы в негодование, но некоторые из них, сдается мне, наслаждались бы втайне тем, что их обливают грязью. Я сужу по тому, что мне однажды довелось слышать от одной знатной дамы, с которой я познакомился в Сеэзе в те дни, когда

состоял в должности библиотекаря у господина епископа. Это была женщина уже не первой молодости, но еще не совсем остывшая от своих бурных походов. Ибо надо вам заметить, что в течение двадцати лет она была самой известной распутницей в Нормандии. И вот, когда я расспрашивал ее, какое самое сильное наслаждение она испытала в жизни, она мне ответила:

— Наслаждение чувствовать себя обесчещенной.

И по этому ответу я понял, что она не лишена известной тонкости чувств. Я полагаю, что кое-кто из наших министров тоже не лишен этой тонкости, и если я когда-нибудь выступлю против них, то лишь затем, чтобы приятно пощекотать их пороки и бесстыдство. Но зачем мешкать, зачем откладывать осуществление столь блестящего замысла? Сейчас же спрошу у господина Блез писчей бумаги и сяду писать первую главу новой «Менипповой сатиры».

Он уже протянул было руку к удивленному г-ну Блезо, но Жан Гибу быстрым движением остановил его.

— Поберегите этот превосходный замысел для Голландии, господин аббат, — сказал он, — и поедemте со мной в Амстердам, я вас пристрою к какому-нибудь торговцу лимонадом или к содержателю банного заведения, Там вы будете свободны и сможете по ночам писать свою «Мениппову сатиру», — вы примоститесь на одном конце стола, а на другом я буду сочинять свои памфлеты. Они будут полны яда и — кто знает? — быть может, мы общими усилиями и добьемся перемен у нас в королевстве. Роль памфлетистов в падении государств гораздо значительнее, чем это кажется: они готовят катаклизм, а восставший народ совершает его.

Какое это было бы торжество, — прибавил он свистящим голосом, стиснув свои черные зубы, изъеденные желчной слюной, — какая радость, если бы мне удалось сокрушить одного из тех министров, которые из подлой трусости заточили меня в Бастилию! Разве вам не хотелось бы, господин аббат, принять участие в столь благородном деле?

— Отнюдь, — отвечал мой добрый учитель. — Мне вовсе не желательно менять что-либо в государственном устройстве, и если бы я мог предположить, что мой *Arokolokynthose* или «Мениппова сатира» способны оказать такое действие, я бы никогда не стал их писать.

— Как! — вскричал разочарованный памфлетист, — не вы ли мне только сейчас говорили, что наше правительство никуда не годится?

— Разумеется, — сказал аббат. — Но я следую мудрому примеру сиракузской старухи, которая в те времена, когда Дионисий был более чем когда-либо ненавистен своему народу, ежедневно ходила в храм молить богов о продлении жизни тирана. Прослышав о такой удивительной преданности, Дионисий захотел узнать, чем она вызвана. Он призвал к себе старуху и стал расспрашивать ее.

— Я уже давно живу на свете, — отвечала она, — и видела на своем веку многих тиранов и каждый раз замечала, что плохому наследует еще худший. Ты — самый отвратительный из всех, кого я до сих пор знала. Из этого я заключаю, что твой преемник будет, если только сие возможно, еще ужаснее тебя; вот я и молю богов не посылать нам его как можно дольше.

Это была очень разумная старуха, и я, господин Жан Гибу, как и она, полагаю, что бараны поступают мудро, предоставляя стричь свою шерсть старому пастуху, из страха, как бы не пришел другой, помоложе, который станет стричь их еще короче.

У г-на Жана Гибу от этого рассуждения разлилась желчь, и он разразился горькими упреками.

— Какие недостойные речи! Какие негодные принципы! О господин аббат, как мало вы

печетесь о благе общества и сколь недостойны вы того венка из дубовых листьев, который обещан поэтами доблестным гражданам! Вам следовало бы родиться в стране татар или турок, рабом какого-нибудь Чингис-хана или Баязета, а вовсе не в Европе, где насаждают принципы публичного права и философии. Как? Вы миритесь с дурным правительством и даже не желаете сменить его! В республике, построенной по моему плану, подобные убеждения карались бы по меньшей мере изгнанием и лишением прав. Да, господин аббат, в задуманную мною конституцию, в основу коей будут положены законы древних, я введу статью для наказания дурных граждан — таких, как вы. И я установлю кару для тех, кто мог бы содействовать благу государства и не сделал этого.

— Эге! — засмеялся аббат, — вы отбиваете у меня охоту жить в этой вашей хваленой республике. Ваши слова внушают мне опасения, не будут ли там чересчур принуждать.

— Там будут принуждать только к добродетели, — наставительно изрек г-н Жан Гибу.

— Вот видите, сколь права была сиракузская старуха, — сказал аббат, — и как следует опасаться, что после Дюбуа и Флери мы получим господина Жана Гибу! Вы мне сулите, сударь, правление насильников и лицемеров и, чтобы претворить в жизнь эти посулы, предлагаете мне стать продавцом лимонада или банщиком на амстердамском канале. Премного благодарен! Нет, лучше уж я останусь на улице святого Иакова, где можно пить прохладное винцо, поругивая министров. Неужели вы думаете прельстить меня обманчивой химерой этого правительства, состоящего из честных людей, которые возводят такие укрепления вокруг свободы, что вряд ли ею можно будет пользоваться.

— Господин аббат! — вскричал Жан Гибу, все более горячась. — И не совестно вам нападать на государственный строй, который задуман мною в Бастилии и о котором вы даже понятия не имеете!

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — мне не внушает доверия образ правления, рожденный заговором и мятежом. Оппозиция — плохая школа для правительства, а ловкие политики, пробившись таким образом к власти, прилагают потом все усилия, чтобы править согласно принципам, прямо противоположным тем, что они проповедовали ранее. Так было в Китае, да и в других местах. Они повинуются той же необходимости, какой подчинялись их предшественники. А если они что-либо и вносят нового, так разве свою неопытность. Вот вам одна из причин, сударь, которая заставляет меня предполагать, что новое правительство, почти ничем в сущности не отличаясь от того, что ему предшествовало, будет еще несноснее. Да разве мы уже не испытали этого на себе?

— Так, значит, сударь, — сказал г-н Жан Гибу, — вы оправдываете злоупотребления?

— Выходит, что так! — отвечал мой добрый учитель. — Правительства подобны винам: с течением времени они отстаиваются и становятся мягче. Даже и самые жесткие из них постепенно теряют свою терпкость. Я боюсь неотстоявшейся власти. Боюсь терпкой новизны республики. Если уж все равно надо жить под дурным управлением, то я предпочитаю монархов и министров, у которых рвение несколько поостыло.

Господин Жан Гибу нахлобучил шляпу на нос и распростился с нами в сильном раздражении.

Когда он ушел, г-н Блезе поднял глаза от своих счетов и, поправив очки, сказал моему доброму учителю:

— Вот уж скоро сорок лет, как я торгую книгами «Под образом святой Екатерины», и всякий раз для меня такое удовольствие слушать беседы ученых, посещающих мою лавку! Но только я не люблю, когда разговаривают о политике. Люди начинают горячиться и ссорятся по пустякам.

— Все это потому, — заметил мой добрый учитель, — что в этом деле нет никаких

сколько-нибудь твердых основ.

— Есть во всяком случае одна, и никто не решится ее оспаривать, — возразил г-н Блезе, книготорговец, — ибо надо быть дурным христианином и плохим французом, чтобы не признавать божественной силы священной мирохранительницы Реймской и ее святого мира, коим помазывают наших королей на французский престол в качестве наместников Христа. Сие есть незыблемая основа монархии.

IV. Дело «Миссисипи»

Известно, что в 1722 году парижский парламент разбирал дело о компании Миссисипи, в котором вместе с директорами этой компании были замешаны некий министр, исправлявший обязанности королевского секретаря, и несколько помощников управителей провинциями. Компанию обвиняли в подкупе государственных королевских чиновников, которые на самом деле грабили ее с обычной жадностью людей, стоящих у власти при слабом правительстве. Несомненно, что в то время все государственные пружины были плохо пригнаны или нарочно ослаблены. И вот на одном из судебных заседаний этого памятного процесса г-жа де ла Моранжер, супруга одного из директоров компании Миссисипи, давала показания в главной палате перед господами верховными судьями. Она показала, что некий г-н Леско, секретарь уголовного судьи, вызвал ее тайно в Шатле и дал ей понять, что спасение ее мужа зависит только от нее; а муж ее был видный мужчина, красавец собой. Г-н Леско сказал ей примерно следующее: «Сударыня, истинные друзья короля возмущены этим делом главным образом потому, что в нем не замешаны янсенисты^[202]. Ибо янсенисты суть враги монархии, равно как и религии. Предоставьте нам возможность, сударыня, осудить одного из них, и мы вознаградим вас за эту услугу, важную государству, тем, что возвратим вам супруга со всем его состоянием». Когда г-жа де ла Моранжер рассказала об этой беседе, не подлежащей огласке, председателю суда не оставалось ничего другого, как вызвать в суд г-на Леско, который сначала ото всего отрекся. Но у г-жи де ла Моранжер были прекрасные чистые глаза, и он не мог выдержать ее взгляда. Он смешался и был уличен. Это был рослый мошенник, рыжий, как Иуда Искарот.

История попала в газеты, и о ней заговорил весь Париж. О ней судачили в гостиных, и на гуляньях, у цирюльников, и у продавцов лимонада. И повсюду г-жа де ла Моранжер неизменно вызывала сочувствие, тогда как Леско всем внушал отвращение.

Общественное любопытство еще далеко не улеглось, когда мне случилось однажды сопровождать моего доброго учителя, г-на аббата Жерома Куаньяра, к г-ну Блезе, который, как вы уже знаете, содержит книжную лавку на улице св. Иакова «Под образом св. Екатерины».

Мы застали в лавке личного секретаря одного из наших министров, г-на Жантиля, который сидел, уткнувшись в книгу, только что полученную из Голландии, и знаменитого г-на Романа, автора весьма ценных исследований о государственной пользе. Почтенный г-н Блезе за своей конторкой читал газету.

Господин Жером Куаньяр подобрался к нему поближе, чтобы заглянуть через его плечо, нет ли каких новостей, до которых он был большой охотник. Этот ученый и столь блестяще одаренный человек не обладал никаким достоянием, ни крохой благ земных, и если он выпивал кружку в «Малютке Бахусе», у него уже не оставалось ни одного су в кармане и не на что было купить газету. Прочитав через плечо г-на Блезе о показаниях г-жи де ла

Моранжер, он тут же воскликнул, что это просто замечательно и что отрадно видеть, как беззаконие низринуто со своего пьедестала слабой рукой женщины, чему существует немало примеров в Священном писании.

— Эта дама, — заметил он, — хотя она и водится с мытарями, которых я терпеть не могу, напоминает мужественных женщин, воспетых в Книге Царств. Она подкупает редким сочетанием прямооты и лукавства, и я восхищен ее блестящей победой.

Тут вмешался г-н Роман.

— Остерегитесь, господин аббат, — сказал он, протягивая руку, — остерегитесь судить об этом деле с личной и, так сказать, обособленной точки зрения, не считаясь, как это вам надлежало бы, с общественными интересами, кои здесь затронуты. Во всем надо иметь в виду государственную пользу. Сия высшая польза, как это совершенно ясно, требовала, чтобы госпожа де ла Моранжер молчала или чтобы к словам ее отнеслись без доверия.

Господин Жантиль поднял нос от своей книги.

— Это происшествие не имеет никакого значения, — сказал он. — Его чрезмерно раздули.

— Ах, господин секретарь, — возразил г-н Роман, — можно ли поверить, чтобы происшествие, из-за которого вас отстраняют от должности, не имело значения. Потому что вас, конечно, уволят, сударь, вас и вашего начальника. Я, со своей стороны, право, огорчен этим. Однако падение министров, замешанных в таком скандале, все же утешительно для меня тем, что это были люди, совершенно бессильные предотвратить удар.

Господин Жантиль подмигнул, давая понять, что на этот счет он вполне разделяет точку зрения г-на Романа.

А тот продолжал:

— Государство подобно человеческому телу. Не все его отправления благородны. Некоторые из них приходится скрывать: я имею в виду самые необходимые.

— Ах, сударь! — вскричал аббат, — неужели было необходимо, чтобы Леско поступил так с несчастной женой арестованного? Ведь это же подлость!

— Ну-ну! — протянул г-н Роман, — подлость получилась, когда об этом узнали. А до тех пор в этом ровно ничего не было. Если вам угодно пользоваться тем великим благом, что вами кто-то управляет, — а только это и ставит человека выше животных, — нужно предоставить правителям возможность осуществлять их власть. А первая из сих возможностей — тайна. Вот почему народное правление, наименее тайное из всех, оказывается вместе с тем и самым слабым. Уж не думаете ли вы, господин аббат, что людьми можно управлять с помощью добродетели? Это сплошная фантазия!

— Нет, этого я не думаю, — отвечал мой добрый учитель. — Среди различных превратностей моей жизни я не раз имел случай убедиться, что люди — злые животные и обуздать их можно только силой или хитростью. Но при этом надо знать меру и не слишком задевать те жалкие крохи добрых чувств, которые уживаются в них рядом с дурными инстинктами. Потому что, сударь, человек, как он ни жалок, глуп и жесток, все же создан по образу и подобию божью и в нем еще сохранились некоторые черты сего прообраза. Правительство, которое не отвечает требованиям самой средней, обыденной честности, возмущает народ и должно быть свергнуто.

— Говорите потише, господин аббат, — промолвил секретарь.

— Монах непогрешим, — сказал г-н Роман, — а ваши утверждения, господин аббат, напоминают речи бунтовщика, Вы и вам подобные заслуживают того, чтобы вами вовсе не управляли.

— Что ж, — отвечал мой добрый учитель, — если управление, как выходит по вашим словам, заключается в мошенничестве, насилии и всякого рода вымогательствах, вряд ли

приходится опасаться, что эта ваша угроза может осуществиться на деле; нами еще долго будут распоряжаться разные министры и управители провинций. Я бы только хотел, чтобы нынешние сменились другими. Новые не могут быть хуже этих, и — кто знает? — возможно, они даже будут немного лучше.

— Остерегитесь, остерегитесь! — воскликнул г-н Роман. — Самое замечательное в государстве — это преемственность и непрерывность, и, если в мире не существует совершенного государства, это, на мой взгляд, объясняется лишь тем, что потоп во времена Ноя нарушил порядок наследования престола. И мы до сих пор испытываем на себе последствия этой путаницы.

— Сударь, — возразил мой добрый учитель, — вы, верно, хотите позабавить нас своими теориями. История мира пестрит переворотами; в ней только и видишь, что междоусобные войны, бунты и восстания, вызванные жестокостью государей, и я, право, не знаю, чему в наше время следует больше поражаться: бесстыдству правителей или терпению народов.

Тут секретарь выразил сожаление, что г-н аббат не понимает благодеяний королевской власти, а г-н Блезе заявил нам, что лавка книгопродавца не место для обсуждения общественных дел.

Как только мы вышли, я дернул моего доброго учителя за рукав.

— Господин аббат, — сказал я ему, — вы, стало быть, забыли о сиракузской старухе, коли вам так не терпится сменить тирана?

— Турнеброш, сын мой, — ответил он мне, — я охотно признаю, что впал в противоречие. Но сия двойственность, которую ты справедливо отмечаешь в моих речах, не столь вредна, как то, что философы именуют антиномией. Шаррон в своей книге «О мудрости» утверждает, что существуют антиномии неразрешимые. А что до меня, то стоит мне погрузиться в размышления о природе, как у меня в голове начинают прыгать штук пять-шесть таких чертовок, которые затевают меж собой драку и, кажется, вот-вот выцарапают друг дружке глаза, и тут уж становится ясно, что этих упрямых мегер помирить никак невозможно. Я потерял всякую надежду привести их к согласию, и это их вина, что я до сих пор не преуспел в метафизике. Но противоречие в данном случае, Турнеброш, сын мой, это противоречие кажущееся. Разум мой по-прежнему на стороне сиракузской старухи. Я думаю сегодня то же, что думал вчера. Просто я дал волю сердцу и уступил порыву, как самый обыкновенный человек.

V. Пасхальные яйца

Батюшка мой держал харчевню на улице св. Иакова как раз напротив церкви св. Бенедикта Увечного. Не скажу, что он очень уж любил великий пост, да такое чувство было бы неестественно для кухаря. Но он соблюдал постные дни и говел, как подобает доброму христианину. Денег на архиепископское разрешение от поста у него не было, и в великопостные дни он со своей женой, сыном, собакой и со всеми обычными посетителями, из коих самым усердным был мой добрый учитель, г-н аббат Жером Куаньяр, ужинал вяленой треской. Матушка моя, святая женщина, не потерпела бы, чтоб наш дворовый пес Миро глодал кость в страстную пятницу. В этот день она не приправляла похлебки бедного пса ни мясом, ни салом. Напрасно г-н аббат Куаньяр внушал матушке, что это не дело, что по всей справедливости Миро, который никак не причастен к святым таинствам искупления, не должен терпеть ради них лишения в пище.

— Нам с вами, матушка, — говорил этот великий человек, — подобает есть треску, поскольку мы суть члены святой церкви, но какое же суеверие, глумление, какая дерзость и, даже более того, кощунство приобщать пса к умерщвлению плоти, как это делаете вы; ведь сие для нас священо и дорого, ибо сам господь бог участвует здесь, а будь иначе — изнурять свою плоть было бы недостойно и бессмысленно. Такое заблуждение, простительное вам по вашей простоте, было бы преступно для человека ученого, да и для всякого здравомыслящего христианина. Подобные действия, голубушка моя, ведут прямым путем к самой чудовищной ереси. Ведь это все равно, как если бы вы утверждали, будто Иисус Христос приял смерть и за собак равно как и за сынов Адама. А нельзя и представить себе ничего более противного Священному писанию.

— Оно, может, и так, — отвечала матушка. — Но если Миро станет есть скоромное в страстную пятницу, мне все будет казаться, что он жид, и он станет мне противен. Какой же тут грех, господин аббат?

И мой добрый учитель, прихлебывая вино, отвечал ей ласково:

— Голубушка, я не берусь судить, грешите вы или нет, но, по правде сказать, нет в вас никакого зла, и я больше верю в спасение вашей души, нежели в спасение душ пяти-шести знакомых мне епископов и кардиналов, которые, впрочем, писали прекрасные трактаты о правилах истинной веры.

Миро, пофыркивая, уплетал свою похлебку, а батюшка с г-ном аббатом Куаньяром, поужинав, шли прогуляться и заглянуть к «Малютке Бахусу».

Так проводили мы в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» святые дни великого поста. Но в день пасхи с раннего утра, когда колокола св. Бенедикта Увечного радостно благовестили о воскресении Христовом, батюшка нанизывал на вертел цыплят, уток, голубей целыми дюжинами, а Миро в уголке около пылающего очага вдыхал славный запах жира и помахивал хвостом с видом задумчивого и важного довольства. Старый, одряхлевший, почти слепой, он еще сохранил вкус к усладам земной жизни, бедствия коей переносил с безропотностью, тем самым облегчая их для себя. Миро был истинный мудрец, и я не удивляюсь, что матушка моя приобщала к своим богоугодным делам столь разумное существо.

После торжественной службы шли обедать в харчевню, всю пропитанную сдобными, аппетитными запахами. Батюшка садился за трапезу с благочестивым весельем. Обычными его гостями были писцы из духовного суда и мой добрый учитель, г-н аббат Куаньяр. Помнится, в лето по рождестве Христовом 1725-е мой добрый учитель привел к нам на пасху господина Николя Сериза, которого он откопал в какой-то мансарде на улице Масон, где сей ученый муж занимался тем, что день и ночь сочинял для голландских издателей разные разности из жизни литературной братии. На столе в проволочной корзине возвышалась целая гора красных яиц. И после того, как аббат Куаньяр произнес Benedicite, эти яйца стали предметом оживленной беседы.

— У Элия Лампридия, — сказал г-н Николя Сериз, — говорится, что курица, принадлежавшая отцу Александра Севера, снесла красное яйцо в день рождения сего младенца^[203], предназначенного судьбою для престола.

— Видно, этот Лампридий не отличался умом, — возразил мой добрый учитель, — а то бы он предоставил кумушкам рассказывать этикие сказки. Но у вас, сударь, достаточно здравого смысла, и не станете же вы утверждать, что из этой нелепой басни возник наш христианский обычай красить яйца на пасху.

— Да нет, я тоже не думаю, — сказал г-н Николя Сериз, — что этот обычай произошел от яйца, снесенного курицей Александра Севера. Единственный вывод, который, по-моему, напрашивается из факта, приведенного Лампридием, это то, что у язычников красное яйцо

знаменовало верховную власть. Однако, — добавил он, — надобно было как-то покрасить это яйцо, ибо куры не несут красных яиц.

— Прошу прощения! — вмешалась матушка, которая в ту минуту стояла у плиты и накладывала кушанья на блюда, — я сама видела в детстве, как черная курица несла яйца почти совсем коричневые; а потому я охотно верю, что есть такие куры, которые и красные яйца несут, или почти что красные, ну хотя бы кирпичного цвета.

— Вполне возможно, — сказал мой добрый учитель, — ибо природа в своих творениях гораздо более прихотлива и разнообразна, чем мы это себе представляем. В животном мире много всяких удивительных странностей, а в кабинетах по естественной истории можно наблюдать куда более диковинные уродства, чем красное яйцо.

— Верно! — подхватил г-н Николя Сериз, — в королевском собрании редкостей выставлен пятиногий теленок и ребенок о двух головах.

— А я еще и не то видела в Оно, под Шартром, — сказала матушка, ставя на стол дюжину локтей сосисок с тушеной капустой, от которых поднимался до самого потолка густой ароматный пар. — Я, господа, видела новорожденного младенца с гусиными лапами и змеиной головой. Повивальная бабка, которая его принимала, так перепугалась, что бросила его в печьку, в самый огонь.

— Подумайте, что вы говорите! — воскликнул г-н аббат Жером Куаньяр. — Ведь человек рождается от женщины, дабы служить господу богу, и немислимое дело, чтобы ему могло служить существо со змеиной головой, а следовательно, таких младенцев не существует и вашей повивальной бабке либо все это привиделось, либо она просто посмеялась над вами.

— Господин аббат, — промолвил с усмешкой Николя Сериз, — вы, как и я, видели в королевском музее двуполого уродца с четырьмя ногами в банке со спиртом, а в другой банке — младенца без головы и с одним глазом над самым пупком. Что ж, разве эти уроды лучше могли бы служить господу богу, чем ребенок со змеиной головой, о котором рассказывает наша хозяйка? А что сказать о тех, с двумя головами? Никто ведь не знает толком: а может статься, у них две души? Согласитесь, господин аббат, что природа, забавляясь такими жестокими шутками, иной раз ставит в тупик господ богословов.

Мой добрый учитель открыл уже было рот, чтобы ответить, и, разумеется, он тут же опроверг бы рассуждения г-на Николя Сериза, но матушка моя, которую ничто не могло удержать, когда ей хотелось поговорить, опередила его, заявив очень громко, что младенец, родившийся в Оно, вовсе не человек и что его черт сделал одной булочнице.

— И вот доказательство, — добавила она. — Ведь никому и в голову не пришло его окрестить, просто завернули в тряпицу да закопали в саду. А ежели бы то было человеческое дитя, то его схоронили бы в освященной земле. Когда дьявол делает женщине ребенка, так уж всегда в виде животного.

— Голубушка моя! — ответил ей г-н аббат Куаньяр, — ведь это диво-дивное, чтобы деревенская баба знала о дьяволе больше, нежели доктор богословских наук, и меня, прямо скажу, умиляет, что вы ссылаетесь на кумушку из Оно в вопросе о том, принадлежит или не принадлежит некий плод, принесенный женщиной, к роду человеческому, искупленному кровью господней. Поверьте, вся эта чертовщина — только грязные выдумки, которые вам следует выбросить из головы. Нигде у святых отцов нельзя прочесть, чтобы дьявол делал ребенка девушкам. Все эти басни о сатанинском блюде — омерзительный бред, и просто срам, что иезуиты и доминиканцы писали об этом целые трактаты.

— Хорошо сказано, аббат! — заметил г-н Николя Сериз, подцепляя с блюда сосиску. — Но вы так и не ответили мне на мои слова касательно того, что дети, которые рождаются без

головы, не очень-то пригодны для высшего назначения человека, которое, как учит церковь, состоит в том, чтобы познать бога, служить ему и возлюбить его, и что тут, так же как и во множестве зародышей, загубленных зря, природа, по правде сказать, ведет себя отнюдь не по-богословски и даже не по-христиански. И я бы сказал, что она совсем не религиозна ни в одном из своих проявлений и как будто даже вовсе не ведает бога. Вот что меня пугает, аббат!

— Ах! — воскликнул батюшка, потрясая поддетым на вилку куском дичи, которую он начал резать. — Ах! что за неприятные речи! Мрачные и совсем не подходящие к светлому празднику, который мы нынче справляем. И вот поди ж ты! Все это из-за моей жены! Это она нам поднесла ребенка со змеиной головой, будто такое угощение может прийтись по вкусу добрым гостям! И надо же было, чтоб из этих славных красных яиц вылупилась такая несусветная чертовщина!

— Ах, дорогой хозяин! — сказал г-н аббат Куаньяр, — а ведь верно: и чего только не вылупливается из яйца! У язычников по этому поводу есть весьма философские притчи. Но чтобы из таких воистину христианских яиц, хотя и в античном пурпуре, которые мы только что ели, вылезла целая стая нечестивых дикостей — признаться, этому я и сам изумляюсь!

Господин Николя Сериз взглянул на моего доброго учителя и, подмигнув ему, заметил с тонкой усмешкой:

— А ведь в самом своем существе, господин аббат Куаньяр, эти яйца, скорлупа которых, выкрашенная свекольным соком, усеяла весь пол у нас под ногами, далеко не столь христианские и католические, как вы изволите полагать. Напротив, пасхальные яйца имеют древнеязыческое происхождение: они знаменуют собой таинственное зарождение жизни во время весеннего равноденствия. Это — древний символ, сохранившийся и в христианской религии.

— С тем же правом можно утверждать, — возразил мой добрый учитель, — что это символ воскресения Христова. А так как я вовсе не склонен загромождать религию разными мудреными иносказаньями, то мне сдается, что удовольствие скушать яичко, которого ты был лишен во все время поста, и есть единственное основание тому, что оно в этот день появляется на столах, окруженное таким почетом и облаченное в царский пурпур. Но какое это имеет значение! Все это пустяки, которыми развлекаются книгоции да библиотекари. Но стоит подумать над тем, Господин Николя Сериз, что вы в своих рассуждениях противопоставляете природу религии и хотите сделать из них врагов, это уже кощунство, господин Николя Сериз, и такое страшное кощунство, что даже наш добряк-кухарь и тот содрогнулся, хоть и не уразумел, в чем тут дело! Но меня оно не пугает, и подобные рассуждения никогда не могут совратить разум, который умеет управлять собой.

Дело в том, господин Николя Сериз, что вы здесь следуете стезей рассудка и учености, которая представляет собой не что иное, как тесный и коротенький грязный тупик, где люди, ища выхода, бесславно расшибают себе носы. Вы рассуждали на манер какого-нибудь глубокомысленного аптекаря, который возомнил, что знает природу, ибо различает кое-какие из ее внешних признаков. И вы решили, что если при естественном зарождении жизни получаются уроды, то это не входит в божественный промысел творца, создающего людей, дабы они прославляли его: «*Pulcher hymnus Dei homo immortalis*»^[204]. Великодушно с вашей стороны, что вы не причислили сюда и младенцев, умерших при рождении, а также помешанных и кретинов, — словом, всех тех, кто, на ваш взгляд, не может называться, по выражению Лактанция, высшей славой божьей — *Pulcher hymnus Dei*. Но что вы об этом знаете и что знаем мы, господин Николя Сериз? Вы, верно, принимаете меня за одного из ваших амстердамских или гаагских читателей, пытаюсь внушить мне, будто непознаваемая

природа есть нечто несовместимое с нашей пресвятой христианской верой. Для наших глаз, сударь, природа — это всего лишь беспорядочное чередование образов, в смысл коих нам невозможно проникнуть, и я допускаю, что ежели судить по ней, следуя за каждым ее шагом, то невозможно различить в новорожденном младенце ни христианина, ни человека, ни даже особь, и что плоть представляет собою поистине непостижимый иероглиф. Но это ровно ничего не обозначает, ибо мы здесь видим только обратную сторону узора. Не будем же задерживаться на этом, а заключим просто, что с этой стороны мы ничего познать не можем. Обратимся всем естеством своим к тому, что постижимо, а сие есть душа человеческая в единении с богом.

Смешно рассуждаете вы, господин Николя Сериз, о природе и о рождении. Вы напоминаете мне мещанина, который решил бы, что проник в тайны короля, лишь потому, что видел картины, развешанные по стенам в зале Совета. И подобно тому, как государственные тайны содержатся в беседах монарха с министрами, так и жребий человеческий кроется в мысли, которая возникает одновременно у творения и у творца. А все остальное — просто забава и пустяки, годные для развлечения ротозеев, каких немало толчется в академиях. Не говорите мне о природе, если только это не то, что можно увидеть у «Малютки Бахуса» воплощенным в Катрине-кружевнице, округлой и статной.

А вы, дорогой хозяин, — прибавил г-н аббат Куаньяр, — дайте-ка мне выпить, потому что у меня пересохло в горле по милости господина Николя Сериза, который полагает, будто природа безбожница. Ну и пусть, черт побери, такова она есть и в некотором роде даже и должна быть такой, господин Николя Сериз, а если она все же иногда глаголет о славе божией, так это бессознательно, ибо не существует никакого сознания вне разума человеческого, который один берет свое начало в конечном и бесконечном. Ну, выпьем!

Батюшка наполнил до краев стаканы моего доброго учителя г-на аббата Куаньяра и г-на Николя Сериза и заставил их чокнуться, что они и сделали от чистого сердца, ибо они были хорошие люди.

VI. Новое министерство

Господин Шиппен, который занимался в Гринвиче слесарным ремеслом, имел обыкновение всякий раз, приезжая в Париж, ежедневно обедать в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» в обществе ее хозяина и г-на аббата Жерома Куаньяра, моего доброго учителя. На сей раз он, спросив по своему обыкновению за десертом бутылку вина и закулив трубку, вынул из кармана «Лондонскую газету» и, попыхивая и прихлебывая, начал спокойно читать. Потом, спрятав газету, он положил трубку на край стола.

— Господа, — произнес он, — министерство пало.

— Ну и что же, — сказал мой добрый учитель, — какое это имеет значение!

— Извините, — возразил г-н Шиппен, — это имеет важное значение, потому что в прежнем министерстве были тори, а в новом будут виги, а кроме того, все, что происходит в Англии, — значительно.

— Сударь! — отвечал мой добрый учитель, — мы видели во Франции и не такие перемены. Мы видели, как четыре должности государственных секретарей были замещены шестью или семью советами по десяти членов в каждом, а господа государственные секретари, будучи разрезанными на десять кусков, затем были восстановлены в их прежней форме. И при каждой из этих перемен одни клялись, что все погибло, а другие, напротив, —

что все спасено. И всякий раз сочиняли песенки. Скажу по совести, меня мало интересует, что происходит в кабинете правителя, поскольку я вижу, что уклад жизни от этого не меняется, и после реформ, как и до них, люди все так же себялюбивы, скупы, трусливы и злы, то неразумны, то свирепы и что число новорожденных, молодоженов, роконосцев и повешенных не меняется, а сие и есть признак высокого общественного строя. И это прочный строй, сударь, и ничто его не сокрушит, ибо он держится на нищете и глупости человеческой, а в такого рода опорах никогда не будет недостатка. Благодаря им все здание приобретает такую прочность, что о него разбиваются усилия самых негодных властителей и всей этой невежественной толпы чиновников, кои им споспешествуют.

Батюшка, который слушал эту речь, стоя со шпиговальной иглой в руке, позволил себе сделать поправку и заметил с почтительной твердостью, что бывают и хорошие министры и что ему особенно памятен один из них, недавно почивший; он издал очень мудрый указ, ограждавший харчевников от ненасытной алчности мясников и пирожников.

— Возможно, господин Турнеброш, — отвечал мой добрый учитель, — но об этом деле следует спросить и пирожников. Надобно всегда помнить о том, что государства держатся не премудростью нескольких министров, а потребностями многих миллионов людей, которые для того, чтобы жить, занимаются кто чем может, — любым низким и неблагородным промыслом, как-то: ремеслами, торговлей, земледелием, войной, мореплаванием. Эти личные нужды и создают то, что принято называть величием народов, а монарх и его министры не имеют к сему ни малейшего касательства.

— Вы ошибаетесь, сударь, — возразил англичанин, — министры имеют к этому касательство, они издают законы, из которых любой может либо обогатить, либо разорить народ.

— О! тут все зависит от того, как оно обернется, — сказал аббат. — Дела государственные столь обширны, что ум одного человека не в состоянии их охватить, а посему приходится прощать министрам, что они действуют вслепую, и не поминать лихом ни зло, ни добро, содеянное ими, ибо надобно считаться с тем, что они подобны детям, играющим в жмурки. К тому же это зло и добро, если рассудить без предубеждения, окажется совсем незначительным, и я сомневаюсь, сударь, чтобы какой-нибудь указ или закон мог возыметь такое действие, как вы говорите. Взять хотя бы девиц веселого поведения, ведь о них за один год издано столько всяких постановлений, сколько по всем другим корпорациям в королевстве не издадут и за сто лет; однако это не мешает им заниматься своим ремеслом, и с таким рвением, какое заложено в них самой природой. Они смеются над теми высоконравственными пакостями, которые некий советник, по имени Никодем, замышляет на их счет, и издеваются над мэром Безлансом, который, решив покончить с ними, столкнулся с несколькими судейскими чиновниками и блюстителями порядка и учредил какую-то недееспособную лигу. Могу вас заверить, что Катрина-кружевница даже и не слыхала про этого Безланса, да, верно, и не услышит до самой своей кончины, которая будет, как я надеюсь, кончиной, достойной христианки. И вот отсюда я и заключаю, что все эти законы, которыми министры набивают свои портфели, — пустые бумажонки, не способные ни облегчить нам жизнь, ни помешать жить.

— Господин Куаньяр, — сказал гринвичский слесарь, — низменность ваших речей явно свидетельствует, что вы привыкли жить в рабстве. Вы бы не так рассуждали о министрах и законах, если бы подобно мне имели счастье пользоваться благами свободного строя.

— Господин Шиппен, — возразил аббат, — истинная свобода — та, в которой пребывает душа, освободившись от мирских сует. Что же касается общественных свобод, это — нелепая выдумка, которую я не принимаю всерьез. Все это пустые фантазии, коими и тешат

тщеславие невежд.

— Я убеждаюсь, слушая вас, — сказал господин Шиппен, — что французы и в самом деле обезьяны.

— Позвольте! — воскликнул мой отец, — размахивая шпиговальной иглой, — среди них попадаются и львы!

— Не хватает, как видно, только граждан, — заметил г-н Шиппен. — У вас в Тюильрийском парке все рассуждают о государственных делах, но никогда из всех этих споров не получается ни одной разумной мысли. Ваш народ — это просто шумный зверинец.

— Сударь, — сказал мой добрый учитель, — что верно, то верно: когда человеческие общества приобщаются к цивилизации, они образуют своего рода зверинцы, ибо прогресс нравов и состоит в том, чтобы жить в клетке, а не скитаться без крова по лесам. И в этом состоянии пребывают ныне все европейские страны.

— Милостивый государь, — возразил гринвичский слесарь, — Англия не зверинец, ибо у нее есть парламент и министры подчиняются ему.

— Сударь, — отвечал аббат, — может статься, и во Франции будут когда-нибудь министры, подчиненные парламенту. Более того, время приносит большие перемены в устройстве государств, и можно представить себе, что лет этак через сто или через двести во Франции будет народная власть. Но тогда, сударь, министры, которые и сейчас не много значат, вовсе превратятся в ничто. Ибо, вместо того чтобы зависеть от монарха, который облакает их властью на более или менее длительный срок, они будут подчиняться мнению народа и испытывать на себе все его непостоянство. Надо заметить, что только в абсолютных монархиях министры проявляют некоторую твердость, как это можно наблюдать на примере Иосифа, сына Иакова, который был министром у Фараона, и Амана, министра царя Ассур: оба они принимали деятельное участие в управлении страной — один в Египте, другой в Персии. Только благодаря исключительным обстоятельствам, когда во главе сильного государства оказался слабый король, могла выдвинуться во Франции столь мощная фигура, как Ришелье. При народном правлении министры будут до такой степени бессильны, что все их злонравие и глупость не смогут причинить вреда.

Власть, врученная им Генеральными штатами, будет ненадежна и недолговечна. Лишенные возможности рассчитывать вперед и вынашивать широкие замыслы, они будут проводить в жалких потугах свой недолгий век. Они будут чахнуть в тяжких усилиях прочесть на лицах пятисот представителей народа, как надлежит им действовать. Тщетно пытаясь обрести собственную мысль в мыслях этого множества темных и несхожих меж собою людей, они будут томиться в мучительном бессилье. Они отвыкнут подготавливать что-либо на будущее или что-либо предвидеть и станут изощряться лишь в интригах и обмане. Падение будет для них не чувствительно, ибо они упадут с очень небольшой высоты, а имена их, начертанные углем на заборах руками сорванцов-школьников, будут вызывать лишь смех у прохожих.

Господин Шиппен, выслушав эту речь, пожал плечами.

— Это возможно, — сказал он, — я легко могу себе представить французов в таком состоянии.

— А что ж! — молвил мой добрый учитель, — и в таком состоянии мир будет идти своим путем. Есть-то всегда надо будет. А сия великая необходимость порождает все остальное.

Господин Шиппен сказал, выколачивая свою трубку:

— Пока что нам прочат министра, который будет покровительствовать земледельцам, но разорит торговлю, если только ему дать волю. Мне надобно быть начеку, ибо у меня

слесарное дело в Гринвиче. Я соберу наших слесарей и выступлю перед ними с речью. Он сунул трубку в карман и ушел, ни с кем не простившись.

VII. Новое министерство (Продолжение и конец)

Вечер выдался прекрасный, и после ужина г-н аббат Жером Куаньяр вышел прогуляться по улице св. Иакова, где уже загорались фонари; я имел честь сопровождать его. Остановившись у паперти св. Бенедикта Увечного, он указал мне своей прекрасной пухлой рукой, созданной для мудрых указаний, равно как и для нежных ласк, на одну из каменных скамей, стоявших по обе стороны паперти под строго готическими статуями, исписанными разными непристойностями.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он, — как ты думаешь, не присесть ли нам на минутку подышать воздухом на этих старых истертых камнях, где столько нищих до нас с тобой забывали о своих невзгодах. Может статься, среди этих бесчисленных бедняг было два-три человека, которые вели меж собой прекрасные беседы. Правда, мы здесь можем набраться блох, но так как для тебя, мой сын, сейчас пора любви, то тебе, конечно, будет казаться, что это — блохи Жаннеты-арфистки или кружевницы Катрины, которые приходят сюда сумерничать со своими дружками, и укусы их будут тебе сладостны. В юные годы возможно такое самообольщение. А для меня уже минуло время пленительных заблуждений, и я скажу себе только, что не следует поощрять чувствительность плоти и что философу не пристало раздражаться из-за блох, которые, как и все, что есть во вселенной, суть великая тайна всевышнего.

С этими словами он осторожно уселся, стараясь не потревожить маленького савояра и его сурка, которые спали безмятежным сном на старой каменной скамье. Я сел рядом; разговор, который произошел за обедом, не выходил у меня из головы.

— Господин аббат, — обратился я к моему доброму учителю, — вы вот сегодня говорили о министрах. Королевские министры не внушают вам никакого почтения ни своей одеждой, ни каретами, ни талантами, вы судили о них с независимостью, доступной лишь умам, которые ничему не удивляются. А затем, рассматривая участь сих сановников в народном государстве (ежели оно когда-либо будет), вы нам изобразили их весьма жалкими, заслуживающими не хвалы, а сострадания. Ужели же вы — противник свободного государства, которое возродит дух республик древности?

— Сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — я по природе своей чувствую склонность к народному правлению. Меня влечет к нему скромность моего положения, а Священное писание, изучением коего я занимался, поддерживает меня в этой склонности, ибо, как сказал господь в Рамафанте: «Старейшины израильские алкают царя, дабы я не властвовал над ними. Да будет же таково право царя, который придет царствовать над вами, что возьмет он сыновей ваших, дабы они везли колесницу его, и заставит их бежать перед нею. И прикажет дочерям вашим умащать его, и готовить яства, и печь хлеба» — «Filiis quoque vestras faciet sibi unguentarias et focarias et panificas». Так сказано об этом в Книге Царств, где говорится также, что владыка приносит своим подданным два злосчастных дара — войну и подати. И если справедливо, что монархии суть установление божественное, то не менее справедливо, что они воплотили в себе все черты глупости и злобы человеческой. И вполне вероятно, что небо ниспослало их народам, дабы покарать их: Et tribuit eis petitionern

Нередко, гневаясь, он жертвы принимает,
И даже дар его нередко нас карает.

Я мог бы, сын мой, привести вам много превосходных изречений древних писателей, где ненависть к тирании передана с поразительной силой. И, наконец, мне кажется, я всегда выказывал некоторое мужество, презирая земное величие, ибо я подобно янсенисту Блезу Паскалю^[206], не терплю задир со шпагой на боку. Все устремления моего сердца и моего разума делают меня сторонником народного правления. Я посвятил этому немало размышлений, которые когда-нибудь изложу на бумаге. Это будет сочинение в таком роде, о коем обычно говорят, что надобно разгрызть кость, чтобы добраться до мозга^[207]; я хочу этим сказать, что напишу новое «Похвальное слово глупости»^[208], которая глупцам покажется вздором, но в которой люди умудренные разглядят мудрый смысл, осмотрительно скрытый под шутовской погремушкой и дурацким колпаком. Словом, я стану вторым Эразмом и, следуя его примеру, буду наставлять народы учеными и назидательными шутками. И в одной из глав моего трактата, сын мой, вы найдете исчерпывающие разъяснения касательно занимающего вас предмета, и вам станет понятно положение министров, находящихся в зависимости от Генеральных штатов или народных собраний.

— Ах, господин аббат! — вскричал я, — как бы мне хотелось поскорее прочесть эту книгу! А когда вы полагаете написать ее?

— Не знаю, — отвечал мой добрый учитель. — И, сказать по правде, мне кажется, я никогда ее не напишу. Много разных преград стоит на пути того, что задумывает человек. Мы не распоряжаемся ни одной частицей будущего, и эта неопределенность, в коей пребывают сыны Адама, усугубляется для меня еще непрерывной полосой неудач. Вот потому-то, сын мой, я и не надеюсь, что мне когда-либо удастся написать это достойное сатирическое произведение. Я не стану читать вам здесь, на этой скамье, трактат о политике, но я расскажу вам по крайней мере о том, как зародилась у меня мысль ввести в мою воображаемую книгу главу, в коей будут показаны слабость и злонравие слуг, которых возьмет себе простак Демос^[209], когда придет к власти, если это когда-нибудь произойдет, чего я отнюдь не берусь утверждать, ибо не занимаюсь прорицаниями, оставляя это занятие девицам, гадающим наподобие сивилл — таких, как Кумская, Персийская и Тибуртинская, *quarum insigne virginitas est et virginitatis praemium divinatio*. Вернемся, однако, к нашему предмету. Тому назад примерно лет двадцать жил я в славном городе Сеэзе, где состоял библиотекарем у господина епископа.

Как-то раз проездом бродячие комедианты, которых туда случайно занесло, давали у нас в амбаре очень недурную трагедию. Я пошел посмотреть и увидел римского императора, у которого на парике было больше лавровых листьев, чем у свиного окорока на ярмарке в день святого Лаврентия. Он восседал в епископском кресле, а два его министра в придворных мундирах с орденскими лентами через плечо сидели по бокам на табуретах, и эта троица представляла собой торжественное заседание государственного совета, при свете ламп, от которых шел невыносимый чад. В ходе совещания один из советников изобразил в сатирических чертах консулов последних времен республики: как они спешат пользоваться и злоупотреблять своей мимолетной властью в ущерб народному благу, как они завидуют

своим преемникам, в которых видят лишь сообщников по грабежу и лихоимству. Вот как он говорил:

Двенадцать месяцев он царством руководит.
Тут думать некогда, ведь власть из рук уходит;
Счастливым замыслам дозреть он не дает —
Из страха, что другой плоды его сорвет.
Народным благом он поставлен управлять,
Так надо ж и себе успеть кой-что урвать.
Он знает, грех такой ему легко простится:
Все жаждут в свой черед не меньше поживиться.

И вот, сын мой, эти стихи, которые своей нравоучительной точностью напоминают четверостишия Пибрака^[210], намного превосходят по своему смыслу все остальное в этой трагедии, которая чересчур отдает чванным легкомыслием Фронды и сильно испорчена героическими и любовными сценами в духе герцогини Лонгевильской^[211], выведенной там под именем Эмилии. Я постарался запомнить эти стихи и поразмыслить над ними. Ибо даже в произведениях, написанных для подмостков, встречаются превосходные мысли. И то, что поэт говорит в этих восьми строках о консулах Римской республики, относится в равной мере и к министрам демократических государств с их непрочной властью.

Они слабы, сын мой, ибо находятся в зависимости от народного собрания, не способного в равной мере ни к глубоким и обширным замыслам государственного мужа, ни к простодушной глупости бездельника-короля. Министр только тогда и может быть великим, когда он подобно Сюлли споспешествует разумному государю^[212] или же, как Ришелье, становится во главе государства на место монарха. А кто же не видит, что у Демоса не будет ни упрямой осмотрительности Генриха Четвертого, ни благодатной бездеятельности Людовика Тринадцатого? Если даже допустить, что он знает, чего хочет, он все равно не будет знать, как привести в исполнение свою волю и может ли она быть выполнена. Он не сумеет повелевать, и ему будут плохо повиноваться, в силу чего ему во всем будет мерещиться измена. Депутаты, которых он пошлет в Генеральные штаты, будут искусным образом поддерживать его заблуждения до тех пор, пока не падут жертвой его несправедливых, а может быть, и вполне справедливых подозрений. Эти штаты будут отличаться безликой посредственностью многочисленной толпы, из которой они выйдут. Они будут высказывать множество туманных и несвязных мыслей и задавать тяжкие задачи правителям, требуя от них выполнения разных неопределенных решений, в которых они и сами не в состоянии разобраться, в силу чего их министры, коим не так повезет, как легендарному Эдипу^[213], будут один за другим проглочены стоглавым сфинксом, ибо не сумеют найти ответ на загадку, неведомый и самому сфинксу.

Главное же их бедствие будет заключаться в том, что им придется примириться с своим бессилием и за невозможностью действовать ограничиться произнесением речей. Они станут ораторами, и притом очень плохими ораторами, ибо талант несет с собой известную ясность, а это для них губительно. Им придется научиться говорить так, чтобы не сказать ровно ничего, и те из них, что поумнее, вынуждены будут лгать более других. Так что наиболее смелые станут у них наиболее достойными презрения. А если среди них и найдутся расторопные

люди, способные заключать договоры, управлять финансами и вести дела, их знания им все равно не пригодятся, ибо у них не хватит времени, а время — это канва для обширных замыслов.

Столь унижительные условия будут отпугивать достойных и подстрекать тщеславие дурных. Со всех сторон, из всех щелей выползут честолубивые бездарности и полезут на первые должности в государстве, а так как честность не есть врожденное свойство человека, а ее должно воспитывать в нем долгими стараниями и непрестанными назидательными мерами, то на государственную казну тотчас же обрушатся полчища взяточников. Зло это еще возрастет благодаря громким скандалам, ибо при народном правлении трудно что-либо скрыть, и таким образом по вине некоторых будут заподозрены все.

Я отнюдь не заключаю из этого, сын мой, что народы будут тогда более несчастны, чем ныне. Я уже вам не раз говорил в наших прежних беседах, что не допускаю мысли, будто судьба народа зависит от короля или его министров, а видеть в законах источник благосостояния или нищеты общества — это значит придавать им слишком большое значение. Однако чрезмерное обилие законов пагубно, и я опасюсь, как бы Генеральные штаты не стали злоупотреблять своим законодательным правом.

Это небольшой грешок, когда Колен и Жанно выдумывают разные приказы^[214], пася своих овец, и твердят: «Ах, если бы я был королем!..» Но когда Жанно станет королем, он за один год издаст больше законов, нежели император Юстиниан за все свое царствование. И это еще одна причина, по которой царствие Жанно внушает мне опасения. Правда, короли и императоры правят обычно так дурно, что нечего бояться — хуже уж быть не может, и вряд ли Жанно наделает больше глупостей и жестокостей, чем все эти дважды и трижды венценосные монархи, которые со времен потопа заливают весь мир кровью и обращают его в развалины. Даже в его недееспособности и в его запальчивости будет то превосходство, что они сделают невозможными эти мудреные отношения между государствами, которые именуются дипломатическими и ведут лишь к искусному разжиганию бесполезных и губительных войн. Министры простака Демоса, которых будут беспрестанно понукать, ругать, унижать, пихать и гнать в шею, забрасывая их гнилыми яблоками и крутыми яйцами пуще, чем любого злосчастного арлекина в ярмарочном балагане, не будут иметь ни минуты досуга, чтобы в тиши кабинета со своими партнерами обдумать искусные ходы и подготовить кровопролитную бойню для поддержания того, что именуется европейским равновесием, а на самом деле служит лишь источником благополучия для дипломатов. А тогда, значит, наступит конец иностранной политике, и это будет великое счастье для несчастного человечества.

Тут мой добрый учитель поднялся и сказал.

— Нам пора идти, сын мой, ибо я в это время начинаю ощущать вечернюю прохладу, которая пронизывает меня сквозь изъяны моей одежды, прорвавшейся во многих местах. К тому же, если мы засидимся, как бы нам не спугнуть дружков Катрины и Жаннетты, которые бродят здесь в ожидании любовных утех.

VIII. Господа городские советники

В тот вечер мы с моим учителем пошли в виноградную беседку к «Малютке Бахусу» и застали там Катрину-кружевницу, хромого ножовщика и моего почтенного родителя. Они сидели все трое за одним столом, и перед ними стоял кувшин вина, из которого они уже

отпили достаточно, чтобы настроиться на веселый лад.

У нас только что, как полагается по всем правилам, прошли выборы, — избирали двух новых городских советников, — и батюшка рассуждал по этому поводу сообразно своему ремеслу и своему разумению.

— Беда в том, — говорил он, — что эти советники — из судейского звания, а не из харчевников, и ставит их на должность король, а не торговцы, к примеру сказать, не корпорация парижских харчевников, коей я состою знаменосцем. Вот ежели бы я их выбирал, они бы отменили десятину и пошлину на соль, и все мы были бы довольны. И право же, если только мир не движется все время вспять, наподобие раков, наступит день, когда советников будут избирать торговцы!

— Можете не сомневаться, — сказал г-н аббат Куаньяр, — придет время, когда советников будут избирать хозяева и их подмастерья.

— Подумайте только, что вы говорите, господин аббат, — возразил батюшка, озабоченно хмурясь. — Ежели подмастерья станут вмешиваться в выборы советников, все пойдет кувырком. Когда я состоял в подмастерьях, я только о том и думал, как бы мне попользоваться хозяйским добром да хозяйской женушкой. Ну, а с тех пор как у меня свое заведение и своя жена, я уважаю общественные интересы, ибо они совпадают с моими собственными.

Наш хозяин, Лестюржон, принес еще кувшин вина. Это был небольшого роста рыжий человечек, проворный и грубоватый.

— Вы это насчет новых советников рассуждаете? — сказал он, упершись руками в бока. — Я бы хотел только, чтобы они понимали дело не хуже прежних, хотя и те, надо сказать, не так уж много смыслили в общественном благе. Но они как-никак начали разбираться в своих обязанностях. Знаете, мэтр Леонар (он обращался к моему отцу), ту школу, где ребятишки с улицы святого Иакова азбуку зубрят, — ведь она деревянная, и попадись им в руки огниво да стружки — она так и запылает, не хуже костра в Иванову ночь. Я об этом уведомил господ в ратуше. И письмо мое было написано как подобает, ибо мне написал его за шесть су писец, что сидит в каморке на Валь де Грас. Я указал в нем господам советникам, что малыши нашего квартала подвергаются постоянной опасности изжариться на манер колбасы, и об этом надобно подумать, ежели принять в соображение, каково это терпеть матерям. Господин советник, который ведает школами, ответил мне весьма учтиво, по прошествии трех месяцев, что он крайне озабочен опасностью, коей подвергаются ребятишки с улицы святого Иакова, и жаждет ее предотвратить, а посему посылает вышеуказанным школьникам пожарную кишку. «Милостью короля, — добавил он, — в ознаменование его побед, в двухстах шагах от школы воздвигнут фонтан, так что вода под рукой, а дети в несколько дней научатся обращаться с кишкой, каковую им жалуется город». Прочел я это письмо и прямо чуть на стену не полез! Иду снова на Валь де Грас и диктую писцу такое письмо:

«Милостивый государь, господин советник! В школе на улице святого Иакова учатся двести карапузов, из коих самому старшему семь лет. Вот уж поистине пожарные, сударь, чтобы управиться с вашей пожарной кишкой! Возьмите ее обратно и постройте для школы дом из камня и бута».

Письмо это, как и предыдущее, обошлось мне в шесть монет вместе с печатью. Но я уплатил денежки не зря, ибо года через полтора с лишним получил ответ, в коем господин советник уверял меня, что малыши с улицы святого Иакова вправе рассчитывать на попечительство советников города Парижа, кои позаботятся об их безопасности. Вот как сейчас обстоит дело! А ежели теперь мой советник уйдет со своего поста, придется все

начинать сызнова и опять платить писцу с Валь де Грас двенадцать монет. И вот потому-то, мэтр Леонар, хоть я очень хорошо понимаю, что у нас в ратуше сидят личности, которые куда больше годятся в ярмарочные шуты, я все-таки не желал бы увидеть на их месте новых, а предпочитаю моего советника с его пожарной кишкой.

— А я, — сказала Катрина, — простить не могу этому судейскому по уголовным делам! Он позволяет Жаннете-арфистке шляться каждый вечер по паперти святого Бенедикта Увечного. Экий срам! Она ходит по улицам как чучело и волочит свои грязные юбки по всем лужам. А в публичные места следовало бы пускать только прилично одетых девушек, которым не стыдно показаться на людях.

— Эх! — возразил хромой ножовщик, — а я так полагаю, что улица — она для всех, и я как-нибудь последую примеру нашего хозяина Лестюржона да схожу к этому писцу на Валь де Грас, чтобы он написал от моего имени дельную жалобу в защиту несчастных разносчиков. Стоит мне только показаться с моей тележкой в сколько-нибудь порядочном месте, как тут же вырастает стражник, и едва только какой-нибудь лакей или две служанки остановятся возле моего лотка, — тотчас откуда ни возмись появляется эта черная дылда и именем закона приказывает мне отправляться с моим товаром куда-нибудь подальше. То я оказываюсь на месте, арендованном рыночными торговцами, то рядом с господином Леборнь, гильдейским ножовщиком. Иной раз приходится убираться с дороги потому, что приближается карета епископа или принца какого-нибудь, и я наспех впрягаюсь в свои оглобли, тащу мою тележку прочь; и хорошо еще, если этот лакей или горничные, воспользовавшись суматохой, не унесут, не заплативши, какой-нибудь игольничек, ножницы или добротный складной нож из Шательро. Сил моих нет терпеть эту тиранию и сносить беззаконие от блюстителей закона! Меня прямо так и подмывает поднять бунт!

— По-моему, это знак того, — сказал мой добрый учитель, — что вы — ножовщик с благородной душой.

— Какая там благородная душа, господин аббат! — скромно возразил хромой ножовщик. — Я человек мстительный и по злопамятству продаю из-под полы песенки против короля, его девок и министров. У меня в тележке, под кожухом, добрая пачка этих песен. Только вы уж не выдавайте меня. А знатная песенка та, что с двенадцатью припевами!

— Я вас не выдам, — сказал мой отец, — по мне, добрая песенка стоит стакана вина, да, пожалуй, и больше. И против ножей тоже ничего не могу сказать и от души желаю вам, добрый человек, бойкой торговли, потому как всякому жить надобно. Ио судите сами, нельзя же допустить, чтобы уличные продавцы равнялись с торговцами, которые снимают помещение и платят налоги. Ведь это прямое нарушение порядка и благоустройства. А наглости этим голодранцам не занимать стать. И до чего же это дойдет, если их не остановить. Вот прошлый год один крестьянин из Монружа стал прямо против моей «Харчевни королевы Гусиные Лапы» с тележкой, битком набитой жареными голубями, и давай продавать их на два су дешевле, чем я за своих беру. И горланил этот мужлан так, что у меня в лавке стекла звенели: «А вот по пяти су голуби, хорошие голуби!» Я ему раз двадцать своей шпиговальной иглой грозил. А он мне, как болван, знай одно твердит: улица, мол, для всех. Ну я, конечно, подал на него жалобу господину уголовному судье, и он меня признал правым и избавил от этого нахала. Не знаю уж, что потом с ним случилось, но я ему до сих пор простить не могу, много он мне вреда наделал, потому что когда я глядел, как мои давние клиенты покупают у него этих голубей, кто пару, а кто и полдюжины, у меня от огорчения желчь разлилась, и я после того долго страдал меланхолией. Хотел бы я, чтоб его с головы до ног клеем вымазали да вывалили в перьях от всех тех жареных голубей, которыми он у меня под носом торговал, да так, всего в перьях, и провели по улицам, привязав к задку его

тележки.

— Жестоки вы к бедным людям, мэтр Леонар, — сказал хромоногий ножовщик. — Вот этак-то несчастных и доводят до крайности.

— Господин ножовщик! — сказал, смеясь, мой добрый учитель, — мой вам совет: заказать в приходе святых Праведников какому-нибудь платному сочинителю сатиру на мэтра Леонара и продавать ее вместе с вашими песенками на двенадцать припевов про короля Людовика. Следовало бы высмеять нашего друга, который, и сам будучи почти что в рабстве, ратует не за свободу, а за тиранию. Я пришел к заключению из вашей беседы, господа, что управлять городом — искусство нелегкое, ибо тут надо уметь примирять разные противоречия, а то и прямо противоположные интересы, и что общественное благо складывается из множества частных бедствий, и в конечном счете надо еще удивляться, как это люди, замкнутые в городских стенах, не пожирают друг друга. Этим счастьем мы обязаны только их трусости. Общественное спокойствие в городе зиждется исключительно на малодушии горожан, кои, опасаясь один другого, держатся на почтительном расстоянии друг от друга. А монарх, внушая трепет всем, обеспечивает им неоценимые блага мирного существования. Что же касается ваших городских советников, власть у них небольшая, и они не способны ни причинить вам значительный вред, ни принести большую пользу. Их достоинство заключается главным образом в жезле да в парике, и не стоит вам так уж сетовать на то, что они назначаются королем и с недавних пор, уже при последнем короле, пожалованы в чиновники. Дружья монарха — они тем самым противники всех граждан без различия, а потому их враждебность легко сносить каждому благодаря тому совершенному равенству, с коим она распространяется на всех. Это своего рода дождь — на каждого попадает всего лишь несколько капель. А вот когда советников станет избирать народ (так оно, говорят, было в первые времена монархии), тогда у них появятся друзья и враги в самом городе. Коли это будут выборные от торговцев, платящих аренду и налог, они станут преследовать уличных продавцов, а если это будут выборные уличных продавцов, они станут придирааться к торговцам. Советники, избранные ремесленниками, будут прижимать хозяев, которые заставляют ремесленников работать на себя. Это будет постоянный источник разногласий и ссор. А заседания в ратуше будут протекать чрезвычайно бурно. Каждый станет защищать интересы и притязания своих выборщиков. Однако, я думаю, нам не придется жалеть о нынешних советниках, которые зависят всецело от монарха. Бурная суетность новых доставит развлечение гражданам, которые будут созерцать в ней самих себя, словно в увеличительном зеркале. Они станут умеренно пользоваться своей умеренной властью. Выходцы из народа, они будут столь же не способны просвещать его, сколь и обуздывать. Богачи будут ужасаться их дерзости, а бедняки — обвинять их в робости, тогда как на самом деле и тем и другим следовало бы признать, что они просто шумят без всякого толку. Впрочем, они будут исполнять привычные обязанности и печься об общественном благе с той деловитой бездеятельностью, какую усваивают все, но дальше коей никогда не идут.

— Э-эх! — сказал батюшка. — Правильно вы изволили сказать, господин аббат! А ну, выпейте-ка!

IX. Наука

В этот день мы с моим добрым учителем дошли до Нового моста, где вдоль парапета теснились лари, на которых торговцы книжным хламом раскладывают романы вперемежку с

душеспасительными сочинениями. Здесь за два су можно приобрести «Астрео», всю целиком, и «Великого Кира»^[215], потрепанные, замусоленные провинциальными книголюбам, и «Целебную мазь от ожогов» наряду с трактатами иезуитов. Мой добрый учитель, проходя мимо, имел обыкновение проглядывать кое-какие из этих творений, которые он, конечно, не покупал, ибо всегда был без денег, а если у него в редких случаях и оказывалось в кармане штанов несколько су, он благоразумно приберегал их для хозяина «Малютки Бахуса». К тому же он не стремился обладать благами сего мира, и даже самые лучшие произведения не вызывали у него желания приобрести их; ему было достаточно бегло ознакомиться с несколькими лучшими страничками, о которых он потом рассуждал с удивительной мудростью. Лари у Нового моста привлекали его еще тем, что книги здесь были пропитаны запахом жареного, ибо рядом торговали оладьями; таким образом этот великий человек одновременно наслаждался милыми ему ароматами кухни и науки.

Нацепив очки, он разглядывал выставку торговца книжным хламом с удовлетворением счастливой души, для которой все благолепно, ибо все, что ни есть, отражается в ней с благолепием.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне, — на прилавке у этого доброго человека лежат книги тех давних времен, когда книгопечатание еще пребывало в колыбели; в этих книгах чувствуется грубость наших предков. Я вижу здесь варварскую хронику Монстреле^[216], сочинителя, о коем говорили, что он едок, как горчица, два не то три жития святой Маргариты, которые некогда кумушки привязывали себе к животу, дабы облегчить родовые муки. Казалось бы, просто непостижимо, как это люди могли быть до такой степени глупы, чтобы писать и читать подобные нелепицы, если бы наша святая религия не учила нас, что человек рождается с зачатками слабоумия. А так как свет истинной веры, на мое счастье, никогда не оставлял меня даже в минуты прегрешений в постели или за трапезой, мне более понятна бывшая глупость людей, нежели их нынешняя сметливость, которая, скажу по правде, представляется мне мнимой и обманчивой, какой она и предстанет грядущим поколениям, ибо человек в сущности — глупое животное, и завоевания его разума суть не что иное, как жалкое следствие его непрестанных метаний. По этой-то причине, сын мой, мне не внушает доверия то, что люди называют наукой и философией, и что, по моему убеждению, есть просто обман представлений и смутительных образов; в некотором смысле — это победа лукавого над духом. Вы, конечно, понимаете, я далек от того, чтобы верить во все те дьявольские козни, которыми устрашают простых людей. Как и отцы церкви, я полагаю, что искушение находится в нас самих и что мы сами для себя являемся демонами и искусителями. Но я возмущен господином Декартом и всеми философами, которые подобно ему пытались найти в познании природы правила жизни и основы нашего поведения. Ибо в конце концов, Турнеброш, сын мой, что такое это познание природы, как не самообольщение наших чувств? И что, скажите на милость, прибавляет к этому наука со всеми своими учеными, начиная с Гассенди^[217] — а он отнюдь не был ослом! — и Декарта с его последователями вплоть до этого забавного дурачка господина де Фонтенеля^[218]? Очки, сын мой, всего-навсего очки, вроде тех, что у меня на носу. Все эти микроскопы и зрительные стекла, которыми так кичатся, что это в сущности, как не те же очки, только более совершенные, чем мои? Прошлый год я их купил у оптика, на ярмарке в день святого Лаврентия, но, к несчастью, левое стекло у них, — а как раз левым глазом я лучше вижу, — было разбито нынче зимой, когда хромой ножовщик запустил мне в голову табуретом, вообразив, будто я обнимаю Катрину-кружевницу, он ведь человек грубый, а под действием плотских вожделений и вовсе взбесился. Так вот, Турнеброш, сын мой, что же представляют собой все

эти инструменты, которыми ученые и любопытные загромождают свои кабинеты да музеи? Что такое все эти зрительные стекла, астролябии, буссоли, какие способы потворствовать самообольщению наших чувств и умножать роковое невежество, в коем мы пребываем от природы, попытками умножить наши отношения с ней. Самые ученые среди нас отличаются от невежд единственно тем, что обретают способность тешить себя многочисленными и сложными заблуждениями. Они разглядывают вселенную сквозь граненый топаз, вместо того чтобы смотреть на нее, — как это делает, к примеру сказать, ваша почтенная матушка собственным невооруженным глазом, который дал ей господь бог. Но ведь глаз остается тем же, сколько бы ни вооружали его стеклами; ведь нельзя изменить размеры, пользуясь приборами для измерения пространства, не меняется и вес оттого, что пользуются высокочувствительными весами; ученые открывают только новые видимости и таким образом лишь становятся игрушкой новых заблуждений. Вот и все! Ежели бы я не был убежден в святых истинах нашей веры, то мне, сын мой, при моей твердой уверенности, что всякое человеческое познание ведет лишь к накоплению иллюзий, не оставалось бы ничего другого, как прыгнуть вот с этого парапета в Сену, которая на своем веку перевидала много утопленников, или же обратиться к Катрине-кружевнице затем забвением мирских бед, кое находить в ее объятиях, но кое мне при моем положении, а особенно в мои годы, искать непристойно. Я бы не знал, чему верить посреди всех этих приборов, которые своим многообразным обманом только безгранично умножали бы обман моего зрения, и я был бы никуда негодным академиком.

Так говорил мой добрый учитель, стоя у моста перед первой аркой слева, если считать от улицы Дофина, и приводя в ужас торговца, который принимал его за заклинателя. Внезапно схватив старенькую геометрию, украшенную довольно дрянными чертежами Себастьяна Леклера^[219], он воскликнул:

— Быть может, вместо того чтобы утопить себя в любви или в воде, я, не будь я христианином и католиком, бросился бы в математику, где рассудок находит пищу, которой он больше всего алчет, а именно — последовательность и непрерывность. Признаюсь, эта маленькая, ничем не примечательная книжка внушает мне некоторое уважение к человеческому гению.

С этими словами он таким рывком открыл учебник Себастьяна Леклера на главе о треугольниках, что чуть было не разорвал его пополам. Но через минуту он отшвырнул его от себя с отвращением.

— Увы! — пробормотал он, — числа подчинены времени, линии — пространству, и все это опять те же заблуждения человеческие. Вне человека нет ни геометрии, ни вообще никакой математики, и в конечном счете эта наука не позволяет нам выйти за пределы самих себя, сколь искусно она ни прикидывается независимой.

Сказав это, он повернулся спиной к успокоившемуся букинисту и глубоко вздохнул.

— Ах, Турнеброш, сын мой! — промолвил он. — Ты видишь, как я терзаюсь по собственной вине и как я горю в этой огненной ризе, в которую я сам пожелал облечься, дабы украсить себя.

Это была всего лишь образная манера выражаться, ибо на самом деле на нем был изношенный подрясник, который едва держался на двух-трех пуговицах; да и те были застегнуты не на свои петли, а когда ему на это указывали, он, смеясь, говорил, что это прелюбодейные связи, символ наших городских нравов.

Он горячо продолжал:

— Я ненавижу науку за то, что слишком любил ее, — подобно тем любострастникам, которые упрекают женщин за то, что они не столь прекрасны, как им рисовало воображение.

Я хотел все познать, и вот теперь плачусь за свое преступное безумие. Счастливы, — добавил он, — о, сколь счастливы эти добрые люди, что столпились вокруг вон того шарлатана!

И он показал рукой на лакеев и горничных и на грузчиков с пристани св. Николая, окруживших уличного фокусника, который давал представление со своим подручным.

— Гляди, Турнеброш, — сказал он мне, — они хохочут от всего сердца, когда один болван дает ногой пинка в зад другому болвану, да это и в самом деле забавное зрелище, но для меня оно испорчено размышлением, ибо когда задумаешься над сущностью этой ноги и всего остального, так уж теряешь охоту смеяться. Я должен был бы, как подобает христианину, своевременно постигнуть все лукавство, скрытое в изречении некоего язычника: «Блажен познавший причины!» — я должен был бы замкнуться в святом неведении, как в уединенном вертограде, и остаться невинным, как младенец. Я бы развлекался, сказать по правде, отнюдь не грубыми выходками сего Мондора^[220] (Мольер с Нового моста не мог бы меня позабавить, когда и тот, настоящий, кажется мне чересчур шутовским)^[221] но я радовался бы травкам в моем саду и прославлял бы господа бога в цветах и плодах моих яблонь. Чрезмерное любопытство увлекло меня, сын мой, я утратил в беседах с книгами и с учеными душевный покой, святую простоту и то чистосердечие малых сих, которое особенно прекрасно оттого, что не умаляется ни в кабаке, ни в вертепе, как это видно на примере хромоногого ножовщика, а также, осмелюсь сказать, на примере вашего батюшки-харчевника, который сохранил невинность души, хоть он пьяница и гуляка. Но не так бывает с тем, кто изучал книги. У него навсегда остается от них надменная горечь и высокомерная скорбь.

Так говорил учитель, но в этот миг слова его заглушил бой барабанов...

Х. Армия

Итак, стоя на Новом мосту, мы услышали бой барабанов. Это набирали под ружье солдат в армию; сержант-вербовщик, лихо подбоченясь, важно выступал во главе дюжины солдат, у которых на штыках были нанизаны колбасы и булки. Столпившиеся вокруг мальчишки и оборванцы глазели на него, разинув рты.

Сержант, подкрутив усы, громко огласил воззвание.

— Не стоит слушать, — сказал мне мой добрый учитель. — Только время терять. Этот сержант выступает от имени короля, у него нет никакого дара выдумки. Если хотите услышать настоящие речи на эту тему, ступайте в какой-нибудь кабачок на Скобяной набережной, где эти мошенники увлекают лакеев да деревенских простаков. Вот там этим плутам приходится быть краснобаями. Помнится, как-то в юности, еще при покойном короле, мне довелось услышать поистине потрясающую речь одного такого торговца людьми, который закупал свой товар на Нищем Доле, его отсюда хорошо видать, сын мой. Он набирал людей для отправки в колонии. «А ну, молодцы, — говорил он, — вы, наверно, слышали не раз о благословенной счастливой стране изобилия, — чтобы попасть в этот обетованный край, надобно отправиться в Индию, а там уж всего вдоволь — сколько душе угодно! Желаете вы золота, жемчугов, алмазов? Ими там улицы мостят, только нагнись да подбирай. Да и нагибаться-то не надо! Дикари их вам наберут. Я уж не говорю про кофе, лимоны, гранаты, апельсины, ананасы и тысячи других замечательных плодов, которые растут сами собой, без всякого ухода, как в раю земном. Ежели бы передо мной были девки да ребяташки,

я бы им порассказал обо всех этих лакомствах, но ведь я с мужчинами говорю!» Не стану уж повторять, сын мой, всего, что он там разглагольствовал о славе, но, поверьте, что силой убеждения он не уступал Демосфену, а красноречием превзошел самого Цицерона. Наслушавшись его, пятеро или шестеро из этих бедняг отправились помирать в болотах от желтой лихорадки. Вот оно и выходит, что красноречие — опаснейшее оружие, и чары искусства, направлены ли они к добру, или ко злу, — одинаково обладают неодолимым могуществом. Возблагодарите господа, Турнеброш, за то, что он, не наделив вас никакими талантами, избавил вас от опасности стать когда-нибудь бичом народов. Люди, угодные богу, сын мой, узнаются по тому, что они лишены разума; я на себе убедился, что живость ума, коей меня наградило небо, — это непрестанная угроза моему спокойствию как здесь, на земле, так и в жизни будущей. А что было бы, если бы в груди моей обитало сердце Цезаря, а в голове — его разум? Мои вожделения не различали бы пола, и я был бы недоступен чувству жалости. Я бы разжег в своей стране и далеко за ее пределами множество неугасимых войн. Хорошо еще, что этот великий Цезарь обладал благородной душой и некоторой мягкостью. Он умер благопристойно от меча своих добродетельных убийц. О день Мартовских Ид, навеки злосчастный день, когда сии brutальные назидатели прикончили этого пленительного изверга! Я почитаю себя достойным оплакивать божественного Юлия рядом с его матерью, Венерой, и ежели я называю его извергом, то лишь любя, ибо его ровный дух был чужд каких-либо крайностей, за исключением властности. Он обладал врожденным чувством ритма и меры. В юности он с одинаковым пылом предавался наслаждениям плоти и утехам грамматики. Он был оратором, и красота его несомненно оживляла нарочитую сухость его речей. Он любил Клеопатру с той же геометрической четкостью, какую он вносил во все свои замыслы. Его сочинения, как и его поступки, отмечены духом ясности. Он был другом порядка и мира даже в самой войне; чуткий к гармонии, он был столь искусным законодателем, что даже мы, варвары, и поныне живем под сенью величия его власти, которая сделала мир тем, чем он является ныне. Ты видишь, сын мой, что я не скуплюсь воздать ему хвалу и выразить свою приверженность. Полководец, диктатор, верховный жрец, он лепил мир своими прекрасными руками. А я, бывший преподаватель красноречия коллежа в Бове, секретарь оперной дивы, библиотекарь его преосвященства епископа Сеэзского, писец при кладбище святого Иннокентия и наставник сына вашего родителя из «Харчевни королевы Гусиные Лапы», — я составил превосходный каталог редких рукописей, сочинил несколько пасквилей, о коих лучше не упоминать, и написал на оберточной бумаге размышления, отвергнутые издателями; все же я не поменял бы свою жизнь на жизнь великого Цезаря. Слишком дорого это обошлось бы моей невинности. По мне, лучше быть человеком безвестным, бедным и презираемым, каков я и есть на самом деле, нежели возноситься на вершины и открывать новые судьбы человечеству, к коим надо идти кровавым путем.

Этот вербовщик-сержант, который, как вы слышите, сулит беднякам по су в день, не считая хлеба и мяса, наводит меня, сын мой, на глубокие размышления касательно войны и войска. Кем-кем я не был на своем веку, но только не солдатом, ибо военное ремесло всегда внушало мне отвращение и ужас присущими ему чертами рабства, тщеславия и жестокости, кои как нельзя более претят моей миролюбивой натуре, моей необузданной любви к свободе и моему разуму, ибо он, здраво рассуждая о славе, знает настоящую цену славе оружия. Я уж не говорю о моей неодолимой склонности к размышлениям, которой весьма досаждали бы упражнения с саблей и ружьем. И вам должно быть понятно, что я, отнюдь не стремясь быть Цезарем, не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом^[222]. И я не скрою от вас, сын мой, что военная служба представляется мне самой страшной язвой цивилизованных

народов.

Это чувство философа. А посему нет никакой вероятности, что его когда-либо будут разделять многие. В действительности, и короли и республика всегда будут находить столько солдат, сколько понадобится для их парадов и войн. Я читал у господина Блезю в его лавке «Под образом святой Екатерины» трактаты Макиавелли^[223] в прекрасных пергаментных переплетах. Они их заслужили, сын мой; и я со своей стороны бесконечно уважаю этого флорентинца за то, что он первый отринул в деяниях государственных мужей основу справедливости, на коей они никогда не воздвигали ничего иного, кроме прославленных злодейств. Сей флорентинец, видя отчизну свою отданной на милость наемных солдат, подал мысль о национальном и патриотическом войске. В одном из своих сочинений он говорит, что, по справедливости, все граждане должны заботиться о безопасности родины и быть солдатами. В той же лавке господина Блезю я слышал, как эту идею поддерживал господин Роман, который, как вы знаете, чрезвычайно печется о нравах государства. Он мыслит только об общем и целом и не успокоится до тех пор, пока все частные интересы не будут принесены в жертву интересу общественному. Так вот, Макиавелли и господин Роман желают, чтобы все мы были солдатами, поскольку мы все граждане. Не стану утверждать подобно им, что это справедливо. Но не скажу также, что это несправедливо, ибо справедливость и несправедливость зависят от того, как к сему подойти, а это уж такой вопрос, который надо предоставить софистам.

— Как! дорогой учитель! — воскликнул я с горестным удивлением, — вы полагаете, что справедливость зависит от доводов софиста и что наши действия справедливы или несправедливы в зависимости от доказательств ловкого говоруна? Это утверждение так меня потрясает, что я даже и сказать не умею.

— Турнеброш, сын мой, — отвечал г-н аббат Куаньяр, — не забывайте, что я говорю о справедливости человеческой, которая отнюдь не похожа на справедливость божественную и по существу своему прямо противоположна ей. Люди всегда утверждали понятие справедливого и несправедливого не иначе, как красноречием, которое одинаково способно приводить доводы «за» и «против». Бы хотите, быть может, сын мой, чтобы справедливость опиралась на чувство, но берегитесь, ибо такая опора годится лишь на то, чтобы построить скромный домашний приют, шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой^[224]. Но дворец законов, твердыня государственных установлений, требует иного фундамента. Простодушной природе не под силу выдержать одной сие несправедливое бремя, эти грозные стены воздвигаются на прочных устоях древней лжи лукавым и свирепым искусством законодателей, судей и монахов.

Бессмысленно вопрошать, Турнеброш, сын мой, справедлив или несправедлив какой-нибудь закон, и это так же верно в отношении военной службы, как и других установлений, о коих нельзя сказать, хороши они по сути своей или плохи, ибо нет сути вне господя бога, от кого все ведет свое начало. Вам следует остерегаться, сын мой, этого рабства словесного, коему люди поддаются с такой покорностью. Знайте же, что слово «справедливость» ровно ничего не значит, кроме как в богословии, где оно обладает страшной выразительностью. И знайте, что господин Роман не что иное, как софист, коль скоро он доказывает, что должно служить монарху. Однако я полагаю, что если какой-нибудь монарх повелит всем гражданам стать солдатами, все ему подчинятся, не скажу — с кротостью, но с веселием. Я заметил, что человеку более всего по душе ратное дело, ибо это то, к чему он естественно склонен по своим инстинктам и вкусам, а они у него не все хороши. И за редкими исключениями, к коим отношусь и я, человека можно определить как животное с ружьем. Оденьте его в нарядную форму и дайте надежду подраться, — и он будет доволен. Поэтому-то мы и почитаем ратную

службу самым благородным занятием, что, конечно, в некотором смысле даже верно, ибо оно самое древнее, и первые люди на земле уже вели войну. Кроме того, военное ремесло еще и тем под стать природе человеческой, что тут не надо думать, а мы, разумеется, и не созданы для того, чтобы думать.

Мышление — это болезнь, свойственная лишь некоторым особям, и если бы она распространилась, то быстро привела бы к уничтожению рода человеческого. Солдаты живут скопом, а человек животное общественное. Они носят мундиры голубые с белым, голубые с красным и серые с голубым, ленты, плюмажи и кокарды, в коих красуются перед девками, как петух перед курицей. Они идут на войну и на мародерство, а человек по природе своей вор, распутник, разрушитель и в высшей степени падок до славы. Вот эта-то любовь к славе и заставляет главным образом наших соотечественников французов хвататься за оружие. И безусловно во мнении людском только военная слава и обладает блеском. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать сочинения историков. Всякий простит вояке Тюльпану, что он не превзошел в философии Тита Ливия.

XI. Армия (Продолжение)

Мой добрый учитель продолжал свою речь так:

— Надобно не упускать из виду, сын мой, что люди, связанные друг с другом в долгом беге времени одной цепью, из коей они видят лишь несколько звеньев, присваивают понятие благородства разным обычаям низкого, варварского происхождения. Их невежество способствует их тщеславию. Они строят свою славу на давних бедствиях, а доблесть оружия ведет свое начало от дикости первоначальных времен, о коих сохранилась память в библии и творениях поэтов. Что же в сущности представляет собой эта военная каста, застывшая в своей надменности высоко над нами, как не выродившихся последышей жалких звероловов, которых поэт Лукреций^[225] описал так, что не знаешь, люди это или звери. Достоин удивления, Турнеброш, сын мой, что война и охота, одна мысль о коих должна была бы преисполнять нас стыдом и угрызениями совести, напоминая о низменных потребностях нашей природы и укоренившемся в нас зле, могли, наоборот, сделаться предметом людской гордости и что христианские народы и поныне чтут ремесло мясника и палача, когда оно переходит из рода в род, и что в конце концов у просвещенных наций именитость граждан измеряется количеством убийств и злодеяний, которые, так сказать, накопились в их крови.

— Господин аббат, — спросил я у моего доброго учителя, — а не думаете ли вы, что ратное ремесло почитается благородным из-за опасностей, с коими оно сопряжено, и из-за храбрости, какую при этом надлежит проявлять?

— Сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — если бы действительно звание человека почиталось благородным сообразно опасностям, с коими оно сопряжено, я бы, не колеблясь, сказал, что крестьяне и батраки — самые благородные люди в государстве, ибо они всякий день рискуют умереть от изнеможения и от голода. Опасности, коим подвергаются солдаты и полководцы, не столь многочисленны и далеко не столь длительны; за всю жизнь это разве что несколько часов, и все дело заключается в том, чтобы не дрогнуть под нулями и ядрами, которые убивают не так верно, как нищета. Сколь же надо быть легкомысленным и тщеславным, сын мой, дабы прославлять солдатское ремесло более, нежели труд пахаря, и

ценить разрушения войны выше мирных занятий.

— Господин аббат, — спросил я еще, — а вы не считаете, что солдаты необходимы для безопасности государства и что мы должны почитать их из признательности за то, что они нам полезны?

— Правду сказать, сын мой, война — это потребность человеческой природы, и нельзя представить себе народы, которые бы совсем не дрались, то есть, другими словами, не состояли бы из человекоубийц, грабителей и поджигателей. Нельзя также представить себе монарха, который в какой-то мере не был бы узурпатором. Его бы слишком порицали и презирали за то, что он равнодушен к славе. Вот то-то и есть, что война необходима человеку; она гораздо более свойственна ему, чем мир, который есть не что иное, как передышка между войнами. Потому-то монархи и посылают свои войска одно против другого по самым пустячным поводам и ничтожным причинам. Они ссылаются на свою честь, а она у них чрезвычайно чувствительна. Достаточно дуновения, чтобы на ней появилось пятно, и смыть его можно только кровью десяти, двадцати, тридцати, а то и сотни тысяч человек, смотря по населенности государства. А ведь если вдуматься, мыслимо ли представить себе, каким образом честь монарха может быть обелена кровью этих несчастных? Вот тут-то и начинаешь понимать, что все это — одни слова, лишённые всякого смысла; но люди готовы убивать друг друга ради слова. А еще более надобно удивляться тому, что монарху приносит честь и славу захват чужой земли и что злодеяние, за которое какого-нибудь головореза карают смертью, становится достойным похвал, ежели его с самой зверской жестокостью совершает монарх при помощи своих наемников.

Высказав все это, мой добрый учитель достал из кармана табакерку и заложил в нос оставшиеся крохи табаку.

— Господин аббат, — спросил я его, — а разве не бывает войн справедливых, которые ведутся за правое дело?

— Турнеброш, сын мой, — отвечал он мне, — просвещенные народы довели несправедливость войны до чрезмерных крайностей и сделали ее совершенно бесчестной и вместе с тем невероятно жестокой. Первые войны велись племенами из-за владения плодородными землями. Так израильтяне завоевали Землю Ханаанскую. Их толкнул на это голод. А с ростом цивилизации войны ведут, дабы завоевать колонии и фактории, как это видно на примере Испании, Голландии, Англии и Франции. Наконец немало было таких королей и императоров, которые и вовсе без нужды прибирали к рукам целые области и разоряли да опустошали их безо всякой пользы для себя, если не считать воздвигнутых ими там пирамид и триумфальных арок. Такое злоупотребление войной особенно гнусно, ибо невольно наводит на мысль, что либо люди, по мере совершенствования в науках, становятся все злее и злее, либо — и это, пожалуй, вернее, — что война есть насущная потребность человеческой природы и люди воюют просто ради того, чтобы воевать, даже когда война не имеет никакого смысла.

Эта мысль глубоко удручает меня, ибо я по своему сану и по складу ума склонен любить моих ближних. А что меня сейчас уж совсем приводит в уныние, Турнеброш, сын мой, так это сделанное мной открытие, что табакерка моя пуста, а табак — самое мое уязвимое место: из-за него мне больше всего приходится страдать от нищеты.

Чтобы отвлечь его мысли от этой маленькой слабости и вместе с тем почерпнуть от его учености, я спросил его, не кажется ли ему, что междоусобная война — это самая мерзкая из войн.

— Она и в самом деле мерзостна, — отвечал он мне, — но вовсе уж не так бессмысленна, ибо когда граждане схватываются друг с другом, им все же видней, из-за чего они вступили в

драку, чем когда они идут войной на чужеземцев. Мятежи и внутренние распри обычно порождаются крайней нищетой народа. Они вызваны отчаянием, и это единственный выход, оставшийся у бедняков, которые таким путем могут добиться облегчения своей участи, а иногда даже и некоторой власти. Надо заметить, сын мой: чем обездоленнее мятежники и, следовательно, чем более они заслуживают оправдания, тем меньше у них шансов одержать победу. Изголодавшиеся, отупевшие, вооруженные только своей яростью, они не способны на широкие замыслы и осторожное предвидение, так что монарху нетрудно бывает их усмирить. Труднее подавить бунт людей знатных, который поистине внушает отвращение, ибо его нельзя оправдать необходимостью.

— А в конце-то концов, сын мой, внутренняя либо внешняя, война всегда омерзительна и полна зла, которое мне ненавистно.

XII. Армия

(Продолжение и конец)

— Сын мой, — добавил мой добрый учитель, — я сейчас покажу тебе, как ремесло этих несчастных солдат, которые будут служить королю, сочетает в себе позор и славу человека. Поистине война снова уводит нас вспять и возвращает к нашему природному зверству; она является следствием той свирепости, которая и роднит нас со зверями; я имею в виду не только львов или петухов, которые проявляют ее с такой великолепной гордостью, но и всяких птах вроде синиц или соек с их чрезвычайно драчливым нравом или даже насекомых, как осы и муравьи, которые сражаются с таким ожесточением, что даже у самих римлян не найти подобных примеров. Основные причины войны одни и те же, что у человека, что у зверя. И тот и другой бросается в драку, чтобы отнять либо удержать добычу, защитить свое гнездо или берлогу или завладеть самкой. В этом между ними нет никакой разницы, и похищение сабинянок в точности напоминает битвы оленей, которые по ночам орошают кровью лесные чащи. Мы только ухитрились приукрасить эти низменные и естественные побуждения понятием чести, которым и наделяем их безо всякого разбора. Если мы полагаем, что воюем ныне за какие-то высоко благородные цели, то все это благородство основывается исключительно на расплывчатости наших представлений. Чем менее ясна, проста и очевидна цель войны, тем гнуснее и омерзительнее война. А коли и вправду, сын мой, люди дошли до того, что убивают друг друга ради чести, то это — верх извращенности. Мы превзошли в жестокости диких зверей, ибо звери не причиняют друг другу зла без насущных причин. И правильно будет сказать, что человек в своих войнах злее и противоестественнее, чем быки и муравьи в своих драках. Но это еще не все. Войска ненавистны мне не столько тем, что они повсюду сеют смерть, сколько невежеством и глупостью, которые они приносят с собою. Нет худшего врага всякого искусства или науки, нежели военачальники наемных или добровольных отрядов, и обычно эти полководцы не менее невежественны в полезных науках, чем их солдаты. Привычка навязывать свою волю силой делает солдата неспособным к выразительной речи, которая рождается необходимостью убеждать людей. Поэтому солдат считает себя вправе презирать слово и знания. Помнится мне, когда я был библиотекарем у господина епископа Сеэзского, знавал я одного старика полковника, поседевшего на ратной службе; он слыл храбрым воякой и гордился своим глубоким шрамом, который шел у него через все лицо. Это был

бесшабашный удалец, который перебил на своем веку немало людей и изнасиловал не одну монашенку, по при этом безо всякой злобы. Он был знаток военного дела и строго следил за выправкой своего полка, который маршировал на парадах лучше всех других. А в общем, это был душевный малый и отличный товарищ, с которым приятно посидеть за бутылкой вина, как я имел случай убедиться в харчевне «Белого коня», где мы с ним нередко сживали вместе. Как-то раз вечером я пошел проводить его на занятия, которые заключались в том, что он учил своих солдат определять страны света по звездам. Сначала он огласил приказ господина де Лувуа касательно сего предмета^[226], и так как он его повторял наизусть вот уже лет тридцать, то прочел без запинки, вроде как «Отче наш» или «Богородицу». В приказе сем говорится, что солдатам надлежит прежде всего найти в небе Полярную звезду, поскольку она стоит неподвижно относительно других звезд, которые вращаются вокруг нее в направлении, обратном движению часовой стрелки. Но он сам плохо понимал, что он произносит, ибо, повторив два-три раза одну фразу весьма повелительным тоном, он вдруг наклонился к моему уху и прошептал:

— Черт возьми! аббат, да покажите вы мне эту шлюху — Полярную звезду! Разорви меня дьявол, но я не могу различить ее в этой куче огарков, которые понатыканы в небе.

Я тут же научил его, как надо находить звезду, и показал на нее пальцем.

«Ого! — воскликнул он, — высоко взмостилась, мерзавка! Отсюда, где мы стоим, нельзя и глядеть, вывихнешь шею!» И он тотчас же скомандовал своим офицерам отвести солдат на пятьдесят шагов назад, чтобы им легче было смотреть на Полярную звезду.

То, что я тебе рассказываю, сын мой, я слышал собственными ушами, и ты согласишься со мной, что у этого рубаки было довольно наивное представление о мироздании и, в частности, о звездных параллаксах. И, однако, он носил королевские ордена на своем великолепном расшитом мундире и пользовался в государстве гораздо большим почетом, нежели ученый служитель церкви. Вот этой-то грубости я и не переношу в военщине.

Тут мой добрый учитель остановился, чтобы перевести дух, и я спросил его, не думает ли он, что, невзирая на все невежество этого полковника, надо как-никак иметь немало ума, чтобы выигрывать сражения. На это он мне ответил так:

— Турнеброш, сын мой, если подумать, каких трудов стоит собирать и вести за собой войска, сколько требуется знаний для атаки или обороны какого-нибудь места и сколько надобно сметливости, дабы успешно вести бой, то следует признать, что только почти сверхчеловеческий гений, каким обладал Цезарь, способен на такие дела, и диву даешься, что были на свете люди, которые совмещали в себе все качества истинного полководца. Хороший военачальник знает не только характер страны, но и нравы и занятия жителей. Он удерживает в памяти бесконечное количество мелких подробностей, из коих постепенно слагает себе обширное, ясное представление. Он может по внезапному вдохновению изменить молниеносно во время битвы планы, начертанные им заранее и тщательно обдуманые; он должен быть крайне осмотрительным и вместе с тем весьма отважным; мысль его то движется с глухой медлительностью крота, то взмывает ввысь подобно орлу. Все это действительно так. Но подумай, сын мой, когда два войска сталкиваются в бою, одно из них должно быть побеждено, откуда следует, что другое должно победить, даже если военачальник, командующий им, не обладает всеми достоинствами великого полководца или хотя бы одним из них. Я согласен, что бывают искусные полководцы, а бывают и просто удачливые, и слава их не меньше. Как в этих уму непостижимых стычках различить, что здесь от искусства, а что от удачи? Но ты заставил меня отклониться от предмета, Турнеброш, сын мой! Я хотел показать тебе, что ныне война — это позор человечества, а было время, когда она возвышала его. Навязанная государствам силой необходимости, она

была великой наставницей рода человеческого. Благодаря ей люди воспитали в себе те добродетели, коими создаются и держатся города. Война научила людей терпению, стойкости, презрению к опасности и благородному самопожертвованию. В тот самый день, когда наши пращурьы своротили каменные глыбы и соорудили ограду, дабы, укрывшись за ней, защищать своих жен и быков, было положено основание первому человеческому обществу и обеспечено развитие ремесел. Великое благо, коим мы обладаем, — отчизна, родной город, священный Urbs^[227], чтимый римлянами превыше богов, — это дитя войны.

Первый город был укрепленной оградой; вот в этой-то грубой кровавой колыбели были взлелеяны великие законы, прекрасные ремесла, знания и мудрость. Вот почему истинный господь пожелал называться богом воинств.

Все это я говорю тебе, Турнеброш, сын мой, не для того, чтобы ты записался в солдаты у этого сержанта-вербовщика и возымел желание стать героем и получать в среднем по шестьдесят палочных ударов в день.

В том-то и дело, что в нашем современном обществе война обратилась в наследственный недуг, в извращенное влечение к жизни дикарей, в преступное ребячество. Монархи наших дней, и в особенности покойный король, оставят по себе навеки позорную славу потому, что они превратили войну в игру и забаву своих дворов. Мне грустно подумать, что нам не дожить до конца этой заранее условленной бойни.

— Что же касается будущего, непроницаемого будущего, позволь мне, сын мой, представить его себе более сообразным присущему мне духу кротости и справедливости. Будущее — удобный приют для наших мечтаний! Там, как в стране Утопии^[228], мудрец с радостью предается своим построениям. Я хочу верить, что настанет время, когда народы обретут мирные добродетели. Возрастающая мощь орудий войны сама по себе позволяет мне прозреть отдаленное предзнаменование всеобщего мира. Армии увеличиваются непрерывно и в силе и в числе. Наступит день, когда они поглотят целые народы. И тогда это чудовище погибнет от обжорства. Оно слишком раздуется и лопнет.

XIII. Академии

В этот день мы узнали, что епископа Сеэзского избрали членом Французской академии^[229]. Лет двадцать тому назад он выступил со славословием святому Маклу, и оное было признано достойным сочинением. Я охотно верю, что в нем были превосходные места, ибо г-н аббат Куаньяр, мой добрый учитель, немало потрудился над ним до того дня, как покинул епископство в обществе горничной г-жи ла Байлив. Г-н епископ Сеэзский — отпрыск старинного нормандского рода. Его благочестие, его погребя и его конюшни пользовались заслуженной славой во всем королевстве, а родной его племянник, тоже епископ, ведал списками церковных бенефиций. Избрание его никого не удивило. Оно было одобрено всеми, за исключением господ из кофейни Прокоп, которые никогда ничем не бывают довольны. Это — фрондеры.

Мой добрый учитель мягко побранил их за строптивый дух.

— На что сетует господин Дюкло?^[230] — сказал он. — Он со вчерашнего дня стал ровней епископу Сеэзскому, у которого лучший клир и лучшая псарня во всем королевстве. Ибо, согласно уставу, академики равны между собой^[231]. Правда, это дерзкое равенство сатурналий^[232], которое перестает существовать, как только заседание окончено и господин

епископ садится в свою карету, предоставляя господину Дюкло пачкать шерстяные чулки в уличных лужах. Но если господин Дюкло не желает равняться таким образом с господином епископом Сеэзским, чего же он тогда якшается с этой чиновничьей знатью? Почему он не сидит в бочке, как Диоген, или в будке писца на кладбище святого Иннокентия, как я? Ведь только в бочке или в будке писца глядишь сверху вниз на суетное величие мира сего и становишься истинным монархом и полновластным владыкой. Блажен, кто не возлагает надежд на Академию! Блажен, кто живет, чуждый страха и желаний, и сознает тщету всего сущего. Блажен, кто постиг, что одинаково суетно быть академиком или не быть оным. Он ведет беспечально свою безвестную и глухую жизнь. Прекрасная свобода сопутствует ему всюду. Он справляет во мраке тихие празднества мудрости, и все музы улыбаются ему, как своему избраннику.

Так говорил мой добрый учитель, и я восхищался чистым вдохновением, звучавшим в его голосе и сверкавшим в его очах. Но беспокойство юности одолевало меня. Мне хотелось стать на чью-нибудь сторону, ввязаться в спор, объявить себя сторонником или противником Академии.

— Господин аббат, — спросил я, — разве это не долг Академии — привлекать к себе лучшие умы королевства, вместо того чтобы отдавать предпочтение дядюшке епископа, ведающего списком бенефициев?

— Сын мой, — кротко отвечал мне мой добрый учитель, — если епископ Сеэзский суров в своих пастырских наставлениях, а в жизни блестящ и любезен, если он является образцом для прелатов, и притом же произнес славословие святому Маклу, а вступительная часть оногo, где говорится об излечении королем Франции золотушных больных, признана высоко достойной, — неужели вы хотели бы, чтобы сие сообщество отвергло его только потому, что у него есть племянник, столь же влиятельный, сколь и обходительный? Поистине это было бы варварской добродетелью — покарать столь бесчеловечно епископа Сеэзского за величие его рода. Академия пожелала пренебречь этим обстоятельством. Это, сын мой, само по себе благородно.

Я осмелился возразить ему по своей юной запальчивости.

— Господин аббат, — сказал я, — не прогневайтесь, но я не могу согласиться с вашими доводами. Все знают, что епископ Сеэзский отличается необыкновенной легкостью характера, и если что и поражает в нем, так это его умение ладить с различными партиями. Все помнят, как он мягко изворачивался между иезуитами и янсенистами, расцвечивая свою бледную осмотрительность розами христианского милосердия. Он полагает, что сделал достаточно, если никого не задел, а весь свой долг разумеет в том, чтобы умножать свое состояние. Так что вовсе не возвышенностью духа завоевал он голоса знаменитых мужей, коим покровительствует король ^[233], и не своим блестящим умом. Ибо, если не считать этого славословия святому Маклу, которое он (как это всем известно) только взял на себя труд произнести, сей кроткий прелат довольствовался для своих выступлений лишь жалкими проповедями своих викариев. Он привлекал к себе лишь учтивостью разговора да своей обходительностью. Но разве этих качеств достаточно для бессмертия?

— Турнеброш, — ласково отвечал мне г-н аббат, — ты рассуждаешь с тем простодушием, коим наделила тебя почтенная матушка, когда произвела на свет, и я предвижу, что ты надолго сохранишь сию младенческую невинность, с чем я могу тебя поздравить. Однако не годится, чтобы твоя невинность делала тебя несправедливым. Достаточно, если она оставит тебя в невежестве. Для бессмертия, кое только что

присуждено епископу Сеэзскому, не требуется быть ни Боссюэ, ни Бельзансом^[234]. Оно не высечено в сердцах потрясенных народов, но вписано в толстенную книгу, и ты должен твердо знать, что эти бумажные лавры не подходят лишь к доблестным головам.

Если среди этих Сорока встречаются люди, у которых больше учтивости, чем дарований, что же ты тут видишь дурного? Посредственность торжествует в Академии. А где она не торжествует? Разве она менее могущественна, скажем, в парламентах или в Королевском совете, где она, конечно, гораздо менее уместна? Да и нужно ли быть человеком исключительным, чтобы трудиться над словарем, который претендует создавать правила речи, по способен только следовать им?

Академисты, или академики, были заведены, как известно, для того, чтобы закрепить правильное словоупотребление в речи и очистить язык от всех загрязняющих его устарелых и простонародных выражений, дабы не появился, чего доброго, еще какой-нибудь новый Рабле или новый Монтень, от которых так и несет простонародьем^[235], деревенщиной либо школярством. С этой целью собрали людей благородных, умеющих изъясняться как должно и писателей, коим полезно было научиться сему. Сначала были опасения, как бы эта компания не переделала насильственно весь французский язык. Но вскоре убедились, что опасаться нечего и что академики следуют обиходным правилам речи и отнюдь не намерены вводить новые. Невзирая на их запреты, все продолжали говорить, как говорили раньше: «Я закрываю дверь»^[236].

Ученая компания смирилась, и вскорости труды его свелись к тому, чтобы заносить в толстый словарь различные видоизменения речи. Сие есть единственная забота Бессмертных^[237]. Покончив с делами, они на досуге не прочь побеседовать между собой. Для этого им требуется, чтобы в их среде были приятные, покладистые, обходительные люди, любезные собраты, согласные друг с другом и хорошо знающие свет. А люди даровитые не всегда бывают таковыми. Гений частенько оказывается необщительным. Натура исключительная редко отличается изворотливостью. Академия сумела обойтись без Декарта и Паскаля. А кто станет утверждать, что она могла бы так же легко обойтись без господина Годо, или господина Конрара^[238], или любого другого с таким же гибким, податливым и осторожным умом?

— Увы! — вздохнул я, — так, значит, это вовсе не синклит божественных мужей, не совет Бессмертных, не верховный ареопаг поэзии и красноречия?

— Отнюдь нет, сын мой. Это сообщество, которое всегда и во всем соблюдает учтивость, этим оно и заслужило широкую известность у чужеземцев, и в особенности у московитов. Ты не представляешь себе, сын мой, какое благоговение внушает Французская академия немецким баронам, полковникам русской армии и английским лордам. Для этих европейцев нет ничего выше наших академиков и наших танцовщиц. Я знавал одну сарматскую княжну, девицу редкой красоты, которая проездом через Париж рьяно разыскивала какого ни на есть академика, дабы принести ему в дар свою невинность.

— Но ежели это так, — воскликнул я, — как же академики не боятся запятнать свою добрую славу дурным выбором, за который у нас так часто их порицают?

— Полно, Турнеброш, сын мой, — отвечал мой добрый учитель, — не будем говорить дурно о дурном выборе. Прежде всего во всех делах человеческих следует отдавать должное случаю, а случай, если рассудить хорошенько, есть не что иное, как господний промысел здесь, на земле, единственный путь, коим открыто проявляет себя в здешнем мире

божественное провидение. Ибо ты должен понимать, сын мой, что так называемые нелепые случайности и капризы судьбы на самом деле суть не что иное, как торжество божественной мудрости, которая смеется над советами лжемудрецов. А затем во всякого рода собраниях надо все же делать кой-какие уступки прихоти и фантазии. Общество, отличающееся совершенным здравомыслием, было бы совершенно невыносимо; оно зачехло бы под холодным игом справедливости. Оно не чувствовало бы себя ни сильным, ни просто свободным, если бы время от времени не услаждало себя приятной возможностью бросить вызов общественному мнению и здравому смыслу. Предаваться каким-нибудь чудачествам — это небольшой грех великих мира сего. Почему бы Академии не иметь своих причуд, как турецкому султану или красивым женщинам?

Немало противоречивых страстей действует сообща, дабы привести к этому дурному выбору, который возмущает простаков. Добрым людям доставляет удовольствие взять никчемного человека и сделать его академиком. Так, бог псалмопевца Давида возносит бедняка из грязи: *Erigens de stercore pauperem, ut collocet eum cum principibus, cum principibus populi sui*^[239]. Такие необычайные события повергают в изумление народы, а те, кто их вершит, должны почитать себя облеченными таинственной и грозной силой. А какое удовольствие вытащить такого малоумца из грязи и в то же самое время пройти мимо какого-нибудь властителя дум! Ведь это значит испить сразу, одним глотком, редкий восхитительный напиток удовлетворенного милосердия и успокоенной зависти. Иначе говоря — насладиться всеми чувствами, полностью ублаготворить себя! И вы хотите, чтобы академики не соблазнились сладостью такого напитка!

Надо еще принять во внимание, что, доставляя себе столь изысканное наслаждение, академики вместо с тем действуют в собственных интересах. Общество, состоящее исключительно из великих людей, было бы весьма малочисленно и оказалось бы скучным. Великие люди не терпят друг друга и совсем лишены остроумия. Их полезно перемешать с маленькими людишками. Это их забавляет. Маленькие выигрывают от соседства, а великие — от сравнения; выгодно и тем и другим. И мы можем только удивляться, с какой безошибочной ловкостью и при помощи какого искусного механизма Французская академия ухитряется придать некоторым из своих членов весомость, которую она приобрела от других. Это такое скопление солнц и планет, где все блещет ярким светом, — не своим, так заимствованным.

Больше того. Дурной выбор просто необходим для существования этого общества. Если бы оно в своем выборе не допускало слабостей и ошибок, если бы оно иной раз не притворялось, что поступает наобум, оно внушило бы к себе такую ненависть, что не могло бы существовать. Оно стало бы в республике слова неким судилищем среди осужденных. Непогрешимое, оно было бы омерзительно. Какое оскорбление для всех, кого не приняла Академия, если бы избранник всегда был самым лучшим! Дочь Ришелье должна производить впечатление несколько легкомысленной, чтобы не казаться слишком заносчивой. Ее спасает то, что она взбалмошна. Ее несправедливость выгораживает ее, и так как мы знаем, что она капризна, то не обижаемся на нее, когда она нас отвергает. Ей иной раз так выгодно ошибаться, что я вопреки всем внешним признакам склонен думать, что она это делает нарочно. Она прибегает к восхитительным уловкам, дабы польстить самолюбию отвергнутых ею кандидатов. Бывает, что ее выбор обезоруживает зависть. И вот в этих-то ее мнимых ошибках и следует чтить истинную мудрость.

В этот день мы с моим добрым учителем зашли, как обычно, в лавку «Под образом св. Екатерины» и застали там знаменитого господина Рокстронга; взобравшись на самый верх стремянки, он рылся в старых книгах, до которых большой охотник. Ибо все знают, что, несмотря на свою беспокойную жизнь, он любит собирать редкие книги и хорошие гравюры.

Осужденный английским парламентом на пожизненное заключение за участие в заговоре Монмута^[240], он поселился во Франции и без конца посылал отсюда разные статьи в газеты своего отечества^[241]. Мой добрый учитель опустил, как всегда, на скамейку и поднял глаза на лесенку, по которой г-н Рокстронг сновал, словно белка, с проворством, сохранившимся у него и в преклонном возрасте.

— Слава богу! — промолвил аббат, — я вижу, господин бунтовщик, вы отлично себя чувствуете и все так же молоды.

Господин Рокстронг устремил на моего доброго учителя пылающий взор, озарявший его желчное лицо.

— А почему вы, толстый аббат, называете меня бунтовщиком? — спросил он.

— Я называю вас бунтовщиком, господин Рокстронг, ибо вы потерпели поражение. Побежденный — это бунтовщик. Победители никогда не бывают бунтовщиками.

— Аббат, вы рассуждаете с отвратительным цинизмом!

— Поостерегитесь, господин Рокстронг! Это изречение принадлежит не мне, оно принадлежит весьма великому человеку: я нашел его в сочинениях Юлия Цезаря Скалигера^[242].

— Ну, и что ж, аббат? Это скверные сочинения. А изречение его гнусно. Наше поражение, коему виной нерешительность нашего вождя и его слабость, за которую он поплатился жизнью, нисколько не умаляет правоты нашего дела. И честные люди, побежденные мошенниками, остаются честными людьми.

— Господин Рокстронг, мне горестно слышать, что вы в делах общественных различаете честных людей от мошенников. Такие простые определения годились для того, чтобы обозначить доброе и злое начала в битвах ангелов, происходивших на небесах до сотворения мира, кои ваш соотечественник Джон Мильтон воспел с такой потрясающей грубостью^[243]. Но на нашем земном шаре враждующие страны никогда не бывают так уж точно разделены, чтобы можно было без предубеждения либо поблажки отличить воинство чистых от воинства нечистых, ни даже разобрать, какая сторона — правая, а какая — неправая. Так вот оно и выходит, что только успех и может быть единственным судьей правоты дела. Вы сердитесь, господин Рокстронг, что я называю бунтовщиком того, кто побежден. Однако, когда вам случилось добиться власти, вы ведь не потерпели бунта.

— Аббат, вы сами не понимаете, что говорите. Мне всегда не терпелось перейти на сторону побежденных.

— Это правда, господин Рокстронг, вы прирожденный, исконный враг государства. Вы закоснели в своей вражде, ибо вами владеет дух, который наслаждается уничтожением и коему доставляет удовольствие разрушать.

— Аббат, вы считаете это преступлением?

— Господин Рокстронг, будь я государственным мужем и другом монарха подобно господину Роману, я считал бы вас величайшим злодеем. Но не так уж я пылко привержен культу политики, чтобы меня повергала в ужас громкая молва о ваших злодеяниях и покушениях, которые вызывают больше шума, чем причиняют зла.

— Аббат, вы безнравственный человек!

— Не судите меня за это слишком строго, господин Рокстронг, ибо только благодаря этому человек и становится снисходительным.

— На что мне ваша снисходительность, толстый аббат, если вы делите ее между мной, который является жертвой, и этими негодьями из парламента, осудившими меня с гнуснейшей несправедливостью!

— Вы шутник, господин Рокстронг! Говорить о несправедливости лордов!

— А разве она не вопиет к небу?

— Все это, конечно, верно, господин Рокстронг; вас осудили по нелепому обвинительному заключению лорда-канцлера за найденное у вас собрание пасквилей, из коих ни один, в частности, не подлежит преследованию по английским законам; верно и то, что в стране, где разрешается писать все, что угодно, вы понесли наказание за несколько едких статей; верно и то, что ваше осуждение приняло несколько необычные и своеобразные формы, торжественное лицемерие коих плохо маскировало невозможность осудить вас согласно закону; судившие вас лорды были весьма заинтересованы в том, чтобы разделаться с вами, ибо победа Монмута и ваша неминуемо вышибла бы их из парламентских кресел. Верно, что ваше осуждение было предрешено заранее в Королевском совете. Верно, что вы своим бегством избавились от своего рода мученичества, правду сказать, не такого уж большого, но тягостного, ибо пожизненное заключение — это мука, даже когда есть разумные основания надеяться, что вскорости освободишься. Но во всем этом нет ни справедливости, ни несправедливости. Вас осудили из соображений государственной пользы. И это весьма почетно. И многие из тех лордов, которые вас осудили, участвовали с вами в заговорах лет двадцать тому назад. Ваше преступление заключалось в том, что вы внушили страх людям высокопоставленным, а такое преступление не прощается. Министры и их друзья вопиют о гибели отечества, когда что-либо угрожает их благосостоянию и положению. Они почитают себя необходимыми для сохранения целостности государства, ибо в большинстве случаев эти люди корыстные и чуждые философии. Но это еще не значит, что они дурные. Они — люди. И этим достаточно объясняется их жалкая посредственность, их глупость и скаредность. Но кого же вы противопоставляете им, господин Рокстронг? Других — таких же посредственных, но еще более алчных, ибо они больше изголодались. Народ лондонский терпел бы их, как терпит других. Он ждал вашей победы либо вашего поражения, дабы принять ту или иную сторону. И тем самым доказал свою необычайную мудрость. Народ чрезвычайно осмотрителен, когда он видит, что от перемены хозяина он ничего не выиграет и не проиграет.

Так говорил аббат Куаньяр, а г-н Рокстронг, с пылающим липом, сверкая очами из-под огненного своего парика, закричал ему с лестницы, размахивая руками:

— Аббат! Я понимаю мошенников! И всех этих плутов из министерства и парламента. Но я не понимаю вас, — как вы, безо всякой для себя корысти, просто по злобе, защищаете правила поведения, которых сами они придерживаются лишь потому, что им это выгодно. Выходит, вы хуже их, ибо поступаете так же, не будучи заинтересованным. Это выше моего понимания, аббат!

— Это показывает, что я философ, — мягко отвечал мой добрый учитель. — Такова уж природа истинных мудрецов — раздражать всех других людей. Блестящий пример тому — Анаксагор. Я не называю Сократа, ибо он был просто-напросто софист. Но мы видим, что во все времена и во всех странах суждения созерцательного ума были предметом поношения. Вы полагаете, господин Рокстронг, что сильно отличаетесь от ваших недругов и что вы столь же любезны людям, сколь они ненавистны. Позвольте мне сказать вам, что это — чистейшее

заблуждение, плод вашей гордыни и вашего высокомерного духа. В действительности вы в такой же мере, как и осудившие вас, подвержены всем слабостям и всем страстям человеческим. Если вы и честнее многих из них и обладаете непревзойденной живостью ума, — вами владеет дух ненависти и раздора, а это делает вас крайне несносным в просвещенном государстве. Ремесло газетчика, в коем вы столь преуспели, изошрило до крайности необычайную пристрастность вашего ума, и вы, жертва несправедливости, сами отнюдь не отличаетесь справедливостью. То, что я сейчас говорю, рассорит меня, чего доброго, и с вами и с вашими врагами, и я совершенно уверен, что никогда сановник, ведающий бенефициями, не даст мне ни аббатства, ни доходного монастыря, но для меня свобода мысли дороже доходного места. Пусть я восстанавливал против себя всех, но я ублажал душу свою и умру спокойно.

— Аббат! — усмехаясь, сказал г-н Рокстронг, — я вас прощаю, потому что, мне кажется, вы немного свихнулись. Для вас нет разницы между мошенниками и порядочными людьми, — по-вашему, свободный строй ничуть не лучше деспотического и незаконного правления. У вас какое-то странное помешательство.

— Господин Рокстронг, — сказал мой добрый учитель, — пойдемте разопьем бутылочку у «Малютки Бахуса», и я за стаканом вина расскажу вам, почему мне совершенно безразлична форма правления и каковы причины, которые отбивают у меня охоту менять господ.

— С удовольствием! — отвечал г-н Рокстронг. — Я не прочь выпить с таким сумасбродным резонером!

Он ловко соскочил с лесенки, и мы все трое отправились в кабачок.

XV. Государственные перевороты

Господин Рокстронг был умный человек и не сердился на моего доброго учителя за его чистосердечие. Когда хозяин «Малютки Бахуса» подал на стол кувшин с вином, памфлетист поднял свой стакан и в шутиливом тоне провозгласил тост за здоровье г-на аббата Куаньяра, величая его мошенником, другом грабителей, столпом тирании и старой канальей. Мой добрый учитель от всей души ответил ему такой же любезностью, предложив выпить за здоровье человека, который сохранил свой природный нрав не испорченным никакой философией.

— А вот что касается меня, — добавил он, — я прекрасно сознаю, что ум мой совершенно отравлен размышлением. И так как мыслить сколько-нибудь глубоко отнюдь не в природе человека, я признаю, что это моя склонность к размышлениям — нелепая и весьма неудобная привычка. Прежде всего она делает меня совершенно неспособным действовать, ибо действие требует ограниченности взглядов и узости суждений. Вы сами удивились бы, господин Рокстронг, ежели могли бы представить себе жалкое скудоумие гениев, которые потрясали мир. Завоеватели и государственные мужи, изменявшие лицо земли, никогда не задумывались над природой существ, коими они распоряжались как хотели. Они целиком замыкались в узких пределах своих широких замыслов, и самые мудрые из них допускали в поле своего зрения лишь очень немногие предметы. Взять, например, такого человека, как я, господин Рокстронг, я бы не мог поставить себе целью ни завоевать Индию, как Александр, ни основать какое-либо государство и управлять им, ни, вообще говоря, пуститься в какую-нибудь из тех грандиозных затей, которые искушают гордость мятежной души. Я с первых же шагов запутался бы в размышлениях и в каждом из своих поступков находил бы

основание для того, чтобы остановиться.

Затем, оборотившись ко мне, мой добрый учитель сказал, вздохнув:

— Мыслить — это тяжкий недуг. Да избавит тебя от него бог, Турнеброш, сын мой, как избавил он своих величайших святых и тех, удостоенных его особой любви, кого он избирает для славы вечной. Люди, которые думают мало или не думают вовсе, счастливо устраивают дела свои как в здешнем, так и в ином мире, а тому, кто мыслит, вечно угрожает опасность погубить себя и телесно и духовно, — так много лукавства таится в мысли! Помни с трепетом, сын мой, что ветхозаветный змий — это самый древний из философов и вечный их владыка.

Господин аббат Куаньяр поднес к губам стакан с вином и, сделав изрядный глоток, продолжал вполголоса:

— И вот потому-то, памятуя о спасении души своей, я одного во всяком случае никогда не тщился постигнуть разумом: я никогда не дерзал размышлять о святых истинах нашей веры. По несчастью, я размышлял над поступками людей и над городскими нравами, а посему я уже недостойн быть губернатором острова, как Санчо Панса.

— Вот счастье-то! — смеясь, воскликнул г-н Рокстронг. — Не то бы ваш остров стал вертепом разбойников и грабителей, где преступники судили бы невинных, если бы оные там ненароком оказались.

— Вот и я так думаю, господин Рокстронг, — подхватил мой добрый учитель, — и я так думаю. Весьма вероятно, что ежели бы я управлял новым островом Баратария, там были бы такие нравы, как вы говорите. Вы сейчас одним штрихом нарисовали картину всех государств на свете. Я понимаю, что и мое было бы не лучше остальных. Я нисколько не обольщаюсь относительно людей. И чтобы не возненавидеть их, я их презираю. Я презираю их любовно, господин Рокстронг. Но они вовсе не питают ко мне за то признательности. Они хотят внушать ненависть. Они сердятся, когда им высказываешь самое мягкое, милосердное, доброе и милое, самое человеческое из чувств, какое они только могут внушать: презрение. А ведь взаимное презрение — это мир на земле, и если бы люди искренно презирали друг друга, они не стали бы никому причинять зла и жили бы в приятном спокойствии. Все бедствия просвещенных обществ проистекают оттого, что граждане их чересчур о себе мнят и воспитывают свою честь, словно какое-то чудовище, на несчастьях плоти и духа. Это чувство делает их надменными и жестокими, а я ненавижу гордость, которая требует, чтобы человек чтил себя и почитал других, как будто кто-либо из потомков Адама достоин почитания! Животное, которое ест и пьет — кстати, дайте-ка мне выпить! — и предается любви, — это нечто жалкое, хотя, быть может, и занятное, а подчас и не лишнее приятности. Но почитать его — это уж какой-то совершенно бессмысленный, дикий предрассудок. Из него-то и проистекают все бедствия, которые нам приходится терпеть. Это отвратительнейший вид идолопоклонства; и чтобы обеспечить людям более или менее спокойное существование, их нужно прежде всего вернуть к сознанию их собственного ничтожества. Они будут счастливы, когда, уразумевши вновь, что они собою представляют, проникнутся презрением друг к другу и из этого всеобъемлющего презрения никто не посмеет исключить самого себя.

Господин Рокстронг пожал плечами.

— Вы свинья, мой толстый аббат, — сказал он.

— Вы льстите мне, — отвечал мой добрый учитель, — я всего лишь человек и чувствую в себе самом зародыш этой ненавистной мне едкой гордыни, этого чванства, которое толкает людей на поединки и войны. Бывают минуты, господин Рокстронг, когда я готов головой рискнуть за свои убеждения, а ведь это же безумие. Потому что в конце-то концов

кто может мне доказать, что я рассуждаю лучше вас, а ведь вы-то совсем плохо рассуждаете. Дайте-ка мне выпить.

Господин Рокстронг любезно наполнил стакан моего доброго учителя.

— Аббат! — сказал он, — вы не в своем уме, но вы мне нравитесь, и я бы хотел понять, что, собственно, вы порицаете в моей общественной деятельности и почему вы ополчаетесь против меня и становитесь на сторону моих врагов, тиранов, обманщиков, грабителей и продажных судей.

— Господин Рокстронг, — отвечал мой добрый учитель, — позвольте мне прежде всего с благодетельным безразличием распространить на вас, ваших друзей и ваших врагов это столь мирное чувство, которое только и может прекратить ссоры и принести успокоение. Позвольте мне не возвышать настолько ни тех, ни других, чтобы считать их заслуживающими преследования закона и призывать кары на их головы. Люди, что бы они ни делали, всегда остаются невинными младенцами, и я предоставляю господину лорд-канцлеру, осудившему вас, разглагольствовать в духе Цицерона о государственных преступлениях. Я не поклонник речей против Катилины, от кого бы они ни исходили. Мне только грустно видеть, что такой человек, как вы, тратит свое время на то, чтобы переменить форму правления. Это самое пустое и самое суетное занятие, какое только можно придумать для своего разума, и бороться с людьми, стоящими у власти, просто бессмыслица, если только это не дает вам средств к существованию и не помогает пробить себе дорогу. Дайте-ка мне выпить! Подумайте, господин Рокстронг, ведь эти внезапные изменения государственного строя, которые вы замышляете, — просто смена людей, а ведь люди по природе своей все похожи один на другого, все одинаково посредственны как в добре, так и во зле, поэтому заменить сотни две-три министров, губернаторов провинций, казначейских чиновников, председателей суда двумя-тремястами других — значит ровно ничего не сделать, а просто лишь на место Поля и Ксавье посадить Филиппа и Барнабе. А чтобы наряду с этим изменить, как вы надеетесь, и самые условия жизни людей, это никак невозможно, ибо условия эти зависят не от министров, которые ничего не значат, а от земли и ее плодов, от промышленности, ремесел, торговли, от богатств, накопленных в государстве, от способности граждан к вывозу и обмену товаров, — словом, от множества обстоятельств, которые — хороши они или плохи — не зависят ни от монарха, ни от его чиновников.

— Но как же вы не понимаете, мой толстый аббат, — горячо перебил моего доброго учителя г-н Рокстронг, — что состояние промышленности и торговли зависит от государственного управления и что прочные финансы могут быть только в свободном государстве?

— Свобода, — возразил г-н аббат Куаньяр, — это лишь результат богатства граждан, которые сбрасывают с себя цепи, как только становятся достаточно сильными, чтобы быть свободными. Народы достигают свободы в той мере, в какой они могут ею пользоваться, или, лучше сказать, они властно требуют установлений, которые закрепляют за ними права, завоеванные их усилиями.

Всякая свобода исходит от самих народов и их собственных движений. Любой, даже самый произвольный их поступок ведет к расширению формы, какую, облекая их, принимает государство^[244]. И потому можно сказать, сколь ни отвратительна тирания, она существует лишь тогда, когда вызвана необходимостью, а деспотическая форма правления есть не что иное, как тесная оболочка, облекающая слишком хилое и недоразвитое тело. И разве не ясно, что так называемое государственное управление подобно коже у животного, которая лишь облекает тело, но отнюдь не определяет его строения.

Вы же все почитаете кожу, совсем забывая о внутренностях, а это, господин Рокстронг,

показывает ваше незнание натуральной философии.

— Выходит, для вас нет никакой разницы между свободным государством и правлением тирана, все это вместе для вас, мой толстый аббат, — просто скотская шкура? Вы даже не видите, что расточительство монарха и хищничество его министров ведут непрестанно к росту податей, а это в конце концов может довести до полного упадка земледелия и истощить торговлю.

— Господин Рокстронг, ведь для одной и той же страны в одно и то же время возможен лишь один образ правления, подобно тому как у животного может быть только одна шкура. Изменять государственный строй и исправлять законы следует предоставить времени, а, как сказал некто, время — это человек обязательный. И оно трудится над этим с неутомимой и милосердной медлительностью.

— А вам не кажется, мой толстый аббат, что следует помочь этому старцу, который посиживает себе на часах с косою в руке? Вы не думаете, что революция вроде той, что произошла в Англии или Нидерландах, оказывает какое-то действие на положение народов? Нет? Так на вас, старого дурня, следовало бы натянуть зеленый колпак!

— Революции, — возразил мой добрый учитель, — совершают затем, чтобы сохранить нажитое добро, а не затем, чтобы добыть новое. И со стороны народов и с вашей стороны, господин Рокстронг, это безрассудство — возлагать какие-то надежды на свержение монарха. Народы восстают время от времени, дабы закрепить за собой вольности, когда им грозит опасность лишиться их. Но они никогда не обретают этим новых вольностей. Они удовлетворяются обещаниями. Поистине достойно удивления, господин Рокстронг, с какой легкостью люди идут на смерть из-за пустых слов, лишенных всякого смысла. Это еще Аякс приметил. Вот как поэт говорит его устами: «Я думал, в юности деянье слов сильнее, но ныне вижу я — могущественней слово». Так говорил Аякс, сын Ойлея. Господин Рокстронг, я умираю от жажды!

XVI. История

Господин Роман положил на прилавок с полдюжины томов.

— Прошу вас, господин Блез, — сказал он, — распорядитесь, пожалуйста, доставить мне эти книги на дом. Тут у меня: «Мать и сын», «Мемуары о французском дворе», а сверх того, «Завещание Ришелье». Я буду вам весьма признателен, если вы не откажете добавить к этому все, что у вас получено нового по истории, в особенности по истории Франции со времени кончины Генриха Четвертого. Эти работы меня чрезвычайно интересуют.

— Вы правы, сударь, — заметил мой добрый учитель. — В исторических сочинениях много всяких пустячков, которые могут весьма позабавить порядочного человека; там наверняка можно найти немало занятных анекдотов.

— Господин аббат, — отвечал г-н Роман. — Я ищу в трудах историков не какой-то пустой забавы. История — это высоко поучительный урок, и я очень досаую, когда обнаруживаю, что истина в ней иной раз переплетается с вымыслом. Я изучаю поступки человеческие, дабы извлечь пользу для правителей народа, — ищу в истории законы управления.

— Слышал, слышал, сударь, — сказал мой добрый учитель. — Ваш трактат «О монархии» достаточно известен, и по нему можно заключить, что вы представляете себе политику как некий вывод из исторических сочинений.

— И вот таким-то образом, — сказал г-н Роман, — я первый указал монархам и министрам правила, коим они должны следовать, дабы избежать опасностей.

— Поэтому-то вы и представлены, сударь, на заглавном листе книги в образе Минервы, преподносящей юному королю зеркало, которое вручает вам муза Клио^[245], парящая над вашей головой в кабинете, украшенном бюстами и картинами. Но позвольте мне сказать вам, сударь, что сия муза — лгунья и она протягивает вам кривое зеркало. В исторических сочинениях мало правды, и не вызывают споров только те факты, которые известны нам из одного-единственного источника. Историки, — стоит им только заговорить об одном и том же, — всегда противоречат друг другу. Мало того! Мы видим, как Иосиф Флавий, пересказывающий одни и те же события в «Древностях» и в «Иудейской войне», излагает их по-разному в этих двух сочинениях. Тит Ливий — тот просто собиратель разных сказок, а Тацит, ваш оракул, производит на меня впечатление надменного лгуна, который с важным видом издевается над всеми. А вот кого я ценю, так это Фукидида, Полибия и Гвиччардини. Что же касается нашего Мезерэ, он и сам не знает, что плетет, так же как Вильяре и аббат Вели. Но я нападаю на историков, а на самом-то деле порицать следует историю.

Что такое история? Собрание нравоучительных сказок или красноречивая смесь повествования и разглагольствований, в зависимости от того, философ ли историк, или оратор. Тут можно встретить недурные образцы красноречия, но нечего искать правды, ибо правда заключается в раскрытии необходимых связей между явлениями, а историк не в состоянии установить эти связи, ибо он лишен возможности проследить всю цепь причин и следствий. Заметьте, что всякий раз, когда причиной какого-нибудь исторического события является событие не исторического масштаба, история не видит этой причины. А так как исторические события тесно переплетаются с событиями не исторического масштаба, то вот и получается, что в исторических сочинениях они не следуют одно за другим естественным порядком, а связываются чисто искусственными приемами риторики. И заметьте еще, что различия между событиями, которые входят в историю, и теми, которые в нее не входят, совершенно произвольны. Из этого следует, что история не только не наука, но, по свойственному ей несовершенству, неизбежно должна тяготеть к неточности вымысла. Ей всегда будет недоставать той связности и последовательности, без коих невозможно истинное познание. Итак, вы видите, что из летописей какого-нибудь народа нельзя вывести никаких предубждений на будущее. Меж тем отличительное свойство науки — ее способность предрекать, как это видно по таблицам, где исчислены заранее фазы луны, приливы, отливы и солнечные затмения, — революции же и войны никаким вычислениям не поддаются.

Господин Роман пояснил аббату Куаньяру, что он большего и не требует от истории; пусть это будут хотя бы смутные истины, не совсем точные, перемешанные с вымыслом, они все равно чрезвычайно для него ценны, поскольку предмет, о котором они трактуют, это сам человек.

— Я знаю, — добавил он, — летописи человеческие полны небылиц и всяческих искажений. Но даже при отсутствии тесной связи между причинами и следствиями я прозреваю в них какой-то единый замысел, который подобно развалинам храмов, что наполовину погребены под землей, то виден ясно, то снова теряется, а уж одно это кажется мне неоценимым. Я твердо надеюсь, что когда-нибудь история будет опираться на обширные материалы и следовать строгой методе, и вот тогда-то она не уступит в точности естественным наукам.

— Нет, это вы зря надеетесь, — сказал мой добрый учитель. — Я думаю, напротив, что изобилие мемуаров, переписки и архивных документов только осложнит труд будущего историка. Господин Элуорд, который всю жизнь занимается изучением английской

революции, уверяет нас, что человек за целую жизнь не успеет прочесть и половины всего того, что было написано в эти смутные времена. Мне вспоминается предание на сей счет, которое я слышал от господина аббата Бланше. Я вам расскажу его так, как оно сохранилось у меня в памяти, но жаль, что вы не можете услышать его из уст самого господина аббата Бланше, — он человек остроумный.

Вот это нравоучительное предание: «Когда юный принц Земир вступил на престол Персии после смерти своего отца, он созвал всех ученых мужей своего царства и, когда они собрались, сказал им так:

— Мудрый Зеб, мой наставник, внушал мне, что властители мира не впадали бы столь часто в заблуждения, если бы они учились на примерах прошлого. А посему я хотел бы изучить летописи народов. Повелеваю вам составить свод всемирной истории и не упустить ничего, дабы он был полным.

Ученые обещали удовлетворить желание повелителя и, вернувшись к себе, тотчас же принялись за работу. Спустя двадцать лет они предстали пред своим владыкой, приведя с собой целый караван из двенадцати верблюдов, из коих каждый был нагружен ношей в пятьсот томов. Непременный ученый секретарь тамошней академии простерся ниц на ступенях трона и обратился к своему повелителю с такой речью:

— Всемиловитейший государь! Академики вашего царства имеют несказанную честь повергнуть к стопам вашим всемирную историю, каковая была составлена ими по указанию вашего величества. Она состоит из шести тысяч томов и включает в себе все, что только возможно было собрать о нравах и обычаях народов и судьбах государств. Мы включили в нее древние хроники, счастливо уцелевшие до нашего времени, и снабдили их обширными примечаниями по части географии, хронологии и палеографии. Одни только вводные рассуждения составляют кладь одного верблюда, а пояснения с трудом удалось навьючить на другого.

Царь отвечал так:

— Благодарю вас за ваше усердие, достойные мужи. Но я слишком занят государственными делами. К тому же, пока вы трудились, я успел приблизиться к старости. Я достиг, как сказал один персидский поэт, середины жизненного пути, и даже если предположить, что я скончаюсь в самых преклонных годах, все равно у меня не может быть надежды прочесть до конца дней своих столь длинную историю. Мы будем хранить ее в наших царских архивах. Потрудитесь составить для меня сжатое изложение, более сообразное краткости жизни человеческой.

Академики Персии трудились еще ровно двадцать лет; затем они привезли царю полторы тысячи томов на трех верблюдах.

— Государь! — молвил неперменный секретарь еле слышным голосом, — вот наш новый труд. Мы надеемся, что не упустили в нем ничего существенного.

— Возможно, — отвечал владыка, — но я не стану его читать. Я стар, большие начинания не по моим годам. Сократите еще, да поторопитесь!

На этот раз они не медлили и через каких-нибудь десять лет явились с молодым слоном, который нес на себе пятьсот томов.

— Смею надеяться, что на сей раз я был краток, — сказал неперменный секретарь.

— Нет, недостаточно, — отвечал владыка. — Жизнь моя подходит к концу. Сократите, сократите еще, если вы хотите, чтобы я до своей кончины познал историю рода человеческого.

Через пять лет неперменный секретарь снова явился во дворец. Он едва ковылял на костылях и вел за собой в поводу маленького ослика, который тащил на спине громадную

книгу.

— Поторопитесь, — шепнул ему придворный, — государь умирает.

И действительно, царь лежал на смертном одре. Он устремил на академика и его огромную книгу свой уже почти потухший взор и молвил, вздохнув:

— Так я и умру, не узнав истории людей!

— Государь! — ответил ему ученый, который и сам чувствовал приближение смерти. — Я вам изложу ее в трех словах: *они рождались, страдали и умирали.*

Так в свой смертный час персидский царь узнал историю рода человеческого».

XVII. Господин Никодем

В то время как мой добрый учитель, взобравшись на верхнюю ступеньку лесенки в лавке «Под образом св. Екатерины», услаждал себя чтением Кассиодора, в лавку вошел какой-то важный старик с суровым взглядом.

Он направился прямо к г-ну Блезо, который, улыбаясь, высунулся из-за своей конторки.

— Сударь, — сказал ему старик, — вы присяжный книготорговец, а посему я могу почитать вас человеком добрых нравов. А между тем у вас в окне выставлен том «Сочинений Ронсара», открытый на заглавном листе, на коем изображена нагая женщина. А это недопустимое зрелище.

— Извините меня, сударь, — мягко возразил господин Блезо, — это рисунок Леонарда Готье, который в свое время почитался весьма искусным гравером.

— Меня не занимает, искусный он гравер или нет, — возразил старец, — я вижу только, что он изображает нагое тело. Эта женщина не прикрыта ничем, кроме своих волос, и меня крайне удивляет и огорчает, сударь, что такой почтенный, рассудительный человек, каким я вас считал, позволяет себе выставлять сие напоказ молодым людям, проходящим по улице святого Иакова. Вы хорошо сделаете, если сожжете такую книгу, последовав примеру отца Гарасса, который употребил все свое состояние на то, что скупал, дабы предать огню, множество сочинений, противных добрым нравам и Обществу Иисуса. И уж по меньшей мере вам следовало бы, пристойности ради, спрятать ее в самом укромном углу вашей лавки, где, как я опасаюсь, у вас, наверно, хранится немало книг, которые своим содержанием и рисунками могут толкнуть людей на распутство.

Господин Блезо, вспыхнув, отвечал, что это — несправедливое подозрение и что ему обидно слышать подобные речи от порядочного человека.

— Я вынужден, — отвечал старец, — открыть вам, кто я таков. Вы видите перед собой господина Никодема, председателя Общества целомудрия. Ратуя за скромность, я поставил себе целью превзойти в щепетильности распоряжения господина начальника полиции. И, заручившись помощью двенадцати судейских чиновников и двухсот церковных старост из наших главных приходов, я прикрываю наготу статуй, выставленных в общественных местах — на площадях, бульварах, набережных, на улицах, в парках, тупиках и переулках. И, не ограничиваясь тем, что я водворяю скромность в уличной жизни, я радею о том, чтобы она воцарилась в гостиных, кабинетах и спальнях, откуда ее постоянно изгоняют. Знайте, сударь, что учрежденное мною общество заготовило для молодоженов особый сорт приданого, в коем имеются широкие длинные сорочки с маленьким отверстием, дабы позволить юным супругам благопристойно приступить к исполнению воли божией относительно того, что человекам надлежит плодиться и размножаться. А дабы сочетать, если можно так выразиться,

изящество со строгостью нравов, оные отверстия отделаны по краям приятно для глаз вышивкой. Я горжусь тем, что мне удалось изобрести такие интимные одеяния, которые как нельзя более споспешествуют превращению каждой четы новобрачных в Сарру и Товию ^[246] и очищают таинство брака от всякого блуда, который с ним, к сожалению, связан.

Мой добрый учитель, который, уткнувшись в Кассиодора, прислушивался к этой беседе с высоты своей лесенки, заметил самым серьезным тоном, что он находит это изобретение прекрасным и достойным всяческих похвал, но что ему пришла в голову еще более блестящая мысль.

— Хорошо бы, — сказал он, — натирать юных новобрачных перед соитием с головы до ног самой черной ваксой, чтобы кожа их, уподобившись сапожной, отравляла греховные наслаждения и утехи плоти и оказывалась трудно одолимым препятствием для всяких ласк, поцелуев и нежностей, коим обычно предаются влюбленные в постели.

При этих словах г-н Никодем поднял голову и, увидев на лесенке моего доброго учителя, догадался по его лицу, что тот смеется над ним.

— Господин аббат, — сказал он со сдержанным негодованием, — я мог бы извинить вас, ежели бы ваши насмешки задевали только меня. Но вы, сударь, глумитесь в то же время и над скромностью и добрыми нравами, а это непростительно. Вопреки всем злоязычникам общество, основанное мною, совершило уже немало добрых и полезных дел. Смейтесь, сударь! А мы уже нацепили шесть сотен фиговых и виноградных листков на статуи в королевских парках.

— Это замечательно, сударь, — отвечал мой добрый учитель, поправляя очки, — и если вы и дальше так будете действовать, скоро все наши статуи оденутся пышной листвой. Но, поелику всякий предмет обретает для нас смысл только в связи с тем представлением, какое он в нас вызывает, то, прилепляя фиговые и виноградные листья к статуям, вы придаете характер непристойности этим самым листьям; вот и получится, что нельзя будет мимоходом бросить взгляд на виноградную лозу или на смоковницу без того, чтобы тотчас же не представить себе что-то неприличное, а это большой грех, сударь, навлекать срамоту на ни в чем не повинные деревца. Позвольте мне еще сказать вам, что весьма опасно придирайтесь так, как вы это делаете, ко всему, что может волновать или беречь плоть, ибо вы забываете о том, что если некое изображение может кого-то совратить, то каждый из нас, носящий в себе самом подлинник оногo изображения, должен совратить самого себя, ежели только он не кастрат, о чем даже и помыслить страшно.

— Милостивый государь, — возразил не без раздражения старец Никодем, — я вижу по вашим речам, что вы вольнодумец и распутник.

— Я христианин, сударь, — отвечал мой добрый учитель, — а что касается распутства, где уж мне об этом думать, когда каждый день надо зарабатывать на хлеб, на вино и на табак. Человек, которого вы видите перед собой, сударь, если и позволяет себе предаваться каким-либо оргиям, то лишь молчаливым оргиям размышления, и единственное пиршество, в коем я принимаю участие, — это пиршество муз. Но, рассуждая здраво, я полагаю, что нехорошо стараться превзойти в стыдливости учение нашей католической церкви, которая в этом отношении предоставляет верующим большую свободу и не гнушается народными обычаями и поверьями. Мне думается, сударь, вы заражены кальвинизмом и впадаете в ересь иконоборцев, ибо, как знать, не дойдете ли вы в своем рвении до того, что станете сжигать образы господа бога и святых из ненависти к человеческой природе, которая проглядывает в их чертах. Все эти слова — скромность, стыдливость, благопристойность, которые из вас так и сыплются, не имеют в сущности никакого точного определенного и постоянного смысла. Только обычай и чувство могут

определить его более или менее разумно и правильно. Разбираться в таких тонкостях способны, по-моему, разве что поэты, художники да красивые женщины. Что за нелепая идея — собрать кучку прокуроров в качестве судей над грациями и наслаждениями!

— Мы, сударь, ничего не имеем против граций и веселья, — возразил старец Никодем, — а еще того менее против ликов господа и святых угодников, и вы зря нападаете на нас. Мы люди благопристойные и хотим уберечь сыновей своих от непотребных зрелищ, а что пристойно и что непристойно, — это всякому известно. Что ж вы хотите, господин аббат, чтобы наши дети подвергались на улицах всевозможным соблазнам?

— Ах, сударь! — отвечал мой добрый учитель, — люди должны подвергаться соблазнам! Таков удел человека и христианина здесь, на земле. И самые страшные соблазны — в нас самих, а не вовне. И вы не стали бы прилагать столько усилий и стараний, чтобы убрать с выставки несколько картинок с голыми женщинами, если бы подобно мне размышляли над житиями святых отцов-пустынников. Вы увидели бы тогда, как в своем невообразимом уединении, вдали от каких бы то ни было лепных или живописных изображений, истерзанные власяницей, замученные непрестанным самоистязанием, изнуренные постом, эти отшельники, корчась на своем тернистом ложе, чувствовали, как их пронзает жало плотских желаний. Перед ними в их убогой келье вставали картины, в тысячу раз более соблазнительные, чем эта возмущившая вас аллегория на витрине господина Блезо. Дьявол (или, как говорят вольнодумцы, Природа!) — куда более великий мастер живописать сладострастные сцены, нежели сам Джулио Романо^[247]. Позы, движение, краски — во всем этом он далеко превзошел итальянских и фламандских мастеров. И тут уж вы ничего не поделаете с этими распалющимися картинами! А если сравнить с ними те, что вас возмущают, так это сущая безделица, и с вашей стороны разумней было бы предоставить господину начальнику полиции печься о чистоте общественных нравов в согласии с гражданами. По правде сказать, меня удивляет ваша наивность: вы плохо представляете себе, что такое человек, что такое человеческое общество и как бушует плоть людская в большом городе. О невинные старцы! Ужели посреди всего этого вавилонского блуда, где на каждом шагу из-за спущенной занавески сверкают плечи и жадные взоры непотребных женщин, где на площадях, в толчее, люди трутся друг о друга и тела их распалются похотью, вы можете сетовать и негодовать на несколько никчемных картинок, выставленных в лавке книгопродавца, и не стесняетесь обращаться с вашими жалобами в королевский парламент, когда какая-нибудь бойкая девица задерет ногу на балу и покажет молодым людям свои ляжки, что, кстати сказать, кажется им вполне естественным.

Так говорил мой добрый учитель, стоя на своей лесенке. Но господин Никодем затыкал себе уши, чтобы не слышать, и кричал, что он циник.

— О боже! — вопил он, — что может быть омерзительней голой женщины, и какой срам мириться с распущенностью, как этот аббат, ведь сие ведет страну к гибели, ибо только чистота нравов и поддерживает народы!

— Что правда, то правда, сударь, — отвечал мой добрый учитель, — народы только тогда и сильны, когда у них образуются добрые нравы, но под этим следует понимать общность взглядов, чувств и устремлений и в какой-то мере добровольное подчинение законам, а отнюдь не те пустяки, что вас занимают. Заметьте еще, что стыдливость, если это не дар свыше, просто бессмыслица, а мрачное целомудрие, коим вы одержимы, представляет собой, господин Никодем, довольно смешное и даже, я бы сказал, непристойное зрелище.

Но г-н Никодем уже убежал вон из лавки.

Господин аббат Куаньяр, коему, пожалуй, более подобало бы питаться в *пританее*^[248] на средства благодарного отечества, зарабатывал себе на хлеб тем, что писал письма для служанок в лавочке писца на кладбище св. Иннокентия. Как-то раз ему пришлось услужить своим пером некоей португальской даме, путешествовавшей по Франции в сопровождении своего негритенка. Она дала ему медяк за письмо к мужу и золотое экю в шесть ливров за послание к возлюбленному. Это было первое экю, доставшееся моему доброму учителю с самого Иванова дня. Будучи человеком щедрым и расточительным, он тотчас же повел меня в «Золотое яблоко» на Гревской набережной, близ ратуши, — кабачок, где подают настоящее виноградное вино и отменные сосиски. А посему оптовые торговцы, что скупают яблоки в предместье, обычно собираются там в полдень после того, как закончат свои сделки. День был весенний, и приятно было посидеть на воздухе. Мой добрый учитель выбрал столик самого откоса, и мы обедали под веселый плеск воды, рассекаемой веслами перевозчиков. Мягкий благодатный ветерок обдавал нас своими легкоструйными волнами, и мы блаженствовали, сидя под открытым небом. Только что мы приступили к жареным пескарям, как вдруг где-то поблизости послышался шум толпы и конский топот, и мы невольно обернулись. Догадавшись, что привлекло наше внимание, какой-то чернявый старичок, обедавший за соседним столиком, сказал нам, предупредительно улыбаясь:

— Ничего особенного, господа! Просто везут вешать одну служанку за то, что она стащила у своей хозяйки кружевной чепец.

Не успел он это сказать, как мы действительно увидели тележку, с двумя конными стражниками по бокам, а на задке тележки — довольно красивую девушку с помертвевшим лицом и сильно выпяченной вперед грудью, оттого, что руки ее были связаны за спиной. Она быстро проехала мимо, но у меня на всю жизнь осталось перед глазами это побелевшее лицо и этот взгляд, который уже ничего не видел.

— Да, господа, — снова заговорил чернявый старичок, — это служанка госпожи советницы Жосс, ей вздумалось покрасоваться у Рампоно перед своим любовником, вот она и стащила у своей хозяйки чепец из алансонского кружева, а потом сбежала, совершив эту кражу. Ну, ее скоро поймали в каком-то доме на мосту Менял, и она тут же во всем и призналась, так что ее недолго пытали, всего какой-нибудь час или два. И я вам говорю, господа, то, что мне хорошо известно, потому как я состою в должности судебного пристава в той самой палате, где ее судили.

Чернявый старичок занялся своей сосиской, — нельзя же было допустить, чтобы она остыла! — а потом снова заговорил:

— Сейчас она уже, должно быть, взшла на помост, а минут этак через пять, коли не раньше, мошенница отдаст богу душу. Бывают висельники, с которыми палачу совсем не приходится возиться: накинута им петлю на шею, они тут же и кончатся. Но есть и такие, которые, вот уж можно правду сказать, живут жизнью висельника и бьются как одержимые. Больше всех бесновался, помню, один священник, которого в прошлом году повесили за подделку королевской подписи на лотерейном билете. Минут двадцать, коли не больше, он плясал как карп на удочке.

Хе-хе! — усмехнулся он, — скромный был человек этот аббат, его не прельщала честь получить епархию на том свете. Я видел, как его стаскивали с тележки. Он так плакал и отбивался, что, наконец, палач не выдержал и сказал ему: «Полно, господин аббат, будет вам

ребячиться!» А смешнее всего то, что сам же палач его сперва за духовника принял, — потому что везли его еще с одним мошенником, — так что конвойный офицер еле-еле разубедил палача. Вот, ведь какая забавная история, не правда ли, сударь?

— Нет, сударь, — отвечал мой добрый учитель, роняя на тарелку маленькую рыбку, которую он уже было поднес к губам, — я не вижу здесь ничего забавного. Как я подумаю, что эта цветущая девушка сейчас расстается с жизнью, у меня пропадает охота есть пескарей и любоваться ясным небом, которое мне только что улыбалось.

— Эх, господин аббат! — сказал маленький пристав, — ежели вы так сердобольны, то, верно, и совсем бы чувств лишились, случись вам увидеть то, что видел мой отец собственными глазами в своем родном городе Дижоне, когда еще был мальчишкой. Вам никогда не приходилось слышать о Елене Жилле?

— Нет, не приходилось, — отвечал мой добрый учитель.

— В таком случае я вам расскажу эту историю, вот так, как я ее сам слышал не раз от моего отца.

Он отхлебнул вина, вытер губы краешком скатерти и приступил к рассказу, который я здесь и привожу.

XIX. Рассказ судебного пристава

В октябре месяце 1624 года у дочери смотрителя королевского замка в Бург-ан-Бресс, Елены Жилле, двадцати двух лет от роду, жившей в отчем доме вместе со своими братьями, в ту пору еще детьми, стали замечаться столь явные признаки беременности, что об этом пошли толки по всему городу, и девицы Бурга перестали с ней знаться. А потом люди заметили, что живот у нее снова опал, и тут уж заговорили такое, что судья по уголовным делам распорядился, чтоб ее повивальные бабки осмотрели. Они засвидетельствовали, что она действительно была беременна и прошло разве что недели две, как она разрешилась. По их показанию, Елену Жилле заключили в темницу и подвергли судебному допросу. И вот что она рассказала:

— Тому назад несколько месяцев один молодой человек, живший по соседству в усадьбе моего дяди, стал бывать у нас в доме, батюшка поручил ему учить моих братцев грамоте. И вот только один раз оно и случилось. И подстроила это наша служанка, которая заперла меня с ним в комнате. Там он мной и овладел силой.

Когда ее спросили, почему же она не позвала людей на помощь, она ответила, что у нее от страха отнялся голос. А как стали ее дальше допрашивать, она сказала, что с того самого дня она и понесла, но что рожать ей не пришлось, так как плод вышел до срока. И она говорила, что не только не помогала этому, но даже и не догадалась бы, что с ней такое творится, если бы ей не объяснила одна служанка.

Судьи, отнюдь не удовлетворенные этими показаниями, не располагали, однако, никакими данными, дабы ее уличить, как вдруг совершенно неожиданно им было представлено неопровержимое доказательство ее вины. Один солдат, прохаживаясь вдоль ограды владения смотрителя королевского замка мессира Пьера Жилле, отца обвиняемой, увидел во рву ворона, который старался подцепить клювом какую-то тряпку. Он подошел посмотреть, что клюет ворон, и увидел маленький детский трупик. Он тотчас же донес об этом в суд. Ребенок был завернут в сорочку с меткой на воротнике «Е. Ж.». Установили, что он родился в срок, и Елену Жилле, уличенную в детоубийстве, приговорили, как полагается, к

смертной казни. Высокое положение, которое занимал ее отец, давало ей право воспользоваться привилегией знатных, и суд постановил отрубить ей голову.

Она обратилась в Парламентский суд Дижона, и ее под конвоем двух стражников доставили в столицу Бургундии и препроводили в темницу для осужденных. Мать, сопровождавшая ее, остановилась в монастыре бернардинок. Дело слушалось в Дижонском суде в понедельник 12 мая, на последнем заседании перед праздником св. троицы. По докладу советника Жакоба судьи утвердили приговор Бург-ан-Бресского президиального суда и постановили, что приговоренную надлежит вести на казнь с веревкой на шее. Многие возмущались тем, что такое позорящее условие было столь неожиданно и в противность всем обычаям добавлено к благородной казни, и порицали сию неслыханную суровость. Но приговор был окончательный и подлежал немедленному исполнению.

Итак, в тот же самый день, в три с половиной часа пополудни, Елену Жилле под звон колоколов повезли на эшафот; впереди шли трубачи, которые трубили так громко, что все добрые горожане, слыша их у себя дома, падали на колени и молились о спасении души той, что готовилась умереть. Помощник королевского прокурора ехал верхом на коне в сопровождении приставов. Затем следовала осужденная в тележке, с веревкой на шее согласно постановлению суда. Ее провожали два монаха-иезуита и два брата-капуцина, которые держали у нее перед глазами распятие. Рядом с ней сидел палач с мечом и жена палача с ножницами. Отряд стражников окружал тележку. А сзади теснилась целая толпа любопытных, разный ремесленный люд, булочники, мясники, каменщики, — и от этой толпы в воздухе стоял глухой гул.

Процессия остановилась на площади, которая называется Моримон, но название сие произошло не от слова мор, как можно было бы подумать про это лобное место, где казнят злодеев, но в память бывшей здесь некогда обители тех моримонских монахов, что ходили в митрах и с посохами. Деревянный помост был воздвигнут у каменных ступеней маленькой часовни, где монахи обычно молятся за упокой души казнимых.

Елена Жилле вошла на помост в сопровождении четверых монахов, палача и жены палача, его подручной. И та, сняв с шеи осужденной веревку, затянутую петлей, обрезала ей своими громадными ножницами волосы и завязала глаза; монахи громко молились. А палач вдруг побледнел и задрожал. Звали его Симон Гранжан, с виду он был тщедушный и рядом со своей свирепой женой выглядел совсем робким и смирным. Утром в тюрьме он покаялся и получил отпущение грехов, и тем не менее сейчас он смутился духом и не находил в себе мужества предать смерти эту молодую девушку. Поклонившись народу, он сказал:

— Простите мне, коли я плохо сделаю свое дело. Уж третий месяц как меня бьет лихорадка.

Затем, пошатнувшись, он поднял глаза к небу, заломил руки, упал на колени перед Еленой Жилле и дважды попросил у нее прощения. Потом он попросил благословения у монахов, а когда палачиха положила осужденную на плаху, он взмахнул своим мечом.

Иезуиты и капуцины воскликнули: «Иисус! Мария!» — а толпа ахнула. Но удар, который должен был перерубить шею осужденной, пришелся в левое плечо и рассек его; несчастная упала на правый бок.

Тогда Симон Гранжан оборотился к толпе и крикнул:

— Убейте меня!

Раздались яростные вопли, и несколько камней полетело на эшафот, где палачиха в это время снова укладывала несчастную жертву на плаху.

Палач снова взмахнул мечом. На этот раз он глубоко рассек шею несчастной девушки, которая свалилась на меч, выпавший из рук палача.

Толпа дико заревела, и на эшафот обрушился такой град камней, что Симон Гранжан, оба иезуита и оба капуцина соскочили вниз и бросились в маленькую часовню, где и заперлись. Жена палача, оставшись одна с осужденной, нагнулась взять меч, но, не найдя его, схватила веревку, на которой Елену Жилле вели на казнь, и, снова накинув бедняжке петлю, стала ногой ей на грудь и обеими руками изо всех сил потянула веревку, стараясь удавить несчастную. А та, обливаясь кровью, хваталась руками за веревку и отбивалась. Тогда жена Гранжана поволокла ее к краю помоста и, когда голова несчастной свесилась вниз, стала кромсать ей горло своими ножницами.

Но тут яростная толпа мясников и каменщиков сбила с ног стражников и конвойных и ринулась к эшафоту и к часовне; дюжина здоровенных рук подняла лишившуюся чувств Елену Жилле, и ее на плечах понесли в заведение мастера Жакена, цирюльника и костоправа.

Народ, ломившийся в часовню, наверно, скоро высадил бы двери. Но двое капуцинов и отцы иезуиты сами открыли их, обомлев от страха. Высоко подняв кресты над головой, они с трудом пробились через разбушевавшуюся толпу.

Палача и его жену забросали камнями, а потом добили молотами и трупы их поволокли по улицам. Между тем Елена Жилле пришла в себя у лекаря и попросила пить. И когда мэтр Жакен стал ее перевязывать, она спросила: «А меня больше не будут мучить?»

У нее оказалось две раны от меча, шесть глубоких порезов ножницами, которые исполосовали ей губы и шею; бедра ее были изрезаны лезвием меча, который оказался под ней, когда палачиха волокла ее, стараясь удавить, и, кроме того, все тело ее было избито камнями, которыми толпа зашвыряла помост.

Тем не менее она оправилась ото всех этих ран. Ее оставили у костоправа Жакена под охраной судебного пристава, и она без конца повторяла: «Так значит, это еще не конец? Меня опять будут убивать?»

Лекарь и еще несколько милосердных людей ухаживали за ней, стараясь ее успокоить. Но один только король мог даровать ей жизнь. Стряпчий Феврэ составил прошение о помиловании, которое подписали несколько именитых граждан Дижона, и оно было подано его величеству. В это время при дворе праздновали бракосочетание Генриетты-Марии французской с королем английским. По случаю этого торжественного события Людовик Справедливый удовлетворил просьбу о помиловании. Он даровал бедняжке полное прощение, «ибо мы полагаем, — как гласил указ, — что она претерпела муки, кои не только не уступают заслуженной ею каре, но даже превосходят ее».

Елена Жилле, возвращенная к жизни, удалилась в монастырь в Брессе, где она и пребывала до конца дней своих в величайшем благочестии.

— Вот какова истинная история Елены Жилле, — заключил маленький пристав, — ее знает всякий в Дижоне. Ну, что вы скажете, господин аббат, не правда ли, занимательный случай?

XX. Правосудие (Продолжение)

— Увы! — промолвил мой добрый учитель, — мне уже не идет в глотку никакой завтрак. У меня так все и переворачивается внутри от этой чудовищной сцены, которую вы, сударь, так хладнокровно живописали, да еще от лицезрения этой служанки госпожи советницы

Жосс, которую повезли вешать, когда с ней можно было бы поступить куда умнее.

— Да я же вам говорю, сударь, — возразил пристав, — что эта девка обворовала свою хозяйку! Что ж, по-вашему, их и вешать не надо, воришек-то?

— Конечно, так уж у нас заведено, — сказал мой добрый учитель, — а поскольку привычка есть нечто для нас неодолимое, то пока жизнь идет своим чередом, мы ничего не замечаем. Вот, скажем, Сенека-философ: человек он был по природе своей кроткий, а, поди же — сочинял изысканные трактаты в то время, как в Риме, рядом с ним, распинали рабов за самые ничтожные провинности, — так, например, раба Митридата, пригвоздили к кресту только за то, что он оскорбил божественную особу своего господина, гнусного Тримальхиона^[249]. Так уж устроен наш разум — ничто привычное и обыденное его не смущает и не задает. Обычай притупляет в нас способность негодовать или изумляться. Я просыпаюсь каждое утро и, по правде сказать, вовсе не думаю о тех несчастных, которых будут вешать или колесовать в течение дня. Но если мысль о казни становится для меня ощутимой, сердце мое трепещет, и оттого что я видел, как везли на смерть эту пригожую девушку, горло у меня сжимается, и я не в силах проглотить даже вот такую крохотную рыбешку.

— Подумаешь, экая невидаль, — пригожая девушка! — заметил пристав. — Да их в Париже за одну ночь на каждой улице плодят дюжинами. А зачем она обворовала свою хозяйку, госпожу советницу Жосс?

— Этого я не могу знать, сударь, — задумчиво отвечал мой добрый учитель, — и вы этого не знаете, и судьи, которые ее осудили, знают не больше нас с вами, ибо причины наших поступков непостижимы и силы, побуждающие нас поступать так, а не иначе, глубоко скрыты. Я полагаю, что человек свободен в своих действиях, ибо так учит моя вера, но помимо учения церкви, — а оно неоспоримо, — у нас так мало оснований веровать в свободу человеческую, что я с содроганием думаю о приговорах суда, карающих людей за поступки, смысл, побуждения и причины коих нам одинаково не понятны, ибо поступки эти сплошь да рядом совершаются почти без участия человеческой воли, а иной раз и бессознательно. А если в конце концов мы все же должны отвечать за свои поступки, поскольку учение нашей святой религии основано на этом дивном сочетании свободной воли человека и божественной благодати, то выводить из этой сокрытой неосязаемой свободы все притеснения, пытки и казни, коими изобилуют наши законы, — это уже значит злоупотреблять ею.

— Меня огорчает, сударь, — сказал чернявый человечек, — что вы принимаете сторону мошенников.

— Увы, сударь! — возразил мой добрый учитель, — они принадлежат к страждущему человечеству и подобно нам с вами причащаются плотью и кровью господа нашего Иисуса Христа, распятого меж двух разбойников. Мне кажется, в наших законах много ужасных жестокостей, которые когда-нибудь станут очевидны для всех и заставят негодовать наших правнуков.

— Не понимаю вас, сударь, — сказал судебный пристав, отпивая глоток вина. — Всякие зверства, кои допускались в старину, изгнаны из наших законов и обычаев, а нынешнее правосудие уж такое просвещенное да человеколюбивое! Все наказания в точности соразмерены с преступлениями, вы же сами видите: воров вешают, убийц колесуют, виновных в оскорблении его величества разрывают на четыре части лошадьми, безбожников, колдунов и мужеложцев сжигают на кострах, фальшивомонетчиков варят живьем в котле, — из всего этого явствует, что правосудие поистине проявляет чрезвычайную умеренность и мягкость.

— Сударь, ныне, как и прежде, судьи неизменно почитают себя милостивыми, справедливыми и мягкими. И в давние времена, в царствование Людовика Святого и даже Карла Великого, они похвалялись своим милосердием, которое ныне кажется нам зверством; я предвижу, что и наши потомки в свою очередь тоже будут удивляться нашей жестокости и почтут нужным упразднить многие из наших пыток и казней.

— Вот и видно, что вы рассуждаете не как судья. Пытка, сударь, необходима, чтобы вырвать признание. Разве его добьешься мягкостью! Ну, а что касается казней, — к ним у нас сейчас прибегают только как к самой крайней мере, вызванной необходимостью оградить жизнь и имущество граждан.

— Так, стало быть, вы признаете, сударь, что правосудие печется отнюдь не о справедливости, а о пользе, и руководится исключительно интересами и предрассудками народов. С этим уж не приходится спорить, — а следовательно, карают за преступления, соображаясь отнюдь не с тем злом, которое в них заключается, а с тем ущербом, какой они наносят (или, быть может, только предполагается, что наносят) обществу. Вот почему фальшивомонетчиков бросают в котел с кипящей водой, хотя в действительности какое же это зло — чеканить монеты? Но банкиры, да и не только банкиры, терпят от этого чувствительный убыток. За этот-то убыток они и мстят с такой бесчеловечной жестокостью. И воров вешают не за их порочность, побуждающую их украсть хлеб или какие-нибудь там обноски, — не такой уж это порок, — а потому, что людям от природы свойственно дорожить своим добром. Следовало бы вернуть человеческое правосудие к истинной его первооснове, которая есть не что иное, как корыстолюбие граждан, и содрать с него всю эту напыщенную философию, в которую оно так важно и лицемерно кутается.

— Не понимаю я вас, сударь, — возразил маленький пристав. — По-моему, правосудие тем справедливее, чем больше от него пользы, и именно эта его полезность, за которую вы его презираете, и должна делать его для вас священным и нерушимым.

— Вы меня совсем не поняли, — заметил мой добрый учитель.

— Сударь, — сказал маленький пристав, — я вижу, вы не пьете! А винцо у вас, судя по цвету, должно быть не плохое. Вы не позволите отведать?

И правда, первый раз в жизни мой добрый учитель оставил бутылку недопитой. Он вылил оставшееся на дне вино в стакан пристава.

— Ваше здоровье, господин аббат, — сказал пристав. — Вино у вас превосходное, но вот рассуждения ваши никуда не годятся. Правосудие, говорю я, тем справедливее, чем больше от него пользы, и сама эта полезность, которая, по вашим словам, является его первоосновой, должна бы делать его для вас священным и нерушимым. И как же не признавать, что справедливость — это суть правосудия, когда на то указывает само слово.

— Сударь, — отвечал мой добрый учитель, — сказать, что красота красива, правда правдива, а справедливость справедлива, — значит ничего не сказать. Ваш Ульпиан, который умел выражаться точно^[250], говорит, что справедливость — это твердая и постоянная воля воздавать каждому то, что ему надлежит, и что законы справедливы тогда, когда они утверждают эту волю. Вся беда в том, что людям в сущности ничто не принадлежит, и таким образом справедливость законов годится только на то, чтобы сохранять за ними богатство, награбленное их предками или ими самими. Эти законы похожи на правила, которые устанавливают дети, играющие в камешки: когда проигравший хочет по окончании игры получить обратно свои камешки, ему говорят: «Это не по правилам». Вся мудрость судей сводится к тому, чтобы отличать захват, совершенный не по правилам, от того, который входил в уговор в начале игры, и хоть это, казалось бы, и ребяческое занятие, а установить это различие не так-то просто. Решение всегда останется произвольным. Девушка, которая в

эту минуту уже висит на пеньковой веревке, украла, вы говорите, чепец у госпожи советницы Жосс. А как вы можете доказать, что этот чепец принадлежал госпоже советнице Жосс? Вы скажете, что она либо купила его на свои деньги, либо он ей достался в приданое, или, быть может, она получила его в подарок от своего возлюбленного, словом, вы переберете все честные способы, коими приобретаются кружева. Но как бы она их ни приобрела, я вижу только, что для нее это было нечто вроде дара судьбы, который достается случайно и так же случайно теряется, но никакого естественного права на него ни у кого нет. Тем не менее я готов согласиться, что кружева эти принадлежат ей по тем же правилам игры в собственность, принятым в человеческом обществе и которых придерживаются дети, играющие в камешки. Она дорожила этими кружевами, и в конце концов ее права на них ничуть не меньше, чем у кого-нибудь другого. Отлично, я с этим не спорю. Дело правосудия было возратить ей эти кружева, но не заставлять же платить за них такой дорогой ценой, не отнимать человеческую жизнь за две жалких полоски алансонского кружева.

— Сударь, — возразил маленький пристав, — вы рассматриваете только одну сторону правосудия. А ведь это не все. Мало было оказать справедливость госпоже советнице Жосс, вернув ей ее кружева. Необходимо было оказать справедливость также и служанке, вздернув ее за шею. Ибо правосудие состоит также и в том, чтобы каждому воздавать должное. Этим-то оно и священо.

— В таком случае правосудие еще гаже, чем я думал, — сказал мой добрый учитель. — Вот это рассуждение, что виновного надо покарать, дабы воздать ему должное, — чудовищная жестокость. Просто какое-то средневековое варварство!

— Вы, сударь, плохо знаете правосудие. Оно карает без гнева и не питает никакой злобы к этой девушке, которую оно послало на виселицу.

— Великолепно! — воскликнул мой добрый учитель. — Но, по-моему, лучше было бы, если бы судьи признались, что они карают виновных просто по необходимости, дабы это послужило назиданием для других. Тогда они и ограничивались бы лишь необходимым. Но ежели они воображают, что, карая виновного, они воздают ему должное, то это уж такие тонкости, которые могут далеко завести, тут самая их честность заставит их быть беспощадными, ибо как же можно недодать человеку то, что ему причитается? Это рассуждение, сударь, кажется мне отвратительным. Оно было выдвинуто искусным философом Менардом^[251], который с необычайной последовательностью доказывал, что не наказывать преступника — значит причинить ему вред, злостно лишить его права искупить свою вину. Он доказывал, что афинские судьи, принудившие Сократа выпить цикуту^[252], поступили похвально, позаботившись об очищении души этого мудреца. Все это невообразимые бредни. Мне бы хотелось, чтобы наше правосудие было не столь превыспренно. Более распространенное понятие кары как справедливого возмездия, сколь оно ни отвратительно и гнусно, все же не так страшно по своим последствиям, как эта яростная добродетель философов-мучителей. Некогда в Сеэзе я знал одного горожанина, хороший был человек, веселого нрава, бывало каждый вечер усадит к себе на колени своих ребятишек и рассказывает им сказки. Он вел примерную жизнь, соблюдал посты, ходил к исповеди и гордился своей честностью в торговых делах, ибо уже лет шестьдесят, коли не более, торговал зерном. И вот однажды служанка украла у него несколько дублонов, дукатов, реалов и других ценных золотых монет, которые он хранил, как редкость, в ларце, в ящике своего стола. Как только он обнаружил пропажу, он немедленно подал жалобу в суд, после чего служанку схватили, допросили, осудили и казнили. А сей добрый горожанин, который хорошо знал законы, потребовал, чтобы ему отдали кожу воровки и заказал себе из нее штаны. Я помню, как он, бывало, похлопывал себя по ляжкам и приговаривал: «Мерзавка, ах,

мерзавка!» Эта девушка стащила его золотые монеты, вот он и стащил с нее кожу; но хоть по крайней мере он мстил ей без всякой философии, попросту, с мужицкой жестокостью. Ему не приходило в голову, что он выполняет какой-то священный долг, когда он, смеясь, похлопывал себя по штанам, сделанным из человеческой кожи. И уж лучше бы считать, что воров вешают из предосторожности, для острастки, а совсем не для того, чтобы воздать каждому по принадлежности, как говорит этот Ульпиан. Ибо, если рассудить здраво, человеку ничто не принадлежит, кроме разве его жизни. А почитать своим долгом заботиться о том, чтобы преступник искупил свою вину, — это уж совсем дикий мистицизм, куда хуже откровенного насилия и простой ярости. Что же касается права карать воров, то оно опирается на силу, а отнюдь не на философию. Философия, напротив, учит нас, что все, чем мы владеем, приобретено насилием или хитростью. И вы видите, что когда нас обирает могущественный грабитель, судьи потакают ему. Таким образом, королю разрешается отбирать у нас серебряную посуду, дабы он мог вести войну, как это было при Людовике Великом, когда изъятие ценностей производилось столь тщательно, что сдирали даже бахрому с пологов у кроватей, дабы извлечь из нее золото, вплетенное в шелк. Этот государь прибирал к рукам имущество частных лиц и сокровища церкви, и примерно лет двадцать тому назад, когда я ходил молиться в собор Льесской богородицы в Пикардии, старик ризничий жаловался мне, что покойный король забрал у них все церковные ценности, дабы переплавить их, и изъял из храма даже золотую грудь, отделанную драгоценной эмалью, некогда с великой торжественностью принесенную в дар принцессой Палатинской по случаю чудесного исцеления от рака. Правосудие поддерживало монарха в этих реквизициях и строго карало тех, кто пытался утаить какую-нибудь вещь от королевских приставов. Стало быть, оно не считало, что эти вещи являются такой уж неотъемлемой собственностью их владельцев, что ее нельзя у них отнять.

— Сударь, — возразил маленький пристав, — эти чиновники действовали именем короля, который владеет всем достоянием королевства и может распоряжаться им по своему усмотрению, затем, чтобы вести войну, строить суда или для любой другой надобности.

— Это верно, — сказал мой добрый учитель, — и все это обусловлено правилами игры. Судьи следуют правилам игры в гусек и смотрят на то, что изображено на картинке. Права государя, охраняемые швейцарцами и разными другими солдатами, там запечатлены. А у этой бедняжки-повешенной не было швейцарской стражи, которая показывала бы на картинке, что она имеет право носить кружева госпожи советницы Жосс. Все точь-в-точь сходится.

— Сударь! — возмутился маленький пристав, — я думаю, вы не позволите себе равнять Людовика Великого, который отобрал посуду у своих подданных, чтобы заплатить жалованье солдатам, и эту подлую тварь, стянувшую чепчик, чтобы покрасоваться!

— Сударь, — ответил мой добрый учитель, — воевать далеко не столь невинно, как пойти покрасоваться к Рампонно в кружевном чепчике. Но правосудие заботится, чтобы каждый остался при своем согласно правилам игры в людском обществе, а это — самая бесчестная, самая бессмысленная и самая неинтересная игра. И хуже всего то, что все граждане должны принимать в ней участие.

— Это уж обязательно, — заметил маленький пристав.

— Вот потому-то законы и полезны, — продолжал мой добрый учитель. — Но они отнюдь не справедливы и не могут быть справедливыми, ибо судья обеспечивает гражданам сохранность принадлежащих им благ, не различая благ истинных от благ ложных; это различие не входит в правила игры; оно вписано в книгу божественного правосудия, в которой никому не дано читать. Вы знаете сказание об ангеле и отшельнике? Однажды на землю спустился ангел в образе человека и в одежде паломника; странствуя по Египту, он

постучался вечером в хижину доброго отшельника, и тот, приняв его за путника, накормил его ужином и поднес ему вина в золотой чаше. Потом уложил его в свою постель, а сам растянулся на полу, подложив под себя охапку соломы. В то время как он спал, небесный гость поднялся и, взяв чашу, из которой пил, спрятал ее под своим плащом и скрылся. Он поступил так не для того, чтобы сделать зло доброму отшельнику, а, напротив, для пользы своего милосердного хозяина, давшего ему приют. Ибо он знал, что эта чаша может погубить святого мужа, который чересчур привязался к ней, тогда как господь хочет, чтобы любили только его одного, и ему неуютен служитель, который привержен к мирским благам. Этот ангел, причастный к божественной мудрости, отличал ложные блага от истинных. Судьи не делают такого различия. Кто знает, не погубит ли госпожа Жосс свою душу этим кружевом, которое похитила у нее служанка и которое ей возвратили судьи.

— Ну, а пока что, — сказал маленький пристав, потирая руки, — у нас на земле сейчас стало одной мошенницей меньше.

Он стряхнул крошки, приставшие к платью, поклонился нам и бодро зашагал прочь.

XXI. Правосудие **(Продолжение)**

Мой добрый учитель, повернувшись ко мне, продолжал:

— Я привел это сказание об ангеле и отшельнике только для того, чтобы показать, какая пропасть отделяет мирское от духовного. Ибо правосудие человеческое проявляется только в мирском, а это — злая юдоль, где высокие принципы не находят себе применения. Какой тяжкий грех перед господом нашим Иисусом Христом — водружать образ его в судилище, где судьи оправдывают фарисеев, его распявших, и осуждают Магдалину, которую он поднял своими божественными руками. Что делать ему, справедливому, среди этих людей, которые не могут быть справедливыми, даже если бы хотели, ибо их жалкая обязанность состоит в том, чтобы судить дела ближних своих, не вдаваясь в их суть или побуждения, а руководствуясь лишь интересами общества, то есть, попросту говоря, поощрять это чудовищное сплетение эгоизма, жадности, обмана и злоупотреблений, — все то, из чего создаются государства и что они, судьи, поставлены слепо охранять. Взвешивая проступок, они кладут на ту же чашу весов гнев или страх, внушаемый этим проступком трусливой толпе. И все это вписано в их книгу, и сей древний свод и мертвая буква заменяют им разум, сердце и душу живую. И все эти заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры^[253], неизменно сходятся в одном — сохранить все как есть добродетели и пороки, чтобы все оставалось на своем месте в этом мире, который не желает меняться. Проступок сам по себе имеет в глазах закона столь мало значения, а внешние обстоятельства обретают такой вес, что одно и то же действие, законное в одном случае, считается непростительным в другом; примером можно привести пощечину: горожанина, который дал другому пощечину, всего лишь порицают за несдержанность, а солдата — отдают под суд и карают смертью. Сей пережиток варварства покрывает нас позором в грядущих веках. Мы об этом не думаем; но когда-нибудь люди будут изумляться, что же это были за дикари, которые карали смертной казнью благородное негодование, заставляющее бурлить кровь юноши, обреченного законом на опасности войны и гнусности казармы. И ведь всякому ясно, что, если бы у нас действительно существовало правосудие, мы не завели бы двух кодексов

— одного военного, а другого гражданского. Это казарменное правосудие, которое что ни день чинит расправы, отличается невообразимой жестокостью, и если когда-нибудь люди станут просвещенными, им трудно будет поверить, что могли некогда существовать такие порядки, при которых в мирное время военно-полевые суды карали смертью людей за оскорбление капралов и сержантов. Им трудно будет поверить, что людей прогоняли сквозь строй за преступление, именуемое бегством пред лицом неприятеля, во время экспедиции, в которой правительство Франции не признавало воюющих сторон. И больше всего поражает то, что все эти жестокости совершаются у христианских народов, которые чтут святого Себастьяна, мятежного воина, и мучеников Фивского легиона, вся слава коих в том и состоит, что они испытали на себе тяжесть военного суда, отказавшись воевать против багаудов^[254]. Но оставим это, не будем говорить о правосудии солдафонов, которые, по пророчеству сына божия, сгинут с лица земли, и вернемся к судьям гражданским.

Судьи не читают в сердцах и не проникают в человеческие помыслы; поэтому даже самое справедливое их правосудие грубо и поверхностно. Многого им еще недостает до того, чтобы соблюдать хотя бы ту видимость справедливости, на которой зиждутся их законы. Они люди, а это значит, что они слабы и подкупны, к сильным людям предупредительны, а к малым людям безжалостны. Они узаконивают своими приговорами чудовищный произвол, и трудно понять, проистекает ли сие попустительство от их собственной низости, или же они почитают сие своим судейским долгом, который поистине сводится лишь к тому, чтобы поддерживать государство во всем, что в нем хорошо или дурно, печься о незыблемости общественных нравов, достойных или постыдных, и охранять наравне с правами граждан тиранический произвол государя, не говоря уже о тех нелепых и жестоких предрассудках, кои находят себе неприкосновенное убежище под гербом лилии.

Самый неподкупный судья, именно в силу своего нелицеприятия, способен вынести самый возмутительный и, быть может, более бесчеловечный приговор, нежели судья недобросовестный, и я, по правде сказать, не знаю, кого из двух следует опасаться, — того ли, кто сжился душой с буквой закона, или того, кто, еще сохранив какие-то остатки чувств, вкладывает их в превратное толкование сих законов. Этот принесет меня в жертву своим страстям или своей корысти, а тот хладнокровно пожертвует мною писанной букве.

Следует еще заметить, что судья по роду своей деятельности стоит на страже не новых предрассудков, коим мы все подвержены, но тех пережитков прошлого, которые сохраняются в законах и тогда, когда они уже давно исчезли из наших обычаев и из нашей памяти. И человек, обладающий хоть сколько-нибудь независимым умом и способностью размышлять, не может не видеть этой обветшалости закона, которую судья не имеет права замечать.

Но я говорю так, как если бы законы, какие бы они ни были варварские и дикие, отличались по крайней мере ясностью и определенностью. На самом же деле это далеко не так. Темные речи какого-нибудь колдуна легче понять, чем некоторые статьи наших кодексов и уложений обычного права. Эти трудности толкования сыграли немалую роль в создании различных судебных инстанций; предполагается, что ежели в чем-то не разберется местный судья, сие разберут господа высшие судьи. Но не слишком ли это много ожидать от пяти человек в красных мантиях и четырехугольных шапках, кои даже после прочтения *Veni, Creator*^[255] все равно остаются подвержены заблуждениям? И не лучше ли просто сознаться, что и высшая судебная инстанция выносит окончательный приговор лишь потому, что к ней прибегают уже после того, как пройдены все остальные. Государь держится того же мнения, ибо его суд выше верховного суда.

Мой добрый учитель печально следил взором за течением реки, словно созерцая в сем образ нашего мира, где все течет и ничто не изменяется. Некоторое время он сидел молча, задумавшись, а потом заговорил тихим голосом:

— Уже одно то кажется мне непостижимым, сын мой, что именно судьи призваны вершить правосудие. Разве не ясно, что им требуется объявить виновным того, кого они с самого начала заподозрили? Их побуждает к этому кастовый дух, который их тесно сплачивает; вот почему во время судопроизводства они всячески отстраняют защиту, словно это какой-то назойливый любопытный, и допускают ее лишь после того, как обвинение предстанет во всеоружии, с суровым лицом, придав себе с помощью всяческих ухищрений вид прекрасной Минервы. По самому духу своей профессии они склонны видеть виновного в каждом обвиняемом, и их рвение кажется таким устрашающим некоторым европейским народам, что в крупных судебных делах они приставляют к судьям десятков граждан, избранных по жребию. Из этого следует, что случай в своей слепоте более способен оградить жизнь и свободу обвиняемого, нежели просвещенная совесть судей. Правда, эти присяжные, которых привел сюда жребий, не допускаются до сути дела и видят его только с парадной, показной стороны. Правда и то, что, поскольку они не сведущи в законах, им положено не применять закон, а лишь постановить коротко, одним словом, следует или нет в данном случае его применить. Говорят, что эти суды присяжных приводят иной раз к совершенно нелепым результатам, но народы, которые их у себя ввели, держатся за них как за своего рода крепкую защиту. Я охотно этому верю и могу понять, почему люди признают такого рода приговоры: они могут быть бессмысленными и жестокими, но по крайней мере их бессмысленность и жестокость никому нельзя вменить в вину. Можно примириться с несправедливостью, когда она до такой степени ни с чем не сообразна, что кажется невольной.

Этот маленький судебный пристав, который так превозносил правосудие, заподозрил меня в том, что я держу сторону воров и убийц. Напротив, мне так ненавистны воровство и убийство, что я не переносу их даже в исполнительных листах, скрепленных законом, и мне горестно видеть, что судьи не придумали ничего лучше для наказания мошенников и злодеев, кроме как подражать им; ибо, сказать по правде, Турнеброш, сын мой, что такое штрафы и смертные казни как не те же кражи и убийства, совершаемые с торжественной неотвратимостью? И разве ты не видишь, что наше правосудие, при всем своем величии, идет тем же постыдным путем — воздаст злом за зло, несчастьем за несчастье, дабы не нарушить равновесия и симметрии, умножает вдвое злодейства и преступления. Здесь также можно высказать своего рода честность и бескорыстие; можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом^[256]. Я сам знаю одного судью, очень порядочного человека. Но я потому и начал с самых основ, что мне хотелось показать истинную природу сей касты, которой гордыня судей и страх народа придали отнюдь не подобающее ей величие. Я хотел показать подлинное убожество этих сводов законов, которые нам преподносят как нечто священное, тогда как на самом деле они представляют собой собрание всевозможных ухищрений и уловок.

Увы! законы произошли от человека, — ничтожное и жалкое происхождение!

Большинство из них зародилось случайно. Невежество, суеверие, честолюбие монарха, корысть законодателя, прихоть, фантазия — вот на чем зачинались эти высокие установления, которые возвеличивались по мере того, как они становились все более непостижимыми. Они окутаны мраком, и толкователи еще более сгущают его, дабы придать им величие древних оракулов. Я то и дело слышу и каждый день читаю в газетах, что наши законы ныне диктуются обстоятельствами и случаем. Это рассуждения близоруких людей, которые не видят того, что так оно и было спокон веков и что закон всегда обязан своим происхождением какой-нибудь случайности. Жалуются также на путаницу и противоречия, в которые постоянно впадают наши нынешние законодатели. И не замечают того, что и предшественники их тоже плутали в потемках.

А в сущности говоря, Турнеброш, сын мой, законы хороши или плохи не столько сами по себе, сколько по тому, как их применяют, и несправедливое установление не причинит зла, ежели судья не приведет его в действие. Обычаи сильнее законов. Мягкость нравов, незлобивость духа — вот единственные средства, коими можно разумно бороться с варварством законов. Ибо исправлять законы посредством законов — это долгий и сбивчивый путь. Только течение веков сокрушит то, что создавалось веками. И мало надежды, что некий французский Нума Помпилий повстречает когда-нибудь в Компьенском лесу или среди скал Фонтенебло новую нимфу Эгерю [\[257\]](#), которая продиктует ему мудрые законы.

Он устремил долгий взгляд на холмы, синевшие на горизонте. Лицо его было задумчиво и печально. Затем, ласково положив руку мне на плечо, он заговорил таким проникновенным голосом, что я почувствовал себя потрясенным до глубины души.

— Турнеброш, сын мой, — сказал он мне, — ты замечаешь, как я теряюсь и путаюсь, делаюсь косноязычным и глупым при одной только мысли об исправлении того, что кажется мне отвратительным. Не думай, что это робость духа: ничто не может смутить дерзаний моего разума. Но запомни хорошенько то, что я тебе сейчас скажу, сын мой. Истины, открытые разумом, остаются бесплодными. Только сердце способно оплодотворить мечты. Оно вливает жизнь во все, что оно любит. И семена добра, разбросанные в мире, посеяны чувством. Разум не способен сеять. И я признаюсь, что до сих пор был слишком рассудочен в своей критике законов и нравов. Поэтому критика моя не принесет плодов и засохнет, как дерево от апрельских заморозков. Чтобы служить людям, нужно отбросить разум прочь, как ненужный балласт, и взлететь на крыльях воодушевления. А тот, кто рассуждает, никогда не взлетит.

Л. Элий Ламия, родом из Италии, происходивший из знатного семейства, не сбросив еще претексты^[259], отправился изучать философию в афинских школах. Возвратившись в Рим, он поселился в своем доме на Эсквилинском холме и со всей пылкостью юности предавался наслаждениям и рассеянию в обществе молодых распутников. Но, будучи обвинен в греховной связи с Лепидой, супругой бывшего консула Сульпиция Квирина, он был изгнан из Италии Тиберием Цезарем^[260]. Было ему тогда двадцать четыре года. В бытность свою в изгнании, длившемся восемнадцать лет, он посетил Сирию, Палестину, Каппадокию, Армению и подолгу жил в Антиохии, Кесарии и Иерусалиме. Когда же после смерти Тиберия во главе империи встал Гай^[261], Ламии было разрешено вернуться в Вечный город. И скоро даже часть прежних владений перешла опять в его руки. Несчастья умудрили его.

Он бежал всякого общения с женщинами вольного поведения, не искал высоких должностей и, познав тщету почестей, уединился в своем эсквилинском доме. Записывая на таблички впечатления, вынесенные из долгих странствий, он, по его словам, воспоминаниями о былых невзгодах оживлял безбурное настоящее. Так, погруженный в сии мирные занятия и в размышления над трудами Эпикура, он не без удивления и горечи встретил приближение старости. В возрасте шестидесяти двух лет, мучась докучливым ревматизмом, он направился на воды в Байи. Побережье, некогда облюбованное морскими ласточками, ныне было излюбленной резиденцией богатых римлян, жаждущих удовольствий. В течение недели Ламия жил замкнуто, чуждаясь блестящей толпы; и вот однажды, после обеда, почувствовав себя в добром здравии, он решил взобраться на прибрежные холмы, подобно вакханкам увитые виноградом и смотревшиеся в воды залива.

Взойдя на вершину холма, он присел у тропинки, в тени терпентинного дерева; и оттуда взору его представился дивный пейзаж. По левую сторону, до самых развалин Кум, простирались бесплодные и голые Флегрейские поля. По правую сторону Мисенский мыс врезался своим острием в Тирренское море. А у самых ног роскошные Байи раскинули вдоль изящных излучин побережья свои сады, свои виллы со статуями, портиками, мраморными террасами, спускавшимися ступенями к самому лазурному морю, где плескались дельфины. А вддали, по ту сторону залива, на берегах Кампании, позлащенные солнцем, уже клонившимся к закату, горели куполы храмов, осененные лаврами Позилиппо, и на дальнем горизонте курился Везувий.

Ламия вынул из складок тоги свиток и, растянувшись на траве, погрузился в чтение трактата «О природе». Но при окрике раба он принужден был встать и пропустить носилки, ибо тропа, пролегавшая меж виноградниками, была узка. Занавеси на носилках были откинuty, и Ламия увидел возлежавшего на подушках тучного старца, который, подперев голову рукой, глядел вдаль с сумрачным и надменным видом. Его орлиный нос нависал на самые губы, выпяченные благодаря строению мощных челюстей с резко очертанным изгибом подбородка.

Лицо его показалось Ламии знакомым. Он колебался лишь одно мгновение. И вдруг, бросившись к носилкам в порыве удивления и радости, он воскликнул:

— Понтий Пилат! Благодарение богам, дарующим мне радость встречи с тобой!

Старик подал рабам знак остановиться и устремил внимательный взгляд на человека, который его приветствовал.

— О Понтий, любезный мой покровитель! — восклицал тот. — За двадцать лет разлуки

волосы мои так убелились сединой и щеки так ввалились, что ты не узнаешь более своего Элия Ламию!

При этом имени Понтий Пилат сошел с носилок с живостью, какую только позволяли его преклонный возраст и величавость. И он дважды облобызал Элия Ламию.

— Воистину, встреча с тобой мне сладостна! — сказал он. — Ты напоминаешь мне былые дни, когда я, увы, был прокуратором Иудеи в провинции Сирии. Тридцать лет уже минуло с того дня, как я впервые увидел тебя. То было в Кесарии, где ты томился в изгнании. Мне посчастливилось несколько облегчить твою участь; и ты из дружества, Ламия, последовал за мной в унылый Иерусалим, где иудеи дали мне испытать терпкую чашу огорчений. Свыше десяти лет пребывал ты моим гостем и спутником жизни; и вспоминая Город ^[262], мы с тобою отвлекались: ты — от своих несчастий, я — от своего величия.

Ламия облобызал его вторично.

— Ты не сказал всего, Понтий: ты не упомянул о том, что, пользуясь своим влиянием, ты ходатайствовал за меня перед Иродом Антипой ^[263] и широко открыл для меня свой кошелек.

— Не будем говорить об этом, — отвечал Понтий. — Вернувшись в Рим, ты послал мне с вольноотпущенником крупную сумму денег, с избытком покрывшую твой долг.

— И в помыслах у меня не было расквитаться с тобой деньгами, Понтий! Но ответь мне: боги исполнили твои желания? Наслаждаешься ли ты заслуженным покоем? Расскажи, здоров ли ты и твои близкие, умножил ли ты свое состояние?

— Удалившись в Сицилию, где находятся мои владения, я занялся сельским хозяйством и вот теперь торгую пшеницей. Старшая дочь моя, дражайшая Понтия, овдовев, поселилась со мной и взяла в свои руки управление моим домом. Благодарение богам, я сохранил ясность ума; память моя не ослабела. Но старость всегда приводит с собою множество немощей. Меня жестоко мучит подагра. И ты встретил меня на пути во Флегрейские поля, куда я направляюсь в надежде найти исцеление своим недугам. Там раскаленная земля ночью выбрасывает из своих недр пламя и едкие сернистые пары, которые, как говорят, утоляют боль в суставах и возвращают им гибкость. Так по крайней мере уверяют медики.

— О любезный мой Понтий! Да помогут тебе боги испытать на себе врачующее действие сернистых испарений! Но, несмотря на подагру с ее жгучим жалом, ты кажешься моим ровесником, а ведь ты старше меня на десять лет. Поистине, в тебе и поныне более сил, нежели во мне было смолodu. И я радуюсь, видя тебя столь бодрым. Зачем же, друг мой, ты так рано отступился от общественных обязанностей? Зачем, будучи отстранен от управления Иудеей, ты добровольно удалился в изгнание в свое сицилийское поместье? Скажи, что делал ты, расставшись со мною — свидетелем твоей жизни? Когда я уезжал в Каппадокию, полагая извлечь пользу из разведения лошадей и мулов, ты готовился подавить восстание самаритян. Я не видел тебя с того времени. Увенчался ли успехом усмирительный поход? Рассказывай же, говори! Все, что касается тебя, меня интересует.

Понтий Пилат грустно покачал головой.

— По врожденной добросовестности и из чувства долга я нес общественные обязанности не только с усердием, но и с любовью. Но людская ненависть преследовала меня, лишая покоя. Происки и клевета подкосили мою жизнь в самом расцвете и иссушили ее плоды, не дав им созреть. Ты спрашиваешь меня о восстании самаритян? Присядем на этот холмик. Я отвечу тебе в кратких словах. События тех дней свежи в моей памяти, как если б то было лишь вчера.

Какой-то плебей, владевший даром слова, как это часто встречается в Сирии, убедил самаритян собраться на горе Гаризим, которая почитается в этой стране святым местом, пообещав показать им священные сосуды, укрытые там еще во времена Эвандра и Энея,

нашего праотца^[264], каким-то иудейским героем, архонтом^[265], вернее, каким-то древним богом, по имени Моисей. Это и послужило поводом к восстанию самаритян. Но мне вовремя донесли об этом, и я приказал солдатам занять гору, а всадникам охранять подступы к ней.

Меры предосторожности были необходимы. Мятежники уже осадили городок Тирахаба, что у подножия горы Гаризим. Я легко рассеял их толпы и подавил мятеж в самом его зародыше. Затем, желая избежать кровопролития и все же преподать хороший урок, я приказал казнить зачинщиков мятежа. Но ты знаешь, Ламия, в какой зависимости держал меня проконсул Вителлий, который, управляя Сирией, действовал не в пользу Рима, а во вред ему, вообразив, что провинции Римской империи раздаются тетрархам как поместья. Старейшины самаритян из ненависти ко мне припали к его стопам с жалобами. Они якобы были далеки от мысли выйти из повиновения Цезарю. Я-де сам, своей жестокостью, вынудил их прибегнуть к оружию, и они собрались у стен Тирахаба только для того, чтобы защищаться. Вителлий внял их жалобам и, поручив управление Иудеей своему другу Марцеллу, приказал мне ехать в Рим и дать императору отчет в своих действиях. С сердцем, исполненным скорби и жажды отмщения, взошел я на борт корабля. В то время как я подплывал к берегам Италии, Тиберий, изнуренный годами и государственными заботами, внезапно скончался на Мисенском мысе, окончность которого видна отсюда сквозь вечерний туман. Я искал правосудия у Гая, его преемника, одаренного от природы живым умом и хорошо знающего положение дел в Сирии. Но подивись вместе со мной, Ламия, несправедливости судьбы, уготовившей мою гибель! В Риме состоял тогда при Гае наперсник, друг его детства, иудей Агриппа, которого он оберегал как зеницу ока. Агриппа благоволил к Вителлию, ибо Вителлий был врагом Антипы, которого Агриппа преследовал своей ненавистью. Император в угоду своему возлюбленному азиатцу отказался даже выслушать меня. Пришлось снести незаслуженную немилость. Глотая слезы накипавшей злобы, я удалился в свои сицилийские владения, где умер бы от тоски, если б моя кроткая Понтия не явилась мне утешением. Я стал выращивать пшеницу, и теперь во всей провинции не встретить таких тучных злаков, как на моих полях. Ныне жизнь моя кончена. Будущее рассудит нас с Вителлием.

— Я убежден, Понтий, — отвечал Ламия, — что ты обошелся с самаритянами со всей прямоотой, свойственной твоей натуре, и единственно в интересах Рима. Но не слишком ли поддался ты на сей раз запальчивости, которая постоянно увлекает тебя? Ты помнишь, как часто случалось мне, еще в бытность нашу в Иудее, подавать тебе советы благоразумия и терпимости, хоть я был моложе тебя и, стало быть, горячее?

— Терпимость в отношении иудеев! — воскликнул Понтий Пилат. — Хоть ты и жил среди них, плохо ты знаешь этих врагов рода человеческого. Кичливые и вместе с тем подлые, они совмещают в себе постыдную трусость с непреодолимым упрямством и равно не заслуживают ни любви, ни ненависти. Я воспитан, Ламия, на принципах божественного Августа. Когда я был назначен прокуратором Иудеи, величие римского гения уже оказывало свое влияние на весь мир. Проконсулы не обогащались за счет провинций, как это бывало во времена гражданских смут. Я сознавал свой долг. Я вменил себе в закон действовать мудро и осторожно. Боги свидетели, я всегда старался избегать жестокостей. Но к чему привели мои благие намерения? Ты помнишь, Ламия: едва я вступил в управление Иудеей, вспыхнуло первое восстание. Нужно ли напоминать тебе, при каких обстоятельствах оно произошло? Гарнизон Кесарии переходил на зимние квартиры в Иерусалим. Легионеры несли знамена с изображением Цезаря. Жители Иерусалима, не признававшие божественности императора, сочли себя оскорбленными, словно повиноваться богу, если уж приходится повиноваться, менее достойно, нежели человеку! Иудейские первосвященники явились перед судилищем и с высокомерным смирением стали просить меня удалить знамена из священного города. Я

отказал им в этой просьбе из уважения к божественной особе Цезаря и к величию Империи. Тогда плебс вкупе с первосвященниками окружил преторию с причитаниями и угрозами. Я приказал солдатам составить копья пирамидой перед башней Антонии и, вооружившись, как ликторы, фасцами^[266], рассеять дерзкую толпу. Но иудеи словно не чувствовали ударов; они посылали мне проклятия, а самые неистовые из них легли на землю, вопя во все горло, и, казалось, готовы были умереть под розгами. Ты был свидетелем моего унижения, Ламия. По приказанию Вителлия я был вынужден отправить знамена обратно в Кесарию. Поистине, такой позор был мною не заслужен! Перед лицом бессмертных богов клянусь, что ни разу в бытность мою прокуратором Иудеи не преступил я закона и справедливости! Но я стар. Мои враги и клеветники мертвы. Я умру не отомщенным. Кто станет моим посмертным защитником?

Он вздохнул и умолк. Ламия отвечал:

— Туманное будущее не должно тревожить мудреца ни опасениями, ни надеждой. Не все ли равно, что будут люди думать о нас? Мы сами свидетели и судьи своих деяний. Сохрани, Понтий Пилат, уверенность в своей нравственной правоте. Удовольствуйся собственным самоуважением и уважением твоих друзей. К тому же нельзя управлять народами при помощи одной лишь гуманности. Человеколюбие, к которому призывают философы, не вяжется с обязанностями правителей.

— Отложим нашу беседу, — сказал Понтий. — Сернистые испарения Флегрейских полей действенное, когда они исходят от земли, накаливаемой солнечными лучами. Я должен спешить. Прощай! Но раз счастливый случай свел меня с другом, я хочу этим воспользоваться. Элий Ламия, окажи мне честь отужинать завтра со мною. Мой дом находится на краю города, у самого берега моря, близ Мисены. Ты легко узнаешь его по живописи над портиком: там изображен Орфей в окружении львов и тигров, зачарованных звуками его лиры. Завтра свидимся, Ламия, — сказал он еще раз, уже всходя на носилки. — Завтра побеседуем об Иудее.

На следующий день Ламия в назначенный час пришел к Понтию Пилату. Всего два ложа ожидали сотрапезников. К столу, накрытому без излишней пышности, но достаточно богато, на серебряных блюдах были поданы смоква в меду, дрозды, лукринские устрицы и сицилийские миноги. За ужином Понтий и Ламия вели речь о своих недугах, пространно описывали их признаки и давали друг другу советы, как пользоваться рекомендованными им средствами. Из признательности к Байям, соединившим их, они наперебой превозносили красоту этого побережья и благотворное действие здешнего воздуха.

Ламия восхвалял прелести куртизанок, которые прохаживались по взморью, увешанные драгоценностями, волоча за собою покрывала, расшитые варварами. Но старый прокуратор порицал суетное тщеславие, из-за которого в обмен на камень и паутину, сотканную человеческими руками, римское золото переходило к иноплеменникам и даже к врагам Империи. Затем речь зашла о широких строительных работах в стране; упомянут был мост, возведенный Гаем между ПUTEОЛАМИ и Байями, и каналы, прорытые Августом, через которые воды Тирренского моря вливаются в Авернское и Лукринское озера.

— И у меня было намерение осуществить большие общественные работы, — сказал Понтий вздыхая. — Став, к своему несчастью, правителем Иудеи, я замыслил построить акведук протяжением в двести стадий, который мог бы в изобилии снабжать Иерусалим чистой водой. Высота уровней, масштабы модулей, уклоны медных водохранилищ, от которых должны были расходиться водоносные трубы, — все было мною предусмотрено, и я сам, с помощью механиков, выполнил чертежи. Я подготовил указ о порядке пользования водой, чтобы никто из граждан не мог брать ее больше, чем дозволено. Зодчие и рабочие

были уже на месте. Я приказал приступить к работам. Но, вместо того чтобы возрадоваться закладке акведука, который должен был покоиться на мощных мостовых арках и вместе с водой внести в город оздоровление, жители Иерусалима подняли отчаянный вопль. Обвиняя меня в кощунстве, в осквернении святынь, они с криком набросились на работников и разметали камни фундамента. Встречал ли ты, Ламия, более гнусных варваров? Однако ж Вителлий принял их сторону, и я получил приказ прервать сооружение акведука.

— Большой еще вопрос, нужно ли делать добро людям вопреки их воле, — сказал Ламия. Понтий Пилат, не слушая, продолжал:

— Отказаться от акведука! Какое безумие! Но все, что исходит от римлян, ненавистно иудеям. Мы для них существа нечистые, и уже одно наше присутствие внушает им отвращение. Ты знаешь, что они не решались войти в преторию из боязни оскверниться, и я вынужден был вершить суд под открытым небом, на мраморных плитах мостовой, по которой ты не раз прохаживался.

Они нас боятся и презирают. Но разве Римская империя — не мать и покровительница всех народов, которые, как дети, мирно почивают в лоне ее славы? Наши орлы разнесли по всей вселенной благовестие мира и свободы. Мы обращаемся с побежденными народами как с друзьями, не чиним им никаких притеснений, уважаем их обычаи и законы. Разве покорение Птоломеем Сирии, которую раздирали междоусобицы ее многочисленных правителей, не принесло этой стране успокоения и процветания? И хотя Рим мог бы ценить свои благодеяния на вес золота, однако ж он не посягнул на сокровища, от которых ломаются храмы иноплеменных! Не ограбил же он богиню-Матерь в Песинунте, Юпитера в Моримене и Киликии, иудейского бога в Иерусалиме! Антиохия, Пальмира, Апамея наслаждаются покоем, несмотря на свои богатства, и, уже не опасаясь набегов арабов из пустыни, воздвигают храмы во славу римского гения и в честь божественного Цезаря. Одни лишь иудеи ненавидят нас и держат себя с нами вызывающе. Налоги с них приходится взимать силою, и они упорно уклоняются от воинской службы.

— Иудеи цепко держатся за древние обычаи, — отвечал Ламия. — Они подозревали, и, разумеется, без всякого основания, что ты посягаешь на их законы и желаешь изменить их нравы. Позволь тебе сказать, Понтий, что твои действия не всегда способствовали тому, чтобы рассеять это злосчастное заблуждение. Тебе доставляло удовольствие, хотя ты и не отдавал себе в том отчета, возбуждать в иудеях беспокойство, и я наблюдал не раз, с каким явным презрением относился ты к их верованиям и религиозным обрядам. Раздражение их достигло высшей степени, когда ты приказал легионерам охранять в башне Антонии утварь храма и облачение первосвященника. Надо признать, что, хотя иудеи и не возвысились, как мы, до восприятия божественных истин, все же их религиозные таинства достойны уважения, хотя бы ради их древности. Понтий Пилат пожал плечами.

— Они не имеют ясного представления о природе богов, — сказал он. — Они поклоняются Юпитеру, но не дают ему имени и не облачают его в зримый образ. Не создают они и кумиров из камня, как иные азиатские народы. Им неизвестны Аполлон, Нептун, Марс, Плутон, ни одна из богинь. Порою мне кажется, что в древности они поклонялись Венере. Ибо и поныне иудейские женщины приносят на жертвенный алтарь голубей; и ты не хуже меня знаешь, что торговцы, устроившись под портиками храма, продают этих птиц попарно для жертвоприношений. Однажды мне сказали, что какой-то безумец, опрокинув клетки, изгнал торгующих из храма. Священники обратились с жалобой на святотатца. Я думаю, что обычай приносить в жертву двух горлиц установлен в честь Венеры. Чему ты смеешься, Ламия?

— Мне пришла в голову смешная мысль, — сказал Ламия. — Я вообразил, что настанет

день, и иудейский Юпитер низойдет в Рим и обрушит на тебя свой гнев. Почему бы и нет? Азия и Африка уже дали нам множество богов. Воздвигались же в Риме храмы в честь Изиды и Анубиса с собачьей головой! Ведь встречаем же мы на перекрестках и даже на ристалище статуи сирийской богини Добра, восседающей на осле. И разве тебе не ведомо, что в правление принцепса Тиберия^[267] некий молодой всадник, выдававший себя за рогатого Юпитера египтян, снискал под его личиной благосклонность некоей знатной дамы, чересчур добродетельной, чтобы отказать в чем-либо богам? Берегись, Понтий, как бы безликий иудейский Юпитер в один прекрасный день не высадился в Остии!

При мысли, что какой-либо бог может явиться из Иудеи, легкая улыбка скользнула по лицу сурового прокуратора. Затем он сказал серьезно:

— Как могут иудеи навязать свое вероучение другим народам, когда они сами грызутся между собою из-за его толкования? Ты был свидетелем того, Ламия, как последователи двадцати враждующих сект, собравшись на городских площадях со свитками в руках, поносили друг друга, вцепившись в бороды? Ты был свидетелем того, как в притворе храма, обступив какого-то несчастного, который пророчествовал в состоянии исступления, они в знак печали раздирали на себе жалкие одежды? Для них недоступны диалектические споры без распри, от всей чистоты души, о божественных вещах, пусть и окутанных туманом и исполненных неопределенности. Ибо природа бессмертных — за пределами нашего сознания, и мы не в состоянии постигнуть ее сущность. Иной раз я склонен думать, что мудро верить в божественное провидение. Но иудеи чужды философии и нетерпимы к инакомыслящим. Напротив, они считают достойным смертной казни всякого, кто открыто исповедует верования, противные их закону. А с того времени, как они подпали под власть Рима и смертные приговоры, выносимые их судилищем, стали вступать в силу лишь после утверждения проконсулом или прокуратором, они вечно докучали римским правителям просьбами одобрить их зловещие решения; они с воплями осаждали преторию, требуя казни осужденного. Сто раз толпы иудеев, богатых и бедных, со священниками во главе, обступали мое кресло из слоновой кости и, цепляясь за полы моей тоги и за ремни сандалий, с пеной у рта взывали ко мне, требуя казни какого-нибудь несчастного, за которым я не находил никакой вины и который был в моих глазах таким же безумцем, как и его обвинители. Что я говорю, сто раз! Так бывало ежедневно, ежечасно. И однако ж я был вынужден исполнять их законы, как наши собственные, ибо Рим вменял мне в обязанность не нарушать, а поддерживать их обычаи, держа в одной руке судейский жезл, а в другой секиру. Вначале я пробовал воздействовать на них; я пытался вырвать несчастную жертву из их рук. Но мое человеколюбие еще больше раздражало их. Словно ястребы, кружились они вокруг меня, хлопая крыльями, широко раскрыв клювы, и требовали свою добычу. Их священники писали Цезарю, что я попираю их законы, и эти жалобы, поддержанные Вителлием, навлекли на меня суровые порицания. Сколько раз мной овладевало желание послать в тартар, как говорят греки, и обвиняемых и обвинителей!

Не думай, Ламия, что я питаю бессильную злобу или старческую неприязнь к народу, который отнял у меня Рим и покой. Но я предвижу, что этот народ рано или поздно доведет нас до крайности. Не имея сил управлять им, мы вынуждены будем его уничтожить. Нет сомнения: настанет день, и этот непокорный народ, лелея в своем разгоряченном воображении мечту о бунте, даст волю гневу, перед которым озлобление нумидийцев и угрозы парфян покажутся детским своеобразием. Они в тиши вынашивают безрассудные надежды и помышляют о том, как бы низвергнуть наше могущество. И может ли быть иначе, раз этот народ, веря предсказанию какого-то оракула, ожидает пришествия некоего мессии, их соплеменника, который станет владыкой мира? С этим народом не справиться. Его надо

искоренить. Надо разрушить Иерусалим до основания. И как я ни стар, я все же надеюсь дожить до того дня, когда падут его стены, когда огонь пожрет его дома, когда жители его будут истреблены и на том месте, где высился храм, не останется камня на камне. То будет день моего отмщения.

Ламия постарался придать беседе более миролюбивый тон.

— Я вполне понимаю твое злопамятство и твои мрачные предчувствия, Понтий, — сказал он. — Конечно, те свойства характера иудеев, с которыми тебе пришлось столкнуться, не говорят в их пользу. Однако я, живя в Иерусалиме как сторонний наблюдатель и сблизившись с этим народом, встречал там людей, исполненных добродетели, но не удостоившихся твоего внимания. Я знал иудеев, которые своей кротостью, простотой нравов и чистым сердцем напоминали старца Эбалию, воспетого нашими поэтами. И ты сам, Понтий, не раз видел, как под палками твоих легионеров, не называя своего имени, умирали простые люди во славу того, что они почитали истиной. Такие люди не заслуживают нашего презрения. Я говорю так, ибо должно во всех случаях соблюдать беспристрастие и справедливость. Но, признаюсь, никогда иудеи не внушали мне особенного расположения. Зато иудеянки мне очень нравились. Я был тогда молод, и сирийские женщины приводили в смятение мои чувства. Их алые губы, влажные и блестящие в темноте глаза, их глубокий взгляд пронизывали меня до мозга костей. Их тело, набеленное и накрашенное, благоухающее нардом и миррой, умащенное благовониями, исполнено терпкой и тонкой прелести.

Понтий выслушивал эти хвалы с явным нетерпением.

— Я не из тех, что попадают в сети иудеек, — сказал он, — но раз ты навел меня на этот разговор, признаюсь тебе, Ламия, что я никогда не одобрял твоей невожатанности. Никогда ранее я не говорил тебе, что, соблазнив жену римского консула, ты поступил дурно, ибо ты и без того был жестоко наказан. У патрициев брак считается священным; это установление, на котором держится Рим. Что же касается связи с женами рабов и чужестранцев, в том нет ничего предосудительного, если в силу привычки такая связь не превращается в постыдную слабость. Позволь сказать, что уж слишком усердно ты поклонялся уличной Венере; и особенно я порицаю тебя, Ламия, за то, что ты не вступил в законный брак и не оставил Империи потомства, как то подобает всякому доброму гражданину.

Но изгнанник Тиберия не слушал старого сановника. Осушив кубок фалернского, он улыбался незримому образу.

После минутного молчания он заговорил почти шепотом, постепенно повышая голос:

— С какой истомой танцуют женщины Сирии! Я знал в Иерусалиме одну иудеянку^[268]; в какой-то трущобе, при мерцании коптящего светильника, она плясала на грязном ковре, время от времени ударяя в цимбалы высоко вскинутыми руками. Она танцевала, сладострастно изгибаясь, запрокинув голову, как бы изнемогая под тяжестью густых рыжих волос, с затуманенным взором, знойная и истомленная, готовая уступить. Она вызвала бы зависть самой Клеопатры. Я любил ее дикую пляску, ее немного хриплый, но все же нежный голос, исходивший от нее запах ладана, тот полусон, в котором она жила. Я следовал за ней всюду. Я сблизился с презренным миром солдат, уличных фокусников и мытарей, окружавших ее. Однажды она исчезла и больше не появлялась. Я долго искал ее во всех подозрительных переулках, в тавернах. Отвыкнуть от нее было труднее, нежели от греческого вина. Несколько месяцев спустя я случайно узнал, что она примкнула к кучке мужчин и женщин, которые следовали за молодым чудотворцем из Галилеи. Он называл себя Иисусом Назареем^[269] и впоследствии был распят за какое-то преступление. Понтий, ты не помнишь этого человека?

Понтий Пилат нахмурил брови и потер рукою лоб, пробегая мыслию минувшее. Немного

помолчав, он прошептал:

— Иисус? Назарей? Не помню.

Распростершись у входа в свою мрачную пещеру, отшельник Целестин провел в молитвах пасхальную ночь, ту святую ночь, когда трепещущие демоны ввергаются в преисподнюю. Тени еще окутывали землю, был тот час, когда во время оно ангел смерти витал над Египтом, и Целестин вдруг почувствовал неизъяснимую тревогу и беспокойство. Из чащи леса до него доносилось мяуканье диких кошек и скрипучие голоса жаб; объятый греховным мраком, он вдруг усомнился в том, что славное чудо некогда совершилось. Но едва забрезжил рассвет, радость вместе с зарею вселилась в его сердце; он постиг, что Христос воскрес, и воскликнул:

— Иисус восстал из гроба! Любовь победила смерть, аллилуйя! Он возносится в сиянии от подножья холма! Аллилуйя! Все сущее возродилось и очистилось. Мрак и зло рассеялись, благодать и свет снизошли на землю! Аллилуйя!

Жаворонок, пробудившись среди хлебов, ответил ему песней:

— Христос воскрес! Мне пригрезились гнезда и яйца, белые яйца в коричневых крапинках. Аллилуйя! Христос воскрес!

И отшельник Целестин покинул свою пещеру и направился в ближайшую часовню, дабы отпраздновать день святой пасхи.

Идя лесом, он увидел на полянке великолепный бук, из набухших почек которого уже выглядывали крошечные нежно-зеленые листочки; гирлянды из плюща и шерстяные повязки украшали его ветви, склонившиеся до самой земли; обетные дощечки, прикрепленные к раскидистому дереву, говорили о молодости и о любви; глиняные Эроты в развевающихся туниках, с распростертыми крыльями, покачивались на ветвях. При виде этого отшельник Целестин нахмурил седые брови.

«Это дерево фей, — сказал он себе, — здешние девушки украсили его по древнему обычаю своими приношениями. Жизнь моя проходит в борьбе с феями, — трудно себе представить, сколько хлопот доставляют мне эти создания. Они не решаются оказывать мне открытое сопротивление. Каждый год в пору жатвы я совершаю здесь особый обряд: освящаю дерево фей и читаю пред ним евангелие от Иоанна.

Это самое верное средство. Святая вода и евангелие от Иоанна обращают фей в бегство, и целую зиму об этих дамах ничего не слышно, но с наступлением весны они возвращаются, — и так из года в год.

Они совсем крохотные: в одном кусте боярышника их может поместиться целый рой. Своими чарами они околдовывают юношей и девушек.

Теперь, на склоне лет, зрение мое притупилось, и я не вижу фей. Они потешаются надо мною, водят меня за нос, смеются мне в лицо. Но когда мне было двадцать лет, я часто видел, как, взявшись за руки, в венках из полевых цветов, они при лунном свете водили на полянах хороводы. Царь небесный, создавший твердь и ниспославший благодать на землю, все сотворил ты премудростью своею! Но зачем создал ты языческие деревья и заколдованные источники? Зачем взрастил ты под орешником поющую мандрагору? Эти явления природы вводят молодых людей во грех и доставляют неисчислимые хлопоты отшельникам, которые подобно мне посвятили себя обращению всех живых существ в истинную веру. Если бы еще евангелия от Иоанна было достаточно, чтобы изгнать демонов! Но его не достаточно, и я,

право, не знаю, что мне делать!»

Когда благочестивый отшельник удалялся, вздыхая, дерево фей явственно прошелестело ему вслед:

— Целестин, Целестин, мои почки — это яйца, настоящие пасхальные яйца! Аллилуйя! Аллилуйя!

Целестин даже не оглянулся. Теперь он еле брел по узкой тропинке среди зарослей терновника, разрывавшего его одежду, как вдруг выскочивший из густого кустарника юноша преградил ему путь. Наготу юноши прикрывала звериная шкура, — он был больше похож на фавна, нежели на человека, нос у него был курносый, взгляд — пронизательный, выражение лица — веселое. Выющиеся волосы прикрывали рожки на упрямом лбу, улыбка обнажала его острые белые зубы; светлая раздвоенная борода украшала его подбородок. На груди золотился пушок. Юноша был строен и ловок; копытца его ног прятались в траве.

Целестин обладал теми познаниями, которые дает человеку созерцание бога, и потому он, сразу поняв, с кем имеет дело, хотел было сотворить крестное знамение. Но фавн, схватив его за руку, помешал ему сделать это чудодейственное движение.

— Добрый отшельник, — сказал он, — не изгоняй меня! Сегодня и для меня и для тебя великий праздник. Будь милосерд и не омрачай мне пасху! Если хочешь, пойдем вместе, и ты увидишь, что я совсем не злой.

По счастью, Целестин был весьма силен в Священном писании. Он сейчас же вспомнил, что спутниками блаженного Иеронима в пустыне были сатиры и кентавры, исповедовавшие истину.

— Фавн, прославь господа! — молвил он фавну. — Скажи: «Христос воскрес!»

— Христос воскрес! — повторил фавн. — И, как видишь, я этому рад.

Тропинка стала шире, и они шли теперь рядом. Озабоченный отшельник дорогой размышлял:

«Это вовсе не демон, коль скоро он изрек истину. Я хорошо сделал, что не огорчил его. Пример блаженного Иеронима не пропал для меня даром».

Обернувшись к своему козлоному спутнику, он спросил:

— Как твое имя?

— Меня зовут Амикус, — отвечал фавн. — Я живу в этом лесу, тут я и родился. Я пришел к тебе, отец мой, оттого, что лицо твое, обрамленное длинной белой бородою, показалось мне добродушным. Сдается мне, что отшельники — те же фавны, только отягощенные бременем лет. Когда я состарюсь, я буду похож на тебя.

— Христос воскрес! — провозгласил отшельник.

— Христос воскрес! — отозвался Амикус.

Беседуя таким образом, они взобрались на вершину холма, где стояла часовня, посвященная истинному богу. Часовня была маленькая, грубой постройки. Целестин воздвиг ее собственными руками из обломков храма Венеры. Внутри часовенки возвышался неструганый и ничем не прикрытый престол.

— Падем ниц, — сказал отшельник, — и воспоем хвалу богу, ибо Христос воскрес. А ты, кому неведом свет истины, пребудь коленопреклоненным, пока я не кончу службу.

Но фавн, приблизившись к отшельнику, погладил его бороду и сказал:

— Почтенный старец, ты мудрее меня, и тебе дано видеть незримое. Но я знаю леса и водоемы лучше тебя. Я принесу богу зеленые ветви и цветы. Мне ведомы откосы, где крес приоткрывает свои лиловые венчики, луга, где желтыми гроздьями распускается пустоцвет. По тонкому аромату я угадываю цветение дикой яблони. Белоснежные цветы уже венчают кусты терновника. Подожди меня, старец!

В три прыжка фавн скрылся в лесу; когда же он вернулся, Целестину показалось, что это движется куст боярышника. Амикус совсем исчез под своей благоуханной ношей. Он украсил гирляндами цветов грубый престол, усыпал его фиалками и торжественно произнес:

— Приношу эти цветы богу, создавшему их!

И пока Целестин совершал литургию, козлоногий, уставив рога свои в пол, прославлял солнце.

— Земля — огромное яйцо, которое оплодотворяется тобою, о солнце, о священное солнце! — восклицал он.

С тех пор Целестин и Амикус были неразлучны. Несмотря на все усилия, отшельнику так и не удалось втолковать получеловеку неизреченные тайны. Однако, видя, что заботами Амикуса часовня истинного бога всегда украшена гирляндами цветов и убрана лучше, нежели дерево фей, святой отец частенько говаривал: «И фавн трудится во славу Божию».

Поэтому он окрестил фавна.

На холме, где Целестин некогда воздвиг часовенку, которую Амикус украшал полевыми цветами, собирая их в горах, лесах и долинах рек, ныне возвышается церковь; корабль ее восходит к XI столетию, а паперть, в стиле Возрождения, восстановлена в царствование Генриха II. Церковь эта служит местом паломничества, и верующие стекаются сюда, дабы почтить блаженную память святых Амика и Целестина.

ЛЕГЕНДА О СВЯТЫХ ОЛИВЕРИИ И ЛИБЕРЕТТЕ

Мадемуазель Жанне Пукэ

Глава первая

Как святой Бертольд, сын Теодула, короля Шотландии, прибыл в Арденны, дабы обратить в христианство жителей страны Порсен

Арденнский лес тянулся в те времена до реки Эны и покрывал всю страну Порсен, где стоит теперь город Ретель. В ущельях водилось великое множество кабанов, гигантские олени вымершей ныне породы бродили в непроходимых чащах, волки сказочной силы рыскали зимою по опушке леса. Василиск и единорог находили себе убежище в этом лесу; обитал там и страшный дракон, истребленный позднее милостью божией по молитвам некоего святого отшельника. В ту пору таинства природы были открыты людям, и невидимое становилось видимым к вящей славе господней, а потому на полянках можно было встретить нимф, сатиров, кентавров и эгипанов.

Без сомнения, вся эта нечисть представлялась взору такой, какою она описана в языческих сказаниях. Однако следует помнить, что существа эти — бесы, о чем свидетельствуют их раздвоенные копыта. К несчастью, куда труднее распознать фей; с виду они — настоящие дамы, и подчас сходство это бывает так велико, что нужна вся мудрость отшельника, дабы не впасть в заблуждение. Феи — тоже демонические создания, и они во множестве жили в Арденнском лесу. Вот почему лес этот был полон тайн и ужасов.

Во времена Цезаря римляне посвятили его Диане, и жители страны Порсен поклонялись на берегу Эны идолу в образе женщины. Они приносили богине лепешки, молоко, мед и пели в ее честь гимны.

Бертольд, сын Теодула, короля Шотландии, крестившись, жил во дворце своего отца скорее как отшельник, чем как принц. Затворившись в своем покое, он проводил все дни в чтении молитв, в размышлении над Священным писанием и горел желанием подражать апостолам. Чудом проведая о мерзостях, творившихся в стране Порсен, он вознегодовал и решил искоренить зло.

Он переплыл море в ладье, без руля и ветрил, которую влек за собою лебедь. Благополучно достигнув страны Порсен, он начал обходить села, города, замки и всем приносил благую весть.

— Только тот бог, о котором я говорю вам, есть бог истинный, — утверждал Бертольд. — Он един в трех лицах, и сын его родился от девы.

Но эти грубые люди отвечали ему:

— Юный чужеземец! Верить, будто существует лишь один бог, это с твоей стороны недомыслие. Богам нет числа. Они обитают в лесах, горах и реках. Самые доброжелательные боги поселяются у очагов благочестивых людей. Другие обретаются в хлевах и конюшнях;

племя богов наполняет вселенную. Но то, что ты говоришь о божественной деве, недалеко от истины. Нам ведома дева с тройным ликом, и мы слагаем в ее честь гимны. Обращаясь к ней, мы говорим: «Привет тебе, кроткая! Привет тебе, грозная!» Она зовется Дианой, и при бледном свете луны ее серебряная стопа легко скользит по горным тропинкам, поросшим тимьяном. Она не гнушалась делить свое ложе из цветущих гиацинтов с такими же охотниками и пастухами, как мы. И, однако, она неизменно пребывает девой.

Так говорили эти невежественные люди. Они изгоняли апостола из своих сел и преследовали его насмешками.

Глава вторая

О встрече, которая произошла у святого Бертольда с двумя сестрами — Оливерией и Либереттой

Однажды усталый и удрученный Бертольд повстречал двух юных дев, которые, выйдя из ворот своего замка, направились в лес. Бертольд пошел было к ним навстречу, но затем, боясь испугать их, остановился в отдалении и сказал:

— Юные девы, внимайте: я — Бертольд, сын Теодула, короля Шотландии. Я презрел бренную корону, дабы оказаться достойным приять из рук ангелов венец нетленный. И в ладье, которую влек за собою лебедь, я прибыл к вам, чтобы принести благую весть.

— Сир Бертольд, — отвечала старшая девица, — меня зовут Оливерия, а мою сестру — Либеретта. Отец наш, Тьерри, которого называют также Порфиродим, — самый богатый сеньор в этой стране. Мы охотно выслушаем твои благие слова. Но ты, как видно, изнемогаешь от усталости. Дождись нас в доме нашего отца, который сейчас пьет сикеру в кругу друзей. Он, конечно, усадит тебя за стол, как только узнает, что ты шотландский принц. До свидания, сир Бертольд! Мы с сестрой идем собирать цветы в дар Диане.

Но апостол Бертольд сказал:

— Я не стану вкушать пищу за столом язычника. Диана же, которую вы почитаете небесной девой, на самом деле — исчадие ада. Истинный бог един в трех лицах, и сын его, Иисус Христос, вочеловечился и умер на кресте, дабы спасти род людской. Истинно говорю я вам, Оливерия и Либеретта: он пролил по капле своей крови за каждую из вас.

Он с таким жаром вещал им о святых тайнах, что сестры были тронуты до глубины души. Потом опять заговорила старшая.

— Сир Бертольд, — сказала она, — вы открываете нам неизреченные тайны. Но не всегда легко отличить истину от заблуждения. А ведь, поверив вам, мы можем утратить любовь Дианы. Так явите же нам какое-нибудь знамение, которое подтвердит правдивость ваших слов, и тогда мы уверуем в распятого Христа.

Но младшая сказала апостолу:

— Моя сестра Оливерия просит вас о знамении, ибо она осторожна и исполнена мудрости. Но если ваш бог истинен, сир Бертольд, то да будет мне дано уверовать и возлюбить его без всякого знамения!

Божий человек понял по этим словам, что Либеретта рождена для того, чтобы стать

великой святой. Вот почему он ответил:

— Сестры Либеретта и Оливерия, я положил укрыться в этом лесу и вести жизнь пустынника, жизнь прекрасную и необыкновенную. Я поселюсь в хижине, сплетенной из ветвей, и буду питаться кореньями. Я неустанно буду молить бога спасти души людей этой страны, я стану освящать источники, чтобы феи не могли больше селиться в них на погибель грешникам. А сестра моя Оливерия получит знамение, коего взыскует. Некий посланец господень проводит вас обеих в мою пустынь, дабы я мог обратить вас в христианскую веру.

Сказавши это, святой Бертольд благословил сестер возложением рук. Затем он углубился в лес с тем, чтобы никогда больше оттуда не выходить.

Глава третья

Кан единорог пришел в дом Тьерри, иначе называемого Порфиродимом, и привел пред очи святого Бертольта сестер Оливерию и Либеретту, и о различных чудесах, которые отсюда воспоследовали

Однажды, когда Оливерия, сидя в одиночестве, пряла шерсть возле очага, она увидела, что к ней приближается белоснежное животное с телом козла и лошадиной головой, со сверкающим мечом на лбу. Оливерия сразу поняла, что это за животное, но так как она сохранила невинность, то не была испугана его появлением, ибо ей было ведомо, что единорог не причиняет зла благонравным девицам. В самом деле, единорог кротко положил голову на колени Оливерии. Затем, повернувшись к дверям, животное взглядом предложило девушке следовать за ним.

Оливерия тотчас позвала сестру, но когда та вошла в комнату, единорог исчез, и таким образом желание Либеретты исполнилось: она познала истинного бога без помощи какого-либо знамения.

Сестры пошли в лес, а единорог, вновь став видимым, шествовал впереди. Дорогу им указывали следы диких зверей. И было так: углубившись в чащу леса, они увидели, что животное вплавь перебирается через поток. Подойдя к берегу, сестры обнаружили, что поток этот широк и глубок. Они склонились над водой в надежде найти камни, по которым можно было бы перебраться через стремнину, но камней не было. Ухватившись за ветви прибрежной ивы, девицы все еще созерцали пенные воды, как вдруг дерево наклонилось и без труда перенесло их на противоположный берег.

Так достигли они пустыни и там сподобились услышать от святого Бертольда животворящее слово. На обратном пути ива, распрямившись, вновь перенесла их через поток.

Каждодневно представляли сестры пред очи святого человека, а по возвращении домой обнаруживали, что невидимая рука превращала в пряжу весь лен, оставшийся на их веретенах. Вот почему обе они приняли крещение и уверовали в Иисуса Христа.

Уже больше года сестры руководствовались наставлениями святого Бертольда, как вдруг отец их Тьерри, которого называли также Порфиродим, тяжело занемог. Чувствуя, что конец его близок, дочери обратили отца в христианскую веру. Он постиг истину. И кончина его была благодатна. Тьерри был погребен неподалеку от своего земного обиталища, у

возвышенности, именуемой Горою Гиганта, и могила его стала впоследствии местом поклонения в стране Порсен.

Сестры по-прежнему ежедневно являлись пред очи святого Бертольда и внимали животворящим словам, слетавшим с его уст. Но однажды во время таяния снегов уровень воды в реках сильно поднялся, и Оливерия, проходя виноградниками, захватила с собой жердь для переправы через поток, вздувшиеся воды которого стремительно неслись вперед.

Либеретта, презирая всякую земную помощь, не последовала примеру сестры. Она первая с пустыми руками приблизилась к потоку и лишь осенила себя крестным знаменiem. И, как всегда, ива склонилась пред нею. Затем дерево распрямилось, и когда Оливерия хотела в свою очередь перебраться на другой берег, ива не наклонила своих ветвей. А течение сломало жердь, точно соломинку, и умчало ее. Оливерия осталась на берегу. Будучи девушкой мудрой, она поняла, что наказана поделом, ибо усомнилась в могуществе неба и в противоположность сестре своей Либеретте не поручила себя милости божьей. Теперь Оливерия думала лишь о том, как заслужить прощение, каялась и постилась. Решив, по примеру святого Бертольда, вести отшельническую жизнь, жизнь прекрасную и необыкновенную, она построила себе в лесу по эту сторону потока, возле источника, позднее названного «Источником святой Оливии», хижину из ветвей.

Глава четвертая

Как святой Бертольд и святые Либеретта и Оливерия удостоились блаженной кончины

Меж тем Либеретта, придя к блаженному Бертольду, застала его в молитвенной позе, но он был мертв. Тело святого, изнуренное долгим постом, распространяло вокруг дивное благоухание. Она похоронила его. И с этого дня девица Либеретта ушла от мира и, поселившись в хижине по ту сторону потока, возле источника, который получил впоследствии название «Родника святой Либеретты», или Либерии, стала вести отшельническую жизнь; целебная вода этого источника излечивает лихорадку, равно как и различные болезни домашнего скота.

Сестры никогда больше не встречались в здешнем мире. По предстательству блаженного Бертольда, господь бог послал из страны ломбардов в Арденны диакона Вульфая, или Вальфруа, и тот низверг идола Дианы и обратил в христианство жителей страны Порсен. И тогда Оливерия и Либеретта преисполнились радости.

Вскоре после этого господь призвал к себе верную свою рабу Либеретту; он послал единорога, чтобы вырыть могилу и предать земле тело святой. Оливерии чудесным образом открылась блаженная кончина ее сестры Либеретты, и некий голос возвестил ей:

— Из-за того, что ты ждала знамения, чтобы уверовать, и взяла палку для опоры, час твоей блаженной кончины отсрочен и день твоего возвеличения отдален.

И Оливерия ответила:

— Да будет воля твоя на земле, как и на небесах!

Она прожила еще десять лет в ожидании вечного блаженства, и оно наступило для нее 9 октября 364 года после рождества Христова.

СВЯТАЯ ЕВФРОСИНИЯ

Гастону Арману де Кайаве

Житие святой Евфросинии Александрийской, в монашестве брата Смарагда, как оно было изложено диаконом Георгием, спасавшимся в лавре на горе Афон.

Евфросиния была единственной дочерью богатого александрийского гражданина по имени Ромул, который постарался обучить ее музыке, танцам и арифметике; поэтому, едва выйдя из детского возраста, она уже выказывала ум тонкий и тщательно отшлифованный. Ей не было еще одиннадцати лет, когда александрийские власти объявили жителям, что тому, кто даст точный ответ на три предложенных вопроса, будет в качестве приза вручен золотой кубок.

«Первый вопрос. Я — черное дитя светоносного отца; птица без крыльев, я устремляюсь к облакам. Я наполняю слезами глаза всех, кого встречаю, если даже им и не о чем горевать. Едва родившись, я исчезаю в небе. Друг, назови мое имя.

Второй вопрос. Я рождаю собственную мать, родившую меня самого, и бываю то длиннее, то короче. Друг, назови мое имя.

Третий вопрос. Антипатр владеет тем, чем владеет Никомед, и третьей частью того, что есть у Фемистиуса. Никомед имеет столько же, сколько Фемистиус, и треть того, что есть у Антипатра. У Фемистия — десять мин и треть того, что есть у Никомеда. Какой суммой располагает каждый?»

И вот в день, назначенный для состязания, несколько юношей предстали перед судьями в надежде завоевать золотой кубок, но ни один из них не дал точного ответа. Председательствующий уже готов был закончить состязание, как вдруг юная Евфросиния приблизилась к судьям и попросила, чтобы ее выслушали. Всех восхитили скромность девочки и ее милая застенчивость, от которой щеки ее слегка порозовели.

— Достославные судьи! — сказала она, опустив глаза. — Воздав хвалу господу нашему Иисусу Христу, в ком начало и конец всякого знания, я отважусь ответить на вопросы, поставленные вами, о мудрые! И начну я с первого. Черное дитя — это дым; он рождается от огня, возносится ввысь, и едкость его наполняет глаза слезами. Вот решение первой загадки.

Теперь я отвечу на второй вопрос. Рождает собственную мать, родившую его самого, — день, и бывает он то длиннее, то короче, смотря по времени года. Вот решение второй загадки.

Я отвечу и на третий вопрос. У Антипатра — сорок пять мин; у Никомеда — тридцать семь с половиной; у Фемистия — двадцать две с половиной. Вот решение третьей загадки.

Судьи, восхищенные точностью этих ответов, присудили приз юной Евфросинии. И тогда старейший из них встал, протянул девочке золотой кубок и украсил ей чело короной из папируса, дабы прославить тонкость ее ума. И девицу, при огромном стечении народа, под звуки флейт проводили в отчий дом.

Но так как она была христианка и отличалась редким благочестием, то не только не возгордилась этими почестями, а, напротив, постигла их тщету и дала обет приложить в будущем проницательность своего ума к решению задач, более достойных внимания: например, вычислить сумму цифр, составляемых буквами, входящими в имя Иисуса, и рассмотреть чудесные свойства этих чисел.

Между тем Евфросиния подрастала и с каждым днем становилась все более мудрой и прекрасной, и многие молодые люди искали ее руки. Одним из них был граф Лонгин, обладатель огромного богатства. Ромул благосклонно относился к этому претенденту, рассчитывая, что, породнившись с таким могущественным человеком, он поправит свои дела, пришедшие в расстройство вследствие чрезмерной роскоши его дворца, утвари и садов. Ромул, принадлежавший к числу наиболее блистательных жителей Александрии, потратил внушительные суммы на то, чтобы собрать в просторном сводчатом зале своего дома самые удивительные механизмы: среди них был шар, сверкавший, точно сапфир; на его поверхности при помощи драгоценных камней были точно нанесены все небесные созвездия. Еще в этом зале привлекал внимание фонтан Герона, который выбрасывал благоуханные струи, а также два зеркала, столь искусно изготовленные, что каждого, кто в них гляделся, они превращали либо в тощего верзилу, либо в тучного коротышку. Но самым чудесным из всего, что там находилось, был куст боярышника, весь усеянный птицами: благодаря хитроумному устройству они пели и хлопали крыльями, словно живые. Ромул потратил остаток своего состояния, чтобы приобрести все эти диковинные механизмы, ибо он был человеком любознательным. Вот почему он благосклонно принимал графа Лонгина, владевшего несметными богатствами. Он изо всех сил торопил заключение брака, от которого ждал счастья для своей дочери и спокойной старости для себя. Но всякий раз, когда он расхваливал Евфросинию достоинства графа Лонгина, та отвращала свой взор и ничего не говорила в ответ. Однажды он сказал ей:

— Разве ты не согласна со мной, дочь моя, что граф — самый прекрасный, самый богатый и самый благородный из жителей Александрии?

Мудрая Евфросиния ответила так:

— Я вполне с этим согласна, отец мой. Я в самом деле полагаю, что граф Лонгин превосходит благородством, богатством и красотой всех жителей нашего города. Вот почему, если уж я отвергаю его как супруга, то вряд ли кто-либо другой сумеет добиться того, чего не сумел добиться граф, а именно склонить меня отказаться от принятого мною решения посвятить свою девственность Иисусу Христу.

Услышав такие речи, Ромул разгневался и поклялся, что сумеет принудить Евфросинию выйти замуж за графа Лонгина; не прибегая к напрасным угрозам, он прибавил, что брак этот уже решен в глубине его сердца и незамедлительно совершится, а ежели отцовской власти окажется для этого недостаточно, то он присоединит к ней власть императора, божественная воля которого не потерпит, чтобы дочь ослушалась отца своего в таком деле, как брак патрицианки, ибо это затрагивает интересы общества и государства.

Евфросиния знала, что отец ее пользуется влиянием у императора, чья божественная особа пребывала в Константинополе. Она поняла, что спасти ее от гибели может только граф Лонгин. Вот почему она пригласила его в домашнюю часовню на тайную беседу.

Снедаемый любопытством, полный надежд, граф Лонгин отправился туда в одеянии, украшенном золотом и драгоценными камнями. Девица не заставила себя ждать. Но когда она предстала пред ним с распущенными волосами, закутанная в черное покрывало, словно просительница, он почувствовал в этом дурное предзнаменование, и дух его возмутился.

Евфросиния заговорила первая.

— Светлейший Лонгин, — молвила она, — если вы меня любите так, как говорите, то не пожелаете огорчить. А вы и на самом деле причините мне смертельную обиду, если введете в свой дом и для собственной утехи овладеете моим телом, которое я вручила вместе со своей душой господу нашему Иисусу Христу, в ком начало и конец всякой любви.

Но граф Лонгин сказал ей:

— Светлейшая Евфросиния, любовь сильнее, чем воля. Вот почему ей надлежит повиноваться, словно ревнивому владыке. Я исполню по отношению к вам то, что она мне предписывает, и сделаю вас своей женой.

— Подобаает ли человеку, хотя бы даже прославленному, посягать на Христову невесту?

— С этим вопросом я обращаюсь к епископам, но не к вам.

Такие речи повергли юную девицу в состояние сильнейшей тревоги. Она поняла, что не может рассчитывать на сострадание этого одержимого страстью человека и что епископам не дано будет проникнуть в тайну обетов, которые она дала пред лицом господа бога. И в порыве отчаяния она прибегла к уловке необычной, достойной скорее удивления, нежели подражания.

Приняв решение, она притворилась, будто уступает воле отца и настойчивым ухаживаниям своего поклонника. Она даже позволила назначить день брачной церемонии. Граф Лонгин уже приказал уложить в сундуки драгоценности и украшения, предназначенные для его будущей супруги. Он заказал для нее двенадцать платьев, на которых были вышиты сцены из Ветхого и Нового Завета, греческие мифы, истории из жизни животных; еще на них были вышиты изображения божественных особ императора и императрицы в окружении свиты, состоявшей из придворных кавалеров и дам. В одном из этих сундуков лежали книги по богословию и арифметике, написанные золотыми буквами на листах пергамента, выкрашенного в красный цвет; листы эти предохранялись от порчи пластинками из слоновой кости и золота.

Между тем, запершись у себя в комнате, Евфросиния проводила все дни в одиночестве. Она объясняла свое затворничество тем, что ей надлежит приготовить брачные одежды.

— Некоторые наряды должны быть скроены и сшиты мною, а не чужими руками, — говорила она.

И точно, с утра до вечера она не выпускала иглы из рук. Но то, над чем она втайне трудилась, не было ни фатою невесты, ни белым подвенечным платьем. То был грубый капюшон, короткая рубаха и панталоны, в которых обыкновенно работают молодые ремесленники. Трудясь, она все время молилась Иисусу Христу, в ком начало и конец всех деяний праведников. Вот почему она благополучно завершила свой тайный труд за неделю до того дня, на который было назначено свадебное торжество. После этого она весь день провела в молитве; затем простилась с отцом, который по обыкновению поцеловал ее на сон грядущий, и удалилась к себе в комнату; здесь она обрезала волосы, и они упали к ее ногам, словно мотки золотых нитей, надела короткую рубаху, стянула шерстяными шнурами панталоны у лодыжек, опустила на глаза капюшон и с наступлением ночи, воспользовавшись тем, что все кругом спали — и хозяева, и слуги, — бесшумно выскользнула из дому. Бодрствовал только пес, но, узнав хозяйку, он некоторое время молча следовал за нею, а затем вернулся в свою конуру.

Евфросиния быстро шла по безлюдному городу; время от времени до нее доносились крики пьяных матросов да тяжелый топот ночного дозора, преследовавшего воров. Господь хранил ее, и люди не причинили ей ни малейшей обиды. Пройдя городские ворота, она направилась в пустыню, мимо каналов, на поверхности которых плавали голубые цветы лотоса и папируса. С восходом солнца она достигла бедного селения ремесленников. Какой-

то старик, негромко напевая, строгал на пороге своего дома гроб из смоковницы. Когда она проходила мимо, он поднял свое курносое, заросшее волосами лицо и воскликнул:

— Клянусь Юпитером, вот юный Эрот, несущий своей матери горшочек с душистыми мазями! Как он красив и нежен! Он полон очарования! Лгут те, кто утверждает, будто боги покинули наш мир. Этот юноша — воистину молодой бог.

Мудрая Евфросиния поняла по этим речам, что старик был язычник; она преисполнилась жалости к его невежеству и помолилась богу, чтобы он спас его. Молитва ее была услышана. Старик этот, гробовщик по имени Пору, перешел впоследствии в христианскую веру и принял имя Филофея.

Наконец после целого дня пути Евфросиния достигла монастыря, где шестьсот монахов, руководимые настоятелем Онуфрием, строго соблюдали дивный устав святого Пахомия. Она попросила проводить ее к Онуфрию и сказала ему:

— Отец мой, я сирота, зовут меня Смарагд. Я прошу принять меня в лоно вашей святой обители, дабы я мог вкушать радость поста и покаяния.

Настоятель Онуфрий, которому было в ту пору сто шесть лет, молвил:

— Отрок Смарагд, благословенны стопы твои, ибо они привели тебя к дому сему; благословенны длани твои, ибо они постучались в дверь сию. Ты алчешь и жаждешь поста и воздержания. Войди же — и насытишься. Счастлив ты, сын мой, что в еще незапятнанных одеждах бежишь от века сего! Души мужчин подвержены страшному соблазну в городах, особенно в Александрии, и всё по вине женщин, которых там великое множество. Женщина таит такую опасность для мужчины, что еще и сейчас, стоит мне подумать о ней, дрожь пробегает по моему старому телу. Если бы хоть одна из них отважилась войти в сию святую обитель, длань моя внезапно обрела бы прежнюю силу, и я изгнал бы дерзкую мощными ударами своего пастырского посоха. Сын мой, нам надлежит непрестанно славить господя, ибо все сотворил он премудростию своею, но зачем создал он женщину — это остается великой тайной божественного промысла. Живи же с нами, отрок Смарагд! Сам бог привел тебя сюда.

Будучи таким образом принята в число чад святого старца Онуфрия, Евфросиния облачилась в монашеские одежды.

У себя в келье она воздала хвалу богу и радовалась успеху своего благочестивого обмана при мысли о том, что отец и жених непременно станут искать ее во всех женских монастырях с тем, чтобы по приказу императора возвратить домой, но что им никогда не обнаружить ее в этом прибежище, где сам Иисус Христос с любовью укрыл ее.

В продолжение трех лет она вела примерную жизнь, и добродетели отрока Смарагда наполняли благоуханием монастырь. Вот почему настоятель Онуфрий доверил Смарагду обязанности остиария, то есть привратника, — он полагал, что юный черноризец достаточно мудр, чтобы оказывать посторонним подобающий прием, в особенности же чтобы изгонять женщин, буде те попытаются проникнуть в обитель. «Ибо, — говорил святой старец, — женщина существо нечистое, и самый след ее ног — греховная скверна».

Смарагд уже пять лет исполнял обязанности привратника, и вот однажды некий чужестранец постучался в ворота монастыря. То был совсем еще молодой человек, одетый в роскошное платье и сохранявший остатки величия во всем своем облике, но бледный, изможденный, с горящим взором, в котором угадывалась глубокая печаль.

— Отец привратник, — сказал он, — проводи меня к настоятелю Онуфрию, дабы он исцелил меня, ибо я во власти смертельного недуга.

Смарагд предложил чужеземцу сесть и сообщил ему, что аббат Онуфрий, достигнув ста четырнадцати лет, в предвидении своей близкой кончины отправился в пещеры святых

отшельников Амона и Орсица.

При этом посетитель упал на скамью и закрыл лицо руками.

— Значит, у меня нет больше надежды на исцеление, — прошептал он.

И, подняв голову, прибавил:

— Любовь к женщине привела меня в столь жалкое состояние.

Тут только узнала Евфросиния графа Лонгина и со страхом подумала, как бы и он не узнал ее. Но, видя его скорбь и томление духа, она тотчас же успокоилась и исполнилась жалости.

После долгого молчания граф Лонгин воскликнул:

— Я хочу стать монахом, иначе я впаду в полное отчаяние!

И тут он поведал привратнику о своей любви, о том, как его невеста Евфросиния внезапно исчезла, а он вот уже восемь лет безуспешно ищет ее, о том, как любовь и горе сожгли и иссушили его душу.

Выслушав его, Евфросиния сказала с ангельской кротостью:

— Девица, потерю которой вы оплакиваете, право, не заслуживает такой любви. Вы себя уверили, что у нее какая-то особенная, дивная красота; на самом деле она греховна и достойна презрения. Красота эта тленна, и то, что от нее сохранилось, не заслуживает сожаления. Вы думаете, что жить не можете без Евфросинии, а доведись вам ее встретить, вы ее, пожалуй, даже не узнаете.

Граф Лонгин ничего не ответил, но слова эти или, быть может, звук голоса, произнесшего их, возымели благотворное влияние на его душу. Он удалился несколько успокоенный и сказал, что еще вернется.

И он в самом деле вернулся. Желая принять иноческий чин, он попросил отца Онуфрия, чтобы тот отвел для него келью, обители же он принес в дар все свои несметные богатства. Евфросиния испытала при этом чувство огромного удовлетворения. А некоторое время спустя сердце ее преисполнилось еще большей радости.

Однажды какой-то нищий, чью наготу прикрывали грязные лохмотья, согнувшийся под тяжестью своей сумы, пришел просить подаяния у сострадательных монахов, и Евфросиния узнала в нем своего отца Ро-мула. Притворившись, что не подозревает, кто стоит пред нею, она усадила странника, омыла ему ноги и накормила его.

— Дитя божье, — сказал ей нищий, — я не всегда был таким жалким бродягой. Я владел огромными богатствами, и у меня была дочь несказанной красоты, мудрая и ученая; она разгадывала загадки, которые предлагались на публичных состязаниях, и однажды даже получила от городских властей корону из папируса. Я потерял дочь, потерял и все свое состояние. Меня терзает тоска по дочери, и мне жаль богатства. Особенно жаль мне куста с поющими птицами, необыкновенно искусно сделанного. А теперь нет у меня даже плаща, чтобы прикрыть свое тело. И все же я был бы утешен, если б мог перед смертью увидеть возлюбленную дочь мою.

Едва произнес он эти слова, как Евфросиния бросилась к его ногам и, плача, воскликнула:

— Отец мой, я — твоя дочь Евфросиния, убежавшая ночью из дому так неслышно, что даже собака не залаяла. Прости меня, отец! Разве могла бы я совершить все это, не будь на то соизволение господа нашего Иисуса Христа?

Поведав старику, как она, переодевшись ремесленником, покинула родной кров и пришла в сию обитель, где все это время жила мирно и тихо, она показала ему знак на своей шее. И по этой примете Ро-мул признал свою дочь. Он нежно обнял Евфросинию и, преклонившись перед неисповедимыми путями господними, оросил ее чело слезами.

После этого он и сам решил сделаться монахом и остаться в обители святого Онуфрия. Он собственными руками построил себе келью из камыша рядом с кельей графа Лонгина. Они вместе распевали псалмы и возделывали землю. В часы отдыха они беседовали о суетности земной любви и всех земных благ. Но Ромул никогда никому не рассказывал о чудесной встрече со своей дочерью Евфросинией: пусть лучше, думал он, граф Лонгин и настоятель Онуфрий узнают об этом приключении в раю, когда промысел божий будет им открыт до конца. Лонгин и не подозревал, что его невеста обретается рядом с ним. Все трое прожили еще несколько лет, украшаясь всеми добродетелями, а затем по особой милости провидения почти одновременно в бозе почили. Граф Лонгин преставился первым, Ромул скончался спустя два месяца, а святая Евфросиния, после того как закрыла глаза отцу своему, была на той же неделе призвана на небеса Иисусом Христом, рекшим ей: «Гряди, голубица!» Досточтимый отец Онуфрий сошел в могилу на сто тридцать втором году жития своего: совершилось это в день святой пасхи, в 395 году по воплощении сына божьего. Да хранит нас святой архангел Михаил! На этом заканчивается житие святой Евфросинии. Аминь.

Сказание это записал диакон Георгий в лавре на горе Афонской, между VII и XIV веком христианской эры; должен заметить, что время его написания вызывает у меня большие сомнения. У меня есть все основания полагать, что оно никогда не было напечатано. Мне хотелось бы иметь столь же веские основания думать, что оно достойно печати. Я перевел его, в точности следуя подлиннику, и это, конечно, очень заметно: мой стиль приобрел византийскую чопорность, которую я сам с трудом выношу. Диакон Георгий рассказывал с меньшим изяществом, нежели Геродот и даже Плутарх, и на его примере видно, что времена упадка отличаются иногда гораздо меньшим очарованием и утонченностью, чем это представляется в наши дни. В доказательстве этого, быть может, и состоит главная заслуга моего труда. Он, без сомнения, вызовет ожесточенные нападки критики, и мне будут предложены трудные вопросы. Текст, которым я пользовался, всего лишь список, а не подлинник. Я даже не знаю, есть ли в нем пропуски. Я предвижу, что мне укажут на пробелы и позднейшие вставки. Г-ну Шлемберже^[271] покажутся подозрительными некоторые обороты, а г-н Альфред Рамбо^[272] оспорит эпизод со стариком Пору. Предупреждаю заранее: я располагал только одним текстом и должен был следовать ему. Текст этот находится в очень плохом состоянии, и он нелегко поддается прочтению. Однако надо иметь в виду, что все образцы классической древности, которые служат для читателей источником наслаждения, дошли до нас в таком же виде. Я больше чем уверен, что многое в тексте диаконова сказания я понял превратно, что в моем переводе тьма нелепостей. Быть может, он даже представляет собой сплошную нелепость. Если это не столь очевидно, как можно было опасаться, то единственно потому, что в самом темном тексте всегда заключен смысл для того, кто его переводит. Без этого ученость не имела бы права на существование. Я сличил изложение диакона Георгия с относящимися к жизни святой Евфросинии местами в сочинениях Руфина и блаженного Иеронима и должен сказать, что полного совпадения между ними нет. Вероятно, именно поэтому мой издатель и поместил этот ученый труд в неприятном сборнике рассказов.

В давние времена, а именно в IV веке христианской эры, юный Иньюриоз, единственный сын сенатора Оверни, попросил руки молодой девушки по имени Схоластика, единственной дочери другого сенатора, как именовали тогда представителей местной знати. Предложение его было принято. И по совершении брачного обряда Иньюриоз ввел супругу в свой дом, где она должна была разделить с ним ложе. Но она, печально отвернувшись к стене, горько заплакала.

— Скажи мне, о чем ты печалишься? — спросил он.

Она молчала. Тогда он снова обратился к ней:

— Именем Иисуса Христа, сына божьего, заклинаю тебя: объясни мне причину твоей скорби.

Тогда Схоластика, повернувшись к мужу лицом, сказала:

— Если я буду плакать всю жизнь, и то у меня не хватит слез, чтобы излить безграничную печаль, переполняющую мое сердце. Я дала обет сохранить в чистоте слабую плоть мою и принести свою девственность в дар Иисусу Христу. Горе мне, ибо он отступился от меня, и я не в силах исполнить заветное мое желание! Лучше бы мне не дожить до сегодняшнего дня! Разлученная с небесным супругом, сулившим мне в награду вечное блаженство, ныне стала я женою смертного, и чело мое, которое должны венчать нетленные розы, убрано, или, вернее сказать, осквернено розами, уже увядшими! Увы! Тело мое, которое пред лицом агнца должно было облечься в епитрахиль чистоты, несет на себе, как постылую ношу, брачные одежды. Зачем первый день моей жизни не стал моим последним днем? О, как бы я была счастлива переступить порог смерти, не успев вкусить ни единой капли материнского молока! Лучше бы нежные поцелуи моих кормилиц запечатлелись на крышке моего гроба! Когда ты простираешь ко мне руки, я вспоминаю о дланях, пронзенных гвоздями ради спасения рода человеческого.

И тут она горько заплакала.

Молодой человек отвечал ей с кротостью:

— Схоластика, оба мы происходим из богатых и знатных семей Оверни; ты — единственная дочь, я же — единственный сын. Наши родители пожелали соединить нас, дабы продолжить свой род, опасаясь, как бы после их смерти какой-нибудь чужеземец не унаследовал принадлежащих им богатств.

Но Схоластика ему на это сказала:

— Мир — тлен, и богатство — тлен, да и вся земная жизнь — тлен! Разве можно назвать жизнью ожидание смерти? Живет лишь тот, кто, пребывая в вечном блаженстве, упивается светом истины и вкушает небесную радость слияния с богом.

Тогда на Иньюриоза снизошла благодать, и он воскликнул:

— О сладостные, исполненные истины слова! Очам моим открылся свет вечной жизни. Схоластика, если ты желаешь сдержать свой обет, то и я, муж твой, сохраню целомудрие!

Почти утешенная и уже улыбаясь сквозь слезы, она промолвила:

— Иньюриоз! Мужчине нелегко принести подобную жертву. Но если мы проживем на земле непорочно, я разделю с тобою дар, обещанный мне супругом моим и владыкой Иисусом Христом.

При этих словах он осенил себя крестным знамением и воскликнул:

— Я поступлю так, как ты хочешь! И, взявшись за руки, они уснули.

Все последующие дни своей жизни они разделяли друг с другом ложе, соблюдая при этом совершенное целомудрие. После десятилетнего искуса Схоластика умерла.

По обычаям того времени, облаченная в праздничные одежды и с открытым лицом, она была перенесена в собор. За гробом шла толпа и пела псалмы.

Преклонив колена пред ее гробом, Иньюриоз сказал во всеуслышание:

— Господи Иисусе! Благодарю тебя за то, что ты даровал мне силу сохранить нетронутым твое сокровище!

При этих словах усопшая приподнялась на своем смертном ложе, улыбнулась и кротко прошептала:

— Друг мой, зачем ты говоришь то, о чем тебя не спрашивают?

И вновь погрузилась в вечный сон.

Иньюриоз вскоре последовал за Схоластикой. Его похоронили неподалеку от нее в соборе св. Аллира. В первую же ночь после погребения Иньюриоза чудесный розовый куст вырос над гробом его девственной супруги и покрыл обе могилы своими цветущими побегами. И наутро люди увидели, что могилы соединены одна с другой гирляндами роз. Усмотрев в этом знак святости блаженного Иньюриоза и блаженной Схоластики, священнослужители Оверни призвали верующих к поклонению сим гробницам. Но в этой провинции, жители которой были обращены в христианство святыми Аллиром и Непотьеном, встречались еще и язычники. Один из них, по имени Сильван, поклонялся источникам, где будто бы обитали нимфы, увешивал обетными табличками ветви старого дуба и хранил у своего очага глиняные фигурки, изображавшие солнце и богинь-Матерей. Наполовину скрытый листвой, бог садоводства покровительствовал его фруктовому саду. Сильван заполнял свой старческий досуг сочинением стихов. Он слагал эклоги и элегии, несколько тяжеловесные по стилю, но весьма замысловатые, и при всяком удобном случае вводил в них строки древних поэтов. Посетив вместе с толпой паломников усыпальницы супругов-христиан, старик восхитился розовым кустом, украсившим цветами обе могилы. Будучи по-своему благочестивым, он тоже усмотрел в этом небесное знамение, но приписал чудо языческим богам и проникся уверенностью, что розовый куст расцвел волей Эрота.

«Бедная Схоластика! — сказал он себе. — Ныне, став всего лишь бесплотной тенью, она сожалеет об утраченной поре любви и неизведанных утех. Розы, выросшие из ее праха и как бы говорящие от ее имени, напоминают нам: „Любите вы, живущие на земле!“ Это чудо учит нас вкушать радости жизни, пока есть время».

Так думал в простоте своей язычник Сильван. Он сочинил по этому поводу элегию, которую я совершенно случайно обнаружил в публичной библиотеке Тараскона на обороте титульного листа библии XI века, носящей пометку: «Из книг Мишеля Шаля, ФН, 7439, 17⁹-бис». Драгоценный листок, дотоле ускользавший от внимания ученых, насчитывает восемьдесят четыре строки и написан довольно разборчивой меровингской скорописью, которую следует отнести к VII веку. Текст начинается следующим стихом:

Nunc piget; et quaeris, quot non aut ista voluntas Tunc fuit...[\[273\]](#)

кончается так:

Я не премину опубликовать его полностью, как только мне удастся разобрать его до конца. Я не сомневаюсь, что г-н Леопольд Делиль^[275] возьмет на себя труд самолично представить этот бесценный документ в Академию надписей.

I

Во времена короля Людовика жил во Франции бедный жонглер; был он родом из Компьена, и звали его Барнабе; он переходил из города в город, показывая фокусы, требовавшие силы и ловкости.

В дни ярмарок Барнабе расстилал на людных площадях ветхий, истрепанный коврик и зазывал детей и зевак забавными прибаутками, — он перенял их у одного старого жонглера и ничего в них не изменил. Затем, приняв самую неестественную позу, он заставлял оловянную тарелку балансировать на своем носу.

Первое время толпа смотрела на него равнодушно.

Но когда, держась на руках вниз головой, он бросал в воздух и ловил ногами шесть медных шаров, блестящих на солнце, или, изогнувшись так, что затылок его касался пяток, придавал своему телу форму колеса и жонглировал в этом положении двенадцатью ножами, гул одобрения поднимался в толпе зрителей, и монеты градом сыпались на ковер.

Однако, как и большинство людей, живущих своим талантом, Барнабе из Компьена еле сводил концы с концами.

Добывая хлеб свой в поте лица своего, он терпел куда больше лишений, нежели положено терпеть человеку за грехи прародителя нашего Адама.

К тому же он не имел возможности трудиться столько, сколько ему хотелось. Чтобы выказывать свое замечательное умение, он нуждался в лучах солнца и свете дня подобно тому, как нуждаются в этом деревья, дабы цвести и плодоносить. Зимой же он походил на дерево, лишенное листвы и как бы засохшее. Мерзлая земля была сурова к жонглеру. И, словно стрекоза, о которой рассказывает Мария Французская^[277], он с наступлением ненастья страдал от холода и голода. Но в простоте душевной он все невзгоды сносил терпеливо.

Никогда не задумывался Барнабе ни над происхождением богатства, ни над неравенством в положении людей. Он твердо верил в то, что если здешний мир плох, то иной мир непременно должен быть хорошим, и надежда эта поддерживала его. Он не подражал тем богохульникам и безбожникам, которые продали душу дьяволу. Никогда не поносил он имя божье; он жил честно и, хотя своей жены у него не было, не желал жены ближнего своего, ибо женщина — враг мужей сильных, что доказывается историей Самсона, которая приведена в Писании^[278].

По правде говоря, он не был подвержен плотским вожделениям, и ему труднее было отказаться от стаканчика вина, чем от общения с женщиной, — будучи от природы воздержанным, он все же не прочь был в жаркую погоду промочить горло. Словом, то был человек добродетельный, богобоязненный и глубоко чтивший пресвятую Деву.

Входя в церковь, он никогда не упускал случая преклонить колена перед изображением богоматери и помолиться ей:

«Царица небесная, не оставь меня своей милостью, пока господу богу угодно, чтобы я жил на земле, а когда я умру, ниспошли мне райское блаженство».

II

Однажды вечером, после дождливого дня, когда Барнабе, печальный и согбенный, неся под мышкой свои шары и ножи, завернутые в ветхий коврик, брел в поисках какого-нибудь овина, где бы можно было, не ужиная, устроиться на ночлег, он заметил на дороге шедшего в том же направлении монаха и почтительно поклонился ему. И так как они пошли дальше вместе, то между ними завязалась беседа.

— Скажи, добрый человек: отчего ты одет с ног до головы в зеленое? — спросил монах. — Верно, тебе предстоит исполнить роль одержимого в какой-нибудь мистерии?

— Вовсе нет, отец мой, — отвечал Барнабе. — Просто-напросто я жонглер, а зовут меня Барнабе. И если бы мне удавалось каждый день есть досыта, я бы сказал, что лучше всего быть жонглером.

— Ты заблуждаешься, друг Барнабе, — возразил монах. — Лучше всего быть монахом. Монахи славословят господа, пречистую Деву и всех святых, жизнь инока — это неумолчная хвала богу.

— Отец мой, я сознаюсь в своем невежестве, — сказал Барнабе. — Мое звание не может сравниться с вашим, и хотя не так-то просто танцевать, удерживая на кончике носа палку, на которой балансирует монета, но все это меркнет пред вашими деяниями. Мне бы так хотелось подобно вам, отец мой, неустанно молиться, паче же всего — прославлять пресвятую Деву, которую я особенно чту! Я охотно отказался бы от искусства, благодаря которому приобрел известность более чем в шестистах городах и селениях, от Суасона до Бове, и пошел бы в монахи.

Простодушие жонглера тронуло чернеца, а так как он был довольно прозорлив, то угадал в Барнабе одного из тех людей доброй воли, о которых господь бог сказал: «Да пребудет с ними мир на земле!», и обратился к нему с такими словами:

— Друг Барнабе, пойдем со мной, я — настоятель одного из монастырей, и я приму тебя в свою обитель. Тот, кто указывал Марии Египетской дорогу в пустыне^[279], поставил меня на твоём пути, дабы направить тебя на стезю спасения.

Так Барнабе стал монахом. В монастыре, куда он был принят, иноки особенно ревностно поклонялись пресвятой Деве; каждый употреблял ей во славу все знание и умение, которое даровал ему господь.

Сам настоятель сочинял книги, в которых возвеличивал по всем правилам схоластической науки добродетели божьей матери.

Брат Маврикий искусной рукой переписывал эти трактаты на пергаменте. Брат Александр украшал их изящными миниатюрами. На них изображалась царица небесная, сидящая на троне Соломоновом, у подножья которого бодрствовали четыре льва; вокруг ее осиянной главы летали семь голубей, олицетворявших семь даров святого духа: страх божий, благочестие, знание, силу, просветление, разум и мудрость. Ее окружали шесть златокудрых дев: Смирение, Благоразумие, Уединение, Благоговение, Девственность и

Послушание.

У ног ее были изображены в молитвенных позах две обнаженные фигурки удивительной белизны. То были души, чаявшие ее всемогущего заступления, молившие, и, разумеется, не вотще, спасти их.

На другой странице брат Александр для сравнения с Марией изображал Еву, дабы одновременно можно было лицезреть грех и его искупление, униженную женщину и деву в молитвенном экстазе. На страницах той же книги можно было полюбоваться Источником живой воды, Родником, Лилией, Луной, Солнцем, Запертым вертоградом, о котором говорится в Песне Песней, Небесными вратами, Градом божьим, и все это были изображения пречистой Девы.

Брат Марбод тоже был одним из самых нежных детей Марии.

Он без устали высекал на камне ее изображения, поэтому борода, брови и волосы у него были белы от пыли, а воспаленные глаза постоянно слезились. Уже достигнув почтенного возраста, он все еще был полон сил и бодрости, — видимо, царица небесная покоила старость своего чада. Марбод изображал ее сидящей на престоле, вокруг ее чела сиял расшитый жемчугом венчик. Марбод заботливо прикрывал складками платья ноги той, о которой пророк сказал: «Словно запертый вертоград, возлюбленная моя».

Иногда он придавал ей облик прелестного ребенка; казалось, она говорила: «Господи, воистину ты бог мой!»

Dixi de ventre matris meae: Deus meus es tu.^[280]
(Псалом XXI, 11).

Были в монастыре и поэты, которые сочиняли на латинском языке изречения и гимны во славу присноблаженной девы Марии, а некий пикардиец перекладывал рассказы о чудесах богородицы на язык простонародья и воспевал их в стихах.

III

Наблюдая подобное соревнование в восхвалении пресвятой Девы и такое множество славных деяний, Барнабе ужасался своему невежеству и простоте.

— Увы! — говорил он сам с собой, гуляя в небольшом, лишенном тени монастырском садике. — Как я несчастен! Я не могу подобно братьям достойно прославить пресвятую богородицу, а между тем я люблю ее всем сердцем. Увы! Увы! Я человек простой, неискушенный, нет у меня для служения тебе, владычица, ни назидательных проповедей, ни трактатов, составленных по всем правилам, ни красивых картин, ни искусно высеченных статуй, ни разделенных на стопы складных стихов! Увы, нет у меня ничего!

Так он стenal и печалился. Однажды вечером монахи гуляли и беседовали меж собой, и тут он услышал о некоем иноке, который знал лишь одну молитву: «Богородица, дево, радуйся!» Все презирали его за невежество. Но после смерти инока из уст его выросло пять

роз по числу букв, составляющих имя Марии, и таким образом была возведена святость усопшего.

Выслушав этот рассказ, Барнабе еще раз подивился доброте пречистой Девы. Но блаженная кончина инока не утешила его, ибо сердце Барнабе было преисполнено рвения, и он жаждал потрудиться во славу царицы небесной.

Барнабе все искал для этого возможность, но не находил, и день ото дня все более и более сокрушался, как вдруг однажды утром он пробудился с радостным чувством, поспешил в часовню и оставался там в одиночестве долее часа. После обеда он опять пошел туда.

С тех пор он ежедневно отправлялся в часовню, когда там никого не было, и пребывал в ней большую часть времени, которое другие монахи посвящали вольным искусствам и ремеслам. Больше он уже не грустил и не сетовал.

Столь странное поведение возбудило любопытство монахов.

Братия недоумевала, почему Барнабе так часто уединяется.

Настоятель, чей долг состоит в том, чтобы все знать о своих монахах, решил последить за Барнабе во время его отлучек. И вот однажды, когда тот заперся по своему обыкновению в часовне, настоятель с двумя старцами направился туда и стал смотреть в дверную щель, что происходит внутри.

У алтаря святой девы Барнабе, держась на руках, вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами. В честь божьей матери он проделывал фокусы, за которые его когда-то особенно хвалили. Не поняв, что этот бесхитростный человек отдает пресвятой Деве все свое искусство и умение, старцы сочли это кощунством.

Настоятель знал, что Барнабе чист душою, но он решил, что у бывшего жонглера помутился разум. Все трое хотели было вывести его из часовни, как вдруг увидели, что пресвятая Дева сошла с амвона и вытирает полою своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера.

Тогда, распростершись на каменных плитах, настоятель возгласил:

— Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят!

— Аминь! — целуя землю, ответили старцы.

Господину Жану-Франсуа Бладэ из Ажана, «благочестивому летописцу», который собрал народные сказания Гаскони.

Вот что в один прекрасный летний вечер поведал мне ризничий церкви св. Евлалии в Невиль-д'Омоне, осушая в виноградной беседке «Белого коня» бутылку старого вина за здоровье усопшего, которого он утром, накрыв парчой, усеянной серебряными блестками, предал с подобающими почестями земле.

— Мой бедный отец, ныне уже покойный, — начал ризничий, — при жизни был могильщиком. Человек он был приятный — по всей вероятности, благодаря своему ремеслу: известно, что люди, работающие на кладбищах, отличаются веселостью нрава. Смерть их не пугает, они никогда о ней не думают. Я сам, сударь, иду ночью по кладбищу так же спокойно, как в беседку «Белого коня». А если мне случается встретить мертвеца, меня это нимало не волнует; я так полагаю: он идет по своим делам, а я — по своим. Привычки и повадки покойников мне хорошо известны. Я знаю про них такое, чего не знают и сами священники. И если б я рассказал вам все, что видел, вы бы диву дались. Но только не обо всем, что тебе известно, следует говорить. Отец мой любил вспоминать разные истории, но не открывал и двадцатой доля того, что знал. Зато он частенько повторял одно и то же и на моей памяти десятки раз пересказывал случай с Катриной Фонтен.

Катрина Фонтен была старая дева. Отец мой видел ее, когда был еще мальчиком. Я уверен, что в нашей округе кое-кто из стариков о ней слышал. Катрина Фонтен была из бедной семьи, но ее знали все, и молва о ней шла добрая. Жила Катрина на углу улицы Монахинь, в башенке, которую вы можете видеть и сейчас: она примыкает к старой, наполовину разрушенной гостинице, окна которой выходят в сад Урсулинок. На стенах этой башенки можно различить полустершиеся изображения и надписи. Покойный настоятель церкви святой Евлалии, господин Левассер, уверял, будто там написано по-латыни: *Любовь сильнее смерти*. «Разумеется, — добавлял он, — речь идет о любви божественной».

Катрина Фонтен жила одна в своей каморке. Она была кружевница. Вы знаете, что наши кружева некогда славились. Ни родных, ни друзей у нее не было. Говорили, будто восемнадцати лет она полюбила молодого кавалера д'Омон-Клери и была с ним тайно обручена. Но люди добродетельные не хотели этому верить и утверждали, что все это — сказка, которую придумали, потому что Катрина Фонтен походила скорее на даму, чем на работницу, потому что лицо ее, обрамленное седыми волосами, еще хранило следы редкой красоты, потому что у нее был грустный вид и потому что она всегда носила кольцо, на котором золотых дел мастер изобразил две руки, соединенные в крепком пожатии, — в старину такими кольцами обычно обменивались при помолвке. Сейчас вы узнаете, как обстояло дело.

Катрина Фонтен вела благочестивый образ жизни. Она часто посещала храм; каждое утро, в шесть часов, в любую погоду она ходила к обедне в церковь святой Евлалии.

Однажды, декабрьской ночью, когда она спала в своей комнатушке, ее разбудил звон колоколов; не сомневаясь, что звонят к ранней обедне, набожная девица оделась и вышла на улицу; ночь была так темна, что невозможно было различить даже соседние здания; на черном куполе неба не сверкала ни одна звездочка. Гробовая тишина царила среди этого мрака, не слышно было даже собачьего лая, и человек чувствовал себя отчужденным от

всего живого. Но Катрине Фонтен был знаком каждый камень, на который она ставила ногу, — она могла бы дойти до церкви с закрытыми глазами. И она без труда достигла перекрестка улицы Монахинь и Церковной улицы, где возвышается деревянное здание, увенчанное деревом Иессея, вырезанным на толстой балке. Поравнявшись с церковью, она увидела, что двери отворены и изнутри льется яркий свет восковых свечей. Пройдя паперть, она очутилась в тесной толпе, наполнявшей храм. Но она никого не узнавала; она с удивлением заметила, что все эти люди одеты в бархат и парчу, шляпы их украшены перьями, на боку у них, по старинной моде, привешены шпаги. Здесь было немало знатных господ, сжимавших в руках высокие трости с золотыми набалдашниками, и важных дам в кружевных чепцах, приколотых гребнем в виде диадемы. Кавалеры ордена святого Людовика держали под руку этих дам, прикрывавших веерами свои накрашенные лица, так что можно было различить лишь напудренный висок или мушку в углу глаза. Все усаживались в свои кресла без малейшего шума, а пока они шли, не слышно было ни стука шагов по плитам, ни шелеста одежды. Боковые места заполняло множество молодых ремесленников в коричневых куртках, канифасовых панталонах и синих чулках; они обнимали за талию юных девушек — очень хорошеньких, румяных, со скромно опущенными глазами. Возле кропильниц крестьянки в красных юбках и зашнурованных корсажах сидели прямо на полу в спокойной позе домашних животных, а молодые крестьяне, стоявшие позади них, таращили глаза на окружающих и вертели в руках шляпы. И на всех этих задумчивых лицах, казалось, запечатлелось одно и то же выражение — нежное и грустное. Преклонив колена на своем обычном месте, Катрина Фонтен увидела, что священник в сопровождении двух прислужников направляется к алтарю. Но она не узнала ни священника, ни причетников. Служба началась. То была служба безмолвная: не слышно было ни слов, слетавших с губ, ни позвякивания колокольчика, который беззвучно раскачивался. Катрина Фонтен почувствовала, что на нее пристально смотрит ее таинственный сосед; взглянув на него искоса, она узнала молодого кавалера д'Омон-Клери, который некогда любил ее и скончался сорок пять лет назад. Она догадалась, что это он, по маленькому шраму над левым ухом, а главное, по тени, которую его длинные черные ресницы отбрасывали на щеки. Она узнала красный, обшитый золотыми галунами охотничий камзол, что был на нем в тот день, когда, встретив ее в лесу Сен-Леонар, он попросил напиться и сорвал с ее губ поцелуй. Он сохранил всю свежесть молодости и здоровый, бодрый вид. Его улыбка все так же приоткрывала острые, как у волчонка, зубы. Катрина шепотом сказала ему:

— Монсеньер, вы были моим милым дружком, вам некогда отдала я самое драгоценное, что есть у девушки. Да почиет на вас благодать господня! Вселит ли когда-нибудь создатель в мое сердце сожаление о грехе, который я совершила с вами? По правде сказать, несмотря на седые волосы и близость смерти, я все же не раскаиваюсь в том, что любила вас. Однако, мой усопший друг, прекрасный мой повелитель, скажите мне, кто эти старомодно одетые люди, что стоят за этой безмолвной обедней?

Кавалер д'Омон-Клери ответил ей голосом более тихим, чем дыхание, и вместе с тем более чистым, чем звон хрусталя:

— Катрина, эти мужчины и женщины — души из чистилища: они оскорбили бога, впад подобно нам в грех плотской любви, но они не отринуты богом, ибо их грех, как и наш, был содеян не по злему умыслу. Разлученные с теми, кого они любили на земле, эти души искупают свои прегрешения в очистительном пламени; они болезненно переносят разлуку, — тяжелее страдания для них невозможно придумать. Они столь несчастны, что один из ангелов проникся жалостью к их любовной муке. С соизволения господня, он раз в год собирает ночью влюбленных в их приходской церкви, где им разрешено присутствовать на

обедне теней, держась за руки. Я поведал тебе истинную правду. Если же мне дано увидеть тебя здесь до твоей кончины, Катрина, то без воли божьей это свершиться не могло.

Катрина Фонтен отвечала ему так:

— О мой усопший повелитель! Я охотно согласилась бы умереть, чтобы вновь стать такой же красивой, как в тот день, когда дала вам напиток в лесу.

Пока они тихонько разговаривали между собой, дряхлый каноник собирал подаяния, протягивая молящимся большое медное блюдо, на которое те по очереди клали старинные монеты, давно уже утратившие хождение: экю в шесть ливров, флорины, дукаты, дукатоны, жакобусы, нобли с изображением розы — и деньги бесшумно падали на блюдо. Когда каноник поднес его кавалеру, тот положил луидор, зазвеневший не громче, чем прочие золотые и серебряные монеты.

Затем старый каноник остановился перед Катриной Фонтен; порывшись в карманах, она не нашла там даже медяка. Тогда она сняла с руки кольцо, подаренное ей кавалером перед смертью, и положила на медное блюдо. Золотое кольцо, упав, зазвенело, словно язык колокола, и, услышав этот звон, кавалер, каноник, священник, служки, дамы, их спутники — все, кто находился в церкви, — исчезли, свечи погасли, и Катрина Фонтен, окутанная мраком, осталась в полном одиночестве.

Закончив свое повествование, ризничий отхлебнул добрый глоток вина, на мгновение задумался, а потом заговорил снова:

— Я рассказал вам эту историю так, как постоянно рассказывал ее мой отец. И думается мне, что это не сказка, а быль, — она не противоречит моим собственным наблюдениям над обычаями и нравами покойников. Я еще в детстве много перевидал мертвецов и знаю, что они имеют обыкновение возвращаться к тому, что любили когда-то.

Вот почему умершие скупцы бродят по ночам возле спрятанных ими при жизни сокровищ. Они неусыпно сторожат свое золото. Однако хлопоты, которые они себе этим доставляют, не только не приносят им пользы, а, наоборот, приносят им несчастье: люди делают раскопки в местах, часто посещаемых призраком, и обнаруживают зарытые в земле деньги. Точно так же и покойные мужья являются по ночам мучить своих жен, вторично вышедших замуж. Я мог бы назвать нескольких человек, которые после смерти лучше охраняли своих супругов, нежели при жизни.

Такие люди достойны порицания — покойники не имеют права быть ревнивцами. Но я вам просто передаю то, что сам видел. Вот почему надо быть начеку, когда женишься на вдове. А история, которую я вам рассказал, подтверждается еще одним обстоятельством.

Наутро после той необыкновенной ночи Катрина Фонтен была найдена мертвой у себя в комнате. А привратник церкви святой Евлалии обнаружил на медном блюде для сбора пожертвований золотое кольцо с двумя сплетшимися в крепком пожатии руками. Да и не такой я человек, чтобы выдумывать истории для забавы. Не спросить ли нам еще бутылочку вина?..

У госпожи N., на бульваре Мальзерб, давали концерт и комедию.

В то время как молодые люди, стоя в пролетах дверей сплошной рамой вокруг цветника обнаженных плеч, задыхались в душной, пропитанной благоуханиями атмосфере, мы, старинные завсегдатаи дома, немного ворчуны, составили кружок в маленькой прохладной гостиной, откуда ничего не было видно и куда голос мадемуазель Режан доносился, как легкое жужжание стрекозы. Время от времени мы слышали взрывы смеха, рукоплескания и склонны были пожалеть несчастных, томившихся в таком пекле ради удовольствия, которое нас совсем не соблазняло. Мы говорили о том о сем. Как вдруг один из нас, депутат Б., заметил:

— А знаете, Вуд здесь!

Услышав эту новость, все заговорили разом:

— Вуд? Лесли Вуд? Возможно ли? Помилуйте, он уже лет десять не появляется в Париже! Кто знает, что с ним случилось?

— Говорят, он основал негритянскую республику на берегах Виктории-Ньянзы.

— Полноте! Да он баснословно богат и притом большой мастер творить чудеса! Он живет на Цейлоне в волшебном замке среди сказочных садов, где день и ночь пляшут баядерки!

— Неужели вы можете принимать всерьез весь этот вздор? Достоверно то, что Лесли Вуд с библией и карабином в руках отправился проповедовать евангелие зулусам.

Б. повторил вполголоса:

— Он здесь. Взгляните-ка лучше!

И он указал едва приметным движением головы и глаз на человека высокого роста, который, прислонившись к дверному косяку, внимательно следил за спектаклем через головы зрителей, теснившихся впереди него.

И верно, богатырское сложение, красное лицо с седыми бакенбардами, ясные глаза, спокойный взгляд — все говорило за то, что перед нами Лесли Вуд.

Вспомнив те блестящие статьи, которые он в течение десяти лет помещал в «World», я сказал господину Б.:

— Этот человек поистине первый журналист нашего времени.

— Пожалуй, вы правы, — отвечал Б. — По крайней мере лет двадцать назад, могу вас в том уверить, никто так хорошо не знал Европы, как Лесли Вуд.

Барон Моиз, слушавший нас, покачал головой.

— Вы не знаете Вуда. А я его знаю. Прежде всего он финансист. Он как никто был сведущ в делах. Почему вы смеетесь, княгиня?

Откинувшись на спинку кушетки, княгиня Зеворина, которой мучительно хотелось выкурить папиросу, иронически улыбнулась.

— Никто из вас не понимает Вуда, — сказала она. — Вуд всего лишь мистик и влюбленный.

— Не думаю этого, — возразил барон Моиз. — Но я хотел бы знать, где этот дьявол во образе человека провел десять лучших лет своей жизни.

— А что вы называете лучшими годами жизни?

— Возраст от пятидесяти до шестидесяти лет. К этому времени человек уже занимает известное положение и может позволить себе наслаждаться жизнью.

— Барон, а почему бы вам не отнестись с этим вопросом к самому Вуду? Вот, кстати, и он!

Загремели аплодисменты, возвещая, что представление окончено. Черные фраки, отделившись от дверей, рассеялись в гостиной, и, в то время как пары вереницей потянулись к буфету, Лесли Вуд подошел к нам.

Он пожал нам руки самым сердечным образом.

— Выходец с того света! Сущий выходец! — восклицал барон Моиз.

— О, я не мог вернуться издалека! Мир так мал! — ответил Вуд.

— А вы знаете, что про вас сказала княгиня? Вы, оказывается, мистик, дорогой Вуд! Неужели это правда?

— Все зависит от того, как понимать слово «мистик».

— Слово говорит само за себя. Мистик тот, кто занимается делами иного мира. Но вы чересчур сведущи в земных делах, чтобы заботиться еще о потусторонних!

При этих словах Вуд слегка нахмурил брови.

— Вы ошибаетесь, Моиз! Дела иного мира важнее наших дел, гораздо важнее, Моиз!

— Дорогой Лесли Вуд! — вскричал барон смеясь, — Да вы остроумец!

Княгиня чрезвычайно серьезно заметила:

— Вуд, скажите, что вы не остроумец! Я питаю страх перед остроумными людьми.

Она встала.

— Вуд, проводите меня в буфет.

Часом позже, когда г-жа Г. пленяла гостей своим пением, я застал Лесли Вуда и княгиню Зеворину одних в опустевшей столовой.

Княгиня говорила с каким-то иступленным восторгом о графе Толстом, который был ее другом. Она рисовала нам образ этого великого человека, который, приняв обличье мужика и постигнув его душу, совсем опростился и рукой, писавшей бессмертные произведения, тачал сапоги для бедняков.

К моему великому удивлению, Вуд одобрил образ жизни, столь противоречащий здравому смыслу. Голосом немного задыхающимся, которому астма придавала какую-то особенную мягкость, он ответил княгине:

— Да, Толстой прав. Вся философия заключена в словах: «Да будет воля твоя!» Он понял, что все зло на земле происходит потому, что воля человеческая не согласуется с волей божьей. Я страшусь только одного: как бы он не испортил прекрасной доктрины фантазерством и чудачеством.

— О нет, — возразила княгиня, понижая голос и, видимо, колеблясь, — учение графа можно счесть чудачеством лишь в одном отношении. Оно заповедует исполнять супружеские обязанности до самого преклонного возраста и предписывает нынешним святым плодовитую старость патриархов.

Старый Вуд отвечал, едва сдерживая волнение:

— Ну, что ж, предписание мудрое, святое предписание! Любовь плотская и естественная свойственна всем живым тварям. И если это чувство не омрачено смятением и душевным беспокойством, оно является источником той совершенной, той божественной и животной простоты, без которой нет спасения. Аскетизм — это дух гордости и бунтарства. Возьмем хотя бы пример ветхозаветного Вооза^[281] и вспомним, что библия называет любовь хлебом старцев.

И он весь просветлел, преобразился, пришел в экстаз, призывая взглядами, жестами, всем

своим существом чей-то незримый образ.

— Анни! — шептал он. — Анни! Анни, моя возлюбленная, не правда ли, господь хочет, чтобы его святые любили друг друга во смиренномудрии бессловесной твари?

И, обессилев, он опустил в кресло. Тяжкие вздохи вздымали его богатырскую грудь, и вся его могучая фигура казалась в эту минуту еще более мощной: так исполинские машины принимают особенно грозный вид, когда они сломаны. Княгиня Зеворина, не выказывая ни малейшего удивления, отерла ему лоб своим платком и уговорила выпить стакан воды.

Что касается меня, то я был поражен. Я не мог признать в этом безумце человека светлого ума, с которым мы столько раз беседовали в его кабинете, заставленном «Blue-Books»^[282] и рассуждали о делах Востока, о франкфуртском договоре и кризисах наших финансовых рынков. Я не скрыл своего замешательства от княгини, и она сказала мне, пожимая плечами:

— Вы истинный француз! Для вас безумен всякий, кто мыслит по-иному, нежели вы. Успокойтесь: наш друг Вуд в здравом уме, вполне здравом! Пойдемте послушаем певицу!

Проводив княгиню в залу, я собирался уйти. В прихожей я застал Вуда, который надевал пальто. Казалось, он вполне оправился после припадка.

— Дорогой друг, — сказал он, — помнится, мы с вами соседи. Вы живете по-прежнему на набережной Малакэ, не так ли? А я остановился в гостинице на улице Святых отцов. Пройтись пешком в такую сухую погоду одно удовольствие. Если позволите, мы выйдем вместе и дорогой побеседуем.

Я охотно согласился. В подъезде он предложил мне сигару и протянул электрическую зажигалку.

— Чрезвычайно удобная вещь, — сказал он.

И подробно объяснил мне ее устройство.

Я узнавал Вуда прежних дней. Обмениваясь беглыми замечаниями, мы прошли шагов сто. Вдруг мой спутник мягко положил руку мне на плечо:

— Дорогой друг, в словах, сказанных мною нынче вечером, кое-что должно было вас удивить. Если позволите, я вам объясню.

— Любопытство мое сильно возбуждено, дорогой Вуд!

— С охотою удовлетворю ваше любопытство. Я питаю уважение к вашему уму. Мы по-разному смотрим на жизнь. Но несходство убеждений вас не пугает, и это делает честь вашему мужеству. Качество довольно редкое, особенно во Франции!

— Все же я думаю, дорогой Вуд, что свобода мысли...

— О нет! Вы, французы, не теологи, как англичане. Но оставим это. Я расскажу вам в кратких словах историю моего мирозерцания. Когда мы с вами встречались, пятнадцать лет тому назад, я был корреспондентом лондонского «World». Пресса играет у нас более значительную роль и является более доходным делом, чем у вас. Я занимал хорошее положение и извлекал из него всяческие выгоды. Я преуспевал в делах и через несколько лет достиг двух завидных благ: влияния и богатства. Как вам известно, я человек практический.

Я никогда не действовал бесцельно. И в особенности я стремился познать высшую цель — цель человеческой жизни. Занятия богословием, к которым я чувствовал склонность еще с юности, указали мне, что эта цель лежит вне земного существования. Но я колебался в выборе пути к ее достижению. Я жестоко страдал. Неуверенность невыносима для человека моего склада.

Такое душевное состояние побудило меня чрезвычайно внимательно отнестись к исследованиям в области особой психической силы человека, предпринятым Вильямом Круксом^[283], одним из выдающихся членов королевской Академии. Я знал его лично, и он по

праву заслуживал уважения как ученый и джентльмен. В то время он производил опыты над одной молодой особой, одаренной необыкновенными психическими качествами; и, как некогда Саула, его почтил своим появлением настоящий призрак^[284].

Прелестная женщина, которая некогда жила нашей жизнью, а к тому времени уже обитала в загробном мире, предоставляла себя в распоряжение знаменитого спиритуалиста и подчинялась его требованиям в границах, допускаемых благопристойностью. Я думал, что исследования, поставленные на той грани, где земное существование соприкасается с существованием потусторонним, приведут меня, если я буду следовать им шаг за шагом, к познанию тайны, короче говоря — истинной цели жизни. Но вскоре надежды мои оказались обмануты. Хотя опыты моего почтенного друга и производились с большой точностью, они не давали основания для достаточно ясных заключений теологического и морального характера.

Притом Вильям Крукс неожиданно лишился драгоценного содействия покойной дамы, которая столь любезно принимала участие во многих его спиритических сеансах.

Обескураженный недоверием общества и оскорбленный насмешками своих собратий, он перестал опубликовывать материалы, относящиеся к познанию психических сил человека. Я посетовал на свою неудачу его преподобию отцу Бартоджу, с которым находился в сношениях с тех пор, как он возвратился из южной Африки, где проповедовал евангелие, действуя в религиозном и вместе с тем практическом духе, достойном старой Англии.

Его преподобие отец Бартодж имел на меня влияние столь сильное и непрерываемое, какого мне еще не доводилось испытывать на себе.

— Что ж, он очень умен? — спросил я.

— Он великий знаток учения отцов Церкви, — отвечал Лесли Вуд. — Притом он человек сильной воли, а, как вы знаете, дорогой друг, волевые люди неотразимо действуют на окружающих. Мои обманутые надежды отнюдь не удивили его. Он приписал постигшую меня неудачу порочности метода и в особенности плачевной слабости моего нравственного начала, сказавшейся в данном случае.

«Поиски истины путем научных изысканий, — сказал он, — приводят лишь к открытиям, не выходящим за пределы самой науки. Как же вы этого не поняли? Вы поступили легкомысленно и опрометчиво, Лесли Вуд! „Дух свидетельствует духу“, — говорит апостол Павел. Чтобы познать истины духовные, надобно вступить на путь духовный».

Слова его произвели на меня глубокое впечатление.

— Ваше преподобие, — сказал я, — как же мне вступить на путь духовный?

— Будьте нищи и смиренны! — отвечал отец Бартодж. — Продайте ваше имущество и раздайте деньги бедным. У вас громкое имя. Скройтесь! Молитесь, творите дела милосердия. Да будет дух ваш смирен, душа чиста, и вы обрящете истину!

Я решил точно последовать его наставлениям. Я сложил с себя обязанности корреспондента «World». Я реализовал свое состояние, большая часть которого была вложена в различные предприятия, и, боясь повторить проступок Анания и Сапфиры^[285], провел эту трудную операцию таким образом, что не потерял ни сантима из капитала, который мне более не принадлежал. Барон Моиз, будучи осведомлен о моих делах, проникся чуть ли не религиозным благоговением к моим финансовым талантам. По повелению его преподобия я внес всю сумму, полученную после реализации, в кассу Евангелического общества. И, когда я выразил его преподобию свою радость по поводу моей бедности, он мне ответил такими словами.

— Берегитесь, — сказал он, — не усматривайте в этой бедности торжество вашей воли и вашего упорства. Чему послужит утрата внешних благ, если в душе таится кумир гордыни?

Будьте смиренны духом!

В то время как Лесли Вуд посвящал меня в то, что почерпнул из назиданий его преподобия, мы подошли к Королевскому мосту. Сена, отражая в своих водах береговые огни, с тихим плеском протекала между его устоями.

— Я буду краток, — продолжал мой ночной собеседник. — Рассказ о любом эпизоде моей новой жизни мог бы занять целую ночь. Отец Бартодж, которому я повиновался, как дитя, послал меня к бассутосам с поручением вести борьбу против торговли неграми. Я жил в палатке один, с единственным стражем в изголовье, именуемым опасностью, и, страдая от лихорадки и жажды, видел бога.

Через пять лет его преподобие отец Бартодж отозвал меня в Англию. На судне я встретил молодую девушку. Какое видение! Видение, в тысячу раз более лучезарное, нежели призрак, посещавший Вильяма Крукса!

Она была сирота, дочь полковника, служившего в Индии. Она не поражала взгляд красотой черт. Ее бледное худое лицо выдавало тайную боль; но в ее глазах отражалась вся лазурь небес; ее тело, казалось, светило внутренним светом. Как я любил ее! Глядя на нее, я проникал в сокровенный смысл мироздания! Эта скромная девушка открыла мне одним своим взглядом тайну гармонии миров!

О моя кроткая, кротчайшая наставница, моя возлюбленная, нежная Анни Фрезер! Я прочел в ее светлой душе, что она питает ко мне расположение. Однажды ночью, тихой, ясной ночью, когда мы были одни на палубе судна и нам сопутствовали лишь серафические хоры созвездий, мерцавших в небе, я взял ее руку и сказал:

— Анни Фрезер, я люблю вас. Я чувствую, что наш союз послужит нам во благо, но я не властен распоряжаться своей судьбой, ибо да будет на все воля божия! О, если бы господь возжелал соединить нас! Участь моя в руках его преподобия отца Бартоджа. Прибыв в Англию, мы пойдем к нему вдвоем, хотите, Анни Фрезер? И, если он позволит, мы поженимся.

Она согласилась. Весь остаток пути мы вместе читали библию.

По приезде в Лондон я направился со своей спутницей к его преподобию и рассказал ему, что значит для меня любовь этой девушки и каким источником света она является для меня. Отец Бартодж долго и доброжелательно присматривался к ней.

— Вы можете вступить в брак, — произнес он наконец. — Апостол Павел сказал: «Муж освящается женою и жена освящается мужем». Да уподобится союз ваш братским союзам христиан первых времен Церкви. Да останется ваш брак чисто духовным, и да покоится меч архангела между вами на брачном ложе. Идите, будьте смиренны и живите в уединении. Да не ведает мир вашего имени!

Я женился на Анни Фрезер, и нет нужды говорить, что мы точно исполняли завет его преподобия. В течение четырех лет я наслаждался этим братским союзом.

Милостью кроткой, кротчайшей Анни Фрезер я совершенствовался в познании бога. Ничто не могло более причинить нам страдания.

Анни была больна, силы оставляли ее, а мы, ликуя, говорили: «Да будет воля твоя на земле и на небесах!»

На исходе четвертого года, в день рождества, его преподобие призвал меня к себе.

— Лесли Вуд, — сказал он, — я возложил на вас спасительный искус. Но полагать, будто брак во плоти неугоден богу, значит впасть в ересь папистов. Господь дважды благословил брачный союз как у людей, так и у животных: в земном раю и в Ноевом ковчеге! Идите и живите отныне с Анни Фрезер, вашей супругой, как муж с женой.

Когда я вернулся, Анни, моя возлюбленная Анни, была мертва.

Признаюсь в моей слабости. Я произносил устами, но не сердцем: «Да будет воля твоя!» И, вспоминая о том, что отец Бартодж снял запреты с нашей любви, я чувствовал горечь во рту и пепел в сердце.

С опустошенной душой преклонил я колена перед ложем, на котором покоилась моя Анни под крестом из роз, немая, бледная, с лиловатыми отметинами смерти на щеках.

Я, маловвер, простился с ней и предался бесплодной скорби, близкой к отчаянию. Так провел я целую неделю. А меж тем мне подобало радоваться душой и телом!..

В ночь на восьмой день, когда я плакал, уткнувшись лицом в пустую холодную постель, меня внезапно схватила уверенность, что моя возлюбленная тут, возле меня, в нашей спальне.

Я не обманулся. Приподняв голову, я увидел просветленную, ликующую Анни, простиравшую ко мне руки. Какими словами выразить остальное? Как высказать несказанное? И должно ли открывать сии таинства любви?

Поистине преподобный Бартодж, говоря мне: «Живите с Анни, как муж с женой!», знал, что любовь сильнее смерти.

Знайте и вы, друг мой, что с того стократ благословенного часа моя Анни является ко мне всякий вечер среди дивных благоуханий.

Он говорил с ужасающим одушевлением.

Мы замедлили шаг. Лесли Вуд остановился перед невзрачной с виду, гостиницей.

— Тут я живу, — сказал он. — Видите окно во втором этаже, свет в окне? Она меня ждет.

И он внезапно покинул меня.

Через неделю я узнал из газет о скоропостижной смерти Лесли Вуда, бывшего корреспондента «World».

Шарлю Моррасу^[286]

*«— Гестас, — сказал господь, — ныне же будешь со мною в раю.
Гестас в наших старинных мистериях — имя разбойника,
распятого одесную Иисуса Христа».*

Огюстен Тьерри, «Искушение Лармора».

Говорят, в наше время живет пустой малый по имени Гестас, который, как никто на свете, умеет молоть вздор. По его курносому лицу нетрудно догадаться, что он предается плотскому греху; по вечерам дурные страсти загораются в его зеленых глазах. Он уже не молод. Его шишковатый череп отливают медью; с затылка свисают длинные зеленоватые пряди. Однако он на редкость простосердечен и сохранил наивную ребяческую веру. Если он не лежит в больнице, то ютится в скверном номеришке какой-нибудь гостиницы между Пантеоном и Ботаническим садом. Здесь, в этом старинном бедном квартале, ему знаком каждый камешек. Темные улочки снисходительны к нему, а одна из них, застроенная жалкими лачугами и кабачками, особенно мила его сердцу, ибо там, за углом одного из домов, в огражденной решеткою голубой нише стоит пречистая Дева. По вечерам Гестас, в раз и навсегда установленном порядке, обходит один за другим все кабачки, чтобы выпить пива или спиртного: великое поприще кутежа требует методичности и аккуратности. С наступлением ночи он, сам не зная как, добирается до своей конуры, всякий раз каким-то чудом находит свою раскладную кровать и валится на нее не раздеваясь. Затем, сжав кулаки, он погружается в сон и спит так, как спят лишь дети да бродяги. Но сон его короток.

Едва лишь заря заглянет в окно мансарды и метнет сквозь занавеску свои лучезарные стрелы, Гестас открывает глаза, приподнимается, встряхивается, точно бродячий пес, разбуженный пинком; сбегает по длинной винтовой лестнице и с наслаждением вновь окидывает взглядом улицу — славную улицу, столь снисходительную к недостаткам обездоленных и неимущих. Его глаза щурятся от утреннего света, его ноздри Силена^[287] раздуваются от свежего воздуха. Бравый, широкоплечий, только слегка волоча ногу, искалеченную застарелым ревматизмом, он идет, опираясь на кизилую палку, железный наконечник которой стерся за двадцать лет бродяжничества. Надо заметить, что во время своих ночных походов Гестас ни разу не потерял ни трубки, ни трости. В этот час он выглядит довольным и счастливым. И он в самом деле чувствует себя превосходно. Самое большое наслаждение на свете, которое он покупает ценою сна, это бродить по кабачкам и распивать с рабочими белое вино. Невинное удовольствие пьяницы — прозрачное вино, льющееся при бледном свете рождающегося дня, на фоне белых блуз каменщиков! Эти бесхитростные радости чаруют его душу, сохранившую и в порочной жизни свою невинность.

Однажды, весенним утром, дойдя таким образом от своих меблированных комнат до «Маленького мавра», Гестас с удовольствием отворил дверь кабачка, над которой возвышалась раскрашенная чугунная голова сарацина, и подошел к обитому оловом прилавку в компании незнакомых ему собутыльников — целого отряда рабочих из Крэза. Рабочие

чокались, вспоминали родные края и обменивались старинными прибаутками, точно двенадцать пэров Карла Великого. Бутылка с вином переходила из рук в руки, краюху хлеба они делили между собой по-братски. Когда кому-нибудь из них приходила в голову любопытная мысль, он громко смеялся и для большей убедительности награждал приятелей увесистыми тумачами. Одни лишь старики пили медленно и поднимали стаканы молча. Вскоре все они отправились на работу; Гестас последний вышел из «Маленького мавра» и побрел в «Спелую айву»; решетка этого кабачка, из копьеобразных железных прутьев, была ему хорошо знакома. Здесь он еще выпил в приятной компании и даже поднес стаканчик двум недоверчивым, но смирным блюстителям порядка. Потом он посетил третий кабачок под выдержанной в античном стиле вывеской из кованого железа, изображавшей двух карликов, которые несут большую гроздь винограда; здесь ему прислуживала почтенная г-жа Трюбер, славившаяся на весь квартал своей силой, смекалкой и веселым нравом. Затем, добравшись до городских укреплений, он снова промочил горло в винном погребе, где в темноте сверкали медные краны бочек, и в винной лавке с вечно закрытыми зелеными ставнями, где перед входом стоят в кадках лавры. После этого он возвратился в людные кварталы; заходя в различные кофейни, он заказывал себе вермут и виноградные выжимки. Пробило восемь часов. Гестас шел, держа голову прямо, ровной поступью, торжественный и строгий; он выходил из задумчивости, только когда женщины с непокрытой головой, с волосами, узлом закрученными на затылке, спеша за покупками, задевали его своими тяжелыми корзинами или когда сам ненароком сталкивался с какой-нибудь девочкой, крепко державшей в руках огромный каравай хлеба. А иной раз, когда он переходил улицу, тележка молочника, в которой со звоном подпрыгивали жестяные бидоны, останавливалась так близко от него, что он чувствовал на щеке теплое дыхание лошади. Но он все так же неторопливо продолжал свой путь, провожаемый презрительной бранью возницы. Его поступь, которой придавала уверенность кизиловая палка, была по-прежнему спокойна и горделива. Но душевное равновесие старик утратил. От его утренней веселости не осталось и следа. Радостные трели жаворонка, рожденные в нем первыми каплями бледно-красного вина, внезапно смолкли, и теперь душа его напоминала окутанный туманом перелесок, где, сидя на черных деревьях, каркают вороны. Ему было смертельно грустно. Неодолимое отвращение к самому себе поднималось из глубин его существа. Внутренний голос раскаяния и стыда громко твердил: «Свинья! Свинья! Свинья — вот ты кто!» И он восторгался этим гневным и чистым голосом, прекрасным голосом ангела, который таинственно жил в нем и повторял: «Свинья! Свинья! Свинья — вот ты кто!» Ему страстно хотелось быть чистым и невинным. Он плакал; крупные слезы стекали по его козлиной бородке. Он плакал над самим собою. Послушный глаголу Учителя, рекшего: «Оплакивайте себя и чад ваших, дочери иерусалимские!», он проливал горькую росу очей на плоть свою, оскверненную семью смертными грехами, и на свои грязные помыслы, рожденные опьянением. Вера его детских лет воскресала и пышно распускалась в нем во всей своей свежести. С его уст слетали наивные молитвы. Он бормотал: «Господи, сделай меня похожим на малое дитя, каким я был когда-то!»

В ту минуту, когда он произносил эту простую молитву, он очутился у входа в церковь.

То была старинная, некогда белая и красивая церковь, каменное кружево которой постепенно разрушили время и люди. С годами она потемнела, как Суламифь, и красоту ее теперь способно было оценить лишь сердце поэта. Эту церковь так и хотелось назвать «бедной старушкой», как была названа мать Франсуа Вийона^[288], которая, быть может, некогда стояла здесь на коленях, созерцая на стенах, ныне побеленных известкой, картины рая, которой слышались здесь звуки небесных арф и чья добрая душа содрогалась при виде

картины ада, где в кипящей смоле «варились» грешники. Гестас вошел в дом господень. Он никого здесь не обнаружил — ни служки, раздающего святую воду, ни даже бедной женщины вроде матери Франсуа Вийона. Лишь расставленные в строгом порядке посреди церкви стулья свидетельствовали о благочестии прихожан, и потому сразу могло показаться, что общая молитва продолжается.

Его охватил сырой и прохладный сумрак, словно струившийся со сводов. Гестас повернул направо, в боковой придел, где неподалеку от паперти, перед статуей пресвятой Девы, возносил свои остроконечные зубья железный подсвечник, в котором не горела еще ни одна свеча. Здесь, глядя на выписанный в голубых и розовых тонах светлый лик, улыбавшийся в окружении золотых и серебряных сердечек, принесенных в дар Пречистой, он опустился на свои старые, плохо гнувшиеся колени, заплакал слезами апостола Петра и зашептал нежные, бессвязные слова: «Добрая мать-дева! Мария, Мария! Вот твое дитя, — матушка, вот твое дитя!» Но он тут же встал, сделал несколько быстрых шагов и остановился перед исповедальней. Потемневшая от времени, лоснившаяся, точно бревна виноградной давилни, дубовая исповедальня казалась самым обыкновенным, добропорядочным, старым уютным домашним шкафом для белья. Религиозные изображения, вырезанные на филенках и обрамленные разноцветными камешками и ракушками, наводили на мысль о богатых горожанках былых времен; склоняя здесь головы, украшенные высокими чепцами с пышными кружевными оборками, они стремились омыть в этой символической купели свои тщательно оберегаемые души. Преклонив колена там, где некогда они стояли на коленях, Гестас приблизил губы к деревянной решетке и негромко позвал:

— Ваше преподобие, ваше преподобие!

На зов его никто не ответил, — тогда он тихонько постучал пальцем в дверцу:

— Ваше преподобие, ваше преподобие!

Гестас протер глаза, чтобы лучше видеть сквозь отверстие в решетке, и ему показалось, что он разглядел в темноте белую епитрахиль священника.

— Ваше преподобие, ваше преподобие! — повторял он. — Выслушайте меня! Мне нужно исповедаться, мне нужно омыть свою душу; она черна и грязна; она внушает мне отвращение, переполняющее все мое существо. Скорее, отец мой, опустите меня в купель покаяния, купель отпущения, купель Христа! При мысли о моих мерзких деяниях тошнота подступает к горлу, и меня вот-вот вырвет от отвращения к собственному непотребству. В купель, в купель!

Затем он стал ждать. Временами ему казалось, что он различает в глубине исповедальни руку, подающую ему знак, временами он не видел в тесной келейке ничего, кроме сиденья для священника. Он оставался неподвижен, как будто его колени были пригвождены к деревянным ступеням, и взор его был устремлен на дверцу, откуда на него должны были снизойти прощение, мир, обновление, спасение, невинность, примирение с богом и самим собою, небесное блаженство, чистая любовь, — словом, высшее благо. Порой он шептал кроткие мольбы:

— Ваше преподобие, отец мой, ваше преподобие! Я жажду, дайте же мне испить, я так жажду! Отец мой, будьте так добры, дайте мне то, чем вы владеете: святую воду, белоснежное одеяние и крылья для моей бедной души! Дайте мне покаяние и прощение!

Не получая ответа, он еще настойчивее забарабанил в решетку и громко сказал:

— Исповедуйте меня, пожалуйста!

Под конец он потерял терпение, поднялся с колен и начал изо всех сил колотить своей кизиловой палкой в стенки исповедальни:

— Эй, отец настоятель! Эй, отец викарий!

И чем громче он кричал, тем сильнее стучал; удары яростно сыпались на исповедальню, над которой поднимались облака пыли; в ответ на эти оскорбления старые, изъеденные червоточиной стенки исповедальни жалобно стонали.

Привратник, с засученными рукавами подметавший ризницу, прибежал на шум. Увидав человека с палкой, он на мгновение остановился, а затем направился к Гестасу с осторожной медлительностью прислужников, которые успели поседеть, исполняя обязанности скромных блюстителей порядка. Приблизившись на такое расстояние, откуда его могло быть слышно, он спросил:

— Что вам угодно?

— Я хочу исповедаться.

— В это время дня не исповедуют.

— Я хочу исповедаться.

— Уходите!

— Я хочу видеть священника.

— Зачем он вам?

— Хочу исповедаться.

— Священника видеть нельзя.

— Тогда старшего викария.

— Его тоже нельзя видеть. Уходите!

— Тогда второго викария, третьего викария, четвертого викария, самого младшего викария.

— Уходите!

— Ах, так! Значит, вы хотите, чтоб я умер без покаяния? Да это куда хуже, чем в девяносто третьем году! Я прошу самого захудалого викария. Я согласен исповедаться у самого крохотного викария, хотя бы с ноготок ростом, — что, вам жалко, что ли? Скажите какому-нибудь священнику, чтоб он пришел выслушать мою исповедь. Я обещаю поведать ему грехи самые что ни на есть редкостные, необыкновенные и, можете быть уверены, позанятнее тех, что ему выкладывают ваши кающиеся дуры! Скажите ему, что он останется доволен!

— Уходите!

— Ты что, не слышишь, старый разбойник? Говорят тебе, я хочу примириться с господом богом, разрази меня господь!

Хотя блюститель порядка не отличался внушительной осанкой привратника богатого прихода, однако он был силен. Взяв нашего Гестаса за плечи, он вытолкнул его за дверь.

Очутившись на улице, Гестас стал думать о том, как бы ему вернуться в церковь через боковой вход, зайти, если представится возможность, в тыл привратнику и добраться до какого ни на есть викария, который согласился бы выслушать его исповедь.

К несчастью, церковь была окружена старыми домами, и это помешало успешному осуществлению замысла Гестаса: он заблудился в безвыходном лабиринте улиц и улочек, тупиков и закоулков.

В конце концов наш злосчастный кающийся грешник набрел на винную лавочку и решил утешиться полынной водкой. Это ему вполне удалось. Но вскоре новый приступ раскаяния овладел его душой. И это обстоятельство укрепляет в друзьях Гестаса надежду на его спасение. Он верит, верит простодушно, твердо и наивно. Ему пока недостает только дел, но отчаиваться не надо, ибо сам он никогда не отчаивается.

Не входя в рассмотрение сложного вопроса о предопределении и не изучая взглядов на

сей предмет блаженного Августина, Готезиала, альбигойцев, последователей Виклифа, гуситов, Лютера, Кальвина, Янсения и великого Арно, можно, однако, предположить, что Гестасу предуготовано вечное блаженство.

«Гестас, — сказал господь, — ныне же будешь со мною в раю».

Доктор Х***, недавно скончавшийся в Сервиньи (Эн), где он свыше сорока лет занимался врачебной практикой, оставил дневник, который отнюдь не намеревался выпускать в свет. Я не отважусь не только обнародовать его записки полностью, но даже привести из них обширные выдержки, хотя многие в наше время вслед за господином Тэном^[290] полагают, будто надлежит печатать именно то, что не предназначалось для печати. Что ни говорите, но, чтобы рассказывать любопытные вещи, недостаточно не быть писателем.

Дневник моего врача скоро утомил бы читателя своей однообразной грубоватостью. И все же автор, несмотря на скромное свое положение, несомненно обладал недюжинным умом. Этот сельский лекарь был врачом-философом. Быть может, последние страницы его дневника представляют некоторый интерес. Я разрешу себе привести их здесь.

*Выдержки из дневника покойного г-на Х***, врача из Сервиньи (Эн)*

На свете не существует ничего абсолютно дурного, равно как и ничего абсолютно хорошего, — это философская истина. Самая приятная, самая естественная, самая полезная из добродетелей — жалость — не всегда хороша как для солдата, так и для священника; перед лицом врага она должна безмолвствовать в их сердцах. Что-то не слышно, чтобы офицеры рекомендовали руководствоваться ею перед сражением; мне довелось прочесть в старинной книге, что г-н Николь побаивался жалости^[291], так как видел в ней источник соблазна. Я не священник и уж никак не солдат. Я врач, и притом из числа самых заурядных: я сельский врач. Я долго практиковал в глуши и осмеливаюсь утверждать: одна лишь жалость достойна быть нашей наставницей, но перед лицом страданий, хотя стремление облегчить их внушено именно ею, жалость в душе врача должна смолкать. Врач, которого жалость сопровождает до самого изголовья больного, не обладает ни достаточно ясным взглядом, ни достаточно твердой рукой. Мы идем туда, куда нас призывает любовь к роду человеческому, но мы идем свободные от чувства жалости. Впрочем, медики по большей части довольно легко утрачивают излишнюю чувствительность: таково спасительное и необходимое свойство нашей профессии, которое возникает и проявляется очень скоро. Для этого есть веские основания. Сталкиваясь с человеческим страданием, жалость быстро притупляется. Когда можешь облегчить боль, меньше жалеешь больного. Наконец недуг открывает взору врача цепь любопытных явлений.

Начав заниматься медициной, я горячо полюбил свою профессию. Болезни, которые мне приходилось лечить, я рассматривал как повод для совершенствования в своем искусстве. Недуги, протекавшие со всеми их характерными симптомами, приводили меня в восторг. Болезненные явления, говорившие о резком отклонении организма от нормы, будили мое любопытство. Словом, я любил болезни. Но что я говорю? Болезнь и здоровье были для меня тогда чистыми абстракциями. Восторженный наблюдатель деятельности человеческого организма, я восхищался всеми ее проявлениями — от самых гибельных до наиболее

спасительных. Я охотно воскликнул бы вместе с Пинелем^[292]: «Какой великолепный рак!» Короче говоря, я был на пути к тому, чтобы стать врачом-философом. Мне недоставало лишь врачебного таланта для того, чтобы овладеть тайнами медицинской науки и насладиться в полной мере ее красотами. Ведь постигать величие явлений — свойство гения. Там, где человек заурядный видит лишь отвратительную язву, истинный ученый любит поле сражения, на котором таинственные силы бытия борются за власть в схватке, еще более ожесточенной и грозной, чем та битва, что с такою дикою силой воссоздал на холсте Сальватор Роза^[293]. Я мельком наблюдал это возвышенное зрелище, столь обычное для таких людей, как Маженди и Клод Бернар^[294], и горжусь тем, что мне довелось наблюдать его хотя бы мельком. Но, решив быть скромным практикующим врачом, я все же сохранил необходимое в нашей профессии умение спокойно взирать на страдания. Я отдавал больным свои познания и силы. Но я не дарил им своей жалости. Я прогневил бы бога, если б поставил какой-нибудь дар, как бы ни был он драгоценен, выше дара сострадания. Сострадание — это последняя лепта вдовицы, это ни с чем не сравнимое даяние бедняка, который, будучи великодушнее всех богачей земли, вместе со слезами отдает частицу собственного сердца. Именно поэтому при исполнении профессионального долга не должно быть места жалости, как бы ни была благородна профессия.

Переходя к рассмотрению частных случаев, замечу, что люди, среди которых я живу, внушают в часы своих страданий не жалость, а совсем иное чувство. Человек вызывает в другом лишь те чувства, которые сам испытывает, — это довольно верная мысль. А крестьяне в наших краях отнюдь не отличаются мягкостью. Они строги и к другим и к себе; в самой их степенности есть что-то суровое. Эта суровость передается окружающим; живя среди них, чувствуешь, как на душе у тебя становится все тяжелей и печальней. Но они хранят в чистоте высокие черты человечности, и это делает их нравственный облик прекрасным. Думают они редко и мало, но порою мысль их сама собой облекается в торжественную форму. Я слышал, как некоторые из них произносили в свой смертный час краткие и сильные речи, достойные библейских патриархов. Они могут вызывать восхищение, но не способны растрогать. Все в них просто, даже болезнь. Излишнее мудрствование не умножает их страданий. Они не походят на тех людей с болезненным воображением, которые на основе своих недугов рисуют картины более страшные, нежели сам недуг. И умирают они столь естественно, что, присутствуя при этом, не испытываешь смятения. К сказанному я могу только прибавить, что все они похожи друг на друга и со смертью любого из них из жизни не исчезнет ничего своеобразного.

Итак, я неуклонно исполняю обязанности сельского врача и не ропщу на судьбу. Думается, я мог бы претендовать на нечто большее. Человеку всегда неприятно сознавать, что дело, которое он делает, ниже его возможностей, но зато гораздо прискорбнее для него мысль, что он не отвечает своему назначению. Я не богат и никогда не буду богат. Но много ли нужно денег, чтобы прожить одному в деревне? Моей серой кобылке Женни всего пятнадцать лет; она трусит, как в дни молодости, особенно когда мы держим путь к конюшне. В отличие от моих прославленных парижских братьев у меня нет картинной галереи, которую я мог бы показывать посетителям; зато у меня есть грушевые деревья, которых нет у них. Мой сад славится на двадцать лье вокруг, из соседних поместий ко мне присылают за черенками. И вот однажды, в понедельник, — завтра будет ровно год, как это случилось, — я возился с фруктовыми деревьями у себя в саду; вдруг прибегает работник с фермы и просит меня как можно скорее прийти в Али.

Я спросил, уж не расшибся ли Жан Блен, фермер из Али, когда нынче ночью возвращался домой. В наших краях по воскресеньям бывает много вывихов, по дороге из кабачка люди

часто ломают себе ребра. Жан Блен не какой-нибудь там пропойца, но он не прочь выпить в компании, и ему не раз приходилось по понедельникам дожидаться рассвета в придорожной канаве.

Работник ответил мне, что Жан Блен жив-здоров, но что у его сынишки Элуа — горячка.

Бросив начатое дело, я схватил палку, шляпу и пешком отправился в Али — ферма эта находится в двадцати минутах ходьбы от моего дома. По дороге я думал о больном сынишке фермера. Жан Блен — такой же крестьянин, как и все остальные, с той только разницей, что сотворившая его божественная мысль забыла наделить его мозгом. У этого верзилы Жана Блена голова величиной с кулак. Высшая мудрость вложила в его череп лишь самое необходимое, лишь самую малость. Жена его — первая красавица во всей округе — женщина суетливая, шумливая и на редкость добродетельная. И вот эта чета произвела на свет существо самое тонкое и самое умное из всех, когда-либо произрастававших на нашей древней земле. Наследственность знает подобные сюрпризы, так что можно с полным основанием утверждать: люди не ведают, что творят, когда зачинают ребенка. Наследственность, говорит старик Нистен^[295], биологическое явление, сущность которого состоит в том, что предки передают потомкам, помимо видовых черт, еще и особенности духовной организации, а также способности. С этим я вполне согласен. Но какие именно особенности передаются, а какие — нет, это остается неясным даже по прочтении почтенных трудов доктора Люка и г-на Рибо^[296]. Мой сосед нотариус дал мне в прошлом году почитать книгу г-на Эмиля Золя, и я убедился, что этот писатель льстит себя надеждой, будто в этом вопросе он разбирается лучше всех. Мысль его сводится к следующему: вот предок, страдающий неврозом; среди его потомков непременно будут невропаты, а может быть, уже и есть; будут сумасшедшие, будут и здравомыслящие; один из них, возможно, будет гениален. Для большей наглядности автор даже составил генеалогическую таблицу. Ну, что ж! Открытие это не блещет новизной, особенно гордиться тут нечем, но оно содержит почти все, что нам известно по вопросу о наследственности. Как бы то ни было, у сынишки Жана Блена ума палата! Этот ребенок наделен творческим воображением. Я не раз заставлял этого малыша, ростом с мою палку, врасплох, когда он, как и другие шалуны, удрав с уроков, болтался на ферме. Но в то время, как его товарищи разоряли гнезда, этот маленький человечек сооружал крошечные мельницы и делал насосы из соломинок. Изобретательный дикарь, он вопрошал природу. Учитель в школе ничего не мог добиться от этого рассеянного ребенка, и действительно: Элуа к восьми годам еще не знал азбуки. Но в этом возрасте он с поразительной быстротой выучился читать и писать и через полгода стал лучшим учеником во всей школе.

Кроме того, он был на редкость ласковым и любящим ребенком. Я дал ему несколько уроков математики и был поражен глубиной его ума, которая проявлялась в таком раннем возрасте. Словом, признаюсь, не боясь показаться смешным, ибо одичавшему в глуши старику простят некоторое преувеличение, — мне нравилось наблюдать в этом крестьянском мальчике первые проблески гениальности, угадывать в нем одного из тех великих людей, которых через длительные промежутки времени выделяет из своей среды мрачное человечество; побуждаемые потребностью любви в такой же мере, как и стремлением к знанию, они всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и благое дело.

Вот какие мысли проносились в моей голове, когда я шел в Али. Войдя в одну из комнат, расположенную внизу, я сразу увидел маленького Элуа; укрытый ситцевым одеялом, он лежал на широкой кровати, на которую его перенесли родители, — видимо, они сознавали всю опасность его положения. Ребенок дремал; его маленькая изящная головка словно вдруг отяжелела и вдавилась в подушку. Я подошел к нему. Лоб у ребенка пылал; глаза покраснели; у него был сильный жар. Мать и бабушка в тревоге не отходили от мальчика. Охваченный

беспокойством отец, не зная за что приняться и не решаясь уйти, бесцельно слонялся по комнате, засунув руки в карманы, и переводил взгляд с одного лица на другое. Элуа повернул ко мне осунувшееся личико и, устремив на меня кроткий страдальческий взгляд, в ответ на мои расспросы сказал, что у него сильно болят лоб и глаза, что у него страшный шум в ушах, но он узнает меня — ведь мы с ним старые друзья.

— У него то озноб, то жар, — прибавила мать.

Жан Блен, подумав, сказал:

— По-моему, болезнь у него внутри сидит.

И снова умолк.

Для меня не составило труда определить симптомы острого менингита. Я прописал отвлекающие средства к ногам и пиявки за уши. Потом я опять подошел к своему маленькому другу, чтобы сказать ему что-нибудь ласковое, что-нибудь утешительное о его состоянии, которое, увы, было очень тяжелым. Но в эту минуту я почувствовал нечто такое, чего дотоле никогда не испытывал. Хотя мне казалось, что я сохраняю все свое хладнокровие, больной внезапно представился мне, точно сквозь пелену, и таким далеким, таким крошечным! К этому искаженному восприятию пространства тотчас же присоединилось столь же искаженное восприятие времени. Мой визит продолжался не более пяти минут, однако мне казалось, будто я нахожусь очень, очень долго в этой комнате, перед накрытой бумажным одеялом постелью, будто протекли уже месяцы, годы, а я еще и не пошевелинулся.

С присущей мне склонностью к анализу я попытался разобраться в этих странных ощущениях, и причина мне тотчас открылась. Она не отличалась сложностью. Элуа был мне дорог. Столкнувшись с его внезапной и серьезной болезнью, я все никак не мог «прийти в себя». Это очень распространенное и очень меткое выражение. Тяжелые мгновения кажутся нам долгими. Вот почему пять-шесть минут, проведенные возле Элуа, показались мне вечностью. А ощущение, будто ребенок находится вдали от меня, было порождено опасением его близкой утраты. Мысль эта, помимо моей воли проникшая в сознание, тотчас превратилась в твердую уверенность.

Наутро состояние Элуа казалось менее угрожающим. Улучшение продолжалось несколько дней. Я послал в город за льдом, и лед на него подействовал хорошо. Но на пятый день начался сильный бред. Мальчик много говорил. Вот что мне удалось разобрать в потоке бессвязных слов:

— Шар! Воздушный шар! Я сжимаю в руках его руль. Шар поднимается. В небе черным-черно. Мама, мама, почему ты не со мной? Мой шар летит туда, где будет так чудесно! Ко мне! Я задыхаюсь!

В тот день Жан Блен пошел меня проводить. С растерянным видом человека, который хочет что-то сказать и не решается, он переминался с ноги на ногу. Наконец, молча пройдя шагов двадцать, он остановился и, тронув меня за руку, проговорил:

— Видите ли, доктор, по-моему, болезнь у него внутри сидит.

Я печально продолжал свой путь, и в первый раз желание вновь увидеть свои грушевые и абрикосовые деревья не заставило меня прибавить шагу. В первый раз за всю мою сорокалетнюю практику больной вызвал во мне такую сильную душевную боль; мысленно я оплакивал ребенка, ибо не мог спасти его.

Немного погодя к моему горю присоединилась мучительная тревога. Я усомнился в правильности лечения. Я ловил себя на том, что наутро забываю о сделанных накануне предписаниях, я утратил уверенность в правильности своего диагноза, чувствовал себя робким и растерянным. Я попросил приехать одного из моих братьев, хорошего молодого

врача, практикующего в соседнем городе. Когда он прибыл, маленький страдалец, уже ослепший, находился в состоянии полного беспомощства.

На следующий день Элуа не стало.

Спустя год после этого несчастья мне пришлось поехать в главный город нашей префектуры для участия в консилиуме. Случай был редкий. Причины, вызвавшие его, необычны, но так как они мало интересны, то я не стану их здесь приводить. После консилиума врач префектуры доктор С*** был так любезен, что пригласил меня позавтракать с ним и еще с двумя моими братьями. После завтрака, за которым я наслаждался серьезной беседой, касавшейся различных вопросов, мы перешли пить кофе в кабинет хозяина. Подойдя к камину, чтобы поставить пустую чашку, я заметил висевший на раме зеркала небольшой портрет, и этот портрет так меня взволновал, что я с трудом удержался от восклицания. То была миниатюра, изображавшая ребенка. И ребенок этот так разительно напоминал Элуа, которого мне не удалось спасти и о ком, вот уже целый год, я ежедневно вспоминал, что я невольно подумал, не его ли это портрет. Однако такое предположение было нелепо. Рамка черного дерева и золотой ободок вокруг миниатюры изобличали вкус конца XVIII века; на мальчике, как на маленьком Людовике XVII, была курточка с розовыми и белыми полосками, но лицом это был вылитый Элуа. Тот же волевой и могучий лоб, лоб мужа, и локоны херувима; тот же огонь в глазах, та же страдальческая складка у рта! Словом, те же черты лица и то же выражение!

Должно быть, я очень долго рассматривал портрет, потому что доктор С***, легонько ударив меня по плечу, сказал:

— Это, дорогой брат, — семейная реликвия, и я горжусь тем, что она принадлежит мне. Мой прадед по материнской линии был другом знаменитого человека, который изображен здесь еще совсем ребенком. От прадеда мне и досталась эта миниатюра.

Я попросил доктора сообщить имя знаменитого друга его предка. Тогда он снял с гвоздя миниатюру и протянул ее мне.

— Взгляните на дату внизу... — сказал он. — *Лион, 1787*. Она вам ничего не говорит?.. Нет?.. Ну так вот, этот двенадцатилетний мальчик — великий Ампер.

В это мгновение мне, наконец, с непреложной ясностью открылось, какого гениального ребенка сразила смерть год тому назад на ферме в Али.

Полю Арену ^[298]

I

Я родился в 1770 году в далеком предместье захолустного городка близ Лангра, где мой отец, полугорожанин, полукрестьянин, торговал ножами и возделывал свой фруктовый сад. Местные монахины, обучавшие только девочек, научили меня читать, потому что я был еще мал, а они были в дружеских отношениях с моей матерью. Из их рук я перешел в руки городского священника, сына сапожника и истинного гуманиста, который давал мне уроки латинского языка. Летом мы занимались под старыми каштанами, и аббат Ламаду, сидя вблизи своих ульев, объяснял мне *Георгики* Вергилия ^[299]. Я воображал, что счастливее меня нет на свете, и жил, довольствуясь обществом своего наставника и мадемуазель Розы, дочери вахмистра. Но на земле нет долговечного счастья. Однажды утром мать, поцеловав меня, сунула в карман моей куртки монету в шесть ливров. Мои вещи были уложены. Отец вскочил на лошадь и, посадив меня позади себя, повез в лангрский коллеж. Весь долгий путь я думал о моей комнатке, где осенью воздух был напоен запахом плодов, хранившихся на чердаке; о фруктовом саде, куда отец водил меня по воскресеньям собирать яблоки с деревьев, привитых его собственной рукою; о Розе, о моих сестрах, о матери и о самом себе, бедном изгнаннике! Я ехал с тяжелым сердцем и с трудом удерживал слезы, которые наворачивались на глаза. Наконец после пяти часов путешествия мы прибыли в город и спешили перед высокой дверью, на которой я прочел слово, повергшее меня в трепет: Collegium ^[300]. Ректор коллежа, священник Оратории ^[301], отец Феваль, принял нас в большом выбеленном известкой зале. Это был человек еще молодой и статный, и его улыбка меня ободрила. Мой отец никогда не изменял себе и при знакомстве всякий раз выказывал природную живость, простодушие и прямоту.

— Ваше преподобие, — сказал он, указывая на меня, — я привел к вам моего единственного сына, звать его Пьером в честь крестного отца, а фамилия его Обье. Фамилию эту я получил от моего покойного родителя, и как была она незапятнана, такой сам получил и передал ее я своему сыну. Пьер мой единственный сынок, раз его мать, Мадлена Ордалю, подарила мне только одного сына да трех дочерей, которых я воспитываю самым лучшим образом. А что касается судьбы моих дочек, так, во-первых, она в руках божьих, а потом мужниных! Говорят, они красивы, не смею этому не верить. Но красота вещь слишком ненадежная, чтобы о ней печься. Не ищи красоты, а ищи доброты, как говорится. Что же касается моего сына Пьера, здесь присутствующего (произнося эти слова, отец так опустил мне на плечо свою мощную длань, что я присел), то, если он будет жить в страхе божьем и знать латынь, быть ему священником! А посему покорнейше прошу, ваше преподобие, проэкзаменовать его как следует, чтобы судить о его природных способностях. Обнаружьте в нем какие-нибудь достоинства, держите его у себя. Я охотно буду платить что следует.

Если же, напротив, посчитаете, что он ни на что не годен, известите меня, я тотчас возьму его домой, и будет он мастерить ножи, как и его отец. Потому что ваш покорный слуга — ножовщик, ваше преподобие.

Священник обещал в точности исполнить его просьбу. Обнадеженный обещанием ректора, отец стал прощаться. С трудом подавляя рыдания, искажившие его лицо, и стыдясь выказать волнение, он напустил на себя суровость, и я вместо родительских объятий получил изрядный тумак. Когда он ушел, отец Феваль из приемной провел меня в сад, в тенистую аллею густолиственных грабов; и там, прохаживаясь под купами деревьев, он произнес:

O sylvaī dulces umbras frondosaī!^[302]

К моему счастью, я узнал по архаичности формы и тяжести просодии стих древнего Энния^[303] и весьма кстати заметил отцу Февалю, что Вергилий был более достоин воспевать прелесть тенистой прохлады: *frigus orasum!* Отец Феваль, по-видимому, остался доволен учтивостью ответа. Он предложил мне несколько вопросов из латинской грамматики. И благосклонно выслушал мои ответы.

— Хорошо, — сказал он, — при большом прилежании, очень большом прилежании, вы можете поступить в четвертый класс. Пойдемте, я хочу сам представить вас вашему наставнику и сотоварищам по классу.

Покамест мы гуляли, я не чувствовал себя покинутым, и понемногу у меня отлегло от сердца. Но, очутившись среди учеников моего класса, в присутствии нашего наставника Журсанво, я впал в полное отчаяние. Г-н Журсанво не обладал приветливостью и пленительной простотой ректора. Он показался мне куда более напыщенным, черствым и скрытным. При невысоком росте у него была большая голова, изо рта выступали четыре желтых зуба, а слова со свистом срывались с его бледных губ. Я тут же подумал, что такие уста не достойны произносить имя Лавинии^[304], еще более мне любезное, нежели имя Роза. Ибо, надобно покаяться, идиллическая и царственная невеста несчастного Турна в моем воображении блистала величавой красотой. Ее идеальный образ затмил несколько грубоватую красоту дочери вахмистра. Г-н Журсанво — таково было имя нашего преподавателя в четвертом классе — мне вовсе не нравился. Товарищи по классу внушали мне страх: мне казалось, что они слишком уж озорничают, и я не без основания опасался, как бы мое простодушие не сделало меня смешным. Мне очень хотелось плакать.

Однако боязнь людского осуждения превозмогла горе, и я не дал волю слезам.

Вечером я вышел из коллежа и отправился разыскивать жилище, нанятое для меня в городе отцом. Я поселился, вместе с пятью другими школьниками, у ремесленника, жена которого готовила для нас пищу. Каждый из нас платил ей двадцать пять су в месяц.

На первых порах мои одноклассники пытались смеяться над моей нескладной одеждой и деревенскими повадками, но оставили свои шутки, увидев, что они на меня не действуют. Один из них, тщедушный мальчишка, сын прокурора, не унимался, всячески передразнивая мои дурные манеры и неуклюжесть, за что получил такой увесистый удар кулаком, что закаялся впредь попадаться мне под руку. Журсанво меня весьма не жаловал; но безупречное выполнение мною школьных работ не давало ему повода меня наказать. Злоупотребляя своей властью, этот переменчивый, жестокий и придиричивый человек естественно вызывал возмущение в классе, и было несколько случаев открытого неповиновения ему; впрочем, к этому я был непричастен. Однажды, гуляя в саду с ректором, явно благоволившим ко мне, я

вздумал похвалиться перед ним своим добронравием.

— Отец мой, — сказал я ему, — я не участвовал в этой последней истории.

— Есть чем хвалиться, — сказал отец Феваль с презрением в голосе, кольнувшим меня в самое сердце.

Низость он ненавидел более всего на свете. И я поклялся впредь не позволять себе ни на словах, ни на деле ничего бесчестного; если с того дня я остерегался лжи и трусости, то обязан этим сему превосходному человеку.

Отец Феваль не был философом, он исповедовал правила нравственности, а не догматы веры савойского викария!^[305] Он верил во все, во что положено верить священнику. Но ему претила показное благочестие, и он не терпел, чтобы имя божие упоминали всуе. Со всей ясностью он выказал это в день рождества, когда к нему пришел отец Журсанво с доносом на нечестивцев, наливших в канун праздника чернил в кропильницу.

В крайнем возмущении, готовый разразиться проклятиями, отец Журсанво бормотал:

— Конечно, дело темное!

— По причине чернил, — невозмутимо отвечал ему наш ректор.

Этот высоко достойный человек усматривал корень всех зол в малодушии. Он часто говорил: «Люцифер и непокорные ангелы пали из-за своей гордыни. Вот почему, даже попав в ад, они остаются князьями тьмы и имеют страшную власть над теми, кто осужден на вечные муки. Если бы причиной их падения была трусость, то и в преисподней они служили бы только посмешищем и игралищем для грешных душ. Даже держава зла ускользнула бы из их презренных рук!»

На каникулы я с великой радостью вернулся домой. Но наш дом показался мне очень маленьким. Когда я вошел, мать, склонившись над очагом, снимала накипь с бульона. Моя милая мама тоже показалась мне совсем маленькой; и я, рыдая, обнял ее.

Не выпуская шумовки из рук, она рассказала мне, что отец, согбенный годами и недугами, вовсе запустил фруктовый сад; что старшая сестра просватана за сына бочара, а приходского пономаря нашли в его комнате мертвым с бутылкою в руках; притом окоченевшие пальцы так вцепились в горлышко, что, казалось, не удастся их разжать. Но разве пристойно было внести пономаря в церковь вместе с бутылкой из-под красного вина! Слушая мать, я впервые остро почувствовал, как летит время и как превратны наши судьбы; и на меня нашло оцепенение.

— Какой ты у меня пригожий, сынок! — говорила мать. — Ну, право же, в канифасовом полукафтани ты вылитый маленький кюре!

Тут вошла в залу мадемуазель Роза; она покраснела, увидев меня, и притворилась удивленной моим приездом. Я заметил, что она интересуется мной, и втайне был польщен. Но с ней я держался чинно, как подобает особе духовного звания. Большую часть каникул я провел, гуляя с отцом Ламаду.

Между нами было условлено говорить только по-латыни. И вот, идя рядом, не глядя по сторонам, мы чинно прохаживались по проселочным дорогам, меж пажитей, где трудились поселяне, среди опаленных зноем полей и лесов, целомудренные, чопорные, серьезные, исполненные презрения к суетным удовольствиям и гордые своей ученостью.

Я возвратился в коллеж с твердым решением войти в конгрегацию Оратории. Я уже видел себя в треугольной шляпе, как у отца Ламаду, в сутане, черных панталонах, шерстяных чулках и башмаках с пряжками, погруженным в размышления о красноречии Цицерона или об учении блаженного Августина, представлял себе, как я пробираюсь сквозь толпу, важно отвечая на поклоны дам и нищих, склонившихся передо мной. Увы! Призрак женщины нарушил прекрасные мечты. До той поры я знал лишь Лавинию и мадемуазель Розу. Я узнал

Дидону^[306] и почувствовал, как огонь пробежал по моим жилам. Образ той, что блуждала в миртовой роще с вечной раной в груди, склонялся бессонной ночью над моим ложем.

В часы вечерних прогулок мне казалось, что это она, вся в белом, скользит меж деревьев, как луна между облаков. Плененный этим блистательным образом, я боялся вступить в конгрегацию. Однако ж я облачился в сутану, которая была мне удивительно к лицу. Когда я вернулся домой в таком одеянии, мать с поклоном присела передо мной, а Роза, прикрывая лицо фартуком, расплакалась. Затем она подняла на меня свои прекрасные глаза, столь же чистые, как ее слезы.

— Господин Пьер, — сказала она, — сама не знаю, почему я плачу!

Она была трогательна. Но она не походила на луну в облаках. Я не любил ее; я любил Дидону.

Тот год ознаменовался для меня большим горем. Я потерял отца, который скончался почти внезапно от водянки.

В свои последние минуты он благословил детей и завещал им жить честно и не забывать о боге. Он принял смерть с кротостью, совсем не свойственной его натуре. Казалось, без сожаления и даже с радостью расставался он с жизнью, к которой так крепко был привязан всеми узами своей пылкой души. И я понял, что тому, кто чист сердцем, умирать легче, нежели думают.

Я решил заменить отца старшим сестрам, которые уже были невестами, и составить утешение моей матери; она год от году делалась все меньше ростом, все слабее и все трогательнее.

Итак, в короткое время я из ребенка стал мужчиной. Я окончил свое обучение у членов конгрегации Оратории, превосходных наставников, у отца Ланса, Порике и Мариона, которые, прозябая в далекой, глухой провинции, посвятили себя воспитанию детей, хотя их блестящие дарования и глубокая ученость оказали бы честь Академии надписей. Ректор же превосходил их всех возвышенностью ума и красотой души.

В те дни, когда я заканчивал свое философское образование под руководством этих выдающихся учителей, грозный рокот народных волнений докатился до нашей провинции и проник сквозь толстые стены коллежа. Говорили о созыве Генеральных штатов^[307], требовали преобразований и ожидали больших перемен. Новые книги, которые давали нам читать наши наставники, возвещали близкий возврат золотого века.

Когда пришло время расстаться с коллежем, я со слезами обнял отца Феваля.

Он нежно прижал меня к груди. Затем повел под сень грабов, где шесть лет тому назад я впервые беседовал с ним.

Там, взяв меня за руку, он наклонился и, глядя мне в глаза, сказал:

— Помните, дитя мое, что при слабости воли ум — ничто! Вам, может статься, уготована долгая жизнь и вы увидите, как зарождается новый порядок в нашей стране. Великие перемены не совершаются без потрясений. Вспомните тогда о том, что я вам говорю сегодня: ум — слабый помощник в сложном сплетении обстоятельств; лишь нравственная сила спасает то, что должно быть спасено!

И пока он говорил так при выходе из грабовой аллеи, солнце, стоявшее низко на горизонте, облекло его в пурпур и озарило своим закатным лучом его прекрасное задумчивое лицо. Я удержал в памяти его слова, поразившие меня, хотя и не вполне понимал их смысл. Тогда я был только школьником, притом самым заурядным. Истина этой житейской мудрости открылась мне во всей полноте лишь в годину последующих событий, преподавших мне жестокий урок.

Я отказался от намерения стать священником. Но надобно было на что-то жить. Не для того изучал я латынь, чтобы выделять ножи в предместье маленького городка. Я лелеял иные мечты. Наша мыза, коровы, наш сад не удовлетворяли моего честолюбия. Красоту Розы я находил грубой. Мать внушала мне, что только в таком городе, как Париж, могут вполне расцвести мои способности. Я легко свыкся с этой мыслью. Я заказал платье у лучшего портного в Лангре. В кафтане, со шпагой, стальной эфес которой приподнимал полу, я был так хорош, что не сомневался более в благосклонности фортуны. Отец Феваль дал мне письмо к герцогу де Пюибонну, и 12 июля достопамятного 1789 года, снабженный латинскими книгами, пышками, свиным салом и напутствиями, обливаясь слезами, я сел в дилижанс. Я въехал в Париж через Сент-Антуанское предместье, показавшееся мне еще более убогим, нежели самые бедные деревушки нашей провинции. Я пожалел от всей души и тех несчастных, что здесь жили, и самого себя, покинувшего родительский дом и наш фруктовый сад в поисках счастья среди этих отверженных. Однако торговец винами, ехавший вместе со мной в дилижансе, объяснил мне, что жители предместья ликуют, потому что разрушена некая старая тюрьма: Бастилия-Сент-Антуан. Он уверял меня, что Неккер^[308] тотчас вернет золотой век. Но парикмахер, слышавший наш разговор, утверждал, что Неккер погубит страну, если король тотчас же не даст ему отставку.

— Революция, — прибавил он, — великое зло. Никто не причесывается больше. А люди, которые не заботятся о прическе, ниже животных.

Слова его рассердили виноторговца.

— Знайте, господин парикмахер, — отвечал он, — что возрожденная нация пренебрегает мишурным блеском. Я проучил бы вас за ваши дерзкие речи, но мне недосуг. Спешу доставить вино господину Бальи, парижскому мэру, который оказывает мне честь своей дружбой.

На этом они расстались, а я зашагал со своими латинскими книгами и куском сала под мышкой, вспоминая материнские поцелуи, к дому герцога де Пюибонна, перед которым обо мне ходатайствовали. Герцогский дом находился на краю города, на улице Гренель. Прохожие охотно указывали мне дорогу, ибо герцог славился своей благотворительностью.

Он встретил меня любезно. Ничто в его одежде и манерах не погрешало против простоты. Он глядел весело, как человек, который хорошо поработал, не будучи к тому принуждаем.

Прочтя письмо отца Февалья, он сказал:

— Отзыв о вас порядочный, но что вы знаете?

Я отвечал, что знаю латынь, немного греческий, древнюю историю, риторику и поэтику.

— Вот какие прекрасные познания! — отвечал он улыбаясь. — Но я предпочел бы услышать, что вы имеете некоторое представление о земледелии, механике, торговле, банковских операциях и промышленности. Готов держать пари, что вы знаете законы Солона?

Я утвердительно кивнул головой.

— Очень хорошо! Но вы не знаете английской конституции. Впрочем, это неважно! Вы

молоды, и в вашем возрасте еще не поздно учиться. Я оставляю вас при себе с окладом в пятьсот экю. Господин Милль, мой секретарь, скажет вам, что от вас требуется. До свиданья, сударь!

Лакей провел меня к г-ну Миллю, который писал, сидя за столом, стоявшим посреди большой белой залы. Он знаком предложил мне подождать. Этот маленький, кругленький человек, довольно кроткий с виду, страшно вращал глазами, выводя строчку за строчкой, и ворчал вполголоса.

Я слышал, как с его губ срывались слова: *тираны, оковы, преисподняя, человек, Рим, рабство, свобода*. Я счел его сумасшедшим. Но он положил перо и улыбнулся, кивнув мне головой.

— А? Что? — сказал он. — Вы оглядываете помещение? Здесь все просто, как в доме древнего римлянина. Ни позолоты на карнизах, ни нелепых фигур на камине, ничего, что могло бы напомнить гнусные времена покойного короля, ничего, что было бы недостойно величия свободного человека. Свобода, природа — надобно записать эту рифму, хороша, не правда ли? Вы любите стихи, господин Пьер Обье?

Я отвечал, что даже слишком люблю их и что было бы лучше в интересах моей службы у монсеньера, если бы г-на Берка я предпочитал Вергилию^[309].

— Вергилий великий человек, — отвечал г-н Милль. — А какого вы мнения о Шенье?^[310] Что до меня, я не знаю ничего прекраснее его «Карла Девятого». Не утаю от вас, что я сам пробую свои силы в трагедии. И в ту минуту, когда вы вошли, я как раз кончил сцену, которой весьма доволен. Вы кажетесь мне человеком вполне порядочным. Я хочу посвятить вас в сюжет моей трагедии, но молчок! Вы представляете, какие последствия может вызвать малейшая неосторожность! Я пишу «Лукрецию».

Взяв в руки тетрадь, он прочел: *«Лукреция, трагедия в пяти актах. Посвящается нашему возлюбленному Людовику, восстановителю свободы во Франции»*.

Он декламировал мне двести стихов; затем остановился и сообщил, в виде извинения, что остальное еще не доведено до совершенства.

— Корреспонденция герцога, — сказал он, — отнимает у меня лучшие часы дня. Мы состоим в переписке со всеми просвещенными людьми Англии, Швейцарии и Америки. Скажу, кстати, что вам, господин Обье, поручается копирование и распределение писем. Если вам желательно знать, чем мы занимаемся в настоящее время, могу вам сказать. Мы устраиваем в Пюибонне показательную ферму, сплошь из английских колонистов, которые обязываются ввести в сельском хозяйстве Франции усовершенствования, уже осуществленные в Великобритании. Мы выписываем из Испании некоторые породы тонкорунных овец, отары которых обогатили своей шерстью Сеговию; тут мы сталкиваемся с такими затруднениями, что приходится прибегать к содействию самого короля. Наконец, мы покупаем швейцарских коров и раздаем их нашим вассалам.

Я не говорю уже о переписке, касающейся общественных дел. Ну, а вам, конечно, известно, что усилия герцога де Пюибонна направлены на установление во Франции английской конституции. Засим позвольте вас покинуть, господин Обье. Я еду во Французскую комедию! Дают «Альзиру»^[311].

В эту ночь я спал на тонких простынях, но спал дурно. Мне грезилось, что пчелы моей матери жужжат над развалинами Бастилии, над головой блаженно улыбающегося герцога де Пюибонна, окруженного элизийским сиянием. Проснувшись рано утром, я побежал к г-ну Миллю и прежде всего осведомился, хорошо ли он развлекался в Комедии. Он отвечал, что представление «Альзиры» позволило ему уловить некоторые авторские приемы, посредством которых Вольтер воздействует на чувствительность зрителей. Затем он дал мне переписать

набело письма, относящиеся к покупке тех самых швейцарских коров, которых добрый сеньор презентовал своим вассалам. В то время как я был занят работой, Милль разглагольствовал.

— Герцог добросердечен, — говорил он. — Я воспел его добрые дела в стихах; и не скажу, чтобы я ими оставался недоволен. Вы знаете имение Пюибонн? Нет! Восхитительное место отдыха. Мои стихи познакомят вас с его красотами. Я вам их прочту.

Прелестный дол, спокойствия приют,
Где дремлет зелень рощ, где чистою волною
Ручьи медлительно текут,
Свой рокот сладостный весною
Сливая с трелью соловья.
Как сердце трогает краса полей живая!
Как с буком у ручья люблю шептаться я,
Нежнейшим именем дриаду называя!..
Прекрасных мест владелец — Пюибонн.
Укрылось вместе с ним здесь, в замке, средь покоя
Добро, творимое его благой рукою,
И счастье чувством возвышает он.
Здесь учит Пюибонн пастушек шаловливых
Под вязами играть, а иногда
И сам он в плясках их участвует игривых
И дарит им свои стада.^[312]

Я был изумлен. В Лангре мне не доводилось слышать ничего столь изысканного, и я понял, что в воздухе Парижа есть нечто, чего нет нигде более.

После обеда я пошел осматривать знаменитые парижские памятники архитектуры. Гений искусств в течение двух веков расточал свои сокровища на прославленных берегах Сены. Мне же знакомы были лишь готические замки и соборы, мрачность и суровость которых навевает грустные мысли. В Париже, впрочем, сохранилось несколько таких варварских зданий. Кафедральный собор, что высится в старинной части города, свидетельствует нарушением пропорций и смешением стилей о низкой архитектурной культуре той эпохи, в которую он был воздвигнут. Парижане прощают ему его безобразие ради его древности. Отец Феваль имел обыкновение говорить, что все древнее достойно уважения.

Но совершенно иное впечатление оставляют памятники утонченного века! Цельность архитектурного замысла, гармоническое соотношение частей, широкое применение колонн всех ордеров, наконец красота ансамбля, возрождающего классические формы, — вот отличительные качества блистательных творений зодчих нового времени. Образцом художественной композиции, достойным Франции и ее королей, является колоннада Лувра. Ах, какой это город — Париж! Г-н Милль побывал со мной в театре, где прекраснейшие актрисы посвящают свой голос и свое чарующее мастерство гению Моцарта и Глюка. Более того! Он водил меня в Люксембургский сад, где я видел Рейналя, гулявшего с Дюссо^[313] под кущами вековых деревьев. О мой высокочтимый ректор, о мой наставник, мой отец, о господин Феваль! Зачем вы не были свидетелем радости и душевного волнения вашего

ученика, вашего сына!

Целые шесть недель я вел самый приятный образ жизни. Все вокруг меня предрекало возврат золотого века, и я уже грезил о колеснице Сатурна и Реи^[314]. Утром я переписывал письма под началом г-на Милля. Хороший товарищ был этот г-н Милль! А какой весельчак, какой любезник! И ветреный, как зефир!

После обеда я обязан был прочесть несколько страниц из *Энциклопедии*^[315] и затем мог располагать собою до следующего утра. Однажды вечером мы с г-ном Миллем пошли ужинать в Поршерон. Женщины с трехцветными лентами на чепцах стояли у дверей кабачков с корзинами цветов. Одна из них подошла ко мне и, взяв меня за руку, сказала:

— Вот вам, сударь, букет роз!

Я покраснел и не нашелся что ответить. Но г-н Милль, знавший парижские нравы, мне сказал:

— Нужно уплатить за розы шесть су и сказать какую-нибудь любезность хорошенькой девушке.

Я сделал и то и другое; затем я спросил г-на Милля, считает ли он эту цветочницу порядочной особой. Он отвечал, что все можно предположить, но в отношении женщины всегда должно быть учтивым! С каждым днем я все больше привязывался к милейшему герцогу де Пюибонну. Это был прекраснейший человек, чрезвычайно простой в обращении. Он думал, что, только отдавая всего себя людям, можно что-то им дать. Он жил как самый обыкновенный человек, считая, что роскошь богачей равносильна краже у бедняков. Он был неистощим в делах милосердия. Я слышал, как он однажды сказал:

«Что может быть отраднее труда на благо ближнего! Пусть это выразится в насаждении каких-либо полезных деревьев или в прививке черенка к дикой яблоне в лесу, плоды которой в будущем утолят жажду путника, сбившегося с дороги».

Доброжелательный вельможа занимался не только филантропией. Он усердно трудился над составлением новой конституции королевства. Будучи депутатом Учредительного собрания от дворянского сословия, он вместе с Малуэ и Станиславом Клермон-Тоннером^[316] заседал в рядах поклонников английской свободы, именуемых монархистами. И хотя эта партия, казалось, была уже обречена, все же его влекло к гуманнейшей из революций, на которую он горячо уповал. Мы разделяли его энтузиазм.

Несмотря на многие тревожные признаки, мы пребывали в восторженном состоянии духа еще в течение целого года. В первые дни июля я сопровождал г-на Милля на Марсово поле. Там двести тысяч человек всех сословий — мужчин, женщин, детей — своими руками воздвигали алтарь, перед которым они должны были принести обещание жить или умереть свободными. Парикмахеры в синих куртках, водовозы, аббаты, угольщики, капуцины, девицы из Оперы в платьях, разубранных цветами, с лентами и перьями в прическах, сообщая вскапывали священную землю родины. Какой пример братства! Мы видели, как Сийес и Богарне дружно везли тачку^[317]; мы видели, как отец Жерар подобно древнему римлянину, который, выходя из сената, брался за плуг, лопатой рыл землю^[318]; мы видели, как работала целая семья: отец киркой разбивал камни мостовой, мать насыпала камни в тачку, а дети поочередно подвозили их к месту работ, в то время как малыш, сидя на руках у девяностотрехлетнего деда, лепетал: «*Дело пойдет! Дело пойдет!*» Мы видели, как в полном составе шли садовники, держа лопату на плече, увенчанную пучками салата и маргариток. Многие корпорации проходили с музыкантами во главе; печатники несли стяг, на котором было написано: «*Книгопечатание — знамя свободы!*» Затем шли мясники. На их штандарте был изображен большой нож, и под ним надпись: «*Трепещите, аристократы, мясники идут!*»

И даже это казалось нам братством.

— Обье, друг мой, брат мой! — восклицал г-н Милль. — Я чувствую прилив поэтического вдохновения! Я сочиню оду и посвящу ее вам. Слушайте:

Ты видишь, друг, — толпой огромной
Бежит народ со всех сторон:
То Франции любимец скромный,
Рабочий люд, в лесу знамен.
Он к алтарю Отчизны милой
Приносит чистую любовь,
Ей будет верен до могилы
И ей отдаст до капли кровь!

Господин Милль с жаром произнес эти стихи; он был мал ростом, но любил широкие жесты. Платье на нем было амарантового цвета. Все эти обстоятельства привлекали к нему внимание, и, когда он прочел последнюю строфу, вокруг него образовалась кучка любопытных. Ему рукоплескали. Вне себя от восторга, он продолжал:

Открой глаза, наполни сердце
Величественным этим днем...

Но едва он произнес последний стих, какая-то дама в большой черной шляпе с перьями бросилась в его объятия и прижала его к косынке, повязанной у нее на груди.

— Как это прекрасно! — воскликнула она. — Позвольте вас расцеловать, господин Милль!

Капуцин, стоявший в кругу зевак, опершись подбородком на ручку заступа, захлопал в ладоши при виде столь горячих поцелуев. Тогда молодые патриоты, окружавшие капуцина, смеясь, толкнули его в объятия дамы, которая расцеловала и его при веселых возгласах толпы. Г-н Милль целовал меня, я целовал г-на Милля.

— Прекрасные стихи! — восклицала дама в большой шляпе. — Браво, Милль! Ну, прямо — Жан-Батист!^[319]

— Помилуйте, — возражал г-н Милль из скромности, склонив голову к плечу и покраснев, как наливное яблоко.

— Да, настоящий Жан-Батист! — повторяла дама. — Надобно спеть эти стихи на мотив «Ты не завидуй канарейке...»

— Вы слишком любезны, — отвечал г-н Милль. — Позвольте, мадам Бертемэ, представить вам моего друга Пьера Обье, прибывшего из Лимузена. Достойный молодой человек скоро станет настоящим парижанином.

— Дорогое дитя, — сказала в ответ г-жа Бертемэ, пожимая мне руку, — приходите к нам. Приведите его, господин Милль. По четвергам мы музицируем. Вы любите музыку? Но что за вопрос? Надо быть отъявленным варваром, чтобы не любить музыки. Приходите в будущий

четверг, господин Обье; моя дочь Амелия споем вам романс.

Говоря так, г-жа Бертемэ указала на молодую девушку, причесанную на греческий манер и одетую в белое; ее белокурые волосы и голубые глаза показались мне восхитительными. Кланяясь ей, я покраснел. Но она словно не заметила моего смущения.

Возвращаясь в особняк де Пюибонна, я не утаил от г-на Милля, что красота столь прелестной особы произвела на меня волнующее впечатление.

— Так, стало быть, — отвечал мне г-н Милль, — придется добавить еще одну строфу к моей оде!

И после короткого раздумья он сказал:

— Вот, пожалуйста!

Едва ты скромницы прекрасной
Сумеешь чувство заслужить,
Свою любовь с мольбою страстной
Спеши к ее ногам сложить.
Но к алтарю Отчизны оба
Бегите брак скрепить тотчас,
Чтобы своей слепой злобой
Не покарало небо вас.

Увы! Г-н Милль не обладал даром провидения, коим древние наделяли поэтов. Отныне наши счастливые дни были сочтены, и нашим прекрасным мечтаниям не суждено было сбыться. На другое утро, после празднества Федерации, нация пробудилась разъединенной. Слабый и ограниченный король не отвечал возлагавшимся на него народным упованиям.

Преступная эмиграция принцев и аристократов истощала страну, раздражала народ и вела к войне. Политические клубы главенствовали над Учредительным собранием. Народный гнев принимал все более грозные формы. Если нация была охвачена волнением, то и в моем сердце не было мира. Я вновь увидел Амелию. Я стал частым гостем в ее семье, не проходило недели, чтобы я два-три раза не посетил их дом на улице Нев-Сент-Эташ. Состояние их, когда-то блестящее, сильно пострадало во время революции, и можно сказать, что несчастье породило нашу дружбу. В нужде Амелия казалась мне более трогательной, и я полюбил ее. Я любил безнадежно. Чем мог я, бедный крестьянин, пленить эту прелестную горожанку?

Я восхищался ее талантами; занимаясь музыкой, живописью или переводами английских романов, она находила в благородных искусствах отвлечение от общественных и семейных несчастий. При встречах с людьми она держалась надменно, но со мной становилась шаловливой и охотно шутила. Видно было, что я занимаю ее воображение, но неволную сердца. Отец ее, полное ничтожество, слыл самым красивым гренадером в полку. Что касается г-жи Бертемэ, то, несмотря на свою порывистость, это была лучшая из женщин. Ее восторженность не имела пределов. Попугаи, экономисты и стихи г-на Милля совершенно лишали ее душевного равновесия. Она благоволила ко мне в короткие часы досуга, ибо почти все ее время было занято газетами и Оперой. Она была единственной женщиной, после своей дочери, встречаться с которой мне доставляло удовольствие.

Я вошел в доверие к герцогу де Пюибонну. Он более не занимал меня перепиской писем; теперь он поручал мне самые щепетильные переговоры и часто поверял мне дела, в которые

г-н Милль не был посвящен.

Впрочем, герцог утратил веру, если не мужество. Невозможно выразить, как огорчило его унижительное бегство Людовика XVI; но все же после возвращения короля из Варенна герцог де Пюибонн ревностно посещал высокопоставленного пленника, который презрел его советы и пренебрег его чувствами. Мой дорогой герцог остался до безрассудства преданным умирающей монархии. Десятого августа он был во дворце и только чудом спасся от гнева восставшего народа и пробрался к себе в особняк. Ночью он позвал меня. Я застал его переодетым в платье одного из управителей.

— Прощайте, — сказал он. — Я бегу из страны, ставшей на путь гибели и преступлений. Через день я вступлю на берега Англии. При мне триста луидоров, это все, что мне удалось обратить в деньги. Я оставляю здесь значительное имущество. Положиться я могу только на вас. Милль глуп. Защищайте мои интересы. Я знаю, что это чревато опасностями; но я достаточно уважаю вас, чтобы доверить вам хлопоты в рискованном деле.

Я ничего не ответил, только схватил его руки, поцеловал их и оросил слезами.

В то время как он бежал из Парижа, переодетый и снабженный подложным паспортом, я сжигал в камине его особняка бумаги, которые могли опорочить многие семьи и стоять жизни сотням людей. В следующие дни мне посчастливилось продать, — правда, по очень низкой цене, — кареты, лошадей и столовое серебро г-на де Пюибонна и спасти таким образом от семидесяти до восьмидесяти тысяч ливров, которые и были переправлены через пролив. Щекотливое поручение герцога было не менее опасным, чем его побег. Я рисковал жизнью. На другой же день после десятого августа в столице воцарился террор. На улицах, еще накануне оживленных пестрой смесью костюмов, оглашаемых криками уличных торговцев и цокотом конских копыт по мостовой, водворилось уныние и тишина. Все лавки были заперты; горожане, укрывшись в домах, дрожали за своих друзей и за себя.

Заставы охранялись, и никто не мог выйти из города, объятых ужасом. Патрули вооруженных пиками людей обходили улицы. Только и говорили что об обысках. Из своей комнаты, расположенной под самой крышей, я слышал шаги вооруженных граждан, стук прикладов и пик в двери соседних домов, стенания и крики жителей, которых тащили в секции. Санкюлоты, целыми днями устрашавшие террором мирных обывателей квартала, вечером собирались в соседней бакалейной лавке; там всю ночь напролет они пили, плясали карманьолу, пели «*Дело пойдет!*» И я до самого утра не смыкал глаз. Тревога еще усугубляла тяжесть бессонницы. Я жил в страхе, что какой-нибудь лакей донесет на меня и я буду арестован.

В те дни вспыхнуло какое-то поветрие доносов. Не было поваренка, который, возомнив себя Брутом, не предал бы хозяев, кормивших его.

Я постоянно был настороже: верный слуга обещал предупредить меня при первом же ударе дверного молотка. Не раздеваясь, я бросался на кровать или в кресла. При мне был ключ от садовой калитки. В те тревожные сентябрьские дни, когда я узнал, что сотни узников обезглавлены при полном равнодушии общества и попустительстве властей, отвращение преодолело страх, и мне стало стыдно за себя, ибо я заботился о своей безопасности, дрожал за свою жизнь, а мне должно было скорбеть за страну, где творятся такие злодеяния.

Я не боялся более показываться на улицах, не избегал встречи с патрулями. Однако ж я любил жизнь. Я испытывал на себе ее властные чары вопреки сердечным тревогам и горестям. Прелестный образ затмевал мрачные картины, которые разворачивались передо мною. Я любил Амелию, и ее юное лицо обретало в моем воображении неизъяснимое очарование. Я любил ее без надежды на взаимность. Но все же мне казалось, что, действуя мужественно, я становлюсь более достойным ее. Я льстил себя надеждой, что опасности,

которым я подвергаюсь, по крайней мере придадут мне весу в ее глазах.

В таком расположении духа я пришел к ней однажды утром. Она была одна. Еще никогда не говорила она со мной так ласково. Подняв глаза к небу, она обронила слезу. Невыразимое волнение овладело мной. Я упал к ее ногам, схватил ее руку и обливал ее горячими слезами.

— О брат мой! — сказала она, стараясь поднять меня.

Я не понял в тот миг жестокой ласки в этом слове «брат». Я говорил с ней от всего сердца.

— Да! — восклицал я. — Ужасные времена! Люди злы. Бежим от них! Счастье в уединении. Есть еще далекие острова, где можно жить в простоте, в неизвестности. Бежим туда! Пойдем искать счастья в тени латаний, на могиле Виргинии!^[320]

Я говорил, а она глядела вдаль и, казалось, грезила; но были ли ее грезы в согласии с моими, я не знал.

III

Остальную часть дня я провел в самых жестоких сомнениях. Я не мог ни отдохнуть, ни чем-либо заняться. Одиночество страшило меня, людей я бежал. В таком душевном состоянии я рассеянно бродил по улицам и набережным, глядя с грустью на изуродованные гербы на фронтонах особняков и на обезглавленных святых в порталах храмов. Замечтавшись, я нечаянно очутился в Пале-Рояле среди пестрой толпы праздных парижан, приходивших сюда прочесть газету за чашкой кофе. В те дни Деревянные галереи имели праздничный вид.

С момента объявления войны и успеха союзных армий парижане приходили в Тюильри и Пале-Рояль, чтобы узнать последние новости. В хорошую погоду там собирались большие толпы, и даже самая неустойчивость положения вносила некоторое разнообразие в жизнь.

Многие женщины, одетые с простотой древних гречанок, носили у пояса или в волосах ленты трех цветов нации. В толпе я чувствовал себя еще более одиноким; весь этот шум, вся эта суэта не вовлекали меня в свой круговорот, а скорее отталкивали и принуждали уйти в себя.

«Увы! — говорил я себе. — Достаточно ли ясно я сказал? Выказал ли я вполне свои чувства? И не сказал ли я чего-нибудь лишнего? Даст ли она согласие встретиться со мной теперь, когда знает, что я люблю ее? Но знает ли она? И хочет ли она знать?»

Так сетовал я на шаткость своей судьбы, как вдруг мое внимание привлек чей-то знакомый голос. Я поднял голову и увидел г-на Милля, который пел в кафе, стоя в кругу патриотов и гражданок. На нем был мундир Национальной гвардии, левой рукой он обнимал молодую женщину, в которой я признал одну из цветочниц Рампонио, и пел на мотив «Лизетты»:

Пусть сотни депутатов с нас
И сняли бы оковы,

Красавиц тысячи тотчас
Вернут нас в рабство снова.
Ведь дамы — это не секрет —
Порядок любят старый...
Похвалишь новый ты декрет —
Жди их суровой кары!

Одобрительный ропот был наградой певцу. Г-н Милль улыбнулся, поклонился небрежно и, обернувшись к подруге, пропел:

О милая Софи, им всем
Хоть вы не подражайте
И философию ничем,
Молю, не унижайте.
Салонам Франции она
Диктует все законы,
И с ней права вернет, сполна
Народ многомиллионный!

Ему рукоплескали. Г-н Милль, вынув из кармана бант, передал его Софи, напевая;

Пора кокарду пристегнуть
И вам в порыве братском,
Люблю украсить ею грудь
Я на посту солдатском.
И если золота милей
Вам розы в час расцвета,
Найдете все цветы полей
В трехцветной ленте этой.

Софи, приколов трехцветную ленту к чепцу, победоносно обвела слушателей своим тупым взглядом. Все рукоплескали. Г-н Милль раскланялся. Он глядел в толпу, не видя ни меня, ни кого-либо другого; или, вернее, в этой толпе он видел только отражение самого себя.

— Ах, сударь! — вскричал мой сосед, расцеловав меня в припадке восторга. — Ах, если бы пруссаки и австрийцы видели это! Они дрогнули бы, сударь! Им повезло при Лонгви и Вердене. Но Париж, окажись они тут, стал бы им могилой. Народ настроен воинственно. Я только что из Тюильри. Я слышал там певцов. Перед статуей Свободы они пели марш марсельцев. Толпа закипала гневом, повторяя хором припев:

К оружию, граждане!

Жаль, что пруссаков там не было. Они от страха провалились бы сквозь землю!

Мой собеседник был человек самый обыкновенный: лицом не хорош, но и не дурен, ростом не велик, но и не мал. Такой, как все! Ничего примечательного! Но он ораторствовал во весь голос, и его сразу же окружили. Откашлявшись и разыгрывая важную персону, он продолжал:

— Враг на подступах к Шалону. Окружим его железным кольцом. Граждане, возьмем в свои руки охрану общественной безопасности! Не доверяйте генералам, не доверяйте главному штабу действующей армии, не доверяйте министрам, не доверяйте даже своим депутатам в Конвенте и давайте спасать себя сами!

— Браво! — вскричал кто-то из присутствующих. — Поспешим в Шалон!

Какой-то низкорослый человек резко оборвал его:

— Патриоты не должны покидать Парижа, пока не уничтожат предателей.

Я тотчас же узнал, чьи уста произнесли эти слова. Я не мог ошибиться. Огромная голова, нетвердо державшаяся на узких плечах, плоское, бескровное лицо. Да, это жалкое, уродливое существо был мой бывший наставник, отец Журсанво! Убогий камзол сменил сутану. Якобинский колпак на голове. Лицо его изобличало лютую ненависть и вероломство. Я отвернулся, но не мог не слышать бывшего члена конгрегации Оратории, который продолжал свою тираду в следующих выражениях:

— Мало было пролито крови в славные сентябрьские дни! Великодушный народ чересчур щадил заговорщиков и предателей!

При этих словах я в страхе поспешил уйти. Ребенком я упрекал Журсанво в несправедливости и недоброжелательстве. Но мог ли я подозревать, что он так низок душой! Обнаружив, что мой бывший наставник гнусный негодяй, я ощутил горечь в сердце.

«Зачем я не ребенок! — мысленно восклицал я. — К чему жить, если жизнь готовит тебе такие встречи? О добрый ректор, отец Феваль! Лишь воспоминание о вас может утишить мои душевные муки! Куда забросил вас шквал народных волнений, о мой единственный, мой истинный наставник? Но, где бы вы ни были, я уверен, человеколюбие, сострадание и самопожертвование по-прежнему сопутствуют вам. Вы наставляли меня на путь прямой и мужественный. Вы закаляли мой дух в предвидении дней испытаний. Пусть же ваш ученик, ваш сын, будет достоин вас!»

Едва я окончил этот монолог, обращенный к самому себе, как робость моя прошла. И естественным образом, возвращаясь мыслью к моей дорогой Амелии, я понял, в чем состоит мой долг, и положил его выполнить. Я открылся в своих чувствах Амелии. Не должен ли я откровенно поговорить и с г-жой Бертемэ?

Я был в двух шагах от двери: мечты привели меня к дому, где жила Амелия. Я вошел. Я говорил.

Госпожа Бертемэ выслушала меня с улыбкой, сказав, что я поступил как порядочный человек. Затем, переходя на более серьезный тон, она продолжала:

— Я хочу, заботясь о вашем спокойствии, поделиться с вами одной тайной! Мою дочь любит кавалер де Сент-Анж, и мне кажется, что к его ухаживанию она не остается равнодушной. Впрочем, я бы желала, чтобы она забыла о нем. Состояние наше тает с каждым

днем, и любовь кавалера подвергается испытанию, из которого самые пламенные чувства не всегда выходят победителями.

Кавалер де Сент-Анж! Я вздрогнул, услышав это имя; моим соперником оказался нежнейший из поэтов, очаровательнейший из светских любезников! Происхождение, красота, талант, — короче, у него было все, чтобы пленять женщин! Накануне я видел в руках одной дамы черепаховую табакерку с миниатюрой, на которой был изображен кавалер де Сент-Анж в форме драгуна.

Глядя на портрет, я позавидовал, как и всякий бы другой на моем месте, его мужественному изяществу и величественной прелести осанки. Каждое утро я слышал, как моя соседка, швея, сидя на пороге своего дома, напевает бессмертный романс «Залог».

О, лучше, плод любви несчастной,
Ты вовсе не был бы рожден!
Ошибки не свершай ужасной,
Какой на жизнь ты осужден...

А недавно я с наслаждением прочел философский роман, открывший перед кавалером де Сент-Анжем двери Французской академии, чудесного «Кинегира», который оставил далеко позади «Нуму Помпилия» Флориана^[321].

«Ваш „Кинегир“, — сказал почтенный Седен, принимая кавалера де Сент-Анж в общество „Славных“, — ваш „Кинегир“ посвящен тени Фенелона, и приношение не обеславило алтарь». Так вот кто мой соперник: чувствительный автор «Залога», собрат по перу Фене-лона и Вольтера! Я был смущен, удивление притупило остроту горя.

— Как, сударыня! — вскричал я. — Кавалер де Сент-Анж...

— Да, — продолжала она, кивнув головой, — превосходный поэт. Но не воображайте, что этот человек похож на героев своих поэм. Увы! Его любовь тает по мере того, как тает наше состояние.

Из великодушия она выразила сожаление, что выбор ее дочери пал не на меня.

— Талант, — сказала она, — еще далеко не залог счастья. Напротив! Люди высокоодаренные, поэты, трибуны должны бы жить одиноко. На что им спутницы в той жизни, где они не могут встретить равных себе! Гениальность обрекает их на себялюбие. Превосходство не остается для человека безнаказанным.

Но я не слушал ее; я стоял в растерянности. Это открытие убило во мне любовь. Я никогда не питал никакой надежды. Любовь без надежды жить не может. Моя любовь умерла от одного слова.

Кавалер де Сент-Анж! Признаться ли? Мое сердце истекало кровью, а самолюбие испытывало некоторое удовлетворение при мысли, что и всякий другой был бы отвергнут при таком сопернике!

Я расцеловал руки г-жи Бертемэ и вышел от нее спокойно, безмолвно, неторопливо, как тень того благородного любовника, который часом ранее входил сюда излиться перед матерью Амелии в признаниях и сомнениях. Я был неутешен. Я не страдал; я испытывал лишь удивление, стыд и страх от сознания, что в силах пережить лучшее, что есть во мне, — мою любовь!

Когда я проходил через Новый мост, возвращаясь в свое старое, опустевшее предместье,

на площадке, у подножия цоколя, на котором еще недавно высилась статуя Генриха IV, какой-то певец из музыкальной Академии с воодушевлением исполнял гимн марсельцев. Толпы людей с обнаженными головами хором подхватывали припев: «К оружию, граждане!» Но когда певец пел последние слова гимна: «К отчизне священная любовь!» голосом проникновенным и торжественным, народ дрогнул в святом упоении. При словах: «За родину, за свободу!..» я упал на колени, и вся толпа следом за мной поверглась на камни мостовой. О родина! Родина! За что твои сыны так беззаветно любят тебя? Из праха и крови возникает твой светлый образ. О родина! Счастлив тот, кто умирает за тебя!

Солнце, клонившееся к горизонту, обложенному багровыми тучами, изливало свои пламенные потоки на воды прославленной из рек. Прощай, последний луч моих счастливых дней!

О, в какую мрачную пору своей жизни вступил я в тот вечер! Когда я запираю дверь моей комнатки под самой кровлей особняка де Пюибоннов, мне показалось, что я закладываю камнем вход в склеп.

«Кончено! — сказал я себе разрыдавшись. — Я не люблю больше Амелии. Но зачем обречен я постоянно вспоминать ее? Зачем я так горько оплакиваю мою бедную, вырванную с корнем любовь?»

Мучительная тревога — предчувствие близкой беды — сопровождала сердечным тревожением. Положение внутри страны приводило меня в отчаяние. Гнетущая тоска дошла до последнего предела, и я, не надеясь получить работу, принужден был скрываться, чтобы не быть арестованным по подозрению в измене. Г-н Милль не появлялся в доме с десятого августа. Я хорошо не знал, где он живет; но мне было известно, что он не пропускает ни одного заседания Коммуны и всякий день наизусть произносит перед ратушей, при горячем одобрении вязальщиц и санкюлотов, все новые гимны. Он был самый ярый патриот из всех поэтов, и даже гражданин Дора-Кюбьер казался рядом с ним умеренным республиканцем^[322], подозрительным в глазах демагогов. Сношения со мной были опасны; поэтому г-н Милль не навещался ко мне, а деликатность избавляла меня от труда разыскивать его. Однако, будучи порядочным человеком, он прислал мне отпечатанный сборник своих песенок. О, как мало была похожа его вторая муза на первую! Та была напудрена, нарумянена, благоухала мускусом. А эта походила на фурию со змеями вместо волос! Я по сейчас помню одну песенку санкюлотов, дышавшую угрозой. Она начиналась так:

Друзья, довольно пели мы
В дни деспотизма, зла и тьмы
Хвалебный гимн тиранам!
Свободы, равенства оплот,
Нам дан закон. Так, санкюлот,
Тебя воспеть пора нам!

Суд над королем привел меня в невыразимое смятение. Я жил в постоянном страхе. Однажды утром кто-то постучался ко мне в дверь. По осторожности стука я признал дружескую руку; я отпер — г-жа Бертемэ бросилась ко мне.

— Спасите меня, спасите нас! — заговорила она. — Мой брат Эстанс, мой единственный брат, внесенный в списки эмигрантов, искал у меня убежища. Он арестован по доносу. Вот

уже пять дней, как он в тюрьме. К счастью, обвинение, предъявленное ему, весьма туманно и необоснованно. Мой брат никогда не был эмигрантом. Если его выпустят на волю, он сумеет найти свидетелей, которые докажут, где он находился все это время. Я просила кавалера де Сент-Анжа оказать нам такую услугу. Из осторожности он отказал в моей просьбе. Так вот, друг мой, сын мой, об этой услуге, опасной для него и еще более опасной для вас, я и пришла вас просить.

Я поблагодарил ее за эту просьбу, как за милость. Воистину, это была величайшая милость, какую только можно оказать порядочному человеку.

— Я хорошо знала, что вы мне не откажете! — вскричала г-жа Бертемэ, обнимая меня. — Но это еще не все, — прибавила она. — Вам придется найти еще одного свидетеля. Необходимо представить двух свидетелей, чтобы брата освободили! В какие времена мы живем, друг мой! Господин де Сент-Анж отстраняется от нас: наше несчастье бросает тень и на него. Господин Милье остерегается бывать у людей, находящихся на подозрении. Кто мог бы подумать! Вы помните день Федерации? Все мы были воодушевлены чувством братства, а какое на мне было прелестное платье!

Она ушла от меня в слезах. Вслед за ней сошел по лестнице и я, пустившись на поиски свидетеля, хотя, говоря правду, мне представлялось крайне затруднительным найти такового. Коснувшись рукой подбородка, я заметил, что за неделю у меня выросла борода, а это могло возбудить подозрение. Поэтому я тут же пошел к цирюльнику, что на углу улицы св. Гильома.

Этот цирюльник, по имени Ларисс, был очень добрый человек, высокий, как тополь, всегда встревоженный и дрожавший, как осиновый лист. Когда я вошел в его лавку, он обслуживал какого-то виноторговца из нашего квартала, и тот, пока ему намыливали лицо, изощрялся в угрозах по адресу брадобрея.

— Эх ты, смазливый дамский угодник! — говорил он. — Вот отрубят тебе голову да насадят ее на пик в угоду твоим аристократическим вкусам! Надо, чтобы все враги народа попали в «корзину для салата», начиная с толстого Капета и кончая тощим Лариссом. И *«Дело пойдет!»*

Ларисс, бледнее луны и трепетнее листа, брил с невероятными предосторожностями подбородок бранчливого патриота. И я установил, что никогда еще за всю свою практику парикмахер не проявлял такого усердия. Я видел в этом поруку в благоприятном исходе затеи, которая внезапно пришла мне в голову. Я решил просить Ларисса идти со мной в качестве свидетеля в Комитет общественного спасения.

«Он трус, — сказал я себе, — и не осмелится отказать мне в просьбе».

Виноторговец ретировался, угрожающе ворча сквозь зубы. И я остался наедине с парикмахером, который, весь еще дрожа, повязывал мне вокруг шеи салфетку.

— Ах, сударь! — шептал он мне на ухо голосом более слабым, нежели вздох. — Адские силы обрушились на нас! Неужто я обучался парикмахерскому мастерству для того, чтобы обслуживать этих дьяволов? Головы, которые я имел честь причесывать, находятся теперь в Лондоне или Кобленце! А как поживает герцог де Пюибонн? Хороший был господин!

Я сообщил ему, что герцог живет в Лондоне уроками чистописания. И в самом деле, я не так давно имел от герцога известие и знал, что живет он в Лондоне в свое удовольствие на четыре шиллинга шесть пенсов в день.

— Все возможно, — отвечал Ларисс, — но причесывают в Лондоне не так, как в Париже. Англичане мастера составлять конституции, но париков делать они не умеют, и пудра у них недостаточно белая.

Ларисс быстро побрил меня. Борода у меня была еще не очень жесткой в те годы. Едва он сложил бритву, как я взял его за руку и твердо сказал:

— Дорогой господин Ларисс, вы человек любезный: не откажитесь сопровождать меня в собрание секции Главного почтового управления, что помещается в бывшей церкви святого Евстахия. Там мы с вами засвидетельствуем, что господин Эстанс никогда не был эмигрантом.

При этих словах Ларисс побледнел и прошептал голосом умирающего:

— Но я не знаю господина Эстанса!

— И я тоже, — отвечал я.

То была чистейшая правда. Я разгадал характер Ларисса. Он был уничтожен. От страха он постоянно попадал в беду. Я взял его за руку. Он покорно последовал за мной.

— Вы ведете меня к смерти, — кротко сказал он.

— К славе! — ответил я.

Не знаю, был ли ему ведом трагизм славы, но к почестям он был чувствителен; мое предложение, видимо, польстило ему. Вероятно, он был несколько знаком с изящной словесностью, ибо, высвободив свою руку из моей, направился в помещение позади лавки.

— Сударь, — сказал он, — позвольте мне надеть мое лучшее платье. В древности жертвы украшались цветами. Я читал об этом в Готском альманахе^[323].

Он вынул из комода синий сюртук и облек в него свою высокую и гибкую фигуру. В такой экипировке он и сопровождал меня в собрание секции Главного почтового управления, заседавшей непрерывно.

При входе в бывшую церковь, на дверях которой можно было прочесть слова: «Свобода, равенство, братство или смерть!», у Ларисса пот выступил на лбу; однако ж он вошел внутрь. Один из граждан, спавший среди пустых бутылок, пробудился и, еще полусонный, сначала выслушал наше заявление, потом послал нас в революционный комитет.

Мне довелось уже два раза побывать в этом комитете с г-жой Бертемэ. Председателем комитета был содержатель меблированных комнат на улице Труандери, облюбованных девицами квартала. Среди членов комитета фигурировали точильщик, привратник и пятновыводчик по имени Бистак. Нам пришлось иметь дело с точильщиком. Он сидел в непринужденной позе, с засученными рукавами; глядел он простаком.

— Граждане, — сказал он, — раз уж вы представили аттестацию по форме, мне нечего возразить, потому как я должностное лицо, значит с меня достаточно формы. Скажу одно: человеку с образованием и умом не положено покидать Париж в такое время. Потому как, видите ли, граждане...

Он запнулся; затем, пытаясь выразить свою мысль, сперва вытянул голую мускулистую руку, потом поднял ее и, постучав пальцем по лбу, сказал: «Одного этого мало (разумея под „этим“ свою руку, рабочий инструмент), требуется также и это („это“ означало голову, кладезь познаний)».

Тут он стал похвастаться своими природными способностями и жаловаться на родителей, которые не дали ему образования. Затем он приступил к исполнению служебной обязанности, состоявшей в том, чтобы поставить подпись на нашем заявлении. Вопреки его доброй воле дело долго не клеилось. В то время как его рука, привыкшая к точилу, с трудом приспособлялась к перу, пятновыводчик Бистак вошел в залу. Бистак, не в пример точильщику, не отличался мягким нравом. У него была душа якобинца. При виде нас лоб у него нахмурился, ноздри раздулись: он почуял аристократов.

— Кто ты? — спросил он меня.

— Пьер Обье.

— Что ж, Пьер Обье, ты и впрямь думаешь проспать эту ночь в своей постели?

Я не потерял присутствия духа, но мой спутник затрясся всем телом. У него так стучали

зубы, что Бистак насторожился и, забыв обо мне, занялся бедным Лариссом.

— Глядишь ты заправским заговорщиком, — сказал Бистак страшным голосом. — Твоя профессия?

— Цирюльник. Ваш покорный слуга, гражданин!

— Все цирюльники — фельяны!

Обычно от страха Ларисс становился способен на самые героические поступки. Он признавался мне, что в тот миг ему стоило нечеловеческих усилий не крикнуть: «Да здравствует король!» Однако он не крикнул, но гордо ответил, что ему не за что благодарить революцию, упразднившую парики и пудру, и что он устал постоянно дрожать за свою жизнь.

— Возьмите мою голову! — прибавил он. — Я предпочитаю умереть сразу, чем жить в вечном страхе.

Такие речи озадачили Бистака.

Тем временем точильщик, туго шевеливший мозгами, но настроенный доброжелательно, предложил нам удалиться.

— Ступайте, граждане, — сказал он, — но помните, что Республика нуждается вот в этом!

И он указал на свой лоб.

Брат г-жи Бертемэ был освобожден на другой же день. Мать Амелии рассыпалась в благодарностях и расцеловала меня, ибо она была охотница целоваться. Но это было еще не все!

— Вы заслужили, — сказала она, — право на признательность Амелии. Я хочу, чтобы моя дочь лично засвидетельствовала вам свою благодарность. Она обязана вам жизнью своего дядюшки. Правда, дядюшка значит для нее меньше, чем мать, но все же каких только похвал не заслуживает ваше мужество...

Она ушла, чтобы позвать Амелию.

Оставшись наедине с самим собою в гостиной, я ждал. Я спрашивал себя, достанет ли у меня силы вновь ее увидеть. Я робел, я надеялся, я был ни жив ни мертв.

Минут через пять г-жа Бертемэ появилась, но одна.

— Простите неблагодарную! — воскликнула она. — Моя дочь отказывается выйти к вам. «Мне невыносимо его присутствие, — сказала она. — Видеть его мне будет мучительно: отныне он мне ненавистен! Выказав более мужества, нежели человек, любимый мною, он получил жестокое преимущество. В жизни моей я не увижу его более: он великодушен, он простит меня».

Воспроизведя в точности ответ дочери, г-жа Бертемэ закончила такими словами:

— Забудьте неблагодарную!

Я обещал приложить к тому все усилия и сдержал слово. События содействовали мне в этом. В Париже царил террор. Страшный день 31 мая лишил умеренных последней их надежды^[324].

Из-за переписки с герцогом де Пюибонном, которую я по-прежнему поддерживал, на меня, как на заговорщика, было уже несколько доносов, и я жил под угрозой каждую минуту потерять свободу и жизнь.

С просроченным удостоверением о благонадежности в кармане, не решаясь просить о выдаче нового из боязни, что меня тут же арестуют, я влачил жалкое существование.

В ту пору был объявлен рекрутский набор двенадцати тысяч человек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Я записался. И второго брюмера II года^[325], в шесть часов утра шагал по дороге в Нанси вдогонку за своим полком. Я находил, что в солдатской

шапке, с мешком за плечами, в карманьоле, у меня довольно воинственный вид.

Время от времени я оборачивался, чтобы взглянуть на великий город, где я так страдал и любил. И, смахнув слезу, шел дальше. Я пробовал петь, чтобы придать себе мужества, и затягивал марсельезу:

Вперед, сыны Отчизны милой!..

На первой остановке в пути я показал подорожную крестьянам, которые позволили мне переночевать в хлеве. Там, на соломе, я заснул блаженным сном. Пробуждаясь, я думал:

«Как хорошо! Я не рискую более угодить на гильотину. Мне кажется, что я уже не люблю Амелию; или, вернее, мне кажется, что я никогда и не любил ее. Мне выдадут саблю и ружье. И мне нечего будет бояться, кроме пуль австрийцев. Сердцеед и Надуй-Смерть ^[326] правы: нет ремесла лучше солдатского. Но кто бы мог сказать в те времена, когда я изучал латынь под цветущими яблонями аббата Ламаду, что настанет день и мне придется защищать Республику? Ах, господин Феваль! Кто бы мог сказать, что юный Пьер, ваш ученик, будет воевать?»

На следующей остановке какая-то добрая женщина уложила меня спать на чистых простынях в постели, потому что я был похож на ее сына.

Потом я сделал привал у некоей канониссы, отправившей меня, несмотря на дождь и ветер, ночевать на чердак, да и то скрепя сердце. Настолько защитник Республики казался ей похожим на разбойника!

Наконец я догнал свой отряд на берегах Мааса. Мне выдали шпагу. Я покраснел от удовольствия и вырос в своих глазах на целую голову. Не смейтесь надо мной! Согласен, что во мне говорило тщеславие, но ведь оно-то и рождает героев! Едва успели мы экипироваться, как был получен приказ двинуться на Мобеж.

Мы подошли к берегам Самбры глубокой ночью. Все безмолвствовало окрест. Вдали, по ту сторону реки, мы завидели костры. Там раскинулся бивак неприятеля. Сердце бешено колотилось в моей груди.

Я представлял себе войну по описаниям Тита Ливия. Но, призываю в свидетели вас, леса, долины, холмы, берега Самбры и Мааса, все оказалось ложью! А на самом деле война — это переходы через объятые пламенем деревни, это привалы в придорожной грязи, свист пуль над головой, когда ты в долгие тоскливые ночи часами стоишь на посту! Ни картинных сражений, ни батальонов на марше мне ни разу не довелось видеть. Спали мы на ходу, жили впроголодь. Флоридор, наш сержант, старый гвардеец, клялся, что мы ведем «праздничную жизнь»: он преувеличивал, но мы и в самом деле не слишком страдали от лишений, ибо нас воодушевляло сознание, что мы исполняем свой долг и служим родине.

Поистине мы гордились нашим полком, который покрыл себя славой при Ватиньи. Он состоял большей частью из бывалых и хорошо обученных солдат королевской армии. Но, участвуя в нескольких кампаниях, полк понес большие потери; поэтому решено было пополнить его состав молодыми рекрутами. Без ветеранов, которые представляли собою основу нашего отряда, мы ничего бы не стоили. Надобно много времени, чтобы обучить солдата, а на войне энтузиазмом не заменить опытности.

Наш полковник происходил из дворян моего родного края. Со мною он был приветлив. Старый провинциальный роялист, солдат, а не придворный, он сильно запоздал сменить

белый мундир войск его величества на синюю солдатскую форму II года. Он ненавидел Республику и каждый день готов был отдать за нее жизнь.

Благословляю провидение, направившее мои пути к границе, ибо тут я обрел мужество.

(Писано на биваке, на Самбре, от седьмого дня декады 27 фримера по шестой день декады 6 нивоза II года французской Республики, рекрутом Пьером Обье.)

Аллея Королевы была пустынна. Глубокая тишина летнего безветренного дня царила на зеленых берегах Сены, под старыми подстриженными буками, от которых уже тянулись к востоку длинные тени, и в покойной лазури безоблачного неба, не пасмурного, но и не солнечного. Какой-то прохожий, возвращавшийся из Тюильри, медленно направлялся к холмам Шайо. Изящная худоба говорила о его юности, а камзол, короткие штаны и черные чулки изобличали его принадлежность к буржуазии, владычество которой, наконец, наступило. Однако его лицо выражало скорее озабоченность, нежели восторг. Он держал книгу в руке; палец, заложенный между страницами, отмечал место, на котором он прервал чтение; но он больше не читал. По временам он останавливался и прислушивался, стараясь уловить неясный и, однако ж, грозный гул, доносившийся из Парижа, и в этом гуле, более приглушенном, нежели вздох, он угадывал предсмертные стоны, крики ненависти, радости, любви, бой барабанов, выстрелы, — словом, всю ту тупую жестокость и высокий восторг, которые революции подьют с городских мостовых и возносят к пламенному солнцу! Порою юноша оборачивался и вздрагивал. Все, что он узнал, все, что он услышал и увидел в последние часы, запечатлелось в его сознании образами смутными и странными: Бастилия взята, и стены ее разрушены народом; купеческий старшина убит выстрелом из пистолета в гуще разъяренной толпы; комендант крепости, старик де Лонэ, заколот у подъезда ратуши; грозная чернь, бледная, как сам голод, вне себя от возбуждения, хмельная, грезящая кровью и славой, откатывалась от Бастилии к Гревской площади; а над сотнями тысяч этих подверженных галлюцинациям голов — тела повешенных на фонарных столбах инвалидов и увенчанное дубовыми листьями чело триумфатора в синем с белым мундире; победители, со списками заключенных, серебряной утварью и ключами от старинной крепости, всходят среди яростных кликов на окровавленные ступени; а во главе их, взволнованные, торжествующие, еще не веря себе, стоя ногами в крови, а головой уносясь в заоблачные выси, шествуют народные представители Лафайет и Бальи^[327]. И вдруг бушующую толпу обуревают страх: проносится слух, что ночью королевские войска вступят в город; тотчас начинают рушить решетки дворцов, из них делают пики, грабят оружейные склады; на улицах граждане воздвигают баррикады, а женщины втаскивают на крыши зданий камни, чтобы побивать ими иностранные полки!

Жестокие сцены, проносясь в воображении молодого мечтателя, принимают печальную окраску. Держа в руках свою любимую книгу, английскую книгу, исполненную размышлений о смерти, он идет вдоль берегов Сены, под кронами аллеи Королевы, к тому белому дому, вокруг которого ночью и днем витают его мысли. Кругом все спокойно. Он видит рыболовов, которые сидят на берегу, свесив ноги в воду; и он следит рассеянным взглядом за течением реки. Поднявшись на первые отроги холмов Шайо, он встречает патруль, охраняющий дорогу между Парижем и Версалем. Отряд, вооруженный ружьями, мушкетами, алебардами, составлен из ремесленников в саржевых или кожаных фартуках, из судейских, одетых в черное, священника и бородатого великана, босого, в одной рубашке. Они останавливают каждого прохожего: подозревают о связи между комендантом Бастилии и двором; опасаются вероломного нападения.

Но прохожий молод и простодушен с виду. После первых же слов, которые он

произносит, патруль, посмеиваясь, пропускает его.

Он поднимается по отлогому склону, вдыхая запах цветущей жимолости, и, не дойдя до конца улочки, останавливается у решетки сада.

Сад невелик, но извилистые дорожки, холмистая местность удлиняют путь. Ивы купают концы своих ветвей в бассейне, где плавают утки. На углу улицы высится на пригорке легкая беседка, а перед домом раскинулась зеленая лужайка. Там, на деревянной скамейке, сидит молодая женщина; она склонила голову; ее лицо скрыто большой соломенной шляпой с венком из живых цветов вокруг тульи. Поверх розового в белую полосу платья на ней косынка, завязанная немного выше талии, что, удлинняя юбку, сообщает фигуре изящество. Ее руки, обтянутые узкими рукавами, покоятся празднично. Корзина античной формы, доверху наполненная клубками шерсти, стоит у ее ног. Тут же золотокудрый ребенок с голубыми глазами собирает лопаткой в кучки песок.

Молодая женщина сидит не шелохнувшись, как зачарованная; а юноша, стоя у решетки, не дерзает рассеять сладостное очарование. Но вот она поднимает голову; ее молодое, почти детское лицо с правильными чертами обличает в ней натуру нежную и кроткую. Он склоняется перед ней. Она протягивает ему руку.

— Здравствуйте, господин Жермен! Какие новости? «Какие новости вы принесли?» — как поется в песне. Я знаю только песни.

— Простите меня, сударыня, что я помешал вашим мечтам. Я любовался вами. Одинокая, недвижимая, с головой, склоненной долу, вы казались мне грезящим ангелом.

— Одинокая! Одинокая! — отвечает она, как будто расслышав лишь это слово. — Одинокая! Бываю ли я одинока?

И, заметив, что он смотрит на нее в недоумении, она прибавляет:

— Ах, не расспрашивайте меня! Это мои сокровенные мечты... Скажите же, какие новости?

Он рассказывает ей о великих событиях дня: Бастилия пала, провозглашена свобода. Софи слушает серьезно.

— Надо радоваться, — говорит она, — но наша радость должна быть суровой радостью самоотречения. Отныне французы не принадлежат себе; они принадлежат революции, которая преобразует мир.

В то время как она произносит эти слова, ребенок радостно бросается к ней на колени.

— Посмотри, мама, посмотри же, какой хорошенький садик!

Целуя его, она говорит:

— Ты прав, Эмиль! В жизни самое мудрое занятие — возделывать сад!

— И это верно, — замечает Жермен. — Какая галерея, изукрашенная порфиром и позолотой, сравнится с этой зеленой аллеей?

И, представив себе всю прелесть прогулки по тенистой садовой дорожке, рука об руку с молодой женщиной, он, бросив на нее выразительный взгляд, восклицает:

— Ах, что мне до человечества и революций!

— О нет! — говорит она. — Нет! Я не могу не думать о великом народе, который стремится установить царство справедливости на земле. Моя приверженность новым идеям вас удивляет, господин Жермен? Мы с вами знакомы с недавнего времени. Вы не знаете, что отец выучил меня читать по «Общественному договору» и евангелию. Однажды, гуляя со мной, он показал мне Жан-Жака. Увидев омраченное лицо мудрейшего из людей, я, будучи тогда еще ребенком, залилась слезами. Я воспитана в ненависти к религиозным предрассудкам. Позднее мой муж, подобно мне последователь философских принципов «естественного человека», пожелал дать нашему сыну имя Эмиль и приучить его с ранних

лет к физическому труду. В последнем письме, написанном им, тому три года, на борту судна, за несколько дней до кораблекрушения, при котором мой муж погиб, он напоминает мне о советах Руссо касательно воспитания. Я вся проникнута новыми идеями. Я верю, что надо бороться во имя справедливости и свободы.

— Как и вы, сударыня, — вздохнул Жермен, — я испытываю ужас перед фанатизмом и тиранией; как и вы, я люблю свободу, но дух мой немощен. Течение мысли обрывается поминутно, Я не владею собой и страдаю.

Молодая женщина не ответила. Какой-то старик отворил калитку и вошел в сад, размахивая шляпой в высоко поднятой руке. Он не носил парика и не пудрил волос. Длинные седые пряди ниспадали по обе стороны его лысого черепа. На нем был серый камзол, синие чулки и туфли без пряжек.

— Победа! Победа! — воскликнул он. — Цитадель тирании в наших руках, и я спешил к вам с этим известием, Софи!

— Я уже слыхала об этом от господина Жермена, сосед! Позвольте вам его представить. Его мать была подругой моей матери в Анже. Вот уже полгода, как он в Париже, и время от времени навещает меня в моем уединении. Господин Жермен, вы имеете удовольствие видеть моего соседа и друга, писателя Франшо де Лакаванна.

— Говорите: Николя Франшо, землепашца.

— Знаю, сосед, что именно так вы подписались под вашей памятной запиской о торговле зерном. Ну, что ж! В угоду вам, хотя мне отлично известно, что вы искуснее владеете пером, нежели оралом, скажу: Николя Франшо, землепашец.

Обняв Жермена, старик воскликнул:

— Наконец-то пала крепость, в которой угас не один светоч разума и добродетели! Распались засовы, за которыми я пробыл восемь месяцев без воздуха и света. Тридцать один год тому назад, семнадцатого февраля тысяча семьсот шестьдесят восьмого года я был брошен в Бастилию за то, что написал письмо в защиту терпимости. Но ныне народ отомстил за меня. Разум и я — мы восторжествовали! Память о нынешнем дне не изгладится, пока существует вселенная: призываю в свидетели солнце! Оно видело гибель Гиппарха и бегство Тарквиниев ^[328].

Звучный голос г-на Франшо испугал маленького Эмиля, и он ухватился за платье матери. Тут только Франшо заметил ребенка; приподняв мальчугана, он восторженно воскликнул:

— Дитя, ты счастливее нас, ты будешь свободным!

Но Эмиль, в страхе, запрокинув головку, отчаянно закричал.

— Господа, — сказала Софи, утирая слезы сыну, — не откажитесь отужинать со мною. Кстати, я ожидаю и господина Дюверне, если его не задержит кто-либо из больных.

И, оборотясь к Жермену, прибавила:

— Вы знаете, что господин Дюверне, королевский медик, является выборным от парижских пригородов. Он был бы депутатом Национального собрания, если бы подобно Кондорсе не отказался из скромности от этой чести. Он человек весьма достойный; вам будет приятно и полезно его послушать.

— Молодой человек, — сказал Франшо, — я знаком с господином Дюверне и могу засвидетельствовать, что известные черты его характера делают ему честь. Два года тому назад королева пригласила Дюверне к дофину, страдавшему какой-то изнурительной болезнью. В ту пору Дюверне жил в Севре, и за ним каждое утро присылали придворную карету, отвозившую его в Сен-Клу к больному ребенку. Однажды карета вернулась во дворец пустой, — Дюверне не приехал. На другой день королева обратилась к нему с упреком: «Сударь, — сказала она, — вы, как видно, забыли о дофине?» — «Государыня, — отвечал

этот благородный человек, — я неусыпно пекусь о вашем сыне, но вчера задержался у постели роженицы, местной крестьянки».

— Ну, разве это не прекрасно? — сказала Софи. — И разве мы не вправе гордиться нашим другом?

— Да, это прекрасно, — ответил Жермен.

Кто-то низким и приятным голосом произнес:

— Не знаю, чем вызван ваш восторг, но очень рад, что вы в хорошем расположении духа. В наше время многое достойно восхищения!

Человек, сказавший это, был в пудреном парике и в жабо из тончайших кружев. Это пришел Жан Дюверне; Жермен узнал его по портретам, выставленным в лавках Пале-Рояля.

— Я только что из Версаля, — сказал Дюверне. — Я обязан герцогу Орлеанскому удовольствием видеть вас в этот знаменательный день, Софи! Он подвез меня в своей карете до Сен-Клу. Остаток пути пройден мною самым удобным способом: пешком.

И в самом деле, его башмаки с серебряными пряжками и черные чулки были покрыты пылью.

Эмиль цеплялся ручонками за стальные пуговицы на фраке врача; и Дюверне, посадив ребенка к себе на колени, с минуту любовался пробуждением младенческой души. Софи позвала Нанон. Толстая девица взяла ребенка на руки и унесла его, заглушая звонкими поцелуями отчаянный детский крик.

Стол был накрыт в беседке. Софи повесила свою соломенную шляпу на ивовую ветвь: ее белокурые локоны рассыпались по щекам.

— Мы поужинаем запросто, — сказала она, — на английский манер.

Из беседки, где они сидели, видна была Сена, кровли городских зданий, соборы, колокольни. Они молча любовались пейзажем, развернувшимся перед их глазами, словно видели Париж впервые. Затем они поговорили о событиях дня, об Учредительном собрании, о порядке поголовного голосования, о заседании Генеральных штатов, об отстранении Неккера. Все четверо считали, что свобода завоевана навеки. Дюверне предвидел установление нового порядка и восхвалял мудрость законодателей, избранных народом. Но он мыслил хладнокровно, и порою казалось, что в его радужные надежды закрадывается беспокойство. Николя Франшо не знал меры. Он предрекал бескровную победу народа и наступление эры братства. Напрасно ученый, напрасно молодая женщина говорили ему.

— Борьба только начинается, и мы одержали лишь первую победу!

— Мы придерживаемся философских доктрин, — отвечал он. — Представьте только, какое благотворное влияние окажет господство Разума на людей, послушных его державной власти! Золотой век, созданный воображением поэтов, станет действительностью. Всякое зло исчезнет вместе с породившими его деспотизмом и тиранией. Просвещенный и добродетельный человек познает радость бытия. Что я говорю! С помощью физики и химии он завоюет себе бессмертие на этой земле!

Софи, слушая его, качала головой.

— Если вы желаете избавить нас от смерти, — говорила она, — откройте нам источник вечной юности. Иначе ваше бессмертие будет внушать мне страх.

Старый философ, смеясь, спросил, неужто ее больше прельщает христианское воскрешение из мертвых?

— Что до меня, — сказал он, осушив свой стакан, — я весьма опасаясь, как бы ангелы и прочие святые не почтили своей благосклонностью сонмы юных дев в обиду престарелым довам.

— Не знаю, — медленно отвечала молодая женщина, подняв глаза к небу, — не знаю,

какую цену будут иметь в глазах ангелов жалкие прелести, созданные из праха; но я верю, что божественному провидению легче исправить изъяны, нанесенные временем, нежели вашей физике и химии. Вы, господин Франшо, атеист, вы не верите в царство божие на небесах, и вы ничего не можете понять в Революции, которая и есть сошествие бога на землю.

Она встала. Уже наступала ночь. Вдали великий город озарился огнями.

Жермен предложил руку Софи: и, в то время как старики беседовали, они бродили вдвоем в темных аллеях сада. Софи находила их прелестными; она сообщала спутнику их историю и названия.

— Мы идем, — говорила она, — по аллее Жан-Жака, которая ведет в уголок Эмиля. Прежде эта аллея была прямая; я велела изогнуть ее, чтобы она проходила под старым дубом. Весь день дерево отбрасывает тень на эту простую скамью, которую я назвала «Отдых друзей». Посидим минуту на этой скамье.

В тишине сада Жермен слышал биение своего сердца.

— Софи, я люблю вас! — шепнул он, взяв ее руку. Она легонько освободила руку и, указывая молодому человеку на листву деревьев, колеблемую ветерком, произнесла:

— Вы слышите?

— Я слышу шелест листвы при дуновении ветра.

Она покачала головой и голосом нежным, певучим продолжала:

— Жермен! Жермен! Кто вам сказал, что это ветер шелестит листвой? Кто вам сказал, что мы одни? Неужели и вы из тех, чьи косные души не верят в существование таинственного мира?

Он встревоженно посмотрел на нее.

— Господин Жермен, — сказала она, — благоволиите подняться в мою комнату. Там, на столе, вы найдете книжку, принесите ее...

Он повиновался. И пока он отсутствовал, молодая вдова вглядывалась в темную чащу, слушала шорох листьев. Он возвращается; в руках у него книжка с золотым обрезом.

— «Идиллии Гесснера»? ^[329] Они самые! — говорит Софи. — Откройте книжку на той странице, что заложена; если ваши глаза настолько хороши, чтобы различать буквы при лунном свете, читайте.

Он читает:

— «Ах, как часто моя душа будет витать близ тебя! Как часто в минуты, когда ты, исполненная благородного и возвышенного чувства, в уединении погрузишься в раздумье, легкое дыхание коснется твоей щеки: пусть же сладостно трепещет тогда твоя душа!»

Она прерывает чтение:

— Теперь вы понимаете, Жермен, что мы ни минуты не бываем одиноки и что есть слова, которые мне не должно слушать, когда дыхание Океана колышет листву деревьев?

Голоса двух стариков приближаются.

— Бог — добро! — говорит Дюверне.

— Бог — зло! — говорит Франшо. — И мы его упраздним.

Оба старца и Жермен откланиваются.

— Прощайте, господа! — говорит Софи. — И «Да здравствует свобода! Да здравствует король!» А вы, сосед, не мешайте нам умереть, когда это потребуется.

(Рукопись от 15 сентября 1792 г.)

I

Когда я вошел, Полина де Люзи протянула мне руку. И с минуту мы хранили молчание. Ее шарф и соломенная шляпа, небрежно брошенные, лежали на кресле.

На эпинете были раскрыты ноты «Мольбы Орфея»^[331]. Подойдя к окну, она провожала глазами солнце, уходящее за кровавый горизонт.

— Помните ли вы, сударыня, — сказал я, — слова, произнесенные вами ровно два года тому назад, у подножья этого холма, на берегу реки, к которой обращены сейчас ваши взоры? Помните ли вы тот миг, когда, обводя окрест пророческим жестом руки, вы предрекали дни испытаний, дни преступлений и ужаса? Вы предвосхитили признание в любви, готовое сорваться с моих уст, сказав: «Посвятите свою жизнь борьбе за справедливость и свободу!» Сударыня, я отважно вступил на путь, указанный вашей рукой, которую я, увы, не часто мог целовать и орошать слезами. Я повиновался вам, я писал, я выступал с речами. Два года вел я, не зная покоя, борьбу с голодными сумасбродами, сеющими смуту и ненависть, с трибунами, соблазняющими народ истерическими проявлениями мнимой любви, и с трусами, готовыми подчиниться всякой власти.

Она прервала меня, подав знак прислушаться. И тут до нашего слуха, ворвавшись в щебетание птиц, оглашавших своими голосами благоуханный воздух сада, донеслись отдаленные возгласы: «На фонарь аристократа!»

Без кровинки в лице, она так и замерла, приложив палец к губам.

— Преследуют какого-нибудь несчастного, — сказал я. — В Париже днем и ночью идут обыски и аресты. Могут пожаловать и сюда. Я должен удалиться, чтобы не компрометировать вас. В этом квартале меня мало знают, а все же в нынешние времена я гость опасный.

— Оставайтесь, — сказала она.

Крики вторично ворвались в мирную тишину вечера. Послышался шум шагов, выстрелы. Вот уже они совсем близко; кто-то кричит: «Обложите выходы! Как бы негодяй не ускользнул!»

Госпожа де Люзи, казалось, становилась спокойнее по мере приближения опасности.

— Поднимемся на второй этаж, — сказала она, — нам будет видно сквозь жалюзи, что творится на улице.

Но, открыв дверь, они сразу же наткнулись на лестничной площадке на обессиленного, мертвенно-бледного человека, у которого колени подгибались и зубы стучали. Этот призрак прошептал задыхающимся голосом:

— Спасите меня! Спрячьте!.. Они уже тут... Они взломали дверь, проникли в мой сад. Они идут...

II

Госпожа де Люзи, узнав Планшоне, старика философа, жившего в соседнем доме, шепотом спросила:

— Моя кухарка видела вас? Она якобинка!

— Меня никто не видел.

— Славу богу, сосед!

Она повела его в спальню, и я последовал за ними. Нужно было что-то придумать, найти какое-нибудь укромное место, куда можно было бы спрятать Планшоне на несколько дней, на несколько часов, хотя бы на столько времени, чтобы преследователи сбились с ног и потеряли след. Условились, что я буду наблюдать за окрестностью и, по моему знаку, наш бедный друг выйдет через садовую калитку.

А он едва держался на ногах. Этот человек находился в состоянии крайнего потрясения.

Он пытался объяснить, что его, врага священников и королей, обвиняют как участника заговора Казотта^[332] против конституции и в том, что он десятого августа присоединился к защитникам Тюильри^[333]. Недостойная клевета! Все дело в том, что его ненавидит Любен, тот самый Любен, бывший мясник, которого он сто раз собирался поучить палкой, как надо отвешивать говядину! А теперь он председатель секции той самой улицы, где была его лавка.

Произнеся это имя приглушенным голосом, он вдруг закрыл лицо руками, ему почудилось, что перед ним стоит сам Любен. И действительно, на лестнице послышались чьи-то шаги. Г-жа де Люзи закрыла дверь на задвижку и втолкнула старика за ширмы. В дверь постучали, и г-жа де Люзи узнала голос своей кухарки, кричавшей, что надобно отпереть калитку, — дескать, городские власти вместе с национальной гвардией пришли произвести обыск.

— Они говорят, — прибавила девушка, — будто в нашем доме прячется Планшоне. Я-то хорошо знаю, что вы не пожелаете укрывать такого злодея! Но они мне не верят.

— Ну, что ж, пусть войдут! — спокойно крикнула г-жа де Люзи. — Пусть обыщут весь дом, с погреба до чердака!

Бедняк Планшоне впал в обморочное состояние, услышав из-за ширмы этот диалог, и мне стоило большого труда привести его в чувство, смочив виски водою.

— Мой друг, — тихо сказала г-жа де Люзи старику, когда он пришел в себя, — доверьтесь мне. Помните, что женщины хитры.

Затем она немного выдвинула из алькова кровать, сняла с нее одеяло и, с моей помощью, положила лежавшие на ней три матраца так, что у стены образовалось небольшое пространство между верхним и нижними матрацами.

В то время как она спокойно занималась этими приготовлениями, на лестнице раздался топот ног, обутых в башмаки и сабо, стук ружейных прикладов, послышались хриплые голоса. Для нас троих то была ужасная минута; но вскоре грохот раздался над нашими

головами. Мы поняли, что отряд, под предводительством кухарки-якобинки, обыскивает прежде всего чердаки. Потолок трещал, слышались угрозы, хохот, удары ног и штыков о переборки. Мы вздохнули свободнее, но нельзя было медлить ни минуты. Я помог Планшоне втиснуться в узкое пространство между матрацами.

Глядя на нас, г-жа де Люзи качала головой. Развороченная постель имела весьма подозрительный вид.

Она попробовала оправить ее, но это ей не удавалось.

— Придется мне самой лечь в постель, — шепнула она.

Она посмотрела на часы — было семь часов вечера. Лечь спать так рано? Правдоподобно ли? Сказаться больной? Нечего было и думать об этом: кухарка-якобинка раскрыла бы ее хитрость.

Она колебалась несколько секунд; затем спокойно, с величественной простотою разделась в моем присутствии, легла в постель и приказала мне снять башмаки, камзол и галстук.

— Вам придется быть моим любовником, и пусть они нас накроют. Когда они явятся, вы якобы не успеете привести в порядок свой костюм. Вы откроете им дверь в одной куртке [\[334\]](#) с растрепанными волосами.

Приготовления наши были закончены, когда отряд муниципальной гвардии, с ругательствами и проклятиями, спустился с чердака.

Несчастный Планшоне так дрожал, что сотрясалась постель.

Более того, он задышался, и его хрип, наверное, был слышен даже в коридоре.

— Как жаль, — прошептала г-жа де Люзи, — а я была так довольна своей выдумкой! Будь что будет! Не станем отчаиваться, и да поможет нам бог!

Дверь задрожала под ударами кулаков.

— Кто там? — спросила Полина.

— Представители народа.

— Не можете ли вы подождать минуту?

— Отпирай! Иначе взломаем дверь!

— Отоприте им, друг мой.

Внезапно каким-то чудом Планшоне перестал дрожать и хрипеть.

III

Любен, опоясанный трехцветным шарфом, вошел первым; за ним следовало человек двенадцать с пиками. Обводя попеременно взглядом г-жу де Люзи и меня, он вскричал:

— Убей меня бог! Мы вспугнули влюбленных. Простите нас, красавица!

Затем, оборотившись к солдатам муниципальной гвардии, провозгласил:

— Одни только санкюлоты и нравственны!

Но, вопреки своему изречению, он пришел в веселое расположение духа.

Он сел на кровать и, взяв прекрасную аристократку за подбородок, сказал:

— И то сказать, такие губки созданы не для того, чтобы день и ночь бормотать «Отче

наш»! Это было бы досадно. Но Республика прежде всего! Мы ищем предателя Планшоне. Он здесь, я в этом уверен. Он мне нужен! Я отправлю его на эшафот. На сей раз мне повезло!

— Ну, что ж, ищите его!

Они заглядывали под диваны и кресла, отворяли шкафы, шарили под кроватью пиками, прощупывали матрацы штыками.

Любен, почесывая за ухом, искоса поглядывал на меня. Г-жа де Люзи, опасаясь с его стороны какого-либо затруднительного для меня вопроса, сказала:

— Друг мой, ты хорошо знаешь расположение дома; возьми ключи и проводи повсюду господина Любена. Я знаю, ты почтешь за удовольствие оказать услугу патриотам.

Я привел их в погреб, где они единым духом опустошили изрядное количество бутылок. Затем Любен принялся прикладом вышибать днища полных бочонков. После чего он удалился из залитого вином погреба, дав знак к отступлению. Я проводил их до ограды и, заперев за ними калитку, поспешил к г-же де Люзи с известием, что мы спасены.

Тогда она, наклонившись к матрацам, позвала:

— Господин Планшоне! Господин Планшоне! В ответ послышался слабый вздох.

— Слава богу! — воскликнула она. — Вы меня страшно испугали, господин Планшоне! Я думала, вы умерли.

ДАРОВАННАЯ СМЕРТЬ

Альберу Турнье

После долгих блужданий пустынными улицами Андре присел на берегу Сены, глядя на холм Сен-Клу, где в дни радости и надежд жила его возлюбленная Люси.

Давно он не был так спокоен.

В восемь часов он принял ванну. Зашел к ресторатору в Пале-Рояле и в ожидании завтрака просмотрел газеты. Он прочел в «Вестнике Равенства» список приговоренных к смертной казни и казненных на площади Революции 24 флореаля.

Он позавтракал с большим аппетитом. Затем поднялся, взглянул мельком в зеркало, в порядке ли его костюм и хорош ли цвет лица, и легкими шагами направился к низенькому дому, стоявшему на углу улицы Сены и улицы Мазарини. Тут жил гражданин Лардийон, заместитель общественного обвинителя революционного трибунала, человек обязательный, которого Андре знал капуцином в Анже и санкюлотом в Париже.

Он позвонил. Несколько минут стояла тишина; затем за решеткой потайного окошечка показалась чья-то физиономия, и гражданин Лардийон, предусмотрительно оглядев посетителя и справившись о его имени, отпер, наконец, дверь. У него было полное цветущее лицо, блестящие глаза, влажный рот и красные уши. Обличье весельчака, но человека трусливого. Он провел Андре в первую комнату своей квартиры.

Маленький круглый стол был накрыт на двоих. Там был цыпленок, пирог, ветчина, паштет из гусиной печени и заливная телятина. На полу охлаждались в ведре бутылки. На камине лежали ананасы, сыр и стояло варенье. Бутылки с ликерами были поставлены на бюро, заваленное папками с делами обвиняемых.

В полуотворенную дверь виднелась широкая смятая постель.

— Гражданин Лардийон, — сказал Андре, — я пришел просить тебя об услуге.

— Гражданин, я готов оказать тебе услугу, если она не угрожает безопасности Республики.

Улыбнувшись, Андре отвечал:

— Услуга, о которой я прошу тебя, как нельзя лучше отвечает безопасности Республики и твоей собственной.

Лардийон жестом предложил Андре сесть.

— Гражданин заместитель общественного обвинителя, — сказал Андре, — тебе известно, что вот уже два года как я участвую в заговоре против твоих друзей и что я автор памфлета «Разоблаченные санкюлоты». Арестовав меня, ты этим не окажешь мне милости, ты лишь исполнишь свой долг. Не в этом состоит услуга, о которой я прошу. Выслушай меня: я люблю, и моя возлюбленная в тюрьме.

Лардийон наклонил голову в знак того, что он понимает его чувство.

— Я знаю, что ты, гражданин Лардийон, не бесчувственный человек; я прошу тебя соединить меня с той, кого я люблю, и немедленно же отправить в Пор-Либр.

— Ей-ей! — сказал Лардийон с улыбкой на толстых, но все же красивых губах. — Ты просишь больше, чем жизни, гражданин, ты просишь счастья!

Он протянул руку в сторону спальни и крикнул:

— Эпихарис! Эпихарис!

В комнату вошла высокая смуглая женщина с обнаженными руками и грудью, в сорочке и юбке, с кокардой в волосах.

— О нимфа! — сказал Лардийон, сажая ее к себе на колени. — Вглядись в лицо сего гражданина и запечатлей его в своей памяти! Как и мы с тобой, Эпихарис, он чувствителен; как и мы, он знает, что разлука величайшее из зол. Он желает идти вслед за своей возлюбленной в тюрьму и на гильотину. Эпихарис, можно ли отказать ему в таком благодеянии?

— Нет, — отвечала девица, потрепав по щеке монаха в карманьоле.

— Быть по сему, моя богиня! Мы соединим двух нежных любовников. Дай мне твой адрес, гражданин, и нынче же ты будешь спать в Пор-Либре!

— Решено, — сказал Андре.

— Решено, — отвечал Лардийон, протягивая ему руку. — Ступай к своей подруге и скажи ей, что ты видел Эпихарис в объятиях Лардийона. Пусть этот образ возвеселит ваши сердца!

Андре ответил, что, может быть, пред ними возникнут образы более трогательные, но все же он благодарен Лардийону и сожалеет лишь о том, что не может оказать услугу в свой черед.

— Гуманность не требует награды, — отвечал Лардийон.

Он встал и, прижимая Эпихарис к груди, прибавил:

— Кто знает, когда придет наш черед?

Omnes eodem cogimur: omnium
Versatur urna; serius ocius
Sors exitura, et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae^[335]

А в ожидании сего выпьем! Гражданин, не желаешь ли разделить с нами трапезу?

Эпихарис заметила, что это было бы весьма любезно со стороны гостя, и, желая удержать Андре, взяла его за руку. Но он ушел, унося с собой обещание, данное заместителем общественного обвинителя.

ЭПИЗОД ИЗ ВРЕМЕН ФЛОРЕАЛЯ II ГОДА РЕСПУБЛИКИ [\[336\]](#)

Мадемуазель Жанне Кантель

I

Привратник запер дверь тюрьмы за бывшей графиней Фанни д'Авенэ, взятой под стражу «в интересах общественной безопасности», как было указано в ее деле, то есть за то, что она предоставляла убежище врагам Республики.

И вот она в старинном здании, где некогда отшельники Пор-Рояля вкушали вкупе сладость уединения, и здание это даже не пришлось переделывать в тюрьму.

Пока писарь вносил в реестр имя арестованной, она, сидя на скамейке, думала: «О господи, зачем все это? И чего ты хочешь от меня?»

Тюремщик был с виду скорее угрюм, нежели зол; а его прелестной дочке так шел белый чепец с кокардой из лент трех цветов нации! Этот человек провел Фанни во двор, посреди которого росла чудесная акация. Тут Фанни ожидала, пока ей приготовят койку и стол в помещении, где уже находилось пять или шесть узниц, ибо тюрьма была переполнена. Тщетно выбрасывала она ежедневно избыток своего населения в революционный трибунал и на гильотину. Комитеты ежедневно наполняли ее снова.

Во дворе Фанни увидела молодую женщину, которая вырезывала буквы на коре дерева, и узнала в ней Антуанетту д'Ориак, подругу своего детства.

— И ты здесь, Антуанетта?

— И ты здесь, Фанни? Попроси поставить твою кровать возле моей. Нам о многом надо поговорить.

— О многом... А господин д'Ориак, Антуанетта?

— Мой муж? Право, дорогая, я почти забыла о нем. Это несправедливо. Он всегда был безупречен в отношении меня... Я думаю, он где-нибудь в тюрьме.

— А что это ты делаешь, Антуанетта?

— Тс!.. Который теперь час? Не пять ли? Если так, то моего друга, имя которого я соединяю со своим именем на стволе этого дерева, уже нет более на свете, потому что в полдень он предстал перед революционным трибуналом. Его звали Жерен; он был волонтером Северной армии. Я познакомилась с ним здесь, в тюрьме. Мы провели вместе сладостные часы под этой акацией. Он был благородный молодой человек... Однако мне нужно заняться, милочка, твоим устройством.

И, обняв Фанни за талию, она увела ее в камеру, где стояла ее собственная кровать, и заручилась у тюремщика обещанием не разлучать ее с подругой.

Они обе решили на другое утро вымыть пол в камере.

Жалкий ужин, приготовленный поваром-патриотом, подавался на общий стол. Каждая узница приносила с собой тарелку и деревянный прибор (металлическим пользоваться возбранялось) и получала порцию свинины с капустой. За столом Фанни встретилась с

женщинами, удивившими ее своей веселостью. Как и госпожа д'Ориак, они были изысканно причесаны и одеты в свежие туалеты. Даже перед лицом смерти они не утратили желания нравиться. Речи их были исполнены изящества, как и они сами, и вскоре Фанни вошла в круг любовных интриг, которые завязывались и приходили к развязке за тюремными засовами, в ограде этих мрачных дворов, где близость смерти обостряла жажду любви. Охваченная неизъяснимым волнением, она почувствовала неодолимую потребность держать в своей руке руку возлюбленного.

Она вспомнила того, кто ее любил и чьей любовницей она не стала; и жестокое сожаление, близкое к раскаянию, сжало ее сердце. Слезы, жгучие, как страсть, заструились по ее щекам. При мерцании коптящей плошки, освещавшей стол, она наблюдала за соседками, у которых лихорадочно блестели глаза, и думала: «Всех нас ждет смерть. Отчего же я так грустна, отчего моя душа тоскует, меж тем как эти женщины одинаково легко смотрят и на жизнь и на смерть?»

И она проплакала всю ночь напролет, лежа на своем жалком одре.

II

Медленно тянулись двадцать долгих томительных дней. Двор, куда влюбленные приходили в поисках тишины и тени, был пустынен в тот вечер. Фанни, задыхавшаяся в сыром воздухе тюремных коридоров, села на зеленый дерн невысокой насыпи, что окружала старую акацию, осенявшую двор. Акация была вся в цвету, и легкий ветерок, шелестевший ее листвой, наполнял воздух благоуханием. Под вензелем, вырезанным Антуанеттой, Фанни увидела листик бумаги, прибитый к стволу дерева. И она прочла написанные на нем стихи поэта Виже, такого же узника, как она^[337].

Здесь не свершившим преступлений,
Покорным жертвам подозрений
Акация дала приют в тени.
И, горести забыв, в мечтах любви, они
Тревоги нежные в ночи ей поверяли,
Роняя на листву не раз слезу печали...
Вы, кто не в столь суровый век
Сюда проникнет за ограду,
Щадите дерево, чей веток белый снег
Страх умерял порой, давал в тоске отраду —
Под чьей листвой был счастлив человек!^[338]

Прочитав стихи, Фанни задумалась. Перед ее мысленным взором прошла вся ее жизнь,

безмятежная, благополучная: брак без любви, увлечение музыкой, поэзией, жизнь, скрашенная дружбой, но не ведавшая ни страстей, ни душевных бурь. Ей вспомнилась безответная тайная любовь достойного молодого человека, теперь, в безмолвии тюрьмы, ставшая ей желанной. При мысли, что она должна умереть, ее охватило отчаяние. Холодный пот выступил на висках. В тревоге, ломая руки, она обратила взоры к звездному небу, шепча:

— О господи! Всели в меня надежду!

Чьи-то легкие шаги послышались в эту минуту. Розина, дочь тюремщика, пришла поговорить с ней наедине.

— Гражданка, — сказала ей прелестная девушка, — завтра вечером человек, который тебя любит, будет ожидать в карете на авеню Обсерватории. Возьми этот сверток, в нем ты найдешь платье, такое же, как на мне; ты переоденешься в своей камере во время ужина. Ты такого же роста, как я, и тоже белокурая. В темноте нас легко принять одну за другую. В нашем заговоре участвует сторож, влюбленный в меня, он поднимется в твою камеру и принесет тебе корзинку, с которой я хожу за провизией. Ты сойдешь вместе с ним вниз, по лестнице, ключ от которой хранится у него. Лестница ведет в помещение моего отца, — дверь туда не запирается и не охраняется. Лишь бы только отец тебя не заметил! Мой друг встанет спиной к окну отцовской комнаты и скажет тебе, как сказал бы мне: «До свидания, гражданка Роза, не будьте впредь такой жестокой!» И ты спокойно выйдешь на улицу. Я же тем временем пройду через главную калитку, и мы встретимся с тобой в карете, в которой нас должны увезти.

Фанни, слушая эти речи, упивалась ими, как веянием жизни и весны. Полной грудью, окрыленная надеждой, она вдыхала воздух свободы.

Она уже заранее ликовала, предвкушая свое освобождение. К тому же тут шла речь о любви; и она прижала руки к сердцу, чтобы укротить свою радость. Но понемногу рассудок, столь властно говоривший в ней, взял верх над чувством. Она внимательно поглядела на дочь тюремщика и сказала:

— Милое дитя, почему вы, не зная меня, так озабочены моим спасением?

— Потому, — отвечала Роза, переходя на «вы», — что ваш друг даст мне много денег, когда вы окажетесь на свободе, и я выйду замуж за Флорантена, моего возлюбленного. Вы видите, гражданка, я хлопочу о самой себе. Но мне приятнее спасти вас, чем кого-нибудь другого.

— Благодарю вас, дитя мое! Но почему же?

— Потому что вы такая милая, а ваш друг так тоскует вдали от вас. Значит, решено, не так ли?

Фанни протянула руку, чтобы взять сверток с платьем, который принесла ей Роза. Но тотчас же отдернула руку.

— А вы знаете, Роза, что если мы попадемся, вам грозит смерть?

— Смерть! — вскричала девушка. — Вы пугаете меня. О нет! Я этого не знала!

И тут же, успокоившись, сказала!

— Ваш друг, гражданка, сумеет меня спрятать.

— Нет надежного убежища в Париже. Благодарю вас, Роза, за ваше самопожертвование, но воспользоваться им я не могу.

Роза оцепенела.

— Вас гильотинируют, гражданка, а я не выйду замуж за Флорантена!

— Успокойтесь, Роза! Я могу оказать вам услугу, не воспользовавшись вашим предложением.

— О нет! Я не хочу зря брать деньги!

Дочь тюремщика просила, плакала, умоляла. Она упала на колени, схватила Фанни за край платья.

Фанни отстранила ее рукой и отвернулась. Лунный луч скользнул по ее спокойному прекрасному лицу.

Ночь выдалась благодатная, дул легкий ветерок. Дерево узников, шелестя душистыми ветвями, роняло бледные цветы на голову добровольной жертвы.

В ту бессонную ночь, когда, боля инфлуэнцей, я томился в жару, мне явственно слышался троекратный стук в дверцу стеклянной горки, которая стояла близ моей кровати и в которой были беспорядочно расставлены фигурки из севрского бисквита и саксонского фарфора, терракотовые статуэтки из Танагры и Мирины, мелкие бронзы Возрождения, японские изделия из слоновой кости, венецианское стекло, китайские чашки, мартеновские лакированные табакерки, лаковые подносы, эмалевые ларчики, короче говоря тысяча вещей тонкой работы, к которым я питаю великую слабость. Стук был слабый, но отчетливый; и при свете ночника я увидел, что оловянный солдатик, стоявший в горке, пытается выйти на свободу. Усилия его увенчались успехом, и скоро под ударами крошечного кулачка стеклянная дверка раскрылась настежь. Сказать поистине, я не особенно удивился. Солдатик всегда казался мне подозрительным субъектом. Два года тому назад мне его подарила г-жа Ж. М., и с той поры я постоянно жду от него какой-нибудь каверзы. На нем белый с синим кантом мундир: форма французской гвардии, а, как известно, гвардейцы никогда не отличались образцовой дисциплиной.

— Эй, вы, — вскричал я, — Цветочек, Сердцеед, Фанфан-Тюльпан! Нельзя ли вести себя потише и не нарушать моего покоя. Я очень болен!

Проказник проворчал в ответ:

— Тот, кого вы изволите видеть, брал приступом Бастилию сто лет тому назад; после чего мы осушили немалое количество кружек. Не думаю, чтобы много осталось таких старых оловянных солдат, как я! Покойной ночи, буржуа! Тороплюсь на парад.

— Фанфан-Тюльпан, — сказал я внушительно, — ваш полк раскассирован по повелению Людовика Шестнадцатого тридцать первого августа тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Вам незачем ходить на какой-то парад. Стойте спокойно в горке!

Вояка Тюльпан закрутил ус и с презрением искося поглядел на меня.

— Как! — сказал он. — Вы не знаете, что каждый год тридцать первого декабря ночью, когда уснут дети, на крышах, где весело дымятся трубы, выбрасывая остатки пепла от рождественского полена, сходятся на смотр оловянные солдаты? Среди их расстроенных рядов скачут кавалеристы, лишившиеся головы. Тени всех оловянных солдат, погибших на войне, проносятся в адском марше. Мелькают изогнутые штыки, сломанные сабли. И души умерших кукол, бледных при свете луны, смотрят им вслед.

Болтун смутил меня своими речами.

— Стало быть, Тюльпан, таков обычай, священный обычай? Я бесконечно уважаю всяческие обычаи, привычки, традиции, легенды, народные поверья. Мы называем все это фольклором и занимаемся его изучением; это занятие доставляет нам большое развлечение. Я вижу, Тюльпан, к своему великому удовольствию, что вы почитаете традиции. Но, с другой стороны, у меня нет уверенности, следует ли выпустить вас из горки.

— Ты обязан его выпустить! — произнес мелодичный и чистый голос, какого мне еще не доводилось слышать, исходивший из уст молодой гречанки из Танагры, изящная и величественная фигура которой, обвитая складками гиматия^[339], возвышалась из-за плеча французского гвардейца. — Ты обязан! Любые обычаи, завещанные предками, заслуживают уважения. Наши отцы знали лучше нас, что дозволено и что запрещено, ибо они были ближе к богам. Не следует препятствовать этому галату исполнить воинский обряд предков. В мое время они не носили такого потешного синего мундира с красными отворотами. Они были

прикрыты лишь щитами. И все же внушали нам страх. Они были варварами. Ты тоже галат и варвар. Напрасно читал ты поэтов и историков: ты не знаешь, в чем истинная красота жизни. Ты не бывал на афинских народных собраниях, когда я пряла милетскую шерсть у себя во дворе под древним тутовым деревом.

Я пытался ответить, соблюдая метричность речи:

— О прекрасная Паннихис! Твой маленький греческий народ создал пластические формы, которые вечно будут радовать наши души и взоры. Он создал искусство и положил начало наукам. Я радуюсь, слушая твои мудрые речи. Обычаи должно соблюдать, иначе что это будут за обычаи! О светлокудрая Паннихис! Ты, которая пряла милетскую шерсть под древним тутовым деревом, не напрасно дала ты мне добрый совет! Следуя ему, я позволю Тюльпану идти туда, куда его влекут традиции.

Тут молоденькая маслодельщица из севрского бисквита, опершись руками на свою масложирку, обратила ко мне умоляющий взгляд.

— О, не позволяйте ему уйти! Он обещал жениться на мне. А он любитель снимать сливки! Если он уйдет, я его больше не увижу.

И, закрыв свои круглые щеки фартуком, она заплакала навзрыд.

Я успокаивал, как мог, молоденькую маслодельщицу и упраскивал моего французского гвардейца не очень засиживаться после смотра в каком-нибудь кабачке. Он обещал, и я пожелал ему счастливого пути. Но он не уходил. Странное дело, он преспокойно стоял на полке, застыв в одной позе, как и окружающие его статуэтки. Я выразил ему свое удивление.

— Запаситесь терпением! — отвечал он. — Не могу же я на ваших глазах тронуться в путь, не нарушив всех законов волшебства! Вот вы задремлете, и тут же я живехонько ускользну вместе с лунным лучиком, ибо стану невесом. Но зачем мне торопиться? Я могу обождать часок-другой. Давайте-ка лучше потолкуем! Хотите, я расскажу вам какую-нибудь историю из стародавних времен? Я их знаю немало.

— Расскажите, — сказала Паннихис.

— Расскажите, — сказала маслодельщица.

— Расскажите-ка, Тюльпан, — сказал я в свою очередь.

Он сел, набил трубку, налил себе стаканчик вина, откашлялся и начал такими словами:

— Девяносто девять лет тому назад, в этот самый день, я находился вместе с дюжиной товарищей, похожих на меня, как братья, на круглом столике; кто из нас стоял, кто лежал; у многих была повреждена голова или нога: героические останки целой коробки оловянных солдатиков, купленной за год до того на ярмарке в Сен-Жермене. Комната была обита голубым шелком. Эпинет...

Я прервал его:

— Постойте-ка, Тюльпан, я знаю эту историю: речь идет об одном обыске во времена террора. Ну, это не по вашей части: я сам расскажу об этом завтра же. А вы вспомните-ка что-нибудь из военной жизни.

— Идет, — продолжал Фанфан-Тюльпан. — Поднесите мне стаканчик, и я расскажу вам о битве при Фонтенуа, в которой я участвовал. Мы тогда знатно всыпали англичанам. В этой битве против нас сражались также австрийцы, голландцы и, если мне не изменяет память, немцы; но эти вояки в счет не идут. У Франции только один враг — Англия. И вот пришли мы на поле боя. С первой же минуты я стяжал себе лавры. Подойдя шагов на пятьдесят к противнику, мы остановились, и лорд Чарльз Гэй, командир английских гвардейцев, снял шляпу и крикнул:

— Господа французские гвардейцы, стреляйте!

На что наши офицеры ответили!

— Господа английские гвардейцы, мы уступаем эту честь вам. Стреляйте первыми.

И этот клич был повторен всеми солдатами нашего полка. Мой голос заглушал все остальные голоса. Только он один и был слышен.

— Да, этот случай вошел в историю, — заметил я. — Скажите, Тюльпан, где набрались вы столь возвышенного благородства, которое стало предметом восхищения потомков?

— Благородства? — вскричал Тюльпан, свирепо вращая глазами. — Что вы имеете в виду? Вы что, старина, болваном меня почитаете? Посмотрите-ка на меня получше. Разве я похож на простофилю?.. Благородство!.. Вы, видно, смеетесь надо мной, толкуя о каком-то благородстве! Ну, знаете, я — стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Глядите, как бы я вам уши не отрезал! Вы просто олух. Вишь, чего захотели — чтобы французский гвардеец сверхсрочной службы держал себя благородно с этими богохульниками англичанами. Мы им предоставили право стрелять первыми, а, как вам известно, первый залп не приносит большого ущерба тем, на кого он обрушивается. Ведь стреляют-то наугад, пока противник не выдаст себя пороховым дымом. Вы разве не знаете, что уставы запрещают нам первыми открывать огонь? Видать, вы вовсе невежда.

— И все-таки, Тюльпан, я знаю, что первый залп в битве при Фонтенуа, в противность вашим словам, оказался весьма губительным.

Тюльпан согласился со мной.

— Что верно, то верно; и произошло это потому, что англичане очень уж близко были от нас. Наши первые шеренги скосил огонь. Но мы вели себя в этой схватке так, как привыкли. Первая добродетель солдата — соблюдать устав. Но слушайте, что было дальше: эта битва, начавшись весьма плачевно, закончилась наилучшим образом. Мы поубивали множество англичан. Маршал Саксонский, верхом на горячем скакуне, вел наши войска в бой.

Тут я прервал его:

— Я полагал, что маршал Саксонский был тяжело болен и руководил боем, не сходя с носилок.

— Вы вправе так думать. Ведь я и сам собственными глазами видел, как он недвижно лежал на своем переносном ложе. Но хорошее воспитание, почтение, уважение и благоговение к полководцу заставили меня об этом умолчать. И поскольку я знаю, как надобно рассказывать о подобных вещах, я и заменил носилки резвым скакуном. Вот как следует писать историю. Уж вы, сударь, лучше за это дело не беритесь. У вас недостаточно возвышенный ум, и вы потерпите неудачу... Носилки! Хорошенькое снаряжение для воина!.. Итак, маршал Саксонский, пришпоривая необъезженного скакуна, горел желанием упиться вражеской кровью. Сражение, начавшееся столь печально, закончилось как нельзя лучше: мы убили тьму-тьмущую англичан. Ну и скоты же они! Вам известно, что у них позади хвост?

— Впервые об этом слышу, Тюльпан.

— Это потому, сударь, что вы человек несведущий. Но продолжаю свой рассказ: в самый разгар этой великой битвы отвага завела меня далеко от поля боя, на дно оврага; я очутился перед грозным редутом, который защищало полсотни этих скотов-англичан; человек сорок я убил, тридцать пять ранил. Остальные задали стрекача, и редут пал. Воинский пыл завел меня еще дальше, и вот я оказался в каком-то лесу, где даже не слышно было шума битвы. Довольно долго шел я чащей, пока не наткнулся на старика, вязавшего хворост. Я спросил, не видел ли он ненароком нашего полка, от которого я отбился. Он отрицательно покачал головой. Вне себя от восторга, я гаркнул в упоении победой:

— Мы победили! Кричи: «Да здравствует король!»

Но он вместо ответа только пожал плечами и продолжал вязать хворост. Возмущенный его низостью, я тут же проткнул ему брюхо штыком и пошел своей дорогой.

На следующий день мы расположились на постой. Меня поместили в доме богатого торговца по имени Жан Госбек. Я ввалился туда поздней ночью. Меня встретила пригожая служанка и проводила на чердак; там она и постелила мне постель. Заметив, что я ей приглянулся, я не замедлил воспользоваться этим к нашему взаимному удовольствию. Хотя и была она бой-баба, доблесть моя ее удивила.

На рассвете я спустился с чердака в залу нижнего этажа; здесь я подсел к хозяйке дома; звали ее Урсула, и у нее была премиленькая мордашка! Я смело взял ее на абордаж. Она немного поломалась, упирая на то, что муж у нее, дескать, ревнивец и убьет ее, если застанет со мной.

— Я ему отрежу нос, — пригрозил я.

Эти слова настолько ее успокоили, что она не стала откладывать удовольствие, которое я ей тут же и доставил. И вот в ту самую минуту, когда я трудился от всего сердца, она испустила крик ужаса, заметив своего супруга, который, некстати войдя в комнату, застыл на месте. Лица моего он не видел. Но когда я повернулся к нему, он до того устрасился, что, не промолвив худого слова, убрался вон.

Вот, сударь, подробнейший рассказ о битве при Фонтенуа.

— Признаться, — заметил я, — Вольтер рассказал об этом куда хуже.

— Еще бы, — ответил мой гвардеец. — А кто он, этот ваш Вольтер? Должно быть, какой-нибудь буржуа, ничего не смыслящий в ратном деле. У меня чертовски пересохло в горле. Налейте-ка еще стаканчик!

Комната была обита бледно-голубым шелком. Эпинет, на котором стояли раскрытые ноты «Деревенского колдуна»^[340], стулья со спинками в виде лиры, секретер красного дерева, белая с гирляндами роз кровать, голубки вдоль карниза — все пленяло своей трогательной прелестью. Лампа бросала мягкий свет, и в полутьме пламя в камине трепетало, как крылья птицы. Сидя за секретером, в домашнем платье, склонив обворожительную головку в ореоле великолепных светлых волос, Жюли перелистывала письма, которые хранились, заботливо перевязанные ленточкой, в ящиках секретера.

Бьет полночь; условный знак перехода из одного года в другой. Прелестные стенные часы с улыбающимся раззолоченным амуром возвещают конец 1793 года.

В тот миг, когда минутная стрелка совпадает с часовой, появляется маленький призрак. Очаровательный ребенок, выбежав в рубашонке из приотворенной двери комнаты, в которой он спал, бросается в объятия матери и поздравляет ее, желая ей счастливого года.

— Счастливого года, Пьер... Благодарю тебя. Но знаешь ли ты, что такое счастливый год?

Он думает, что знает; но все же Жюли хочет растолковать сыну смысл этого слова.

— Счастливым, мой дружок, можно назвать тот год, который не несет с собой ни ненависти, ни страха.

Она целует ребенка, уносит его в постель, откуда он ускользнул, затем возвращается и снова садится за секретер. Она глядит то на пламя, полыхающее в очаге, то на письма, из которых падают засушенные цветы. Ей нелегко их сжечь. И все же это необходимо сделать. Если письма обнаружат, не миновать гильотины и тому, кто их писал, и той, что их получала. Если бы дело касалось ее одной, она бы не сожгла писем, — так устала она оспаривать свою жизнь у палачей! Но она думает о нем, приговоренном к смертной казни, о беглеце, который скрывается на каком-нибудь чердаке в другом конце Парижа. Достаточно одного из этих писем, чтобы напасть на его след и обречь его на смерть.

Пьер крепко спит в соседней комнате; кухарка и Нанон ушли к себе в мансарду. За окнами на заснеженной улице царит глубокая тишина. Чистый и свежий воздух оживляет огонь в камине. Жюли сожжет письма, она это знает; не без глубоких и грустных размышлений пришла она к этому тяжкому решению. Она сожжет письма, но прежде перечтет их.

Письма в полной сохранности, ибо натуре Жюли свойственна аккуратность, и это отражается во всей ее обстановке.

Вот эти, уже пожелтевшие, листки насчитывают трехлетнюю давность. И в ночном безмолвии Жюли уносится мечтою к тем волшебным временам. Она не предает огню ни единой страницы, не перечитав раз десять милые сердцу строки.

Вокруг глубокая тишина. Время от времени Жюли подходит к окну, приподнимает занавес, и перед ней возникает из тьмы, посеребренная луной, замолкнувшая колокольня церкви Сен-Жермен де Пре; и затем она вновь принимается за свою медлительную и благоговейную работу разрушения. Но как не упиться в последний раз сладостью этих страниц? Как предать огню дорогие строки, не запечатлев их навеки в своем сердце? Глубокая тишина вокруг нее. Душа ее трепещет молодостью и любовью.

Она читает:

«Разлученный с Вами, я вижу Вас, Жюли! Образы недавнего прошлого неотступно стоят передо мною. Вы рисуется в моем воображении не холодным и бесплотным существом, а

женщиной живой, одушевленной, вечно новой и вечно прекрасной! В мечтах я вижу Ваш образ в обрамлении великолепнейших пейзажей нашей планеты. Счастлив возлюбленный Жюли! Для него все вокруг исполнено очарования, ибо он воспринимает мир через нее. Любя ее, он любит жизнь; он пленен миром, в котором она существует; он дорожит той землей, которую она украшает собою. Любовь открывает ему сокровенный смысл вещей. Он постигает мир во всем многообразии его форм; и он находит во всем бесконечное отображение Жюли; его слух улавливает все голоса природы; и все они нашептывают ему имя Жюли. Взоры его с наслаждением встречают дневное светило, радуясь, что счастливец солнечный луч касается и лица Жюли, лаская совершенные человеческие черты. Первые вечерние звезды повергают его в трепет, — он думает: может быть, она смотрит на них в эту минуту. Он чувствует ее дыхание в воздухе, напоенном ароматами. Он готов целовать землю, по которой она ступает...

Моя Жюли, если мне суждено пасть под топором палача, если мне суждено, как Сиднею, умереть за свободу^[341], все же и самой смерти не удержать в царстве теней, вдали от тебя, мою негодующую душу. Я прилечу к тебе, моя возлюбленная! Мой дух неизменно будет витать близ тебя».

Она читает и думает. Ночь на исходе. Уже брезжит рассвет сквозь оконные занавесы: утро. Служанки начинают свою работу. Жюли торопится окончить свою. Как будто слышатся чьи-то голоса. Нет, все спокойно, вокруг глубокая тишина.

Глубокая тишина, ибо снег заглушает звук шагов. Идут. Пришли. Удары сотрясают дверь.

Спрятать письма, запереть секретер уже нет времени. Все, что Жюли может сделать, она делает: берет охапку бумаг и бросает их под диван, чехол которого спускается до самого пола. Несколько писем падают на ковер; она заталкивает их ногой под диван и, схватив книгу, бросается в кресла.

Председатель секции района входит в сопровождении отряда в двенадцать пик. Это бывший плетельщик соломенных стульев по имени Броше, которого постоянно трясет лихорадка; его налитые кровью глаза вечно исполнены ужаса.

Он подает знак людям охранять входы и обращается к Жюли:

— Гражданка, мы узнали сейчас, что ты состоишь в переписке с агентами Питта^[342], эмигрантами и заговорщиками, заточенными в темнице. Именем закона я пришел изъять твои письма. Уже давно мне указывали на тебя, как на аристократку самой опасной породы. Гражданин Рапуа, которого ты видишь здесь, — и он указал на одного из своих людей, — признался, что зимой тысяча семьсот восемьдесят девятого года ты дала ему деньги и одежду, чтобы его подкупить. Должностные лица умеренных воззрений и лишённые гражданской доблести слишком долго щадили тебя. Но теперь я, в свой черед, представитель власти, и ты не избежешь гильотины. Давай сюда письма, гражданка!

— Возьмите их сами, — говорит Жюли. — Секретер не заперт.

Там лежали еще некоторые документы: свидетельства о рождении, браке и смерти, счета поставщиков и ценные бумаги, которые Броше внимательно изучает одну за другой. Он щупает и переворачивает их, как человек недоверчивый, который и читать-то хорошенько не умеет. Время от времени он приговаривает:

— Мерзость! Имя бывшего короля не вычеркнуто! Мерзость, чистая мерзость!

Жюли понимает, что обыск затянется и примет придирчивый характер. Она не совладала с искушением бросить украдкой взгляд в сторону дивана. И она видит, что из-под чехла выглядывает, точно белое ушко котенка, уголок конверта. Тут тревога внезапно покидает ее. Уверенность в неминуемой гибели вселяет в нее спокойствие и налагает на ее лицо выражение, похожее на беспечность. Она не сомневается, что эти люди увидят, как видит она

сама, злополучный клочок бумаги. Белый на красном ковре, он бросается в глаза. Но она не знает, обнаружат ли его сразу же, или несколько позже. Неизвестность занимает и развлекает ее. В эту трагическую минуту она забавляется своеобразной игрой в загадки, глядя, как патриоты то удаляются, то приближаются к дивану.

Броше, покончив с бумагами в секретере, выказывает нетерпение и говорит, что он-то уж наверняка отыщет все, что ему нужно.

Он опрокидывает мебель, переворачивает картины и ударяет эфесом сабли по деревянной обшивке стен, надеясь обнаружить тайники. Но ничего не обнаруживает. Он разбивает зеркало, желая убедиться, не спрятано ли за ним чего-нибудь. И ничего не находит.

Тем временем его люди наугад взламывают паркет. Они клянутся, что бесстыдной аристократке не удастся насмеяться над честными санкюлотами. Но никто из них не замечает уголка белого конверта, который выглядывает из-под диванного чехла.

Жюли ведут в другие комнаты и требуют у нее ключи. Ломают мебель, вдребезги разлетаются стекла; прокалывают пиками сиденья стульев, вспарывают кресла — и ничего не находят.

Однако ж Броше не унывает. Он возвращается в спальню.

— Черт подери! Письма здесь. Я в этом уверен.

Он осматривает диван; диван кажется ему подозрительным, раз пять или шесть Броше вонзает в него саблю по самую рукоятку. И не находит того, что ищет. Отчаянно бранясь, он отдает приказ к отступлению.

Уже переступив порог, он оборачивается и грозит Жюли кулаком:

— Бойся встречи со мной. Я державный народ!

И выходит последним.

Наконец-то они ушли! Она слышит, как шум шагов понемногу стихает на лестнице. Она спасена! И своей неосторожностью она не погубила возлюбленного! Она бежит, с задорным смехом, поцеловать своего Пьера, который, сжав кулачки, спит, не подозревая, какой хаос царит вокруг его колыбели.

Глава из сказки «Пчелка», опубликованная в «Revue Bleue» в 1882 г., но не включенная А. Франсом в окончательный текст, вошедший в сборник «Валтасар»

ГЛАВА 5, в которой приводятся речи мамки Гертруды

В то утро, — а это было первое воскресенье после пасхи, — мамка Гертруда, одевая Жоржа, говорила ему:

— Постойте, монсеньер, дайте же застегнуть ваши подвязки! Вот опоздаете к обедне, достанется вам от госпожи герцогини. Смотрите, как бы с вами не приключилось чего похуже, чем с этими языческими великанами, что заставляют сотрясаться землю, которая их поглотила! В горах, на скалах и поныне сохранились их следы.

— Как бы я хотел быть одним из этих великанов, Гертруда!

— Свят, свят, свят! Не слушай его, господи! А что бы вы стали делать, кабы были великаном?

— Я бы отцепил с неба луну.

— Как жалко-то! А что бы вы с ней стали делать, монсеньер?

— Подарил бы ее Пчелке.

— Да уж это все знают, как вы любите барышню Пчелку! Да и есть за что! Такая красотка и как вежлива со всеми простыми людьми, будь то самый последний слуга. Никогда не пройдет мимо меня, не сказав мне: «Добрый день, милая Гертруда! Как твое здоровье, милая Гертруда?» Приятно слышать такие добрые слова! Да благословит бог уста, которые произносят их!

— Но я люблю Пчелку, Гертруда, вовсе не потому, что она говорит тебе «добрый день»; я бы все равно любил ее, если бы она даже и не говорила этого. Как жалко, что она на самом деле не моя сестричка!

— Придет время, когда вы перестанете жалеть об этом, монсеньер. Уж поверьте мне, перестанете. Поставьте-ка ножку вот сюда на скамеечку, я зашнурую вам гетры. Ах, какие славненькие ботиночки! Дал же бог такие стройные ножки, да и правду сказать, это у вас в роду. Ну вот, опять шкурок оборвался! Не зря, бывало, ваш двоюродный дедушка Филипп пригвождал жуликов-торговцев за ухо к двери. Вот теперь из-за этого шкурка вы опоздаете к обедне. Удави дьявол таким шнурком того мошенника, который его продавал!

— Разве можно удавить таким шнурком, Гертруда, который все время рвется?

— Что правда, то правда, ах вы, мой ангелочек! Ума палата! Ну, да это у вас в роду. Покойный граф, ваш дедушка, натошак, бывало, слова не вымолвит, ну а вот после хорошего ужина иной раз так разойдется! Начнет говорить всякие любезности, называть меня красоткой Гертрудой. Истинная правда, так вот он и говорил: «Красотка Гертруда!»

— Гертруда, а ты старая?

— Да уж не молода, монсеньер, и с каждым днем все старше делаюсь. Но и старше меня люди на свете живут. Вот хотя бы принц Труа-Фонтэн. Он уже большой мальчуган был, а я только что на свет родилась. В тот год праздник отпущения справляли, и юный принц в первый раз штанишки надел.

— Может быть, это и так, Гертруда, но ведь у него такая длинная борода, такая красивая одежда, красивые собаки, красивые лошади. Он ездит на охоту. А ты, Гертруда, ведь не едешь на охоту, у тебя нет красивых платьев. Не понимаю, что тебе за удовольствие жить? По-моему, никакого.

— Ах, монсеньер! Бедный мой муж, покойник, уж такой-то был умный человек! Вспомнишь иной раз, чего он только не придумывал, ну да, конечно, раз это не попало в книжки, так оно все и погибло вместе с ним. Но вот у меня, между прочим, осталось в памяти, как он, бывало, говорил: «У каждого возраста есть свои приятности». И верные это слова. Вот я, например, под старость утешаюсь тем, что меня господь бог в райскую обитель примет, а другие в геенну огненную пойдут. Ну, одна ножка готова, зашнуровали. Давайте другую.

— А по-моему, Гертруда, если тебе что и приятно, так это болтать с нашей кастеляншей и ключником, потому что ты только этим и занимаешься целые дни.

— Вот уж это напраслина, монсеньер! Ну, да ведь у молодых нет разумения, чтобы о человеке по заслугам судить. Наша кастелянша, монсеньер, достойная особа и могла бы служить примером другим, если бы только не заблуждалась на свой счет. А то ведь старуха, горбунья, а вот поди же — бредит, будто все мужчины только и думают, как бы жениться на ней. Ну, а что до нашего ключника — он у нас весельчак! И все-то он про всех знает. Вот только еще нынче утром рассказывал мне историю про вашего дедушку.

— Про того самого, который молчал натошак, а после ужина расходился?

— Про того самого. Но, боже милостивый, монсеньер, кто же это вас научил говорить так про вашего дедушку?

— Да ты сама, Гертруда, вот только сейчас!

— Должно быть, я просто обмолвилась. Это я про ключника говорила. Тот, правда, забавник.

— Гертруда, а ты Расскажи мне, что ты от него слышала. Только выплюнь эти четыре булавки изо рта, ты из-за них корчишь гримасы, и ничего нельзя понять, что ты говоришь.

— Да ведь надо же мне приколоть воротничок к вашей рубашечке, а то он все кверху лезет.

— Пусть себе лезет, Гертруда. Булавки — это для девочек, мальчики не носят булавок. Расскажи мне, что тебе рассказывал ключник. Но только скажи сначала: а это правда было?

— Конечно, правда, Вот только послушайте, и сами не будете сомневаться.

— Гертруда, а как можно узнать, что тебе рассказывают правду?

— Правда, монсеньер, то, чему веришь.

— А разве не бывает так, Гертруда, что ты веришь, а оказывается, это неправда.

— Тогда, значит, выходит, человек ошибся. А если так ошибаться, тогда уж, значит, ничему верить нельзя, и ни о чем уж никакого понятия не будешь иметь, все в голове кругом пойдет, как у пьяницы. И что это вам вдруг на ум взбрело, монсеньер? Не надо так говорить, не подумавши. Вот ваш пояс.

— Гертруда, долго я буду дожидаться, пока ты мне расскажешь эту историю ключника?

— Так вот что он мне рассказывал. Слушайте, монсеньер. Однажды ночью старый граф, ваш дедушка, проснулся в постели от какого-то диковинного шума. Ему показалось, точно

град по крыше стучит, хотя небо было совсем ясное, или будто на лестнице бобы из мешка вытряхивают. А уж это совсем немыслимое дело! Какой же болван станет ночью на лестнице в замке бобы вытряхивать! Ну, дедушка ваш видит, что ему не заснуть, надел свой халат и вышел в галерею посмотреть, что там такое происходит. Каково же было его удивление, когда он при свете луны увидел в зале множество крошечных человечков, которые прыгали в окна и сыпались изо всех щелей и замочных скважин, точно горох. Все они были великолепно одеты, как на свадьбу. Да это и была свадьба. Целый оркестр кузнечиков играл веселые танцы, а человечки кружились и плясали на блестящем паркете. Они ничуть не испугались вашего дедушки и пригласили его протанцевать менуэт с молодой новобрачной. Ну, он, конечно, как любезный кавалер, тут же согласился. То-то была веселая картина! Стоило поглядеть, как наш добрый сеньор в ночном колпаке отплясывал со своей крошечной дамой!

<p>ГЛАВА 6, в которой рассказывается, как герцогиня с маленькой Пчелкой и Жоржем поехали в монастырь и встретились там со страшной старухой.</p>

Едва только Гертруда кончила свой рассказ о маленьких человечках, как герцогиня вышла из своих покоев...

Неизданный отрывок из «Таис»

(Из статьи Анатоля Франса, напечатанной в «L'Univers illustre» 14 апреля 1893 года под заголовком «Письмо из Парижа»)

... А вот отрывки, которые редактору «Иллюстрированной вселенной» угодно было попросить у меня. Первый из них представлял собою конец сцены в цирке, когда Таис изображает смерть Поликсены.

Отрывок этот следовал за строками, которые необходимо здесь воспроизвести:

Она знаком показала, что хочет умереть свободной, как подобает наследнице царей. Потом она разорвала на себе тунику и указала место, где бьется сердце. Пирр, отвернувшись, вонзил в него меч, и благодаря искусному приспособлению из белоснежной груди девушки багряной струей хлынула кровь... Послышались вопли ужаса и душераздирающие рыдания, а Пафнутий, вскочив с места, стал громовым голосом пророчествовать:

— Язычники! Мерзкие почитатели темных сил! И вы, ариане, вы, еще более подлые, чем идолопоклонники, это вам назидание! То, что вы сейчас видели, — образ и символ. В этой сказке заключен сокровенный смысл, и вскоре женщина, которую вы здесь видели, будет как непорочный агнец принесена в жертву воскресшему богу.

Далее следовала уничтоженная мною страница:

Таис опустилась на руки молодого военачальника, принесшего ее в жертву, и взор ее выражал весь ужас смерти; в это мгновение до нее донеслись странные возгласы незнакомца. Она искоса посмотрела на монаха, и губы ее подернулись еле уловимой усмешкой, а тем временем солдаты покрывали жертву пеленой и засыпали ее лилиями и анемонами.

Представление кончилось; под звуки величавого погребального марша толпы зрителей темными потоками устремились к выходам. Пафнутий вновь опустился на скамью и замер в неподвижности. Тщетно Дорион говорил ему, что пора уходить. Отшельник ощущал упоительную слабость от поста и утомления, и ему казалось, что тело его словно воск тает от душевного пламени. Он сомкнул веки, но сверхъестественное сияние пронизывало их, и духовным взором он видел ангелов в белых одеждах, летавших над смертным одром, где под пеленой, среди цветов, покоилась Таис. Духи небесные не решались приблизиться к грешнице, но и не удалялись прочь, а как бы выжидали, преисполненные небесного ликования.

И Пафнутий им сказал:

— Повремените еще немного, посланцы неба, и я прогоню бесов, которые мешают вашему благословенному приближению к усопшей.

Когда он открыл глаза, смертное ложе уже исчезло и амфитеатр был погружен в сумрак. Он встал и поспешил к Таис.

Второй отрывок входил в рассказ о детстве Таис. Этот эпизод навеян Апулеем; мы видим тут жрецов Благой Богини, которые бродили по городам и селам и на которых в XIV и XV веках были очень похожи монахи, разносчики реликвий.

Однажды, когда Таис шел одиннадцатый год, она сидела возле родительского дома, под смоковницей, широко раскинувшей свои ветви, похожие на небольших черных змей. Заметив, что вокруг никого нет, она вынула из кармана украденное яблоко. Она кусала румяный плод и обдумывала новые уловки, чтобы еще полакомиться и побездельничать, и вдруг увидела вдаль в поле старика, походившего по одежде и на мима и на жреца. Он приближался к ней и вел за повод ослика, покрытого длинной попоной, со сверкающим идолом на спине. За стариком шли юноши в белых одеждах и золотых митрах, с мечами, флейтами, тамбуринами и цимбалами в руках. Старик этот был из числа тех, что возят из города в город сирийскую богиню и руководят иступленным хороводом в честь Матери богов. Старик привязал ослика к дереву и вместе с сопровождающими его юношами вошел в кабачок. Таис в изумлении замерла перед богиней, восседавшей на троне и облаченной в пурпурную с золотом тунику, с диадемой на челе, с развевающимися волосами, раскрашенной и смотревшей на нее голубыми глазами. Девочка восторженно любовалась богиней, напоминавшей собою куклу. Мухи облепили раны осла и сосали из них кровь; он поминутно подергивался от укусов, и тогда идол вздрагивал и казался живым. Вдруг животное повернуло к девочке свою некрасивую, нежную морду и обратило на нее прекрасный терпеливый взор, говоривший о беспрестанных муках и примиренности. Когда Таис увидела его, к горлу ее подступили слезы. Впервые после смерти Ахмеса ей встретился ласковый взгляд.

Тем временем спутники Матери богов жадно ели и пили, и из темного кабачка, вместе с запахом жаркого, доносились непристойные шутки и разнузданный, пьяный хохот.

Они пили, ссорились, потом уснули и проспали самое жаркое время дня, а в час, когда улицы становятся особенно многолюдными, они вместе с осликом и богиней вышли на городскую площадь и стали приманивать народ, играя на флейтах. Вокруг них собрались

любопытные, среди которых была и Таис. Когда народу набралось побольше, бродячие жрецы стали плясать.

Под звуки пронзительной и однообразной музыки они бросались из стороны в сторону, как бы в бреду. Вскоре они побросали митры на землю, и движения их участились. Запрокинув голову, изогнув шею, они били в цимбалы. Танцующие, словно припадочные, высовывали язык и покусывали его. Они размахивали мечами, наносили себе длинные раны на руках и на ногах. Звук инструментов все усиливается, и ритм все ускоряется, мешаясь с диким воем. Кровь брызжет и струится, и теперь уже виден только вихрь безобразных красных фигур, кружащихся на обагренной земле.

Обступившие беснующихся рабы, матросы и рыбаки рукоплещут. В этом кровавом месиве им чудятся жрецы-акробаты, возрождающие нечистые жертвоприношения Атиса и корибантов; они испускают вопли ужаса и восторга. Но неистовство жрецов постепенно ослабевает и замирает. Они останавливаются. И один из них, весь окровавленный, с деревянной чашей в руке, начинает собирать подаяние для братьев, во имя Матери богов. Он обходит собравшихся и получает оболы, драхмы, винные ягоды, сыр, вино. Растерянная, дрожащая Таис, чувствуя себя во власти какого-то неведомого бога, провожает жреца глазами по всему кругу. Когда он приближается к ней, она вдыхает запах пота и теплой крови. А когда рука, исполованная зияющими ранами, протягивается к ней, она срывает с шеи голубой амулетик и бросает его в чашу.

С этого дня в глубине ее души навсегда запечатлелось чувство ужаса. Все божественное стало казаться ей жутким и в то же время бесконечно сладостным, ибо с ним связывались воспоминания об Ахмесе и о Благой Богине.

В ее невежественной душе сочеталась вера распятого раба и культ фригийцев. Она мечтала общаться с небесными существами, а случалось и так, что ей хотелось умереть. Но в повседневной жизни она была по-прежнему ленива, чувственна и чревоугодлива.

Отрывок из романа «Харчевня королевы Гусиные Лапы», не включенный Анатолем Франсом в окончательный текст

В один прекрасный день, когда я находился в вышеуказанном состоянии духа, ко мне в лавку зашла дама, которая, уже утратив молодость, еще не утратила прелести форм, и каждый по ее головному убору, в точности воспроизводившему знаменитый чепец г-жи де Ментенон, сразу признал бы в ней святошу. И впрямь незнакомка потребовала книги духовного содержания и, выбрав одну, попросила меня самолично доставить ей покупку на дом, что я и не преминул сделать. Дама приняла меня в своей спальне, сидя на софе в щегольском, но достаточно откровенном утреннем туалете.

Я не замедлил разгадать ее намерения, пощадив тем самым стыдливость незнакомки, которой не пришлось намекать мне дважды, и учинил насилие, всю деликатность какового она, надеюсь, оценила. Будучи мне признательной, она наградила меня такой исступленной и вместе с тем такой изящно-утонченной страстью, о какой не могла дать мне представления даже сама Иахиль.

Отсылая меня прочь, дама вновь напустила на себя столь неприступный вид, что я усомнился, точно ли я сам все это видел, испытал, трогал. В поведении незнакомки я усмотрел величайшую ее заботу о сохранении ее доброго имени.

Много раз приходила она в лавку «Под образом св. Екатерины» за книгами, могущими укрепить ее на пути благочестия.

Справедливо оценив мою скромность, она еще довольно долго держала меня при себе. Я же был безмерно рад нашей связи, ибо моя подруга не только доставляла мне наслаждения, но в качестве женщины светской еще и обучила меня искусству вызывать к себе людское уважение.

notes

Примечания

«Валтасар» — первый сборник новелл А. Франса, появился в издании Кальман-Леви в 1889 г.; в него вошли произведения более ранних лет, опубликованные до этого в периодической прессе.

«Валтасар» показывает, как многогранны были связи Франса с традициями национальной литературы; одни новеллы восходят к философской повести XVIII в., другие тяготеют к французской новелле XIX в.

Несмотря на тематическую пестроту сборника, в нем есть некоторое единство, создаваемое антицерковной направленностью и пародийностью замысла большинства вошедших в него новелл. Так, новелла «Валтасар», впервые опубликованная в «Temps» 26 декабря 1886 г., носила подзаголовок «Рождественский рассказ», так же как «Дочь Лилит» (опубликована там же 25 декабря 1887 г.); «Лета Ацилия» («Temps», 1 апреля 1888 г.) и «Красное яйцо» (там же, 10 апреля 1887 г.) пародировали «пасхальные рассказы»; «Господин Пижоно» при первой публикации («Temps», 9 января 1887 г.) имел подзаголовок «Крещенский рассказ»; «Резеда господина кюре» содержала прямую издевку над религиозной моралью.

В известном смысле «Валтасар» подводил итог двадцати годам писательской деятельности А. Франса и явился переходной ступенью к рассказам и романам 90-х годов. Мы находим здесь весь круг интересов раннего Франса. Сборник несет на себе печать характерного для него увлечения «Жизнью Иисуса» (1863) и «Историей израильского народа» (печаталась начиная с 1888 г.) Эрнеста Ренана; это показывают и библейские сюжеты некоторых новелл сборника и общая философская позиция автора, которая, как и в произведениях предыдущих лет, остается близкой к ренановскому философскому релятивизму. Красочные, декоративные картины жизни древнего Востока, древнеримского общества, любование древнеегипетской экзотикой дают основание говорить, что Франсу, автору «Валтасара», по-прежнему близки многие темы и художественные принципы поэзии парнасцев. Вместе с тем в сборнике есть отголоски того интереса к современности, который породил «Иокасту», «Тощего кота» и «Преступление Сильвестра Бонара». Многие мотивы этих произведений так или иначе отражены в «Валтасаре».

С другой стороны, сборник содержит зерна новых творческих замыслов, от него тянутся нити к «Таис», к «Перламутровому ларцу». Здесь уже господствует столь характерная для Франса начала 90-х годов атмосфера непочтительности к церковным канонам, полусочувственного-полунасмешливого отношения к персонажам апокрифических сказаний, уже выработан прием иронической стилизации, который станет основным художественным приемом в легендах «Перламутрового ларца».

Наряду с этим мы находим в новеллах «Валтасара» реалистические зарисовки природы и быта Франции конца XIX в., портреты современников: ученого-гуманиста, врача, светской дамы, сельского священника, семейства провинциальных дворян. Все это не только связывает сборник с французской реалистической новеллой того времени, но и в какой-то мере предвосхищает рассказы и романы Франса 90-х годов на современные темы.

Сюжет открывающей сборник новеллы «Валтасар» на первый взгляд действительно традиционен для рождественского рассказа, он связан с евангельской легендой о поклонении волхвов новорожденному Иисусу Христу. Однако писатель сейчас же подменяет этот сюжет другим, библейским сюжетом о царице Савской, который, в свою очередь, служит лишь условным обрамлением для истинного содержания новеллы, не имеющей в сущности никакого отношения к библии. «Валтасар» — это философская повесть, сознательно

стилизованная в духе «Задига» или «Царевны Вавилонской» Вольтера, где персонажи только по именам связаны с легендой, а авантурная фабула и восточная экзотика подчинены философской идее.

Это ясно показывает первый вариант новеллы, опубликованный в 1884 г. в газете «L'Univers illustre» под заглавием «История Гаспара и царицы Савской». Образы героев здесь только намечены, все их приключения отсутствуют и сюжет сведен к главной ситуации: юный «царь-волхв», наблюдая с башни своего дворца небесные светила, замечает на горизонте приближающийся караван царицы Савской. В сердце его внезапно вспыхивает земная страсть; но в это время в небе загорается Вифлеемская звезда, а в сердце Гаспара — любовь небесная, и он следует за звездой, «показав спину» царице. С досады ее прекрасное лицо становится подобным «омерзительной морде шакала», «чтобы люди познали безобразие идолопоклонничества, ибо отныне дни язычества были сочтены».

Насмешка над христианством сквозит и в иронической концовке, которая повторяет евангелие, но совсем не вытекает из всего предыдущего развития сюжета новеллы: герой встречается с остальными двумя волхвами, приходит к новому богу, «и, простершись втроем пред младенцем Христом, лежавшим на соломе, они познали истину».

Во втором варианте новеллы даются уже развернутые характеры героев, и конфликт проистекает из их столкновения. «Царь-волхв» получает имя Валтасара, становится чернокожим и наделяется житейской неопытностью и простосердечием наподобие вольтеровских Кандида или Простака. Сомнительная мудрость отречения от земного счастья ради счастья небесного приходит к нему в результате тяжелых жизненных разочарований, что в значительной мере обесценивает его религиозное обращение.

Образ царицы Савской олицетворяет в новелле жестокую, но неотразимо притягательную силу полнокровной земной жизни. Используя материал апокрифических легенд, А. Франс подчеркивает в своей героине злое, «грешное», «бесовское»; недаром молва наделяет ее, как античных фавнов, «козьими ногами с раздвоенными копытцами».

В 60—70-х годах XIX в. образ царицы Савской неоднократно воссоздавался в искусстве; в парижских художественных салонах было выставлено множество гравюр на эту тему; в 1862 г. была поставлена опера Ш. Гуно «Царица Савская». В «Искушении святого Антония» Флобера (1874) лукавая царица является святому отшельнику и пытается его совратить. Истолкование этого образа у Флобера очень близко к франсовскому, да и вся новелла «Валтасар» полна реминисценций из мистерии Флобера; вольтерианство дополняется здесь скепсисом, характерным для обоих писателей: в чем же счастье человека, в любви или в науке; в чем истина, в погружении в жизнь или в уходе от нее, — этот вопрос остается открытым.

В новелле «Лета Ацилия» А. Франс обращается к эпохе заката античности и зарождения христианства, постоянно привлекавшей его внимание в первый период творчества, к той же теме столкновения двух мировоззрений, христианского и языческого, которую мы находим в его ранних стихах, в «Коринфской свадьбе», позднее в «Таис», в «Прокураторе Иудеи» и в романе «На белом камне». Но «Лета Ацилия», как и «Валтасар», ближе всего подходит к жанру философской повести.

Идея новеллы ясно выражена в противопоставлении двух ее героинь — иступленной христианки Марии Магдалины и простодушной язычницы Леты Ацилии. Подобно тому как это было в «Коринфской свадьбе», за каждой из них стоит свой мир, и автор на стороне язычницы, которая, оберегая свое душевное спокойствие и простые человеческие радости, отшатывается от мрачного и тревожного христианства и предпочитает римских домашних божков непонятному богу Магдалины.

Евангельский образ Марии Магдалины издавна занимал Франса; это нашло отражение в его стихотворениях («Судьба Магдалины»), косвенно — в романе «Таис». «Лета Ацилия» содержит прямую пародию на евангельскую легенду. А. Франс не только сознательно смешивает обращенную блудницу Марию Магдалину с другой упоминаемой в евангелии Марией, но и вкладывает совсем иной смысл в этот образ: с иронией обнажает он эротическую подоплеку религиозного экстаза Марии. Сама она не отдает себе отчета в истинном характере своих чувств, но добродетельная патрицианка Лета Ацилия наивно завидует ее «любовным приключениям» и упрекает ее, что она «слишком любила» своего бога.

Парадоксальность ситуации в том, что душевная ясность оказывается уделом язычницы, живущей в согласии с естественными потребностями своей здоровой натуры, тогда как христианку, искусственно подавляющую свою человеческую природу, сжигает огонь нечистых страстей.

Этот мотив получит развитие в романе «Таис».

«Дочь Лилит» — третья новелла сборника, связанная по сюжету со Священным писанием, — тоже восходит к литературе Просвещения XVIII в.; миф о Лилит, противоречащий ортодоксальной библейской версии о сотворении мира, приводится в одном из важнейших литературно-философских памятников раннего французского Просвещения — в «Историческом словаре» Пьера Бейля. А. Франс использовал этот миф для критики религиозной морали, возводящей в добродетель отречение от земных страстей; трагедия героини новеллы Лейлы в том и состоит, что она не причастна к страданиям, горестям, страстям человеческим, а значит, и к человеческому счастью. Бессмертие Лейлы лишено смысла; не зная любви, она в состоянии лишь приносить зло людям.

В «Дочери Лилит» заключается та же гуманистическая мысль, что и в «Таис»: только способность любить делает человека человеком.

Но содержание новеллы не исчерпывается ее философской проблематикой. Франса увлекает таинственный образ Лейлы, роковая страсть героя, контраст между его душевным смятением и монотонным существованием сельского священника. Миф вторгается в современность и несет с собой элемент сверхъестественного, иррационального.

И в этом «Дочь Лилит» соприкасается с литературой декадентства.

Новелла «Господин Пижоно» возвращает нас к «Преступлению Сильвестра Бонара». Здесь тот же скепсис в оценке исторической науки, которая, если судить по новелле, накапливает факты, но ничего не объясняет в жизни; то же любовно ироническое отношение к ученому-гуманисту, отгородившемуся своими книгами от современности. Египтолог Пижоно — родной брат чудаковатого академика Бонара. С первых же строк автор высмеивает его научные труды, вроде «Заметок о ручке египетского зеркала, находящегося в Лувре», и с веселой иронией показывает, что вся мертвым грузом лежащая премудрость старого ученого годится лишь на то, чтобы придумать маскарадный костюм для великосветской барышни. Как Сильвестр Бонар пожертвовал своей библиотекой ради счастья юной Жанны Александр, а ученый Богус («Книга моего друга») отдал труд целой жизни для гербария своей племяннице, так и Пижоно призывает всю свою эрудицию, чтобы сочинить забавную сказку для Анни Морган. Во всех трех случаях мертвая наука пасует перед живой жизнью.

Мотив гипноза, внушения тоже звучит в новелле иронически; когда г-н Пижоно признается: «Непреодолимая сила влекла меня к мисс Морган», читатель начинает подозревать, что, может быть, в этом виноваты не столько «поразительный экспериментатор» доктор Дауд и мистическая египетская кошечка Пору, сколько чары

молодости и красоты, которые действуют сильнее всякого гипноза.

В новелле «Красное яйцо» развивается та же ситуация, что в «Иокасте»; автор начинает повествование с ее краткого пересказа. В обоих случаях болезненно обостренное восприятие случайной фразы из античного текста приводит героев к самоубийству.

Но в «Иокасте» гибель героини обусловлена отчасти социальными причинами: запутавшись в семейных отношениях, она становится невольной соучастницей преступления и жертвой шантажа.

В «Красном яйце» причина гибели героя — больная психика, обусловленная дурной наследственностью (Александр Лемансель — это «несчастный отпрыск вечно страдающей мигренью матери и отца-микроцефала»). Болезнь проявляется уже в детстве, его преследуют навязчивые идеи («Тифания не умерла!»), мечты о военной славе; необыкновенное красное яйцо, якобы снесенное курицей в день его рождения, — только повод для развития его психоза, который исследуется автором так же, как это делалось в романах Гонкуров и в ранних произведениях Золя. В «Красном яйце» А. Франс ближе всего подходит к натурализму.

Сказка «Пчелка» выпадает из общего плана сборника «Валтасар» и непосредственно примыкает к главам «Книги моего друга», посвященным волшебным сказкам. Она как бы осуществляет на практике мысли А. Франса об этом жанре. Не случайно соответствующие главы «Книги моего друга» были впервые опубликованы в периодической прессе под названием «Сказки матушки Гусыни» в 1881 г., а уже через несколько месяцев, летом 1882 г., в печати появилась «Пчелка» («Revue Bleue», 8, 15, 22, 29 июля 1882 г.).

В «Пчелке» проявилась богатая фантазия А. Франса, глубокое понимание им духа французской народной сказки с ее мечтой о справедливости и счастье для людей, с ее светлым восприятием мира. Недаром А. Франс писал в «Книге моего друга»: «В литературных произведениях классических эпох уже не встретишь той изумительной простоты, того божественного неведения... которые сохранились неувядаемыми и благоуханными в сказках и народных песнях».

Из фольклора пришли и основные мотивы фабулы «Пчелки» и главные образы — добрые принцы и принцессы, гномы, ундины, волшебное озеро, зловещая старуха, сочные образы верных слуг, горожан и крестьян.

Вместе с тем сказка Франса имеет глубокие традиции в национальной французской литературе, в средневековых рыцарских романах, в сказках Шарля Перро. Об этом говорит не только содержание «Пчелки», не только мастерски переданная в ней атмосфера рыцарского средневековья, но и ее форма: изящная простота и лаконизм языка, напоминающие классическую французскую прозу XVII века, разлитая по всему произведению едва заметная ирония и характерная композиция (чередование сюжетных линий по главам и краткий пересказ содержания в начале каждой главы). А. Франс и здесь показал свое тонкое искусство стилизации. Прекрасны глубоко поэтические и красочные картины природы в сказке Франса; но особенно привлекателен ее гуманизм — прославление верной дружбы, непреходящей любви, стойкости и отваги и осуждение эгоизма во имя бескорыстия в чувствах — тема так своеобразно воплощенная в сказочном образе доброго гнома Лока-Королька.

Эжен-Мельхиор де Вогюэ (1848–1910) — известный французский политический деятель, историк и критик, автор книги «Русский роман» (1886) и многочисленных работ о древнем Востоке.

...в Эфиопии царствовал Валтасар... — Согласно евангелию три восточных мудреца (волхва) пришли поклониться новорожденному Христу. Впоследствии легенда превратила их в трех мудрых царей, которые получили имена Каспара (или Гаспара), Мельхиора и Валтасара.

...он решил посетить Балкис, царицу Савскую. — По библейской легенде, царица Савская, владения которой находились в Южной Аравии, наслышалась о мудрости и богатстве царя Соломона и посетила его столицу, чтобы лично убедиться в справедливости молвы о нем. В апокрифических легендах образ царицы Савской стал символом восточного великолепия и красоты.

Он научил его апотелезматике... наблюдал двенадцать знаков зодиака... — Речь, идет об астрологии, псевдонауке, предсказывавшей будущее по расположению небесных светил. Восточные мудрецы, в первую очередь халдейские маги, так же как ассиро-вавилонские жрецы, с которыми они позднее отождествлялись, считались знатоками в этой области.

...царица Балкис прикрывает своим золотым одеянием ноги с раздвоенными, как у козы, копытцами. — Легенда рассказывала, что мудрый царь Соломон обнаружил это тщательно скрывавшееся уродство прекрасной царицы Савской, заставив ее ступить на зеркально блестящий пол, который она приняла за пруд; боясь замочить платье, царица приподняла его, так что можно было увидеть ее ноги.

Жюль Леметр (1853–1914) — французский поэт, драматург и литературный критик; в 80-х годах публиковал стихи в духе «Парнаса». А. Франс посвятил ему статью в серии «Литературная жизнь».

Огюстен-Тьерри Жильбер (1843–1915) — французский писатель, автор многочисленных романов на исторические темы, в которых часто действуют сверхъестественные силы. А. Франс писал о нем в серии «Литературная жизнь».

...при раскопках Серапея... — Серапей, или Серапеум — храм Сераписа, главного божества эллинистического Египта в Александрии.

...эта работа открыла мне двери Института. — Институт — объединение пяти Академий.

... в моем профиле есть что-то кушитское. — Кушиты — восточно-африканские племена, которые наука одно время причисляла к древнейшему населению Вавилонии и Финикии.

А бог Бэс, похожий на Сарсэ! — Сарсэ Франциск (1827–1899) — французский литературный и театральный критик, очень популярный в 80-е годы XIX в.

Авеню Булонского леса возле виллы «Саид». — Вилла «Саид» — вилла Анатоля Франса.

Скарабей — изображения жуков, считавшихся священными в древнем Египте.

Помните Неферу Ра у Леконта де Лиля? — Леконт де Лиль Шарль (1818–1894) — французский поэт, глава литературной группы парнасцев, к которым А. Франс был близок в начале своего творчества.

Бодлер, величайший французский поэт после Стефана Малларме... — Шарль Бодлер (1821–1867) — выдающийся французский поэт, предшественник декадентов-символистов, к числу которых принадлежал Стефан Малларме (1842–1898). Анни Морган дает ему столь высокую оценку, следуя литературной моде. В новелле А. Франса приведена цитата из стихотворения Бодлера «Кошки».

Перевод Д. С. Самойлова.

Ни Бернгейму, ни Льежуа, ни даже самому Шарко не удалось добиться таких явлений в области внушения... — Бернгейм Ипполит (1837–1919) — французский ученый-медик, занимавшийся исследованиями в области гипноза. Льежуа Жюль (1833–1908) — французский ученый-юрист, изучавший гипноз в связи с вопросом о юридической ответственности человека. Шарко Жан-Мартен (1825–1893) — один из виднейших представителей французской медицинской науки XIX в., автор учения о нервных болезнях, в особенности об истерии как психическом заболевании.

Жан Псикари (1854–1881) — французский писатель и филолог, специалист по новогреческому языку.

... я доказываю существование преадамитов, о которых боговдохновенный автор «Книги Бытия»... — Преадамиты — то есть существовавшие до первого человека, Адама. «Книга Бытия» — первая книга библии, где рассказывается о сотворении мира.

...радость праздника кармелитов. — Кармелиты — монашеский орден, отличавшийся строгим уставом.

Ари Ренан (1857–1900) — сын историка Эрнеста Ренана, художник и поэт.

...жила в Массилии в царствование императора Тиберия. — Массилия — город Марсель, входивший в состав римских владений (отсюда ниже жители его называются массалиотами).

Народ побил Стефана камнями. — По церковной легенде, св. Стефан, первый ученик христианской церкви, был обвинен в богохульстве фанатиками Ветхого Завета, приговорен к казни и побит камнями.

«Не прикасайся ко мне» (лат.).

Поцци Жан-Самюэль (1846–1918) — французский врач-хирург.

Вы говорили о странном случае самоубийства одной женщины... — Здесь приводится сюжет повести А. Франса «Иокаста», основная ситуация которого повторяется в «Красном яйце».

...во время экскурсии нашего класса в аббатство Мон-Сен-Мишель. — Старинное аббатство Мон-Сен-Мишель, с которым связано множество легенд, расположено на высокой прибрежной скале и во время морского прилива превращалось в неприступную крепость. В средние века, особенно в период Столетней войны с Англией (XIV–XV вв.), Мон-Сен-Мишель выдержал многочисленные воинские атаки с суши и с моря. Впоследствии аббатство было превращено в политическую тюрьму.

...домик, в котором... жила Тифания Рагенель, вдова Бертрана дю Геклена. — Бертран дю Геклен (XIV в.) — коннетабль, то есть командующий королевскими войсками Франции, легендарный воин и храбрец, прославленный в народе подвигами в борьбе против англичан. По преданию, молодая девушка Тифания Рагенель пленила его своими познаниями в астрологии и, став его женой, предсказывала своему супругу военные победы и поражения.

Сюжет романа «Таис» вынашивался много лет. Первой поэтической публикацией А. Франса была «Легенда о Таис, комедиантке» (1867) — стихотворный набросок, в котором автор следовал традиционному сюжету церковного предания об обращении в христианство александрийской куртизанки Таис, впоследствии известной под именем св. Таисии, но ни словом не упоминал об искушении и падении монаха Пафнутия. По свидетельству некоторых друзей Франса, у писателя имелась в рукописи новелла под названием «Святая Таисия» на тот же сюжет; наконец около 1888 г. началась работа над романом.

В августе 1888 г. А. Франс писал своему другу г-же Кайавэ; «Ваш бедный друг в Александрии. Он побывал в театре. Он видел Таис в роли Поликсены в трагической пантомиме», и далее, что его «начинает забавлять этот отец Пафнутий» и что он, Франс, «чувствует себя лучше во власянице Пафнутия», чем в роли Жерома («Жером» — литературный псевдоним раннего А. Франса).

Закончив роман, А. Франс передал рукопись известному критику Брюнетьеру, который был тогда редактором журнала «Revue des Deux Mondes».

Новое произведение было опубликовано под заглавием «Таис. Философская повесть» в журнале «Revue des Deux Mondes» в трех выпусках: 1 июля, 15 июля и 1 августа 1889 г. Отдельное издание появилось 14 октября 1890 г. в книгоиздательстве Кальман-Леви, причем объем книги, по сравнению с журнальным вариантом, увеличился на двадцать шесть страниц.

Успех «Таис» превзошел все ожидания, книга сделалась во Франции главным литературным событием 1890 г.; она была вскоре переведена на иностранные языки, не менее чем на восемнадцать, пользовалась особой популярностью в Англии, Италии, Америке, России. Уже в 1891 г. в Петербурге появился первый русский перевод романа под названием «Александрийская куртизанка».

В марте 1894 г. французский писатель Луи Галле опубликовал трехактную лирическую комедию «Таис» по роману Франса, которая послужила либретто к одноименной опере Масснэ. После успешной премьеры Франс одобрительно отозвался о либретто и об опере в статье, помещенной в журнале «L'Univers illustre». Опера Масснэ, обошедшая сцены многих стран, способствовала еще большей популярности произведения А. Франса. В 1912 г. она была поставлена в Москве русской труппой в «Луна-парке», а в 1913 г. с успехом шла в театре Солодовникова с участием иностранных певцов-гастролеров.

Большая часть французской критики дала положительную оценку роману «Таис» при его первом появлении, отмечая идейную значительность книги, ее художественные достоинства. Критик Морель, например, писал, что в романе проявилось дарование А. Франса с трех наиболее важных сторон — как философа, эрудита и поэта.

В то же время выход в свет «Таис» вызвал открытое недовольство реакционных клерикальных кругов. Так, иезуит Брюкер, сотрудничавший в журнале «Религиозные, философские, исторические и литературные очерки», в декабре 1889 г. и в ноябре 1890 г. опубликовал две статьи против «Таис». Брюкер называл роман А. Франса «отвратительным», полным «порнографического реализма», «философским только по названию», утверждал, что история Пафнутия освещена автором пародийно, что легенду, благоухающую христианской чистотой, он превратил в непристойную фантазию.

На первую из этих статей А. Франс остроумно и язвительно ответил в «Проекте предисловия к „Таис“», который был опубликован только в 1924 г.:

«Моя „Таис“ очень рассердила некоего отца иезуита, который адресовал мне

простодушные проклятия в своем журнале, специально присланном мне по этому случаю; не будь он так заботлив, я и до сих пор не знал бы ни о существовании означенного отца иезуита, ни о его гневе.

Одновременно какой-то журнал, издаваемый в Одессе, с неменьшим возмущением обвинил меня в том, что я отступаю в своей книге от учения православной церкви. Не угодив ни одному, ни другому, я утешился мыслью, что при всем желании не смог бы угодить обоим.

Признаюсь, что, проклиная меня, его преподобие мне польстил. Он прочел мою книгу, и прочел так внимательно, что, пытаясь восстановить историю св. Таисии и св. Пафнутия в ее первоначальной чистоте, не устоял перед соблазном ввести в свой рассказ такие черты, которые придумал я сам... Говорю это не затем, чтобы доставить неприятность его преподобию, а чтобы он поразмыслил, в каком положении оказался. Он глотнул того яду, который хотел обезвредить, и на себе самом убедился, что дьявол весьма хитер».

Интересно, что даже опера Масснэ «Таис», в которой ни музыка, ни текст не обладали и половиной идейной и художественной силы романа Франса, не давала покоя церковникам. Так, русская газета «Биржевые ведомости» сообщала 16 июня 1912 г., что «группа провинциальных священников обратилась в святейший синод с ходатайством о снятии с репертуара театров оперы Масснэ „Таис“, мотивируя это ее кощунственным содержанием».

Таким образом, первое крупное произведение А. Франса исторического жанра было воспринято прежде всего как антиклерикальное. Этим романом А. Франс, пусть в опосредствованной форме, включался в борьбу против реакционной католической церкви, которую вела прогрессивная общественность. «Таис» вошла в ту традицию, которую во французской литературе XIX в. открыл обличительный образ архидиакона Клода Фролло из романа В. Гюго «Собор Парижской богородицы» (1831) и продолжали во времена А. Франса тот же Гюго, создавший образ изувера-инквизитора Торквемады в одноименной драме (1881), Э. Золя, разоблачивший религиозные «чудеса» в романе «Лурд» (1897) и т. д.

Старинная коптская легенда о Таис была известна А. Франсу по многим источникам. Ее неоднократно переписывали монахи позднегреческих монастырей, перевел на латинский язык схоласт Руфинус; в X в. она достигла Германии и была использована саксонской поэтессой монахиней Гросвитой для ее драм «Пафнутий» и «Авраам» (Анатоль Франс знал эти драмы по французскому переводу 1845 г. и затем в 1888 г. видел их в постановке кукольного театра). В средние века легенда о Таис была широко распространена в разных версиях на разных языках. Упоминание о прекрасной обращенной язычнице А. Франс мог найти и у французского поэта XV в. Франсуа Вийона и у гуманиста XVI в. Эразма Роттердамского. Наконец в момент работы Франса над романом, в 1889–1890 гг., в печати сообщалось об открытии при раскопках в Египте мумий Таис и Серапиона (как в некоторых источниках назван Пафнутий). Но самую полную версию легенды давали «Жития отцов пустынных», модернизированный перевод которых был издан во Франции в 1761 г. — книга, по которой в XVIII в. «все дети учились читать» (А. Франс).

В статье по поводу оперы Масснэ А. Франс признавался:

«Я взял легенду в том виде, в каком нашел ее в пятидесяти строках „Житий отцов пустынных“, развил ее и переделал в соответствии с определенной моральной идеей».

В романе «Таис» А. Франс вновь обратился к излюбленной им эпохе угасания античного язычества и возникновения христианства. Его интерес к этой переходной эпохе разделяли в то время многие писатели, но отношение их к античности было различным: писатели, связанные с декадентством, поэтизировали умирание древнего мира, смаковали эротические сюжеты, сцены казней и пыток в «античной» рамке; прогрессивная литература искала в

античности опоры для своих гуманистических идеалов. К этому направлению принадлежал и А. Франс.

Еще в молодости, связанный тогда с парнасцами, он воспринял их тенденцию к гуманистическому истолкованию античности. Но в первую очередь здесь следует говорить о влиянии Флобера — автора «Саламбо» (1863), «Иродиады» (1871) и «Искушения святого Антония» (1874). «Таис» обнаруживает глубокую преемственную связь с последним произведением; тут речь идет не только об идейных и сюжетных аналогиях, но и о совпадении некоторых деталей. Как и Флобер, Франс связывает с античностью представление о прекрасном, вечном, он тоже хочет внушить читателю интерес и любовь к навеки ушедшему в прошлое миру, открыть в нем живое и важное для современности.

Вместе с тем в период работы над «Таис» А. Франс находился под влиянием философа-релятивиста Э. Ренана и искусствоведа-позитивиста И. Тэна и разделял их взгляды на исторический жанр в литературе, взгляды, отражавшие кризис буржуазной общественной науки во второй половине XIX в. и разочарование в ее методах.

В то время Франс полагал, что истина в истории относительна, что историк не в состоянии раскрыть настоящие причины и связь событий; ему остается лишь одно: заново творить людей и дела прошлого на основе своих субъективных представлений. А раз так, то писатель может достигнуть в истории гораздо большего, чем ученый; с помощью творческого воображения он лучше воссоздаст психологию, характеры, страсти прошлых дней, а это и есть единственное реальное содержание истории.

В соответствии с такими взглядами А. Франс не ставил себе задачей показать в «Таис» прошлое как предысторию настоящего, ибо не видел в них движения вперед. Как и Флобер, автор «Искушения», он потерял веру в прогресс буржуазного общества; Франс считал, что история учит скептицизму, наглядно показывает относительность всех духовных форм, знаний, верований. Но если Флобер в своем страстном негодовании против буржуазной цивилизации отверг в «Искушении» одно за другим верования людей, обнаружившие свою несостоятельность, то Франс, стоявший тогда на позициях благожелательного скептицизма, принимает в «Таис» различные убеждения и взгляды как равно правомерные.

В статье по поводу оперы Массне он пишет о своем романе:

«Я собрал воедино противоречия. Я показал расхождения. Я посоветовал сомневаться. По-моему, нет ничего лучше философского сомнения. Философское сомнение порождает в душах людей терпимость, снисходительность, божественную жалость, — все нежные добродетели... Я думаю также, что несчастья людей проистекают от гордости. Вот почему моя книжка советует придерживаться простоты сердца и ума».

Скептическое отношение к истории объясняет и то, что Франс не стремился в «Таис» к исторической достоверности. Используя для романа огромное количество научных и литературных источников, он тем не менее хотел создать лишь общую психологическую атмосферу древней александрийской цивилизации, а не воскресить конкретную историческую эпоху. Он сознательно пошел на анахронизм, поместив свою героиню в обстановку эллинистической культуры, хотя она согласно церковным книгам жила в IV в. н. э., то есть через пятьсот лет после того, как завершился эллинистический период в истории Александрии.

Франса привлекает прежде всего декоративная сторона истории, экзотика психики и нравов, красочность быта; общественные конфликты рабовладельческого общества на пороге его гибели не попали в поле зрения автора либо показаны односторонне: они сведены лишь к борьбе в области идеологии, борьбе философской и религиозной. Тем не менее А.

Франс воссоздал картину жизни эллинистического Египта с такой пластической силой, что с ней может соперничать во французской литературе только картина жизни древнего Карфагена в романе Флобера «Саламбо».

Сам писатель, однако, утверждал, что преследовал в «Таис» в первую очередь другую цель. В статье об опере Масснэ, разъясняя свой замысел читателям, Франс определил «Таис» как «элементарное пособие по философии и морали, иллюстрированное образами».

«То тут, то там меня поздравляют, — продолжал он, — с тем, что я воскресил александрийский мир и сумел передать его колорит. Но об этом-то я думал меньше всего. Когда я писал „Таис“, я старался, напротив, ввести в мою сказку (а это сказка) только такие идеи, которые могут быть интересны моим современникам. Я как можно меньше превращался в египтянина и александрийца».

Назвав свое произведение «философской повестью», Франс прямо указал на преемственную связь с традицией Вольтера. Это подтверждается тем, что, как показывает рукопись «Таис», отправной точкой автора была сцена искушения Пафнутия в гроте Нимф, которая отсутствовала в источниках романа и в ранней поэме Франса. Парадоксальная ситуация, являющаяся ключом к философской идее романа, была так определена самим автором: «Я хотел сделать так, чтобы Пафнутий погубил свою душу, желая спасти душу Таис».

Второй эпизод, особенно важный для понимания идеи произведения, — философский пир в Александрии. Именно здесь автор показывает и сравнивает главные направления позднеэллинистической философской мысли, иронически отмечая правоту и неправоту каждого из собеседников, и в то же время проводит в их спорах аналогию с идейным разбродом конца XIX в.

Подобно Вольтеру Франс намекает в «Таис» на конкретные явления современности. Так, речи римского префекта Котты о «свободе под властью умных деспотов» связаны с разоблачением попытки генерала Буланже произвести в конце 80-х годов XIX в. монархический переворот во Франции, — отсюда ирония над ограниченностью взглядов Котты в романе. Картины жизни города Силополиса, возникшего в пустыне вокруг Пафнутия-столпника, даны в духе злого гротеска, заставляющего вспомнить о «Лурде» Золя и т. д.

Традиция Просвещения чувствуется и в строго рационалистической композиции романа Франса. Действие и персонажи расположены между двумя композиционными полюсами: пышной языческой Александрией и суровой христианской Фиваидой, и тяготеют к одной из них; первую олицетворяет изнеженный эпикуреец Никий, для которого смысл жизни в наслаждении, вторую — аскет Пафнутий, для которого отказ от всех естественных радостей жизни составляет высшую добродетель. И если слепой фанатизм Пафнутия бессмысленен, потому что противоречит человеческой природе, то и снисходительная терпимость его антагониста Никия столь же бесплодна, ибо она проистекает от равнодушия к людям. Автор отказывается в правоте и угасающему язычеству и возникающему христианству; правда — на стороне живой прелести и красоты жизни, воплощенной в образе Таис.

Образы главных героев романа, Таис и Пафнутия, развиваются в противоположных направлениях. В романе происходит постепенное развенчание героя и возвышение героини, пока, наконец, в финале не дается апофеоз Таис и окончательное осуждение Пафнутия. Здесь автор оставляет мягкий тон снисходительного скептицизма, его суждение становится суровым и решительным: он против мертвой догмы религии, за живую жизнь.

Обращение язычницы-куртизанки в христианство не делает ее союзницей Пафнутия, и в этом тоже проявляется ирония автора; как и в других произведениях раннего периода, А.

Франс отличает в «Таис» догматизм воинствующей церкви от наивной поэзии народных религиозных верований. В романе они представлены образами кротких христиан: отшельника Палемона, Павла Юродивого, св. Антония, признающих благость земной жизни, и в особенности чернокожего раба Ахмеса, который научил Таис состраданию и любви к людям.

Именно способность любить и делает Таис святой. Это ясно показано в сцене сожжения богатств Таис, когда она пытается спасти от огня статуэтку бога любви Эроса и предлагает Пафнутию пожертвовать его в монастырь, говоря, что «при виде его каждый обратится сердцем к богу, ибо любви свойственно воспаряться к небесам». Это наивное отождествление мистической небесной любви с «греховной» земной любовью содержит в себе большую мудрость, чем вымученная и шаткая добродетель Пафнутия. Потерпев поражение в своей трагической, бесплодной борьбе против жизни, он слишком поздно приходит к выводу: «Истинна — только земная жизнь и любовь земных существ».

В этой мысли, с большой художественной силой воплощенной в образах романа, и состоит гуманистический пафос «Таис» и секрет ее популярности.

Иссоп — душистое растение, употреблявшееся в пищу как пряность.

...мимы, плясуны, женатые священники... боялись отшельников. — Христианская церковь, едва возникнув, начала гонения на народный театр, особенно на мимов — актеров, тесно связанных с языческим театром древнего Рима. Обязательное безбрачие было установлено сперва для монашества; позднее западная (католическая) церковь распространила это правило на все духовенство.

...с тех пор как Антоний... — Св. Антоний — один из наиболее популярных персонажей раннехристианских легенд; по преданию, он роздал свое имущество бедным и удалился от мира в пустыню, где дьявол тщетно искушал его видениями земных наслаждений, в том числе образами языческой античности. Этот сюжет, использованный многими художниками и писателями, был, в частности, положен в основу философской мистерии Флобера «Искушение святого Антония», оказавшей влияние на роман А. Франса.

...верил, будто род человеческий пережил потоп во времена Девкалиона... — По греческому мифу, Девкалион, сын титана Прометея, спасся вместе со своей женой от потопа, устроенного Зевсом, чтобы уничтожить род человеческий и заменить его другим, более совершенным. А. Франс иронически отмечает совпадение этого языческого мифа с библейским рассказом о всемирном потопе.

...постыдное действие из числа тех, что приписываются... Венере, Леде или Пасифае. — В некоторых областях античного мира существовал культ Венеры как богини грубой чувственности; согласно греческим мифам Леда полюбила Зевса, принявшего образ лебедя; Пасифая воспыкала страстью к быку.

...город, основанный македонцем. — Город Александрия, центр египетского государства Птолемеев, был основан в 332–331 г. до н. э. Александром Македонским. После того как Греция потеряла политическую независимость, Александрия сделалась средоточием греческой (эллинистической) культуры (IV–III вв. до н. э.).

...сам Цезарь поклонялся ему... — Речь идет о римском императоре Константине (вступил на престол в 306 г., ум. в 337 г.), который, пытаясь посредством единства религии предотвратить распад Римского государства, в 313 г. разрешил свободное исповедание христианства, поддерживал христианскую церковь и сам крестился перед смертью.

...зачумленный престол ариан... — Ариане — христианская секта, осужденная официальной церковью. Секта названа по имени александрийского священника Ария (IV в.), который был изгнан из города, но пользовался поддержкой среди ремесленников и торговцев. Под знаменем арианской ереси объединялись различные оппозиционные элементы тогдашнего общества.

Поставить бы его в огороде вместо деревянного Приапа. — Приап — бог плодородия, покровитель садов и стад (ант. миф.), изображался в виде вертикально поставленного кола, на который сажали пойманного в огороде или на винограднике вора.

Храм Сераписа — то же, что Серапей (см. прим. к стр. 23). При Серапее находилась богатейшая библиотека (до 70 тыс. свитков), отделение знаменитой Александрийской библиотеки.

Акротерии — скульптурные или орнаментальные украшения, установленные на специальных постаментах над углами здания, по обе стороны античного фронтона.

Амелий, Порфирий и Плотин. — Учение древнегреческого философа-идеалиста Платона (427–347 гг. до н. э.) нашло продолжение в мистической реакционной школе неоплатоников, возникшей в Александрии в III в. н. э. Плотин — главный представитель неоплатонизма; Порфирий и Амелий — его ученики.

...развлекаться... историей об Осле, Бочке, Матроне Эфесской. — Здесь перечисляются так называемые «Милетские сказки» — небольшие рассказы фольклорного происхождения, возникшие в богатом греческом городе Милете и получившие литературную обработку в сборнике, составленном Аристидом Милетским (II—I вв. до н. э.); пользовались большой популярностью у римлян, которые называли по аналогии милетскими сказками всякие веселые рассказы, преимущественно эротического содержания. Первые два из упомянутых выше сюжетов использованы римским писателем Апулеем (II в.) в романе «Метаморфозы, или Золотой осел»; третий — в романе «Сатирикон» Петрония (I в.).

...подражать сладостным песням, в которых Корнелий Галл воспевал Ликорис. — Корнелий Галл — римский поэт времен Августа (конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.), автор не дошедших до нас четырех книг элегий, посвященных римской куртизанке Ликорис. Был первым римским правителем, посланным в Египет.

Одна из галер со статуей Нереиды на носу... — Нереиды — пятьдесят дочерей доброго морского бога Неря (греч. миф.); дружественные человеку божества.

... с закрытыми глазами, с повязкой на лбу... — Народная легенда изображала поэта Гомера слепым старцем.

Анаксагор — греческий философ-материалист V в. до н. э. Для Пафнутия он олицетворяет враждебную христианству философскую мысль языческой античности, как Гомер — ее поэзию.

Аспазия Милетская — подруга Перикла, славившаяся своей красотой и образованностью; в ее доме собирались выдающиеся люди того времени.

Бывало... актеры в масках декламировали стихи Еврипида и Менандра... зрелищ, которыми в Афинах гордился сам Дионис... котурны... — Древнегреческий театр был связан с культом бога Диониса; котурны — особая обувь трагических актеров, увеличивавшая их рост. Еврипид — великий афинский трагик (V в. до н. э.); Менандр (IV–III в. до н. э.) — автор бытовых комедий (так называемой новоаттической комедии).

Росций — знаменитый римский актер конца II и начала I в. до н. э.

...Эпикура, который учит, что надо страшиться любого желания. — Эпикур (341–270 до н. э.), выдающийся философ-материалист и атеист эпохи эллинизма, в своей этике, выражая идеологию рабовладельческого общества, утверждал, что наиболее разумным для человека является не деятельность, а уклонение от нее, покой (атараксия).

Началось представление. — Сюжет пантомимы, в которой играет Таис, основан на следующем эпизоде из Троянского цикла мифов: один из величайших греческих героев Ахилл, сын Пелея, обеспечивший победу над Троей, полюбил юную троянку Поликсену, дочь Приама, но был изменнически убит ее братом Парисом, когда явился для бракосочетания. Чтобы успокоить тень Ахилла, его соотечественники, на обратном пути из Трои в Грецию, принесли пленную Поликсену в жертву богам. А. Франс не преминул провести ироническую параллель между жертвоприношением Поликсены и христианским мифом о жертвоприношении Христа.

...Лаису или Клеопатру. — Лаиса (V в. до н. э.) — греческая гетера (куртизанка), красота которой вдохновляла многих поэтов, художников и скульпторов, так же как красота египетской царицы Клеопатры (I в. до н. э.).

Я дочь Приама и сестра Гектора... — Гектор — сын Приама, павший под стенами Трои от руки Ахилла.

Эвр (греч. миф.) — олицетворение восточного ветра.

Три года спустя после победы над Максенцием... — Император Константин, разрешивший исповедание христианства, объединил в своих руках всю Римскую империю в результате многолетней борьбы с другими претендентами на власть, после победы над Максенцием, который до него был провозглашен императором в Риме.

...на лбу у нее выступила холодная испарина; она позеленела, как трава... — В описании страсти Таис А. Франс пользуется образами, взятыми из лирики древнегреческой поэтессы Сафо (конец VII — начало VI в. до н. э.), ср.:

...Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы...

(Перевод В. Вересаева)

...суки лают, когда мрачная Геката появляется на перекрестках дорог... — Геката — трехликая богиня преисподней, ночных призраков и лунного света (рим. миф.). Согласно народному суеверию она по ночам являлась на перекрестках дорог с душами умерших и пугала людей.

... звучит, как сказка, и напоминает древнюю Родопу... — Родопы — легендарная египетская куртизанка, о которой рассказывал Геродот, греческий историк V в. до н. э.

Кто обратит мое сердце в купель силоамскую... — Силоамская купель — водоем у источника, бьющего из скалы близ Иерусалима, воды которого считались священными.

Рука, которая вывела Авраама из Халдеи и Лота из Содома... — По библейской легенде, благочестивый старец Авраам, преследуемый язычниками за проповедь единого бога, спасся, бежав из родной Халдеи в землю Ханаанскую; бежавший вместе с ним племянник, праведник Лот, поселился в городе Содоме и был выведен оттуда ангелами, перед тем как бог обрушил на этот развращенный город небесный огонь. Жена Лота была превращена в соляной столб за то, что вопреки запрету оглянулась на покинутый город.

...того, кто... испил воды из кувшина, поданного ему самаритянкой... — Здесь и далее Пафнутий упоминает эпизоды из жизни Христа, приведенные в евангельских легендах.

...от неопалимой купины... — Намек на эпизод из библии: неопалимая купина — охваченный огнем, но не сгорающий терновый куст, из которого звучал голос бога, повелевавшего Моисею вывести свой пленный народ из Египта.

О пришествии его возвестили миру Давид и Сивилла... — Давид — легендарный израильский царь, которому библейское сказание приписывает авторство религиозных песен («Давидовых псалмов»), составляющих псалтырь. Сивиллы в древней Греции — странствующие пророчицы; римские жрецы хранили особые книги темных изречений, принадлежавших, по преданию, Кумской сивилле, и толковали их применительно к разным случаям.

Сестра Харит, Мельпомена. — Хариты (греч. миф.) или Грации (рим. миф.) — богини прелести и красоты; Мельпомена — муза трагедии.

Если Марк — христианский Платон, то Панфнутий — христианский Демосфен. — Христианская церковь не просто отвергала античную идеологию, а стремилась приспособить ее наиболее реакционные формы для обоснования христианства. Так, учение Платона и его эпигонов — неоплатоников — оказало большое влияние на раннее христианское богословие. Демосфен (IV в. до н. э.) — величайший политический оратор древней Греции.

Эпикур в своем саду... — По преданию, философ Эпикур излагал ученикам свое учение в саду, окружавшем его дом.

...Констанций преследовал никейскую веру... — В целях сохранения единства христианской церкви император Константин созвал в 325 г. Никейский собор, осудивший арианство и призывавший всех христиан следовать вновь составленному собором символу веры. После смерти Константина империя была разделена между тремя его сыновьями; один из них, Констанций (получивший власть над Азией и Египтом), поддерживал арианское учение, что привело к кровавым междоусобицам.

Клянусь Кастором, сегодня я видел прекрасного коня. — Кастор и Поллукс (так называемые Диоскуры), по греческому мифу, близнецы, сыновья Зевса и Леды, вылупившиеся из одного яйца, чтились в Риме как воплощение воинской доблести; Кастор считался укротителем коней.

Благоговейно склоним головы перед последним стоиком. — Стоики — представители стоицизма, эпигонского философского направления, возникшего в древней Греции около III в. до н. э. (основатель Зенон из Китиона). Стоицизм создал этику долга, утверждая, что единственное благо — добродетель. Ради внутренней свободы человек, по учению стоиков, должен стоять выше страстей и страданий.

...воспитывают в себе дух Эпиктета и Марка Аврелия. — Эпиктет (ок. 50—138) и римский император Марк Аврелий (121–180) — видные философы-стоики; в борьбе против этики Эпикура проповедовали бесстрастие и отказ от радостей жизни. Оказали влияние на христианство.

...подобно Апису и тому подземному быку... — Апис — в древнеегипетской религии священный бык, олицетворявший в глазах народа бога Озириса; последний образно назывался «быком преисподней». В эллинистический период александрийский бог Серapis отождествлялся с Озирисом-Аписом.

...златокрылый змий... — Здесь Зенофемид по-своему пересказывает библейский миф о грехопадении первых людей и их изгнании из земного рая.

Иегова очень похож на Тифона, а Палладу афиняне всегда изображали со змеей. — Здесь, как обычно у Франса, отмечается близость христианской легенды к языческим, античным мифам. Иегова — наименование бога в иудейской религии. Тифон — огнедышащее чудовище с сотней змеиных голов, боровшееся с Зевсом за власть над миром и низвергнутое им в Тартар. Афина Паллада считалась богиней мудрости, символом чего и служила змея.

...орфические гимны и басни вроде Эзоповых. — Орфические гимны, приписывавшиеся легендарному певцу Орфею, играли большую роль в таинствах в честь древнегреческого бога Диониса, начиная с VI в. до н. э. Позднее, в III–IV в. н. э., получило распространение учение мистической секты орфиков; александрийские ученые много занимались собиранием и изучением «орфической литературы». «Эзоповы басни» — народные обличительные басни древней Греции, творцом и зачинателем которых считается легендарный поэт VI в. до н. э. Эзоп.

...три божественных ума: Иисус Галилеянин, Василид и Валентин. — Василид и Валентин (II в. н. э.) — главные представители Александрийского гностицизма, религиозно-философского направления, соединявшего христианскую теологию с неоплатонизмом и пифагорейством. Гностики были яркими врагами материализма и расчистили почву для средневекового церковного мракобесия.

...этого сына боготворят под именами Гермеса, Митры, Адониса, Аполлона и Христа. — Христианство, при своем возникновении, впитало в себя элементы существовавших тогда восточных религий (в том числе митраизм); прообразами Христа были умирающие и воскресающие боги других религий, в том числе античные Адонис и Гермес (считавшийся, между прочим, проводником душ умерших). Здесь мы снова встречаемся с излюбленной мыслью А. Франса о совпадении различных религиозных культов.

Он истинный сын божий. Но он не вечен, раз он имел начало. — Это утверждение, означающее в сущности отрицание божественной природы Христа, было главным догматом арианства, осужденным как ересь Никейским собором.

Афанасий (IV в.) — александрийский епископ, фанатический противник ариан, боровшийся против них всю жизнь.

... второй Платон. — Имеется в виду философ Плотин (см. прим. к стр. 159).

...безумец предается неистовству, как Аякс... кровосмесительница повторяет преступления Федры... — По греческому мифу, герой Аякс, сын Теламона, оскорбленный тем, что доспехи погибшего Ахилла были присуждены, как достойнейшему, не ему, а Одиссею, впал в безумие от ярости: целую ночь он неистовствовал и перебил стадо быков, приняв их за своих врагов и обидчиков. Безумие Аякса стало сюжетом трагедии Софокла «Аякс». Федра — молодая жена царя Тезея, которая полюбила своего пасынка Ипполита, была отвергнута им, оклеветала его перед отцом и, узнав о его гибели, покончила с собой. Федра — действующее лицо трагедии Еврипида «Ипполит».

...делаешь из прекрасной девушки отвратительную Медузу. — Медуза — одна из трех горгон, чудовище в женском обличье, со змеями вместо волос и с таким страшным лицом, что всякий, взглянувший на нее, превращался в камень (греч. миф.).

...ненависть, какую иные из учеников Павла-ткача питают... — Имеется в виду один из легендарных основателей христианства апостол Павел, который, по преданию, в юности изучал ткацкое дело.

...со священными кошинами Цереры... — Церера (или Деметра) — богиня земледелия (ант. миф.).

Когда Евноя, мысль бога, сотворила вселенную... — Евноя, или Эннойя — символ творческой мысли верховного божества в гностических системах первых веков христианства. Сказание об Евное в «Таис» находится в преемственной связи с образом Эннойи в «Искушении святого Антония» Флобера.

...во время одного из своих превращений, божественная Елена жила у Симона Волхва. — Симон Волхв — основатель гностической секты симониан или елениан (существовала еще в III в. н. э.). По преданию, он выкупил в Тире из притона женщину по имени Елена и возил ее с собой, выдавая за воплотившуюся мысль бога — Евною, а самого себя объявил воплощением бога в трех лицах.

...костер... разгорелся ярче Сарданапалова... — По преданию, последний ассирийский царь Сарданапал, осажденный в своем дворце врагами, поджег дворец и погиб вместе со своими женами и сокровищами.

Клянусь Поллуксом и его сестрой... — Согласно греческому мифу Елена Прекрасная была дочерью Зевса и Леды, а следовательно, сестрой близнецов Кастора и Поллукса.

Трактаты Метродора. — Метродор Младший — главный ученик философа Эпикура; отрывки из его сочинений хранились у Плутарха, у Сенеки, у Климента Александрийского.

Их звали. Мариями... Тех же, которые работали, звали Марфами... — Эти имена связаны с эпизодом из евангелия: при посещении Иисусом Христом дома сестер Марии и Марфы одна из них, Марфа, стала хлопотать по хозяйству, другая же, Мария, оставалась подле Христа, погруженная в благоговейное созерцание его.

Евфорбия (греч.) — молочай.

...божественный Констант, блюститель чистоты христианской веры... — Констант (323–350) — третий сын императора Константина, в 333 г. провозглашенный цезарем в Риме; ревностный сторонник решений Никейского собора, нетерпимый к арианству.

Хилиархи (греч.) — начальники над тысячей воинов.

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» были созданы во второй половине 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. Анатолий Франс приближался к своему пятидесятилетию, имея за собой четверть века литературной работы. Романы «Преступление Сильвестра Бонара» и «Таис» принесли ему широкую известность. В течение тринадцати лет (1883–1896) он писал очерки из парижской жизни для журнала «L'Univers illustre», в течение семи лет вел отдел литературной критики в газете «Temps» (1886–1893). Сотрудничество в периодической печати вовлекло Франса в водоворот общественно-политической и литературной жизни.

Эпикурец-скептик, антиклерикал, поклонник античности, писатель, в начале творческого пути близкий к литературной группе «парнасцев», Анатолий Франс до конца 80-х годов стоял в стороне от передовых общественных движений своего времени.

Общественно-политическая борьба во Франции на рубеже 80-х и 90-х годов разбудила во Франсе писателя-борца, определила его идейную эволюцию влево.

Хотя этот поворот Франса совершился в конце 90-х годов, уже после написания книг о Куаньяре, все же в них ярко отразилась начавшаяся ломка мировоззрения художника, который, освобождаясь от буржуазных предрассудков и убеждений, пришел в конце концов в лагерь демократии и социализма.

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» открывают новый, второй период в творчестве Анатолия Франса (К книгам о Куаньяре примыкают «Рассказы Жака Турнеброша» (1908). Новеллы, вошедшие в этот сборник, публиковались в периодической печати в 90-е годы.). Для этого периода характерно прежде всего выдвижение на первый план жанров обличительных (философский роман, сатирический роман, сатирическая новелла); одним из важнейших средств разоблачения буржуазной действительности становится публицистика, которая у Франса представлена не только в виде самостоятельного жанра (статьи, речи, памфлеты), но и составляет органический элемент его новелл и романов, пронизывает их от начала до конца. Лучшие произведения Франса этого периода обращены к современности, построены на актуальной социально-политической проблематике, которая — это следует специально подчеркнуть — вторгается и в изображение прошлого, в частности в книги о Куаньяре.

В книгах о Куаньяре нетрудно найти следы прямого влияния философских повестей Вольтера. Французский критик Э. Фагэ не случайно заметил, что «Харчевню» мог написать лишь человек, знающий «Кандида» наизусть.

Философская художественная проза служит у Франса целям критики современной ему социальной действительности; писатель выносит здесь обвинительный приговор государственной машине классового общества, колониальной политике, бесчеловечности буржуазного суда, ханжеской буржуазной морали. Под видом борьбы со средневековой схоластикой, аскетизмом и мракобесием писатель выступает против реакционной идеологии конца XIX в., утверждает веру в разум и любовь к жизни. Именно острый социальный критицизм Франса имел в виду М. Горький, когда писал по поводу бесед в «Харчевне королевы Гусиные Лапы»:

«Всегда все то, о чем рассуждал аббат Куаньяр, о чем говорили у „Королевы Педок“ („Королева Педок“ — Королева Гусиные Лапы.), обращалось в прах, обнажая непрочные, часто уродливые каркасы бумажных истин».

Роман «Харчевня королевы Гусиные Лапы» был закончен в сентябре 1892 г. и с 6 октября

по 2 декабря печатался в газете «ECHO de Paris». Отдельным изданием он вышел 22 марта 1893 г. у книгоиздателей Кальман-Леви.

Рукопись романа показывает, что действие в нем сперва датировалось 60-ми годами XVIII в., но в последней редакции было приурочено к 20-м годам XVIII в., то есть к начальному этапу просветительского движения с его свободомыслием, рационализмом и нарастающим критицизмом по отношению к феодальной действительности. И хотя среди основных персонажей книг о Куаньяре нет ни одного исторического лица, исторический колорит в них передан правдиво. Перед глазами читателя проходят типические фигуры эпохи: откупщик де ла Геритод, один из столпов абсолютизма, построивший свое благополучие на ограблении народных масс; алхимик-маньяк барон д'Астара, блуждающий во мраке кабалистики и магии; воин-забудыга дворянин д'Анктиль; памфлетист Жан Гибу, только что вышедший из Бастилии, работающий над планом республики по античному образцу; корреспондент голландских издателей Николя Сериз, который, следуя духу раннего Просвещения, приходит к мысли, что природа не религиозна и часто вовсе не ведает своего господ; монах-капуцин Ангел, пьяница и гуляка, торгующий поддельными церковными реликвиями; тонко очерченный тип мелкого собственника, содержателя харчевни Менетрие и т. п.

Дух идейных брожений раннего Просвещения запечатлен в образе главного героя аббата Куаньяра. При всей яркости картин, воспроизводящих нравы эпохи, основное внимание в книге уделено беседам, спорам и в — первую очередь — высказываньям Куаньяра.

Аббат Жером Куаньяр словно перешел в роман Франса с полотен фламандских мастеров: поношенная, со следами частой штопки сутана, разбитые в кабацкой драке очки и разорванная при подобных же обстоятельствах шляпа.

Франс далек от схематизма и прямолинейной идеализации своего положительного героя-гуманиста и при описании его поведения в жизни не умалчивает о его слабостях: аббат любит выпить и закусить, крадет у д'Астара алмазы (оказавшиеся, правда, поддельными), при случае может разбить бутылку о голову своего противника-финансиста де ля Геритода. Но эти слабости никак не могут затмить острый критический ум Куаньяра, его ученость, добросердечие, присущее ему чувство юмора. Все это вместе взятое ставит героя на землю, раскрывает его образ правдиво и многогранно.

Аббат не раз заявляет о своей верности учению христианской церкви, но делает это больше из осторожности; он то и дело тонко иронизирует по этому поводу. Франс, отнесший действие романа к 20-м годам XVIII в., не изменил художественной правде: воинствующий антиклерикализм Вольтера, атеизм славной плеяды французских материалистов во главе с Дени Дидро были явлениями более позднего этапа Просвещения. Но разве не предвещают в какой-то мере этой фронтальной критики религии и церкви, разве не отдают насмешкой над религией куаньяровские замечания о том, что бытие божие доказывается сцеплением причин и следствий, приведших его, Куаньяра, к любовному свиданию с девушкой на сеновале, что «блохи... как и все прочее в мире, являются великой тайной божией», что капуцин Ангел выдает им же самим обглоданные кости за церковью реликвии? Подобных выпадов против церкви в речах Куаньяра немало. Они свидетельствуют о том, что под внешним, условным благочестием аббата таится всеразъедающее сомнение, распространяющееся и на церковь и на религию. Это заметил уже современник Франса, литературный критик Жюль Леметр, определивший новую книгу Франса как «самый полный молитвенник скептицизма со времен Монтеня».

Еще ближе подходит Куаньяр к идеологам зрелого Просвещения в критике социальной действительности. Он совершенно свободен в своих мыслях о политике, праве, науке,

морали. Здесь его ничто не связывает, и он высказывается напрямик. Подобно просветителям, он подвергает переоценке с точки зрения разума социальные институты, причем не только феодального, но и буржуазного общества. Однако это уже преимущественно Куаньяр второй книги, носящей заглавие «Суждения господина Жерома Куаньяра».

Розенкрейцеры — члены одного из тайных религиозно-мистических масонских обществ (XVII–XVIII вв.). Эти слова написаны во второй половине XVIII века. (Прим. издателя.)

Как раз это мнение высказывает аббат Монфокон де Виллар в небольшой книжице под названием: «Граф Габалис, или Разговоры о тайных и чудесных науках, в согласии с началами древних магов или мудрецов-кабалистов». Книга выдержала множество изданий. Ограничусь указанием на то, что вышло в Амстердаме (у Жака Ле Жен, 1700 год, in 18°, с картинками); оно содержит вторую часть, которая в первоначальном издании отсутствует. (Прим. издателя.)

Ролен Шарль (1661–1741) — французский историк и педагог.

...изображала нашего усопшего государя... — Имеется в виду Людовик XIV, умерший в 1715 г.

Феокрит (III в. до н. э.) — греческий поэт эпохи эллинизма, автор «Идиллий».

...преступить правила, преподанные святым Франциском. — Неуплату за вино брат Ангел хочет оправдать авторитетом Франциска Ассизского, учредителя монашеского ордена францисканцев (1208), члены которого должны были давать обет нищеты.

...французской речи, над усовершенствованием коей немало потрудились Вуатюр и Бальзак. — Венсан Вуатюр (1598–1648) и Гез де Бальзак (1594–1654) — французские писатели, оба были членами Французской академии и участвовали в составлении словаря французского языка.

...сей юный вертеловерт, сей Жако Турнеброш... — Прозвище «Турнеброш» образовано от франц. tourner — вращать и broche — вертел. Жако — простонародная форма имени Жак; ниже встречается его латинизированная форма «Якобус».

...князьями вакхической поэзии Анакреоном и Шолье. — Шолье Гийом (1639–1720) — французский поэт, автор многочисленных анакреонтических стихотворений.

...риторика возвысила Евгения до императорского сана... — Евгений — галльский ритор, провозглашенный римским императором в 392 г.

Тому примером крот (лат.).

...по примеру Ипполита и Беллерофонта испытал на себе, что значит женское коварство и злоба. — Ипполит погиб по наговору влюбившейся в него мачехи Федры; Беллерофонт был оклеветан полюбившей его Антией за то, что не ответил ей взаимностью (антич. миф.).

Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — немецкий гуманист, один из авторов сатиры «Письма темных людей» (1515–1517), направленной против средневековой схоластики и мракобесия.

Бозций Аниций (480–524) — римский философ-неоплатоник, автор религиозно-этического сочинения «Об утешении философией».

Кассиодор Аврелий (ок. 490 — ок. 575) — видный писатель и политический деятель королевства остготов.

... Эпиктет был рабом, а Пиррон — садовником. — Эпиктет (ок. 50 — ок. 138) — римский философ-стоик. Пиррон (ок. 365–275 до н. э.) — древнегреческий философ-скептик.

...вдохновить господина Лесажа и ярмарочных сочинителей... — Лесаж Ален-Ренэ (1668–1747) — французский драматург и романист, был автором многочисленных пьес для народного ярмарочного театра.

...с помощью примеров, позаимствованных из жизнеописания Зенона. — Зенон из Китиона.

Благословите (лат.). — Название молитвы.

Анри Этьен — французский гуманист XVI в.

«Сон Сципиона» — эпизод из сочинения Цицерона «О государстве».

Разве вы ничего не слышали о Гермесе Трисмегисте и об «Изумрудных таблицах?» — Гермес Трисмегист — вымышленный автор философского учения греко-египетского происхождения, изложенного в «Герметических книгах» (ок. III в.); считался создателем наук и искусств и основателем алхимии. Ему приписывались «Изумрудные таблицы», текст, в котором средневековые алхимики видели аллегорическое описание философского камня.

Не словами она делает это; ликом своим, нежными руками и белокурыми кудрями покоряет наша девушка (лат.).

Климент Александрийский (ум. ок. 215) — наставник христианской школы в Александрии, один из «отцов церкви».

...чадам Девкалиона... — то есть людям

...во времена Генриха IV. — Генрих IV — Французский король с 1594 по 1610 г.

...бродить по волшебным склонам Тускулума... — Речь идет о загородном поместье Цицерона, расположенном в окрестностях древнего города Тускулума, близ Рима. Отсюда название труда Цицерона, в котором изложена его нравственная философия, — «Тускуланские беседы» (написан в форме бесед с друзьями).

Изида — египетская богиня плодородия.

Книга Еноха — одна из апокрифических библейских книг.

... в склепах великой пирамиды, где читал книги Тота. — Тот — древнеегипетское божество, которому приписывались сорок две священных книги на египетском языке.

Когда лорд Веруламский... явился в палату в качестве подсудимого... — Имеется в виду Френсис Бэкон, герцог Веруламский (1561–1626), английский философ-материалист, автор «Нового органа»; он был смещен с должности канцлера по обвинению во взяточничестве.

«Новый органон» (лат.).

... мелодии Ламбера и Люлли... — Мишель Ламбер и Жан-Батист Люлли — французские композиторы XVII в.

Даже пребывание в полях Елисейских, воспетых Вергилием... — Елисейские поля — в античной мифологии местопребывание душ умерших. Вергилий говорит о Елисейских полях в IV книге «Энеиды».

Ойкуменическая — всеобщая (от греч. «ойкумена» — совокупность всех областей на земном шаре, заселенных человеком).

...творение Зосимы Панополитанского... которое я... обнаружил в гробнице некоего жреца Сераписа. — Зосима Панополитанский (середина III в. — начало IV в.) — александрийский ученый, считался одним из основателей алхимии; храм Сераписа в Александрии был центром тогдашней учености.

...со времен царствования неуча Феодосия, прозванного Великим. — Феодосий — римский император (379–395), прозванный церковью Великим за поддержку христианства против язычества.

...отправиться на Сен-Жерменскую ярмарку посмотреть Леандро... — Леандр — тип влюбленного молодого щеголя, повторяющийся во многих французских комедиях.

Пейреск Николь-Клод (1580–1637) — советник парламента во французском городе Экс, славившийся своей эрудицией, коллекционер и меценат.

Олимпиодор (VI в.) — александрийский ученый и философ-неоплатоник. Фотий (IX в.) — византийский церковный писатель, возглавлял борьбу против римской церкви и дважды занимал патриарший престол в Константинополе.

Манефон (III в. до н. э.) — египетский жрец, автор исторических трудов.

Мандрагора — растение, которому в средние века приписывали волшебные свойства.

Масхора... Мишна... — иудейские религиозные книги, входящие в состав Талмуда и дающие толкование библии.

Иосиф Флавий (I в.) — иудейский историк.

Аристарх Самосский (III в. до н. э.) — греческий астроном, пришедший к мысли о вращении земли вокруг солнца.

Тюрнеб (настоящее имя Адриен Турнебю, 1512–1565) — французский ученый-эллинист.

Скалигер Жозеф-Жюст (1540–1609) — один из крупнейших филологов своего времени, ученик Тюрнеба.

...совершенства, уже достигнутого в области физической красоты Антиномом и госпожой де Парабер... — Антиной — раб и любимец римского императора Адриана (I–II вв.); его юношеская красота вошла в поговорку и была запечатлена многими художниками античности. Маркиза Мари-Мадлена де Парабер (1698–1723) — знаменитая в свое время красавица, любовница французского принца-регента Филиппа Орлеанского.

Таково происхождение гигантов, о которых нам повествуют Гесиод и Моисей. — Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор «Теогонии», поэмы, в которой излагается родословная богов; Моисею легенда приписывала авторство одной из книг библии («Книги Бытия»), где рассказывается о сотворении мира.

...происхождение Пифагора... появился на свет с золотым бедром. — В древности действительно существовала легенда, что у греческого философа Пифагора (VI в. до н. э.) было золотое бедро.

Убежище (точнее: «Убежище для бездомных и распутных женщин») — женский каторжный дом, учрежденный в Париже в 1684 г.

Менес — согласно легенде первый царь Египта.

...если бы апостол Петр... не предал бы Христа. — По евангельской легенде, апостол Петр был первым, кто признал Христа, и тот сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на сем камне я построю церковь свою». Но он же предсказал, что Петр предаст его, прежде чем прокричит петух. И действительно, в трудную минуту Петр трижды отрекся от своего учителя, в чем впоследствии горько каялся и был прощен Христом после его воскресения.

...сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири... — Эсфирь, по библейской легенде, — красавица иудейка, воспитанница Мардохея, выбранная в жены персидским царем.

Я служил под началом господина Вилляра, я принимал участие в войне за наследство... — «Война за испанское наследство» (1701–1704), в которой французский король Людовик XIV выступил с агрессивными притязаниями на престол Испании и ее владения, окончилась поражением Франции. Виллар Луи-Гектор — маршал, командовавший в этой войне французскими войсками в Италии.

Шуази Франсуа-Тимолеон (1644–1724) — французский писатель, аббат; он действительно до тридцатилетнего возраста носил женское платье.

Так сказал Аврааму и потомству его вовеки (лат.).

Фонтенель Бернар (1657–1757) — французский писатель и ученый, автор «Бесед о множественности миров».

Адонис — прекрасный юноша, возлюбленный Венеры (антич. миф.).

Агнеса Сорель — фаворитка французского короля Карла VII (1403–1461).

Николь Жиль (ум. 1503) — французский летописец.

Паскье Этьен (1529–1615) — французский историк.

...проклятие, коим Елисей проклял чад... — Согласно библии пророк Елисей проклял деревенских детей, дразнивших его «плешивым», и их растерзали медведи.

Варух — по преданию, автор неканонической библейской «Книги пророка Варуха».

Иезекииль — один из библейских пророков, ему приписывается книга Ветхого Завета, названная его именем, полная фантастических видений и мистических символов.

Кревье Жан-Батист-Луи (1693–1765) — французский историк и филолог.

«Что пользы человеку от трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (лат.)

Куперен Франсуа (1668–1733) — французский композитор.

И исполнил моления их (лат.).

...одного из тех мудрецов, которые изображены в «Телемаке»... — Имеется в виду дидактический роман «Приключения Телемака» (1695), написанный предшественником просветителей Франсуа Фенелоном (1651–1715) для своего воспитанника, французского наследного принца, и содержащий критику абсолютизма.

Семирамида — полулегендарная царица Ассирии. Олимпиада — мать Александра Македонского.

Пиндар (522 или 518 — ок. 422 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных од.

И помните, что случилось с аббатом Вилларом... — Аббат Виллар (аббат де Монфокон, 1635–1673) — французский проповедник и литератор; он действительно был убит по дороге в Лион, как и герой романа, аббат Куаньяр. В романе Франса использованы некоторые детали из книги Виллара «Граф де Кабали, или Беседы о тайных и чудесных науках по принципам древних магов и мудрых кабалистов».

Галан Антуан (1646–1715) — французский ученый-ориенталист, переводчик сказок «1001 ночи».

Амфион — по древнегреческому мифу, поэт, под звуки лиры которого будто бы камни сами сложились в стену, окружавшую город Фивы.

Апокалипсис (греч. «Откровение») — часть Нового Завета, в которой рисуется страшная картина бедствий, предстоящих миру перед пришествием Антихриста.

Оплот наш — имя господне... Господи, услышь молитву мою... (лат.).

Мир дому сему (лат.).

И всем обитателям его (лат.).

Се агнец божий, что принял на себя грехи человеческие (лат.).

Шапель Клод-Эмманюэль (1626–1686) — французский поэт.

Крамуази — французские типографы XVII в.

Ги Патен — французский писатель и медик XVII в.

Французский Коллеж — высшее учебное заведение, учрежденное в Париже в 1530 г.

Жан де Мен — французский поэт, один из авторов аллегорического «Романа о Розе» (XIII в.).

Жак Турнеброш не знал, что на улице св. Иакова, возле монастыря св. Бенедикта, в доме, получившем прозвище «Дом с зелеными воротами», проживал Франсуа Вийон — крупнейший поэт средневековья во Франции, связанный с городскими низами (XV в.). Ученик г-на Жерома Куаньяра, без сомнения, с охотой упомянул бы о старинном поэте, который, как и сам он, знал множество разных людей. (Прим. издателя.).

Тильемон Себастьян (1637–1698) — французский ученый, автор трудов по истории церкви.

Бурдалу Луи (1632–1704) — иезуит, придворный проповедник Людовика XIII.

«Суждения господина Жерома Куаньяра» были впервые опубликованы в газете «Echo de Paris» в виде серии фельетонов в период с 15 марта по 19 июля 1893 г. (за исключением трех глав, напечатанных в газете «Temps»). Отдельное издание вышло у Кальман-Леви в октябре 1893 г.

Книга «Суждения господин Жерома Куаньяра» бессюжетна; это серия диалогов в повествовательном обрамлении, из которых выясняются взгляды героя на государственное устройство, армию, войну, на мораль и право, на науку вообще и историческую науку в частности. Собеседования на эти темы происходят в характерных уголках старого Парижа: то в книжной лавке, то в кабачке или на церковной паперти, то на Новом мосту перед ларьками букинистов. Это придает произведению исторический колорит.

Каждая беседа составляет законченный эпизод книги и имеет тенденцию обособиться в самостоятельную новеллу; но все новеллы-диалоги связаны общим героем и единством его отношения к жизни.

Аббат Куаньяр решительно осуждает колониальную политику европейцев, «путем усовершенствованной дикости» истребляющих цветные расы, как «позор для человечества», утверждает благородство крестьян и ремесленников, ежедневно рискующих умереть от усталости и голода, ибо пули и ядра убивают не так метко, как нищета; считает, «что все, чем мы владеем, приобретено насильем и хитростью», что судьи одобряют грабеж, «если нас грабит могущественный грабитель»; он возмущен казнью молодой служанки советницы Жосс за кражу куска алансонских кружев.

Во второй книге о Куаньяре критика обращена прямо в сторону современности. Франс прибегает к эзопову языку: его Куаньяр, жизнь которого отнесена к последней четверти XVII и первой четверти XVIII в., оперирует материалами из жизни Третьей республики; дело Миссисипи — это Панама, госпожа де ла Моранжер (в газетной редакции книги — госпожа Коддю) имеет прототипом жену барона Коттю, администратора Панамского канала; лицемерный ревнитель морали Никомед списан с сенатора Третьей республики Беранже, в Рокстронге есть черты французского буржуазного политического деятеля Анри Рошфора, автора памфлетов против Второй империи, и т. д. В книгу врывается живое дыхание современной Франсу политической жизни. Фактически писатель провел своего героя через опыт буржуазной революции и заставил не только полемизировать с нею и теми просветителями, которые подготовляли ее идеологически, но и ополчиться против ее результатов, против уродств буржуазного общества.

Иногда герой Франса приходит в социальном вопросе к смелым обобщениям, считая, например, что восстания рождаются от крайней нищеты народа и зачастую являются единственным выходом для людей, которые «могут добыть себе таким путем лучшие условия жизни, а иногда и участие в верховной власти». Следует, однако, помнить, что воззрения аббата Жерома Куаньяра крайне непоследовательны и противоречивы; так, из других его высказываний следует, что в плодотворность революционных переворотов он не верит; в притче о принце Земире история человечества сводится Куаньяром к формуле: «Люди рождались, страдали и умирали». История, по его мнению, движется по замкнутому кругу, и время не вносит в жизнь народов существенных изменений. Мудрость старухи из Сиракуз, которая ежедневно молится за здоровье тирана, — в том, что новый тиран может оказаться еще хуже. К правительствам, возникшим в результате заговора и мятежа, Куаньяр относится с недоверием, и одновременно пафос его высказываний — в обличении

монархического принципа. Весьма вероятно, говорит он, что небо послало монархов народам в виде наказания. Признаваясь в том, что склонен любить народные правительства, Куаньяр тем не менее критически относится к народовластию; он заявляет, что народное собрание не способно к широким и глубоким политическим взглядам, что правители, назначенные демосом, слабы, посредственны, коварны. Взгляд Куаньяра на историю несомненно разделялся в период создания книг и самим автором.

Скептик-созерцатель Куаньяр считает себя неспособным к каким бы то ни было действиям и думает, что действовать можно только при близорукости и узости кругозора. Речь, разумеется, идет не о действиях в сфере частной жизни, а об активности в сфере общественной. И все же скала куаньяровского созерцательного скептицизма в конце концов дает трещину: книга венчается репликой Куаньяра о необходимости, для служения людям, отбросить всякие рассуждения и подняться ввысь «на крыльях воодушевления». Таким образом, герой делает шаг вперед, когда признает необходимость действия и энтузиазма, но он впадает в другую крайность, жертвуя ради действия мыслью. Герой Франса так и не смог снять искусственного противопоставления мысли действию, решение проблемы остается односторонним.

В ряде франсовских героев-гуманистов Куаньяр, при всей противоречивости и непоследовательности его взглядов, является первым, кто выступил с развернутой критикой социальной действительности. И в этом непреходящее значение его образа на творческом пути Франса. Куаньяр предвещает появление своих преемников в лице Бержере («Современная история») и Ланжелье («На белом камне»).

Царская цензура неоднократно налагала запрет на книги Франса о Куаньяре. В докладе Центральному комитету иностранной цензуры, ведению которого подлежали вопросы о допущения заграничных изданий к обращению внутри страны, царский цензор в 1893 г. обрушился на «антирелигиозную болтовню» в «Харчевне королевы Гусиные Лапы» и, имея в виду Куаньяра, писал, что «одно из таких лиц, принятое владельцем помещения в наставники к сыну своему, в прениях своих по предмету религии не стеснялось в выражениях о святых, о творце и такими суждениями повлияло и на воспитанника своего». В оценке «Суждений» цензор делает упор на «неудобные к дозволению» антимонархические идеи книги. В обоих случаях резолюция председателя Центрального комитета иностранной цензуры А. Н. Майкова была краткой и категоричной: «Запретить».

В 1907 г., в связи с манифестом 17 октября 1905 г., Центральный комитет иностранной цензуры вновь обратился к «изучению» романов Франса о Куаньяре и, надо сказать, с прежним успехом: запрет был подтвержден.

«Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра» вместе с рядом других произведений Франса были впервые опубликованы на русском языке после Великой Октябрьской социалистической революции.

...как Сократ в Меморабилиях Ксенофонта. — Ксенофонт (ок. 430–355 до н. э.) — древнегреческий историк; здесь имеется в виду его сочинение «Воспоминания о Сократе» («Меморабилии»).

...череп, которые Боссюэ посылал настоятелю Траппы... — Боссюэ Жан-Бенинь — французский богослов и проповедник XVII в., идеолог абсолютизма; Траппа — монашеский орден, названный так по местонахождению его центра.

...кресты Лилии, медали св. Елены и Июльские ордена... — Здесь названы ордена и медали, символизирующие различные политические режимы. Орден Лилии был учрежден в 1814 г. при реставрации монархии Бурбонов; медаль св. Елены — в 1857 г. Наполеоном III для награждения оставшихся в живых ветеранов Наполеона I; июльские ордена — ордена буржуазной июльской монархии Луи-Филиппа.

Г-н Жан Лакост писал в «Gazette de France» от 20 мая 1893 года: «Г-н аббат Жером Куаньяр — священнослужитель, полный знания смирения и веры. Я не сказал бы, что его поведение всегда было достойно его сана и что его священническое одеяние не бывало запятнано... Но если он и поддается соблазну, если он легко оказывается добычей дьявола, он никогда не теряет веры, он надеется, что милость господня оградит его от падения и отворит ему двери рая. И он на самом деле являет нам зрелище весьма поучительной кончины. Так крупица веры украшает жизнь, и поистине христианское смирение пристало человеческим слабостям.

Если г-н аббат Куаньяр не святой, он, пожалуй, заслуживает чистилища. Но он заслуживает его надолго и едва избежал ада. Ибо к его искреннему смирению почти никогда не примешивалось раскаяние. Он слишком полагался на милость господню и не делал ни малейшего усилия, дабы заслужить эту милость. Потому он снова и снова впадал в грех. Таким образом, от его веры было мало толку и он был почти что еретиком, ибо святой Тридентский собор в канонах VI и IX на своем шестом заседании предал анафеме всех, кто утверждает, что „не от человека зависит вступить на путь зла“, и кто так слепо полагается на веру, что внушает себе, будто она одна может привести ко спасению „безо всякого участия воли человеческой“. Вот почему божественное милосердие, простершееся на аббата Куаньяра, можно считать воистину чудесным и преклониться перед неисповедимыми его путями».

В его поучениях вольность философов-циников сочетается с чистотой первых монахов обители священной Порциункулы. — Циники — философская школа (IV в. до н. э.), проповедовавшая пренебрежение к человеческой культуре и возврат к первобытному состоянию. Священная Порциункула — название первой обители монашеского францисканского ордена.

...по примеру того, кто жил среди мытарей и блудниц — то есть по примеру Христа.

... мог бы прочесть «Эмиля». — «Эмиль, или О воспитании» (1762) — педагогический роман французского революционного писателя-просветителя Жан-Жака Руссо. Здесь проводится одна из главных идей учения Руссо о том, что человек по природе добр, и лишь дурное устройство общества делает его злым.

Г-жа де Варенс — подруга молодости Руссо; в ее имении он прожил долгие годы.

...тащит человека назад к обезьяне... — В своем учении Руссо подверг критике цивилизацию классового общества и прославлял первобытное «естественное» состояние человека.

...вздумали применить «Общественный договор» к наилучшей из республик. — «Общественный договор» (1762) — трактат Руссо, в котором излагались принципы демократического устройства общества; в период французской буржуазной революции конца XVIII в., в 1793 г., якобинцы использовали многие положения «Общественного договора» при выработке так называемой Конституции Второго года (которая так и не смогла быть проведена в жизнь).

«Декларация прав человека» — точнее «Декларация прав человека и гражданина» — один из программных документов французской буржуазной революции. Принята была Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

Госпожа Удето, маршал Люксембургский — аристократические друзья Руссо, выведены в его «Исповеди».

...его Гофолию, из которой видно, что он недурно разбирался в политике. — «Гофолия» (издана в 1691 г.) — поздняя трагедия французского драматурга Жана Расина, в которой показано падение тиранической власти царицы Гофолии и воцарение на ее месте гуманного правителя, отрока Иоаса.

...на другой день после кончины министра... — Имеется в виду первый министр регента Филиппа Орлеанского кардинал Дюбуа, умерший в 1723 г. Время его правления было ознаменовано падением придворных нравов и разгулом спекуляции. Попытка оздоровить финансы страны при помощи «системы Ло» (см. ниже главу «Дело о Миссисипи») окончилась крахом, что побудило Дюбуа в последние годы жизни изменять политику. В год смерти Дюбуа король Людовик XV достиг совершеннолетия, принял власть над страной и вскоре назначил первым министром своего любимца кардинала Флери (1726). Говоря о Дюбуа, А. Франс имеет в виду деятельность французского министра Ферри. Последний умер 17 марта 1893 г., а уже 22 марта в газете «Echo de Paris» появилась соответствующая глава романа Франса.

Вобан Себастьян (1633–1707) — маршал Франции, военный инженер.

Что нового внес ваш министр в колониальную политику, чего бы не знали финикийцы еще во времена Кадма. — Древние финикийцы (II—I тысячелетие до н. э.) основали колонии на Кипре, Сицилии, на юге Франции и Италии, в Северной Африке. Кадм — легендарный основатель города Фивы, согласно одному из мифов прибывший в Грецию из Финикии.

...это будет небольшая книжечка, нечто вроде *Apokolokynithosis* Сенеки-философа либо нашей... Менипповой сатиры. — *Apokolokynithosis* («Отыквление») — сатира римского писателя I в. Сенеки, осмеивающая императора Клавдия. «Мениппова сатира» была написана в конце XVI в., в период религиозных войн во Франции и направлена против католической Лиги, возглавлявшейся герцогом Гизом.

...суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту. — Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — древнеримский историк; Де Ту Жак-Огюст (1553–1617) — французский историк.

... не замешаны янсенисты. — Янсенисты — сторонники оппозиционного морально-религиозного течения внутри католицизма, которое преследовалось официальной церковью. Они проповедовали скромность в быту и суровость нравов.

... у Элия Лампридия... говорится, что курица, принадлежавшая отцу Александра Севера, снесла красное яйцо в день рождения сего младенца... — Лампридий — римский историк (III–IV в.); Александр Север — римский император (III в.). Приведенный исторический анекдот был использован А. Франсом в его новелле «Красное яйцо» (сборник «Валтасар»).

Высшая слава божья — бессмертный человек (лат.).

И удеџл им по молџтвам их (лат.).

...подобно янсенисту Блезу Паскалю... — Известный физик, математик и философ Блез Паскаль (1623–1662) принадлежал к янсенизму.

...надобно разгрызть кость, чтобы добраться до мозга. — Почти дословный пересказ фразы Рабле из пролога к первой книге «Гаргантюа и Пантагрюэль», где автор намекает читателю на скрытую в его романе-сказке сатиру.

«Похвальное слово глупости» (1509, изд. 1511) — сатира нидерландского гуманиста Эразма Роттердамского, осмеивающая нравы феодальной эпохи.

...злонравие слуг, которых возьмет себе простак Демос... — Здесь содержится намек на комедию древнегреческого драматурга Аристофана (V в. до н. э.) «Всадники», где афинский народ выведен в образе простака Демоса, обманутого алчными и хитрыми рабами (правителями Афин).

...четверостишия Пибрака... — Имеются в виду «Моральные четверостишия», сочинение французского поэта XVI в. Ги де Пибрака.

...отдает чванным легкомыслием Фронды... испорчена... сценами в духе герцогини Лонгевильской... — Фронда — широкое движение против абсолютизма во Франции в 1648–1653 гг., охватившее разные слои общества и использованное в своих целях реакционными вельможами и принцами. Герцогиня Лонгевильская — одна из видных участниц аристократической Фронды.

...подобно Сюлли споспешествует разумному государю... — Сюлли Максимильен (1560–1641) — министр французского короля Генриха IV.

...не так повезет, как легендарному Эдипу... — Согласно древнегреческому мифу мудрец Эдип разгадал загадку Сфинкса и этим самым освободил от него город Фивы.

...когда Колен и Жанно выдумывают разные приказы... — Колен и Жанно — широкораспространенные простонародные имена.

Здесь... можно приобрести «Астрею», всю целиком, и «Великого Кира»... — Имеется в виду пасторальный роман Онорэ д'Юрфе «Астрея» и псевдоисторический роман Мадлены де Скюдери «Артамен, или Великий Кир», которые были в моде у завсегдатаев парижских аристократических салонов первой половины XVII в.

Я вижу здесь варварскую хронику Монстреле... — Ангеран де Монстреле (1390–1453) — французский летописец, автор двухтомной «Хроники», содержащей интересные сведения об эпохе Столетней войны, но не отличающейся достоинствами стиля.

Гассенди Пьер (1592–1655) — французский философ-материалист, современник Декарта.

Фонтенель Бернар (1657–1757) — французский писатель и ученый, автор «Бесед о множественности миров».

Геометрия, о которой говорит Жак Турнеброш, снабжена чертежами Себастьяна Леклера, которые восхищают меня своим тонким изяществом и четкостью. Однако спорить с автором не приходится. (Прим. издателя.)

Мондор (настоящее имя Филипп Жирар) — известный в первой половине XVII в. фарсовый актер; играл в ярмарочном балагане на Новом мосту.

Это говорит священник. (Прим. издателя.)

...не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом... — Фанфан-Тюльпан — популярный персонаж старинных французских песенок, солдат-гуляка, задира и весельчак; Сердцеед — солдат-волокита.

Я читал... трактаты Макиавелли... — Николо Макиавелли (1469–1527) — итальянский писатель, автор политического трактата «Государь»; здесь он оправдывает любые средства для достижения сильной монархической власти, в которой видит единственную силу, способную политически объединить Италию.

...шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой. — Эвандр — один из легендарных предков древних римлян. Упоминается в «Энеиде» Вергилия. Филемон и Бавкида — супружеская чета, дожившая в любви и согласии до глубокой старости. Воспеты римским поэтом Овидием в его «Метаморфозах».

Лукреций Кар (I в. до н. э.) — римский философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей».

... приказ господина де Лувуа касательно сего предмета... — Де Лувуа — военный министр французского короля Людовика XIV.

Град (лат.).

Там, как в стране Утопии... — Утопия — фантастическая страна всеобщего равенства и счастья, описанная в книге «Остров Утопия» (1516) английского гуманиста Томаса Мора.

...епископа Сеэзского избрали членом Французской академии. — Французская академия, основанная в 1634 г. кардиналом Ришелье (поэтому ниже она называется «дочерью Ришелье»), с самого начала стала прибежищем косности в науке и угодливости перед властями. Постоянные сорок членов Академии получили ироническое прозвание «бессмертных».

На что сетует г-н Дюкло? — Шарль Дюкло, французский писатель, впоследствии историограф короля Людовика XV, был принят в Академию в 1747 г. (Этот анахронизм вкрался в роман А. Франса при перенесении во второй редакции действия в 20-е годы XVIII в.) Дюкло действительно вел борьбу за признание равенства всех академиков независимо от их сословной принадлежности.

Сен-Эвремон, «Академики»:

Годо

А, добрый день, Кольте!

Кольте *(падая на колени)*

Святой отец, простите,
Не следует ли мне припасть к святым стопам.

Годо

Нет, встаньте, милый друг, я разрешаю вам.
Здесь правит Аполлон, мы все пред ним равны.

Кольте

Как можно, монсеньер! Ужель простите вы,
Чтоб с вами я себя осмелился равнять...

Годо

Я не епископ здесь, Кольте, пора вам знать.

Вам следует меня Годо именовать.

Г-н аббат Куаньяр жил при старом режиме. В те времена Французской академии можно было поставить в заслугу, что она установила среди своих членов равенство, коего они не имели в глазах закона. Однако в 1793 году Академия была уничтожена, как последнее прибежище аристократии. (Прим. издателя.)

Король был покровителем Академии. (Прим. издателя.)

Бельзанс — епископ города Марселя, проявивший самоотверженность во время эпидемии чумы 1720–1721 гг.

...новый Рабле или новый Монтень, от которых так и несет простонародьем... — Аббат Куаньяр издевается над деятельностью Академии, которая в своей работе над словарем обедняла французский литературный язык, «очищая» его от красочности и богатства народной речи, широко использованной писателями-гуманистами XVI в. Франсуа Рабле и Мишелем Монтенем.

Совершенно достоверно, что Академия осудила этот оборот.

Привычка в нас сильна и часто заставляет
Нас говорить не так, как это подобает.
Так, часто затвердив иное выражение,
Мы просим дверь закрыть, не чувствуя сомненья:
Но, чтобы в декабре к нам холод не впустить,
Дверь надо затворить, а комнату закрыть.

(Сен-Эвремон, «Академики».)

В то время Академия еще не занималась присуждением премий. (Прим. издателя.)

...так же легко обойтись без господина Годо или господина Конрара... — Епископ Годо и поэт Валантэн Конрар (первый секретарь Академии) — второстепенные литературные деятели XVII в.

Поднял бедняка из грязи и поставил его рядом со старейшинами, со старейшинами
народа своего (лат.).

Осужденный... за участие в заговоре Монмута... — Монмут, побочный сын английского короля Карла II, после смерти своего отца (1685) и вступления на престол своего дяди Якова II организовал заговор против него и пытался захватить власть, но был разбит и казнен. Говоря о заговоре Монмута, А. Франс намекает на военно-монархический заговор генерала Буланже, разоблаченный в 1888 г.

Я не нашел упоминания о г-не Рокстронге в документах, касающихся заговора Монмута.
(Прим. издателя.)

Юлий Цезарь Скалигер (1484–1558) — итальянский филолог и медик, проживший свои последние годы во Франции; отец Жозефа-Жюста Скалигера.

...в битвах ангелов... кои ваш соотечественник Джон Мильтон воспел с такой потрясающей грубостью. — Имеется в виду исполненная революционного пафоса эпическая поэма английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай», в которой изображается восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небесного самодержца.

В то время, когда жил г-н аббат Куаньяр, французы уже почитали себя свободными. Некий г-н д'Алькье писал в 1670 году:

«Три вещи надобны человеку, дабы чувствовать себя счастливым в сей жизни: приятная беседа, изысканные кушанья и полная, совершенная свобода. Мы можем воочию убедиться, сколь отменно наше прославленное королевство удовлетворяет двум первым из этих насущных потребностей; ныне нам остается доказать, что и последняя из трех почитается у нас столь же насущной и мы не менее широко пользуемся свободой, нежели двумя первыми благами. Сие подтверждает и само название нашего государства, и основы, на коих оно было заложено, и нравы, сохранившиеся в нем поныне. Ибо в самом слове „Франция“ содержится понятие Вольности и Свободы, что вполне отвечает замыслу основателей нашей державы, кои, обладая душою возвышенной и благородной и не терпя рабства и подчинения, вырвались из тяжкого плена, возжаждав стать свободными, как и подобает человеку; вот почему они и обосновались в Галлии, стране, где обитал столь же воинственный народ, не менее ревниво оберегавший свою вольность: касательно основ мы знаем, что, закладывая новое государство, создатели его прежде всего стремились быть сами себе господами, а потому они издали законы, которые, ограничивая власть правителя, обязывали его свято блюсти их права и привилегии; а ежели кто-нибудь осмеливается посягнуть на эти права, они приходят в ярость и немедля хватаются за оружие, а коли до этого дошло, тут уж их ничем не удержишь. Что же касается нравов, то Франция так влюблена в свободу, что не терпит у себя рабов; а посему ни турок, ни мавров, попавших в нашу страну, — уж не говоря о каком-либо из христианских народов, — никогда не заковывают в цепи и не держат в колодках; а ежели когда и случается, что во Францию привозят рабов, они так и рвутся сойти на берег и, едва ступив на сушу, радостно восклицают: „Да здравствует Франция и любезная ей свобода!“» («Приятности Франции...», сочинение Франсуа Савиньена д'Алькье. Амстердам, 1670, in 12°, глава XVI, озаглавленная: «Франция — страна свободы для людей всякого происхождения и звания», стр. 245–246.) (Прим. издателя.)

Клио — муза истории (антич. миф.).

...превращению каждой четы новобрачных в Сарру и Товию... — Товия — герой «Книги Товии», не вошедшей в канонический текст библии. Товия женился на Сарре, мужей которой демон Асмодей убивал в первую же брачную ночь. Чтобы избежать той же участи, Товия провел первые три ночи со своей новобрачной целомудренно, в молитвах, и тем спасся от смерти.

Джулио Романо (первая половина XVI в.) — итальянский художник и архитектор, ученик Рафаэля.

...более подобало бы питаться в «пританее» на средства благодарного отечества... — В древних Афинах пританея — здание, где заседали дежурные члены афинского совета, занимавшиеся текущими делами. Особо заслуженные граждане пользовались здесь питанием за счет государства.

...раба Митридата... гнусного Тримальхиона... — Имеется в виду эпизод из сатирического романа «Сатирикон» римского писателя I в. Петрония.

Ваш Ульпиан, который умел выражаться точно... — Ульпиан — один из виднейших римских юристов (II–III вв.).

...философом Менардом — Менард Пьер — французский литератор XVII в., адвокат.

...афинские судьи, принудившие Сократа выпить цикуту — Древнегреческий философ Сократ (ок. 469–399 до н. э.), как враг афинской демократии, был обвинен в развращении юношей, привлечен к суду и по его приговору выпил кубок яда.

...заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры... — Феодора — супруга византийского императора Юстиниана Великого (VI в.); согласно преданию в юности была бродячей комедианткой и куртизанкой.

...святого Себастьяна мятежного воина... отказавшись воевать против багаудов... — По церковной легенде, римский воин Себастьян, начальник преторианцев императора Диоклетиана (III в.), был замучен за тайное исповедание христианства. Багауды — галльские земледельцы, дважды восстававшие в III в. против завоевателей-римлян.

Гряди, творец! (лат.)

...можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом. — Л'Опиталь Мишель (XVI в.) — президент верховного суда Франции; слыл неподкупным и гуманным. Джеффрис Джордж (XVII в.) — канцлер Англии в период реставрации династии Стюартов; жестоко преследовал бывших участников буржуазной революции.

...некий французский Нума Помпилий повстречает... новую нимфу Эгерию... — Согласно античному преданию второй римский царь Нума Помпилий установил законы, подсказанные ему нимфой Эгерией.

«Перламутровый ларец» — второй сборник новелл Анатоля Франса (первым является «Валтасар», 1889).

Многие новеллы этого сборника были первоначально опубликованы в периодической печати, главным образом в газете «Temps» (с 1884 по 1892 г.): «Прокуратор Иудеи» — в 1891 г., «Амикус и Целестин» — в 1890 г., «Святая Евфросиния» — в 1891 г. и т. д. Отдельным изданием «Перламутровый ларец» вышел у издателей Кальман-Леви в 1892 г. Новеллы сборника распадаются на три тематические группы: новеллы, посвященные раннему христианству и облеченные в большинстве случаев в форму стилизованных церковных легенд, новеллы на различные темы из современности и, наконец, группа новелл о французской буржуазной революции конца XVIII в.

Эпоха заката античного мира и зарождения христианства привлекала внимание писателя в продолжение всего его творческого пути. Ей посвящено значительное количество произведений Франса в самых различных жанрах, начиная с ранней поэмы «Легенда о святой Таис, комедиантке» (1867) и кончая соответствующими главами сатирико-философского романа «Восстание ангелов» (1914).

Повышенный интерес Франса к этой переходной эпохе питался, с одной стороны, непреходящей любовью писателя к языческой культуре древних греков и римлян, с другой — ненавистью к религиозному фанатизму, догматике и аскетизму христианской церкви.

Открывающая «Перламутровый ларец» историческая новелла «Прокуратор Иудеи» переносит нас в атмосферу зарождения христианства, ставит у его колыбели. Реставрируя с помощью своей исторической эрудиции и творческого воображения жизнь Иудеи I в. н. э., Франс заставляет нас взглянуть на события глазами живых современников, свидетелей и непосредственных участников этих событий.

Главное внимание в новелле уделяется событиям, связанным с появлением христианства и жизнью Христа.

Известно, что христианские богословы приурочивают распятие Христа к периоду, когда Понтий Пилат был прокуратором Иудеи. В репликах действующих лиц новеллы, Понтия Пилата и Ламии, нетрудно усмотреть моменты, перекликающиеся с библейской легендой о Христе: Понтий упоминает о «каком-то безумце», изгнавшем из храма торговцев птицами, Ламия вспоминает о своей возлюбленной иудейке-танцовщице (имеется в виду Мария Магдалина), последовавшей «за каким-то галилейским чудотворцем». Ламия уточняет образ этого чудотворца: «Он называл себя Иисусом Назареем и впоследствии был распят за какое-то преступление».

Личность Христа в репликах собеседников лишена всякой определенности: «какой-то безумец», «какой-то галилейский чудотворец», «за какое-то преступление»; Ламия, что вполне естественно для язычника-римлянина, называет Христа «человеком», а не пророком, не богом. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, который согласно библейской легенде «умыл руки», то есть отказался от вмешательства в дело Христа, обреченного на распятие, в новелле Франса вспоминает мельчайшие подробности своей жизни и прокураторской деятельности в Иудее, но, оказывается, никакого Христа-Назарея припомнить не может.

Факт существования Христа в новелле не отрицается. Но образ Христа снижен, сознательно лишен того ореола, которым его окружила библейская легенда. Новелла заключает мысль о том, что современники зачастую не способны постичь объективный смысл деятельности окружающих их людей, в полной мере оценить все историческое

значение происходящих вокруг них событий. Именно эту мысль имел в виду Франс, когда заметил о своем «Прокураторе Иудеи»: «Под видом фантазии я, кажется, еще никогда не был так близок к исторической истине». Впоследствии эта идея проходит у Франса и через вставную новеллу «Галлион» в книге «На белом камне». Герой ее Галлион указывает, что имя «Христос» носили многие рабы, и выделить из них одного было бы делом нелегким. Участник диалога Николь Ланжелье, близкий автору многими своими высказываниями, уже прямо утверждает, что жизнь Христа выдумана евангелистами и богословами. В сатирической новелле «Пютуа» (сб. «Кренкебиль», 1904) Франс в пародийной форме показал процесс формирования религиозного мифа: история созданного человеческим воображением Пютуа толкуется одним из героев новеллы «как экстракт, как сжатая формулировка всех человеческих верований».

Скепсис Франса по отношению к мифу о Христе, его критическое отношение к христианству в целом определили характер всех его новелл на сюжеты церковных легенд.

Подобно тому, как это было в «Прокураторе Иудеи», в новеллах «Амикус и Целестин», «Легенда о святых Оливерии и Либеретте», «Святая Евфросиния», «Схоластика», «Жонглер богоматери», «Обедня теней», Франс условно принимает на веру сверхъестественный элемент христианских легенд, чтобы потом, с помощью иронии, а в отдельных случаях и прямого авторского комментария выразить свой тонко замаскированный атеизм.

В новелле «Амикус и Целестин» фавн подвергается добровольному крещению, впоследствии его чтут как святого. Казалось бы, что на этом примере можно иллюстрировать торжество христианства. Но тут же, как бы невзначай, автор роняет замечания о том, что, «несмотря на все усилия, отшельнику так и не удалось втолковать получеловеку (то есть фавну Амикусу) неизреченные тайны», что для изгнания бесов отнюдь недостаточно одного евангелия от Иоанна, что побороть языческих фей — не такое уж легкое дело даже для святого отшельника, «обладавшего теми познаниями, которые дает человеку созерцание бога», — и вся нарисованная картина приобретает ироническую окраску.

В наивной и человеческой средневековой легенде о жонглере богоматери Франса привлекала парадоксальность самой, вполне «франсовской», ситуации. Источником новеллы Франса является французское фавлио на этот сюжет. Герой новеллы, жонглер, то есть народный бродячий комедиант, Барнабе, в честь богоматери «вниз головою, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами» пред алтарем святой девы. Образ Барнабе отнюдь не сатиричен; рассказывая его историю, писатель не упускает случая заметить, что, добывая в поте лица свой хлеб, он более чем кто-либо другой платился за грех праотца Адама. Явное сочувствие к горемыке-труженику находится в прямом соответствии с утверждением его простонародного антиаскетического искусства, противостоящего мертвой религиозной догме.

Монашеский аскетизм становится объектом авторской насмешки в новелле «Схоластика». Благочестивый Иньюриоз отказался от супружеской жизни со Схоластикой, которая решила посвятить себя богу. Разумно ли поведение простодушного супруга? Его не оправдывает даже сама Схоластика. В противовес христианской доктрине аскетизма язычник Сильвен истолковывает чудо, свершившееся на могиле героини, в том смысле, что надобно «вкушать радости жизни, пока есть время». Что это одновременно и мнение автора, доказывается многими другими его произведениями.

Ключом к пониманию внутреннего смысла франсовских стилизаций церковных легенд является также авторская «библиографическая» приписка к новелле «Святая Евфросиния». Рассказав в «благочестивом» тоне об уходе в монастырь Евфросинии, ее жениха Лонгина и ее отца Ромула, Франс шутливо называет свою новеллу «ученым трудом», иронизирует над

точностью датировки («между седьмым и четырнадцатым столетием христианского летоисчисления») и «византийской чопорностью стиля» своего мнимого источника и кончает характерным признанием, касающимся существа рассказа: «Быть может, он даже представляет собой сплошную нелепость». Так сам Франс раскрывает иронический смысл своих стилизаций.

Скепсис по отношению к религии и «археологический» интерес к христианским древностям, свойственные раннему Франсу, со временем, по мере общественно-политической активизации Франса и его сближения с демократическими кругами, перерастают в воинствующий атеизм, определивший появление острой сатиры на церковь и религию в зрелом творчестве писателя.

В новеллах, написанных на материале церковных легенд, уже наметились приемы тонкой пародии и стилизации, которые будут использованы для обличения религии и церкви в «Острове пингвинов», «Чуде святого Николая» и «Восстании ангелов».

Темам из современной Франсу буржуазной действительности в «Перламутровом ларце» посвящены новеллы: «Лесли Вуд», «Гестас» и «Записки сельского врача». Правда, в 1886 г. Франс опубликовал в периодике еще две новеллы: «Граф Морен» и «Маргарита», в которых имеются элементы критики буржуазных парламентариев и государственной машины Третьей республики. Однако автор не включил эти новеллы в сборник.

В 80-е годы Франс только начинал осваивать современную тематику.

«Лесли Вуд» — это «Схоластика», перенесенная из средневековья в современность. Идейная направленность обеих новелл одна и та же: она в осуждении аскетизма. При этом в «Лесли Вуде» губительность аскетизма, уродующего и опустошающего человеческую личность, подчеркнута всем объективным смыслом повествования, хотя автор нигде прямо не высказывает ни своего гнева, ни осуждения.

В новелле «Гестас» Франс изображает простодушного пьянчужку, и прегрешения и раскаяние которого обрисованы со снисходительной иронией. Не случайно герой назван именем разбойника, распятого, по библейской легенде, рядом с Христом и после смерти попавшего в рай. Французская критика не без основания усматривает в образе Гестаса черты сходства с поэтом символистом Полем Верленом, который был связан с парижской литературной богемой и в то же время в своих стихах отдал дань религиозному мистицизму. Это предположение подтверждается портретным сходством Гестаса с Верленом, а также близостью самой новеллы к критической статье Франса о Поле Верлене, написанной в те же годы.

Характер литературной полемики против натуралистической теории наследственности носят «Записки сельского врача». Называя Эмиля Золя по имени, Франс выражает сомнение в «универсальности» его схемы, согласно которой наследственность неумолимо определяет характер, поведение и даже профессию человека. В «Записках сельского врача» изображается чета крестьян, не блистающих особым умственным развитием, у которой, наперекор натуралистической доктрине, родился талантливый ребенок. Врач-рассказчик, свободный от предрассудков господствующих классов, претендующих на монополию в области ума и таланта, с восхищением отмечает в этом рано умершем крестьянском мальчике «одного из тех великих людей, которые... всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и хорошее дело». Даже внешнестью маленький Элуа напоминает физика Ампера.

К утверждению талантливости выходцев из народа Франс вернется еще в «Современной истории», где в одном из эпизодов показана печальная участь сына сапожника Фирмена Пьеданьяеля, жертвы реакционных клерикалов.

Вошедшие в «Перламутровый ларец» новеллы о французской буржуазной революции

конца XVIII в. представляют собой переработанные фрагменты из неудавшегося романа Франса «Алтари страха», главы из которых печатались в «Le Journal des Debats» в марте 1884 г. Заглавие романа было заимствовано у А. Шенье, французского поэта-роялиста конца XVIII в., казненного во время революции.

Следуя за реакционными историками французской буржуазной революции, автор «Алтарей страха» показал якобинский террор как бессмысленную жестокость. В начале романа группа интеллигентов, собравшихся за ужином у молодой вдовы-аристократки Фанни д'Авенэ в день штурма Бастилии, приветствует начало революции, на которую возлагает большие надежды; однако в ходе дальнейших событий основные герои романа, и в том числе Фанни д'Авенэ, сами становятся жертвами революционного террора — почти все они попадают на гильотину по вздорному обвинению в подстрекательстве граждан к мятежу против республики, в убийствах, в организации голода, в выпуске фальшивых денег и т. п.

Неудача романа «Алтари страха» объясняется односторонним и тенденциозным освещением основных социальных сил, действовавших в революционную эпоху, тем, что случайные события выдаются здесь за типические.

А. Франс, очевидно, сам почувствовал свою неудачу и отказался от мысли создать эпическую картину революции; но отдельные эпизоды задуманного романа он использовал в своих новеллах. Из одиннадцати глав «Алтарей страха» шесть легли в основу сюжета новелл, включенных в сборник «Перламутровый ларец»: «Рассвет», «Мадам де Люзи», «Дарованная смерть», «Эпизод из времен флореаля II года республики» (новелла построена на материале двух глав романа) и «Обыск». Отдельные места из второй главы романа вошли в новеллу «Записки волонтера». Чтобы придать вновь созданным новеллам характер самостоятельных и законченных произведений, писатель вывел основных героев романа в разных новеллах под различными именами. В издании «Перламутрового ларца» 1922 г. Франс убрал из новеллы «Дарованная смерть» даже простое упоминание заглавия «Алтари страха», заменив его заглавием «Разоблаченные санкюлоты».

Тенденциозное освещение событий революции, характерное для «Алтарей страха», в той или иной форме сохранилось и в новеллах-осколках несостоявшегося романа. В первую очередь это относится к «Мадам де Люзи», «Дарованной смерти», «Эпизоду из времен флореаля II года республики» и «Обыску».

Жертвы якобинского террора здесь героизируются: они человечны, способны на любовь и самопожертвование, наделены присутствием духа, преисполнены благородства в минуты крайней опасности и суровых испытаний. Им противопоставлены активные участники революции, изображенные в виде мелкотравчатых карьеристов и эгоистов, мстящих своим жертвам за личные обиды: таковы начальник отдела гражданской стражи мясник Любен, преследующий философа Планшоне («Мадам де Люзи»); заместитель прокурора революционного трибунала, бывший капуцин Лардийон; начальник квартала, бывший обойщик Броше, чьи «налитые кровью глаза вечно исполнены ужаса», потому что он предчувствует и свою собственную гибель («Обыск»).

В новелле «Записки волонтера» герой-рассказчик Пьер восхваляет «гуманность, сострадание и самоотвержение» своего доброго наставника аббата Феваля и противопоставляет ему другого своего учителя, бывшего аббата Журсанво, который стал сторонником революции и поэтому обрисован в новелле как «гнусный негодяй». Недоброжелательство рассказчика к представителям революционного лагеря сквозит и в характеристиках членов революционного комитета секции.

Чтобы спастись от террора, Пьер отправляется добровольцем в республиканскую армию; невольный защитник революции, он лишен понимания ее целей и задач.

Однако следует отметить, что, несмотря на односторонность франсовской картины революционной эпохи, в новеллах цикла заключено немало частных сцен и зарисовок, верных исторической правде.

Действие новеллы «Рассвет» приурочено ко дню штурма Бастилии. Скупыми и вместе с тем яркими мазками Франс рисует образы молодой вдовы, руссоистки Софи, которая приветствует революцию и верит, что она «пересоздает мир», философа-атеиста Франшо, в свое время брошенного в Бастилию за письмо в защиту веротерпимости, врача Дюверне, который однажды не приехал к больному дофину, так как задержался из-за родов одной крестьянки. Автор, однако, дает понять, что энтузиазм собеседников, собравшихся за ужином у Софи, их вера в «золотой век», «эру братства» не имеют под собой почвы. В новелле прямо говорится о «буржуазии, дождавшейся, наконец, своего царствования».

В «Записках волонтера» рисуются яркие картины бурлящего революционного Парижа.

Картина революции, нарисованная А. Франсом в «Перламутровом ларце», противоречива; в этой картине подчеркнута и «тупая жестокость» революции и «высокий восторг, который революции поднимают с городских мостовых и возносят к пламенному солнцу».

Потерпев неудачу с романом «Алтари страха» и не сумев преодолеть его недостатков в новеллах о французской революции, вошедших в «Перламутровый ларец», Франс в последующих произведениях («Красная лилия», «Современная история», «Остров пингвинов») снова и снова возвращается к этой теме; наконец он посвящает французской буржуазной революции конца XVIII в. роман «Боги жаждут». По сравнению с новеллами «Перламутрового ларца» роман этот являет собой более углубленное и более объективное раскрытие революционной эпохи.

...не сбросив еще претексты... — то есть не выйдя из отроческого возраста. Претекста — белая тога с пурпуровой каймой по краю — в древнем Риме носилась мальчиками до шестнадцати лет, некоторыми чиновниками и жрецами.

Тиберий Цезарь — римский император (14–37 гг. н. э.).

Гай (Калигула) — римский император (37–41 гг. н. э.).

...вспоминая Город... — то есть вспоминая Рим.

Ирод Антипа (Антипатр) — сын иудейского царя Ирода Великого, правитель Галилеи и Перее (I в. н. э.).

...еще во времена Эвандра и Энея, нашего праотца... — Эвандр — см. прим. к стр. 598.
Эней — легендарный основатель Римского государства (воспет в поэме Вергилия «Энеида»).

Архонт — здесь сановник в Палестине.

...вооружившись, как ликторы, фасцами... — Фасцы — пучки прутьев со вставленными в них небольшими топориками, которые держали в руках римские ликторы при сопровождении должностных лиц.

... в правление принцепса Тиберия... — Принцепс — первый по списку, старший в римском Сенате. Октавиан Август принял этот титул, маскируя фактическое введение в Риме нового политического режима — империи. Тиберий пришел к власти непосредственно после Августа, почему Ламия называет и его принцепсом.

Я знавал в Иерусалиме одну иудеянку... — Имеется в виду Мария Магдалина.

Назареем, то есть святым. В предыдущих изданиях говорилось: Иисусом из Назарета, но, кажется, в первом веке нашей эры такого города не было. (Прим. автора.)

Жорж де Порто-Риш (1849–1930) — поэт и драматург, автор многочисленных исторических и психологических драм.

Шлемберже Леон-Гюстав (1844–1929) — французский ученый, историк и археолог, знаток Византии.

Рамбо Альфред (1842–1905) — ученый-историк, профессор Сорбонны.

Стыдно, и ты спрашиваешь, что, кроме этого желания, было тогда... (лат.).

Мы, печальные, скованы повиновением песни (лат.).

Леопольд Делиль (1826–1910) — ученый-палеограф, директор парижской Национальной библиотеки во времена А. Франса.

Гастон Парис (1839–1903) — выдающийся французский ученый, занимался главным образом французской средневековой литературой и филологией.

...словно стрекоза, о которой рассказывает Мария Французская... — Мария Французская (XIII в.) — поэтесса, автор сборника басен, среди которых есть и известный сюжет о ленивой стрекозе.

...что доказывается историей Самсона, которая приведена в Писании... — По библейской легенде, силач Самсон был предан своей возлюбленной Далилой, остригшей ему волосы, источник его силы, и предавшей его в руки врагов-филистимлян.

...указывал Марии Египетской дорогу в пустыне... — По церковным легендам, Мария Египетская — блудница, обращенная в христианство и прожившая более сорока лет в покаянии в Заиорданской пустыне.

От чрева матери моей ты бог мой (лат.).

Возьмем хотя бы пример ветхозаветного Вооза... — По библейской легенде, Вооз в глубокой старости женился на молодой девушке Руфи и имел от нее сына.

«Синими книгами» (англ.).

Вильям Крукс (1832–1919) — английский физик и химик, занимавшийся также спиритизмом, за что его резко критиковал Энгельс в «Диалектике природы». А. Франс писал о нем в серии «Литературная жизнь».

... и как некогда Саула, его почтил своим появлением настоящий призрак... — По библейской легенде, царю израильскому Саулу явился призрак умершего старца Самуила и предсказал ему смерть в битве с филистимлянами.

...проступок Анания и Сапфиры... — В «Деяниях апостолов» говорится о супругах Анании и Сапфире, которые утаили от апостолов часть выручки за проданное имение и были за это наказаны смертью.

Шарль Моррас (1868–1952) — французский писатель, в 90-е годы XIX в. был монархистом, впоследствии стал одним из руководителей крайне реакционной литературной группировки «Аксьон Франсэз».

Силен (греч. миф.) — воспитатель и спутник бога виноделия Диониса, отец сатиров. Изображался уродливым пьяным стариком.

...мать Франсуа Вийона, которая, быть может... стояла здесь на коленях... — Среди стихов Франсуа Вийона есть «Молитва», написанная им для матери, на строки из которой намекает А. Франс:

Я женщина убогая, простая,
И букв не знаю я. Но на стене
Я вижу голубые кущи рая
И грешников на медленном огне.
И слезы лью и помолиться рада —
Как хорошо в раю, как страшно ада.

(Перевод И. Эренбурга)

Марсель Швоб (1867–1905) — французский писатель-символист, знаток средневековой литературы.

... вслед за г-ном Тэном... — Ипполит Тэн (1828–1893) — французский искусствовед и историк литературы, стоявший на позициях позитивизма.

...г-н Николь побаивался жалости... — Николь Пьер (1625–1695) — один из виднейших деятелей янсенизма во Франции, автор «Очерков о морали».

Пинель Филипп (1745–1826) — французский врач-психиатр.

...воссоздал... Сальватор Роза. — Сальватор Роза (1615–1673) — итальянский художник, работавший главным образом в батальном жанре.

...Маженди и Клод Бернар... — Маженди Франсуа (1783–1855) и Клод Бернар (1813–1878) — французские ученые-физиологи.

Нистен Пьер-Юмбер (1771–1818) — бельгийский ученый-медик.

...трудов доктора Люка и г-на Рибо. — Ученый-медик Проспер Люка (1805–1885) и ученый-психолог Теодюль Рибо (1839–1916) занимались вопросами наследственности.

Все события, изложенные в «Записках», достоверны и заимствованы из различных рукописей XVIII века. В них нет ни одного обстоятельства, которое не было бы подтверждено документально.

Поль Арен (1843–1896) — писатель и поэт, автор романов и пьес на французском языке, а также рассказов на провансальском наречии.

...сидя вблизи своих ульев, объяснял мне «Георгики» Вергилия. — Одна из частей поэмы древнеримского поэта Вергилия (70–19 гг. до н. э.) «Георгики», посвященной сельскому хозяйству, трактует вопросы пчеловодства.

Школа (лат.).

...священник Оратории... — Оратория — монашеский орден, основанный во Франции в 1611 г., а также церковь, принадлежащая этому ордену.

О сада густолиственного сладостная тень! (лат.).

...я узнал по архаичности формы и тяжести просодии стих древнего Энния... — Энний (239–169 гг. до н. э.) — древнеримский поэт, автор поэмы «Анналы».

Лавиния — одна из героинь поэмы Вергилия «Энеида», невеста Турна, сраженного троянцем Энеем.

...догмат веры Савойского викария. — Имеется в виду эпизод из романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» — «Исповедание веры Савойского викария», где излагаются принципы руссоистской «религии сердца».

Дидона — карфагенская царица, покончившая с собой после того, как ее покинул Эней («Энеида» Вергилия).

Говорили о созыве Генеральных штатов. — Генеральные штаты — сословно-представительное учреждение во Франции, — были созваны Людовиком XVI в мае 1789 г., после 175-летнего перерыва, и объявили себя Национальным собранием. Это было начало буржуазной революции.

Неккер Жак (1732–1804) — женеvский банкир, министр финансов при Людовике XVI. Его отставка 11 июля 1789 г. вызвала протест со стороны Национального собрания.

...если бы г-на Берка я предпочел Вергилию. — Берк Эдмонд (1730–1797) — английский публицист и оратор, непримиримый враг французской буржуазной революции.

А какого вы мнения о Шенье? — Шенье Мари-Жозеф (1764–1811) — поэт и драматург эпохи французской буржуазной революции; «Карл IX» — его антимонархическая трагедия.

«Альзира» (1736) — трагедия Вольтера.

Стихи в рассказе «Записки волонтера» переведены М. М. Замаховской.

... я видел Рейналя, гулявшего с Дюссо... — Рейналь Гийом (1713–1796) и Дюссо Жан-Жозеф (1769–1824) — французские писатели-публицисты, известные во времена буржуазной революции конца XVIII в.

Все вокруг меня предрекало возврат золотого века, и я уже грезил колесницей Сатурна и Реи. — Сатурн — старинное древнеримское божество, с именем которого связано было представление о золотом веке, когда люди жили в изобилии и мире. Рея — супруга Сатурна.

...прочесть несколько страниц из «Энциклопедии»... — Имеется в виду выдающийся памятник идеологии Просвещения «Энциклопедия», издававшаяся под редакцией философа Дени Дидро в 1751–1780 гг.

...вместе с Малуэ и Станиславом Клермон-Тоннером... — Виктор Малуэ (писатель и оратор), так же как Клермон-Тоннер (президент Учредительного собрания) — деятели французской революции конца XVIII в., сторонники конституционной монархии.

Мы видели, как Сийес и Богарне дружно везли тачку... — Аббат Эмманюэль-Жозеф Сийес (1748–1837) — один из виднейших политических деятелей французской буржуазной революции конца XVIII в., идеолог крупной буржуазии. Виконт Александр Богарнэ (1760–1794) в начале революции присоединился к третьему сословию, стал депутатом Национального собрания и генералом республиканских войск; в 1793 г. отвернулся от народа и был казнен.

...отец Жерар... лопатой рыл землю... — Мишель Жерар, по прозвищу «отец Жерар» (1737–1815) — богатый бретонский крестьянин, депутат третьего сословия от своего округа в Генеральных штатах 1789 г.

Ну, прямо — Жан-Батист! — Жан-Батист Руссо (1670–1741) — французский поэт, одописец.

...на могиле Виргинии... — Виргиния — героиня романа Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния» (1788), действие которого происходит на тропическом острове, вдали от цивилизации.

...оставил далеко позади «Нуму Помпилия» Флориана. — Флориан Жан-Пьер (1755–1794) — второстепенный французский писатель; «Нума Помпилий» — его роман, написанный в подражание роману «Приключения Телемака» Фенелона.

...даже гражданин Дора-Кюбьер казался рядом с ним умеренным республиканцем... — Дора-Кюбьер Мишель (1752–1820) — второстепенный французский поэт; в начале революции занял крайне левую позицию, как секретарь Коммуны города Парижа, но в дальнейшем проявил политическую беспринципность и приветствовал Наполеона I и Бурбонов.

Я читал об этом в Готском альманахе. — «Готский альманах» — дипломатический и статистический ежегодник, который издавался с 1763 г. в Германия, в княжестве Саксен-Готском, на немецком и французском языках. Там печатались отрывки из популярных романов с иллюстрациями.

Страшный день 31 мая лишил умеренных последней их надежды. — 31 мая 1793 г. — день народного восстания против жирондистского Конвента и начало якобинской диктатуры.

...второго брюмера II года... — то есть 28 октября 1794 т. по календарю французской революции конца XVIII в.

Надуй-Смерть — такое же шутливое прозвище низших чинов французской армии, как Сердцеед

...шествуют народные представители, Лафайет и Бальи. — Генерал Лафайет Мари-Жозеф (1757–1834) — известный французский политический деятель, в 1789 г. был организатором и командиром буржуазного ополчения, впоследствии национальной гвардии; Бальи Жан-Сильвен (1736–1793) — ученый-астроном, деятель первого этапа революции; в 1789 г. пользовался огромной популярностью как президент Генеральных штатов и мэр города Парижа.

...солнце... видело гибель Гиппарха и бегство Тарквиниев — то есть гибель и падение тиранов. Гиппарх (VI в. до н. э.) — брат афинского тирана Гиппия, убитый юношами Гармодием и Аристогитоном. Тарквинии — род римских царей, которые, по преданию, были изгнаны из Рима (VI в. до н. э.), восставшим народом, установившим республику.

«Идиллии Гесснера». — Имеется в виду популярная в конце XVIII в. книга швейцарского поэта Соломона Гесснера (1730–1788).

Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель, автор сборника новелл «Утехи и дни» (1896) и многотомного романа «В поисках утраченного времени».

На эпинете были раскрыты ноты «Мольбы Орфея». — Эпинет — струнно-клавишный музыкальный инструмент, «Мольбы Орфея» — ария из оперы Глюка «Орфей и Евридика».

...как участника заговора Казотта... — Казотт Жак (1720–1792) — французский поэт и писатель, ярый враг революции, казненный по обвинению в монархическом заговоре.

... присоединился к защитникам Тюильри. — 10 августа 1792 г. парижский народ штурмом взял королевский дворец Тюильри и потребовал отречения Людовика XVI от власти.

Куртку носили под кафтаном. Это был своего рода жилет, длиннее теперешних и с длинными рукавами. (Прим. автора).

Всех нас гонят в одно и то же место: всеобщая
Урна вращается; грозный и страшный
Выпадет жребий, отправляющий нас
В челне в вечную ссылку (лат.).

Флореаль II года республики — весенний месяц 1794 г. по календарю французской революции.

... стихи поэта Виже, такого же узника, как она. — Виже Этьен (1758–1820) — французский драматург и критик. Во время революции, в декабре 1793 г., был арестован как подозрительный и освобожден только после термидорианского переворота, в 1794 г.

Перевод М. М. Замаховской.

...обвитая складками гиматия... — Гиматий — плащ, какой носили в древней Греции.

«Деревенский колдун» — опера, написанная в молодости писателем Жан-Жаком Руссо.

...как Сиднею умереть за свободу... — Сидней Алджернон (1617–1683) — деятель английской революции, убежденный республиканец. При реставрации Стюартов был семнадцать лет в эмиграции; через несколько лет после возвращения казнен под предлогом участия в заговоре против короля.

...ты состоишь в переписке с агентами Питта... — Питт Вильям (1759–1806) — английский реакционный политический деятель, ярый враг французской революции.